

Edited by Natalia Baschmakoff and Mari Ristolainen

The Dacha Kingdom:  
Summer Dwellers and Dwellings  
in the Baltic Area

Aleksanteri Series 3/2009

**Edited by Natalia Baschmakoff and Mari Ristolainen**

**The Dacha Kingdom:  
Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area**

Aleksanteri Series 3:2009

**The Dacha Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area**

**ISBN 978-952-10-5145-6**

**ISSN 1796-3192**

**© Aleksanteri Institute and the authors**

**Gummerus Printing 2009**

## **Contents**

Preface – Предисловие NATALIA BASCHMAKOFF & MARI RISTOLAINEN	5
---	---

## **The Dacha Space – Дачное Пространство**

О мифологических коннотациях дачи TATIANA TSIVIAN	11
In and Out of Petersburg and Moscow: Towards a History of Exurban Russia STEPHEN LOVELL	27
Дача как символ русской жизни NINA KAUCHTSCHISCHWILI	41
Summertime: Petersburg Suburban Entertainment in the Era of Serfdom RICHARD STITES	49
Дачные игры NATALIA ZLYDNEVA	63
Дача как детское пространство PATRIZIA DEOTTO	77
Дача как «эротическое гнездо» – от декадентства до наших дней UGO PERSI	89
Дачный альбом Чукоккала как игра в культуру ELENA HELLBERG-HIRN	99

## **Dachas in Literature and Arts – Дачи в литературе и искусстве**

Дачный текст в журнале «Осколки» ELENA DUSHECHKINA	109
«Дачная жизнь» как социокультурное явление VALENTINA GAVRISHINA	121
«Лето в лесах» – вариант Константина Паустовского ALEKSANDR BELOUSOV	131
А. Ремизов и его «Казенная дача» SERGEI DOTSENKO	139
«Летнее царство»: чувственное восприятие лета и дачи в малой прозе Елены Гуро NATALIA BASCHMAKOFF	157
Joseph Brodsky's Poem <i>Kellomiaki</i> : A Lived Landscape and a Symbolic World of Signs MAIJA KÖNÖNEN	171
«Над скукой загородных дач...» Озерковские дачи в русской культуре и литературе MIKHAIL ODESSKII & MONIKA SPIVAK	193
Курорт как арена политических баталий: убийство Михаила Герценштейна и процесс над его убийцами, 1906-1909. MARINA VITUKHNOVSKAIA-KAUPPALA	205
Театр и театральность в жизни Гунгербурга-Усть-Нарвы, 1918-1944 TATIANA SHOR	219
Living in a Heterotopia? The Summerhouse as Foucauldian “Other Space” as Presented in Oscar Parland's Trilogy on Childhood KATJA WIEBE	237
Artistic Portrayal of Russian Landscape in Boris Asafiev's Essays ELINA VILJANEN	257

## **Dacha Locuses in the Baltic Area – Дачные локусы в циркумбалтийском ареале**

"Sommerfrische" on the Baltic Sea ANNELORE ENGEL-BRAUNSCHMIDT	279
Дачные места на Нарвском взморье (конец XIX – начало XX в.): отражение в литературе и искусстве SERGEI ISSAKOV	299
Русские дачники в Эстонии – могли ли они «разглядеть самое жизнь»? IRINA BELOBROVTSEVA	323
Эльва как дачный локус LIUBOV KISELEVA	339
Куршская коса как дачный локус JANINA KURSITSE	349
Места отдыха на Северо-востоке Эстонии в 1920-1930-е годы AURIKA MEIMRE	363
Дачная жизнь русских в Эстонии во время Второй Мировой войны GALINA PONOMAREVA	375
Летний рай SVEN HIRN	389
Karelia Through the Umbilical Cord KRISTINA ROTKIRCH	399

## **Changing Forms of Summer Dwelling – Меняющиеся формы дачничества**

«Крестьянский домик, нанимаемый горожанином»: о некоторых метаморфозах петербургской / ленинградской дачи в XIX-XX вв. SVETLANA RYZHAKOVA	409
---	-----

«Дача – это просто когда дом строится, дом на земле»: дачные практики и представления северян MARIIA NAKHSHINA & IRINA RAZUMOVA	417
Шесть узаконенных соток INNA KOPOTEVA	447
Summerfolk as Maecenas: New Dachniks Reshaping Russian Villages (and Villagers) MARI RISTOLAINEN	463
Restoring the Russia of Intelligentsia: A Case Study of “Wanderer”, a Patriotic NGO KAARINA AITAMURTO	485
List of Contributors	505

## Preface

Dachas, those “windows to nature,” have existed in Russia from the tsars to perestroika, surviving reforms, revolutions and purges into the post-Soviet years. Continuing the traditions of the eighteenth-century noble country estate, the dacha culture of the beginning of the 20<sup>th</sup> century reflected more modest bourgeois manifestations of the urban leisure experience in general. Stephen Lovell, the author of *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*, an acclaimed book on the Russian out-of-town recreational house, gives to the concept of dacha a socio-economic definition: “... a dacha is a house on a plot of land, located out of the city but within the reach of it, which is inhabited intermittently by urbanites.” Today, facts about dachas tell us that approximately half of urban Russian families have plots of land in the countryside and that the dacha is an essential part of the Russian way of life. “It may be not more than a shed, but for Russians it’s heaven,” wrote *Washington Post* Moscow correspondent in 2007 in his praise of the exurban Russian Arcadia.

However, especially in Soviet times, the dacha became more than a building on a plot of land. It was a unique space of relative privacy and cosiness, which denizens of a state-controlled society, especially those who lived in shared *kommunalka* apartments, could attain. Under certain circumstances, the dacha was also one of the rare forms of immovable private property that Soviet citizens were allowed. During the post-Soviet transitional restructuring dacha plots literally fed people and helped them psychologically to surmount the shocks from economic crises.

Showing an incredible inventiveness of forms and features, such as turrets, attics, bay windows and glazed verandas, dachas vary from wooden gingerbread villas, relics of the Russian imperial past, to modest Soviet allotment gardens and remnants of squatter’s shacks, or the pretentious brick *kottedzh-es* of the New Russians. While all these leisure time dwellings differ in many ways from their West European counterparts, Russian dachas also have affinities with the summer houses and holiday



resorts of various European countries. Although the Russian *dacha* itself is one of the few words to have entered the vocabularies of other languages, many other substantial similarities between Russian summer dwellings and leisure time in other cultures can be distinguished. Parallels can be found, in particular, in the areas of lively cultural East-West contacts, such as along the shores of the Baltic Sea.

This book is an attempt to encompass cultural encounters and fashions in summer leisure in the Baltic region in the 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> centuries. The volume unites more than 30 conference papers written by international scholars, examining changes in Russian *dacha* traditions by the Baltic seashore from a variety of multi-disciplinary perspectives ranging from history, philology and semiotics to cultural and folklore studies and ethnography.

Joensuu, March 28, 2009

Natalia Baschmakoff

Mari Ristolainen

## Предисловие

Дача более трех столетий служит отдушиной и окном в природу городским жителям России. И по сей день она благополучно здравствует, пережив множество реформ и перестроек от самодержавия до революции, от социалистической утопии до ее краха, и являя собой особый культурный концепт. Продолжая традиции дворянских усадеб XVIII века, дача и дачничество постепенно меняли свой облик и функции, подстраиваясь к духу сменявших друг друга эпох. К концу XIX – началу XX вв., дача превратилась в место отдыха и свободного времяпровождения, становилась вторым домом горожан – мещан, интеллигенции, богемы, а подчас и политического подполья. Известный английский исследователь русской дачной традиции профессор Стефен Лоуелл предлагает такое определение дачи: «... дача, это дом для временного проживания горожан, построенный на участке земли, расположенном вне города, но на доступном от него расстоянии». Дача является существенной частью русского быта, и сегодня приблизительно половина городских семей имеет загородный дачный участок. «Пусть это будет захудалый сарайчик, но для русского человека – это рай» пишет московский корреспондент газеты *Washington Post*, восхваляя «аркадические сады» россиян.

В советское время дача была чем-то бóльшим, нежели просто домом на участке земли. Это был остров уединения и интимного пространства, где советский человек, часто вынужденный в городе разделять жилплощадь коммуналки с посторонними людьми и находиться ежедневно под чьим-то наблюдением, мог создать себе уют и чувствовать себя более или менее свободным. Однажды полученная дача зачастую оставалась во владении советской семьи, переходя к детям – это было одной из редких проявлений частной собственности в социалистическом обществе. В тяжелые годы послеперестроечного кризиса дачные участки были подчас единственным

источником пропитания утративших работу и доходы горожан, не позволяя людям душевно сломаться.

Архитектура русских дач отражает многообразие стилей прошедших эпох, помноженное на индивидуальные вкусы их хозяев, а в последние десятилетия и возросшие материальные возможности. Планирование и оборудование дачи всегда требовало проявления повышенной изобретательности. Игровой кодекс дачного пространства дает возможность использовать эффектные архитектурные элементы, как-то башенки, балкончики, эркеры, застекленные веранды и павильоны. В современном дачном пейзаже они, где более, где менее удачно, вписываются то в общий ансамбль запущенной барской усадьбы имперского происхождения, то в грандиозный план кирпичных коттеджей новых русских, соседствующих с покосившимися домиками хрущевских времен и будками-временками на садоводческих участках.

Русские дачи во многом отличаются от европейских аналогов, однако между ними много и сходного, а само слово 'дача', заимствованное многими языками из русского, прокладывает семиотический мостик между культурами. Поэтому особенно интересны для исследования дачные пространства на стыке культур, в изобилии встречающиеся на берегах Балтийского взморья. Настоящий сборник представляет более 30-ти статей международной междисциплинарной конференции, посвященной теме русской дачи и дачных традиций в циркумбалтийском регионе в XX и XXI вв.

Йоэнсуу

28-го марта 2009

Наталья Башмакофф

Мари Ристолайнен

# "SUMMERFOLK" | "DACHNIKI"

Summer Dwellers and Summer  
Dwellings in the Baltic Area

Прибалтийские дачи и дачники

29.8.—2.9.2006

Dom Tvorchestva Kinematografistov  
Repino (Kuokkala)

Дом Творчества Кинематографистов  
Репино (Куоккала)



**The editors wish to thank for financial support:**

**The Department of Languages and Translation Studies, University of Joensuu**

**Europe Beyond East-West Division Competence Centre in Russian and Border Studies, University of Joensuu**

**The Aleksanteri Institute, University of Helsinki**

**The Academy of Finland**

**The Finnish Institute in St. -Petersburg**

**Consulate General of Finland in St.-Petersburg**

**The Dacha Space**  
—  
**Дачное Пространство**



ТАТИАНА TSIVIAN

## О мифологических коннотациях *дачи*<sup>1</sup>

Дачи... Это волшебное русское слово...  
Я бы даже сказала, целое понятие,  
КОНЦЕПТ, так сказать.  
Ах, сколько связано у нормального  
русского человека с дачей.  
(Из «Живого журнала»)

Выбор *дачи* в качестве предмета анализа был для меня почти случаен. Побуждением к этому послужили очень заинтересовавшие меня статьи итальянского литературоведа Патриции Деотто.<sup>2</sup> Анализ физиологических очерков и «этнографической беллетристики» привел автора статей к тому выводу, что устоявшееся представление о даче как особо привлекательном месте, живописном, просторном, чистом, полезном для здоровья – в большой степени иллюзия, фрагмент петербургского мифа, сформировавшегося в конце 19-го – начале 20-го века и сохранившегося до сих пор (добавим, не только петербургского, но, безусловно, и московского и других \*ских мифов). Если *дача=рай* всего лишь иллюзия, то в качестве реалии выступает ее антипод, *дача=ад*. Однако опыт показывает, что в действительности обе крайности не только сосуществуют, но амальгамируются, и *дача* оказывается в результате весьма сложным феноменом, заслуживающим анализа в культурологическом и семиотическом плане. При этом суще-

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 06-04-00598а.

<sup>2</sup> Deotto, P. (1997), Петербургский дачный быт XIX в. как факт массовой культуры. *Europa orientalis*, № 1 и Deotto, P. (1999), Из городской грязи на природу: город и дача (дача как одна из категорий петербургского мифа), *Studia Litteraria Polono-Slavica* № 4, Warszawa.



ственно подчеркнуть, что *дача* является специфически русским явлением<sup>3</sup>. Именно остро ощущаемой связи исключительно с русской традицией *дача* обязана тем, что в относительно короткий срок она приобрела статус концепта и соответствующее мифопоэтическое досье.

Характерно, что первыми обратили внимание на русскую дачу, ее историю, ее функции и отличительные признаки иностранцы. Кроме уже упомянутых статей П. Деотто, единственная основательная монография, всесторонне описывающая и анализирующая *дачу*, принадлежит англичанину С. Лоуеллу (Stephen Lovell), первому и пока единственному специалисту по *русской даче*.<sup>4</sup> (см. его статью в настоящем сборнике)<sup>5</sup>.

Этот взгляд *извне* побуждает к взгляду *изнутри*: теперь и носители традиции должны осмыслить, чем для них является *дача*, что их в ней привлекает и отталкивает. Таким «потребителем» дачи являюсь и я сама, и сплав обоих полюсов кажется мне вполне естественным: все дачные неудобства окупаются некоей абсолютной ценностью *дачи*, более того, они, в определенном смысле и создают, и поддерживают эту ценность, являясь почти мифологизированным испытанием, ведущим к мифологизированному же счастью.

---

<sup>3</sup> См., однако: «Дача – не российское изобретение. Правда, обеспеченные европейцы в последние 100-150 лет привыкли, скорее, выезжать летом к морю или в горы (позже – и в другие страны), где жили в отелях и пансионатах, а не “снимать дачу” в окрестностях родного города. Однако известны и сходные практики, наиболее известной из которых была широко распространенная с начала этого века в Германии сдача в аренду горожанам маленьких участков земли (прообраз наших садовых участков), получивших название “шребергартен” (по имени врача, предложившего эту форму рекреации). Эти участки образовывали целые колонии на окраинах городов (ср. наши садоводства). Как в свое время в советских садоводствах, там было запрещено ставить стационарные строения, а потому возводились лишь легкие постройки. На таких участках люди проводили свободное время и когда-то даже выращивали для собственного потребления свежие овощи и фрукты» (И.Чеховских: Российская дача – субурбанизация или рурализация? // *Невидимые грани социальной реальности. Сборник статей по материалам полевых исследований*. Под ред. Воронкова В., Паченкова О., Чикадзе Е. ЦНСИ, вып. 9. СПб., 2001. Цит. по: [http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik9/9\\_chekh.htm](http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik9/9_chekh.htm) (взято 24.5.2007).

<sup>4</sup> Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha 1710 - 2000*. Ithaca: Cornell University Press.

<sup>5</sup> «Возможно, это только русскому дачнику задача обозреть культуру отечественной дачи в ее становлении, присовокупляя социальные, экономические и географические соображения, кажется слишком масштабной; британский исследователь, очевидно, вдохновленный посещением наших дачных местностей, не испугался» (из рецензии И.В. Утехина на книгу Ловелла, *Антропологический форум* № 1, 2004).

Материалом для данной статьи послужили сюжеты, взятые из «дачного Интернета», чрезвычайно обильного и разнообразного. Я сознательно оставляю в стороне «литературную» историю и идеологию *дачи*, многократно описанную (ср. хотя бы тему чеховского «Вишневого сада» и горьковских «Дачников»). Меня в данном случае интересуют спонтанные высказывания, которые представляются особенно важными тем, что попытка осознания феномена *дачи* производится на собственном опыте *par excellence*. Это «домашнее философствование» по поводу *дачи* (которое выплескивается и в рекламу), по сути дела, самописание, является, на мой взгляд, убедительным доказательством того, что *дача* имеет самостоятельное семиотическое значение и может быть с полным основанием включена в словарь русской модели мира (РММ).

Анализ *дачи* целесообразно начать с анализа слова, ее обозначающего. *Дача* – «загородный дом для летнего проживания» (словарь Ожегова), словарное определение нейтрально, но само слово, не переводимое на другие языки, а только транслитерируемое, в конце концов приводит к концепту, укладываемому в РММ. Характерно, что именно с «уникальности слова» начинается укоренение *дачи* и как концепта, и как метки *русское*<sup>6</sup>. При этом действует классическая схема самоописания через «чужое зеркало»: *дача* является знаком исконно русского потому, что у иностранцев ничего подобного нет, следовательно, они не могут понять сакральной сути *дачи*, и, следовательно, *дача* – еще одно слагаемое загадочной русской души. А можно сказать со всей определенностью, что когда возникает тема русской души и ее загадочности, речь идет о семиотическом конструировании *своего* образа в противопоставлении *чужому*, т.е. о русской модели мира.

Приводимые далее примеры (число их может быть легко умножено), взятые из СМИ, иллюстрируют русское самосознание и самоидентификацию сквозь призму *дачи*.

«В горбачевские времена западные корреспонденты и пресслужбы ломали голову над непереводаемыми политическими руссизмами *перестройка*, *ускорение* и *гласность*. Но это не единственные языковые проблемы, с которыми приходится сталкиваться в России чужестранцу, и вот самая неразрешимая из них: что такое

---

<sup>6</sup> Ср. уже установившееся выражение *русская дача* (< *дача* как уникальный, только русский феномен).

”dacha”? Перед тем, кто переведет это слово на иностранный, автор сего согласен снять шляпу и вручить призовую сигару. Уверен, впрочем, что мой курительный запас останется неприкосновенным: сам Хендрик Смит, лауреат Пулицеровской премии и автор бестселлеров «Русские» (1976) и «Новые русские» (1991) признал свою неспособность справиться с этим лингвистическим феноменом. Упаси вас Господь переводить ”дачу” как *country-house*: в России таких урбанистических излишеств не предусмотрено. Если английскую цивилизацию можно назвать цивилизацией камня, китайскую – глиняной цивилизацией, то русская цивилизация... но не будем уточнять. ”Что для немца здорово, то для русского смерть” – гласит максима некоего славянофила, ставшая пословицей. Западный человек отдыхает, чтобы работать, русский – работает, чтобы отдохнуть. Он предпочитает пожизненной деловой каторге поэтическое созерцание мира. И дача является, пожалуй, одним из символов его национального менталитета. Знаменитая пьеса Максима Горького так и называется: «Дачники». А где происходит действие половины произведений Чехова? На даче. Туда же устремляются для окончательного выяснения своих отношений герои романа Достоевского «Идиот». Там же, на этих поэтических верандах позируют живописцам русские красавицы 19 века...» (В. Сердюченко)

«Помню, я тогда впервые осознал, что подобной, совершенно особой – и притом исполинской – инфраструктуры нет больше нигде в мире. Нет таких мегаполисов, половина населения которых переселялась бы на лето за город. Как это получилось, где истоки этого явления? Почему дачи оказались сугубо русским феноменом? А почему в Испании привилась коррида? Почему немцы чаю предпочитают кофе? На все три вопроса можно ответить: так уж сложилось – и это будет правильно. В России всё началось с переноса столицы. Сыграло роль и то, что наши зимы дольше, и после них душа сильнее рвётся на природу. А может быть, разгадка в том, что в России пригородная земля стоила много дешевле, чем в Европе.» (А. Горянин: «Дача – русское изобретение»)

«Дача - неотъемлемая часть нашего быта и нашей культуры. В других европейских языках нет слов, адекватно передающих понятие ”дача”. У французов – *maison de campagne* и *résidence secondaire*. Но это просто ”загородный дом” или ”второе жилище”. У англичан – *cottage*, иногда с уточнением: *country cottage*. Это сельский дом. У немцев – *Landhaus* и *Sommerhaus* – ”сельский дом” и ”летний дом”.

Есть еще *Schrebergarten* – крошечный лоскуток земли, пара деревьев, цветочная клумба, очаг для барбекю и микроскопический сарай для хранения инвентаря. Закон запрещает ночевать в "шребергартене", да и негде. Сюда приезжают, чтобы покопаться в земле или устроить семейную трапезу на свежем воздухе. В толковом словаре французского языка «Le Robert» слово *datcha*, правда, есть. Расшифровывается оно так: "...русское слово. Русский сельский дом, находящийся вблизи большого города". Примерно так же толкуют слово "дача" словари «Webster» и «Брокгауз». Аккуратное объяснение, но полного впечатления о том, что же такое "дача", не дает. И понятия "поехать на дачу" у европейцев нет. Англичанин, немец, француз, итальянец, испанец скажут "поехать за город"...» (Никита Алексеев)

«Зачем русскому человеку дача? Над этим вопросом бьется культуролог и профессор европейской истории в лондонском Кингз-колледже Стефен Лоуелл. «Дачники» – детальный, богато иллюстрированный труд. Предмет серьезнейших штудий – происхождение и развитие социо-культурного феномена русской дачи от Пушкина и Сталина до наших дней. Лоуелл рассматривает различные функции дачи в русском обществе (показатель принадлежности к среднему классу, средство преодоления урбанистических фрустраций, место возникновения интеллектуальных сообществ и просто источник существования), а также влияние дачной топографии на процесс становления обеих российских столиц. От автора не укрылась и противоречивость отношения русских к описываемому феномену – многие из них, замечает Лоуелл, презирают и ненавидят дачную жизнь. Фактически Лоуеллу удалось представить в "дачном" разрезе всю историю России, равно как и загадку "русской души". Представление о дачах, дачниках и дачном образе жизни во всем его многообразии вошло в мировую культуру благодаря Пушкину, Тургеневу, Чехову, Горькому, Сталину, Пастернаку, Ахматовой и Никите Михалкову. Загородный отдых и загородные домики любят горожане во многих странах. И все же дача, по мнению Лоуелла, — это нечто бесспорно русское. Русские дачные пригороды не очень-то похожи на пригороды европейских столиц. Русские называют дачей и многоэтажный кирпичный особняк, и самодельную времянку. Земельный участок под дачей может быть от трех соток до гектара и более. На дачах любили жить и иерархи государственной власти, и вольнодумствующие интеллигенты. Дача может быть местом и престижного отдыха, и каторжного труда. Разо-

браться во всем этом попытался, и, надо признать, не без успеха, британский историк Стивен Лоуелл. Это не первая книга Лоуелла, посвященная специфическим русским явлениям...» (Л.Овчинцева, рецензия на книгу С. Лоуелла)

Вот что интересно: иностранцы с запада всегда поразились этому русско-советскому явлению – даче. Дача, это чисто русское понятие, дача – что это для вас??? Нигде нет таких дач как в России!!! «Дача» – это русское слово из четырех букв, понятное каждому жителю нашей страны, является привлекающим феноменом для иностранцев. У европейских ребят Россия вообще – это а) маршрутка, б) дача и в) русская бабушка, такой образ почти сказочный. [Вопрос] Есть ли (у итальянцев) понятие дачи? [Ответ] Понятия дачи, как у русских, нет...

«Интересен тот факт, что понятие "дача" исконно русское – точнее, советское (это слово существует и в английском, и во французском – *dacha* или *datcha* – все понимают). Наверно, это тоже неплохой "пережиток" тех времен, когда выдавали от предприятий бесплатные участки. Ну, 6 соток – это немного, конечно. А в общем, хватает – и это лучше, чем ничего. Учитывая тот факт, что именно 6-ти соток ни у кого почти и не бывает, всегда уворовывают лишнюю парочку сотен метров... А как же без этого, прямо-таки не по-русски было б...

Однажды я в живую наблюдала, как десять лет назад двое датчан мерили своими огромными скандинавскими шагами наши шесть соток и с неподдельным интересом рассматривали вырытый в земле колодец, трогали полиэтиленовую пленку на парнике и неприлично показывали пальцем на WC. "Не наши", – угрюмо резюмировали соседи.

"Не наши", потому что для "наших" смысл слова "дача" прозрачен, безусловен и определен. Дача это не просто дом, не просто сад, и не только гамак во дворе, структурированные выходные и огурцы в трехлитровой банке по праздникам. Дачи – это национальное явление. Не случайно в маленьких городах, куда выезжают на лето москвичи и петербуржцы, люди, зачастую имея огород "под носом", все равно ездят на дачи. "Наши" за доли секунды отличают дачу от коттеджа и от сарая. И если это дача, то уже не важно, что там у Вас: бассейн или две грядки. Это дача, и значит Вы – в общенациональном клубе дачников. И Вам открыта эта важнейшая аксиома загадочной русской души.» (Е. Родионова)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ср. в другой тональности: «Китайские студенты как-то ко мне подошли и спросили, крохи: «Дача – это хорошо? Или это плохо?» Ну что было ответить этому любозна-

*Nomen est omen.* Семантический комплекс русской лексемы *дача*, его многослойность и амбивалентность во многом обусловлены прозрачностью ее этимологии: *дача* = *дар* (< *дать*), а *дар* может восприниматься и как награда, и как наказание (*нежеланный, навязанный, ненужный, напрасный, случайный* ср.: *дареному коню в зубы не смотрят; на тебе, Боже, что нам негоже* и под.)<sup>8</sup>. Как представляется, для русской модели мира архетипический концепт *дара* во всей его полисемантической (и, в определенном смысле, вне формулы *дар – обмен*) играет чрезвычайно важную роль, и, возможно, именно это стало основополагающим для формирования концепта *дачи* как неповторимо русского явления – прежде всего в глазах самих русских<sup>9</sup>.

Дача – совершенно особый феномен российской жизни, «второе жилище» и духовное пристанище горожанина – очень емкое и важное определение *дачи*, в котором подчеркнуты ее основоположные признаки: это *дом* в материальном и духовном смысле, но, так сказать, «дом-дублер», поскольку *дача* существует пока и поскольку существует *город*. Следовательно, *дачник* – горожанин, по определению:

тельному народу? Как объяснить им, что предложение «Предки загнали меня на дачу» имеет вполне обыденный и невинный смысл? Как растолковать, откуда столько радости у человека: «Мне не надо ехать на дачу! Я свободен, свободен, как птица!»? Не удивлюсь, если в какой-нибудь умной иностранной книжке мы вскоре сможем прочитать: «Русская дача – это своеобразное отражение сложного русского менталитета, это – беспокойная душа народа-созидателя, размером в шесть знатно удобренных соток. Миловидные ухоженные клумбы с георгинами соседствуют на русской даче со зловонными компостными ямами; а новые, кленовые, решетчатые сени – с качающимися на ветру нужником, каждый поход в которое по фактору сложности бьет знаменитую экспедицию Дж. Ливингстона в сердце африканских джунглей. Разве не в этом необъяснимом соседстве внешне несовместимых вещей кроется таинственность русской души?» (А. Бочкарев).

<sup>8</sup> Вот как вспоминает Цветаева речь Белого – он обращался к «ничевокам» представителям одного из многочисленных и скоротечных литературных направлений послереволюционной России: «... Ничего: чего: черно... пустота: zero... Круг пустоты и черноты. Заметьте, что «ч» само черно: ч: ночь, черт, чара. Ничевоки... ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: мельничкой, мельничкой, мельничкой... Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить) выехали! Выбыли! Пустая дача: ча, и в ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся... ки... Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача – дар, чей-то дар, и вот, русская литература была чьим-то таким даром, дачей, но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось ничего» («Пленный дух»).

<sup>9</sup> Ср.: «Дача – от слова *дать*. Значит, дачное движение – только русский феномен».

независимо от того, сколько времени он проводит на *даче*, *дача* остается для него *временным домом* (исходно *дача* была арендуемым домом). Возможно, «временность», непрочность диктуется еще одним коннотатом внутренней формы самого слова, непрочностью владения (*как дал, так и взял*, см. хотя бы историю советских *дач*)<sup>10</sup>.

Излишне напоминать, что в основе противопоставления *дачи* и *города*, *дачного* и *городского дома* лежит оппозиция *природа/культура*. Но эта оппозиция не столь прямолинейна и однозначна, *дача* – это не просто природа, но природа в культуре (или культура в природе), т.е. особым образом «окультуренное» пространство. Вопрос, насколько оно должно быть окультуренным, чтобы сохранить статус *дачи* (т.е. природы). Отсюда – свои требования к комфорту: должен ли он быть таким же, как в городе, или не должен, но тогда как далеко может заходить руссоизм? Обязательны ли в дачной жизни бытовые трудности? Могут ли город и дача обменяться положительными признаками? И здесь о себе вновь напоминает категория времени: неудобства оправданы и поддержаны временностью жизни на *даче*, и на *даче* они не только принимаются, но приобретают особую прелесть *temps perdu*<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ср.: «...дача, по Чехову, – это то, что непременно теряешь. Нечто временное, непрочное, лишенное основательности. Конечно, так. Ведь дачник – арендатор. Дачу снимают на лето, могут, прикипев к знакомым местам и добрым хозяевам, возвращаться сюда и на следующее лето, и еще, и еще, и десять лет кряду, но как хорошо, что при этом не надо думать про крышу, про ремонт, ведь хозяин – всегда кто-то другой. Дачник вносит арендную плату, а строит, перестраивает, меняет изношенные матрасы и сами кровати кто-то другой, кто обоснуется здесь, когда ты покинешь этот дом, позабудешь о нем до будущего лета, когда снова придет время ехать сюда – проводить беззаботные дни и вечера. Заботы – чужой удел.» (Г. Заславский)

<sup>11</sup> В этом временном жилище и вещи-дублиеры, сосланные из городского дома, где они отслужили свой срок, ср. объявление о продаже: «советский уют, тяжелый, хорошее состояние и внешний вид, можно для дачи»; «Обстановка наших дач – отдельная песня: туда свозилось все, чему уже не было места в городе. Это все вещи старые, пожившие, на грани выброса – но на даче они особенно милы, потому что там теперь словно продолжается прошлое. Зонтик из 60-х, книги из 80-х, а сервант – вообще, говорят, дореволюционный... Склеенные тарелки, статуэтки танцовщиц с отбитыми ножками, старые куклы... Поглядели бы вы на наш дачный бомонд, гуляющий после дождя! Во что одеты эти люди, мама дорогая! Униформа наша – ватник, а то еще какое-нибудь пальто 30-летней давности, а то еще кепка-азеродром... И непременно калоши, сделанные из старых сапог с отрезанными голенищами, – в обиходе их почему-то называют “тупками”» (Д. Быков).

Итак, пространственная оппозиция *город/дача*<sup>12</sup> заключена в жесткие временные рамки. В основе лежит сезонное чередование *зима/лето*. Чередование означает, что речь идет не о выборе, не о замене *города дачей* и наоборот, а об их обязательном сосуществовании. Недостатки и достоинства и того, и другого актуализируются только в паре. Чередование реализуется как движение «туда – обратно» по принципу маятника, и движение это многослойно: сезонные переезды и переездами внутри сезона с разной периодичностью – в конце недели, несколько раз в неделю или каждый день. Таким образом, временная оппозиция актуальна всегда. И она амбивалентна: весной плохо в городе, рвутся на дачу, осенью плохо на даче, рвутся в город. Жара – рвутся на дачу, дожди – рвутся с дачи, и эти перемены носят эмоциональную окраску. Другая основа оппозиции *город/дача* – движение. Эти обязательные переезды, как сезонные, так и внутрисезонные, – испытание в буквальном и в терминологическом (мифологическом) смысле. К этому еще прибавляется скученность – и внутри домишек («жуткие скворечники ”впихни в 4 сотки 10 семей отдыхающих”»), и в утесненности маленьких участков дачного посел-

---

<sup>12</sup> Я не рассматриваю здесь категорию пространства, в частности, требования к расстоянию между городским домом и дачей (*небольшое* – для облегчения маятникового движения; *большое* – для максимального приближения к природе). Это тема, заслуживающая особого внимания и предполагающая нетривиальные повороты, ср., например: «Ответ на вопрос, что же такое, наконец, настоящая дача, можно найти у... Достоевского. В романе ”Идиот” все герои выезжают ”на дачи” в Павловск. Писатель описывает даже не дачи, а террасы - их размер, убранство, особенности. Вот где отгадка! Именно наличие террасы делает из пригородного дома ”дачу”. Для обозначения этого полузакрытого, полукрытого пространства используют термины ”терраса”, ”веранда”, ”балкон” и ”галерея”. Это все нерусские слова, русскими они стали в девятнадцатом веке, когда ”дача” вошла в русский уклад и обиход. Если дача – это пространство, расположенное между городом и деревней, то терраса – территория, где эти две среды встречаются, переходя одна в другую. Сама природа словно входит в дом, а дачник одновременно находится и ”на природе” и защищен от непогоды. А что может быть приятнее вечернего чая ”на даче” с гостями ”из города” под шум теплого ”грибного” дождика?» (Е. Пригорнева).



ка.<sup>13</sup> (В. Глазычев пишет: «Мир *дачи* есть мир добровольного временного соседства.»)<sup>14</sup>

На фоне этих особенностей *дачи* и *дачной* жизни<sup>15</sup> ностальгия по *даче* кажется, действительно, проявлением загадочной русской души:

«Обратный дачный автобус пахнет грязной клубникой только что с земли, когда тебя тянут за руку и ты падаешь на дорожку – отстаньте – и ягоды красные, грязные, сочные, и чердак заброшенной дачи, скрипучая кровать, оранжевое одеяло, плющ за окном и пластиковый стаканчик из-под спирта на пыльном советской давности письменном столе. На улицах дачного поселка ветрено, холодно, черные балконы коронами, маленький черный ларек, как символ всей пьющей, студенческой или старой российской дачности. Потерянный рай и лакримоза в наушниках, теплые балки косога потолка, С. рядом говорит Смирновой – я тебя люблю, нет, правда, я тебя очень люблю – и я рядом тихо улыбаюсь в подушку и слушаю простые гитарные переборы. ”Вот вроде бы всё в жизни есть, по стандартам советского союза – семья-квартира-машина-дача... на необитаемый остров хочу. Чтобы ото всех подальше.” Господи, как бы я желала своим детям, если они у меня будут, всего этого: дач, чая, гостей, чувства защищенности. Вернулись с дачи (в субботу перевозили старую мебель и остались у стариков на шашлык. Джазовый фестиваль в Архангельском в этом году прошел без нас)... Подумал, что дачный отдых (именно дачный! потому как дача – это не загородный дом, не вилла, не поместье. Дача – это совершенно обособленное явление, которое нельзя трактовать просто как *летний дом*) присущ исключительно русскому человеку... Я бы не хотел смешивать понятия и относить *летние домики для проживания советских граждан на шести сотках* к понятию *дачи*. Этот феномен несомненно связан с русской и советской интеллигенцией конца XIX – начала XX века Пресловутые шесть соток практически уничтожили романтический ореол русской дачи, оставив нам

<sup>13</sup> Утесненность начинается с пути на *дачу* в переполненных электричках и автобусах; ср. еще: «Переезд на дачу не спугаешь ни с чем: перегруженный, почти придавленный к шоссе ”москвичок” или ”жигуленок”, с ребенком на заднем сиденье, прилипшим лицом к стеклу. Конечно, велосипед, привязанный к верхнему багажнику на самой крыше или торчащий из незакрытого окна.» (Г. Заславский)

<sup>14</sup> Добровольно оно, пожалуй, в том же смысле, в каком добровольно коллективное существование в коммунальной квартире.

<sup>15</sup> Здесь я не касаюсь сельскохозяйственного труда, как и вообще экономической стороны *дач*, отсылая к уже упомянутой работе И. Чеховских.

лишь грядки, рассаду, парники, картошку и прочие атрибуты летнего отдыха советского человека....

Как хорошо, что у нас на даче нет грядок... только сосны и березы... Да, если помнишь, русская дача это странное социальное и материальное явление. Кто-то купил такие обойчики, кто-то привез диван... и общение с родственниками на даче – тоже вещь странная... То сладкая, то горькая... Дача. Садины на коленках. Подпрыгивающая езда на велосипеде по выступающим из земли древесным корням. Купание в пруду или в речке. Первые влюбленности. Странная жизнь – полугородская, полудеревенская.» (Никита Алексеев).

«Родина начинается не знаю с чего. Вполне возможно, что она начинается с заляпанной чернилами картинки в моем букваре. Но нет, все же не с картинки, скорее с дачи – с дырявого гамака, волейбола, ворованной клубники, варенья, воскресных гостей, щавелевого супа, поноса, сырых дров, протекающей крыши, шаровой молнии, хозяйской Тани с ее говорящей куклой Варей, козы Наташи, ящерицы, чей хвост навечно остался в моей руке. С поваленного забора и провалившегося крыльца, с фотоаппарата «Смена» и керосинной лавки, с рваного, наполненного дождевой водой красно-синего резинового мяча, с крапивы и шиповника, с обгорелых плеч и дождливой тоски.» (Лев Рубинштейн)

«Для русских дача – какой-то хитрый кайф. Как можно получать удовольствие от длительного времяпрепровождения в неестественных для прямоходящего существа позах? А ведь получают! Махнул сотку, другую, разогнул со скрипом спину, оглядел проделанную работу с удовлетворением, прищурился на солнышко, потянулся сладко: кайф! А этот миф о здоровом образе жизни! Да у дачников профессиональных заболеваний не меньше, чем у шахтеров! А дачный загар! А прополка – смерть маникюру! А вечные вопросы: обокрали – не обокрали, вымерзло – не вымерзло! Наверное, дача – это одно из проявлений стоицизма русского характера. Сами себе создаем трудности, и сами успешно их преодолеваем. Дались нам эти томаты в стране вечнозеленых помидоров. К тому же на рынке привозные в сезон стоят тридцать копеек. Но свои же вкуснее. Либо дача – это такой национальный спорт, которым захвачены абсолютно все: мужчины и женщины, городские и селяне, богатые и бедные. Конечно, дело не только в желании набить погреб соленьями-вареньями. Корни значительно глубже. Испокон веков Россия была аграрной страной. Урбанизация. Индустриализация. Коллективизация. Огромные массы населения были

сдернуты с привычных мест и загнаны в каменные мешки. Быть может, именно потомки выселенных на север кулаков (сегодня их уважительно называли бы крепкими хозяйственниками, опорой и кормильцами) пытаются выращивать морковку на вечной мерзлоте. И все чаще звучит идея возвращения к поместной России. Для советского человека, жившего при тоталитарном режиме, под неусыпным оком большого брата, дача была единственным островком частной собственности и частной жизни, местом, где он мог реализовать свою хозяйскую и творческую жилку, проявить индивидуальность. Причудливые цветники и небывалые урожаи становились способом самовыражения. А сама дача – местом/территорией/пространством для внутренней эмиграции. На дачи сбегали от занудства жен и алкоголизма мужей, на дачах укрывались от идеологического вранья, проблем на работе и бытовой неустроенности. Пусть иллюзия свободы, пусть свобода ограничена забором по периметру шести соток, все равно ее здесь было больше, чем в квартирах, кабинетах, цехах. "Земля зовет", – говорит сосед по подъезду. Этот зов заставляет пожилого и тяжело больного человека поздней осенью ехать за город обвязывать молоденькие деревца, "чтоб зайцы не погрызли". Ну, хорошо, он дачник с полувековым стажем. Но когда дачи покупают молодые...» (О. Протасова: «Дача как явление русской жизни»)

Из этих лирических (или мягко иронических) апологий *даче* при всей расплывчатости понятия и отсылкам к русской душе, все же можно выделить по крайней мере два признака, необходимых и достаточных для определения дачи в ее противопоставлении городу в реальном и метафорическом смысле.

Первый и главный признак: *свежий, другой воздух*. Это признак абсолютный. Все остальные к нему подстегаются. *Воздух* – это не просто дыхание, это возможность дышать полной грудью, и к воздуху присоединяется *простор* как условие для свободного, незатрудненного дыхания. Уже потом появляются запахи, растения, пейзаж (пушкинское «чуть повеет аквилон, и закаплют ароматы»). *Воздух*, независимо от его реального качества, перевешивает все дачные мучения, он является и их оправданием, и высшей за них наградой, и, так сказать, *дачной целью*.

«Петербургские дачные местности привлекают к себе на лето жителей столицы, желающих в летние месяцы отрешиться от шумной и тесной городской жизни и пожить на просторе, на чистом воздухе,

полей и лесов, да запастись новыми силами на зиму.» (В.К. Симанский, 1892)

«К сведению дачников, Исполнительный комитет Павловского Совдепа сообщает, что слухи о том, что Павловск в предстоящий весенний и летний сезоны закрыт для дачников, не имеют никаких оснований. Как и в прошлые годы, Павловск готов принять к себе всех желающих воспользоваться его воздухом, парком и окрестностями и отдохнуть от столичной жизни.» («Петроградская правда» от 21 апреля 1918 г.)

«Дачная лихорадка в самом разгаре. Москвичи по восемь часов простаивают в пробках, лишь бы на часок выбраться из города, подышать свежим воздухом.

И в 6 часов, наконец-то, вышла во двор... Подышать воздухом, ЧИСТЫМ ДЕРЕВЕНСКИМ воздухом, не пропитанным заводскими парами и домашней пылью (выбрать из этого что лучше – не могу, для меня и то и то – зло).

К тому же дача – свежий воздух, возможность делать, что хочешь, и побыть одной.

Было мне лет 14. И была у нас, как и у каждой советской или постсоветской семьи дача. Все чин чинарем – лето на даче, свежий воздух, рыбалка, красотень.

Дача (не в том плане огурцы-помидоры) а приятное времяпрепровождение на свежем воздухе.

ДАЧА – истинно русское, даже советское слово. Куча народу – родственники, друзья, друзья друзей... Отдыхающие – это иные люди – не важно, кто ты и чем занимаешься... ты уже другой на отдыхе... стол на свежем воздухе...

Дача — это глоток свежего воздуха, кусочек тишины и уединения, возможность организовать свою жизнь так, как тебе хочется.

– Но что делать – ребенку нужен воздух. Летом в Москве просто ужасно, дышать совершенно нечем (ээх, когда-то о смоге мы знали только понаслышке...).

”Родители просто счастливы. Действительно в современном коттедже отпадают все заботы старой советской дачи. Сервис весь городской, а воздух – загородный.” (реклама)

Дача потому всегда была синонимом Родины, что нормальная, будничная жизнь земли горожанину является только здесь. Только здесь он общается с тем, что так расплывчато и общо называет природой. Свежий воздух! Он действительно свеж настолько, что в первые три

дня дачник засыпает на ходу: отравление кислородом с непривычки...» (Д. Быков)

Пространство, где свободно дышится, это не только реальное, но и метафорическое пространство свободы, возможность отгородиться от внешнего давления. И неслучайно в идеализирующих описаниях появляется образ *острова*, ср. выше: «Для советского человека, жившего при тоталитарном режиме, под неусыпным оком большого брата, дача была единственным *островком* частной собственности и частной жизни, местом, где он мог... проявить индивидуальность». Обособленность/независимость *дачи* и *дачной* жизни – второй признак.

Здесь, как нам кажется, можно видеть аналогию с *островом* как мифопоэтическим концептом; тогда оппозиция *материк/остров* будет соответствовать оппозиции *город/дача*. Ранее мне приходилось писать об *острове* в контексте архетипической модели мира<sup>16</sup>, и в основу были положены мысли В. Айрапетяна<sup>17</sup>.

*Остров* и *дача* объединяются следующими семантическими множителями:

- инакость
- обособленность/уединенность
- удаленность/труднодоступность.

*Остров* в противоположность *материке*, как и *дача* в противоположность *городу*, – *иное место*, носитель особенного, исключительного, ср. ореол образа *острова* и соответственно *дачи* – оазис, идеальное место чудес и приключений, спасения, но и ссылки, *рая*, но и *ада*. *Остров* дистанцирован от материка, как и *дача* от города. Это особое, *иное* географическое пространство, мир в мире. Его достигают после испытания, путь к нему – *un rite de passage*.

Из этих определений следует, что именно *обособление* как существование отдельно, *в стороне*, имплицитно *особость* как *непохожесть* и *индивидуальность*, которая может иметь положительный или отрицательный знак – в зависимости от обстоятельств. Детские мечты философа и мыслителя, отца Павла Флоренского об *острове*, как мне кажется, имеют сходство с ностальгическими *дачными* воспоминаниями:

<sup>16</sup> Цивьян Т.В.: *Остров, островное сознание, островной сюжет // Mundus narratus. Festschrift für Dagmar Burkhart zum 65. Geburtstag*. Frankfurt M. et a., 2004.

<sup>17</sup> Айрапетян В.: *Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски*. Москва 2001, passim.

«...Когда-то в детстве я мечтал жить на острове... Мне казалось, что жить на острове очень уютно и интересно [...] по независимости от прочего мира. [...] Остров казался таинственным и полным смысла. Жить на острове [...] – это было пределом желаний. При этом остров представлялся непременно небольшим, вроде кораллового рифа. Он должен был быть таким, чтобы с одного места можно было охватить разом всю береговую линию и ясно ощущать обособленность острова от материка.» (В. Айрапетян).

*Свежий воздух дачи = воздушный океан* – и есть соответствие морю, основное защищающее пространство, которое и гарантирует уединенность и обособленность – и *легкое дыхание*, символ жизни и свободы. *Воздушное* и *водное* объединено в строках Ахматовой из «Приморского сонета», о Келломяки-Комарове, ее *дачном*, временном пристанище, которое оказалось постоянным:

И этот воздух, воздух вешний,  
Морской свершивший перелет...

## THE DACHA KINGDOM

STEPHEN LOVELL

## In and Out of Petersburg and Moscow: Towards a History of Exurban Russia

In this short paper I want to question – or at least to qualify – one of the great universally acknowledged truths of Russian cultural history: the existence of a gaping chasm between city and country. My argument will be that, although Russia-watchers mainly dwell on what separates urban and rural environments, there has been a great deal of cultural traffic between the two – and not just one-way traffic (in the sense of rural-urban migration) but regular back-and-forth traffic. And I want to suggest that the historical study of St Petersburg, and of Moscow, is seriously impoverished if this perpetual motion is not taken into account.<sup>1</sup> This, then, will be a story not of peasants into proletarians or *muzhiks* into Muscovites but rather of bureaucrats into vacationers, and of grandees into gardeners.

Petersburg is a city covered in thick layers of cultural commentary. And much of this commentary presents the city as a triumph of human will, wit and artifice over the inhospitable elements (not to mention the no less inhospitable Swedes). Petersburg is a model of architecture, engineering and land reclamation. It is Peter's 'window on Europe', and so points away from the benighted (or authentically national, depending on your point of view) interior of Russia. In the eyes of less sympathetic observers, who took the floor from about the 1830s onwards, those qualities of Petersburg which had hitherto been much to its credit were seen in a less flattering light. Rationality equalled inhumanity, order was violence and oppression, artifice was the denial of Russia's warm, benignly patriarchal traditions. In the twentieth century Petersburg lost its status as the Russian capital, and

---

<sup>1</sup> The focus here will be more on the Petersburg region than on other areas of dacha concentration, given the overall orientation of this volume towards the Baltic region.



cultural representations became accordingly less hostile. Petersburg/Leningrad became not sinister but bohemian and dreamy; now it was Moscow that had the cold-hardened metronomic work ethic – and even more than its fair share of communist time-servers.

But if we take the long view, we find that the study of the spirit, or the ‘soul’, of St Petersburg has been a singularly productive area of investigation, especially since the publication in 1922 of N.P. Antsiferov’s *The Soul of Petersburg*. This book, the most influential work of cultural history written on Petersburg, made it its business to trace the various ‘images’ of the city from the age of Pushkin through to the Silver Age in which Antsiferov was himself immersed.<sup>2</sup> Ever since then, Russian historians of St Petersburg have put the Petersburg myth to the forefront of their concerns. Iurii Lotman, the noted structuralist, semiotician and cultural historian, spent much time investigating the ‘Petersburg text’, and many others have followed his inspiring example. The only problem with this notion of ‘text’, however, is that it tends to downplay plurality and change over time. It runs the risk of imputing to Russia’s main city an atemporal spirit; it does not allow for divergent voices, for the clash and clamour of people articulating their own visions of the urban space. It suggests that writers and other cultural actors, though separated by time, are working together on a great communal undertaking and producing a single, organically coherent, culturally authoritative script. When let loose from the world of scholarship, the Petersburg text pretty much writes itself. The recent film *Russian Ark*, for example, bears witness to two axioms held by many intellectual Petersburgers: first, that Petersburg can stand for Russia, and that anything that leaves out is best consigned to the deluge; second, that Petersburg can best be represented by a sequence of iconic figures and artefacts from Peter the Great to Valerii Gergiev (and the less said about the Soviet period the better).

The Petersburg myth has also done sterling service in the work of western writers and intellectuals. It forms part of Marshall Berman’s eloquent investigation of modernity, *All that Is Solid Melts into Air*. According to Berman, Petersburg suffered from an acute ‘anguish of backwardness’ as it underwent modernization; as a result, it became a uniquely overheated crucible of modernity. In Berman’s formulation, ‘Petersburg traditions are modern in an unbalanced, bizarre way, springing from the imbalance and

---

<sup>2</sup> Antsiferov 1922. On Antsiferov’s cultural context, and the ways in which it disposed him to this kind of cultural inquiry, see Timina 2001.

unreality of the Petrine scheme of modernization itself'.<sup>3</sup> In a more social-historical vein, various scholars (notably James Bater) have pointed out the acute social costs of Petersburg's high-speed modernization: overcrowding, squalor, poverty, disease.<sup>4</sup>

The Petersburg theme has its counterweights in Russian cultural history. Notable among them is Moscow, which traditionally served as the other half of a bipolar typology: if Petersburg was the modern metropolis, Moscow was a patriarchal, family-orientated big village. By the late nineteenth century, however, this more ancient capital was prey to the same pathologies of modernization as Petersburg itself. And in the twentieth century, as I have already said, its character changed entirely.

A more reliable counterweight to the metropolis in the Russian historical imagination has been the country estate. This form of settlement owed its existence to the rapid expansion of the Muscovite and Russian states. As land was abundant, large portions of it were handed out to servitors of the state in lieu of payment so that they might draw their own revenue. These servitors became a class of absentee warrior landlords. While it is true that Russia's landed nobles were not able to build up as powerful an economic or political base as their counterparts in western Europe, and although they retained their obligation to serve in whatever way the tsar deemed necessary, over time their control over their landholding and over the people who worked it increased. In the Muscovite and early Romanov periods, service grants (*pomest'ia*) became increasingly indistinguishable from hereditary estates (*votchiny*); peasants, moreover, became ever more enserfed, and were thus obliged to provide the estate's economic foundation.

The cultural meaning and functions of the country estate changed in the eighteenth century, when Western ideals of recreation and civilization began to spread and to take hold. The newly westernized nobility also had more scope to devote itself to these ends once it was freed from the obligation to serve (by Peter III in 1762). In the first half of the nineteenth century many more nobles became resident on their estates, and provincial life was boosted as a result.

Crucially for the cultural historian, this shift towards noble estate residency coincided with the emergence of new groups of *littérateurs* and intellectuals. The country estate accordingly came to be regarded as a focus of cultural creativity and of a national identity that was uncontaminated by the

---

<sup>3</sup> Berman 1983, 175, 285.

<sup>4</sup> Bater 1976.

state – that was slavophile without being jingoistic. It is easy to call to mind canonical works of Russian literature that are imbued with the atmosphere of the *usad'ba* - notably those by Turgenev and Tolstoi. For all that the culture of the noble country estate could not easily be squared with Soviet socialism, it was treated with pride for most of the twentieth century and became integrated into the Soviet heritage industry.

The only English-language history of the country estate amply bears witness to its cultural enchantment. Priscilla Roosevelt's book is superbly illustrated, deeply researched, pleasingly written, and organized not chronologically but thematically in terms of three main 'visions' of the country estate to be found in Russian culture: the 'aristocratic playground' (whose emblem might be the serf theatre), the 'patriarchal enclave' (which conjures up harmonious relations between benign masters and happy peasants) and the 'cultural arcadia' (associated above all with the birth of the intelligentsia).<sup>5</sup>

And yet there is a problem with this historical focus on the country estate. It tends to downplay chronology and contentiousness in favour of a coherence that may be more retrospective than actual. There is a suspicion, in histories such as Roosevelt's, that the researcher is in danger of being lulled by the charm of his or her object of investigation; that slavophile or self-orientalizing myths are being redeployed as cultural history. It is not clear, for example, to what extent Roosevelt's three themes can usefully be kept separate in practice. Take for example the Bakunin estate, Priamukhino, as featured in the first instalment of Tom Stoppard's recent trilogy *The Coast of Utopia*: Bakunin senior is patriarchal in many of his instincts, but is also much too well-read and enlightened to fit the patriarchal mould; to this extent, Priamukhino fits the 'cultural arcadia' category. Yet just how arcadian can this place be, given that it fills up periodically with intellectually feverish and physically consumptive young men from Petersburg and Moscow? Another, if more tangential, illustration of the cultural ambiguity of the country estate is the fact that the idea of a Russian *déjeuner à l'herbe* stage design was given to Stoppard by the excellent production of Gorky's *Summerfolk* a few years previously – and Gorky's play lambasts the out-of-town crowd for their lack of connection to anything that lies outside their bourgeois concerns.

Another problem, quite simply, is that the country estate as depicted in a book like Roosevelt's was fast losing its social and economic importance

---

<sup>5</sup> Roosevelt 1995.

after the middle of the nineteenth century. Even in the first half of the century, it had to compete with other lifestyles and forms of settlement that did not perhaps have such striking cultural trappings. Finally, the Roosevelt vision of the country estate – be it aristocratic, patriarchal or arcadian – keeps the elite culture of the countryside perhaps unjustifiably separate from the culture of Russia's major cities.

And I would argue that the relationship between cities and what lies around or outside them is crucial. The history of nineteenth-century urbanization needs to take into account not only the pathologies of modernization but also the ways in which the city spread into and colonized the surrounding region – without, however, fully urbanizing it. As cities grew to a population of several hundred thousand, became wealthier and acquired transport systems, they drew into their orbit new areas – in the first instance, suburbs (whose manifestations in North America have formed the subject of a number of excellent histories).<sup>6</sup>

In Russia, too, many members of Russia's elites, subelites, subsubelites and – dare I say it – middle classes have spent significant portions of their time outside the city without relinquishing their ties to the urban economy and environment. They have employed various words to denote their out-of-town dwellings, but the term most commonly used has been 'dacha'.

Given the dacha's centrality (not marginality!) to the Russian urban experience, its near-total neglect in scholarship hitherto is a fact in need of explanation. In my view, this historiographical silence is above all the result not of a sinister conspiracy of *usad'ba*-lovers but rather of a difficulty of cultural translation. The problem is that suburbs have not been a significant phenomenon in Russian history. Or, to be precise, the Russian term most often used to translate 'suburb', *prigorod*, has very different connotations from the English term. *Prigorod* is a second-class kind of place; it is somewhere people end up when they really want to be at the heart of the city but don't quite have the money or the social status (or, in Soviet times, the connections) to make it. It is inhabited by people moving from outside the city inwards. It is a kind of low-status appendage to the city, not a respectable extension of it: more shanty than Beverley Hills. An Anglo-American suburb, by contrast, is formed by people abandoning the city centre (which has become too squalid, overcrowded or pricey) and setting up middle-class enclaves on the city outskirts (but still within easy reach of the city centre).

---

<sup>6</sup> See for example Jackson 1985.

Russia's model of out-of-town settlement is less suburban than exurban (although this term also has undesirable connotations of the second homes of affluent western Europeans). That is to say, people's out-of-town dwellings are generally not contiguous with the urban environment, and they live there not all year round but intermittently. Of course, this should not mislead us into thinking that exurban places represent some kind of rejection of or detachment from the city: in reality, they are wholly dependent on urban society and the urban economy.

But, while this exurban emphasis makes Russia unlike England or Belgium or North America or Australia, it hardly makes Russia unique. France is a notable counterexample: *maisons de campagne* have been an important additional dimension of big-city life from the 1840s to the present. And the points of resemblance between Russian, Finnish and Baltic modes of exurban living form a topic of discussion in several of the other chapters in this volume. So we still have some work to do to explain the neglect of the dacha in scholarship. One problem, more acute in Russia than in the West, is that a ubiquitous background phenomenon such as the dacha has simply not been considered worthy of attention. Theme-park Petersburg or Silver Age Petersburg has little room for the everyday. In a culture dominated by the lives and outlooks of a tiny number of literary and artistic coteries, the dacha came to be viewed as no more than the poor relation of the country estate.

Still another problem is more practical than ideological. Dacha activity falls between the cracks in administrative structures (it barely shows up, for example, in Soviet statistics). Both before and after the Revolution, suburban and exurban zones have found themselves in a variety of legal and administrative grey areas. As a consequence, dachas have been marginal to the concerns of historians both of urban and of rural Russia. But, while this may make exurban goings-on opaque to the statistician's eye, it does not mean that the dacha is unimportant. Dachas have been a major part of the urban way of life for the past 200 years, as a mere cursory acquaintance with the Russian classics can show. Even Turgenev and Tolstoi, those country estate novelists *par excellence*, had odd scenes at the dacha, while more Petersburg-orientated writers such as Dostoevsky and Goncharov turned exurbia into a chronotope of its own. Now, however, it is time to switch from impressionistic preliminaries to an outline periodization.

## The Dacha: A Very Short History

Any history needs to have a clearly defined object of investigation. Yet, in the case of the dacha, such clarity is not easy to come by. The word ‘dacha’ (meaning ‘gift’ or, more specifically, ‘land grant’) existed for centuries before the emergence of anything that a modern Russian speaker would recognize as a dacha. And even over the course of the past two centuries, ‘dachas’ have taken a wide variety of forms: from aristocratic mansions to exurban shacks, from pleasure palaces to allotments, from pre-revolutionary commuter belt to nomenklatura haven. In attempting a history that would encompass all these phenomena, are we not conflating categories and spuriously deducing conceptual unity from the mere word ‘dacha’?

This is an intelligent and necessary question, but it can be answered effectively if we adopt a clear-cut socio-economic definition of the dacha. For present purposes, a dacha is a house on a plot of land, located out of the city but within reach of it, which is inhabited intermittently by urbanites. As such, it is a phenomenon attendant on the process of urbanization that Russia underwent sporadically in the eighteenth century, intensively in the nineteenth, and at breakneck speed in the twentieth. In the process, dachas took manifold forms and drew a multiplicity of contrasting responses from Russian society – which makes them an extremely rich, but not incoherent, object of investigation.

The dacha, as Russia’s form of modern exurban settlement, came into being with the city of St Petersburg. As the new city was created, land grants were made more or less simultaneously along the whole route from Petersburg to Peter’s new palace at Peterhof. As regards planning and infrastructure, Peter was almost as interventionist here as he was with plots in or near the centre of city: his aim was to deliver Russia’s answer to Versailles. More fundamentally, the dacha began to take shape as part of a modern administrative order: lengthy absences at remote country estates were no longer permitted, and Peter’s courtiers needed exurban recreations to be closer at hand.

It cannot be said that a Russian leisure class was born instantaneously on the Peterhof Road in 1710. The residences built under Peter were by no means all pleasure houses. As a recent detailed historical guidebook makes clear, these dachas were mostly farmsteads in the early years.<sup>7</sup> But over the

---

<sup>7</sup> Gorbatenko 2001.

course of the eighteenth century new resources and new models of exurban life become available. Palladian villas started to take over on the Peterhof Road in the 1770s-80s. New elite dacha areas such as the Neva Islands came on the market. A taste for refined living and fashion for English virtues took hold under Catherine; the first guides to utilitarian gardening for individual households were published in the late 1770s. The dacha's social clientele also changed markedly over the eighteenth century. Plots were subdivided, and passed into the hands of lesser nobles, merchants and other non-noble townfolk.

A significant boost to the exurban scene came in the first third of the nineteenth century, as more nobles moved permanently to Petersburg and took employment in the expanding and more professional civil service. Dachas become part of the social fabric, and were reported accordingly in the press. Their cause was greatly helped by the opening of railway lines (to Peterhof and Tsarskoe Selo in 1837, to Moscow in 1851), and by periodic outbreaks of cholera (which made the dacha a healthful, and even life-saving, alternative to summer in the city). From about the 1830s, and even more so from the 1850s, the dachnik and dachnitsa emerged as cultural personages in their own right.

In the late imperial period the range of locations and types of dacha grew rapidly, as did the number of minor property owners. And there were even signs of suburbanization in a middle-class western sense: some city folk were aspiring to make their dachas their main homes, to turn dacha settlements into suburban or exurban settlements.

Dachas survived the revolution. They presented distinct ideological problems throughout the Soviet period, as they could never entirely shake off their pre-revolutionary bourgeois associations. But they were tolerated and even encouraged - initially because they were a practical solution to the dreadful housing crisis of the 1920s. As time went on, they also survived as a status object - most notably, as an appurtenance of power and privilege in the Soviet system of closed distribution.

The next category shift in the history of the dacha came during and after the war, as the Soviet urban population was granted increased access to plots of land for subsistence purposes. Over time, modest dwellings were built on 'garden plots', which were then referred to as 'dachas'. This process received further impetus in the late Soviet and early post-Soviet periods, as yet more land was handed out and garden plot cultivation became a way of life for Soviet urbanites.

Here, then, is a skeleton history of the dacha as a form of exurban development in modern Russia.<sup>8</sup> In what remains of this piece I want to explain what the exurban perspective on Russian history has to offer those people with no particular emotional or intellectual investment in the dacha.

## Why Dachas Matter

One preliminary word of caution: we should not be interested in the dacha for what it can reveal about the unique qualities of Russian culture. This is not to say that the dacha is not unique; but so is everything else in history. If we stress the quintessential Russianness of the dacha, we are likely to overlook or downplay the extent to which the dacha does not have a single unchanging character. Rather, it should be valued as an extremely sensitive barometer of the complex social and cultural processes at work in modern Russia.

As I argued above, the dacha is primarily a consequence of the patterns of Russia's urbanization. For various reasons – the absence or weakness of a land market, the lateness and intensity of industrialization, the failings of infrastructure, the centralization of power – Russia's major cities took the path of dacha development rather than that of suburbanization. But this outcome was not predetermined, and even now it is not settled once and for all. Russia's oil-fuelled economic recovery since 1998, and its unparalleled openness to Western lifestyle influences, have generated new rivals to the dacha in the form of the *kottedzh* and the *taunkhauz* (even if the pre-eminence of the dacha, given the still straitened circumstances of most Russian urbanites, seems guaranteed for some while yet).

If we switch from the perspective of the urban geographer to that of the cultural historian, we find no less fluidity in the history of the dacha. The cultural meaning of the dacha has changed constantly, and has usually been contested. Change and contestation has occurred along three principal axes. The first leads from 'Russia' at one end to 'the West' at the other. In its early days, the dacha was viewed as a mark of civilization; it was designed to emulate, or even surpass, the West. In the nineteenth century, architectural models were borrowed from the West, and the dacha became a laboratory of eclecticism. Symptomatically, words like *villa* and *kottedzh* did service alongside 'dacha'. On the one hand, the dacha was seen as a conduit

---

<sup>8</sup> A less cursory account is Lovell 2003.



for western extravagance but, on the other hand, the dacha's Westernism might be viewed more positively – for its association with the 'English' virtues of comfort, relaxed decorum, and self-sufficiency. Yet there was another way of looking at the dacha that became increasingly powerful and eventually triumphed in the second half of the Soviet period. The dacha came to be seen as quintessentially Russian, indicating a bond with the soil, virtuous and purposeful leisure, free-and-easy sociability. This more slavophile view of the dacha was pioneered by mainly literary intellectuals in the nineteenth century, who were of course concerned to distinguish their own model of out-of-town living from that of their vulgar bourgeois counterparts. In Soviet times, the literary intelligentsia was allowed (and even encouraged) to create a not dissimilar model of dacha authenticity.

A second axis is that of gender. Like American suburbia in the same period, the nineteenth-century dacha was heavily feminized, being associated with a release from urban decorum and a weakening of patriarchy. The mass of journalistic publications on dacha life paid much attention to the predicament of beleaguered 'dacha husbands', a stereotype that survived with few modifications into the NEP period. Yet here too, as in the case of the Russia/West binary, a partial reversal would eventually occur. Later in the Soviet period, certain types of dacha came to be associated with the purportedly masculine virtues of hard physical labour and intellectual creativity (even if women in practice did most of the work).

The third cultural binary I would like to highlight in these brief remarks is that between the dacha and notions of rural authenticity that were often embodied by the country estate in the pre-revolutionary period, and by the *izba* or homestead in the Soviet era. The distinction between dacha and country estate was not easy to draw in practice. By the late imperial period, moreover, the country estate was becoming more the fading symbol of a way of life than a distinct social and economic form of settlement. If dachniki wanted to dignify their exurban existence, they talked about their dachas as estates. Dachas, in other words, might acquire, or aspire to, an arcadian aura. And this possibility remained open in the Soviet period. Take that talismanic Stalinist text, Arkadii Gaidar's *Timur and His Gang*, where a group of early adolescent vigilantes take over a dacha settlement during an unnamed conflict (which is in fact the Soviet-Japanese conflict over Manchuria). In this story, the dacha emerges as an exurban retreat where the morally unblemished can sit out the latest time of troubles.

If we swap the perspective of the *kul'turolog* for that of the social historian, we also find much to intrigue us in the dacha. As many historians have

pointed out, social identity in urban Russia has been unusually ambiguous and subject to a complex interplay between social estate, economic status and occupation. As Gregory Freeze pointed out in a renowned article, a large part of the problem is that Russia's system of legal status distinctions was hardening at the same time as western European systems of classification were coming under serious threat. As a result modernization and the old regime society of orders intermingled in Russia as nowhere else.<sup>9</sup>

As a result, certain strata of Russian society have been seriously under-explored. The concept of middle class has been all but taboo when applied to Russia; this is also the case with regard to the Soviet period, where the white-collar workers (*sluzhashchie*) and 'mass intelligentsia' have still not found their historian. In the last twenty years or so, however, attempts have been made to argue for existence of a middle class in the late imperial period. Scholars have looked at the newspaper press, at art patronage, at associational life, at urban self-government, at commercialized leisure.

As an advocate of dacha history, I would argue that a useful additional perspective can be obtained by looking at how middle-class society saw itself reflected in its built environment. As many cultural historians have found, cities are excellent places to visualize society. One can see there restless proletarians, rowdy young hooligans, urbanized aristocracies, and so on. But most of all one can see middle classes: on embankments, in squares, in theatres and coffee houses, and in apartment buildings.<sup>10</sup>

Russian cities are perhaps less easily 'readable' than their English or French counterparts, due to the relative lack of social segregation and the far more restricted opportunities for public sociability and associational life that have obtained in Russia both before and after the Revolution. But this circumstance makes it all the more important to pay attention to the out-of-town locations where the identities and preoccupations of Russia's ill-defined social 'middle' are more evident. One worthwhile topic for research would be sites of public sociability such as the *progulka* (promenade), the *gulian'e* (holiday festivity) and the park or pleasure garden. Another, of course, is the dacha settlement, whose social geography formed the subject of intensive journalistic commentary from the age of Faddei Bulgarin to the NEP. What we find in the bulk of the dacha publications of the late imperial era is the classic set of middle-class preoccupations: lifestyle (with particular reference to the need to reconcile pleasure and virtue

---

<sup>9</sup> Freeze 1986.

<sup>10</sup> A good example of this approach is Marcus 1999.

and so reconcile bourgeois and intelligentsia concerns); public order; infrastructure; and social distinction.

These matters can be investigated more deeply if we take yet another promising perspective on the dacha phenomenon: that of the anthropologist. When viewed microcosmically, many of the categories employed by social and cultural historians seem to break down. A key case in point is the concept of the state, which, for obvious reasons, is a major concern of studies of everyday life in modern Russia. On closer inspection, the interactions between ordinary people and official agencies that we can reconstruct in sites such as the dacha settlement show that decrees are often not effective on the ground, and that the State is represented by real people who may be weak and corruptible, and in any case are embedded in networks of horizontal and vertical relationships. A study of the dacha reveals that bending the rules was obligatory, and even systemic, in the Stalin era, and continued to be so thereafter. Yet unofficial practices themselves have a history. Soviet personalism developed its own rules over time, and the notorious *blat* shifted from the realm of the criminal to that of the everyday.

‘Negotiation’ is one of the more overused words in social history, but it seems essential if we are to make sense of the ways in which dacha life remained possible even in the hostile environment of Soviet Russia. When we view property relations up close, in the lives of individual dachniki and the histories of their dwellings, they do not correspond straightforwardly to categories such as ‘public’, ‘private’, ‘personal’, ‘cooperative’ or ‘municipal’. Rather, they reflect the shifting intersections between power relations and horizontal ties in Soviet society. Questions of dacha ownership, in other words, are far from being dry legal issues: they are about people, not about things.

An anthropological study of the dacha also makes clear that the state and the individual do not have to be sworn enemies (even if the state is of the single-party variety). State pressure may at times dovetail with popular aspirations. Historians tend to focus on moments when official rules are manipulated, subverted or resisted. But in fact Soviet garden plot cultivators received quite active encouragement for much of the post-Stalin period, and there is much evidence that the official doctrine of ‘active leisure’ struck a chord with the population. We also need to avoid assuming the dacha is a bulwark of privacy and stands straightforwardly in opposition to ‘public’ life. As Naomi Galtz has shown, the late Soviet *sadovodcheskoe tovarishchestvo* might even be viewed as a microcosm of civil, or at least

associational, society: a large, self-organizing community with a significant range of common values and shared tasks.<sup>11</sup>

But one can also leave the state and *obshchestvennost'* aside and ask how dachas help people to make sense of their own individual lives. The hardships of the post-Soviet era have given rise to much debate on the economic rationality of the dacha: can it really be sensible for millions of urbanites to spend so much time, energy and expense growing their own vegetables when the market is now delivering ample quantities of fresh produce? Cost-benefit analysis of this kind is intriguing, even if it needs to be carefully differentiated according to region and occupation. But it also rather misses the point. People go to their dachas and grow vegetables there less because they have done their sums than because the dacha has a meaning for them that goes far beyond the narrowly economic. As Jane Zavisca has shown, the dacha neatly combines, or fudges, attributes that are not usually found together. It offers economic utility and subsistence but may also represent a status object and a mark of social distinction. It is a place for hard work and agricultural production, but also for recreation and consumption. It saves people money by providing food, but at the same time dacha produce is considered priceless and *svoi* (most dachniki do not seek to swap their potatoes and carrots for what they might obtain on the market).<sup>12</sup>

Above all, the dacha has made life more bearable (and even pleasurable) for generations of Russian urbanites whose living conditions have otherwise tended to be far from enviable. If we extend our definition of Petersburg and Moscow to include those outlying places that depend on the city for their existence and, conversely, do much to shape the lives and values of urbanites, we begin to understand that the well-attested pathologies of the Russian metropolis are not the full story. Remember the narrator of Dostoevsky's *White Nights*, who has so often been taken as an epitome of the melancholy and mild derangement attendant on life in Russia's 'impossible' northern capital. This gentleman, as we discover at the very start of the story, is one of the few who are not taking the coach or the boat out of the city to the dacha. As such, far from being an epitome, he is aberrant. If we keep our eye on the dacha, we can look beyond the familiar cultural myths and the many ways in which decent existence was made impossible in modern Russia, and instead explore how life was made liveable, how it was in fact lived, and what difference this made.

---

<sup>11</sup> Galtz 2000.

<sup>12</sup> Zavisca 2003. Also illuminating on these question is Hervouet 2003.

## Bibliography

- Antsiferov, N.P. (1922), *Dusha Peterburga*. Petrograd: Brokgauz-Efron.
- Bater, J. (1976), *St Petersburg: Industrialization and Change*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Berman, M. (1983), *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. London: Verso.
- Freeze, G. (1986), The *Soslovie* (Estate) Paradigm and Russian Social History. *American Historical Review*, Vol. 91 Issue 1, 11-36.
- Galtz, N.R. (2000), 'Space and the Everyday: An Historical Sociology of the Moscow Dacha'. PhD dissertation, University of Michigan.
- Gorbatenko, S.B. (2001), *Petergofskaia doroga: Istoriko-arkhitekturnyi putevoditel'*. St. Petersburg: D. Bulanin.
- Hervouet, R. (2003), Dachas and Vegetable Gardens in Belarus: Economic and Subjective Stakes of an 'Ordinary Passion'. *Anthropology of East European Review*, Vol. 21 Issue 1 159-168.
- Jackson, K.T. (1985), *Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States*. New York: Oxford University Press.
- Lovell, S. (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca: Cornell University Press.
- Marcus, S. (1999), *Apartment Stories: City and Home in Nineteenth-Century Paris and London*. Berkeley: University of California Press.
- Roosevelt, P. (1995), *Life on the Russian Country Estate: A Social and Cultural History*. New Haven: Yale University Press.
- Timina, S. (2001), *Kul'turnyi Peterburg: DISK. 1920-e gody*. St. Petersburg: Logos.
- Zavisca, J. (2003), Contesting Capitalism at the Post-Soviet Dacha: The Meaning of Food Cultivation for Urban Russians. *Slavic Review*, Vol. 62 Issue 4 786-810.

## Дача как символ русской жизни

Если задуматься, то нет русского автора, который не говорил бы о даче. И если вспомнить о Тургеневе, то следует говорить о Bougival'e, где я сама бывала не раз. Это совершенно особенная дача, так как она находится во Франции. Это на редкость красивая дачная вилла, расположенная на огромном зеленом холме. Ею несколько лет назад начал заниматься русско-французский ученый А. Звигильский. Он создал общество, посвященное Тургеневу и P. Viardot, нашел необходимые средства для ремонта виллы и, с помощью добровольцев, содержит ее, после того как ее превратили в дачу-музей. Сам Звигильский устраивал в Bougival'e конференции по Тургеневу и P. Viardot.

Bougival – это на Западе символ той *русскости*, от которой Тургенев, несмотря на долголетнее пребывание в Европе, никогда не отрезался. Это подтверждает мое давнишнее убеждение, что Тургенев нельзя называть западником, а следует именовать «европеистом»<sup>1</sup>. Ему требовался настоящий русский дом в Европе. Итак, отталкиваясь от Bougival'a, я поняла, что дачу надо считать символом определенной русской жизни. Выясняется, что мечтали и мечтают о даче, даже когда живут на Западе. Относительно Bougival'a можно добавить, что эта русско-французская дача отчасти подтверждает мысль В.Н. Топорова, назвавшего одну из своих последних книг «Странный Тургенев»<sup>2</sup>.

Когда я, через много лет после Bougival'a, была в Спасском-Лутовинове и увидела дом-усадьбу Тургеневых, тогда я ощутила разницу между усадьбой и дачей. Мне показалось, что в усадьбе Тургенева чувствуется, что он вырос в какой-то странной атмосфере, кото-

---

<sup>1</sup> См.: Kauchtschischwili 1980 (где я подробно изучаю связи Тургенева с Западом).

<sup>2</sup> См.: Топоров 1998.

рая передается узорчатым декоративным мотивом, отличающим этот приветливый дом. Здесь нет той почти пугающей грандиозности, которая ощущается в Ясной Поляне. Однако чувствуется, что Тургеневу надо было создать свой дом/атмосферу, которая на деле не могла быть только «улыбающейся», а мать его, как доказывает Топоров, не была в состоянии этого понять.

Итак, Bougival отличается простыми, прямыми линиями, прекрасно вписывающимися во французскую природу. Создается впечатление, что жизнь Тургенева гармонично сливалась с этой средой. Смотри на эту дачу, мы понимаем, чем она была для него и как он с ней сжился, о чем свидетельствуют его письма последних месяцев, когда он тяжело болел<sup>3</sup>. Из Парижа Тургенев писал врачу: «O Bougival, Bougival! Quando te aspirare»<sup>4</sup>. Следующие письма, напротив, написаны из Bougival'a, из его русского дома, с дачи<sup>5</sup>, и доктору он доказывает, что ему там намного легче. Там он и умер на руках у P. Viardot.

Мне кажется, что в настоящее время можно добавить: эта дача полностью подтверждает, что жизнь этого писателя действительно сложилась странно. Эта дача – не просто символ странной личной судьбы одного русского человека. Bougival до сих пор сообщает французским и западным посетителям, что русскому человеку даже во Франции требуется своя дача, что подтверждает и русская эмиграция прошлого века. Тургеневу и во Франции требовалась своя русская среда, своя русская атмосфера<sup>6</sup>, которой не мог ему предоставить даже дом его матери в Лутовинове (он ощущал его странным и чуждым). И тут у меня возникла следующая мысль: эту дачу можно считать первой реализацией *русской географии* во Франции, т.е. того, что потом осуществила Мать Мария, когда в 1932 г. описывала свои путешествия по Франции, уделяя внимание бедной русской эмигрантской среде. Конечно, у эмигрантов денег не было, и их «русскость» и «русская география» Франции была теоретической, а Тургенев смог это практически осуществить. Поэтому он как бы является предшественником этой

<sup>3</sup> Об этом свидетельствует письмо P. Viardot доктору Paul Segond, который лечил Тургенева. См: Tourgenев 1972, 39.

<sup>4</sup> Письмо от 28.05.1882. *Ibid.*, 38.

<sup>5</sup> Где ему прислуживал русский Николай.

<sup>6</sup> То же самое я испытала много лет назад, когда была приглашена на русскую эмигрантскую свадьбу в Париже. Прием был в русском особняке, где хозяева создали чисто русскую атмосферу: мебель была русской, на стенах висели только русские офорты, так что казалось, что мы в Питере, а не в Париже. То же самое было в Милане, где временно жили родители невесты.

оригинальной русско-французской тенденции, с которой боролась Мать Мария<sup>7</sup>.

Итак, я поняла, что дача представляет собой интересный объект. Я вспомнила, как была поражена, когда увидела, примерно в 1972 г., в Ленинграде, как в последнюю субботу июня люди куда-то перевозили из города целые квартиры на открытых грузовиках: постели, матрацы, плиты, кастрюли и всякую всячину. Когда я спросила, в чем тут дело, мне объяснили: это переезд на дачу. Так я испытала новый, неожиданный опыт русско-советской жизни – символ русской жизненной мечты. Одновременно это было и своеобразное обращение к советскому режиму: имейте в виду, что дача требуется всем русским, и советское правительство было вынуждено с этим считаться. Некоторым категориям были предоставлены государственные дачи, как я смогла установить через некоторое время в Москве.

В.С. Нечаева, не считаясь с советскими правилами, пригласила меня на дачу, а знакомая из МАПРЯЛ'а обещала предоставить машину в субботу утром, чтоб меня туда отвезти. Но в назначенный час она позвонила и сказала, что машина испортилась. По всей вероятности, это был предлог, так как мне, как иностранке, не полагалось ехать на эту дачу. Однако я все-таки добралась по Калужскому шоссе до какого-то определенного километра. Не помню, до какой станции я доехала, тогда еще не существовало метро «Калужское», но я доехала автобусом и сошла, где полагалось, спрашивая там и сям, как дойти до дачного поселка сотрудников Академии Наук. Пешком я добралась по адресу до указанной дачи, и все ахнули, когда меня увидели, спрашивая, как я до них добралась. Это была довольно шикарная дача с большой крытой верандой. Мне предложили сесть за стол, был вкусный русский обед, а затем показали двухэтажную дачу с помещением на первом и втором этажах. Тогда я поняла, что дача – действительно особенный знак, *сообщение* о русской жизни: летом люди стараются покинуть город, наслаждаться природой, дышать здоровым лесным воздухом, провести в деревне вечера, субботу и воскресенье, недалеко от города. А после конца Советского Союза наступил строительный бум, и кто мог, выстроил себе дачу на каком-то, якобы, своем

---

<sup>7</sup> Я предполагаю, что эта идея возникла под влиянием Н.А. Бердяева, с которым Мать Мария постоянно общалась. Бердяев в труде «Русская идея» указал на тесную связь между бесконечностью русской земли и русской души. С тех пор мы говорим о «душевной географии», и Мать Мария восприняла эту идею.



бывшем имении<sup>8</sup>.

В Грузии я тоже увидела государственную дачу для сотрудников Академии Наук, но в таком жалком виде, что пришла в ужас: стены не покрашены ни снаружи, ни внутри, просто предоставили людям крышу, а у кого не было денег самим все покрасить, у того так все осталось до сих пор. Эти дачи находятся в каких-то деревнях, где-то далеко, где нет аптек, магазинов. Кое-что из необходимого можно купить у крестьян, все остальное надо возить из города.

Но несколько лет назад мы могли убедиться, что дача не пережила свой век. Плывая вниз по Волге, мы смогли наблюдать, какие себе строят дачи «новые русские». У них свои архитекторы, которые приспособливают традиционный дачный узор к современным требованиям, и фронтон приобретает новый уклон и становится более гибким, чем прежде. Они, кроме того, строят свои дачи не в деревне, а где-то на видном месте, и дача становится символом и свидетельством нового статуса этих людей.

Задумываясь о даче, я вдруг вспомнила про Мелихово, куда мы тоже попали лишь во время перестройки, когда нам, иностранцам, наконец, было позволено ознакомиться с Россией. Как известно, у Чехова не было ни своей усадьбы, ни своей дачи, и поэтому он всю жизнь мечтал о собственном доме. Один из построенных им домов – это Мелихово. Когда я увидела этот дом, мне показалось, что его можно определить как дачу, поскольку окружен садом, деревьями, но заодно напоминает и «Дом с мезонином». По этому рассказу становится понятно, что Чехов воспринимал понятие «дача» в широком смысле. Там говорится про одну даму: она «наняла один из флигелей под дачу»<sup>9</sup>. Иначе говоря, по его убеждению, любой дом или часть дома может, при определенных условиях, стать дачей, по критерию потребления. Конечно, необходимо, чтоб дом или часть дома находились в деревне, в лесу, в саду либо в усадьбе. Поэтому думается, что Мелихово можно считать домом «под дачу», и в настоящее время он ис-

---

<sup>8</sup> Но мне открылся и другой вид русской дачной жизни. У меня купальника при себе не было, и мы пошли после обеда гулять по берегу реки. Там я впервые познакомилась с одной из замечательных русских рек, которая меня в будущем познакомила и с другим дачным местом. И я поняла, что река тесно связана с дачной жизнью: там можно купаться, около нее можно лежать, как у нас в Италии на пляже, на берегу моря. Значит, дача стала и знаком потребления, и человек может даже без больших расходов предаваться летнему отдыху.

<sup>9</sup> Чехов 1956, 98.

полняет на деле символическую функцию – это почти живой Чехов. Но это можно считать и *сообщением* о прошлом: там культивируются те цветы, которые, якобы, сам Чехов сажал, там ставятся его пьесы, спектакли по его рассказам, и выступала даже итальянская любительская труппа<sup>10</sup>. Итак, глядя на этот дом, мы можем сказать, кем был Чехов. Следовательно, Мелихово выполняет не только коммуникативную функцию, но и функцию потребления, так как привлекает множество людей.

А что сказать про Тарусу? То, что мы видим сегодня, это именно дача предков Цветаевой, которая стала в настоящее время домом-музеем. Это типично русская изба, превращенная в дачу, хотя все это произвело на меня скорее музейное впечатление, чем дачное. Но тут символом становится то, что видишь вокруг этой дачи, когда стоишь над рекой и восхищаешься изумительным, чисто русским ландшафтом над Окой, которая там особенно щедро и широко разворачивается. Но я сказала бы, что настоящим «домом» Цветаевой, ее «дачей» можно считать тот камень, который, по ее воспоминаниям, поставили над Окой. Получается впечатление, что сама Марина любит эту русскую красоту, и камень стал символом и *сообщением*. В этом случае посредником, символом и *сообщением* стала также река Ока. Напротив, дача как таковая выполняет лишь функцию потребления, привлекая многочисленных туристов.

Наконец, что сказать про Старую Руссу? Это требовало бы особого трактата. Тут я только мельком укажу на то, что, по воспоминаниям брата Достоевского Андрея Михайловича, их семья мечтала о своей даче, что и стало их гибелью. Несмотря на это, писатель мечтал о собственной даче и страдал от того, что не имел ее. Каждое лето надо было искать дачное убежище, чтоб где-нибудь устроиться на летний отдых. Об этом упоминает и Л. Цыпкин в своем романе «Лето в Бадене». Дом, который можно считать дачным убежищем Достоевского, это - Старая Русса, которая стала символом и *сообщением* о последних годах жизни писателя и о его «Братьях Карамазовых». Это, фактически, дом, приспособленный под дачу, он стоит на окраине города, около огромного парка, рядом с каналом, и соответствует всем дачным требованиям. В нем Федор Михайлович прожил несколько летних сезонов подряд. Это – символ его мечты о собственности, о летнем уюте и, одновременно, символ его вечной денежной нужды. Но

<sup>10</sup> К сожалению, эта инициатива временно приостановилась из-за болезни режиссера.

этот дом все-таки не становится символом духа писателя, который чувствуется скорее в угловом доме-квартире в Петербурге, где мы ощущаем его присутствие.

Но дача/мечта и идеал всего прекрасного может стать и отрицательным символом. Переезжая на дачу, можно столкнуться и со странными «Делами дачными», о которых я случайно прочла в одном современном журнале:

Чего только не было на этом чердаке! По меньшей мере два поколения сносили туда отжившую, но навек вобравшую в себя их вкусы, привычки и запахи рухлядь. Горы стоптанной обуви, поломанные венские стулья [...] картонки с флаконами от «Красной Москвы» и «Пиковой дамы». Допотопные ридикули [...] Посеребренные елочные игрушки [...] Устрашающих размеров бухгалтерские счета. [...] И почему-то много клизм<sup>11</sup>.

Все это хотелось уничтожить, чтоб спокойно пожить на даче, в надежде создать начало новой дачной эры. Героиня рассказа выкопала яму, утаптывала слой за слоем, но все-таки все напоминало о прошлом, о блокадном Ленинграде. В одну яму она сбрасывала старую крупу и муку, потом на месте засыпанной ямы сделала грядку и посадила цветы: «В середине лета земля покрылась странной ядовиторыжей плесенью, а листья пионов, астильбы, примул пошли ржавыми пятнами. Зато на другой грядке, в которую Нина закопала вышедшее в тираж бабушкино ватное одеяло, вырос на диво крупный и забористый чеснок»<sup>12</sup>.

Вопросом о мусоре занимается дачная экология. Эта «наука» ставит вопрос о том, как можно спастись от мусора, не нарушая принципа экологического порядка. Оказывается, что в постмодерне над ватным одеялом может вырасти чеснок!

Однако дача может стать и мемориалом, символом, как показывают воспоминания о «Голубой даче».

Когда я прочла заглавие «Голубая дача», то очень обрадовалась, думая, что мне неожиданно попался интересный рассказ по дачной тематике, и предполагала, что голубой цвет относится к приятным дачным воспоминаниям. Напротив, подзаголовок сразу поясняет, что в тексте говорится о «памяти жертв Невельского Холокоста»<sup>13</sup>. В предисловии уточняется, что речь пойдет о красивом, некрестьянского

<sup>11</sup> Калмыкова 2006, 46.

<sup>12</sup> Там же, 47.

<sup>13</sup> См.: Невельский сборник 2004, 99-113.

вида доме, который жители любили и называли «голубой дачей». Этот дом стоял на видном месте, в «загородном парке» в Невеле, на Ленинградском шоссе, но он стал символом «Невельского холокоста». Нацисты превратили «голубую дачу» в гетто, загоняли туда евреев, которые там ощущали «полную незащищенность, униженность»<sup>14</sup>. Там их держали перед расстрелом, но многих там же и расстреляли. Иными словами, «Голубая дача» стала в настоящее время невельским мемориалом жертв нацизма: «На камнях, на том месте, где они погибли, их имена»<sup>15</sup>. Поэтому «каждый год 6 сентября на «Голубой даче» собираются люди, читают Кадиш, приносят на могилы, по еврейскому обычаю, камешки, и по русскому обычаю, цветы. Но те, давние, памятники ветшают и портятся [...], поэтому мемориал требует нашего внимания»<sup>16</sup>.

Заключая, хочу сказать, что дача становится выражением русской души, русской жизни, и даже жестокие преступления не в состоянии разрушить этот русский идеал, который останется постоянным символом, *сообщением*, коммуникативным знаком самых дорогих ценностей русского человека. Только неслыханная жестокость может попытаться это подорвать.

## Источники

- Калмыкова, А. (2006), Дела дачные. *Истина и жизнь*, № 6, 46.  
 Невельский сборник, 2004. *Невельский сборник*. Вып. 9. СПб.: Акрополь.  
 Топоров, В.Н. (1998), *Странный Тургенев*. М.: РГГУ.  
 Чехов А.П. (1956), *Полное собрание сочинений*. Т. VIII. М.: Художественная литература.  
 Kauchschischwili, N. (1980), Turgenev europeista. *Turgenev e la sua opera*. Roma: Accademia nazionale dei Lincei.  
 Tourgenev, I. (1972), *Nouvelle correspondance inedite*. Paris: Librairie des cinq continets.

<sup>14</sup> Там же, 108.

<sup>15</sup> Там же, 99.

<sup>16</sup> Там же, 113.

## THE DACHA KINGDOM

RICHARD STITES

## Summertime: Petersburg Suburban Entertainment in the Era of Serfdom

In a recent film, *The White Countess*, featuring White Russian émigrés in Shanghai in the 1930s, the director's opening flashback poetically evokes the tsarist Old Regime with the standard image of an aristocratic ballroom scene. The countesses and princes and officers are clearly dancing indoors, and yet snowdrops are falling on them. Though using snow to suggest Russia is hardly a novel device, this scene takes winter as its signifier to new lyrical heights. In fact winter was the great season for upper class balls all over Europe – the *bal d'hiver* – with extensions back to autumn and into spring. They punctuated the hunt, local elections, Shrovetide, the pre-Lenten weeks, and numerous semi-official and family events. Summertime scattered the affluent noble families to country homes, spas, or foreign lands. So thinking about social and public entertainment in Old Russia as cold weather activities does not distort. But it does obscure the fact that dancing and musical diversions of all kinds took place in summer venues as well. Those catering to a broad range of social classes emerged in the late 18<sup>th</sup> and early 19<sup>th</sup> centuries.<sup>1</sup>

St. Petersburg, legendary capital of mystery-laden texts, of White Nights, and of stony and icy heartlessness, became encircled by several sites of summertime amusement, some open to a surprisingly broad ambit of the public. In addition to the private mansions and palaces of the high and mighty and the arenas of imperial display so brilliantly described in Ri-

---

<sup>1</sup> See Kolesnikova (2005) and Stites (1992). For the hundreds of places–funfairs, folk festivals, village revels – where peasants and townspeople made and consumed their entertainments as *narodnoe gulianie*, see Nekrylova 1988.

chard Wortman's *Scenarios of Power*,<sup>2</sup> a number of public commercial entertainment centers sprang up to offer their diverse wares to the denizens of the city itself as well as to the suburban elite. The more famous and pretentious of them took the name Vauxhall. This word, taken from Falkes Hall, the estate of Sir Falkes de Bréauté, a medieval Norman English knight, evolved into Vaux Hall and then Vauxhall, an 18<sup>th</sup> century place for concerts and dancing in the Lambeth district of London. It became a generalized term for suburban summer gardens or amusement sites in Europe and in several Russian cities. For Petersburg in reign of Nicholas I (1825-55), Ekaterinhof in the south of the city, the smaller northern islands, and the nearby town of Pavlovsk constituted its primary grounds for summer entertainment, stretching from May 1 to September.<sup>3</sup>

The first of these, created before the word Vauxhall came into usage, appeared under Peter I in the Ekaterinhof district of Petersburg where the Catherine Canal debouched into the gulf of Finland, and it functioned with many interruptions until the 1760s when its building burned down, the fate of many such buildings.<sup>4</sup> It continued as a site of the biggest funfair or seasonal festival of the Petersburg environs. A character in Ivan Goncharov's novel *Oblomov*, set in the 1850s, exclaims: "Not go to Yekaterinhof on the first of May! . . . Why, everyone will be there!"<sup>5</sup> In that same decade summer concerts were being offered, thus making Ekaterinhof a combination of fair grounds and Vauxhall. The archipelago and adjacent lands north of the Neva and interspliced by it and its branches was largely stratified by class, roughly Stone and Elagin Islands for the gentry, Cross Island for middle and lower class elements, and Peter Island, mostly Germans.<sup>6</sup> These, together with the New Village and Black River districts offered a variety of summer delights such as the virtually all-class funfair, an ubiquitous event in villages, town, and cities throughout Russia that provided rides and games, peep shows, puppet theater, and huge arrays of food and beverages. From a boat landing on the Neva at the Summer Garden, a flotilla of private excursion barges and cheap ferries plied their way back and forth between the inner city and the islands.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Wortman 1994-2000.

<sup>3</sup> Stolpianskii 1989, 154; Stites 2005, 40.

<sup>4</sup> Kuznetsov 1958, 101.

<sup>5</sup> Goncharov 1963, 35.

<sup>6</sup> *Finland and Russia* 1849, 510.

<sup>7</sup> Bremner 1840, I, 143-4 and II passim; Stolpianskii 1989, 71-75.

At the other pole, the extravaganzas of the very rich took place in more exclusive habitats. Residents of Stone Island in the 1840s could attend a French theater that played in a wooden house three times a week in summertime, though the audience remained thin.<sup>8</sup> A less respectable summer demimonde caroused till dawn. Sava Savvich Iakovlev, a millionaire wastrel and retired junior cavalry officer, became legendary for his hooliganism, decadence, and often salacious orgies. He brought in train an entourage, his so-called *mon-chers*, and a collection of ‘nymphs’ of various backgrounds and languages.<sup>9</sup> Tivoli, the estate of Count G. A. Kushelov-Bezborodko in Poliustrovo on the Neva provided another variant of suburban entertainment. In the late 1840s he employed for his vast dances and entertainments the orchestra of Josef Hermann who specialized in light semi-classical and dance music performed in large tents. An 1851 program featured the waltzes of Lanner, Strauss, and Gungl; and operatic excerpts by Donizetti and Hérold.<sup>10</sup> Kushelov, owner of *The Russian Word*, patronized writers, journalists, gamblers, easy women, and foreign visitors of dubious merit and hosted such visiting celebrities as Alexandre Dumas.<sup>11</sup> The affluent bohème, a combination of great wealth, slumming, large scale entertainment, and a milieu of slightly sordid adventure – though not unique at the time – would become a growing phenomenon in the future. The Korolev family’s Concordia dacha on the Vyborg Side, with maestro Henryk Gilman in charge of music, afforded yet one more example of the great social fluidity that popular music allowed and attracted.<sup>12</sup>

Between the strictly private gentry parties and hired entertainments on the one hand and the periodic public funfairs on the other, a site known as the Vauxhall of Artificial Mineral Waters – nicknamed Minerashi – became the central attraction of the islands. What divided it from the private dacha offerings was ticketing for the former and invitation for the latter. Located on the shore of the New Village district on land owned by Count Stroganov, it functioned in the morning as a spa which had been founded by Dr. Hermann Struve, brother of the noted astronomer.<sup>13</sup> I. I. Izler, an ex-pastry chef for Kushelov and the owner of the café-restaurant Dominique on the Nevsky, leased the grounds and buildings from noon onward late into the

---

<sup>8</sup> *Finland and Russia*, 510.

<sup>9</sup> Arnold 1892-93, 111.

<sup>10</sup> Stolpianskii 1989, 77.

<sup>11</sup> Panaeva 1928, 312 and n. 1.

<sup>12</sup> Rozanov 1978, 45; Stolpianskii 1989, 77.

<sup>13</sup> Arnold 1892-93, 110-111.



night. On Sunday August 22, 1837, he opened the Vauxhall, for an admission fee of five rubles, with a grand promenade through the brightly illuminated grounds to the sounds of an orchestra. Then followed a formal ball. Opened as a corporation, it contained a park, a ballroom, and the largest estrada theater and concert hall in St. Petersburg. Hundreds employees served thousands of customers of various social classes. An imitator of Moscow's successful Petrovsky Park and a showman with a taste for extravaganza, Izler put on Bengal lights and fireworks operated by artillerymen and gave names to his evenings, such as the 1851 "One of the Thousand and One Arabian Nights," featuring 1500 lanterns. Petersburgers, a memorist related, called Izler "a genius and a magician."<sup>14</sup> The classical violinist Yury Arnold recalled in his memoirs its success and modishness, a place where, in the summertime, the cream of the capital's society gathered.<sup>15</sup>

By the 1850s, thousands of visitors – off-work commoners among them – arrived on Sundays by boat or diligence, paid a modest admission price, and availed themselves of refreshments in food tents, the music, and the shows. The concert hall opened with an eclectic program of the Horse Guards Regimental band, soloists, instrumentalists, and a Gypsy chorus. The estrada theater featured military songs and dances, acrobats, and the Schletzinger ballroom orchestra. By 1853, the repertoire at Izler was approaching that of a variety house—magic acts, acrobatics, ballet solo, Tyrolean singers, exotic acts from the 'east'. Skits were performed with music on topical themes about holidays on the islands. One bore the banal but appropriate name "A White Night on the Gulf of Finland." By the 1860s, French operetta with the can-can were appearing.<sup>16</sup>

The music played at these sites covered a wide range of styles and genres, local variants on the light music played in band shells and pavilions all over Europe at the time. Military wind bands that pumped out the oom-pah-pah alternated with waltz orchestras. One of the many "Viennese" waltz kings—until the Strauss family usurped the throne – Johann Gungl, was born in Hungary; Otto Dütsch, a Dane, came to Russia in 1848. The choir of I.E. Molchaninov sang folk songs; others preferred to deliver popular romances, 'bandit songs', and ballads that soon became 'folk' songs. Among the most popular ensembles were the then famous Gypsy choirs of Vasiliev, Sokolov, and the Brothers Malchugin.<sup>17</sup> In 1843, the inveterate

<sup>14</sup> Stolpianskii 1989, 75. Quote: Skalkovskii 1906, 98.

<sup>15</sup> Arnold 1892-93, 110.

<sup>16</sup> Kuznetsov 1958, 109-112; Iankovskii 1937, 212-15.

<sup>17</sup> Stolpianskii 1989, 71-75; Kuznetsov 1958, 109-12.

musical snob, Vladimir Odoevsky angrily argued that people who did not like or understand Mikhail Glinka's then new opera *Ruslan and Liudmila* were not Petersburg audiences but rather "the public which acquired its musical education at Sunday festivities in Yekateringof or on Krestovsky island from the sound of the Tyrolean guitar or the barrel-organ."<sup>18</sup> Odoevsky, like many music critics of that and any era, often exaggerated for effect and turned a deaf ear to the sound of popular music and failed to concede the legitimacy of popular taste.

By far the most renowned and elaborate of the summer entertainment suburbs—the Pavlovsk Musical Vauxhall – emerged as the offspring of Russia's first railroad line, the Tsarskoe Selo Railway. In September 1836, the first passenger car ran from Pavlovsk to Tsarskoe Selo in 15 minutes. The longer Petersburg-Tsarskoe Selo run, started in 1837, took on the average thirty-five minutes. Called 'fabled steed' and 'mechanical elephant', it made hardly slower speed than today's. The press reported that by a Sunday in June 1837, 1,833 passengers had ridden the line—more than half with 40 kopek tickets, the rest paying 80. By May 1838, almost 14,000 passengers had made the voyage. Both ends of the rail line became vibrant gathering centers, new public spaces in the empire's capital. The iron road to Tsarskoe Selo and Pavlovsk began at the station on Zagorodny Prospect in St. Petersburg – now the site of Vitebsk Station – a near contemporary of early stations in Europe and North America: Baltimore, Liverpool, London, Amsterdam, Leipzig, Potsdam, and Vienna.<sup>19</sup> Overnight, train cars and stations became topical themes in the entertainment world, such as P. S. Fedorov's vaudeville, *A Trip to Tsarskoe Selo by Rail*, and the merchant comedy, *Excursion to Tsarskoe Selo*. Sheet music followed suit and all copies of the popular "Steam Engine Mazurka" sold out at a music shop in the city.<sup>20</sup>

At the end of the line lay Pavlovsk which the new railway transformed into an entertainment site for almost a century. There is some irony in the fact that the busiest center of 'popular' music in Russia during this era was founded right beside one of the great dynastic venues for classical music: the suburban palace of Tsar Paul and Empress Mariya Fedorovna. Pavlovsk, called Paul-Lust in 1780s, was the last of the great suburban palaces to be built – after Gatchina, Oranienbaum, Peterhof, and Tsarskoe Selo—and was given to Paul by Catherine the Great in 1777 on the birth of his son,

<sup>18</sup> *Russians on Russian Music* 1996, 29.

<sup>19</sup> Rozanov 1978, 24, 27, 30. See also Haywood 1969; idem, 1998; Meeks 1956.

<sup>20</sup> Rozanov 1978, 28, 30; *Century of Russian Ballet* 1990, 112.

Alexander. Paul preferred Gatchina which he ran like a military base, but his widow Maria Fedorovna (Sophia Dorothea of Württemberg) turned Pavlovsk into a center of solo and chamber music played by professionals and amateur courtiers throughout most of the reign of Alexander I. A keyboard pupil of Dmitry Bortnyansky, she held concerts in the elegant Grecian Hall of the palace and patronized musical training for aristocratic girls. Tsar Nicholas I's wife, Alexandra Fedorovna, had as court pianist the renowned Adolphe Henselt. Amateur theatricals, serenades by boat-borne musicians, and mock 'village festivals' copied the styles then in vogue at European courts. This and other lofty places were altogether closed to the general public. After Maria Fedorovna died in 1828, Tsar Nicholas's brother Mikhail replaced classical music with the sounds of drums and martial music and the spectacle of drill.<sup>21</sup>

In the 1830s, the leafy town of Pavlovsk became a summer colony like Tsarskoe Selo, administered by a town council and a gathering point for Pushkin, Gogol, Zhukovsky, and other luminaries. But since Pavlovsk boasted a population of only about 6,000, and since the freight business remained weak, the railway authorities needed something to induce a bustling passenger flow in order to cover expenses. The director of the line, F. A. Gerstner, promoted health concerns and argued that no capital in Europe required more movement of its denizens to salutary climes in summer than did St. Petersburg. He held a competition for the building of a Vauxhall and hotel. It was awarded to the Petersburg architect, A. I. Stackenschneider and in July 1836 construction began. The new complex comprised a 40-room hotel, the huge Vauxhall with dining, dancing, and concert facilities, a billiard room, a semicircular gallery, and adjacent buildings and pavilions—all set amid park-like grounds adorned with fountains. The restaurant was run by Coulon, the proprietor of the Hotel St. Peterbourg (later Hotel Europe, completed 1834) and of the journal, *Northern Bee*. Live dining music resounded from a gallery.<sup>22</sup>

The Pavlovsk Musical Vauxhall opened to the public in May 1838 almost two years after the inaugural excursion of the Petersburg-Pavlovsk train. The railway track was laid right through into the grounds to the Circular Hall of the Vauxhall as the terminal of the line, and a walkway linked the train to the hotel. The Pavlovsk Vauxhall came to be associated with boarding a train: thus the Russian word for it, *vokzal*, gradually became and

<sup>21</sup> Timberlake 1982, 101-3; Rozanov 1978, 1-23; Arnold 1982-93, 12-16, 138; Muzalevskii 1961, 130-2.

<sup>22</sup> Rozanov 1978, 26-27.

remains the generic word for railroad station in that language. The two wings of the Circular Hall containing the hotel rooms were flanked by winter gardens. Outdoors a band shell was erected for military band concerts in summer time. Indoors, a chorus or small ensemble in the restaurant played music for dining and dancing. With a stage and a ballroom modeled on those in gentry assemblies added, the Pavlovsk Vauxhall quickly became a fashionable gathering place for the Petersburg *beau monde*. At various times, Karl Bryullov, Ivan Turgenev, Fedor Dostoevsky, Ivan Goncharov, Avdotiya Panaeva, Mikhail Glinka, Modest Musorgsky, and Cesar Cui resided nearby. After an 1844 fire, insurance coverage allowed the owners to rebuild and remodel the Vauxhall within three months. Situated less than an hour's ride from the city, Pavlovsk's free concerts brought in bigger and more socially diverse audiences than did any other concert hall in the country at that time.<sup>23</sup> Music became the great attraction for passengers, particularly those who could not afford the Philharmonia concerts or had no taste for its classical repertoire.

The peasantry of Russia had long been in the habit of riding horses or carts to another village for a wedding; gentry shuttled regularly by carriage and sleigh between estate, provincial ball, and Moscow or Petersburg. And numerous other people hit the road on pilgrimages, government business, commerce, or for just sheer travel. For urban folks, however, the boat ride to the islands of St. Petersburg in order to savor a day of rest and amusement linked a mode of transportation to paid – for pleasure; so in a sense these journeys constituted the beginnings of the excursion and domestic tourism for large numbers of people. We can only speculate how much the exotic chugging metallic monster belching smoke might have enchanted day trippers off for evening of dinner and dance along the straight steel roads. What did they see and hear on arrival?

Since the Pavlovsk entertainments began about nine months after the inauguration of the Izler establishment, it is no surprise that the former drew from the latter – and its predecessors – in fashioning its initial programs. Indeed performers often shuttled between to the two sites. Estrada or variety acts alternated with instrumental musical offerings. The former included dances, divertimentos, and choral performance—often eclectically mixed in the manner of the popular stage of that day. Among the vocal ensembles were V. G. Zhukov's male factory choir and two groups who played at other venues: the oft-mocked Tyrolean vocal quartet offering Alpine re-

<sup>23</sup> Rozanov 1978, 24-30; *Istoriia zheleznodorozhnogo transporta Rossii* 1994, I, 43-7, illustration, p. 46.

frains, and the folk singing Malchugin brothers. The Malchugins' success illustrated the growing mobility of performers from town to town or—in the classic success narrative—from the provinces to the capitals. They began as a local choir in Kazan and made it to St. Petersburg in 1848. What they brought to the capital suburbs was performance by a small team of tenor, soprano, three other voices, a guitar, a piano, and the gestures and singing styles of lower townspeople.<sup>24</sup>

Most popular by far of those who offered non-classical vocal music were the ubiquitous Gypsy choirs, sometimes comprising real ethnic Roma or Gypsies, but often enough Russians or Ukrainians singing in the 'Gypsy manner'. Foremost among these, the already famed Moscow group of Ilya Sokolov arrived from Moscow in the 1830s to play on both the Izler and the Pavlovsk stages. Sokolov pioneered in 'russianizing' popular music by giving composed folk tunes and the hugely popular urban romances of Alexander Varlamov, Alexander Alyabev, and Alexei Verstovsky, a Gypsy spin whose broad performance style suggested romantic abandon and emotional freedom. This approach, which dramatized music by means of body language and facial gestures associated with the lower classes rather than stylized physical vocabulary of opera, won the affection of people from every social strata right up to the revolution of 1917 and—to the chagrin of Soviet elitists – beyond.<sup>25</sup>

The managers at Pavlovsk privileged orchestral dance music by allowing visitors free entry to hear the singing but made them pay five paper rubles to stay for the dance. Concert and dance music, originally offered by a military band, came under the purview of a series of Germanic conductors and their orchestras. Within a few years, the waltz had conquered Russian dancers, which led Glinka to compose a fantasy waltz, a favorite of the audiences who dubbed it the 'Pavlovsk Waltz'. The mostly Habsburg visiting conductors – who called themselves Viennese wherever they came from – brought with them a special *Mitteuropa* style of 'middlebrow' entertainment that had begun in beer gardens and spas and eventually – as salon or palm court music – conquered restaurants, cafes, hotel lobbies, and luxury steamships all over Europe and beyond. At Pavlovsk and on the islands, the conductors, fiddle in hand, offered a repertoire of light – meaning 'feel good' – music, alternating band marches and waltzes, excerpts from currently popular operas, and topical tunes associated with the locale: a 'Pavlovsk Polka' and a spate of 'railroad' waltzes, marches, and gallops.

<sup>24</sup> Kuznetsov 1958, 62-3, 102.

<sup>25</sup> Kuznetsov 1958, 102; Rozanov 1978, 30-46; Stites 1992, *passim*.

Joseph Hermann of Vienna, arrived in 1838, and in time his waltz ballroom orchestra supplemented the salon music with an impressive array of Russian pieces, opera arias, and short classical pieces such as the Beethoven *Prometheus Overture*. He was spelled for a while by Joseph Labitski, a waltz prince and veteran of the Carlsbad spa who brought with him a fourteen-piece band. When the Hungarian-born Johann Gungl arrived from Berlin, the market for conductors produced a game of musical podia as the maestros moved from Pavlovsk to Izler to Korolev and back to Pavlovsk. In the 1850s, Johann and Joseph Gungl – uncle and nephew – both had conducting posts in the St. Petersburg suburbs and for five years dominated the suburban musical scene: Johann at Izler and Josef at Pavlovsk.<sup>26</sup>



Pic.: *Pavlovskii muzyka'nyi vokzal*<sup>27</sup>

A media blitz over popular suburban music erupted when the most renowned among waltz royalty came to Pavlovsk: Johann Strauss Jr. In terms of celebrity and lasting fame, his reign every summer from 1856 to 1865 brought Pavlovsk to the pinnacle of its musical prestige. Classical virtuosos such as the cellist Adrien Servais and the violinist Henri Vieuxtemps had appeared – but only for one or two engagements. Strauss brought twelve

<sup>26</sup> Rozanov 1978, 30-46; Kuznetsov 1958, 102.

<sup>27</sup> Findeizen 2005, 57.

men with him from Vienna and gathered the remaining musicians locally, eventually expanding to an orchestra of 42 players. Audiences loved his performance style: as he led the orchestra, he played the violin intermittently and danced around to the music, playing constantly to the audience in the Viennese *gemütlich* manner. The handsome and dashing twenty-nine year old also made a non-musical impression on female attendees who swooned over him. In the 1850s, a cartoon by N. Stepanov depicted outraged husbands infuriated by the conductor's popularity with their wives. In 1860, a crowd broke into pandemonium and destroyed music stands and instruments and dishes because Strauss had disappeared from the podium for a while – a habit of his. The cartoons, rumors, and gossip about Strauss attracted large crowds; commuters could buy autographed pictures of him for ten kopeks from the railroad company. On one of several such occasions, Strauss was honored on a Sunday in August 1857 by a benefit concert, a 'Grand Musical Festival' with illumination and major fireworks that charged one silver ruble for entrance.<sup>28</sup>

Although Johann Strauss did fall in love while in the Russian capital, his primary concern was producing music and having the public listen to it. He abandoned the dining experience with music in favor of concertizing – both in the atmosphere and in the program. Strauss banned eating during his performance, allowing a military band to perform that service. His musicians began at seven in the evening and lasted until 11:00 when they played the national anthem, after which the guests boarded the last train for St. Petersburg. While Izler at the Mineral Waters was clinging to the recognized popular genres of the variety show and circus, Strauss' semi-symphonic ensemble played works by Beethoven, Bach, Mendelssohn, Schubert, Bellini, Verdi, and Wagner.<sup>29</sup> The *Theatrical and Musical Herald*, which catered to high culture, thanked Johann Strauss for not feeding the public overplayed Verdi tunes (though he did that too) and offering instead serious music.<sup>30</sup> And the arch-elitist critic Vladimir Stasov saw the Strauss concerts as a perfect training ground in the sounds of instrumental music for the Russian ear.<sup>31</sup>

From a broader perspective Johann Strauss and his fellow conductors echoed, on a different plane, developments in the larger world of music making in the Russia of this era. One was the effort of symphonic societies

<sup>28</sup> Rozanov 1978, 47-57; Massie 1990, 119-23; *Muzykalnyi i teatralnyi vestnik* 1857, 445.

<sup>29</sup> Rozanov 1978, 47-57; Stolpianskii 1989, 77.

<sup>30</sup> *Teatralnyi i muzykalnyi vestnik* 1858, 298.

<sup>31</sup> Stasov 1968, 16.

to educate audiences in non-programmatic classical instrumental music. Notable also was the hegemony of foreign, and especially ‘German’, professional orchestral musicians and conductors in both realms. In the classical sphere, this led eventually to a successful campaign by the great Russian pianist, Anton Rubinstein, to create a conservatory in Russia for the training of serious musicians. Yet another parallel was the cult of the visiting virtuoso which had led to the lionizing of guests such as Berlioz, Liszt, and dozens of opera and ballet stars from European stages. Scholarship that explores the musical tastes of Russians in the era has largely focused on elite audience at classical concerts and the opera.<sup>32</sup> Yet, in the same early decades of the nineteenth century, a much broader social contingent was learning a good deal about the many varieties and styles that music could take, thanks to the eclectic mixes everywhere in the suburban sites and particularly due to the repertoire of Johann Strauss who did not hesitate to insinuate a more serious program into the usual assortment of ‘light’ music. And all of this may at least partly explain the enlargement of audiences for serious music after the emancipation of the serfs in 1861 and the opening of Russia’s greatest outpouring of symphonic production.

In 1837, a newspaper reporting on the ball at Mineral Waters, commented that Izler had created “a melding of summer and winter”— since dance, according to polite custom, had been a strictly winter affair – with its gowns and rituals and lordly ambience.<sup>33</sup> Observations about audiences and reception must of course remain speculative. But perhaps this journalist was hinting that the Petersburg gentry had stretched the social code; or that the public at large could make their own social and amusement calendar; or even that urban society was emulating eternal habits of the peasantry who danced only in summer since they had no indoor gathering places to do it otherwise except in the narrow confines of the home. In any case at some of the balls and concerts, the audience was modestly clad.<sup>34</sup> This and other snippets of information reveal that summer audiences were socially variegated and that its lower ranks were able to mix, at least temporarily, with the more privileged classes. A broad public could, for a fee, enjoy some of the pleasures of the gentry manor house such as billiards and illuminated parks as well as those things provided to wealthy lords by their unfree serfs: dinner music, concerts, shows. While it would be unwise to claim that these few sites constituted elements of a burgeoning civil society, the spectacle of

<sup>32</sup> *Russians on Russian Music* 1995; Stites 2005, 88-125; Buckler, 2000.

<sup>33</sup> Stolpianskii 1989, 74.

<sup>34</sup> Stolpianskii 1989, 77.



summer crowds, mingling in places of mass entertainment demonstrated that Russia contained growing alternative spaces to the manor house, gentry club, and village street.

## Bibliography

- Arnold, Iurii (1892-93), *Vospominaniia*, II, 3 vols. Moskva.
- Bremner, Robert (1840), *Excursions in the Interior of Russia*, 2 vols. London.
- Buckler, Julie (2000), *The Literary Lorgnette: Attending Opera in Imperial Russia*. Stanford: Stanford University Press.
- A Century of Russian Ballet (1990), *A Century of Russian Ballet: Documents and Accounts, 1810-1910*. Roland John Wiley (ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Finland and Russia (1849), *Finland and Russia*. London.
- Findeizen, N.F. (2005), *Pavlovskii muzykal'nyi vokzal. Istoricheskii ocherk (1838-1912)*. Sankt-Peterburg.
- Goncharov, Ivan (1963), *Oblomov* (tr. Ann Dunnigan). New York: Signet.
- Glagoleva, Olga (1993), *Russkaia provintsialnaia starina: ocherki kultury i byta Tul'skoi Gubernii XVII-pervoi poloviny XIX vv.* Tula: Ritm.
- Haywood, Richard (1969), *The Beginnings of Railway Development in Russia in the Reign of Nicholas I, 1835-42*. Durham: Duke University Press.
- Haywood, Richard (1998), *Russia Enters the Railway Age, 1842-1855*. Boulder, East European Monographs. New York: Columbia University Press.
- Iankovskii, M.O. (1937), *Operetta*, Leningrad: Iskusstvo.
- Istoriia zheleznodorozhnogo transporta Rossii (1994), *Istoriia zheleznodorozhnogo transporta Rossii*, tom 1: 1836—1917. Fadeev, G.M. & Kraskovskii E.I.a. (eds.). Sankt Petersburg: Ivan Fedorov
- Kolesnikova, Anna (2005), *Bal v Rossii XVIII-nachalo XX veka*. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika.
- Kuznetsov, Evgenii (1958), *Iz proshlogo russkoi estrady: istoricheskii ocherk*. Moskva: Iskusstvo.
- Massie, Suzanne (1990), *Pavlovsk: the Life of a Russian Palace*. London: Hodder and Stoughton.
- Meeks, Carroll (1956), *The Railroad Station: an Architectural History*. New Haven: Yale University Press.
- Muzalevskii, V.I. (1961), *Russkoe fortepiannoe iskusstvo: XVIII – pervaiia polovina XIX veka*. Leningrad: Iskusstvo.
- Muzykalnyi i teatralnyi vestnik (1957), *Muzykalnyi i teatralnyi vestnik*, 55 (August 25, 1857).
- Nekrylova, Anna (1988), *Russkie narodnye gorodskie prazdniki, uveseleniia, i zrelishcha: konets XVIII-nachalo XX veka*. Leningrad: Iskusstvo.
- Panaeva, Avdotiia (1928), *Vospominaniia, 1829-1870*, 2 ed. K. Chukovskii (ed.). Leningrad: Academia.
- Rozanov, A.S. (1978), *Muzykalnyi Pavlovsk*. Leningrad: Muzyka.
- Russians on Russian Music (1996), *Russians on Russian Music, 1830-1880: an Anthology*. Stuart Campbell (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Skal'kovskii, K. A. (1906), *Vospominaniia molodosti (po more zhiteiskomu) 1843-1869*. Sankt-Peterburg: Tipografiia A. S. Suvorina.
- Stasov, V. V. (1968), *Selected Essays on Music* (tr. Florence Jones). New York: Praeger.
- Stites, Richard (1992), *Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1900*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stites, Richard (2005), *Serfdom, Society, and the Arts in Imperial Russia*. New Haven: Yale University Press.
- Stolpianskii, P. (1989), *Muzyka i muzitsirovanie v starom Peterburge*. Sankt-Peterburg: Muzyka.
- Teatralnyi i muzykalnyi vestnik (1858), *Teatralnyi i muzykalnyi vestnik*, 25 (June 29, 1858).
- Timberlake, Charles (1982), "Pavlovsk Palace and Park." *Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History*, XXVII. Gulf Breeze: Academic International Press.
- Wortman, Richard (1994-2000), *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*, 2 vols. Princeton: Princeton University Press.

## THE DACHA KINGDOM

## Дачные игры

Игровой компонент культуры восходит к архаическому ритуалу и в переходные периоды выступает активным агентом семиозиса, ферментируя процесс знаковых преобразований. Его локализация в том или ином сегменте культуры определяет статус последнего в ряду других компонентов той или иной культурной и/или художественной общности. На рубеже 19 – 20 века и в последующие десятилетия такой локализацией в русской культуре выступил концепт дачи и сформированный им “дачный текст”. “Дачный текст”, вовлекающий в свою орбиту литературу, искусство, бытовой дискурс, которые возникают в условиях дачного существования и это существование отражают/моделируют, обнаруживает явный структурный изоморфизм по отношению к игре, что служит указанием на его значимость в выработке нового языка культуры. Иными словами, в российских условиях дача – это не просто рекреационное пристанище горожанина, проводящего свой досуг на природе, это прежде всего поле игры, в ходе которой происходит ресемантизация общекультурных стереотипов и социально-культурных конвенций. Игровой модус “дачного текста” проливает свет на важные компоненты мифопоэтики русской культуры символизма и авангарда в их взаимной соотношенности.

Следует различать игру (в частности, игры на даче, дачные игры) в культурно-историческом плане и игру как уровень организации “дачного текста” в плане семиотическом. Во втором случае дачный лудизм выстраивает пространство смыслов этого текста в соответствии с задаваемым игрой условной модальностью. В настоящем очерке предложена попытка осветить концепт дачи в русской культуре в аспекте преимущественно последнего. Игровой компонент дачного текста выстраивает его нарратив в соответствии с синтактикой и прагмати-

кой игры. Он определяет тип “дачных текстов” по жанру и виду: преобладает мемуарная литература, домашняя шутливая поэзия, игровая, с обилием цитат и развлекательных конструкций архитектура. Игровая прагматика “дачного текста” определяет и игровое поведение, игру как компонент “текста жизни” обитателей дачных поселков. Наконец, игра в дачу, дача как игра находит выражение в игровой поэтике визуальных искусств (от живописи до открыток и фотографий) и архитектуры, пародийно цитирующих образцы высокого стиля.

Дача входит в набор специфических реалий русской культуры, которыми последняя характеризуется с позиций “чужого”, как это было убедительно показано в ряде исследований<sup>1</sup>. Феномен дачи обусловлен соединением ряда воспитанных предыдущими веками свойств характера русского человека и одновременно встроено в модернистское сознание новой эпохи. Подобно зеркалу “дачный текст” отражает это соединение. Неигровая по своему характеру русская философия и литература рубежа веков с ее поисками предельных истин разворачивается неожиданной гранью в ино(дез)онтологичности дачного пространства, которое осмысливается таковым на фоне опыта дворянского поместья и стоящих за ним культурных смыслов, в предощущении, а в последствии и в реализации внесловного домо- и землевладения, но с сохранением характерных для русского менталитета в целом парадоксальности и негативной рефлексивности.

В плане осязаемого налета минорности, которым отличается самописание русского человека, “дачный текст” можно трактовать как семиотически отмеченную зону, где дача входит в характерный набор маркированных оппозиций, реализующих противопоставление в тождестве: “жизнь как не-смерть” = “лето как не-зима”. Дача – это нечто среднее между поместьем и мечтой/воспоминанием о нем, то есть его отсутствием, а жизнь на даче приходится на краткий промежуток времени между затяжными русскими зимами, и потому имеет характер столь же фоново-негативный. Игра в “дачном тексте” является своеобразным заполнением значимой пустоты культурного пространства временной загородной жизни, его невсамделишности, характером “за вычетом”, “понарошке”.

Дезонтологичность “дачного текста” обусловлена и целым набором других свойственных ему пограничностей. Так, пограничен пространственный статус дачи – ее местоположение вне города, но не в дерев-

---

<sup>1</sup> Цивьян 2007.

не, где-то в межумочном пространстве пригорода, но не фабричного, от культуры, а приближенного к природе, хотя и несущего все черты городского менталитета обитателей. Отграниченное от остального мира по принципу социально-сословной и кастово-профессиональной селекции (что доводится до “совершенства” контролем сверху уже при советской власти – дачные поселки писательские, академические, художественные, госаппарата и пр.), дачное пространство замкнуто в себе, и это порождает локальную мифологию – *genius loci*, диктует определенные поведенческие стереотипы поведения “действующим лицам”. Элементом предписываемого поведения можно считать общеизвестную неустроенность дачного быта – тоже свидетельство пространственно-временного пограничья, на которое ориентирована экзистенциальная стратегия дачной жизни. Пограничное замкнутое пространство и регламентированность поведения его обитателей являются необходимыми условиями игры как таковой. “Дачный текст” в полной мере отвечает этим условиям, в рамках которых углубляется, осмысливается и посредством игры как ритуала упрочивается свод новых значений в культуре.

Дачные игры, дача как игра стимулируются и спецификой “дачного текста” в плане характерного для него снижения семиотического статуса оппозиций, мифологических стихий и страстей: на даче природа/культура низводится к саду/газону, океанический комплекс – к лодочным катаниям и купанию, любовь – к дачному роману. В рамках реализации концепта дачи происходят игровые нейтрализации традиционных значений (условностей летнего гардероба, этикета), акцентируются инверсии (карнавализация мужское/женское, доминанта телесного низа), возникают сдвиги (центр/периферия описываются “дачным текстом” как городское пространство со смещенным центром – дачи петербургские и московские) смысловых установок. Город, присутствующий на даче как общесемиотический фон и культурный контекст, обретает семантику телесности: в пространстве загорода возрастает доминанта телесно-асоциального в противовес бестелесно-социальному в двух российских столицах.

Одна из главных установка “дачного текста” на автореферентность (досуг как бытие *sub specie*) реализует эстетическое измерение дачного лудизма. Дачная “игра в жизнь” наделена театральностью, и, ориентированная сама на себя, самодостаточна и самопрограммируема как полноценный художественный организм. Отсюда – мотив креа-

тивности в текстах о дачной жизни и игровая креативность как структурный компонент самоописания в “дачной” литературе.

Еще одно важное свойство русского “дачного текста” – его обращенность к топосу детства. Играми детей, с детьми, воспоминаниями о детстве “дачный текст” обращен к мифологическому началу жизни, ее “нулевому” уровню значений. Homo ludens “дачного текста” актуализирует топик детства, отсылая к ритуально-циклическому времени. Наряду с вышеуказанными семиотическими характеристиками, топика детства, особенно в ее игровом модусе, выявляет структурную близость дачи поэтике авангарда и манифестирует происходившее в пространстве концепта слияние культуры Серебряного века с постсимволизмом.

Предложенное нами суммарное описание игрового модуса “дачного текста” в полной мере может быть проиллюстрировано его прибалтийским вариантом. Последний – имеем в виду “дачный текст” русской Финляндии (пригороды Петербурга Куоккала, Терийоки и другие), Эстонии, Латвии – может рассматриваться как частный случай “петербургского текста” культуры. Материал различных видов словесного и визуального художественного творчества – литературы, мемуаров, живописи, фотографии, архитектуры (Северянин, Чуковский, Лихачев, Андреев, Самойлов) – дает возможность проследить, как сквозь призму игры кристаллизуется словарь “дачного текста”, возникает набор признаков специфического дачного нарратива, а также как “дачный текст” с его семантикой перевернутого мира встроен в процесс трансформации культурной парадигмы. Коротко остановимся лишь на ряде отмеченных позиций.

Циркумбалтийский регион добавляет собственные элементы в набор признаков “дачного текста”. Упоминавшиеся выше свойства граничности дачи здесь, на прибалтийской даче – в силу климатических и природных свойств этого края – обострены до крайности. И без того недолгое северное лето на берегах Балтии воспринимается особенно быстротечным, и это сжатие времени входит в противоречие с пространственной “длительностью” пейзажа, его протяженностью по линии горизонта и бескрайностью не нарушаемых вертикалью водных гладей. Географический фактор, как представляется, повлиял на характер дачных игр и вместе с тем, обусловил их особую истовость, а соприкосновение с иноязычной и инокультурной средой не могло не определить повышенного уровня креативности в стремлении к эстетич-

зации самих границ между культурами, их испытанию на прорыв, моделируемый прежде всего в игре.

Специфика дачных игр в русской Прибалтике обусловлена и дополнительной сниженностью мифопоэтических признаков региона – доместицированной природе (мелкое и малосоленое море заливов, утратившее традиционные признаки стихии) и особой маркированности телесного начала в условиях переменчивого морского климата. При этом характерный для “дачного текста” в целом сдвиг семантики городского пространства (дача в пригороде) усиливается здесь до размеров государственных (Прибалтика как “почти заграница” – что было особенно актуально для советского времени). Положение Прибалтики на западных рубежах империи своей двойственностью – близостью к Европе (ею, несомненно, отмечена культура прибалтийских народов), с одной стороны, и маргинальностью с позиций как носителей имперского сознания, так и европеизированного (Прибалтика как задворки Европы) – вносит особую динамику и в “дачный текст” региона, колебательное движение между крайностями, особенно располагающее к игре как средству эти крайности и рождаемую ими дезонтологичность (как безместность) замостить, смягчить их обостренность выведением ситуации на метауровень, на разговор-описание и описание-воспоминание.

Прибалтийские дачники оказались особенно плодотворны на мемуары. В рамках этого мемуарно-дачного дискурса с естественностью возникает игра, а последняя определяет его повествовательные принципы. Так, в воспоминаниях о своем дачном детстве Лидия Чуковская пишет о К.И.Чуковском: “Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом. И во всякий труд норовил втянуть ребятшек, превращая для нас в игру всякий труд. На воле и дома.”<sup>2</sup> Характерно бинарные противопоставление игры и труда, воли и дома, порождаемые вышеописанной граничностью дачного пространства.

Дача – это прежде всего игра как таковая, набор спортивно-оздоровительных и прочих летних игр на воздухе, упорядочивающих время досуга, а в дачном нарративе выстраивающих горизонтальные связи наподобие каталога. Приведем пример из воспоминаний о дачном детстве Д. Лихачева: “Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на

<sup>2</sup> Чуковская 1996, 418.



гигантских шагах, делали на них "звездочку", при которой, "закрученный" другими, катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс.”<sup>3</sup>

Каталогизации и кумулятивной повествовательности вторит “текст дачной реальности” – море, о чем писала Л.К.Чуковская: “...Игрою игр нашего детства было море”. Сниженность морской стихии в Прибалтике порождает лудистский эффект водных процедур. Развлечения в виде катания на лодках, купания в купальнях, пляжной акробатике стали особенностью прибалтийских дач. Мотив моря, водной среды в мемуарах прибалтийских дачников воспринимается фрагментом той части петербургского текста, которая отсылает к Медному всаднику. Отсюда – особое соотношение горизонтали и вертикали с соответствующими культурными коннотациями этой оппозиции и отсылкой к параллелям природа/культура, стихия/власть, индивид/государство. На прибалтийской даче эти соотношения переформулируются в соответствии с игровой стихией.

Море на даче как пространство снятых ограничений и низвергнутой иерархии провоцировало игры горизонтального развертывания. Д.С. Лихачев вспоминал: “Владимир Галактионович Короленко чрезвычайно любил бросать на тихую поверхность моря плоские камешки и был своего рода чемпионом этой игры. Я тоже любил это занятие, и осенью 1931 года мы развлекались с племянником писателя Владимиром Юльяновичем Короленко во время своих тайных прогулок в лесу у соловецких озер ...”<sup>4</sup>

В противовес горизонтальным играм “игрой” вертикального развертывания служили гигантские шаги, упоминающиеся во многих дачных мемуарах. Игрой в опрокинутую вертикаль условно можно считать и грязелечение. Грязь – низовая стихия, эквивалентная телу. Игровой аспект выступает здесь как принцип традиционной культуры излечения подобного подобным. Погружение в грязь – это и своего рода социальная инверсия. Интересно, что она имеет место в эстонском курорте Хаапсалу, где дачная традиция петербургской интеллигенции наложилась на изначально высокий аристократический круг (курорт основан Александром III). Игра проникла здесь во все слои общества. Для детей монарствующих особ на их даче в Пулапяе близ Хаапсалу были построены специальные военные укрепления для игр,

<sup>3</sup> Лихачев 2000, 88.

<sup>4</sup> Там же, 93.

привезены игрушечные пушки и другая артиллерия: дети-дачники играли в армейские игры. Игровая стихия распространилась и на весь быт этого дачного курорта-грязелечебницы: железную дорогу, построенную в Хаапсалу в 1886 году, с самого начала называли “Кегельбан” – по созвучию с названием узловой станции Кейла. Хаапсалуское грязелечение тоже погружено в контекст игр – баджио, лаун-тенниса, пляжных развлечений. Вертикальная доминанта грязелечения (хотя бы в смысле опрокинутой иерархии) делает не случайным и тот факт, что здесь в 1910 году на даче Юргенса жил такой персонаж вертикального развертывания русской культуры, как Николай Рерих.

Прибалтийская дача предполагала подчеркнуто игровое поведение своих обитателей. “Дачный текст” при этом вступает в непосредственный контакт с эмпирией жизни, выстраиваясь как текст жизнестроительства. Примером может служить дом И. Е. Репина в Куоккала, игровая стихия которого обеспечивалась правилами Н. Б. Нордман, ее знаменитым супом из сена, регламентацией поведения гостей в виде записочек, крутящимся столом без прислуги, штрафами за нарушения предписаний. В духе уже упоминавшегося кумулятивного принципа повествования Лихачев писал о поведении дачников: “Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутивными выставками. Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре.”<sup>5</sup>

Театрализации “дачного текста” соответствовали театрализованные любительские постановки как игровой досуг. У Д.С. Лихачева находим: “На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Миновича (Дунаева) “Графиня Эльвира””.<sup>6</sup> Но были и “серьезные” спектакли. Репин читал свои воспоминания, Чуковский – недавно написанного им “Крокодила”, Наталья Нордман в доме Репина знакомила с текстами о травах и травоедении. Описания чтения текстов в мемуарной дачной литературе, преимущественно игровых или в игровых ситуациях, выступают как тексты о текстах, то есть, как рефлексия автореферентности “дачного текста”, косвенно отражая тем самым еще один аспект дачного лудизма.

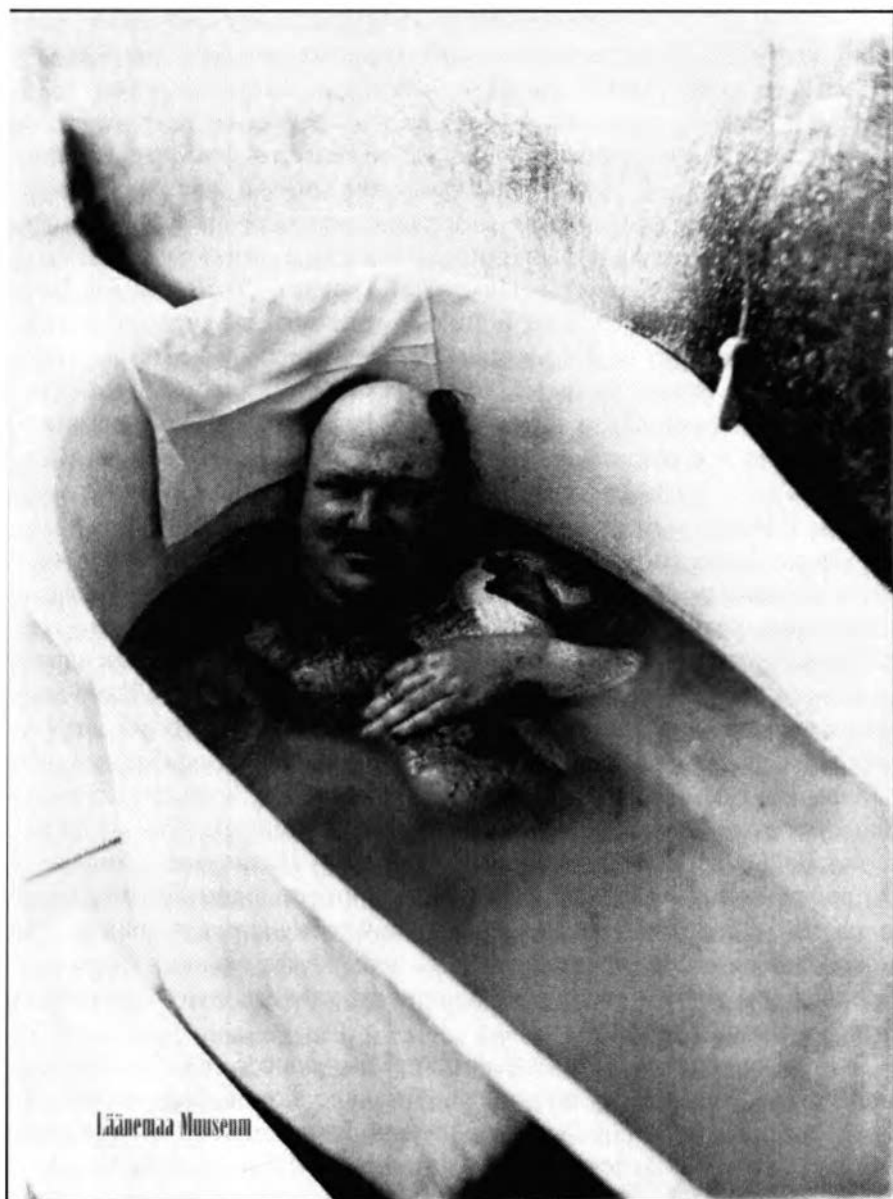
<sup>5</sup> Там же, 90.

<sup>6</sup> Там же, 87.

Дачные театральные “игры” соответствовали творческой натуре их авторов: надрывные игры, с двойным смыслом Л. Андреева, его *commedia dell’arte* с представлением и фотоаппаратом – одна из проекций поэтики писателя. Многообразие ролей, которые Андреев играл в жизни (имеем в виду описанные у Чуковского его перевоплощения в моряка, фотографа, живописца и пр., соответствовавшие разнообразию сменявших друг друга увлечений писателя) и которые приходились в основном на время его пребывания на своей даче-вилле на Черной речке, в сочетании со стилизованной, также “ролевой” архитектурой его дома выстраивают индивидуальный “дачный текст” мастера, соответствующий его литературному творчеству и выплескивающийся в пространство текста “жизнестроения”.

Модус театральной игры накладывает отпечаток и на визуальный код прибалтийского “дачного текста”. Игровой семантики исполнена архитектура дач: обилие цитат из традиционной русской, немецкой, английской, швейцарской архитектуры добавляет важные звенья в проблематику полистилизма в сецессии – эпохе, когда закладывались основы прибалтийского дачного текста и происходило основное строительство. В архитектуре русских дач в Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу имеет место игра историческими и экзотическими стилями, многоязычность форм (мавританская орнаментика в сочетании с севернорусскими кружевами декора), игровые элементы – непременно башенки (чтобы смотреть на море, а также для создания вертикали, столь важной в горизонтально развернутом пейзаже), террасы и балконы на углах здания, обнаруживающие тяготение к театрализованности быта. Примером дачно-курортного павильона может служить Курхауз в Хаапсалу с его резными деревянными украшениями, наполненным светом интерьером с окнами, глядящими на воду залива. Не случайно именно в непосредственной близости от Курхауза в начале XX века была устроена дорожка для игры в баджио (нечто вроде современного боулинга).

В связи с визуальной репрезентацией “дачного текста” особого разговора заслуживают открытки. Курортно-дачные открытки образуют самостоятельный план игры. На примере открыток и фотографий рубежа веков и 20-х годов (материал, любезно предоставленный нам архивом исторического музея города Хаапсалу) видно, что в них реализуется модель игрового поведения – это и фотографическая фиксация факта игры как “текста реальности”, где позирующие бессознательно следуют принятым ролевым правилам курортно-дачного



Илл.1

имиджа, и игровой характер самой изобразительной риторики “дачного текста”. Художественно-изобразительная фактура открыток и фотографий несет в себе следы своей эпохи. Так, изображения играющих в лаун-теннис отсылают к поэтике примитива и круга мирискусничества (противопоставленность маленьких фигурок игроков огромным деревьям, кукольно-неуклюжие позы, марионеточность действия). Детские фотографии заставляют вспомнить барочный примитив (крупный план, графичность, стесненное пространство фона, повышенный статус детали). Пляжные открытки 20-30-х годов опираются на нарративные композиции в живописи этого времени, реализующие поэтику новой фигурации, которая наделена чертами характерной экспрессивности, бытового гротеска и (само)иронии. Акцентируется сниженный образ тела – фотографические карточки демонстрируют тело как объект игры, иронически-дегероизированную обнаженность тела (виды на пляже, курортные танцы в халатах, любительская акробатика на пляже) [Илл. 1 и 2].

Роль дачи как активизатора творческого потенциала известна и по месту в культуре дачи М. Волошинова, и по уникальной творческой атмосфере, возникшей в подмосковном Переделкино. Интересно, что прибалтийские дачи инициируют это начало творчества и многократно его усиливают, реализуя встречу эпох и страт. Прибалтийское дачное творчество и игровое дачное поведение отражали соответствующий сегмент культуры: “дачный текст” выступал как особенно мощный фермент семиозиса. По словам Д.С. Лихачева, “культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер.”<sup>7</sup> Последним объясняется подвижность и нефиксированность границ “прибалтийского дачного текста” в его разнообразии проявлений, обилие рецептивных возможностей со стороны читателя/зрителя/биографа великих дачников, и в конечном итоге – его игровую природу, диалогичную и открытую интерпретациям.

То, как “прибалтийский дачный текст” был способен вобрать в себя множество “голосов” культуры, убедительно показывает случай Д. Самойлова, демонстрирующий след “петербургского текста” в дачном субтексте этого московского поэта, который в 70-е годы обосновался в Пярну. Именно здесь, в Пярну, у Самойлова возникает тема творчества как игры, жизни как литературы: “В крутокрышом пярнуском

---

<sup>7</sup> Там же, 94.

доме / Среди ветра, среди тумана / Мы живем, как в десятом томе / Нескончаемого романа.” То есть, литература первична по отношению к эмпирии существования, вырастая из парадоксальной первичности игры, читай – прибалтийско-дачной игры в жизнь как части “дачного текста”.

Доминанта игрового модуса в “дачном тексте” как пространстве со снятыми ограничениями определил и деиерархизацию культурной семантики и в карнавальных инверсиях и травестии прибалтийской дачи. Характерно взаимозамещение полярностей в игровом поведении дачника К.И. Чуковского: “Все он умел для нас – даже, играючи, обработать мороз в жару”<sup>8</sup>. Д.С. Лихачев вспоминал: “Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на шиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году укоротились и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося в своем саду брюки.”<sup>9</sup> Игровая деиерархизация культуры демонстрирует, как “прибалтийский дачный текст” уникальным образом спаивал наследие петербургской культуры Серебряного века с авангардом. Именно поэтому, описывая обилие игр на дачах, игровое поведение дачников и прочие составляющие “дачного текста”, Д.С. Лихачев указывал на связь эпох, осуществляемой дачей как своего рода историко-культурным медиатором, говоря о том, что “о Куоккале как одной из родин европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно”.<sup>10</sup>

В аспекте игры связь прибалтийского “дачного текста” с авангардом раскрывается через топику детства. Заметим, что именно мифологемой начала и концептом игры отмечена ресемантизация культурных значений, предпринятая историческим авангардом. Дачные мемуары прибалтийских дачников изобилуют описанием того, как взрослые и дети играли вместе, взрослые уподоблялись детям посредством игры, ритуально возвращаясь к своим началам. Игровое поведение Чуковского в Куоккале в описании Лидии Корнеевны не случайно связывается с ритуалом: “... лодочный *ритуал* давно уже разработан в малейших подробностях и то, что наш капитан, задрвав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Чуковская 1996, 419.

<sup>9</sup> Лихачев 2000, 88.

<sup>10</sup> Там же, 90.

<sup>11</sup> Чуковская 1996, 421.



Илл.2

Игровое пространство дачи акцентировало омонимичность “игры”: игры как творческого акта (театральной игры, игры на музыкальных инструментах и т.п.) и игры как акта лудизма *par excellence*. Этим объясняется связь творчества с детской игрой, о чем писал Д.С. Лихачев, в мемуарах которого игровой детский текст культуры занимает важное место: “Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.” И далее: “...интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, Кульбин, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, “большую крокодилу”, матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. [...] В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и

дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли.”<sup>12</sup>

Как уже отмечалось, представленная в мемуарной литературе дачная топика детства реализует свою главную инверсию – обратимость времени. Она опирается на модель циклического времени, соединяя тем самым мотивы игры и круга в единое целое. Характерна соответствующая поговорка в стихотворении Д. Самойлова, написанного в Пярну в 1979 году: “Я сделал вновь поэзию *игрой / В своем кругу. Веселой и серьезной / Игрой – вязальной спицею, иглой / Или на окнах росписью морозной*” (выделено мною – Н.З.). Дача как игра тем самым встраивается в архаические мифологические представления о восстановлении жизненного (космического) цикла посредством игры как ритуала, равноценного творческому акту. Циклическое время и ритуальное начало игры совпадают в прибалтийском “дачном тексте”, который поэтому можно считать одной из моделей русской культуры XX века.

## Литература

- Лихачев, Д.С. (2000), Куоккала. *Избранное. Воспоминания*. Санкт-Петербург: LOGOS, 415-456.
- Цивьян, Т.В. (2007), *Дача и дачники в русском представлении: предварительные материалы*.  
[http://www.imk.msu.ru/Publications/Vortrags/rt06russ\\_civjan\\_dacha.doc](http://www.imk.msu.ru/Publications/Vortrags/rt06russ_civjan_dacha.doc) (1.12.2007)
- Чуковская, Л.К. (1996), Куоккала – Переделкино. *Русское подвижничество*. Сост. Т. Б. Князевская. Москва: Наука, 415-456.

---

<sup>12</sup> Лихачев 2000, 87.



## THE DACHA KINGDOM

## Дача как детское пространство

Понятие дачи как детского пространства относится обычно к загородному дому, утопающему в зелени, где дети проводят лето вместе с семьей или с няней. Такое определение встречается не только в мемуарах деятелей культуры, живших в дореволюционной России, таких как Бенуа, Шкловского<sup>1</sup> или балерины Тамары Карсавиной<sup>2</sup>, но также в воспоминаниях советского периода, к примеру, в воспоминаниях Елены Боннер. Боннер долгие годы проводила лето на даче с бабушкой и преданной няней Нюрой: в 1927 году в Мартышкино<sup>3</sup>, на южном побережье Финского залива, а в следующие два года - на противоположном берегу, в Сестрорецке<sup>4</sup>.

Однако в середине XIX века понятие дачи как детского пространства приобретает новые значения. В пригороде Петербурга, в Озерках и в Шувалово, “некоторые дачи сдавались на лето детским приютам, частным училищам, пансионатам и благотворительным заведениям”. Таким образом, сиротам и детям из бедных семей предоставлялась возможность проводить летний сезон за городом.<sup>5</sup>

К концу XIX века в Шувалово открыли яхт-клуб, парусный кружок и гребной кружок, которые регулярно устраивали детские праздники

---

<sup>1</sup> О детских воспоминаниях А. Бенуа и В. Шкловского о лете на даче см. Deotto 2004.

<sup>2</sup> Ее семья снимала дом в парке поместья графа Позена в Лигове (см. Карсавина 2004, 7).

<sup>3</sup> В деревне Мартышкино близ Ораниенбаума Александр Бенуа с женой снимал свою первую дачу в 1895г. В своих воспоминаниях художник долго и подробно описывает эти места (см. Бенуа 1993, II/4, 57-70).

<sup>4</sup> В своих мемуарах *Дочки-Матери* Елена Боннер с особым восторгом вспоминает лето 1928 года. См. также Lovell 2003, 132.

<sup>5</sup> Зуев 2005, 185-186.

со всевозможными развлечениями: приглашались артисты цирка Чинизелли и проводились спортивные состязания.<sup>6</sup> В начале XX века в Озерках и в Шувалово стал популярным кинематограф: на детских праздниках “проводятся специальные циклы сеансов-лекций общества ‘Научный кинематограф’ для детей и учащихся“, во время которых “показываются фильмы, иллюстрирующие произведения А.С. Пушкина, Сервантеса и других известных писателей“. Сеанс всегда заканчивался показом какой-нибудь комической киноленты.<sup>7</sup>

В советское время дача продолжает быть любимым местом для летнего отдыха детей, но наряду с традиционными появляются новые модели дач, отражающие культурные изменения эпохи. Среди политической элиты становится популярной “дачная коммуналка”<sup>8</sup>: Боннер в своих воспоминаниях рассказывает о том, что провела лето 1930 года в Тарковке на даче такого типа.<sup>9</sup> Каждой семье партийных “ответственных“ работников Ленинграда предоставляли комнату или две в “дачной коммуналке“, то есть в двухэтажном доме на природе. Такой отдых сначала был прерогативой привилегированных слоев советского общества, но постепенно становится привычным для большинства советского населения, среди которого все больше и больше распространялось убеждение в том, что “дети умрут, если их не ‘вывезти’ на лето“, как пишет автор статьи *Дача, русское изобретение*<sup>10</sup>. Преимущество “дачной коммуналки” состояло в том, что всем детям, особенно самым маленьким, обеспечивалась возможность проводить летний сезон на природе<sup>11</sup>.

В 30-ые годы уже существовали пионерские лагеря для детей с 7 до 15 лет. Первый пионерский лагерь был открыт в 1925 году: речь идет о всем известном Артеке; но в то же время местные пионерские

---

<sup>6</sup> Зуев 2005, 347; 352.

<sup>7</sup> Зуев 2005, 285-286.

<sup>8</sup> Что касается вопросов, относящихся к социальным и политическим изменениям, см. Lovell 2003, 131-136.

<sup>9</sup> Боннер 1994, 80.

<sup>10</sup> См. Горянин 1996.

<sup>11</sup> Советские горожане снимали на лето у хозяев дач одну или больше комнат, в зависимости от потребности, и делили кухню и ванную с другими дачниками, живущими в доме. Таким образом, на даче использовалась такая же жилищная модель, которая характеризовала жизнь большинства населения советских городов, то есть коммунальная квартира.

организации устраивали, обычно на берегу озера или у реки, более спартанские пионерские лагеря, где жили в палатках<sup>12</sup>.

В первые годы, когда только начали, в порядке эксперимента, организовывать каникулы для детей в пионерских лагерях, понятия дачи и пионерского лагеря накладывались. Подтверждение тому встречаем в воспоминаниях Боннер, которая рассказывает, что провела лето 1931 года иначе, чем обычно, без бабушки и без няни Нюры. Она жила в “общей даче” в Барвихе вместе с детьми членов Московского комитета партии. Несмотря на разочарование Нюры, которая поддерживала девочку и “говорила, что мы там можем простудиться или даже заразиться, или вшей набраться”, родители были неумолимы: “мама все это отметала, а папа говорил: «Чепуха»”.<sup>13</sup>

Постепенно дача и пионерский лагерь определяются как разнородные пространства: хотя пионерский лагерь иногда использовал жилищную площадь дачи, как рассказывает Боннер о своих каникулах в Пушкино в 1933 году, в пионерском лагере Коминтерна, находившемся в сосновом лесу на берегу реки Москвы “жили в большом трехэтажном доме с мезонинами и множеством больших веранд”.<sup>14</sup> Но, в отличие от дачной жизни, пионерский лагерь предусматривает регламентирование времени<sup>15</sup>: линейки, походы, купания, песни вокруг костра и самостоятельность от семьи.<sup>16</sup>

Настоящая работа ограничивается исследованием дачи и ее значения для детского мира. В частности, рассматривается как характерные черты этого специфического пространства, проявляются в образе дачи как пространства детского. По отношению к городскому пространству она является открытым местом<sup>17</sup>: дача расширяет и природные гори-

<sup>12</sup> Ю. Добровольская в своих воспоминаниях *Post scriptum вместо мемуаров* (СПб., 2006), рассказывает о летних каникулах в пионерском лагере в 1928 г. И при беседе она мне сказала, что ее пионерский лагерь был похож на “примитивный кемпинг”.

<sup>13</sup> Боннер 1994, 103.

<sup>14</sup> Боннер 1994, 152.

<sup>15</sup> Но в этом лагере для привилегированных детей режим был совсем не строгим: „Это был какой-то домашний лагерь – продолжение двора или даже скорей, «люксовского» коридора с «люксовскими» же «авторитетами». (Там же).

<sup>16</sup> Анализ значения пионерского лагеря и соответствующей городской модели - пионерского дворца см. S.E. Reid, *Khrushchev's Children's paradise: The Pioneer Paradise, Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc*, edited by D. Crowley and S. E. Reid, Oxford - New York, 2002 140-179.

<sup>17</sup> Пространство дачи описывается как совпадающее с петербургским пространством набережных, потому что и там, и здесь присутствует мотив открытости, свежего воз-

зонты – облегчается прямой контакт с природой во всей ее красоте и силе, и культурные горизонты – ослабляется жесткость обычно соблюдаемых правил.

Об открытости границ дачных локусов часто пишут рассказы, эти мотивы звучат в воспоминаниях о дачном детстве (распространенный жанр). Юные герои пользуются непривычной для них свободой. Для них облегчаются и приобретение нового, основополагающего опыта, и непосредственный контакт с привольем нетронутой природы.<sup>18</sup> Этот второй мотив в воспоминаниях обычно вызывает ностальгию и печаль по чудесным дням, прожитым в полной гармонии с окружающим миром. Пограничное пространство дачи, которая размещается на пересечении городской и деревенской культуры, содействует взрослению детей не только потому, что они непривычно свободны, но также потому, что располагают временем и могут заниматься всякими делами. Елена Боннер в лето 1928-го года, которое она провела в Сестрорецке, не только бродила по реке или лесу, но также училась читать и постепенно стала предпочитать чтение Жуковского и Пушкина прогулкам в одиночестве,<sup>19</sup> а на следующее лето “мама привезла на дачу карандаши и краски и учила нас (троих девочек) рисовать, а Сарра все лето учил петь“.<sup>20</sup>

Так что совсем не случайно, что пространство дачи служит местом действия рассказов, главные герои которых – дети. Обычно переезд из города на дачу описывается по заранее кодифицированным параметрам, как, например, в рассказе *Петька на даче* (1899) Леонида Андреева. Для маленького героя выселиться из городского пространства значит покинуть замкнутое место, где ему тесно, где его давят огромные и тяжелые громады домов, и попасть в широкое пространство, где взгляд теряется на бесконечных равнинах и неизмеримость природы вызывает в ребенке почти растерянность.

духа, природы, яркого света, зелени: нечто обратное “срединному” Петербургу (см. Deotto 1999).

<sup>18</sup> В этой связи показательно, что пишет вышеупомянутый Александр Горянин: “Обиженные дети, вспоминает Надя, завидовали сыновьям художника Т., которых выпускали в мае, а собирали перед сентябрем, и они носились по поселку босые, черные, орали по-тарзаньи с каких-то деревьев и ныряли в запретные места” (Горянин 1996,17).

<sup>19</sup> Боннер 1994, 54.

<sup>20</sup> Там же, 62.

Несколько другие критерии вступают в действие, когда задачей становится описание дачного дома. В этом разряде рассказов, как правило, дома - это жилища, неотторжимые от фигуры матери. Этим сочетанием создается символический образ защищенности ребенка: дачный дом становится убежищем, гнездом. Этому защищенному пространству противопоставляется бескрайний, темный, густой лес, вызывающий у героя страх. Поначалу Петьку пугает лес, который “покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности”,<sup>21</sup> но постепенно маленький герой свыкается с этой реальностью.

Противопоставление дачи и леса и присутствие ребенка, в котором, как в фокусе, сходятся два этих разнородных пространства, неотвратимо подводит наше восприятие к моделям волшебной сказки. Отдаление от дачи и переход в лес происходят постепенно. В первые дни Петька часто прибегает к матери, ища защиты от своих страхов, хотя густой лес притягивает его, как магнит. Но по прошествии нескольких дней Петька привыкает к природе, обживает ее в ней, в частности, с помощью другого мальчика, который старше Петьки и уже гимназист; он учит Петьку удить рыбу, нырять, разведывать и изучать все, что доступно изучению.

Петьке удастся совершить грандиозный “прыжок”, отказаться от материнской защиты, обжиться в новом пространстве, сильно отличающемся от уже изведенного дачного пространства и от парикмахерской, где он служит подмастерьем у брадоброя<sup>22</sup>. Лес – неизведанная область, идеальная для обретения нового опыта.

Один из характерных элементов жизни на даче – отсутствие условностей, связывающих человека в его городской жизни, отсутствие обязанностей – следовательно, ввод нового, менее жесткого этикета, свободного от церемониальности.<sup>23</sup> Эта особенность отражается на поведении Петьки: чем лучше он узнает лес, тем основательнее он отменяет свои привычные повседневные жесты. Он уже не носит гимназическую куртку (кроме случаев, когда участвует в лодочной прогулке в компании господ, пригласивших его пожить у них на даче). Не носит он и сапоги, предпочитая повсюду бегать босиком.

---

<sup>21</sup> Андреев 1990, 144.

<sup>22</sup> О подростках и освоении ими территории внешнего мира, см. Топоров 1991, 236; Келли 2004.

<sup>23</sup> см. Deotto 1997.

Лес, который Петька осваивает сперва нерешительно, а потом все более смело, не только напоминает мир волшебной сказки, но приводит на память и инициационные ритуалы волшебной сказки (см. Пропп). Переход с изведанной территории (дача) на неизведанную (лес) – самая настоящая инициация, которая подводит мальчугана к освоению собственных возможностей, в чем ему способствует друг-гимназист<sup>24</sup>. Петька расширяет свои знания о мире, помогает сформироваться новым граням личности, что символически выражается в отказе от городской одежды и в обретении новой свободы, физической и психологической. Как “современный дикарь”, выражаясь словами Л. Андреева, Петька впервые входит один, без материнской защиты, в прямой контакт с природой, открывает новый мир, таинственный, но именно поэтому и столь манящий.

Пересечение границы дачного пространства обретает для мира детства символическое значение: встреча с открытым и безграничным пространством означает созревание, герой меряется силами с новыми неизведанными сторонами жизни.

В повести *Лебяжье племя* Нины Гаген-Торн описывается душевное состояние двенадцатилетней героини Марины. Автор подробно передает все эмоции, вызванные встречей девочки с природой во время дачных каникул. Тайком от родителей она убегает вслед за старшими двоюродными братьями на охоту. Охота происходит в лесу у Финского залива. Марина не только видит мир в совершенно непривычном для нее аспекте, но и смутно чувствует первые сердечные волнения:

Марина чувствовала себя щенком, который впервые открыл глаза, поднимает в мир круглую нежную мордочку: втянуть запахи и увидеть неизвестное.<sup>25</sup>

Пространство дачи дает ребенку возможность соразмерить свою отвагу с новой, непривычной свободой: в городе он этой свободой не пользуется, это немислимо. Если оставаться в пространстве дачи – выход из городского пространства начинает казаться фикцией. Учитывая, что выезд на дачу представлял собой для многих самый настоящий переезд, то есть окончательное расставание с городской квартирой,<sup>26</sup> из этого следует, что, обставляя дачу как свое петербург-

<sup>24</sup> Пропп, говоря о таинственном лесе, связанном с ритуалом инициации, подчеркивал, что речь идет о процессе обучения (см. Пропп 1972, гл. III).

<sup>25</sup> Гаген-Торн 2001, 46.

<sup>26</sup> см. Deotto 1997.

ское жилье, дачник воспроизводит не только городское пространство, но и городские привычки и тип поведения. Если же он избавлялся от одежды горожанина и приспосабливался к более простому типу жизни, связанному с природой, выходил в сад или в парки, поля, леса, общался на равных с людьми самого разного социального происхождения, только тогда он мог открыть для себя благодатные стороны свободного существования, не зажатого в тиски неестественных правил.

В случае детей, отказ от прямого контакта с природой, глушение в себе желаний уйти далеко в лес на поиски удивительных приключений, – это симптомы страха, стремления не покидать укрытия – знакомого и, следовательно, защищенного пространства дачи.

Именно такой страх характерен для Паки, героя рассказа Федора Сологуба *В плену* (1905). Он описывает себя, используя язык сказки, будто пленный принц. Он ощущает сильнейшее желание перелезть через забор, отделяющий дачу от поля, где играют трое ребят, его одноклассков. Но ему недостает храбрости. Заботливейшая, мнительная мать в его фантазии предстает ведьмой, держащей его в плену. Тогда маленький герой пускает в действие неизбежный механизм, который описывает и Беттельхайм в своей интерпретации сказок: преобразование матери в злую мачеху. Цель этого акта – стимулировать «тяготение к выстраиванию самодостаточной индивидуальности, к освоению различия между добром и злом, к утверждению инициативности и самоопределению».<sup>27</sup> Однако герою не удается довести этот процесс до конца.

Образу матери Паки противостоят трое мальчишек, которые играют в краснокожих индейцев; они бесконечно свободны, принадлежат миру природы. Они стараются помочь товарищу, отдалить его от дачи-гнезда, от матери, от заботливой гувернантки, пробудить в нем желание отправиться на разведку в неведомые пространства: чтоб он перелез забор, нырнул в реку, вошел в лес, познал лесные тайны, чтоб ему стали доступны и ров, и нора, выкопанная под корнями поваленного грозой дерева. Чтобы освободить героя, мальчишки во время чаепития даже придумывают налет на дачу друга. Они осыпают обитателей дачи стрелами и выкрикивают магические слова, но все это не более чем словесный вызов взрослому миру.

---

<sup>27</sup> Bettelheim 1983, 263.



Их усилия тщетны. Любопытство, желание познать мир по ту сторону забора, не до такой степени сильны в характере Паки, чтобы он решился отдалиться от семейного укрытия и бросить вызов миру взрослых.

Мальчик не только не решается перейти по ту сторону забора, но он и вовсе покидает дачу, инертно подчиняется решению матери как можно быстрее отвезти его обратно в город, вернуть в защищенное семейное пространство, где Паке не предлагается путь внутреннего роста и душевного развития.

Таким образом, неспособность войти в пространство, отличающееся от городского, выражает в интерпретации дачи как детского мира неприспособленность к поиску самоопределения и приравнивается к несостоявшейся инициации.

Лес традиционно связывается не только с ритуалом инициации, но и с вхождением в царство мертвых. Эти две репрезентации прямо коррелируют между собой, поскольку, как известно, прохождение ритуала инициации означает принятие временной смерти ради возрождения с обновленной личностью.<sup>28</sup> В пространстве дачи, связанном с миром детей, символическое вхождение в царство мертвых сопряжено с мотивом утопания. К сожалению, в летнее время дачники, как и крестьяне, нередко тонули, и в прожитом детьми лете память об утопленниках как описывает, Бенуа в своих воспоминаниях означала их первую встречу с тайной смерти. Речь шла о таком опыте, который совокупно с другими видами входил в набор испытаний, потребных для обретения самосознания и отхода от наивного, зачарованного мировидения.

Процесс инициации, выражающийся в оставлении дачи-гнезда и уходе в свободное пространство леса, предстает в своем крайнем выражении в рассказе Федора Сологуба *Жало смерти* (1903). Главные герои – мальчики: добродушный и невинный Коля и хитрый, злобно-ватый Ваня. В сюжете этого рассказа более “шустрый” герой вновь подводит своего товарища по играм к порогу созревания. Однако здесь процесс состоит не в постепенном и естественном породнении с природой, а, наоборот, в удалении от нее. Колю вовлекают в такое времяпрепровождение, когда лес выглядит просто укрытием, где можно курить, пить; лес не имеет ничего общего с естественной средой, напротив – представляет собой разительное противопоставление естественной среде.

---

<sup>28</sup> см. Гропп 1972.

Спонтанное участие в жизни природы, обретенное путем ее познания, разведывание самых удаленных углов, рыбалка, купание в ручье – все это заменяется посторонними занятиями, от которых возникает скука, разочарование в окружающем мире. Следующий шаг вовсе безрассуден (зачинщиком выступает Ваня): чтобы доказать свою бесконечную храбрость, с камнем на шее Коля бросается в воду, добровольно отказываясь от бессмысленной (как ему представляется) жизни. А Ваня, который вовсе не склонен повторить поступок Коли, просто поскользывается, теряет равновесие – и бурное течение увлекает его в пучину.

Встреча со смертью в этом случае – трагический результат несостоявшегося взросления. Взросление не прошло через естественные пороги. Отрешение от защищенного гнезда произошло не под влиянием внутренней потребности постепенно отойти от детского мира<sup>29</sup>, а было искусственно навязано извне, как вызов, а не как инициация самопознания, и, таким образом, было обречено на неблагоприятную развязку.

Параллельно детскому взгляду и видению пространства дачи дается и взгляд взрослого человека. Если переселение из города на дачу воспринимается детьми как выход на свободу, как возможность ускорить процесс познания мира и освоения территории, для взрослого человека переселение на дачу означает отход от лихорадочных темпов городской жизни и восстановление более естественного режима. Время расширяется, позволяет взгляду задерживаться как на мелочах, так и на больших и важных предметах, к которым этот взгляд совсем незадолго до того был, казалось бы, безразличен. Именно это происходит с Сашей, молодым отцом – героем рассказа Андрея Битова *Жизнь в ветреную погоду (Дачная местность)*. Гуляя с годовалым сыном, Саша постепенно обнаруживает, что мир предстает перед ним совсем особым: перед ним открывается лес, равнина. Он впервые с участием воспринимает эмоции своего сына. Через счастливый взгляд малыша, очарованного бесконечными открытиями, которые уготованы природой, отец заново обретает то изумление перед миром, которое присуще только детям. Следовательно, он заново обретает способность ценить простые вещи и наслаждаться ими.

---

<sup>29</sup> Подросток неизбежно должен покинуть защищенный мир детства, этот процесс репрезентирован проходом через густой лес, полный опасностей (Bettelheim 1983, 217).

В мемуарах (как дореволюционных, так и советских) описания дачных сезонов непременно связываются с детством. Описываются эмоции, вызванные с прямым соприкосновением с удивительной природой, иногда пикники в тени сосен:

Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски.<sup>30</sup>

Или же на берегу Финского залива:

По воскресениям [...] шли на залив. Обед в этот день бывал поздно, а на залив с собой всегда брали какую-нибудь еду. Под соснами — там, где начинался песчаный пляж, расстилали одеяла и полотенца. На скатерти [...] раскладывалась еда и ставились бутылки с ситро — устраивался пикник. Мне разрешали бесконечно бродить по воде и купаться.<sup>31</sup>

Мир детства переживается снова и снова как локус блаженства, где восстанавливается восхищение эдемским пейзажем: это истинный рай. В воспоминаниях перед героями разворачиваются дюны, сосновые рощи, песчаные дорожки, подводящие к морю, как памятный пейзаж Оллила 1905-го года (ныне Солнечное), описанный Виктором Шкловским. У Бенуа это пьянящий аромат елей в густых лесах Ораниенбаума<sup>32</sup>, у других — запах сосен, мха и соленой воды Финского залива<sup>33</sup>, счастье узнавания лесных зверей и морской фауны<sup>34</sup>. Наконец, восторг от умения обращаться с веслами и легко направлять свою лодку по каналам — восторг, который дает основания Гречу назвать свое дачное лето на Черной речке самым счастливым годом его жизни. Почти теми же словами, которым Боннер описывает лето 28-года в Сестрорецке “лучшее за все мое детство”<sup>35 36</sup>.

<sup>30</sup> Бенуа 1993, I: 24.

<sup>31</sup> Боннер 1994, 52-53.

<sup>32</sup> см. Бенуа 1993, I.

<sup>33</sup> Гаген-Торен 1967, 131.

<sup>34</sup> Н. Ливеровский, сын военно-морского врача, так вспоминает дачные лета в *Лебязьем* на южном побережье Финского залива: «Летом, в тихую погоду, хорошо доплыть до камня, зацепиться пальцами, подтянуться, выбраться на теплую плоскую верхушку и лечь отдохнуть. Если свесить над водой голову и прикрыть лицо руками, увидишь водяной мир» (Ливеровский 1967, 111).

<sup>35</sup> В мемуарах советского периода иногда встречается признание в том, что спокойная, но однообразная жизнь на даче надоедает, особенно юношам. Развлечения города больше манили их. Например, Боннер пишет, что единственная хорошая неделя на

Пространство дачи, заново увиденное очарованным и счастливым детским взором, выстраивается как локус гармонии человека и природы. Переезд из города на дачу означает погружение в пространство, отличное от обыденного - пространство, которое в сознании детей сопряжено с приключениями и открытием неведомого им мира, в то время как для взрослых оно олицетворяет перспективу отринуть принужденность городской жизни в пользу более естественного существования.

Пространство дачи для детей поддается метафорической интерпретации в качестве идеального места инициации, взросления, перехода во взрослый мир. Для взрослых оно становится идеальным пространством, где можно заново обрести простое незатейливое видение мира, присущее детям.

## Литература

- Андреев, Л. (1990), Петька на даче. *Собрание сочинений в шести томах*, том. I. Москва: Художественная литература, 140-148.
- Бенуа, А. (1993), *Мои воспоминания в пяти книгах*, том. I-II. Москва: Наука.
- Боннер, Е. (1994), *Дочки-Матери*. Москва: Прогресс-Литера.
- Гаген-Торен, Н. (1967), У Финского залива. *Жизнь и творчество Виталия Бианки*. Л., 131.
- Горянин, А. (1996), Дача, русское изобретение. *Русская мысль*, № 4153 (12-18 декабря 1996), 15-17.
- Деотто, П. (1997), Петербургский дачный быт XIX в. как факт массовой культуры. *Europa Orientalis*, XVI/1, 357-371.
- Деотто, П. (1999), Из городской грязи на природу: город и дача (Дача как одна из категорий Петербургского мифа). *Studia Letteraria Polono-Slavica*, 4, 145-154
- Деотто, П. (2004), Дачная традиция в Серебряном веке. *Pietroburgo Capitale della cultura russa*. Salerno: Europa Orientalis, 335-348.
- Зуев, Г. (2005), *Шуваловская Швейцария. Из истории предместий Санкт-Петербурга*. Москва – Санкт-Петербург: Центрполиграф Москва.
- Карсавина, Т. (2004), *Театральная улица. Воспоминания*. Москва: Центрполиграф Москва.

---

даче в Тарховке была, когда приезжали родители, которые возили их с братом в Ленинград, в кукольный театр или в гости. О таком же нетерпении по отношению к жизни на даче в юности мне рассказывала Татьяна Владимировна Цивьян при беседе в Милане в 2003 г. Она, как и ее ровесники, воспринимала дачу как принудительную „ссылку“ и не могла дождаться, когда вернется в город, где жизнь казалась намного интереснее.

<sup>36</sup> Боннер 1994, 50.

- Келли, К. (2004), Детский быт Санкт-Петербурга / Ленинграда первой половины XX века. *Pietroburgo Capitale della cultura russa*. Salerno: Europa Orientalis, 407-432.
- Ливеровский, Н. (1967), Память сердца. *Жизнь и творчество Виталия Бианки*. Л., 111.
- Топоров, В.Н. (1991), Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд). *Ноосфера и художественное творчество*. Под ред. Н.В. Злыдневой, Всч. Вс. Иванова (отв. ред.), В. Н. Топоров. Москва: Наука, 201-279.
- Bettelheim, B. (1983), *Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicanalitici delle fiabe*, Milano: Feltrinelli.
- Lovell, S. (2003), *Summerfolk 1710-2000. A History of the Dacha*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Propp, V. Ja (1972), *Le radici storiche dei racconti di fate*. Torino: Bollati Boringhieri.

## Дача как «эротическое гнездо» – от декадентства до наших дней

В своей основополагающей книге о социальной истории дачи Стивен Ловелл неоднократно намекает на эротическую валентность этого важного элемента русского быта<sup>1</sup>, хотя в литературе эта валентность имеет более значительный показатель. Можно даже утверждать, что дача порой превращается в настоящую сцену эротических развлечений, и причины этого превращения таятся в самой ее сущности, в ее территориальном расположении и социокультурном значении, то есть в ее промежуточной и, следовательно, гибридной натуре.

Только в последнее время дачи стали строить или покупать на значительном расстоянии от города. Есть, например, люди, которые, говоря «еду на дачу», едут на машине около четырех-пяти часов. Это демонстрирует, на мой взгляд, модификацию традиционного культурного концепта «дача». Однако ранее, а в значительной мере и сегодня, этот концепт тесно связан с концептом «город»: кто собирался и собирается на дачу, не собирается в путешествие, полное приключений, а лишь собирается поехать за город. На этой основе у дачи формируется система амбивалентных характеристик: с одной стороны, она находится вне города, обычно в лесу, а с другой – она под рукой для горожан. Как уже было отмечено Юрием Лотманом<sup>2</sup>, на дачу можно выезжать, не надо долго собираться и, во всяком случае, на даче, как правило, не живут постоянно. Как пишет Михаил Кузмин в «Крыльях», «не потому на даче прескверно, что там скверно, а потому, что

---

<sup>1</sup> См.: Lovell 2003, 99, 101, 109.

<sup>2</sup> Лотман 1995, 83.

чувствуешь себя на бивуаках, временно проживающим, и не установлена жизнь, а в городе всегда знаешь, что надо в какое время делать»<sup>3</sup>.

Дача – это своего рода *trait d'union*, то есть связующее звено, между тоской русских по их естественной жизни в лесу и неразрывностью с цивилизацией: дача бережет их самобытный образ жизни, потому что она и не европейское, и не азиатское явление, а по-настоящему «евразийское», если, конечно, убрать у этого термина его политическое содержание.

Названные культурологические константы «лес» и «городская цивилизация» в свою очередь обнаруживают важные составляющие нравственного порядка, такие как «природные инстинкты» и «городские пороки», также совмещающиеся в концепте «дача».

В самом деле, все, что с точки зрения естества можно делать на даче, безусловно, можно делать и в городской квартире, однако дача питает возникающие желания каким-то необыкновенным, таинственным обрядом в глуши природы. То, что городская цивилизация одновременно создает и порицает, очищено и дозволено природой: «развитие чувственности связано с цивилизацией... – тонкокожий горожанин есть прибор более чувствительный (человека, которого обдувают ветры, обливают грозы), на него мелкие раздражители действуют: шорох платья, улыбки, мимолетный взгляд – и он восхищается, возгорается...; но чем больше впечатлительность, тем слабее реакция, и душа горожанина раздергивается в свистопляске множества раздражителей и мелких аффектов. Душа же живущего среди природы более защищена и цельной остается»<sup>4</sup>. Часто встречаемое желание снимать городское «раздражение» именно на даче, то есть, на природе, наверняка возникает из смутно осознаваемой потребности в очищении в природной непорочности, или у людей, интеллигентно более развитых, в невинности золотого века. Однако часто это очищение воспринимается скорее как легкое отпущение грехов чувственности, чем очищение самого себя. Более того, территориальное расположение дачи усиливает чувство морального раскрепощения определенным вызовом, брошенным конформистскому городу.

Дача становится настоящим «лесным гнездом», в котором морально-поведенческая раскованность, раскрепощенность компенсирует скудость удобств. Функция «эротического гнезда», приобретаемая да-

<sup>3</sup> Кузмин 2004, 383.

<sup>4</sup> Гачев 1994, 36.

чей, по понятным причинам более открыто представлена в художественной литературе и в целом в письменных текстах, чем в социокультурных исследованиях о русской повседневной жизни, однако нельзя сказать, что в русской литературе этот аспект встречается часто, так как в ней, в отличие, например, от французской, «в высшей степени развиты сублимированные, превращенные формы секса, где он выступает как Эрос сердца и духа»<sup>5</sup>. Несмотря на это, на мой взгляд, наличие этого аспекта заметно, и будет весьма интересно проследить его историческую динамику, локализацию и модальности выражения<sup>6</sup>.

В настоящем исследовании я коснусь только самых ярких примеров, взятых мною из русской литературы XX века, в особенности его начала и конца, а также из непрофессиональных, любительских рассказов, размещенных на сайтах Интернета.

Прежде чем приступить к изложению основного материала, мне бы хотелось обратить внимание на то, что я имею в виду под термином «эротическое гнездо».

Литература, описывающая любовные отношения дачников, богата, и если оставить в стороне изменения общества в течение десятилетий, в общем структура этих отношений не меняется. В различных романах, повестях и рассказах люди более или менее одинаково влюбляются и любят, как в усадьбе, так и на даче, как в столицах, так и в провинциальных городах. С другой же стороны, должен признаться в том, что использую термин «эротическое гнездо» в качестве целомудренного эвфемизма, так как речь идет не столько об эротике в строгом этимологическом значении, то есть о красивой, чувственной любви, сколько об изображении сексуальных отношений или даже просто забав.

Если же иметь в виду непрофессиональные рассказы, опубликованные в Интернете, то текстовый результат этого изображения следует назвать просто-напросто порнографическим. Однако, когда речь идет о порнографии, следует иметь в виду хронологические рамки: то, что считалось порнографическим в русской литературе начала XX века, и то, что им считается сегодня, – не одно и то же.

---

<sup>5</sup> Там же, 16.

<sup>6</sup> Характерен и тот факт, что, например, в последнее время опубликовали антологию русских эротических рассказов (анонимных авторов, а также М. Горького и И. Бунина, «Летом на даче. Русская эротическая проза», М. 2006), действия которых, впрочем, только весьма редко развиваются на дачах, оставляя названию книги лишь функцию привлекательной ловушки.



В самом деле в 1909 г. знаменитый критик Григорий Новополин опубликовал книгу, названную «Порнографический элемент в русской литературе». Критик-консерватор касается, между прочим, романа «Санин» Арцыбашева и некоторых рассказов Анатолия Каменского, считавшихся самыми скандальными публикациями того времени. Однако, как мы знаем, в этих произведениях нет никакой порнографии в ее современном понимании. Тем не менее, учитывая разницу тогдашней и сегодняшней чувствительности к данной проблематике, нельзя не заметить хотя бы тончайшей красной нити, не исторически, а тематически связующей, например, рассказ «Леда» упомянутого А. Каменского с простейшими рассказами, опубликованными на эротических сайтах.

Важно также подчеркнуть, что это замечание об активизации в русской словесности эротического элемента, связанного с дачей, после практически его исчезновения в советскую эпоху, не связано ни с какими намерениями утверждать сравнимость этих явлений на уровне эстетической оценки.

Итак, если связь, идущая от примеров серебряного века до интернет-рассказов, не насыщена эстетической значимостью из-за ее отсутствия в последних, то причину существования этой связи следует искать скорее в горизонте ожиданий публики, который, с точки зрения эротики, не меняется с течением времени. Каменский, например, написал рассказы, так резко осужденные критикой, по большей части, чтобы угодить вкусу широкой публики, а когда перестал затрагивать определенные темы, та же публика от него отвернулась. Причины, условия и модальность, на основе которых публикуются эротические рассказы на интернет-сайтах совсем иные: авторам интернет-рассказов вовсе не важно завоевать расположение публики, хотя они иногда и просят читателей об оценке.

Однако вернемся к даче.

Кроме рассказа «На даче», впрочем не имеющего эротической тематики, Анатолий Каменский в других своих рассказах «о любви» не объявляет, что действие происходит на даче, однако, несмотря на это, их нарративную территорию часто можно включить в «дачный текст». Иногда *не-дачная* среда автором открыто объявлена. Так, например, в рассказе «Настурции» – дом бабушки, сцена любви между тетей и племянником, находится в центре маленького южного города, однако его облик и зелень, его окружающая, скорее напоминают дачу, чем городской дом. В рассказе «Женщина» главный герой, мужчина в эле-

гантном женском платье, в шляпе, с сумочкой и белым кружевным зонтиком, отправляется на поезде из Петербурга, но его цель – Павловск, где он завоюет взгляды всех там гуляющих «дачных Чайльд-Гарольдов»<sup>7</sup>.

Дачная эротическая атмосфера еще более ошутима в знаменитой «Леде»: «Переехали через Дворцовый и Биржевой мост, потянулись узенькие улицы с палисадниками, с деревянными домами, и наступила поэтическая провинциальная тишина»<sup>8</sup>. Чем же, однако, был скандальным и непристойным этот рассказ? Несмотря на какой-то наивно-примитивный предлог ницшеанского вкуса, цель рассказа – это создание эротического чувства. После веселого вечера в ресторане, прекрасная Леда с молодым любовником поехала домой, а ее муж с новым знакомым – инженером Кедровым, отправился туда же не спеша. Дома Леда с юношей предаются любовным наслаждениям, оставляя в это время пришедших двух мужчин в псевдо-философских разговорах. После развлечения, Леда возвращается в гостиную, садится на стол с гроздью винограда в руках и перед ошеломленным, полуживым Кедровым произносит филиппику против буржуазного представления любви и выступает за свободную любовь. На прекрасном теле Леды, как известно, был только золотой браслет.

О рассказе Каменского говорит и М. Волошин в рукописи своей статьи «Лицо, маска, нагота». Он, вовсе не осуждая наготу, все-таки объявляет, что нагота Леды «есть глубокое варварство»<sup>9</sup>, потому что, как можно сделать вывод из всей статьи, она отвечает не критериям невинности и художественности античной культуры, а требованиям модернистского антибуржуазного вкуса.

Амбивалентный статус дома Леды, находящегося на пороге города и деревни и имеющего мещанско-интеллигентский облик (если воспользоваться выражением Ю.М. Лотмана) вполне отвечает требованиям «эротического гнезда» и его интерьер, пахнущий гиацинтами и туберозами как настоящая оранжерея, только усиливает природный потенциал локуса. С высоты этого гнезда героиня, вслед за мыслями Ницше, бросает вызов буржуазному лицемерию и морали стада, представленному городом. С этой мыслью и с обвинением, брошенным Ледой Кедрову («и вы все любите один *процесс раздевания*, а не лю-

<sup>7</sup> Каменский 1923, 167.

<sup>8</sup> Там же, 95

<sup>9</sup> Цитируется по: Волошин 1988, 718.

бовь. Отсюда – и стыд, и мещанское лицемерие, и ханжество»), непосредственно согласен М. Волошин: «Чувственна одежда, а не нагота. Чувственны те утонченные обнажения, которыми играет современная одежда»<sup>10</sup>.

Эротическая литература в советскую эпоху фактически исчезла, возникнув только к ее концу, например, в произведениях Виктора Ерофеева. Однако до этого необходимо обратить внимание на одно весьма интересное литературное явление авангарда конца 70-х годов XX столетия, касающееся дачи как «эротического гнезда», а именно на рассказ Евгения Харитоновича «Духовка».

Уникальность данного рассказа состоит в том, что в нем эротика представлена гомоэротикой в дачном контексте: молодой человек, проведший каникулы в дачном поселке под Москвой, влюбляется в парня Мишу с соседней дачи.

Незаурядность ситуации смягчена авторским подходом к этой теме, превращающим незаурядность чуть ли не в обыденность летнего гетеросексуального флирта. В этой эротической игре главными «сообщниками» являются фанерные домики, структура дачного поселка, пруд и другие атрибуты дачи. Так, например, герой рассказа, не смея спросить бабушку Миши о его возвращении из Москвы, проходя мимо домика бросает взгляд на выступающий край раскладушки: торчащие пятки парня объявили ему о его возвращении.

Крикливый вызов Каменского в лице Леды несравним с молчаливым, целомудренным вызовом Харитоновича, рассказ которого остался неизвестным до эпохи перестройки. Тем не менее факт, что в доперестроечной эпохе одно из весьма немногочисленных произведений русской литературы об однополой любви выстраивается на фоне и в условиях дачной жизни, подтверждает наличие эротической темы в русском культурном концепте «дача».

Целомудренность рассказа Харитоновича и сонная жизнь фанерных домиков спустя десять лет были разорены бурной жизнью «Русской красавицы» Виктора Ерофеева, который в своем романе кое-где, как кажется, выходит за пределы эротического, и одно из таких мест – это как раз дача. Нет никакого сходства между подмосковным дачным поселком и этой подмосковной виллой тогдашней номенклатуры. Вот как ее описывает сам автор: «В сумерках хочется сидеть в теплом свитере и неподвижно смотреть преимущественно в камин, который так-

---

<sup>10</sup> Волошин 1988, 404.

же оказался на этой чудесной даче, вместе с картинами, карельской березой, библиотекой, безделушками и коврами»<sup>11</sup>.

Чем не «эротическое гнездо»? Что же там происходит на самом деле?

Ирина и ее подруга Ксюша приехали ночью, когда банкет уже приближался к концу и, утомленные бурным днем и алкоголем, легли спать. Но спали они недолго, потому, что скоро их разбудили странные прикосновения. Действо началось. Эротическое приключение Ирины на даче началось с банкета и, на следующий день, закончилось потреблением укрепляющего борща. В данном случае дача является квинтэссенцией эротизма благодаря своей двойной функции – театра эротики и пищеварения. Следует все же подчеркнуть, что «дачный» эротизм здесь вовсе не самоцель; сцена дачи – это скорее всего естественный, первобытный ритуал сексуального поглощения. Вспомним текст: Ирина входит в теплую, уютную дачу из заснеженного парка, то есть дача как бы поглощает Ирину. Ирина в свою очередь поглощает самый символ человеческого существования. В результате дача совмещается с материнским началом; с процессом поглощения связана и беременность Ирины.

Роман Ерофеева, чудесного и ужасного ребенка русской литературы, стал настоящей сенсацией из-за поведения героини. Однако было бы неверно думать, что Ирина Тараканова – только женщина легкого поведения, создающая вокруг себя перенасыщенную эротическую среду. Она – типичный коллажный персонаж постмодернизма и, как выразился сам автор на одной из своих лекций, прочитанных в Бергамском университете, она – «конгломерат русских женщин». Несмотря на некоторые пикантные места и на частое сквернословие, роман, как думается, остается в поле пристойного, а все излишества Ирины оправдываются ее желанием стать матерью. Любопытно, что роман Ерофеева был опубликован в 1990 году, то есть практически как раз в то время, когда широкая русская публика начинает пользоваться Интернетом.

Если в «Русской красавице» излишества героини не самоцель, то в порнографических рассказах в целом и в опубликованных в Интернете в частности все непристойности – это просто самоцель, все устремлено к описанию сексуальных забав и среды, в которых они проходят, что фактически не влияет на тип повествования. То же касается и да-

---

<sup>11</sup> Ерофеев 2001, 45.

чи, хотя в целом поражает количество рассказов, в названиях которых фигурирует слово *дача*: «Дача», «На даче», «Ночь на даче», «Дядина дача», «Дачная история» и тому подобное. Однако причина такого предпочтения, по уже названным основаниям, вовсе не удивляет.

С этой целью мною было рассмотрено пятнадцать рассказов, что в целом, безусловно, немного, однако, как мне кажется, вполне достаточно, поскольку ситуации и способы ее описания повторяются с весьма заметной регулярностью.

Даже в более обширных текстах практически не найти настоящего описания дачи, лишь изредка даются координаты или география события: «на веранде», «на балконе», «на втором этаже», при этом весьма часто подчеркивается расположение самой дачи: «на даче в 30 км от города», «решил уехать на автобусе поближе к цивилизации», «вернуться в город должны были первой утренней электричкой», «у меня на даче – скромный такой особнячок под Москвой».

Чаще всего в начале рассказов встречаются хронологические координаты, почти всегда указывающие на достаточно дальнее прошлое, например: «Это было давно, мне тогда было 18 лет», «Случилась эта история, когда мне было... столько-то... лет» и так далее, или: «Все произошло, когда я учился в 11 классе», «Дача была дарована нам совхозом», «В те золотые времена мне было 17 лет».

Не могу пока дать убедительного обоснования этой любопытной повторяемости, ведь яркое описание испытанных чувств не разрешает предполагать снисходительного взгляда на юношеские ошибки. Полагаю, что тут действует какая-то закономерность, возможно, не всегда осознанная реминисценция о золотом веке, о потерянном рае, где все дозволено и, следовательно, оправдано, потому что *omnia munda mundis*<sup>12</sup>.

Любопытно, однако, не только повторение этих координат на синхронном уровне, но и на диахроническом. В самом деле зачин рассказа Каменского «Солнце» звучит следующим образом: «Я еще не был юношей в принятом смысле этого слова, мне едва исполнилось 14 лет, когда родители привезли меня из Петербурга к своей бабушке». Интересно и то, что в порнографических рассказах также действуют молодые «герои», которые отправляются на дачи к бабушкам или к другим родственникам обычно на летние каникулы. Времена года при этом не имеют решающего значения, хотя лето, как кажется, предпочитается

---

<sup>12</sup> (лат.) все чисто для чистых.

благодаря телесной свободе, им дарованной. Зима же на даче способствует созданию ощущения теплоты и уюта в морозной отдаленности, что усиливает желание раскрепощения инстинктов и обнажения тел.

Другие константы рассказов – уход героя от повседневной среды или близких герою людей, пруд или речка, шашлык или «водочка». О дачной жизни как таковой почти нет ни слова: лишь в одном случае, где говорится о занятиях в саду, приводятся некоторые детали, однако рассказчик сразу заявляет о том, что история совсем не об этом (или, как пишет один из авторов, «история совсем не о капусте»), и тут же следует описание эротических приключений.

Большинство рассказчиков не обращает внимания на обстоятельства, и после предъявления упомянутых схематичных координат времени и пространства совершается неременный переход к сексуальной забаве.

Кроме монотонности всех дачных порнографических рассказов можно утверждать, что их знаменатель – бином «природа-свобода», и это раскрепощенное, если не сказать разгулявшееся естество, присутствует во всех рассмотренных текстах, доказывая их идейное сходство и существенную, закономерную применимость дачи к этому жанру.

Порнографический рассказ, как вид Интернет-публикации, не является в России естественным результатом канонизированной традиции жанра, поскольку этой традиции нет. Не было в русской литературе ни крупного прецедента, похожего на литературу французского «либертинажа»,<sup>13</sup> ни авторитетного всемирно признанного автора, такого как Боккаччо. Появлению подобных рассказов способствовало появление самого Интернета с его возможностью выставлять буквально все на всемирной сцене, и, следовательно, их можно считать заимствованным феноменом письма. Как заимствованный феномен, они не отличаются особенно подчеркнутыми русскими чертами за исключением именно тех, в которых дача представляется средой действий. С другой стороны, как уже было выявлено, сущность дачи в качестве эмблемы русской бытовой культуры в этих текстах неуловима. То, что в англоязычных рассказах – «фарм-приключения» или в итальянских – «avventure in campagna», в русских – «приключения на даче»; конечно, последние проживаются не какими-то далекими Бобом или Су, а более домашними – Сашей или Людочкой.

---

<sup>13</sup> Распущенность.

Общей чертой, характеризующей многие русские рассказы подобного типа, за редким исключением, является определенная аккуратность повествования и правильность языка, или, во всяком случае, явное стремление к ним. Думается, что в этом также проявляется их специфика.

## Литература

- Волошин, М. (1988), *Лики творчества*. Л.: Наука
- Гачев, Г. Д. (1994), *Русский эпос*. Москва: Интерпринт.
- Ерофеев, В. (2001), *Русская красавица*. Москва: Зебра Е.
- Каменский, А. (1923), *Женщина. Мой гарем. Рассказы о любви*. Берлин: Т:ва И. Благгов.
- Кузмин, М. (2004), *Крылья. Венок из поцелуев*. Москва: Издательский дом Родионова, 364-443.
- Лотман, Ю. М. (1995), *Камень и трава. Лотмановский сборник*, Вып. 1., Москва: Гранат, 79-84.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.

## Дачный альбом Чукоккала как игра в культуру

Карельский перешеек стал привлекательным местом летнего отдыха для жителей Петербурга к концу 19 века, после того, как в 1870 году была закончена постройка приморской железнодорожной линии. Поселки вдоль Финляндской железной дороги быстро застраивались дачными домиками и виллами в смешанном русско-финском стиле.

На Перешейке издавна существовала многоязычная, поликонфессиональная среда, где летом доминировали русские дачники на фоне местного финского крестьянского населения.

Русские дачи на Карельском перешейке, особенно в два десятилетия между Первой и Второй мировыми войнами, представляли собой особую культурную сферу, сформировавшуюся в приморской зоне, в промежуточном пространстве между столицей с ее полной условностей городской культурой и непринужденной свободой простого деревенского быта.

В этом междумирии летняя дачная жизнь протекала сравнительно независимо от светского этикета, раскованность и равноправие царили на пляже и на летней веранде. Сменив жесткие воротнички и корсеты на удобную и легкую одежду, дачники вступали в более легкие, шуточные, порой даже игривые отношения друг с другом. Пляж, флирт, игра в крокет на лужайке, игра в шарарды или буриме на веранде были обычным времяпрепровождением городской молодежи на даче.

Игровой мир Перешейка особым образом отразился в необыкновенном дачном альманахе со странным названием *Чукоккала*: оно образовано от скрещения фамилии писателя Корнея Чуковского с названием приморского поселка Куоккала, ныне Репино.



Начиная с лета 1908 или 1909 года, Чуковский регулярно снимал дачу в Куоккале, неподалеку от виллы Репина Пенаты. Молодой литератор и маститый художник познакомились и подружились.

В Пенаты приезжало много гостей, в особенности на знаменитые среды, где ели «сено и траву» по вегетарианским рецептам жены Репина, Наталии Нордман-Северовой, но где гостеприимство хозяев и артистическое общение задавали тон дачной жизни всей округи. Сюда наезжали из Петербурга Шаляпин и Стасов, Максим Горький и Леонид Андреев.

Летом 1914 г., живя рядом с Репиным, Чуковский решил завести тетрадь для автографов. Поводом стало 70-летие Ильи Репина 20 августа 1914 г., как раз в тот день (по старому стилю), когда началась Первая мировая война – но об этом еще не успели узнать на Перешейке. Репин после совместной прогулки к морю попросил Чуковского почтить ему Пушкина, и Корней Иванович выбрал «Пир во время чумы». Название многозначительное, как потом оказалось, и для Чукоккалы. Она была вначале тощей тетрадкой, но скоро разрослась в объемистый альбом. Шуточное название придумал Илья Репин. Под первым своим рисунком в альбом Чуковского он подписался: *И. Репин. Чукоккала*.

Большинство альбомных записей сделано в доме Чуковского или в гостях, где он бывал. В Чукоккале оставили след многие звезды русской литературы и культуры.

«Чукоккале с самого начала повезло», писал впоследствии Чуковский, «из-за одного, казалось бы, мелкого случая. В 1908 или 1909 году, не имея пристанища в городе, я со всей семьей переехал в Финляндию и за малую плату снял обширную дачу у очень симпатичного бородатого дачевладельца Павла Семеновича Анненкова.»<sup>1</sup>

Сын Анненкова Юра впоследствии стал известным художником, и в Чукоккале есть его замечательные шаржи и портреты. Анненков сделал один из вариантов обложки для Чукоккалы. Это единственный рисунок, на котором Чукоккала изображена в своем первоначальном переплете.

На рисунке Анненков изобразил обычное времяпрепровождение на дачной террасе, за самоваром. Хозяин Чуковский держит в руках Чукоккалу, между страниц которой зажат Репин, охотно сотрудни-

---

<sup>1</sup> *Чукоккала* 1979, 31. См. также письма И. Е. Репина и К. И. Чуковского в книге *И. Е. Репин, К. И. Чуковский, Переписка 1906-1929* (2006).

чавший в альбоме. Чуковский, с комаром на носу, восхищенно глядит на своего гостя и дачного соседа, Николая Николаевича Евреина. Евреин совмещал в себе ученого, историка, музыканта, режиссера и драматурга, но особенно гордился своим искусством жонглера. В данном случае гость демонстрирует свое мастерство, подбрасывая одну из рюмок с хозяйского стола. В левом углу рисунка – автопортрет Юрия Анненкова. Терраса знаменита тем, что именно здесь Маяковский читал отрывки из поэмы «Облако в штанах» по мере написания новых строк.<sup>2</sup>

Николай Евреин сразу же окрестил Чукоккалу «театром для себя». Это, действительно, была благодарная сцена для игры в культуру! Здесь шли бесконечные импровизации как на заданную, так и на произвольную тему: стихи, рисунки, записи стали соревнованием талантов. Культура стиха и искусство экспромта породили своеобразное игровое общение на страницах альбома.

В гостях, как известно, положено развлекаться и развлекать друга друга, и поскольку все альбомные записи обращены к хозяину, даже его имя Корней обыгрывалось как восклицание: повелительная форма несуществующего глагола *корнеть*. Собственно, имя писателя, данное ему при рождении, было Николай Васильевич Корнейчуков. Авторский псевдоним Корней Чуковский образован от этой фамилии.

И само слово Чукоккала как «невозможная» рифма не раз появлялось в экспромтах таких мастеров слова, как Роман Якобсон, Пастернак, Маяковский. Вот «стихи на случай» Романа Якобсона:

Не с Корнеем Чуковским в контакте ли  
Я решил испытать нынче дактили.  
Если б мы здесь бутылку раскокали,  
Я писал и писал бы в Чукоккале,  
Воспарил бы я дерзостней сокола,  
Написал бы строк двести или около,  
Запестрела б стихами Чукоккала.  
Но могу без целебного сока ли  
Приложиться достойно к Чукоккале.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Чукоккала 1979, 26. Художник и график Ю. Анненков был также связан с авангардным театром и выступил в качестве режиссера в 1919 г. с композицией ревью, включавшей цирковые трюки и номера. (Монтаж 1988, 100-102, 104, 107-9, 116.) См. также книгу Н. Евреина *Демон театральности* 2002.

<sup>3</sup> Чукоккала 1979, 20. См. там же стр. 18-25.

Культура альбома породила альбом культуры – и вот уже польщенный хозяин клеивает в Чукоккалу новые листочки с именами литературных светил: Маяковский, Хлебников, Мандельштам, Пастернак, Олеша, Пильняк...

Дачный быт сам по себе выпал из поля зрения Чукоккалы. Лишь изредка в альбоме встречаются мимолетные упоминания о том, как юный Мандельштам, искупавшись в холодном заливе, бегал взад и вперед по чукоккальскому пляжу, чтобы согреться, или о том, как вечно голодный и безденежный Маяковский ночевал у Чуковских и обедал по очереди у всех дачных знакомых.<sup>4</sup>

Обычное домашнее времяпрепровождение, как и менее «культурные» дачные развлечения – купания, прогулки, флирт, застолья, катание на лодках и извозчиках, походы в лес за грибами и ягодами – остались за пределами Чукоккалы. Также мы не узнаем ничего о любительских спектаклях, о дачном музицировании, пении, настольных и других играх или спорте. В центр внимания попали главным образом художники и литераторы, их экспромты, шаржи, шуточные надписи.

Любительский уровень альбомных экспромтов не исключение, хотя их и сочиняли профессионалы. Но на даче и в гостях они чаще всего выступали не в своей обычной роли. Писатели рисовали, художники сочиняли поэтические экспромты. Илья Репин делал наброски в альбом чем придется, порой даже спичкой или папиросным окурком. Серьезные профессии и дела были оставлены дома, и о важном, а тем более о политике, не говорилось никогда.

До революции для поездок на Перешеек, в Финляндию, надо было пересекать границу. На станции Белоостров жандармы проходили по вагонам и задерживали подозрительных лиц. Чуковский свидетельствует, что его задерживали не менее 30 раз в год: «Что-то в моей физиономии не внушало им доверия».<sup>5</sup>

Тем не менее, Чукоккала имела «иностранные связи»: в 1916 году она съездила в Англию, где побывала в руках Артура Конан Дойля и

---

<sup>4</sup> Чукоккала 1979, 56, 93. Маяковский не всегда был дружески настроен по отношению к Чуковскому, который выступил с критикой футуристов в своих лекциях в Петербурге и Москве в 1913 г. По собственным словам Маяковского, «когда ему говорят, что он дурак, – он не сердится, шарлатан – тоже, мерзкий шенок – тоже, но если при нем упомянуть имя Корнея Чуковского, тогда он загорается.» (Крусанов 1996, 142).

<sup>5</sup> Чукоккала 1979, 119.

Герберта Уэллса, и обогатилась рукописным листком баллады Оскара Уайльда.

Более удивительно то, что в многокультурной среде Перешейка языковые барьеры между финнами и шведами с одной стороны, и русскими дачниками с другой, видимо, были непроницаемы. Во всяком случае, нет явных указаний на этнокультурные контакты. Дачные сообщества не пересекались, для русских сборища на дачах были в основном внутриккультурным общением.

Русская дачная жизнь на Перешейке утихла в 1918 г., когда Финляндия объявила самостоятельность. Перешеек стал прибежищем эмигрантов, беженцев и контрабандистов. Для многих бывших петербуржцев летняя дача стала теперь родным домом: «единственным устойчивым местом, связывающим их с прошлой жизнью, и дающим шанс уцелеть в распадающейся жизни новой.»<sup>6</sup>

После отхода этой территории к Финляндии остатки русского дачного мира были снова, но уже на другой основе, отрезаны от финского и шведо-финляндского культурного сообщества. Разобщенность очагов культуры на Перешейке, прежде в основном языковая и религиозно-этническая, теперь была еще и политически мотивирована.

До своей смерти в 1923 году, в почти полной изоляции в Райволе жила шведоязычная поэтесса Эдит Седергран. В 30-е годы на даче Вилла Голике в Куоккале собиралась литературная элита Финляндии и Швеции. Упомянем еще дачу Леонида Андреева в Ваммельсуу, виллу Марийоки на Черной речке, принадлежавшую писательнице Марии Крестовской, дачу поэтессы Веры Булич в Куолемаярви. Но мы не находим следов их взаимных контактов.<sup>7</sup>

В период между войнами Илья Репин, как и Леонид Андреев, остался в Финляндии. До самой смерти в 1930 году Репин жил на Перешейке, и был похоронен на своей даче в Куоккале. Его любимые Пенаты сгорели во время войны. После войны Перешеек отошел к СССР и все дачные места получили новые русифицированные названия. Куоккала стала поселком Репино.

Вкратце история Чуоккалы после Куоккалы такова, что с переездом Корнея Чуковского под Москву, в Переделкино, Чуоккала поте-

<sup>6</sup> Кушлина 2003, 96.

<sup>7</sup> *Карельский перекресток* 2003. В разное время на Перешейке жили также Д. Менделеев, В. Соловьев, П. Милюков, художники Н. Рерих, А. Бенуа, Е. Лансере, В. Серов, Н. Пуни, Е. Гуро, М. Матюшин, А. Остроумова-Лебедева, поэт Игорь Северянин, и многие другие деятели русской литературы и культуры.

ряла связь с Перешейком и с петербургско-ленинградской культурой, но Чуковский продолжал вести свой альманах на новом месте.

Собирание автографов и экспромтов длилось до самой смерти писателя. Чукоккала стала легендарной, хотя мало кому довелось видеть, а тем более подержать в руках это уникальное проявление коллективного творчества. Чукоккала в оригинале имеет непрезентабельный вид: «Она изодрана, измята, замусолена, т. к. за свою долгую жизнь пережила немало катастроф.»<sup>8</sup>

В начале войны на переделкинской даче Чуковский зарыл сверток с Чукоккалой, но, к несчастью, дачный сторож подсмотрел и выкопал сверток, думая, что Чуковский запрятал там драгоценности. Чукоккала навсегда бы пропала, если бы Корней Иванович случайно не увидел ее на лавке в сторожке.

Вначале Чукоккала была просто альбомом, потом стала альманахом, оставаясь все время рукописной книгой. Корней Чуковский, рассказывая о друзьях и знакомых, давал свои пояснения к каждому экспромту. Он очень дорожил Чукоккалой, всегда хранил ее у себя в кабинете и показывал только из своих рук.

Записей в рукописном альманахе Корнея Чуковского набралось на 789 страниц с филиалами. К концу жизни Чуковский вместе с внучкой Еленой Цезаревной стал готовить издание Чукоккалы. Поскольку альманах заполнялся хаотично, подготовка к печати состояла в том, что уточнялась хронология, был написан комментарий к рисункам и автографам, и включены краткие отрывки из мемуаров Чуковского.

На выпуск первого издания из-за бюрократических препон ушло в общей сложности более 13 лет, с декабря 1965 года по апрель 1979. Книга вышла 1 апреля, в день рождения Чуковского. В ней были большие купюры, потери и бреши. В результате сокращений были изъяты 41 иллюстрация и 20 страниц комментариев самого Чуковского. Более всего купюры касаются периода 20-х годов.<sup>9</sup>

Корней Чуковский умер в 1969 г., не увидев свое любимое детище в печати. Чукоккала вышла в свет маленьким тиражом в 1979 году и тут же стала сенсацией. «Тут вся литература и все связи ее», писал Иракий Андроников в предисловии.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Чукоккала 1979, 11.

<sup>9</sup> Чуковская 1989.

<sup>10</sup> Чукоккала 1979, 8.

Андроников покривил душой – далеко не вся и не все! Опушены многие имена опальных деятелей культуры и важные события времени. Книга была сильно отцензурирована автором, из почти 800 страниц оригинала лишь половина попала в печать. Комментарии Чуковского поясняют и упорядочивают, но и многое скрывают. Его комментарии отражают то, что он считал нужным и возможным напечатать. Об этой самоцензуре надо помнить, читая Чукоккалу.

Наиболее интересные страницы альманаха связаны с Домом искусств и деятельностью издательства Всемирная литература. Многие их видных литераторов тех лет вскоре оказались в эмиграции. Среди них Замятин, Ходасевич, Анненков, Ремизов, Георгий Иванов и др.

Двадцать лет спустя после первого издания Елена Цезаревна Чуковская вновь отредактировала и восстановила Чукоккалу: в 1999 году она вышла в исправленном и дополненном виде. Обложка нового выпуска – тот самый рисунок Юрия Анненкова, где на знаменитой куоккальской террасе Чуковский, с комаром на носу, держит в руках Чукоккалу в своем первоначальном переплете, между страниц которой зажат Репин. В новом издании Чукоккала представлена полностью, с приложением всех эскизов, альбомов, филиалов и разработок темы даже на ресторанных салфетках.<sup>11</sup>

Эту дополненную книгу читать сложнее, ибо в ней нет хронологической или иной системы, но зато интереснее, чем первую Чукоккалу. Здесь мы впервые видим альбомные записи самого Чуковского и ранее неопубликованные строки Мандельштама, Блока, и многих бывших под запретом в советские времена писателей: Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Хармса. Мы можем ближе познакомиться с деятельностью издательства Всемирная литература и узнать интересные детали о жизни Дома искусств. По словам Елены Цезаревны, в Чукоккале сгустился воздух той эпохи, сгустилось время, когда хаотично и случайно заполнялись страницы альманаха. Самуил Маршак недаром назвал Чукоккалу музеем. Новое, исправленное и дополненное издание альманаха расширяет собрание литературных экспонатов и озаряет их порой новым светом.

В заключение – пара слов об игровом характере Чукоккалы. Игровое начало заключалось отчасти в том, что Чукоккала составлялась и

---

<sup>11</sup> Под филиалами составительница новой Чукоккалы имеет в виду тот материал, который Чуковский собирал уже после того, как основная тетрадь была заполнена (Чукоккала 1999, 8).

разрасталась спонтанно, чтобы не сказать хаотически, следуя монтажному принципу, где шутки, курьезы, розыгрыши, импровизации сочетались непредсказуемым образом. Сплетение голосов сквозь призму литературы и искусства дает, в результате, некий художественный коллаж, или бриколаж (если воспользоваться известным термином Леви-Стросса), определяемый случайной связью сопоставляемых единиц. Такой способ коллективного творчества людей, связанных между собой знакомством, дружбой и соперничеством, был специфичным для искусства первой половины прошедшего века.<sup>12</sup>

Тем не менее, их игровое общение, при всей его спонтанности, имело некие неписанные рамки и правила лиминального поведения. Прежде всего, оно происходило в некоем пограничном хронотопе: между городом и деревней, между Россией и Финляндией, между дореволюционной и пореволюционной Россией.

Кроме общей развлекательной установки, по правилам перевернутого мира участники зачастую появлялись не в своей обычной роли: поэт Маяковский рисовал, лингвист Роман Якобсон писал стихи в альбом, режиссер Евреинов жонглировал, художник Репин делал портреты папиросным окурком...

Игра в молчанку была в том, что культурные конфронтации между авангардистами и консерваторами, типичные для литературы и искусства этого периода, начисто отсутствуют, так же как и упоминания о многокультурной, полиэтнической и поликонфессиональной среде Перешейка. Она – как бы по общему негласному соглашению – исключена из этой биографии времени, скорее преднамеренно, чем интуитивно.

Ни первая мировая война, ни гражданская война, ни две революции 1917 года и последующая культурная революция почти не отразились в Чукоккале. Все это, несомненно, дань изоляционистской ксенофобии СССР и внутренней цензуре самого Чуковского, сильно пострадавшего от советских чисток.

Чукоккала была сценой артистизма для избранной публики, игрой взрослых людей «для своих», где люди искусства выступали с сознанием своего превосходства и избранничества, их общей принадлежности к культурной элите. При этом мир этого альбома – практически

---

<sup>12</sup> Бриколаж, по Леви-Строссу – нагромождение предметов, характер связи которых по смежности определяется окружением непосредственно соседствующих звеньев. (Монтаж 1988, 120, 145).

мужской мир, где женщины (за почти единственным исключением Анны Ахматовой) выступают лишь в роли объектов остроумного ухаживания или легкого флирта.

В этом рукописном свидетельстве авторского самообожания и взаимного восхищения, под иронической маской легкого презрения ко всем и всяческим слабостям, игра идет в ключе небрежно-беззаботного остранения. Открытых конфликтов нет, но зато успешно строится барьер между действительностью и ее игровым преобразованием. И хотя условности альбомного жанра задают основной тон, дело не только в этом.<sup>13</sup>

Здесь есть связь с футуристическим искусством, поскольку выпадение логических звеньев и мотивировок в контрапунктном сцеплении комбинаций и положений, в столкновении явлений разного плана, вызывает абсурдно-игровые ассоциации.<sup>14</sup>

Превратившись с годами из дачного альбома в литературный альманах, Чукоккала старалась соответствовать запросам иного масштаба и иной эпохи. С сопутствующими этой новой эпохе деформациями.

В предисловии к первому изданию 1979 года Иракий Андроников назвал Чукоккалу биографией времени. С этим можно согласиться лишь отчасти. На страницы Чукоккалы прокралась искусно отлакированная фальшь. Книга не биография, а тень, отброшенная вероломным временем, когда уставшие от серьезной и страшной действительности литераторы и художники сочиняли для себя веселый беспроблемный мир. Смехом они оборонялись от бессилия перед набиравшим силу переворотом всей жизни.<sup>15</sup>

Оборотной стороной этой дачной беззаботности была бесчеловечная реальность. Культура, и особенно литература, стали в СССР делом серьезным, порой смертельно серьезным: многие из друзей и коллег Чуковского поплатились жизнью за отклонения от единственно верного прямого пути.

В итоге Чукоккала преподносит нам дачную игру в культуру не только как род изящного литературного эскапизма, но и как интересный пример воздействия политической атмосферы на установки твор-

<sup>13</sup> См., например, статью Л. И. Петинной об особенностях альбомной литературы, *Пушкинские чтения* 1990.

<sup>14</sup> Монтаж 1988, 104-109.

<sup>15</sup> Ср. известные положения о «человеке играющем» в книге: Johan Huizinga, *Homo Ludens* (русский перевод: Йохан Хейзинга, *HOMO LUDENS* 1992).



ческого сознания и на поведение его носителей. Пир во время чумы – так в своих предсмертных комментариях сам Корней Чуковский назвал общение людей культуры в тот период.

## Литература

- Евреин, Н.Н. (2002), *Демон театральности*, Москва: Летний сад.
- Карельский перекресток (2003), *Карельский перекресток: тексты семинара в Санкт-Петербурге, октября 2003*. Сост. Елена Хеллберг-Хирн. Хельсинки: Шведско-русское общество Финляндии.
- Крусанов, А. (1996), *Русский авангард*, том 1, Санкт-Петербург: НЛО.
- Кушлина, Ольга (2003), Дача и дом: трансформация смыслов. *Карельский перекресток: тексты семинара в Санкт-Петербурге, октября 2003*. Сост. Елена Хеллберг-Хирн. Хельсинки: Шведско-русское общество Финляндии, 97-103.
- Монтаж (1988), *Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино*. Москва: Наука.
- Петина, Л.И. (1990), «Об особенностях альбомной литературы», *Пушкинские чтения*. Таллинн: Ээсти раамат, 108-128.
- Репин, И.Е., Чуковский, К. И. (2006), *Переписка 1906-1929*. Москва: НЛО.
- Хейзинга, Йохан (1992), *Ното Ludens*. Москва: Прогресс - Академия.
- Чуковская, Е.Ц. (1989), Мемуар о Чукоккале, *Наше Наследие* №4, 61-76.
- Чукоккала (1979), *Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского*. Москва: Искусство.
- Чукоккала (1999), *Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского*. Москва: Премьера.

**Dachas in Literature and Arts**  
—  
**Дачи в литературе и искусстве**



## Дачный текст в журнале «Осколки»

В пореформенное время в России широкое распространение получили периодические издания, ориентированные на массового читателя. Именно эти издания и, в первую очередь, «тонкие» иллюстрированные журналы-еженедельники (такие как «Развлечение», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Осколки» и др.) стали поставщиками литературной продукции для широкой читательской аудитории, сделавшись любимым, а зачастую и единственным ее чтением.<sup>1</sup> Представляя собой легкое занимательное чтение, приуроченное к среднему обывательскому вкусу, иллюстрированные еженедельники стремились совпасть с жизненными ритмами своего читателя, а потому их принято было составлять в соответствии с календарным временем выхода в свет очередного выпуска. Приуроченность каждого номера журнала к определенной дате неизбежно сказывалась на его содержании. Отсюда обилие в иллюстрированных журналах так называемых «календарных текстов»: святочных, масленичных, пасхальных, троицких и других. Отсюда же и «сезонное» строение годового комплекта таких изданий: в соответствующих выпусках появлялась зимняя, весенняя, летняя, осенняя тематика.<sup>2</sup>

Летние выпуски массовой периодической печати обычно включали в себя обильный литературный и иллюстративный материал, связанный с темой летнего отдыха городского населения на даче. В результате сформировалась особая разновидность текстов, получивших на-

---

<sup>1</sup> См.: Рейтблат 1991, 97-108.

<sup>2</sup> Дущечкина 1995, 179.

звание «дачных»<sup>3</sup>, которые, показывая дачников в разнообразной обстановке и разнообразных обстоятельствах, стали обычным явлением повременной массовой прессы. По мере того, как приближалась дачная пора, сотрудники журналов, часто загодя, приступали к созданию «дачных» произведений. Так, например, А.П. Чехов, уже в начале марта 1883 г. писал Н.А. Лейкину: «С половины апреля начну строчить “дачные рассказы”. В прошлом году они мне удавались»<sup>4</sup>. Именно в массовой периодике «дачные» тексты вырабатывали свой хронотоп, свои сюжеты, свою стилистику, набор и амплуа персонажей.

Наибольшее распространение «дачные» тексты получили в юмористических еженедельниках, в частности, в самом популярном из них – «Осколках» (1881 – 1905), издаваемом в Петербурге Н.А. Лейкиным. «Осколки» с самого начала строго придерживались «календарного» принципа в размещении материала: действие публикуемых в этом журнале произведений приурочено к тому календарному времени, на которое приходится выпуск очередного номера. Как писал об этом журнале А.П. Чехов, «шарж любезен, но незнание чинов и времен года не допускается» [Курсив наш. – *Е.Д.*].<sup>5</sup> В «Осколках» печатались В.В. Билибин, Л.И. Пальмин, Л.Н. Трефолов, А.С. Лазарев – Грузинский, молодой А.П. Чехов и многие другие. Сам Н.А. Лейкин поместил в «Осколках» более полутора тысяч своих произведений, в том числе и множество «дачных». Адресатом лейкинского журнала были, главным образом, петербургские мелкие и средние чиновники, купечество, низшие военные чины, учителя, врачи. Они же социальных слоев становятся и главными действующими лицами «дачных» текстов. Наиболее частыми персонажами были мелкие чиновники, купцы и члены их семей. Н.А. Лейкин, сам выходец из купеческой среды, прекрасно знал этот мир и любил его изображать. Обзору «дачных» материалов, публиковавшихся в «Осколках», и посвящена настоящая работа<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Первые тексты с жанровым подзаголовком «дачный рассказ» появляются в толстых журналах середины XIX века. См., например, Зотов 1856. О «дачном» тексте см. работы Стивена Ловелла (Lovell 2003; Ловелл 2003).

<sup>4</sup> Чехов 1974, 59–60. О «дачной» теме у Чехова см. работу В.Г. Щукина (Щукин 2005).

<sup>5</sup> Чехов 1974, 63.

<sup>6</sup> При написании данной статьи я использовала материал летних (с мая по август) номеров журнала «Осколки» за 1883 и 1884 гг. (всего 36 номеров). Выборочный просмотр летних выпусков «Осколков» за другие годы показал, что тематика «дачных» текстов не претерпевает в них значительных изменений.

«Дачная» тематика получила в этом журнале отражение в самых разнообразных жанровых модификациях юмористической периодики: «дачных рассказах», «дачных фельетонах», «дачных мелочах», «дачных сценках с натуры», «дачных эскизах», «рекомендациях дачникам», рисунках с подписями, изображающих разнообразные «дачные» ситуации, «дачные» коллизии и т.д. и т.п. Особенное распространение получили «сценки», ставшие в юмористической периодике развлекательным жанром. «Сценки», публиковавшиеся в летних выпусках «Осколков», представляли собой комические бытовые картинки дачного содержания. Поскольку юмористическая печать имела своей целью показать комизм быта, повседневной жизни, то и дачная тема получила в «Осколках» прежде всего юмористическое и даже абсурдистское отражение.

Вполне естественно, что география «дачных» текстов, печатавшихся в «Осколках», в основном ограничивалась местами летнего отдыха, расположенными под Петербургом, и отражала жизнь петербургских дачников. Из-за обилия и разнообразия помещенных в «Осколках» дачных материалов этот журнал можно назвать юмористической энциклопедией дачной жизни средних слоев населения Петербурга.

Дачный сезон в Петербурге начинался в мае и длился до конца августа. В первых «дачных» материалах, появлявшихся уже в начале мая, давалась ироничная, а порою и язвительная, характеристика («маленький калейдоскоп») дачных мест, расположенных вблизи Петербурга: оценивался уровень их престижности, национальный и социальный состав дачников, преобладающий в том или ином месте, условия их жизни, характерные для них развлечения и пр. Таков, например, фельетон В.В. Билибина, помещенный в начале мая 1884 года:

Первое место – Павловску, разумеется. Это почти “заграница”, ибо туда ни на извозчиках, ни на “конках” не ездят, а только по железной дороге. Вывозят оттуда летом клубнику и другие ягоды, а привозят статских и действительных статских советников. [...]

“Озерки” – маленький Павловск, говорят. “Озерки” – Шувалово тож. Пахнет немцем и довольно сильно. Во время немецкой музыки немки падают в обморок, а немцы пьют по шниту пива. Коренное население занимается рыболовством... в карманах дачников. Озера сделаны для украшения, ибо воду их пить нельзя. Дачницы купаются без костюмов, молодые люди, отдыхающие от умственных занятий, изредка наблюдают. [...]

Парголово – рядом. Преобладает чиновник из мелких и средних. В лето выуживается из озера полторы дюжины калosh и два утопленника. Крестьяне пьют водку и перевозят мебель из города на дачу и обратно. Своя собственная оперетка из крестьянских девушек, которые визжат так свои романы, что питерским собачкам грустно делается на душе. [...]

Лесной – дремучий лес, где прежде жили медведи, а теперь жида. Замечателен клубом, в который заманивают приезжих хитростью и арканами. [...] Купцы пьют чай, а потом лежат кверху брюхом, девицы гуляют по аллеям “любви” и “вздохов”. Когда вагон конножелезки сходит с рельсов, делается, от страшнейшей скучищи, целое гулянье: барыни являются в шляпках.

Ораниенбаум, Стрельна и другие места более или менее отдаленные суть царство женщин. Мужья наезжают по субботам. Дачницы целый день спят или купаются. Море всем по колено.

На Черной речке обыватели пользуются безвозмездно к обеду окрошкой и ботвиньей из реки. Барышни слушают в Строгановском саду, вместо соловьев, кукушек и комплименты эlegantных кавалеров из приказчиков и военных писарей.

О Новой Деревне, как дачном месте, и о населении ее говорить неприлично; но там есть два храма увеселений: “Ливадия” и “Аркадия”. [...] “Ливадия” основана в память нашествия французов на Россию в двенадцатом году. [...] “Аркадию” содержат патриоты отечества поляков и Александров. [...]

Весь мой фельетон вышел дачным, ибо я сам живу на даче.<sup>7</sup>

В майских выпусках «Осколков» широко обсуждалась проблема съема дачи, и помещались сценки и рисунки, изображающие переезд на дачу, куда отправлялись небрежно уложенные мужиками возы с мебелью, гладильными досками, ванными, кофейными мельницами, самоварами и прочей домашней утварью. По приезде обнаруживалось, что половина мебели поломана: при разгрузке возов у столов отламывались ножки, у шкафов отрывались дверцы, у диванов отваливались спинки и пр. При виде такой картины хозяева приходили в бешенство<sup>8</sup>. На обложке одного из майских номеров «Осколков» помещены два рисунка В.И. Порфирьева, постоянного художника журнала, под названием «Мученики петербургских дач». На первом дана сцена под названием «Едут», где мы видим наваленные на телегу диваны, сту-

---

<sup>7</sup> Билибин 1884а, 1-4.

<sup>8</sup> См., например, Лейкин 1883а, 2.

ля, трюмо, самовар, корыта, ванны, подушки, клетку с кошкой, кофейники и т.д. На верху воза восседает служанка.<sup>9</sup>

Таким образом, с самого начала дачного сезона «Осколки» указывают на неудобства и убытки дачной жизни, которые, как кажется, делают нелепым и бессмысленным сам переезд на дачу. Казалось бы, цель летнего выезда за город – семейный отдых на лоне природы. На деле же получается, что дача приносит дачникам одни беды и страдания, превращая их жизнь в сплошное мучение.

Прежде всего, удручает погода, которая никогда не бывает хорошей: или холод, или жара. На втором рисунке обложки указанного выше номера «Осколков» (под названием «Приехали») изображена комната на даче, где собрались все члены семьи. Дрожа от холода, они пьют для согрева чай с ромом; окно заткнуто подушкой; у простуженной хозяйки обвязаны уши и зубы; хозяин в шубе; женщины закутаны в теплые платки. Льет дождь, крыша протекает, и потому на кровати стоит ушат, а на полу – таз, куда с потолка течет вода.<sup>10</sup> Основная тема разговоров на дачах – протечки в потолке, которые приходится затыкать ватой, холод и непрекращающиеся простуды. Даже танцую кадрили на дачном балу, барышня, купеческая дочка, говорит своему кавалеру: «Спим под теплыми пальтами сверх одеял, покрывшись».<sup>11</sup> На обложке одного из июньских номеров журнала приведена прямо противоположная картинка: от непереносимой жары дачники залезли в пруд и фактически все время проводят в воде. Один читает под зонтиком газету, двое молодых людей едят мороженое, четверо играют в карты на поставленном в воду столе, рядом – бочки с пивом.<sup>12</sup> Картинка называется «Единственное средство спасения от летних жаров (рекомендуется дачникам)».

Постоянное мучение, которым подвергаются дачники – это комары. «Комариная» тема типична для летних страниц «Осколков», особенно в течение первой половины сезона. Комары – одна из тех напастей, которая сопутствует жизни дачников, делаая ее невыносимой. В «дачной эпопее» К.С. Баранцевича «Отделался» хозяин дачи нарочно уводит приехавших к нему из города неожиданных гостей в лес, где им спасу нет от комаров.<sup>13</sup> Рисунок, изображающий гуляющих по лесу дач-

<sup>9</sup> Осколки 1884а.

<sup>10</sup> Осколки 1884а.

<sup>11</sup> Лейкин 1884а, 3-4.

<sup>12</sup> Осколки 1884б.

<sup>13</sup> Баранцевич 1884, 3-4.



ников, сопровождается текстом: «Она: Сколько здесь поэзии! Он: А комаров еще больше».<sup>14</sup> «Комариная тема» может появиться в самых «романтических» ситуациях, придавая тексту юмористическую тональность. В «Сценке» Н.А. Лейкина изображаются «он» и «она», сидящие на скамейке, которая стоит на перекинутом через канаву мостике. В то время как «он», держа «ее» за талию, читает стихи, «она» веткой сирени отмахивается от комаров».<sup>15</sup> По ночам дачники ходят слушать соловьев, но, искусанные комарами, приходят к выводу, что «комаров много, а соловьев нет; соловьи нынче не поют».<sup>16</sup> Комариная тема регулярно обыгрывается и в юмористических стихах, как, например, в стихотворении Л. И. Пальмина «Торжествующий комар»:

О, Боже, не найти от комаров спасенья!  
Их мириады, тьмы... Они звенят, язвят,  
Точь-в-точь сатирики впускают тонкий яд...  
Но вот один комар звенит из отдаленья  
С особым торжеством, как звонкая труба,  
Что возвращает в мир великую победу.  
И правда: комару капризная судьба  
Послала жирный кус и лакомый к обеду.  
Богатому тузу, – по даче мне соседу.  
Воссев на медный лоб, его он искусал,  
И крови у того он досыта напился,  
Кто сам людскую кровь как бы вампир сосал.  
Хвала тебе, комар, ты лихо отличился! [...].<sup>17</sup>

Согласно материалам «Осколков», условия жизни дачников вообще трудно переносимы. Дача обычно сдается многим семьям, что создает необычайную скученность людей, мешающих друг другу. Вот одна из многих иллюстраций на эту тему. Дом буквально набит дачниками. На крыльце играют музыканты. Из окна выглядывают пятеро детей. На подоконнике другого окна барышня читает книгу. Через третье окно видна группа молодых людей, играющих в карты. Даже в трубе живет семья из восьми человек. Вокруг дома газон, на котором установлены

---

<sup>14</sup> Осколки 1884с, 5.

<sup>15</sup> Лейкин 1884b, 1-2.

<sup>16</sup> Осколки 1884d.

<sup>17</sup> Пальмин 1884, 4.

таблички с надписями: «По траве не ходить», «Деревьев не ломать», «Удиль рыб воспрещается».<sup>18</sup>

Мучительность жизни дачника усугубляется шумом, донимающим его с раннего утра до позднего вечера. В сценке Н.А. Лейкина «Дачное спокойствие» описывается день дачника, живущего на Черной речке. Рано утром его будит «горлающий во все горло петух»; кудахчит только что снесшая яйцо курица, звонит колокол расположенной рядом с дачей конно-железной дороги. «Уголья! Уголья! Уголья!» – аккомпанирует этим звукам глухой голос чухонца, остановившегося с возом у ворот дачи. Дачник, почти всю ночь не спавший из-за зубной боли, пытается заснуть. Однако это ему не удается: за стенкой громко ругаются кухарки. Дачник выгоняет их, но спокойствия все равно нет: на руках у няньки ревет ребенок. Окончательно выведенный из себя дачник ссорится с женой и думает про себя: «Комнаты маленькие, бежал бы я сам, но куда я денусь!» Далее одно следует за другим: дачник ссорится с соседкой, которая велит унять «вашего» петуха, соседская собачонка хватает его за ногу, он ругается с хозяйкой собаки, та зовет мужа... «Нигде нет покою», – думает в отчаянии дачник. А тем временем один за другим мимо его дачи с громкими криками проходят разносчики:

«Окуни, ерши, судаки живые, жива рыба!» «Цыплята, куры биты, раки крупные!» «Картофель! Картофель! Картофелю, господин, не надо ли?» «Масло чухонское! Масло. Масла свежего не надо ли?» «Щетки половые, корзинки хорошие, грабельки детские, лопаточки детские...» «Хороши гребенки, хороши гребенки!» «Сельди голладски, селедки голландски! Яйца свежие, яйца...»

«Дачник скрежещет зубами».<sup>19</sup> Тема разносчиков, докучающих дачникам, встречается едва ли не в каждом выпуске журнала. Так, например, в одном из июльских номеров «Осколков» за 1884 г. помещен текст «Ежегодной дачной оперетки, начало в 8 часов утра, а конец в 9 вечера»:

Хор (под аккомпанемент шарманки и собаки): Селедки голацки! Яйца свежи, яйца! Вот спички хороши. Цыплята, куры, биты, огурчики зелены. Окуни, ерши, судаки, жива рыба! Невска лососина! Щетки половые, грабельки детски, лопаточки детски! Ведра, лохани хороши! Подайте милостыньку Христа ради, кормильцы вы наши. Дачник-соло: Караул!!!<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Осколки 1883а.

<sup>19</sup> Лейкин 1883б, 5.

<sup>20</sup> Осколки 1884е. См. также: Лейкин 1884с, 5.

В рассказе А.Грузинского «Удобная дача» оптимистично настроенный дачник восторженно рассказывает о «прелестях» снятой им «с Манечкой» даче. Однако перечисление этих «прелестей» приводит читателя к выводу, что его дача ничем не лучше других. Воздух на ней «легкий», потому что, сколько ни топи в холодные дни, все тепло уходит в щели и по комнатам «разгуливают зephyры». Особый «аромат» местности придают расположенные неподалеку городские свалки. Рядом нет ни почты, ни телеграфа, однако недостатка в информации нет: сплетни разносятся с невероятной быстротой. Свежую воду и провизию всегда можно привезти из соседнего села, расположенного в четырех верстах. Живется им «с Манечкой» весело: каждый вечер они слушают музыку «гармоний» и песни пьяных фабричных, гуляющих возле кабака. «Летнего театра, должно признаться, нет; – замечает дачник, – зато каждый день, на открытом воздухе, устраивается нечто вроде цирка»: происходят драки и потасовки фабричных, на которые дачники «смотрят совершенно бесплатно».<sup>21</sup>

Одно из регулярно раздражающих и удручающих дачника событий – это неожиданный приезд из города гостей: ведь их надо кормить и развлекать, а это непросто. На картинке «К вопросу об удобных дачах. Проект идеально удобной дачи для желающих избавиться от более или менее частых и продолжительных визитов родни и знакомых» нарисован дом, окруженный рвом, наполненным водой, у дома будка со злой собакой. На дверях табличка с надписью «Дома нет». Приехавшие в большом количестве гости растерянно стоят вокруг рва, не зная, что им предпринять.<sup>22</sup> Докучают дачникам не только гости из города, но и навязывающиеся на знакомство соседи. Авторы «Осколков» советуют в таких случаях делать соседям какие-нибудь гадости, например, насыпать «в кофе через прислугу жженой пробки», ибо «против неприятностей все средства позволительны».<sup>23</sup>

О частых случаях обворовывания дач свидетельствует рисунок «Меры предосторожности против воровства на дачах»: все вещи и мебель в помещении прибиты гвоздями к стенам и полу, дом охраняют две страшные собаки. «Предусмотрительный дачник» говорит супруге: «Ну, мы теперь, Марья Ивановна, можем пойти с тобой про-

---

<sup>21</sup> Лазарев 1884а, 4-5.

<sup>22</sup> Осколки 1883b.

<sup>23</sup> Билибин 1884b, 5.

гуляться на полчаса. Кажется, в наше отсутствие ничего не украдут»<sup>24</sup>.

Но даже в тех случаях, когда дачнику никто и ничто не мешает, его одолевает «скука дачной жизни». Поэтому статским советникам, скупающим на даче в период отпуска, «Осколки» «рекомендуют» «занятие мирное и очень забавное: доить коров»; предлагают также заготовливать «себе на зиму рябиновку»; ловить рыбу, раков, собирать грибы и пр. Да дачники и сами стараются развлечь себя, кто как умеет. Одна из дам, пользуясь отпуском, намерена заняться литературой и хочет «описать красоты природы».<sup>25</sup> Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов любят подплывать к женской купальне и, выбрав самую широкую мель, «созерцают купальщиц».<sup>26</sup> По ночам дачники ходят в рощу слушать соловьев, но, как правило, «слышат всех, кроме этой птички».<sup>27</sup> Ходят дачники и по грибы; однако, поскольку городские жители плохо разбираются в грибах, то, боясь отравиться, они опасаются их есть. Так, например, в «Водевильном случае» Н.А. Лейкина жена, приготовив на обед грибы в сметане, хвастается перед мужем, приехавшим со службы на дачу: «Сама собирала (масляники, сыроежки, белые, красные)». Но он решительно отказывается от такой еды.<sup>28</sup>

Особая тема «дачных» текстов, переходящая из номера в номер – положение «дачных мужей». Создается образ вечно спешащего на дачу чиновника, обвешанного множеством вещей и едва не опаздывающего на поезд. Приехав на дачу, он узнает, что жену укусила муха, сын провалился в пруд, дети объелись черники, а повешенный им гамак уже оборвался. Утром следующего дня чиновник спешно пьет на веранде чай, боясь опоздать на поезд. И только в присутствии облегченно вздыхает: «Слава Богу, я на службе... Только здесь немножко и отдыхаешь... Нет, пора в город переезжать...».<sup>29</sup> Такова участь всех мужей-дачников: проводить большую часть времени, путешествуя в город на службу и обратно на дачу, а оставшееся время – «спать и во

<sup>24</sup> Осколки 1883с. См. также: Лейкин 1884а, 3–4.

<sup>25</sup> Билибин 1884с, 5.

<sup>26</sup> Чехов 1884, 6.

<sup>27</sup> Чехов 1883, 5.

<sup>28</sup> Лейкин 1884d, 4.

<sup>29</sup> Осколки 1884f.

сне ловить рыбу, раков, охотиться, гулять по аллеям, срывать цветы и вообще пользоваться всеми дачными удовольствиями».<sup>30</sup>

Именно поэтому в последних «дачных» выпусках «Осколков» появляются иронические заключения о «прелестях дачной жизни»: «В настоящее время вы, почтеннейший читатель, вероятно, успели насладиться всеми прелестями дачной жизни; успели отморозить себе нос, украсить свою физиономию флюсом, схватить лихорадку и т. п. Пришло время перебираться в город».<sup>31</sup> О том же свидетельствует стихотворение «Прощание с дачей»:

Вещи разбиты, раздавлены...  
 Пропасть различных пропаж,  
 Два протокола составлены,  
 С кашлем жена... у меня ж  
 Зубы – да как! Обе челюсти  
 Ноют... Хоть в пруд головой...  
 Вот оне, дачные прелести!  
 Вот он, хваленый покой.<sup>32</sup>

## Литература

- Баранцевич, К. (1884), Отделался. (Дачная эпопея). *Осколки*, № 31, 4 авг., 3-4.
- Билибин (1884а), И.Грэк [Билибин В.В.]. Осколки Петербургской жизни. *Осколки*, 1884, № 22, 2 июня, 1-4.
- Билибин (1884b), И-къ [Билибин В.В.]. Дачная мелочь. *Осколки*, № 24, 16 июня, 5.
- Билибин (1884с), И. Грэк. [Билибин В.В.]. Красоты природы. (Из дневника дачницы). *Осколки*, № 31, 4 авг., 5.
- Душечкина, Е.В. (1995), *Русский святочный рассказ: Становление жанра*. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Зотов, В. (1856), В озере: Дачный рассказ. *Сын отечества*, № 26, 289-292.
- Лазарев (1884а), Грузинский А. [Лазарев А.С.] Удобная дача. *Осколки*, № 24, 16 июня, 4-5.
- Лазарев (1884b), Грузинский А. [Лазарев А.С.] Добрые советы. *Осколки*, № 32, 11 авг., 5.
- Лейкин, Н.А. (1883а), При переезде на дачу. (Сценка). *Осколки*, № 21, 21 мая, 2.
- Лейкин, Н.А. (1883b), Дачное спокойствие (с натуры). *Осколки*, № 20, 14 мая, 5.
- Лейкин, Н.А. (1884а), На дачном балу. (Сценка). *Осколки*, № 33, 18 авг., 3-4.
- Лейкин, Н.А. (1884b), Рядом с «ней». (Сценка). *Осколки*, № 23. 9 июня, 1-2.
- Лейкин, Н.А. (1884с), На даче. (Сценка). *Осколки*, № 22. 2 июня, 5.
- Лейкин, Н.А. (1884d), Грибы. (Водевильный случай). *Осколки*, № 34, 25 авг., 4.

<sup>30</sup> Билибин 1884b, 5.

<sup>31</sup> Лазарев 1884b, 5.

<sup>32</sup> Тихонов 1884, 5.

- Ловелл, Стивен (2003), Дачный текст в русской культуре XIX века. *Вопросы литературы*, №3, 34-73.
- Осколки (1883а), Еще о дачном вопросе. Рис. В.И. Порфирьева. *Осколки*, № 25, 18 июня. Обложка.
- Осколки (1883б), К вопросу об удобных дачах. Рис. В.И. Порфирьева. *Осколки*, № 20, 14 мая. Обложка.
- Осколки (1883с), *Осколки*, № 26, 25 июня. Обложка.
- Осколки (1884а), *Осколки*, № 20, 19 мая. Обложка.
- Осколки (1884б), *Осколки*, № 26, 30 июня. Обложка.
- Осколки (1884с), *Осколки*, № 22, 2 июня, 5.
- Осколки (1884д), *Осколки*. № 23, 9 июня, 1.
- Осколки (1884е), Соловьи-разбойники. Рис. В.И. Порфирьева. *Осколки*, № 29, 29 июля. Обложка.
- Осколки (1884ф), Удовольствия дачные. Рис. В.И. Порфирьева. *Осколки*, № 34, 25 авг., Обложка.
- Пальмин, Л.И. (1884), Торжествующий комар. *Осколки*, № 23, 1 июня, 4.
- Рейтблат, А.И. (1991), *От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века*. Москва: МПИ.
- Тихонов (1884), Угрюм Бурчеев [Тихонов А.А.]. Прощанье с дачей. *Осколки*, № 34, 25 авг., 5.
- Чехов (1883), А. Чехонте [Чехов А.П.]. Бенефис соловья. *Осколки*, № 21, 21 мая, 5.
- Чехов (1884), Человек без селезенки [Чехов А.П.]. Дачное удовольствие. *Осколки*, № 24, 16 июня, 6.
- Чехов, А.П. (1974), *Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Письма*. Т. 1. Москва: Наука.
- Щукин, В.Г. (2005), Чеховская дача: культурный феномен и литературный образ. *Очерки русской культуры XIX века. Т. 5. Художественная литература. Русский язык*. Москва: Языки русской культуры, 414-458.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.



## «Дачная жизнь» как социокультурное явление

Со второй половины XIX в. выезд горожан на дачу стал обычной и даже неотъемлемой частью их жизни. Петербуржцы стремились покинуть город, который летом сулил им только «вредный климат, вечные ветра, водяные осадки, слякоть, вредный, переполненный всевозможными миазмами и удушливыми парами, воздух...»<sup>1</sup>. Так было принято считать. Авторы же книги о Петербурге того времени Д.А. Засосов и В.И. Пызин, рассматривая в своем сочинении вопрос об экологии города, указывали, что в сравнении с современным им Ленинградом Петербург конца XIX века не был так загрязнен, как об этом говорилось.<sup>2</sup> И, тем не менее, в летние месяцы все ехали на дачу. Отчасти это было продиктовано необходимостью, отчасти служением моде.

Период конца XIX – начало XX вв. был ознаменован широким дачным строительством, в процессе которого осваивались все новые местности. Дачных массивов становилось больше, в них постепенно улучшались условия жизни. Вследствие этого число петербуржцев, которые могли назвать себя дачниками, росло с каждым годом.

Горожане разного уровня достатка ехали в пригороды, где в летний период формировалось особое сообщество людей, не связанных между собой службой и петербургской светской жизнью. Они оказывались совершенно в иной среде, где вели жизнь, отличную от столичной, где работали другие правила и осуществлялись иные социальные связи. Вышесказанное объединяется, на наш взгляд, в такое понятие, как «дачная жизнь».

---

<sup>1</sup> Дачная жизнь 1911, № 1, 1.

<sup>2</sup> Засосов & Пызин 1991, 180.



Дачной теме стали уделять внимание еще в XIX веке. Она прочно укрепилась в художественной литературе того времени. Сложно подсчитать количество беллетристических рассказов, фельетонов, стихов, шуточных сценок, анекдотов, посвященных «дачной жизни», «дачным мужьям и женам», «дачной скуке», «дачным женихам», «дачному флирту» и пр. В них просматривались характерные черты, как самих обитателей пригородных местностей, так и дачного времяпрепровождения в целом.

Последнее утверждение можно отнести, на наш взгляд, и к периодике конца XIX – начала XX вв., в которой также нередко затрагивались вопросы загородного отдыха. В центре нашего внимания будут специально-дачные издания и, в большей степени, газета «Дачник», издававшаяся в 1909 г. Через призму газетной статьи мы попытаемся выяснить, что собой представляла «дачная жизнь», чем она была наполнена.

О «дачной жизни» писали многие современники предреволюционных лет. Очень информативной является книга уже упоминавшихся авторов Д.А. Засосова и В.И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов». В форме развернутого рассказа она знакомит читателей со всеми дачными местностями, дает представление о жизни их обитателей. То же можно сказать и о дачной прессе. Последняя также обзревала дачные окрестности Петербурга. Однако форма подачи материала и его содержание в газете отличалось от повествовательного текста. Нередко краткость, сенсационность, острота текста и пр. становились главными характеристиками газетного очерка. Газетная статья призвана была, с одной стороны, информировать своего читателя, а, с другой стороны, развлекать его. И в зависимости от стратегии издания, в нем преобладали статьи и очерки того или иного характера.

До революции в Петербурге и окрестностях издавалось множество газет и всевозможных листков. Газета «Дачная жизнь» в 1911 году сообщала о том, что кроме специально-дачных газет, выходивших в Петербурге в разное время, во многих дачных местностях выпускались рукописные и гектографированные листки.<sup>3</sup> Одной из первых дачных газет было еженедельное издание «Парголовский летний листок. Дневник дачной жизни», которое выходило в 1882 году на протя-

---

<sup>3</sup> Дачная жизнь 1911, № 1, 1.

жении всего летнего сезона. Основная же масса интересующей нас периодики выпускалась уже в начале XX века.

Каждый издатель, задумывая выпустить новую газету, старался ориентироваться на своего читателя. На рубеже веков ощущалась необходимость в изданиях, посвященных исключительно дачным поселкам и жизни в них. Об этом можно судить хотя бы из обращений редакторов той или иной газеты к публике: «...всегда чувствовалась потребность в таком органе, который явился бы живым откликом дачной жизни и был зеркалом ее светлых и темных сторон».<sup>4</sup> Подобные слова помещались обычно в первом номере основанной газеты, целью которой было, прежде всего, заинтересовать читателя, привлечь его внимание.

Кроме уже названного «Парголового летнего листка» в последней четверти XIX века выпускались такие издания, как «Куда ехать на дачу?: Петербургские дачные местности в отношении их здоровья» или «Дачи и окрестности Петербурга (с приложением расписаний поездов железной дороги и пароходов на 1891 г.)». Эти и им подобные ежегодные издания (хотя, часто больше одного года они не выходили) имели характер справочников и путеводителей. Их цель – сориентировать петербуржцев в разнообразии дачных местностей, быть спутником столичного обывателя при выборе места летнего отдыха.

О многообразии дачной прессы можно говорить только в начале XX века. В Гатчине, к примеру, в разное время выходили следующие газеты: «Гатчинский листок» (1906), «Гатчинская неделя» (1913), «Жизнь Царскосельского уезда» (1913-1914), «Гатчина» (1913-1916). Несколько периодических изданий выпускалось и в Луге: «Лужский листок» (1909-1913), «Лужская газета» (1910-1915), «Лужская жизнь» (1915-1916). В Царском Селе печаталась «Царскосельская газета» (1906-1907), в Ораниенбауме – «Ораниенбаумский дачный листок» (1907-1908), в Новой Ладогe – «Озерный край» (1913-1914), в Териоках – «Териокский дневник» (1913) и пр.

Кроме вышеперечисленных изданий о радостях и проблемах дачной жизни можно было узнать из газет «Пригородная жизнь» (СПб., 1906), «Местная жизнь» (СПб., 1907) и пр. Нельзя также обойти вниманием периодические издания, названия которых говорили сами за себя. Речь

---

<sup>4</sup> Там же.

идет о газетах «Дачник» (СПб., 1909, №№ 1-48), «Дачная жизнь» (СПб., 1911, №№ 1-7), «Дачница» (Стрельна, 1912, №№ 1-7).

Тематика большей части вышеназванных изданий определялась в основном новостями и событиями, происходившими в той или иной дачной местности. При этом немалое значение в них имели и сведения о важнейших событиях столичной, провинциальной и заграничной жизни. Нередко эти новости носили характер сенсационный, чем, несомненно, привлекали к себе читателей. Так, на страницах этих газет можно было прочитать, к примеру, об убийстве офицером ростовщика, о загадочном отравлении слушательницы музыкально-драматических курсов, о французе, совершающем кругосветное путешествие пешком и пр. Здесь же сообщалась информация о пожарах, кражах, убийствах, несчастной любви и попытках самоубийства и пр.

Дачная пресса выходила в свет, как правило, с мая по сентябрь, то есть на протяжении всего летнего сезона и была ориентирована, прежде всего, на самих дачников. Газета «Дачник» писала по этому поводу следующее: «...редакция своей обширной и своеобразной программой ставит целью служить в период летнего сезона всему дачному населению приятным и занимательным развлечением, полезным указателем во всех случаях культурно-научной жизни, практическим руководителем справочного характера...».<sup>5</sup> Газеты можно было получить по подписке или же купить в специальных лавках Санкт-Петербурга, пригородов и на вокзалах. Пресса с успехом распространялась по всем близлежащим дачным местностям, таким как: Лигово, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум, Красное Село, Дудергоф, Гатчина, Царское Село, Тярлево, Павловск, Ковшевка, Вырица, Удельная, Лесной, Озерки, Шувалово, Левашово, Куоккала, Териоки, Поповка, Саблино, Новая Деревня, Коломяги, Лахта, Тарховка, Разлив, Сестрорецк, Ермоловка, Ковалево, Приютино и др.

Каждая редакция, приступая к изданию газеты, формулировала свою программу, цели, которые она перед собой ставила. Так, газета «Парголово-Летний листок» выражала это стремление следующим образом: «Мы будем дневником дачной жизни, постараемся быть зеркалом, отражающим ее во всех подробностях и без прикрас. Цель наша дать постоянному и временному населению местности – материал для полезного чтения...».<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Дачник 1909, № 1, 1.

<sup>6</sup> Парголово-Летний листок 1882, № 1, 1.

Редакторы общественно-политической и литературной газеты «Дачная жизнь» «...поставили своей главной задачей обслуживание интересов дачных обывателей в их социальной и экономической жизни». <sup>7</sup> Объясняли они это тем, что «петербургская пресса, имеющая более широкие цели, ... не может в должной мере предоставить своих страниц освещению нужд дачников столичных окрестностей». <sup>8</sup>

«Соединить, по возможности, разнообразное русское население в Териоках, дать ему возможность заявить о своих нуждах и желаниях, и хотя бы в малой степени подействовать ознакомлению русских с Финляндией, – такова наша цель» <sup>9</sup> – писала газета «Териокский дневник».

Как правило, весь объем информации распределялся в дачной прессе на ряд отделов: обзор последних событий; литературный, в котором печатались модные романы, фельетоны, рассказы, стихи, афоризмы и пр.; отдел новостей из дачной жизни различных подстоличных местностей; обзор театральных, музыкальных и спортивных мероприятий; справочный отдел, в котором публиковались практические советы на все случаи жизни, расписание движения поездов, пароходов, различные объявления и пр.

Успех газеты во многом был определен тем, что она публиковала на своих страницах. Одним из самых «жарких» месяцев, как для издателей, так и для читателей, был май, поскольку именно в это время происходил выбор дачного места на летний сезон. Пресса выступала в этой ситуации в качестве помощника петербургскому обывателю. Горожане могли прочитать в газетах, где и по какой цене можно было снять дачный домик. Отметим, что подобная информация поступала «из первых рук» – от специальных корреспондентов, которые сами проживали в дачных поселках и, таким образом, могли дать достоверную информацию о них.

Существовала своеобразная шкала цен на дачи. Были местности, где поселиться могли себе позволить только состоятельные люди, в других – люди среднего достатка, в третьих – малоимущие петербуржцы, которые, как и все остальные горожане, тоже стремились за город. Престиж дачных мест во многом определялся благоприятным климатом местности. Справедливо сказано об этом в одном из номе-

---

<sup>7</sup> Дачная жизнь 1911, № 1, 1.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Териокский дневник 1913, № 1, 1.

ров газеты «Дачная жизнь»: «Увы! За небольшим исключением, почти все места – то же болото, на котором стоит наша столица. А потому, читатель, если желаешь узнать, является интересующая тебя дачная местность здоровой или же она «с болотцем», – ограничься простым вопросом: – А почему там дачи? И сообразно полученному ответу определяй, как по барометру, степень влажности воздуха этой дачной местности. Ошибки не будет».<sup>10</sup>

Кроме того, важными критериями при выборе места для летнего отдыха были степень отдаленности от Петербурга, наличие учреждений медицинской помощи, пожарной бригады, театра и прочее.

В подтверждение вышесказанному приведем только некоторые сообщения специальных корреспондентов, опубликованные в майских номерах газеты «Дачник»:

В Александровской «крестьянские избы с успехом заменяют дачные постройки. Нет хорошей и здоровой воды – колодцы загрязнены. Река Александровка наперекор значению служит для местности чуть не стоком для нечистот».

«Белоостров служит русско-финляндской границей. Прекрасные березовые рощи, дешевые дачи. Существует недостаток – таможенные беспокойства».

Гатчина – «18 тысяч жителей, очень благоустроен. Цены на дачи страшно высокие. Широкая медицинская помощь, аптека, больницы».

В Коломягах «почти все дачи заняты».

В Ораниенбауме «местность красивая, в особенности так называемые «Иллиновские места». Дачи дороги, свободных совсем мало. Цены на предметы первой необходимости высоки. Город освещен электричеством. Имеется театр».

В Озерках «дачный сезон в полном разгаре. Съезд дачников начался здесь уже с апреля, вследствие чего цены на дачи стоят очень высокие, несмотря на это не снятых дач почти не видно».

«Павловск в ожидании открытия вокзала. Пыли по прошлогоднему, хоть отбавляй – улучшения в благоустройстве города незаметно. Дачники, как и в Шувалове, большей частью, живут из года в год».

«Парголово по высоте своего положения – самая здоровая местность из близлежащих к Петербургу. Дачевладельцы жаждут задатков, как манны небесной».

---

<sup>10</sup> Дачная жизнь 1911, № 1, 1.

«Сестрорецкий курорт за последнее время сделался модной дачной местностью. Дачи очень дороги. В Курорте предстоят симфонические концерты. Имеются: лечебница, пансионаты, телефон с Петербургом и другие удобства».

В Сиверской «цены на дачи дороги: дачевладельцы уверяют, что к середине месяца понизятся. Местность высока и живописна. Имеется медицинская помощь».

В Старом и Новом Петергофе «хорошие санитарные условия... Красивый парк, музыка. Медицинская помощь. Старый и Новый Петергоф обеспечены. Любимое место пребывания петербургских аристократов. Сухие и красивые места. По Волхонскому и Петербургскому шоссе от Петербурга и Красного Села до Ораниенбаума летом будут курсировать автобусы с платой 20 коп.».

В Стрельне «дачников пока очень мало. Всюду непролазная грязь. В настоящем сезоне Стрельна по-видимому будет богата различного рода театральными развлечениями».

«Царское Село город, безусловно, благоустроенный. Имеется канализация. Медицинская помощь. Цены на дачи дорогие. В зале городской Ратуши ставятся спектакли».

Важным событием в жизни петербургских дачников был майский переезд за город. Обыкновенно горожане выезжали не только всем семейством, но и со всем своим имуществом. Одним из наиболее удобных видов транспорта были железные дороги, расписание движения поездов по которым можно было найти в любой дачной газете. В начале XX века поезда курсировали на дальние расстояния, срединные и так называемые дачные.<sup>11</sup> Кроме того, в летний период для удобства дачников между некоторыми станциями пускали «паровозовагоны», как, например, от Ораниенбаума до Петергофа. У них было даже свое название: «кукушки с остановками на каждом мелком полустанке».<sup>12</sup>

Забота о дачниках проявлялась также в строительстве новых платформ, о чем можно было узнать из периодической печати: «Между Стрельной и Новым Петергофом по Ораниенбаумской ветке решено устроить платформу для дачников, живущих в соседних деревнях»<sup>13</sup>; в Лигово «закончилась постройка платформы поселка «Дачное», расположенного на земле Максимовича, между Лиговым и Петербургом»<sup>14</sup> и т.п.

<sup>11</sup> Дачник 1909, № 6, 1.

<sup>12</sup> Дачник 1909, № 2, 2.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Дачник 1909, № 10, 3.

Этим внимание к дачным поселкам, конечно же, не исчерпывалось. Борьба за арендаторов дачных домиков выражалась кроме всего прочего в постоянном улучшении условий жизни в пригородных поселках (или в видимости этого улучшения). Для этого существовали общества благоустройства. Отчеты о деятельности этих органов также можно было найти в дачной прессе. Приведем несколько примеров: «В настоящее время Шуваловское, Озерковское и Парголовское общества благоустройства заняты устройством электрического освещения. Место под электрическую станцию отведено и также приобретена динамо-машина, но пока этим дело ограничилось. Чтобы угодить дачникам, местное общество благоустройства приобрело особые аппараты для поливки улиц»<sup>15</sup>; «в прошлом году образовалось новое, под названием «Общество Благоустройства дачной местности Вырица, Заречье и Поселок». ...Общество существует 4-й год. ...На собрании решено было улучшить две главные улицы: Вокзальную и Кривую. Затем внесено было предложение об отправке к губернатору депутации с ходатайством о закрытии шинков и вообще питейных заведений в местности «Вырица».<sup>16</sup>

Обращаясь к последней заметке, скажем, что распространение питейных заведений, а также карточных притонов было чуть ли не главной проблемой более или менее крупных пригородных поселков. К этому нужно добавить также постоянно происходившие пожары, заметки о которых можно найти почти в каждом номере дачных газет того времени, и ежегодный наплыв попрошаек, не дававших покоя петербургским обывателям.

Однако, отстраняя все трудности жизни петербуржцев на даче, следует отметить, что их пребывание за городом не было лишено развлечений. Особенно это касалось местностей, где были театры, кинематографы, спортивные площадки, купальни и пр. Ниже будут приведены некоторые выдержки из газеты «Дачник» о театральных и спортивных новостях того или иного поселка:

«Сестрорецкий курорт. На сезон 1909 г. приглашен большой симфонический оркестр, состоящий из 65 артистов Императорских театров. Дирижировать оркестром будет по-прежнему г. Сук».

---

<sup>15</sup> Дачник 1909, № 18, 2.

<sup>16</sup> Дачник 1909, № 2, 2.

«Ораниенбаум. На днях здесь в заседании домовладельцев и купцов г. Ораниенбаума было вынесено решение о немедленном сборе средств на постройку летнего театра».

«Гатчина. Пьесой «Трагедия любви» открылся здесь летний сезон. Гастролершей выступила Л.Б. Яворская, в роли Карен».

«Тайцы. Сегодня в Новом театре под управлением опытного артиста-режиссера А.С. Волина представлен будет фарс «У женских юбок», а после спектакля – кинематограф «для взрослых». Потом танцы под оркестр лейб-гвардии конной артиллерийской бригады».

«Дибуны. На площадке происходят игры в футбол, крокет и другие, там же находятся гигантские шаги, качели и пр.».

«Вырица. Образовавшийся по инициативе местного дачника А.И. Гильгендорфа под наименованием «Вырицкий спортивный кружок» любителей игр в лаун-теннис и футбол. Комитет общества благоустройства предоставил в распоряжение кружка участок земли для лаун-тенниса, а местный дачевладелец И.А. Богусов – участок земли для футбола».

В местностях, где не было театров и прочих развлечений, дачи, как правило, стоили значительно дешевле. Жители этих поселков неизбежно «страдали» от «дачной скуки». Для них развлечением и просто темой для разговоров было любое относительно крупное событие, происшествие. Характерной иллюстрацией сказанному будут следующие заметки:

«Лисий нос. В настоящее время единственным местным интересом является недавно начавшийся судебный процесс между здешним буфетчиком г. Ялышевым и управлением Приморской железной дороги за увечье, причиненное поездом малолетней дочери г. Ялышева, которой паровозом отрезало обе ноги»<sup>17</sup>;

«Разлив. Скучаем... Лето нас, дачников, не балует... Происшествий никаких, не горим, не тонем в Разливе, никто не трогает нас и мы никого не трогаем... В Островках, говорят, на днях появился медведь, внесший в местную дачную жизнь некоторое разнообразие, а мы тут сами, как медведи, сидим по своим берлогам. Хотя бы жена какая-нибудь убежала от мужа что-ли... Все было бы веселее!..»<sup>18</sup>.

Что касается последнего, то личные связи, которые устанавливались, как правило, на культурно-массовых мероприятиях, были «под прицелом» всего дачного сообщества и привносили некоторое разнообразие в жизнь петербургских обывателей. В дачной прессе начала

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Дачник 1909, № 15, 2.



XX века можно было встретить такие рассказы, как «Он» и «Она» (дачный роман); «Разбитое сердце»; «Как иногда женятся (посвящая дачным женихам и невестам)» и т.п. Понятно, что сюжеты для подобных рассказов, а также фельетонов, анекдотов и пр. черпались из жизни. В дачных местностях, где было возможно неформальное общение между людьми, различавшимися по чину и званию, нередко назревали у родителей намерения найти удачную партию своим подрастающим детям. Но не всегда эти планы сбывались: «Прошедший дачный сезон у многих маменек отзовется сильной болью в сердце, еще одна весна жизни потеряна, еще раз разрушились их надежды на выдачу дочерей замуж...».<sup>19</sup>

Жизнь петербургских дачников была полна как заботами и проблемами, так и разнообразными развлечениями. Ее сложно сравнить с «отдыхом» нынешних горожан на даче. «Дачная жизнь» – явление, которое просуществовало относительно недолго – с середины XIX века до 1917 г. – и больше в таком виде не возродилось. Тем ценнее становится периодическая печать Санкт-Петербурга на рубеже веков, как один из важнейших источников для изучения и понимания повседневной жизни петербуржцев.

## Источники

- Пызин, В.И. & Засосов, Д.А. (1991), *Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов*. Ленинград: Лениздат.
- Дачная жизнь (1911), *Дачная жизнь*, № 1. Санкт-Петербург.
- Дачник (1909), *Дачник*, № 1, 2, 6, 10, 15, 18, 47. Санкт-Петербург.
- Парголовский летний листок (1882), Парголовский летний листок. Дневник дачной жизни, № 1. Санкт-Петербург.
- Териокский дневник (1913), *Териокский дневник*, № 1. Санкт-Петербург.

---

<sup>19</sup> Дачник 1909, № 47, 2.

## «Лето в лесах» – вариант Константина Паустовского

Основной особенностью дачи является ее двойственность. Она вмещает в себе элементы «культуры» и «природы». Очевидно, что соотношение этих элементов может быть различным. Если одни дачники предпочитают удобства и культурный досуг, то другие в первую очередь ценят природные условия.

Отрыв от культуры уводит людей в мир природы. Особую роль в этом играют такие увлечения, как, например, рыбная ловля. Еще С.Т. Аксаков отмечал, что именно рыбная ловля дает человеку возможность услышать «голос» природы, «заглушенный на время суетней, хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи».<sup>1</sup>

Любители рыбной ловли имеют свои критерии для выбора дачи. Об этом свидетельствует хотя бы опыт последователей и продолжателей Аксакова. Особенно показателен пример Игоря Северянина, который жил в дачном поселке Тойла: пристрастившись к рыбной ловле, он снимает дачу уже «в безлюдной глуши» – на берегу озера Ульясте, где проводит лето, «ловя рыбу и занимаясь поэзией».<sup>2</sup> Его младший современник Константин Паустовский, которому, как и Северянину, рыбная ловля помогла ощутить красоту и прелесть «обыкновенной земли», удалялся в «нетронутый [...] край – первобытный и слабо заселенный».<sup>3</sup>

Имеется в виду Мещёра. Это – лесистая и болотистая низменность, расположенная к востоку от Москвы, между Владимиром и Рязанью, и

---

<sup>1</sup> Аксаков 1966, 289.

<sup>2</sup> Северянин 1990, 503-504.

<sup>3</sup> Паустовский 1931, 71.

названная по имени аборигенов края – давно и полностью обрусевшего финно-угорского племени. Впервые Паустовский попал сюда в начале 1930-х годов. Он был в то время воодушевлен планами преобразования природы и в опубликованном в 1931 году очерке «Мещорский край» призвал «тронуть» этот край и сделать из него молочную и овощную базу Москвы. Однако впоследствии отношение писателя к Мещёрскому краю резко изменилось. Его новый очерк «Мещорская сторона» кончается главкой «Бескорыстие», где Паустовский спорит со своими прежними установками: «Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния?!».<sup>4</sup>

Если учесть, что рыбная ловля – по словам самого писателя, «удивительное занятие, заставляющее человека узнать природу, полюбить ее и жить с ней одной жизнью»<sup>5</sup>, то легко догадаться, что основную роль в изменении отношения к Мещёре сыграло увлечение Паустовского, который ежегодно ездил туда рыбачить: «чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце начинаешь любить эту обыкновенную землю».<sup>6</sup>

Опорным пунктом для путешествий по Мещёре писатель избрал село Солотчу. Оно возникло при Покровском монастыре, который был основан в конце XIV века, и находится в двадцати километрах к северо-востоку от Рязани. Это довольно большое по местным меркам село (во времена Паустовского здесь жило около пятисот человек) считается одним из самых красивых мест Мещёрского края. Еще до революции Солотчу называли «рязанской Италией».<sup>7</sup>

Его пристанищем на долгие годы стал дом известного русского художника-гравера И.П. Пожалостина, у дочери которого Паустовский сначала снял старую баню в саду, а затем и комнату в самом доме. Он подробно описал баню в «Мещорской стороне»<sup>8</sup>, но не упомянул о главном: она служила для работы над книгами. Дело в том, что Паустовский и его друзья, писатели Рувим Фраерман и Аркадий Гайдар, приезжали сюда не только рыбачить, но и писать. Вспоминая, какое

---

<sup>4</sup> Паустовский 1939, 34.

<sup>5</sup> Паустовский 1983, 387.

<sup>6</sup> Паустовский 1939, 34.

<sup>7</sup> Вагнер, Чугунов 1974, 24.

<sup>8</sup> Паустовский 1939, 32-33.

значение имела для них Солотча, Паустовский прежде всего отметил, что «здесь были написаны многие книги».<sup>9</sup>

Обычные определения дачи как «загородного дома для летнего отдыха городских жителей»<sup>10</sup> нуждаются в уточнении: дача может быть местом и интенсивной творческой работы. Очевидно, что отдых является одним из стереотипов восприятия дачной жизни. Он определяет тематику дачных текстов, которая, как правило, не исчерпывает жизненного опыта их авторов.

Это относится и к Паустовскому. Характерный пример – его сборник «Летние дни» (1937), состоящий из написанных для детей рассказов из жизни рыболовов. Хотя в предисловии автор и признается, что они с Рувимом Фраерманом, который фигурирует в «Летних днях», – писатели, о работе нет и речи. Ему гораздо важнее репутация рыболова: «Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится одно, другому – совсем иное, – тут ничего не поделаешь. Но, если какой-нибудь задира скажет, что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого не простим».<sup>11</sup> Если учесть, что «Летние дни» начинаются рассказом «Барсучий нос», где действие приурочено к осени, то становится ясно, что название сборника означает не столько время года, сколько период отдыха от работы, в течение которого писатели превращаются в рыболовов.

Между тем самой рыбной ловле в «Летних днях» уделяется не так уж много места. Лишь один из пяти рассказов сборника, рассказ «Золотой линь», содержит достаточно развернутое описание рыбной ловли. Остальные посвящены событиям, которые связаны с обстоятельствами, сопутствующими рыбной ловле. Их участниками выступают барсук, кот, щенок и даже экзотическая птица пеликан. Однако истинными героями «Летних дней» оказываются не столько животные, сколько люди.

Об этом свидетельствует уже первый рассказ сборника. Особое место в нем занимает бывший с рыболовами девятилетний мальчик. Характеризуя мальчика, рассказчик подчеркивает своеобразие его мировосприятия: «то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как мура-

---

<sup>9</sup> Паустовский 1983, 416.

<sup>10</sup> СРЯ (1981-1984), 367

<sup>11</sup> Паустовский 1941, 3; Ввиду того, что первое издание «Летних дней» оказалось для меня недоступным, я пользовался изданием 1941 года, которое по своему составу не отличается от издания 1937 года.

вьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины»<sup>12</sup>. Очеловечивание окружающего мира роднит ребенка с первобытными людьми, остро ощущавшими свое единство с природной средой, явные следы которого сохраняются в поэтическом мышлении. Этим объясняется отношение взрослых героев «Летних дней» к мальчику: они «никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду», потому что «очень любили его выдумки». Однако история с барсуком показывает, что далеко не всё, о чем рассказывает мальчик, является «выдумкой». Лечащий свой обожженный нос барсук действительно существует. Его сходство с человеком помогает почувствовать, что мир един и живет одной общей жизнью.

Характерно, что следующий рассказ «Летних дней» пронизан очеловечиванием животного. Определения, которые в «Коте-ворюге» прилагаются к коту, обворовывающему рыболовов, берутся исключительно из сферы человеческой жизни: в начале он описывается как «потерявший всякую совесть кот-бродяга и бандит»<sup>13</sup>; затем, когда его ловят и рассматривают, он оказывается всего лишь «тощим [...] котом-беспризорником»<sup>14</sup>; и, наконец, после того, как кот прогнал кур, клевавших оставленную рыболовами гречневую кашу, его сравнивают с «хозяином и сторожем» и даже переименовывают в «милиционера»<sup>15</sup>.

Если при столкновении с барсуком героям «Летних дней» остается только наблюдать за лесным зверем, то конфликт с домашним животным потребовал от них активных действий. В результате «кот-ворюга» пойман и люди решают, что с ним делать. Это – ключевой эпизод рассказа: взрослые готовы наказать кота, тогда как дети уверены, что наказание не поможет. Любопытно, что решающим оказывается мнение всё того же девятилетнего мальчика, который посоветовал взрослым быть милосердными к коту: «Вот глупые! Надо его накормить как следует»<sup>16</sup>. Его мудрый совет способствовал превращению заклятого врага в друга и защитника. Именно благодаря мальчику сделан важный шаг в налаживании добрых отношений с окружающим миром.

---

<sup>12</sup> Паустовский 1941, 7.

<sup>13</sup> Там же, 10.

<sup>14</sup> Там же, 12.

<sup>15</sup> Там же, 14-15.

<sup>16</sup> Там же, 12.

Еще более ответственная роль отводится мальчику в рассказе «Последний чорт». Ему приходится бороться с религиозными суевериями, носителем которых выступает дед по прозвищу «Десять процентов». Этому деду показалось, что на Глухом озере завелись черти, и он своими рассказами нагнал страху на деревенских баб. Естественно, что взрослые герои «Летних дней» не верят деду. Однако они вряд ли занялись бы разоблачением дедовских домыслов, если бы не мальчик, который придает этому важное общественное значение: «Дед врет, а бабы верят. Раз вы советские охотники, вы должны этого черта поймать, притащить в деревню и показать бабам, что это совсем не черт»<sup>17</sup>. Оказавшись на Глухом озере и увидев там неизвестное существо, мальчик первым понял, кто это: «Пеликан! – закричал мальчик и запрыгал от радости. – Это кудрявый пеликан. Я таких знаю»<sup>18</sup>. Ложные понятия «темного» и отсталого деда опровергаются точным знанием советского ребенка.

Выведенный в «Летних днях» мальчик поражает разнообразием своих достоинств: он – и «выдумщик», и мудрец, и натуралист. Образ мальчика воплощает собой максимум возможностей, столь характерный для романтической концепции детства, которая становится вновь актуальной в 1930-е годы<sup>19</sup>. Впоследствии, когда в результате переделок ряд ключевых реплик мальчика будет передан другим героям (по большей части – Рувиму) и его образ утрачивает первоначальную глубину и содержательность, в «Летних днях» останется только мальчик-«выдумщик». Его детские фантазии по-прежнему противостоят старческому суеверию: мальчик открывает в природе свое, родное, человеческое, тогда как дед населяет ее враждебными и устрашающими фантомами. Очевидно, что рассказы «Барсучий нос» и «Последний чорт» соотносятся друг с другом и представляют собой вариации одной темы: речь идет об особенностях и альтернативах восприятия окружающего мира.

Эта пара персонажей – мальчик и дед «Десять процентов» – появляется и в следующем рассказе сборника. Однако в связи с тем, что рассказ «Золотой линь» – единственный рассказ сборника, посвященный

<sup>17</sup> Там же, 18.

<sup>18</sup> Там же, 22.

<sup>19</sup> Об особом статусе мальчика свидетельствует его безымянность: мальчик является единственным из главных персонажей «Летних дней», не имеющим никакого имени. Он мальчик как таковой. Ср. замечание А.Б. Дермана, что это сделано «ради пресловутого «остранения»» (Дерман 1937, 8).

собственно рыбной ловле, и его главными героями выступают рыболовы, дед и мальчик играют здесь второстепенную, причем, по сути дела, отрицательную роль, мешая ловить рыбу. Характерно, что рыболовы добиваются успеха ранним утром, когда деда нет, а мальчик спит. Именно тогда ими был пойман «громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуёй и черными плавниками»<sup>20</sup>. Этот успех не просто вознаграждает рыболовов за предыдущий неудачный день. Он имеет далеко идущие последствия. Линь-красавец, «чешуя» которого «сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря», изумляет деревенских баб, мимо которых рыболовы возвращаются в деревню. Одна из них выражает общий восторг, охвативший баб при виде линя: «Красоту-то какую понесли – глазам больно!»<sup>21</sup>. Если прежде бабы постоянно «изводили» рыболовов своими насмешками, то с этого момента их стали уважать. Есть все основания считать, что «Золотой линь» подхватывает тему, намеченную в «Коте-ворюге»: вслед за налаживанием отношений с домашним животным налаживаются и отношения с местным населением.

В довоенных изданиях сборник завершался рассказом «Резиновая лодка». В нем мы вновь встречаемся со многими из героев «Летних дней». Однако не они играют здесь главную роль. Ее исполняет щенок Мурзик. В первой части рассказа Мурзик выступает отъявленным врагом столичной цивилизации: «так он сгрыз книжку стихов, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза»<sup>22</sup>. Он пытается грызть и резиновую лодку, причем это происходит, когда лодка уже «была признана всем населением деревни»<sup>23</sup>. Лишь после того, как рыболовы стали брать Мурзика с собой, щенок «привык к лодке и всегда спал в ней»<sup>24</sup>. Если отвлечься от комических подробностей рассказа, то историю с резиновой лодкой легко истолковать в плане налаживания отношений между деревней и Москвой, природой и цивилизацией.

Однако этим роль Мурзика не исчерпывается. Его неожиданное появление среди ночи на далеком Глухом озере заставляет рассказчика задуматься над тем, чего стоило «такому маленькому пёсику бежать одному через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути,

---

<sup>20</sup> Паустовский 1941, 30.

<sup>21</sup> Там же, 31.

<sup>22</sup> Там же, 34.

<sup>23</sup> Там же, 32.

<sup>24</sup> Там же, 37.

скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опретью, прижав уши, когда где-то, на самом краю земли, слышался дрожащий вой волка»<sup>25</sup>. Вслед за этим следует едва ли не ключевая фраза рассказа: «Я понимал испуг и усталость Мурзика»<sup>26</sup>. Это происходит потому, что в глуповатом щенке рассказчик вдруг почувствовал товарища по несчастью. Он вспоминает, как был «совсем один в ночных лесах» и какой ему тогда пришлось испытать «необъяснимый и внезапный страх»<sup>27</sup>. Возникает параллель, которая помогает рассказчику понять, что пережил щенок Мурзик. Взрослый рассказчик «Летних дней», объясняющий природу, исходя из своего жизненного опыта, не столь уж далек от мальчика-«выдумщика», который просто очеловечивал природу. Особенности их мировосприятия обусловлены антропоморфизмом мифопоэтического мышления. Отличия же связаны с тем, что мальчик выступает носителем наивного, «первобытного» сознания, тогда как взрослый рассказчик принадлежит к более поздней эпохе его существования.

Он – поэт. Ему свойственно лирическое осмысление действительности и соответствующая форма самовыражения. «Летние дни» написаны лирической прозой<sup>28</sup>. Ее характерный образец – воспоминание рассказчика в «Резиновой лодке», о котором уже говорилось выше:

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за моей спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым<sup>29</sup>.

Вместе с тем я привел этот фрагмент не только как пример лирической прозы. Он весьма важен и в содержательном плане, представляя собой прямую противоположность тому, что изображается в рассказах

---

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же (курсив мой. – А.Б.)

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> О поэтичности «Летних дней» много писалось, начиная с рецензии А.И. Роскина (Роскин 1938).

<sup>29</sup> Паустовский 1941, 34.



Паустовского. Если глухой осенней ночью одинокий человек ощущает страх перед природой, то в летние дни люди не испытывают одиночества и не знают страха. Они заняты не только рыбной ловлей, но и налаживанием добрых отношений с окружающим миром.

Летний отдых «в тех местах, где есть вековые леса, глубокие озера, реки с чистой водой, заросшие по берегам высокими травами, лесные звери, деревенские мальчишки и болтливые старики»<sup>30</sup>, замечателен тем, что дает возможность почувствовать единство и гармонию мировой жизни.

## Литература

- Аксаков, С.Т. (1966), *Собрание сочинений в пяти томах*. Т.4, ред. С.И. Машинский. Москва: Правда.
- Вагнер, Г.К., Чугунов, С.В. (1974), *Рязанские достопамятности*. Москва: Искусство.
- Дерман, А.Б. (1937), [Рец. на:] Паустовский К.Г. Летние дни. Москва – Ленинград. Изд-во детской литературы, 1937. *Детская литература*, №15, 8-9.
- Паустовский, К.Г. (1931), Мещорский край. *Наши достижения*, №4, 66-72.
- Паустовский, К.Г. (1939), *Мещорская сторона*. Москва – Ленинград: Изд-во детской литературы.
- Паустовский, К.Г. (1941), *Летние дни*. Москва – Ленинград: Изд-во детской литературы.
- Паустовский, К.Г. (1983), *Собрание сочинений в девяти томах*. Т.7. Москва: Художественная литература.
- Роскин, А.И. (1938), Книга, которую не заметили. О «Летних днях» К. Паустовского. *Литературная газета*, №11, (26 февраля), 2.
- Северянин, Игорь (1990), *Сочинения*. Сост. Сергей Исаков и Рейн Круус, коммент. Рейн Круус. Таллинн: Ээсти раамат.
- СРЯ (1981-1984), *Словарь русского языка*. Евгеньева А.П. (гл. ред). Т.1- 4. Москва: Русский язык.

---

<sup>30</sup> Там же, 3.

## А. Ремизов и его «Казенная дача»<sup>1</sup>

Глупая дача. Устроены электрические звонки, а  
везде щели... пол скрипит...  
*Максим Горький. Дачники.*

Прежде всего я не беженец и не эмигрант.  
Я просто дачник.  
*Игорь Северянин*

Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы,  
и сверчки кричат, и блох довольно.  
*Житие протопопа Аввакума*

Среди автобиографических мифов А. Ремизова одним из главных является миф о собственной бездомности, который провоцирует тему скитальчества.<sup>2</sup> Не случайно свою мемуарную книгу «Иверень: Заго-

---

<sup>1</sup> Статья написана при поддержке Эстонского научного фонда (грант G-6966).

<sup>2</sup> Размышляя о своей судьбе, Ремизов объяснял ее данным ему именем (в автобиографии 1923 г.): «Назвали меня Алексеем – именем Алексея Божия человека – странника римского. И вот нечаянно-негаданно судьба дала мне в руки посох и в ранней молодости странствие по свету выпало мне на долю» (Русский Берлин 1983, 176; см. также: Ремизов 2000/8, 312). Попытка объяснить свою судьбу через отсылку к образу Алексея человека Божия особенно примечательна, так как является примером намеренной мистификации и мифологизации. Дело в том, что в данном случае Ремизов явно «привирает» – назван он был Алексеем в честь другого святого, митрополита московского Алексия, день памяти которого приходится на 5 октября (в тот же день празднуется память и других московских святителей: Петра, Филиппа и Ионы). Как вспоминала Н. Кодрянская (со слов Ремизова): «Алексей Михайлович родился в Москве 24 июня 1877 года и получил имя московского митрополита Алексея» (Кодрянская 1959, 65). В письме А. Н. Чеботаревской (от 23. 05. 1907) Ремизов не преминул отметить: «А именины мои 5 октября в день празднования московских митрополитов: Петра, Алексея, Ионы и Филиппа» (цит по: Грачева 1993, 446). Но проекция собственной судьбы на

гулины моей памяти» Ремизов часто называл так: «Кочевник».<sup>3</sup> Годы жизни, которые описаны в этой книге, сам Ремизов обозначил во вступлении: 1897-1905. Это – период с момента оставления семейного дома Найденовых в Москве, где Ремизов провел свои детские, отроческие и юношеские годы, и – до начала жизни в Петербурге, где Ремизов жил с февраля 1905 г. Действительно, этот период можно назвать едва ли не самым скитальческим в жизни Ремизова.

Ремизов был арестован 18 ноября 1896 г. за участие в студенческой демонстрации в Москве по случаю полугодовщины Ходынки, в декабре 1896 г. отправлен в ссылку в Пензу, там в 1898 г. вновь был арестован за участие в революционных кружках, а 31 мая 1900 г. был отправлен этапом в Вологодскую губ. под гласный надзор полиции как политический ссыльный. Сначала Ремизов отбывал ссылку в Усть-Сысольске, а с 1901 г. – в Вологде.<sup>4</sup> Именно пензенский период жизни (т. е. 1897-1900 гг.) он и описал в гл. «Кочевник» своей мемуарной книги «Иверень»: «За два года моей пензенской “поднадзорной” жизни, третий не считается: «на казенной даче», я переменял 13 комнат».<sup>5</sup>

Выражение «казенная дача» уже к концу XIX века приобрело переносное значение: помимо обозначения дачи, которую получали государственные чиновники за казенный счет, оно означало: «тюрьма», «каторга» (видимо, по аналогии и в развитие хорошо известного эфемизма «казенный дом»). Так и Ремизов свое пребывание в тюрьмах и ссылке называет: «на казенной даче». В 1908 г. он напишет рассказ «Казенная дача», в основу которого легли впечатления от пребывания в Пензенской тюрьме, куда Ремизов был помещен весной 1898 г. и где он провел 6 месяцев. Об этом пензенском эпизоде своей биографии (а также о своем рассказе «В секретной») он вспоминал в письме П. Е. Щеголеву от 14 августа 1905 г.: «Рассказ, по-моему, ничего. Конечно, того, что говорил, не получилось, но и что получилось, смахи-

житие Алексея человека Божия позволяла Ремизову актуализировать мотивы изгнанничества, скитальчества, отверженности и нищеты.

<sup>3</sup> Подборка авторизованных печатных текстов и машинописи (отдельных частей и глав книги), которая датируется 1940-и годами (см.: ИРЛИ. Ф. 256. Оп.1. Ед. хр. 29) имеет заглавие: «Иверень. Кочевник» (см.: Ремизов 2000/8, 617). Затем заглавие «Кочевник» сохранится за одной из частей книги. Но очевидно, что тема скитальчества станет одним из лейтмотивов книги. Не случайно первая ее часть («Начало слов») будет иметь подзаголовок: «Запев к “Кочевнику”», то есть осознаваться автором как своего рода пролог к главной части «Иверня».

<sup>4</sup> См. подробнее: Грачева 1993, 419-447.

<sup>5</sup> Ремизов 2000/8, 301

вает на правду. Такого рода Секретная камера подлинно существует и по сей день в г. Пенза. Я просидел 6 месяцев в клоповнике в 1898 г.»<sup>6</sup>

Ранние рассказы Ремизова («По этапу», «В секретной», «Опера», «Серебряные ложки», «Коробка с красной печатью» и др.), как и роман «Пруд», во многом автобиографичны. Верно это и в отношении рассказа «Казенная дача». Тюремное заключение главного героя, фабричного служащего Василия Пташкина, во многом напоминает тюремное заключение самого автора, который оказывается прототипом героя. Автобиографичность образа Пташкина косвенно отмечена уже самой данной ему фамилией. «Птичья» семантика явно связана с автобиографическим мифом Ремизова, согласно которому фамилия «Ремизов» (но не «Ремезов», как он специально оговаривал<sup>7</sup>) возводилась к названию птички «ремиз» из семейства воробьиных.<sup>8</sup> В мемуарной книге «Подстриженными глазами» он писал:

«У Потевни приводятся древние “колядки” и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным: «Святой вечер!» – величание одаряющей счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по-особенному, а имя этой птички “ремез”, – вот от нее-то я и веду свою фамилию. А ведь известно, прозвища даются не зря [...].»<sup>9</sup>

Причем Ремизов подчеркивал особое свойство птички «ремиз» – ее хозяйственность, домовитость, «мастерство вить гнездо»:

«Если бы читали Потевню, его исследование малороссийских колядок, сразу бы и головы не ломая догадались, откуда у меня «конструктивные» способности и призвание к уборке [...] безошибочно определили бы источник моей «хозяйственности» или говоря песенно: умелью «гнездо вить» [...].»<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Цит. по: Ремизов 2000/8, 609-610 (прим.)

<sup>7</sup> См.: «Ремизов – ударение на «е», так выговаривал отец, так и я выговариваю, так и надо» (Ремизов 1993, 442). См. также: «Отец взял да и поправил себе «е» на «и» – и вышло «Ремизов», – какая же это птица, и как будто не придержишься. А если бы знал он, что по-французски наша птица пишется не с «е», а с «и» – *le remiz* – и, стало быть, зря вся его «фамильная» работа... но по-французски, к его счастью, среди московского купечества не слышно, по-немецки и по-английски другое дело» (Ремизов 2000/8, 200-201).

<sup>8</sup> См.: «Фамилия моя происходит от колядной птицы *ремеза*, а не от глагола» (Ремизов 1923, 25); «Ремизовы всегда писались через “ять”. [...] Имя идет с юга: птица *рем[ять]з»* (Ремизов 1957, 31). Более подробно об этом авторском мифе см.: Безродный 1990, 224-228.

<sup>9</sup> Ремизов 2000/8, 199.

<sup>10</sup> Ремизов 2000/8, 199. В 1907 г. А. Ремизов написал сказку «Ремез – первая пташка». Показательно лексическая переключка: «пташка» – «Пташкин».

Однако «этимологический» миф о птичке «ремиз» и способности к ведению хозяйства парадоксальным образом сочетается у Ремизова с мифом о бездомности, скитальчестве, отверженности. Итогом такого сочетания будет рефлексия Ремизова по поводу своей бездомности и, следовательно, – отсутствия Дома как символа семейности, спокойствия, защищенности, уюта.

Большая часть жизни Ремизова прошла, действительно, в пребывании на разных квартирах, которые он вынужден был снимать. Одна из первых квартир, на которой Ремизов оказался с начала самостоятельной жизни, и стала так называемая «казенная дача».

Есть и другая деталь, указывающая на автобиографичность образа Пташкина: Ремизов был арестован в Пензе весной, в начале марта 1898 г. Но и герой рассказа Пташкин был арестован тоже весной, в марте месяце.

Уже в самом начале рассказа «Казенная дача» появляется тема дачи – как места загородного отдохновения:

«[...] Всякий раз по весне, как прилетать птицам в родные леса и открывать веселые дни, Пташкина захватывало на мечтательный лад и неудержимо тянуло куда-то за город от фабричных труб, суеты улиц, от этих булыжников, от которых каменели сами чувства. Бросил бы все и пошел... Да нет уж, куда там пойдешь, куда идти Пташкину! Нет уж, хоть бы так куда за черту города выбраться. И будь у Пташкина хоть какая-нибудь возможность, он по примеру других, более осчастливленных судьбою, и как это ни глупо, а переехал бы на дачу. Но так как и такой возможности не предвиделось, то оставалось Пташкину только мечтать и, мечтая, корпеть в городе».<sup>11</sup>

Но вместо этого Пташкина арестовывают вновь и препровождают в тюрьму:

«Пташкин возвращался домой хоть и усталый, но весь уходящий, Бог знает, за какие черты возможностей и мысленно проходил по полям и лесам, через жаркие пустыни и топкие болота, куда-то к самому морю, которое, впрочем, знал больше по картинкам, да во сне как-то видел. И когда достиг он, мечтая, но не моря, а закопченного, переполненного жильцами дома, где снимал комнату, какие-то люди так окружили его, маленького и невзрачного, словно был он опаснейший из опасных зверей, вроде какого-то Дракона, пожирив-

---

<sup>11</sup> Ремизов 2000/3, 514.

шего некогда и простой и непростой народ, а после всяких никому не нужных формальностей и несообразностей обыска предупредительно усадили его на извозчика, и жандарм – спутник его добродушно сказал извозчику:

– За город, милый, на дачу, самая пора теперь на дачу... пошел!». <sup>12</sup>

Тема дачи начинается и заканчивается в рассказе как обыгрывание каламбура, как игра на двойном значении слова «дача». Вот сцена в конце рассказа:

«– Эй, караул! – закричал Пташкин, ударив кулаком в дверь, [...]

– Чего вы кричите? – клопом вполз бородатый надзиратель и невозмутимо смотрел на возмущенного, не унимавшегося Пташкина.

– Прокурор! Караул! – кричал Пташкин.

– Прокурор был и только что уехал на дачу.

– На дачу? – переспросил недоверчиво Пташкин.

– Известно, летнее время, куда ж больше ехать. Все господа ездят на дачу, а прокурору казенная полагается, – бородатый ухмыльнулся и, желая, должно быть, объяснить разницу казенных дач, добавил с расстановкою: – это вот на вашей даче, ваш брат все в одном положении и лето и зиму, а господа только летнее время ездят на дачу. Спокойной ночи!». <sup>13</sup>

Нелепость и комичность ситуации заключается в том, что казенная дача, на которую уехал прокурор, и «казенная дача», на которой «живет» Пташкин, имеют совершенно противоположный смысл: первая является символом свободы, высокого социального положения, благополучия, <sup>14</sup> а вторая – символом несвободы, отверженности, несчастья.

Соотнесенность двух видов «казенной дачи» будет обыгрываться в рассказе неоднократно.

Вот как описывается начало тюремной жизни Пташкина:

«Пташкин, оставшись один, внимательно осмотрел свое новое помещение – свою дачу. По размерам камера оказалась просторнее всех комнат, какие приходилось ему занимать на воле. [...] Два высоких окна, обеденный стол, и если бы не огромные нары вдоль

---

<sup>12</sup> Ремизов 2000/3, 514-515.

<sup>13</sup> Ремизов 2000/3, 520-521.

<sup>14</sup> Ср. основное (в начале XX века) значение слова «дача»: «Загородный дом, заимка, хутор, мыза, отдельная усадьба, жилье вне города» (Даль 1956, 413); «Загородный дом для летнего отдыха городских жителей» (Словарь 1999, 367).

всей стены, смежной с другой необитаемой камерой-умывальницей, просто танцуй и дело с концом. И нельзя сказать, чтобы было не чисто, – деревянный пол заботливо вымыт, а тюфяк в углу нар такой тугой, словно бы не соломою, а мочалом набит. Лечь можно, да и как еще выспаться, а выспаться самая пора».<sup>15</sup>

То есть вначале тюремная камера, в которую помещают Пташкина, кажется ему похожей на дачную комнату, в чем-то даже лучшую, чем те комнаты, которые «приходилось ему занимать на воле». Такое же философско-примирительное отношение к тюремному заключению мы видим в мемуарной книге Ремизова «Иверень», в гл. «Пугачевская клетка», в которой и описано пребывание писателя в Пензенской тюрьме:

«Я согласен и на клетку, только очень уж грязно. Ни птица, ни зверь не уживется. А повыведу я клопов и мокриц, мне, после моего подвала, будет совсем ничего: стены обжиты, пол исхожен, нары пролежаны – сиди у стола и занимайся».<sup>16</sup>

Но в первую же ночь Пташкин столкнулся с неизбежным для казенной дачи обстоятельством – засильем клопов:

«[...] Проснулся Пташкин, уж день начинался. [...] вся подушка и простыня пестрели кровяными пятнами, но это были не рачьи загибающиеся клешни, а раздавленные клопы, и кругом тюфяка целая стая клопов, недовольно уползающая в свои темные и тайные, одному Богу ведомые норы и гнезда.

«Вот тебе и дача!» – подумал, одеваясь, Пташкин, и начиная свой первый острожный день.

Грязь и скорбь старой просиженной камеры при скудном свете, проникавшем через полузабытые пыльные окна, выступала во всей своей неприкрашенности, сиротливости и тоске подневольного приюта.

– Да, конечно, дача! – уже громко сказал Пташкин, вспомнив, как один хозяин-дачник клялся жалующемуся дачнику-жильцу на всякие дачные беспокойства и уверял всеми святыми, что дача без клопа, что птица без крыла, ничего не стоит».<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ремизов 2000/3, 516.

<sup>16</sup> Ремизов 2000/8, 382.

<sup>17</sup> Ремизов 2000/3, 517. Клопы – как непрменный атрибут тюремной камеры – упоминаются и в рассказе Ремизова «По этапу»: «На желтых стенах грязные клопные гнезда. Здесь даровое угощение: здесь дают им есть, сколько влезет» (Ремизов 2000/3, 95).

Таким образом, сравнение тюремной камеры с настоящей дачей приобретает оттенок невеселой иронии. А вскоре реальность тюремной жизни ставит все на свои места, и в финале рассказа у Пташкина возникает только одна мысль, одно желание:

«И запертый снова, оставшись один в камере, где даже стенам опостылело стоять, Пташкин почувствовал вдруг, что читать он больше не в состоянии, не может он читать книгу, не понимает ничего, и пускай книга сама по себе вещь очень хорошая, но тут она противна ему, невыносима, совсем не нужна, и также почувствовал он, что больше он уж не может спать и не отоспаться ему в этом проклятом логовище, в плену у какого-то всемогущего великого клопа, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли, омываемой Ядовитым океаном, с неприступным городом Ихнием. Все, что угодно, только ни минуты здесь, ни одной минуты он не хочет оставаться. И пускай лучше пристрелят его, но он уйдет отсюда, – он бросит все и пойдет».<sup>18</sup>

Рассказ Ремизова, на первый взгляд, кажется написанным в жанре «физиологического» очерка, в котором главное – описание быта и нравов тюрьмы. И это действительно так: черты очерка явно присутствуют в рассказе. Но это не исключает другого аспекта рассказа, философского. И главная проблема, которую затрагивает Ремизов, – проблема *свободы и несвободы*: где человек более свободен – на воле или в тюрьме?

Не случайно в самом начале рассказа жизнь Пташкина до тюрьмы описывается скорей как несвободная, «каторжная»:

«Но какой был смысл всей этой городской машины и Пташкиной винтовой жизни? И неужели в борьбе за завтрашний строго размеренный несвободный день? Или за освобождение от *каторги* [курсив мой. – С. Д.] этого завтрашнего дня?»

“А если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов гибелью целых поколений все-таки будет завоеван и должен прийти?”

Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог Пташкин, просто сил не было. Дневная, наполненная от часа до часа обязательным трудом фабричная жизнь явственно сказывалась и в само собою закрывающихся усталых глазах его и в том охватывающем глухом сне,

<sup>18</sup> Ремизов 2000/3, 520.



который без милосердия валил Пташкина на кровать и держал его до утра, когда каторжный день уж снова протягивал свои губастые лапы, чтобы, впившись в своих невольников, высасывать силы и мысли и затыкать беспокойную глотку, требующую ответов».<sup>19</sup>

Отсюда и вывод, который делает Пташкин:

«Нет, лучше быть болотной жабой, зимою засыпать, а летом квакать, чем человеком, из-за какой-то затхлой норы и пустых щей век свой вечный сгибающим спину».<sup>20</sup>

Иными словами, жизнь героя на воле – та же каторга, та же несвобода.<sup>21</sup> Поэтому и переход на положение арестанта воспринимается героем поначалу как факт, мало что меняющий в его жизни. Просто из одной «казенной дачи» его переселяют на другую «казенную дачу», которая ничем не лучше и не хуже. Ибо человек, согласно Ремизову, – изначально несвободен.

«И дачная жизнь его была похожа на ту отупляющую, недачную жизнь его на воле, только вместо работы, под тяжестью которой мутились все его мысли, тут расседался он весь от праздности и тоски. Каторжный день сменялся ночью, ночь приносила убогий сон и, уходя с рассветом, передавала убогую жизнь каторжному дню».<sup>22</sup>

Но, вопреки очевидности этого, у Пташкина за время пребывания в тюрьме появилось одно желание: «Одно желание, единственное наполняло все его существо: выйти на волю! И эта желанная воля везде одна стояла перед Пташкиным».<sup>23</sup>

Но вот наступает момент, когда Пташкина выпускают на волю – заканчивается его пребывание на «казенной даче».

«Да уж видно с дачи уезжать пора, – бородатый надзиратель играл ключами, – загостились долгонько, уезжать пора.

<sup>19</sup> Ремизов 2000/3, 513.

<sup>20</sup> Ремизов 2000/3, 514.

<sup>21</sup> В «Автобиографии» (1912) Ремизов выскажет ту же самую мысль: «И только в тюрьме – в Московском губернском тюремном замке затеял я и собственные свои писания. Мне захотелось описать чувства, человеком испытываемые в тюрьме, застенную нашу неволю, и, принявшись за описание тюрьмы – «вся наша жизнь сесветная – тюрьма!» я имел перед глазами не “Записки из мертвого дома”, а *Serres chaudes* Метерлинка [...]» (Ремизов 1993, 440-441). Своеобразную нейтрализацию традиционной оппозиции «тюрьма» («каторга») – «свобода» можно заметить в парадоксальном подзаголовке мемуарной книги Ремизова «Учитель музыки. Каторжная идиллия».

<sup>22</sup> Ремизов 2000/3, 521.

<sup>23</sup> Ремизов 2000/3, 521.

Пташкин, не торопясь, собирал свои книги, и ему было как-то все равно, тут ли оставаться в неволе, или там, на воле, гулять в каторжном дне.

А неумолимый каторжный день поджидал его у осторожных ворот, чтобы, захватив своими губастыми лапами, высасывать силы и мысли, а потом искалеченного бросить в могилу, как бросал он труп за трупом и загнанных и гордых, и богатых и бедных, – всех обреченных, не имеющих силы бросить все и идти...». <sup>24</sup>

Именно этой сентенцией заканчивается ремизовский рассказ. Представляется, что это одна из первых попыток писателя Ремизова формулировать мысль о том, что внешняя свобода человека (пребывание на воле) вовсе не делает его действительным свободным. В этом смысле показателен также финал рассказа Ремизова «В секретной» (1900), тоже имеющий автобиографический подтекст:

«Зашипели шашки конвойных, раздалась резкая команда. И выстроенные у тюремных ворот арестанты пошли, торопясь и звеня, торопясь и обгоняя друг друга по этапной дороге на волю! И я увидел все, что было, и что таилось в завтрашнем дне. На минуту осветилась тьма и стало ясно, как в полдень. Будто ледяные руки обняли меня, и лед жег мне сердце, и я проклинал человека и, проклиная, падал перед ним. На волю!» <sup>25</sup>

Этот автобиографический эпизод отправки на этап Ремизов опишет потом в своей мемуарной книге «Иверень»: «В понедельник арестантов выстроили на тюремном дворе. Конвойные обнажили шашки и, под звяк кандалов, мы тронулись в путь: впереди, что на каторгу, за ними потише, это те, что в роты и на поселение, а за последними шпана – мелкие воры и несчастная дрянь. Я, с моим мешком, в шпане. Летний теплый вечер, чистое небо. *И вдруг я почувствовал себя – за сколько лет в первый раз – свободным* [курсив мой. – С. Д.]» <sup>26</sup>

Неожиданным и парадоксальным кажется вывод Ремизова: законный в кандалы, охраняемый конвойными, то есть лишенный свободы, он, тем не менее, осознает себя *свободным*. В конце жизни, в 1953 г. Ремизов скажет: «**Тюрьма** [выделено Ремизовым. – С. Д.] мне открыла новый мир» <sup>27</sup>. Размышления о том, что такое истинная свобода человека, затем приведут Ремизова к мысли о судьбе, которая

<sup>24</sup> Ремизов 2000/3, 522.

<sup>25</sup> Ремизов 2000/3, 82-83.

<sup>26</sup> Ремизов 2000/8, 401.

<sup>27</sup> Цит. по: Niqueux 2002-2003, 184.

только и определяет жизнь человека. Социальные же обстоятельства на судьбу не влияют и изменить ее не могут.

Символом судьбы как таковой станет образ насекомого, обладающего таинственной властью над человеком, который, по мысли Пташкина, находится «в плену у какого-то всемогущего великого клопа, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли [...]».<sup>28</sup>

Этот образ «всемогущего великого клопа» заставляет вспомнить, конечно же, рассуждения Свидригайлова о вечности как о бане с пауками:

«— Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь».<sup>29</sup>

Тема «паука» будет продолжена Ремизовым в 1935 г., в предисловии к созданному им альбому из 25 рисунков на темы произведений Достоевского, причем эта тема приобретет отчетливо философский аспект:

«И кто же из русских писателей может быть первым по взлету мысли — Достоевский поднялся на стратосферическую высоту и сознание его, зажженное волей высшей силы, оттуда оглянулось на себя, и он сказал: «Я есмь». Высшая сила, вдохнувшая в человека сознание — наглая и бессмысленная вечная сила — глухое темное существо — Тарантул — гоголевский Вий, вот кто создал этот мир по образу своему и

---

<sup>28</sup> Ремизов 2000/3, 520.

<sup>29</sup> Достоевский 1989/5, 272. Можно предположить, что у Достоевского ассоциативная связь между вечностью (Богом?) и баней спровоцирована известным эпизодом из «Повести временных лет», в котором волхвы объясняют, как был сотворен человек: «Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, — в землю идет тело, а душа к Богу» (ПВЛ 1950, 118).

подобию, и без беспрерывного поедания друг друга строить мир было никак невозможно, и люди созданы, чтобы друг друга мучить. В этом Тарантуле есть что-то от манихейского демиурга, в русской традиции – от богомильского Сатанаила.<sup>30</sup>

В этом альбоме под № 13 помещен рисунок, который у Ремизова в списке рисунков имеет название «Вечность». В верхней части рисунка помещена цитата из романа «Преступление и наказание»: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность».<sup>31</sup>

А под № 12 – рисунок «Тарантул» (паук-тарантул изображен в характерной для Ремизова сюрреалистической манере) с цитатой из романа Достоевского «Идиот»: «Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо [...]».<sup>32</sup> А слева от рисунка, в вертикальном столбце, – еще одна цитата из романа «Идиот», из рассуждения Ипполита о картине Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос»: «Картиной этою как будто именно выражается это понятие о *темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено*, и передается вам невольно».<sup>33</sup>

Речь идет о той силе, которую можно назвать «природой» и которую Ремизов в своей книге «Огонь вещей» (гл. «Сверкающая красота») описал так:

«Вий – сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое черное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила – вверху которой едва ли носится Дух Божий, слепая, потому что беспощадная, обрекая на гибель из ея же зачатого на земле равно и среди самого косного и

<sup>30</sup> Цит. по: Ingold 1977, 121. В статье воспроизведены факсимиле автографа ремизовского предисловия и 10 рисунков из альбома.

<sup>31</sup> Цит. по копии альбома, который хранится в фонде «Bibliothek Fritz Lieb» в Общественной библиотеке университета Базеля. На самом рисунке – несколько иное название: «Вечность – пауки». О собрании книг и рукописей Ф. Либа см.: Каньяр-Беккер, Данилевский 2003, 132-283; Кудрянцева, Янцен 2003, 121-132.

<sup>32</sup> См.: Достоевский 1989/6, 411.

<sup>33</sup> См.: Достоевский 1989/6, 411; курсивом выделены те слова, которые воспроизведены на рисунке Ремизова)

самого совершенного не пощадит никого. Вий – а Достоевский скажет Тарантул».<sup>34</sup>

К рисункам Ремизова из альбома, посвященного Достоевскому и подаренного в 1935 г. Ф. Либу, тематически и композиционно близок еще один рисунок, на котором изображен Абракасас. Этот рисунок впервые был опубликован и прокомментирован Е. Обатниной.<sup>35</sup> Публикатор датирует этот рисунок началом 1932 г. и не без оснований полагает, что он, скорее всего, экспонировался на выставке «Рисунки русских писателей» в Праге в 1933 г..<sup>36</sup>

На рисунке изображено гностическое божество Абракасас, иконический образ которого является одновременно портретом обезьяньего царя Асыки,<sup>37</sup> предводителя мифического обезьяньего царства (Обезьяньей Великой и Вольной Палаты). Но особенно примечательно, что в верхней и нижней частях рисунка помещен текст, состоящий из 6 цитат.

[1] МОЖЕТ ЛИ МЕРЕЩИТЬСЯ В ОБРАЗЕ ТО ЧТО НЕ ИМЕЕТ ОБРАЗА? КАЗАЛОСЬ ВРЕМЕНАМИ ЧТО Я ВИЖУ В КАКОЙ-ТО СТРАННОЙ И НЕВОЗМОЖНОЙ ФОРМЕ ЭТУ БЕСКОНЕЧНУЮ СИЛУ ЭТО ГЛУХОЕ ТЕМНОЕ И НЕМОЕ СУЩЕСТВО Я ПОМНЮ ЧТО КТО-ТО ПОВЕЛ МЕНЯ ЗА РУКУ СО СВЕЧКОЙ В РУКАХ ПОКАЗАЛ МНЕ КАКОГО-ТО ОГРОМНОГО И ОТВРАТИТЕЛЬНОГО ТАРАНТУЛА И СТАЛ УВЕРЯТЬ МЕНЯ ЧТО ЭТО ТО САМОЕ ТЕМНОЕ ГЛУХОЕ ВСЕСИЛЬНОЕ СУЩЕСТВО ДОСТОЕВСКИЙ ИДИОТ МОЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

[2] ЖИЗНЬ ЕЕ ПРИРОДА ЕЕ ГЛУБОЧАЙШАЯ СКРЫТАЯ ЗАВЯЗЬ ЭТО ВСЕСИЛЬНОЕ ГЛУХОЕ ТЕМНОЕ И НЕМОЕ СУЩЕСТВО СТРАННОЙ И НЕВОЗМОЖНОЙ ФОРМЫ ОГРОМНЫЙ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ТАРАНТУЛ ДОСТОЕВСКОГО ИЛИ ПРИЗЕМИСТЫЙ ДЮЖИЙ КОСОЛАПЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОЙ ЗЕМЛЕ С ЖЕЛЕЗНЫМ ЛИЦОМ ГОГОЛЕВСКИЙ ВИЙ ДЛЯ ЖИВОГО НОРМАЛЬНОГО ТРЕЗВОГО ГЛАЗА НЕ НАПУГАННОГО НИКОГДА НЕ ТАРАНТУЛ НЕ ЕГО ПРООБРАЗ СПУТНИК ВИЯ ПУЗЫРЬ С ТЫСЯЧЬЮ ПРОТЯНУТЫХ ИЗ СЕРЕДИНЫ КЛЕЩЕЙ И СКОРПИОННЫХ ЖАЛ НА КОТОРЫХ ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ КЛОКАМИ И НЕ САМ ВИЙ С ЖЕЛЕЗНЫМ ПАЛЬЦЕМ ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЧАРУЮЩЕГО «КРОШЕЧНЫЙ КРАСНЫЙ ПАУЧОК»

[3] А. РЕМИЗОВ ТРАГЕДИЯ О ИУДЕ НАШ СТАРЫЙ ЗАКАДЫЧНЫЙ ДРУГ ВМЕСТЕ ПУД СОЛИ СЪЕЛИ НАШ ИЕРУСАЛИМ НАЧАЛЬНОЕ ЦАРСТВО ПОСРЕДИ ЗЕМЛИ СТОИТ ЭТО ПУП ЗЕМНОЙ А ОБЕЗЬЯНСКОЕ ЦАРСТВО ОТСЮДА РУ-

<sup>34</sup> Ремизов 2002/7, 148

<sup>35</sup> См.: Обатнина 2000, 199-234. Эта статья с небольшими изменениями напечатана в книге: Обатнина 2001, 172-193 (гл. «Summa amoris»).

<sup>36</sup> См.: Обатнина 2001, 172.

<sup>37</sup> См. об этом подробнее: Доценко 1998, 117-121.

КОЙ ПОДАТЬ МЕСТНОСТЬ ЛЕСИСТАЯ ЖАРКАЯ БОГАТСТВА НЕСМЕТНЫЕ ТАКОЙ НАРОД ТАМ БЕСТИЯ ЧИХНУТЬ НЕЛЬЗЯ ВСЕ СЕЙЧАС ЖЕ У НИХ ИЗВЕСТНО ОБЕЗЬЯНИЙ ЦАРЬ ВСЕ ЗНАЕТ И ПОСОВЕТОВАТЬ ТОЖЕ МОЖЕТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ ЧТО УГОДНО ХЕ ХЕ ВОЙДЕТ ОН И РОВНО ВСЕ ОБАЛДЕВАЮТ ТАК ИЗ НЕГО И ПРЕТ ЭТО ОБЕЗЬЯНСКОЕ СТАРИКА ПОДЫМЕТ ХЕ ХЕ ХЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НА ХОДУ ДЕРЖИТ НОС ПРОТИВ ВЕТРА ЗНАЕТ ПЕРЕУЛКИ И ЗАКОУЛКИ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ НЕ СДЕЛАЕТ ДЕЛА СПРОСТА ВРЕТ ЧТО ЛЫКО ДЕРЕТ ТАК СЛОВАМИ КАК ЛИСТЬЯМИ СТЕЛЕТ АСЫКА ПЕРВЫЙ НА СЛАДКОЕ ПАДОК ПИЛАТ ИУДЕ

[4] О НЕМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И ЕГО НИКТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ

[5] ВЕРА И ЗАКОН РОЗАНОВА ВИЙ ПУЗЫРЬ ТАРАНТУЛ В ИХ НАДЗВЕЗДНОМ ЦВЕТЕНИИ В ИХ ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ В ИХ ТЕПЛОЙ ПАРНОЙ ЗЕМЛЕ И ЕДИНСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬСТВО ЛЕСНОЙ ВИЙ ЦАРЬ ОБЕЗЬЯНИЙ АСЫКА ВЫСКОЧИВШИЙ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ В ЭДИПОВУ НОЧЬ И ОПЬЯНИВШИЙ ОДНИМ СВОИМ ДЫХАНИЕМ ВСЕ И ВСЕХ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ БЕЗ ПРЕДМЕТА

[6] ЗЕМЛЯНАЯ СИЛА – НЕИСТОВАЯ НЕОБДЕЛАННАЯ ДАЖЕ НОСИТСЯ ЛИ ДУХ БОЖИЙ ВВЕРХУ ЭТОЙ СИЛЫ НЕ ЗНАЮ ДОСТОЕВСКИЙ<sup>38</sup>

Первая цитата – это тот же самый текст из романа Достоевского «Идиот», который был помещен на рисунке Ремизова «Тарантул» из альбома 1935 г.

Вторая цитата – из книги Ремизова «В розовом блеске»: «А ведь жизнь – ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь – «это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы» – этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем – гоголевский Вий – для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не «тарантул», никогда – «пузырь с тысячько протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками», никогда никакой не Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все, что можно себе представить чарующего из чар, вот оно-то и есть душа жизни».<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Цит. по: Обатнина 2001, 175-176. В публикации текст Ремизова приведен без знаков препинания, прописными буквами (как и на рисунке), поэтому мы сохраняем эту его особенность.

<sup>39</sup> Ремизов 1990, 560. Глава «Без предмета. (Стихи)» (впервые опубликована: Последние новости. 1931. 25 декабря. № 2939).

Пятая цитата – из очерка Ремизова «Розанов» (1931), который затем с небольшими изменениями вошел в мемуарную книгу Ремизова «Петербургский буерак», а также – в книгу Ремизова «Учитель музыки».

Шестая цитата – из романа Достоевского «Братья Карамазовы», из рассуждения Алеши Карамазова о темной «карамазовской» силе: «Тут “земляная карамазовская сила”, как отец Паисий намеренно выразился, – земляная и неистовая, необделанная [...] Даже носится ли дух Божий вверху этой силы – и того не знаю».<sup>40</sup>

В этом рисунке Ремизова «Абраксас» (если учитывать его цитатный контекст) сводятся воедино образы из романов Достоевского (пауки в бане Свидригайлова, Тарантул Ипполита Терентьева из романа «Идиот»), «крошечный красный паучок» из видения Ставрогина, главного героя романа «Бесы», и темная карамазовская природа), а также – образ гоголевского Вя. Все они оказываются изоморфными (и отчасти тождественными) собственно ремизовскому образу обезьяньего царя Асыки-Абраксаса, имеющего очевидный гностический генезис.<sup>41</sup>

Несомненно, что Ремизов прочитывает Достоевского через призму гностической (дуалистической) концепции мира, согласно которой мир сотворен не только по образу и подобию Бога, но и той самой темной силой, слепой и беспощадной, которая уничтожает самое жизнь.<sup>42</sup> Именно поэтому герой Достоевского, рассуждающий о картине «Мертвый Христос», сомневается в возможности воскресения Иисуса Христа:

«Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что

<sup>40</sup> Достоевский 1991/9, 248.

<sup>41</sup> О фольклорно-мифологических коннотациях мотива паука (в том числе – о его трансформации в творчестве Ф. Достоевского) см. подробнее: Терновская 1979, 73-79. Для нас же важно то, что мифологический мотив паука как демиурга у Ремизова реактуализируется в мифологическом же образе гностического божества Абраксаса.

<sup>42</sup> См. также замечание Е. Обатниной: «В символической системе координат Ремизова философская интерпретация сущности Бытия неизменно сопровождалась энтомологическими образами романов Достоевского. «Подполье», «закоптелая баня с пауками», «насекомое», «тарантул» – были для Ремизова устойчивыми экзистенциальными топосами и мифосимволами, раскрывающими загадку жизни» (Обатнина 2006, 33).

если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, которой воскликнул «Талифа куми», – и девица встала, «Лазарь, гряди вон», – и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа!».<sup>43</sup>

Так и Пташкин, герой Ремизова, приходит к аналогичной мысли о том, что есть некая всемогущая сила, которая воплощена в образе «всемогущего великого клопа, от которого все зависит».<sup>44</sup>

Одновременно здесь можно заметить имплицитную полемику Ремизова с марксистскими идеями социального переустройства мира, которое призвано освободить человека и сделать его счастливым. По мысли Ремизова, такое переустройство (социальная революция) обречено на неудачу именно в силу того, что никакие социальные эксперименты не в силах изменить природу человека, которую определяет то самое «глухое темное существо – Тарантул – гоголевский Вий».

Мировоззрение Ремизова – человека и писателя – глубоко фаталистично. В эпилоге своей мемуарной книги «Иверень» (в главе с харак-

<sup>43</sup> Достоевский 1989/6, 410-411.

<sup>44</sup> В романе Ремизова «Пруд» (1-я ред. – 1901-1903; 2-я ред. – 1908; 3-я ред. – 1911) главному герою, оказавшемуся в одиночной тюремной камере, тоже видятся прожорливые насекомые: «В полузабытьи мерещились ему всякие страхи: наполнялась камера маленькими насекомыми, юркими, как муравьи, заползали эти муравьи за шею, вползали в рукава, впились, точили тело, растаскивали тело по мельчайшим кусочкам. Уж, казалось, все было изгрызано и съедено, оставался от него всего один голый скелет, и чувствовал он, как ссыхались и сжимались кости и давили на сердце. Делал он страшные усилия, тряс головой и на минуту пробуждался, но только на минуту, – снова из каких-то совсем незаметных щелей и трещин, сначала в одиночку, потом целыми стаями, выползали эти проклятые муравьи» (Ремизов 2000/1, 228; цит. по тексту 3-й редакции). Во 2-й редакции романа (1908) этот фрагмент отличается от текста 3-й редакции незначительно, а из существенных расхождений отметим одно – в конце о насекомых сказано: «выползали эти проклятые гады» (Ремизов 2000/1, 418). Замена же клопов на муравьев несколько редуцирует выразительность образа, однако слово «гады» явно отсылает к мотиву насекомых-паразитов.



терным названием: «Судьба без судьбы») Ремизов приходит к окончательному выводу: «Судьба человека неизменна»,<sup>45</sup> «Судьба человека неизбывна».<sup>46</sup> И далее он поясняет: «Отмерен путь и заказана дорога. Никакие войны и революции ничего не поправят. И пока не решен вопрос о судьбе человека, все остается по-прежнему: неволя, рабство или бессрочная каторга».<sup>47</sup>

Этот взгляд Ремизова на сущность человека можно обнаружить уже в рассказе «Казенная дача».

## Литература

- Безродный, М. (1990), Об одной подписи Алексея Ремизова. *Русская литература*, № 1, 224-228.
- Грачева, А. (1993), Революционер Алексей Ремизов: Миф и реальность. *Лица: Биографический альманах*. 3. М.; СПб., 419-447
- Даль, В. (1956), *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 1. М.
- Достоевский, Ф. (1989/5), *Собрание сочинений: В 15 т.* Т. 5. Л.: Наука.
- Достоевский, Ф. (1989/6), *Собрание сочинений: В 15 т.* Т. 6. Л.: Наука.
- Достоевский, Ф. (1990/7), *Собрание сочинений: В 15 т.* Т. 7. Л.: Наука.
- Достоевский, Ф. (1991/9), *Собрание сочинений: В 15 т.* Т. 9. Л.: Наука.
- Доценко, С. (1998), Почему обезьяна кричит петухом: К объяснению одного мотива в творчестве А. М. Ремизова. *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 42, 117-121.
- Каньяр-Беккер, Е. & Данилевский, Р. Ю. (1990), Швейцарский собиратель русских книг. *Русская литература*, № 3, 167-169.
- Каньяр-Беккер, Х. (2003), Фриц Либ и его русско-славянская библиотека. «Мой знак пред жизнью – вереск гор...»: *Русская эмиграция в архивах Швейцарии*. М.: Элит-Клуб, 132-283.
- Кодрянская, Н. (1959), *Алексей Ремизов*. Париж.
- Кудрявцева, Е. & Янцен, В. (2003), Рукописи и письма русской эмиграции в архиве Фрица Либ. «Мой знак пред жизнью – вереск гор...»: *Русская эмиграция в архивах Швейцарии*. М.: Элит-Клуб, 121-132.
- Обатнина, Е. (2000), «Эротический символизм» Алексея Ремизова. *Новое литературное обозрение*, № 43, 199-234.
- Обатнина, Е. (2001), *Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах*. СПб.
- Обатнина, Е. (2006), *А. М. Ремизов: Личность, творчество, художественный опыт*. Автореф. дисс. ... доктора филолог. наук. СПб.
- ПВЛ (1950), *Повесть временных лет*. Ч. 1. М.; Л.
- Ремизов, А. (1923), Алексей Ремизов о себе. *Россия*, № 6, 25-26.
- Ремизов, А. (1957), Восточный гость. *Возрождение*, № 70.

<sup>45</sup> Ремизов 2000/8, 506.

<sup>46</sup> Ремизов 2000/8, 507.

<sup>47</sup> Ремизов 2000/8, 509.

- Ремизов, А. (1990), *В розовом блеске*. М.
- Ремизов, А. (1993), <Автобиография. 1913> *Лица: Биографический альманах*. 3. М.; СПб.: Феникс: Atheneum.
- Ремизов, А. (2000/1), *Собрание сочинений*. Т. 1. Пруд. М.: Русская книга.
- Ремизов, А. (2000/3), *Собрание сочинений*. Т. 3. Оказион. М.: Русская книга.
- Ремизов, А. (2000/8), *Собрание сочинений*. Т. 8. Подстриженными глазами. Иверень. М.: Русская книга.
- Ремизов, А. (2002/7), *Собрание сочинений*. Т. 7. Ахру. М.: Русская книга.
- Русский Берлин (1983), *Русский Берлин: 1921-1923*. Париж: YMCA PRESS.
- Словарь (1999), *Словарь русского языка: В 4-х т.* 4-е изд. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы. Т. 1.
- Терновская, О. А. (1979), Об одном мифологическом мотиве в русской литературе. *Вторичные моделирующие системы*. Тарту, 73-79.
- Ingold, F. Ph. (1977), A. M. Remizov und F. M. Dostoevskij: (Zu einem unveröffentlichten Illustrationswerk aus der Basler «Bibliothek Fritz Lieb»). *Librarium*, [Bd.] II. S. 116-135.
- Niqueux, Michel (2002-2003), Sept lettres autobiographiques D'Alexis Remizov à Dominique Arban. Publication, commentaires et notes de Michel Niqueux. *Revue des Études Slaves*, LXXIV. № 1, 184.

## Архивные материалы

Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН)  
ИРЛИ. Ф. 256 Оп.1. Ед. хр. 29



## «Летнее царство»: чувственное восприятие лета и дачи в малой прозе Елены Гуро

Действительность, все равно будет ли то природа,  
техника или искусство, естественно расчленяется  
на отдельные, относительно замкнутые  
в себе единства.  
П.А.Флоренский

Для Елены Гуро – «матери русского авангарда» – каковой ее считают многие исследователи – выезд из города, или, по ее собственным словам, «из ее каменного кармана» был чем-то особенно знаменательным. «Притяжение дачи», как писал в последствии муж, художник и композитор Михаил Матюшин, было у Гуро пожизненным. Еще в самой юности она имела обыкновение при первых признаках весны *бежать* из города на дачу.<sup>1</sup> В первом рассказе «Ранняя весна» (1905) Гуро обращается к сюжету ожидания дачного сезона:

Так ждали назначенной заранее поездки за город, с золотым утренним отъездом и тишиной вечернего возвращения среди замирающего городского рокота; очарований игры, неисполнимой сейчас; обещанного еще за неделю волшебного чтения вслух в маленькой гостиной при трепетании лампового света на фарфоровых игрушках и в отражении зеркал.

[...]

На заходящем солнце горели ярко очерченные оранжевым лица. «Ну, с Богом!» – Тронулись. Чухонская телега завизжала железом и захлябала по ухабам апрельской дороги. Повернулись и отплыли назад избы станции.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Матюшин 1976, 136.

<sup>2</sup> Гуро 1996, 159-160.

Уже в этом раннем тексте видны две характерные черты повествования художницы: способность охватывать увиденное глазом живописца и ярко выраженное чувственное восприятие окружающей действительности.

С прибалтийской дачей, с дачным простором, привольем, беззаботностью, со свежим воздухом, долгим северным ночным светом, с запахом нагретой солнцем земли, шумом хвойного леса, ощущением росистой травы и мха под босою ногой, с привлекающими взгляд причудливыми деревянными постройками, заборами, перилами, балкончиками – была, так или иначе, связана значительная часть ее словесного и живописного творчества. Здесь, на прибалтийском побережье она нашла свою истинную природу художника, и здесь же она тихо ушла из жизни<sup>3</sup>.

С конца 1900-х годов и до самой своей кончины весной 1913-го года Гуро проводила летние месяцы на побережье Финского залива, снимая дачи в Сагамилье неподалеку от Ораниенбаума, в Райвола (ныне Рощино) и, в последние годы жизни, в Уусикиркко (Новой Кирке, ныне Поляны). В 1909-1910 годах для художницы важным становится так называемый «Северный миф», который можно найти также у Блока, Белого и других поэтов серебряного века. Будучи увлечена северной традицией, Гуро идеализирует Север, видя в нем признаки независимости, жизнерадостности, смелости и дерзости:

Following this myth Elena Guro sees Scandinavia as a model of independence and boldness, of courage and joy of life - qualities which she demanded of the new Russian poetry and art. To her the summers by the Baltic Sea were, as we understand from the diary, a source of inspiration and spiritual happiness.<sup>4</sup>

На фоне Северного мифа особенно ярко выступает финская тематика. Идея Гуро об органической одухотворенности природы пронизывает ее «финские» тексты. Ландшафт Карельского перешейка становится для художницы родным. Живя на даче, она изучает его особые породы, растительность, климат и неповторимый свет белых но-

<sup>3</sup> Очевидец ее похорон А. Ростиславов писал в газете *Речь* в конце апреля 1913 года: «Скончалась она в одинокой бревенчатой финской даче на высотах, покрытых елями и соснами. Гроб ее на простых финских дрогах, украшенных белым полотном и хвоей, по лесистым холмам и пригоркам провожала маленькая группа близких и ценивших. Могила под деревьями на высоком холме простого и сурового финского кладбища с видом на озеро, оцепленное лесом». (Матюшин 1967, 149.)

<sup>4</sup> Ljunggren & Nilsson 1988, 20.

чей<sup>5</sup>. В этюде «Летнее царство», о котором пойдет речь ниже, героиня говорит в одном из ключевых моментов своего потока сознания:

И почти не спала в то лето, и когда выходила в опьяняющие ранние росы, выпивала все круглое солнце, была бодрой без сна.<sup>6</sup>

Финская тематика появляется в записных книжках, набросках и эскизах Гуро очень рано, приблизительно около 1904 года, возможно и еще раньше. Возникает вопрос: живя подолгу в инородной среде, знала ли Гуро финский язык? По всей вероятности, нет, однако, она питала живой интерес к звучанию финской речи. Знаменито ее стихотворение «Финляндия», ориентированное всецело на слуховое восприятие, на звуковые повторы и звуковые эхо-образы, создающие общее впечатление финского звукового ландшафта<sup>7</sup>.

Это-ли? Нет-ли?

Хвои шуют – шуют

Анна – Мария, Лиза, – нет?

Это-ли? – Озеро-ли?

Лулла, лолла, лалла-лу,

Лиза, лолла, лулла-ли.

Хвои шуют, шуют,

ти-и-и, ти-и-у-у.

Лес-ли, – озеро-ли?

Это-ли?

Эх, Анна, Мария, Лиза,

Хей-гара!

Тере-дере-дере... Ху!

Холе-куле-нэээ.

Озеро-ли? – Лес-ли?

Тно-и

Ви-и...у.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> См. подробнее Baschmakoff 2003.

<sup>6</sup> Guro 1996, 43.

<sup>7</sup> Ненапечатанный вариант текста под названием «Финская рапсодия» хранится в Государственном музее Маяковского. Этот вариант менее экспериментален, и он меньше апеллирует к одному слуховому восприятию. Однако и в нем как бы ставится под вопрос восприятие действительности через посредство одного лишь чувственного опыта: «Нет ли? Шумит тихо-тихо? // Сосны? Стадо ли? Озеро ли? // Полдень Лиза, полдень Анна-Мария! // Так ли это все? // Стадо ли? Вечером ли? // Поболтаем после воскресного дня! // Даль вечером стелет туманом... // Тнхо прохлады, тихо... // Вечером ли? Нет ли...» (см. Иньшакова 2004, 100-101.)

<sup>8</sup> Гуро 1996, 348.

Все «финские» тексты однозначно свидетельствуют о том, что Гуро была достаточно знакома как с финляндской средой, так и с национальной культурой Финляндии. Она явно прониклась достаточно глубоким ее пониманием, и творчески свободно перевоплощала инородные культурные модели в их огласовки, включая, таким образом, финскую тематику в общесеверную.<sup>9</sup>

Указывая на известный прозаический фрагмент «Тайна» из посмертного сборника *Небесные верблюжата* (1914)<sup>10</sup>, Нильссон замечает, что этот отрывок Гуро наиболее целостно описывает типичное северное лето на прибалтийском побережье.<sup>11</sup> Северная природа вдохновляла не только словесное творчество художницы, но и ее живопись. В рукописном отделе Пушкинского Дома<sup>12</sup> хранятся ее тонкие эскизы северной флоры, деревьев, кустов, вереска, брусники, грибных шляпок во мху, веточек, листиков, облаков.

За миром природных феноменов Гуро искала мир ноуменов, мир «настоящий»; в этом искании она шла по пути символистов, понимавших искусство как орудие трансцендентности и шедших к истинному озарению через интуицию и нерациональное познание. Она искала «внутреннего звучания» природы, пытаясь постичь ее посредством сверхчувственного или, порой, аномального восприятия.<sup>13</sup> В письме к Н.Н. Бромлей от 25-го апреля 1911 г. она указывает на свою склонность к суперсенсорной перцепции:

Не одного красивого хочу, – а также и божьего, и не осуждения своего боюсь, нет, а только я уже год как имею некое светлое утверждение – что *они* – *настоящие, жаждущие*, нас понимают – и всей душой нам навстречу отзываются, даже больше – мы только хотели бы выразить, а они уже это задуманное, замечанное втихомолку – читают между строк.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> см. подробнее Башмакова 1990.

<sup>10</sup> Напоминаю эту цитату из *Небесных верблюжат*, вышедших посмертно в 1914 году: «Всем поэтам, творцам будущих знаков – ходить босиком, пока земля летняя. [...] С голыми ногами разговаривает земля. Под босой ногой поет доска о тепле. Только тут узнаешь дорогую близость с ней. Вот почему поэтам непременно следует ходить летом босиком.» (Гуро 1996, 261.)

<sup>11</sup> Nilsson 1988, 8.

<sup>12</sup> ИРЛИ ф. 631.

<sup>13</sup> ср. Боулт 1998, 31-32.

<sup>14</sup> РГАЛИ ф. 134, оп.1, 20: 1-2; выделено Е.Г.

На такое сверхчувственное восприятие при постижении природных явлений указывает и П.А. Флоренский, вспоминая становление своей личности:

Да, если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть то таинственное высвечивание действительности иными мирами, – просвечивание сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определено, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного «остановись мгновение».<sup>15</sup>

Чувственное восприятие Гуро было заострено до предела; особое внимание она обращала на осязание объекта в пространстве. Здесь следует упомянуть ее увлечение герметическими доктринами, в том числе теософией и учением Петра Успенского, возросшее к концу ее творческого пути.<sup>16</sup> Успенский сомневался в человеческой способности адекватного восприятия окружающей действительности и утверждал, что «видимая действительность является лишь ненадежным концептом, рациональным допущением, не только ложным в основе, но и чрезвычайно далеким от высших ступеней познания».<sup>17</sup> Гуро интенсивно изучала естественные формы и звуки в природе, как бы «зная тайны вещей».<sup>18</sup>

Развивая впоследствии мысль о значении роли автора-творца в восприятии предметного пространства, Матюшин писал, что художник изучает «биологию видимости предметного мира, зарождающегося в пространстве и в нем исчезающего».<sup>19</sup> Примером заостренной чувствительности Гуро и изучения ею «биологии видимости» могут послужить следующие записи из ее дневника:

Из оттенков /осколочков/ едва видимых, едва ощущаемых, складывается шестивие жизни. Надо верить в жизнь.<sup>20</sup>

Еще мучают острые, как иголки, мысли...

О какая жестокая нелепость, – я заметила на мосту, что у клячи ломовой бархатный храпик, бархатные милые ноздри.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Флоренский 1990, 18; выделено П. Ф.

<sup>16</sup> см. Минц 1988; Гехтман 1994; 1999.

<sup>17</sup> Боулт 1998, 32; 33-35.

<sup>18</sup> Матюшин 1976, 136.

<sup>19</sup> Органика 2000, 60.

<sup>20</sup> Гуро 1988, 28.

<sup>21</sup> Там же, 29-30.



Творчество Гуро естественно и тесно связано как с летом и с прибалтийским побережьем, так и с особо-чутким сенсорным восприятием природной звуко-световой, слуховой, обонятельной и осязательной среды, которая окружала горожанина в дачной местности. Как поэт и живописец она всем своим существом льнет к природе, погружается в нее, причем в словесном творчестве она воспроизводит образы природы часто именно через видение живописца, иногда даже вопреки обычной логике языка.

Приведу пример: «Молодые сосны были в солнце». Если прочесть без контекста этот образ освещенных солнцем сосен, то читателю приходится даже перечитать предложение, не ошибся ли он, может, не так прочел? На самом деле, контекст фрагмента дает ключ к тому, почему у Гуро такой странный выбор глагола и предлога.<sup>22</sup> На данный текст надо «смотреть» когда его читаешь. Тогда понимаешь, что рассказчик наблюдает за объектом и описывает его не по вертикальной оси, как обычно стоящий или идущий человек, а по горизонтальной, лежа в гамаке, причем не стационарно, а волнообразно двигаясь взад и вперед, наблюдая за объектом, т.е. соснами, как бы сразу с нескольких сторон и ракурсов и в нескольких освещениях. Про сосны не скажешь, как в классическом повествовании, что они «стоят» или «возвышаются», а они именно *пребывают* в свете. Итак, получается, что с точки зрения волнообразно раскачивающегося и наблюдающего объект одновременно со всех сторон человека, этот наблюдаемый в световом пространстве объект, т. е. сосны, как бы *купаются в свете*, они погружены в этот свет словно в воду. Или еще: «Береза с заборчиком повернулась и отплывает. – За ними завертелись расходясь веером гряды». Здесь опять контекст раскрывает читателю, что рассказчик сидит в поезде и смотрит на объекты в движении, цепляясь глазом за наблюдаемым, которое мелькает перед ним, развертываясь лучами и убегая в даль. Два года после смерти Гуро Матюшин записывает в своем дневнике:

---

<sup>22</sup> «Мы качались в гамаке и мечтали о бессмертии души, *молодые сосны были в солнце*. Петли скрипели. Мы себя мнили почти духами. Качели летали. Вечная юность – да ведь это достижимо!!» (Гуро 1996, 268, выделено нами, Н.Б.)

Только движение обобщает видимость в цельное. [...] Только творящий человек. *В движении созидания* связывает себя с человечеством и со всей его животной частью в самом высшем идеальном смысле.<sup>23</sup>

Для адекватной интерпретации словесных рядов «молодые сосны были в солнце», «береза с заборчиком повернулась и отплывает», «завертелись, расходясь веером гряды» важно понимание двигательной и осязательной способностей глаза, а также их сплетения. В исследовании «Анализ пространственности [и времени] в художественно-изобразительных произведениях» Флоренский пишет:

Глаз есть орган и пассивного осязания и активного движения. [...] Предмет ощупывается глазом посредством светового луча.<sup>24</sup>

Двигательность содействует осязанию. Глаз, доводящий способность осязания до наибольшего утончения, возводит на вершину и двигательность: при ощупывании глазом мы, как хорошо известно, непременно движем глаз, двигаем головою и даже всем телом, а когда хотим рассмотреть предмет более внимательно, то переходим с места на место.<sup>25</sup>

Так, при подключении активной способности глаза к пассивной, художники эпохи модернизма переходят от пассивного к активному видению действительности, изменяющему как привычную перспективу, так и ощущение перпендикуляра, и осязание светотени и цвета.

В симультанном постижении действительности пристальное внимание модернистов привлекали синестетические явления, такие как соощущение звуковых импульсов при восприятии света и цвета, и наоборот. Психологическая соотносимость цвета, звука, слова, формы, тактильных, вкусовых и обонятельных ощущений интриговала как художников-живописцев, так и писателей, в том числе Кандинского, Хлебникова, Крученых, Маяковского, Гуро и Матюшина. Эта традиция состыковывания и смешивания чувственных восприятий, шедшая от романтиков, перешла к «неоромантикам», к которым З.Г. Минц причисляет и Елену Гуро.<sup>26</sup>

Далее под углом зрения симультанизма мы рассмотрим образную перцепцию чувственного восприятия летнего дачного приволья на примере прозаического этюда Гуро «Летнее царство». Текст этот был

<sup>23</sup> РГАЛИ ф. 134, оп. 2, 24:2; из дневника 1915-16 гг., выделено нами, Н.Б.

<sup>24</sup> Флоренский 2000, 132.

<sup>25</sup> Там же, 134.

<sup>26</sup> см. подробнее Минц 1988.

впервые опубликован по рукописям фонда Гуро и Матюшина, хранящимся в Москве в РГАЛИ, в 1995 году в «Стокгольмских записках» (Stockholm Studies in Russian Literature) и подготовлен к печати Анной Юнгрэн и Ниной Гурьяновой.<sup>27</sup> Текст не датирован, но, как считают издатели, относится к 1907–1908, возможно даже к 1909 годам;<sup>28</sup> он состоит из шести неровных фрагментов, объединяемых лицом авторефлексирующей женщины-рассказчика. Действие происходит в потоке сознания героини, вспоминающей, как начинался и закончился ее летний дачный роман с человеком моложе ее.

Повествование начинается ключевым автоироническим высказыванием: «Он ее-таки разжаловал из цариц. – Эх-ма, да, было, было счастье. Женщина садится в вагон». Героиня-рассказчица едет на дачу. Наблюдая в пути как город постепенно переходит в дачную местность, рассказчица переживает разрыв и понимает, что весь ее летний роман оказался нелепой шуткой:

Хохотали по всей дачности: «Ежегодные царицы, Сашки Закраевского!» – Моя царица... моя царица... «Ну, судьба.» – Тут сворот на прежнюю дачу...<sup>29</sup>

Однако героиня, как бы не веря в происшедшее, мазохистски возвращается на места летних происшествий. Самый короткий из шести частей текста, предпоследний его фрагмент, длиной всего в две строки, является семантически кульминационным: он открывает картину как в прошлое, так и в будущее героини:

Знаю, знаю, у стен будут трепаться коричневые черные листья, пойдут осенние дожди, и будут разъезжаться с дач.<sup>30</sup>

Этот фрагмент дает рамки времени и места действия: кончится лето – в жизни героини это исключительное время романтической встречи – разъедутся дачники, и начнется серая действительность, потекут тоскливые городские будни.

В предисловии к публикации «Летнего царства» Анна Юнгрэн считает, что написанный вскоре после выхода *Мелкого беса* Ф.К. Сологуба текст Гуро наводит на некоторые ассоциации с сологубовским

---

<sup>27</sup> Гуро 1995, 41–45.

<sup>28</sup> Там же, 66–67.

<sup>29</sup> Там же, 42.

<sup>30</sup> Там же, 44.

романом. Однако, как пишет Юнгрен, его романтическая тема истолкована в ином ключе:

Romantic and erotic theme [...] is interpreted not in Sologub's demonic key, but as a manifestation of *the elemental power of nature in summer*.<sup>31</sup>

С Юнгрен можно согласиться: да, текст Гуро маркированно эротичен, и в нем присутствует телесность действующих лиц, в чем можно усмотреть определенную дань эпохе, но не больше<sup>32</sup>. У Гуро, как поэта и художника, совершенно другая чувствительность, чем у Сологуба. Текст ее написан в иной тональности, и это уже не младосимволистское, а явно модернистское повествование. Для Гуро ключевая тема с вариациями - это лето, страстный расцвет творящей природы, буйный органический рост: «Унавожено, насижено, обогрето, с жиру бесится земля.»<sup>33</sup> Текст «Летнего царства» апеллирует к читателю при помощи ярких чувственных образов. Читатель вовлекается в круговорот образов, подхваченных тонкой, насыщенной эротизмом женской психики, наблюдательностью, с какой обманутая в своих чувствах героиня повествует о происшедшем.

К чувству осязания в тексте Гуро относятся тактильные ощущения предметов, некая «ощупывающая» вещественность. Писательница эмоционально схватывает и словно обнимает вещи; у нее очень конкретные, материально-ощутимые описания физического вещества как, например, глина – «бархатная» или вздохи песка и листьев – «горячие». Или еще: капуста – «жирная», «плотоядная», земля – «тучная», роса – «опьяняющая», кусты – «густогривые».<sup>34</sup>

Тем не менее, наибольшей выразительностью в ее тексте обладают зрительные образные восприятия. Гуро смотрит на мир глазами живописца: «Яркие кляксы вокзальных огней удлинялись, ползли на рельсах».<sup>35</sup> В описании видимости Гуро, как живописец, ищет наиболее выразительного угла зрения: «Вполоборота впереди его спина...».<sup>36</sup>

<sup>31</sup> ...первозданная сила летней природы... (перев. Н.Б.) (Там же, 12; выделено нами, Н.Б.)

<sup>32</sup> Перекликаются с сологубовскими, например, сцены езды на извозчике. У Гуро так: «Как ехали тогда, как везли его на телеге, уступив ему сиденье, сидя на жестком краю...» (Гуро 1995, 43.)

<sup>33</sup> Там же, 41.

<sup>34</sup> Там же, 41, 43, 44.

<sup>35</sup> Там же, 44.

<sup>36</sup> Там же, 45.

Цветосветовая гамма рассматриваемого текста соответствует палитре и освещению северной летней природы – всех оттенков зелени, синевы неба и белизны облаков:

Белые платья девиц расцветают гигантскими белыми цветами и тают в темноте.<sup>37</sup>

Но яркие зонтики сменила синяя туча за побледневшими изумрудами.<sup>38</sup>

Безумно зеленое приникло к окну. Зеленое безумство поцеловало стекла и ворвалось, когда отворили.<sup>39</sup>

Выпадает из этой гаммы приведенный выше предпоследний фрагмент текста, в котором свет и цвет тускнеют и угасают, когда рассказчик предвидит конец лета: «будут трепаться коричневые черные листья».<sup>40</sup> Выпадает из светлой гаммы также мотив смуглой цыганки, предсказывающей судьбу: «Вдогонку оборванная, сверкнувшая черным цыганка!»<sup>41</sup>

В «Летнем царстве» слуховые ощущения тесно переплетаются со зрительными: « [...] белые кителя гремят шпорами. Раскаленные, красные искры вскриков и звяканья, вспрыгивают из зеленой темноты.»<sup>42</sup> К слуховому восприятию апеллирует также певучесть всего повествования, переходящего неоднократно в стилизованное народное стихосложение: «Эх, вы кусты окрапленные, листья вы зеленые ярые, зеленые глубины – сочные гушины, густогривые раздольные. Полосы вы в небе последние...»<sup>43</sup> О своем отношении к народному стиху Гуро говорит в письме к Матюшину:

(б/д)

[...] Читаю былины и песни, оказались чудные, и хорошо уясняющие народное стихосложение. Зачитываюсь прямо по вечерам, когда ничего уже нельзя делать. Сличаю с Добролюбовым и кажется начинает мне что-то мерещиться, может, найду ключ к этому стихосложению?<sup>44</sup>

---

<sup>37</sup> Там же, 44.

<sup>38</sup> Там же, 43.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Guro 1995, 44.

<sup>41</sup> Там же, 42.

<sup>42</sup> Там же, 44.

<sup>43</sup> Там же, 44.

<sup>44</sup> Там же, 98.

Среди фольклорных моделей особо выделяется в тексте «Летнего царства» жестокий романс из городского фольклора, связанный с появлением цыганки и мотивом гадания о судьбе героини.

Не смейся уж мой мучитель, не смейся уж надо мной,  
Господь тебя накажет несчастливой судьбой...<sup>45</sup>

Ничего мне на свете да не надо. – Только б видеть тебя милый мой!<sup>46</sup>

Преимущественно к слуховому восприятию относится также словотворчество Гуро, к которому читатель вынужден именно прислушиваться, когда словоновшества неожиданно возникают среди классического повествования. Так, задерживают внимание, например, выражения «дачность» по аналогии с «местность», или приведенные выше примеры «липы пошущумывают», «хвои шуют».

Для синхронно-чувственного восприятия Гуро в рассматриваемом тексте характерна экспрессивность, передающая силу эмоций рассказчицы:

Был взрыв девичьих голосов... но теперь безумная пьяная дождливая береза зеленой свежестью полезла в мокрые стекла.<sup>47</sup>

Такие пассажи ассоциируются с ранним Маяковским 1912-1914 гг., однако они написаны на пять-шесть лет раньше.

Более традиционно, без попыток наложения друг на друга различных чувственных восприятий, представлены в «Летнем царстве» образы обоняния и вкуса.

Женщина садится в вагон. Тянет вокзальным дымом, железным маслом.<sup>48</sup>

От оранжерей потянуло землей.<sup>49</sup>

У буфета офицер стоя, сочно ел пирожки, надувал щеки со свежестью [...].<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Там же, 41.

<sup>46</sup> Там же, 42.

<sup>47</sup> Там же, 44.

<sup>48</sup> Там же, 41.

<sup>49</sup> Там же, 42.

<sup>50</sup> Там же, 41.

Однако в контексте ведущей эротической темы повествования важно отметить то, как интенсивно героиня воспринимает вид и особенно запах чужого мужского тела:

Перешла платформу – вошли рейтузы в обтяжку, пахло здоровым свежим мужичиной, надушенными усами, хорошим табаком.<sup>51</sup>

Итак, текст «Летнего царства» отражает переломную фазу в творчестве Елены Гуро, грань между ранним и поздним периодами ее литературного творчества. Формально он не завершен, однако, незавершенность этюдов – к каковым его можно отнести – последовательна в творчестве писательницы. Еще в 1938 году Н.И. Харджиев отметил новизну новаторства малой прозы Гуро: «Ломающая традиционные каноны, она создала своеобразный фрагментарный жанр. В лирических произведениях Гуро границы между стихом и прозой уничтожены. В прозу внедрены стиховые элементы – ритмичность, эмоциональный синтаксис, стиховое построение образа.»<sup>52</sup> Гуро сознательно развивает форму фрагмента, внедряя в повествование эскизность, монтаж, купюры и паузы, и, как бы «надует свой текст воздухом». Так живописцы вписывают в картину легкость, оставляя просветы холста или бумаги.<sup>53</sup>

При передаче чувственного восприятия действительности монтажный принцип повествования помогает Гуро подчеркивать simultaneity постижения окружающей среды и смешение ощущений. Тем самым писательница усиливает сопереживание читателя при восприятии текста. В этюде «Летнее царство» разочарованная героиня как бы покидает свою телесность и переключает энергию аффективного влечения на природу – «пушистая свежесть парков ахнула», «раскатом темной свежести вздохнуло», «выпивала все круглое солнце», «нагибался, нагибался шум липы».<sup>54</sup> Освобождая героиню от телесности, Гуро применяет здесь не только известный модернистский прием остроты, но и запутывает и скрывает сюжетную линию.<sup>55</sup> Несмотря на явно модернистские приемы, этюд определенно является и данью эпохе; в нем просматриваются символистские мотивы, а рамки дачного

---

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Харджиев 1997, 328.

<sup>53</sup> ср. Башмакова 1990, 152; Иньшакова 2004, 101.

<sup>54</sup> Guro 1995, 42-43.

<sup>55</sup> ср. Gourianova 1995, 72.

хронотопа и северного лета создают в тексте исключительно благоприятную почву для развития принципов органического искусства.

## Литература

- Башмакова, Н. (1990) «Над далекой полосой отзвука». Финские отголоски в творчестве Елены Гуро. *Tartu ülikooli toimetised 897. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia II*. Tartu: Tartu ülikool, 151 – 170.
- Боулт, Дж.Э. (1998), Василий Кандинский и теософия. *Многогранный мир Кандинского*. Москва: «Наука», 30-41.
- Гехтман, В. (1994), «Бедный рыцарь» Елены Гуро и «Tertium Organum» Петра Успенского. *Труды по русской и славянской филологии*. Литературоведение. I (Новая серия). Тарту: Tartu ülikooli kirjastus, 156-167.
- Гехтман, В. (1999), «Знание» и «чувство» у Матюшина и Гуро. *Studia Slavica Finlandensia*. Tomus XVI/1. Школа органического искусства в русском модернизме. Natalia Baschmakoff, Olga Kushlina, Igor Loshchilov (eds.). Helsinki: IREES, 89-100.
- Гуро (1996), *Гуро Елена. Сочинения*. Compiled by G.K. Perkins. With an afterword by Kevin O'Brien. Oakland, California: Berkeley Slavic Specialities.
- Иньшакова, Е.Ю. (2004), «До конца я тоже избегаю быть женщиной...» Неизвестные материалы о творчестве Елены Гуро. «Амазонки авангарда». Г.Ф. Коваленко, отв. Ред. Москва: Наука, 98-104.
- Матюшин, М.В. (1976), Русские кубо-футуристы. *К истории русского авангарда*. Н. Харджиев, К. Малевич, М. Матюшин. Послесловие Романа Якобсона. "Hulaea Prints". Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 135-158.
- Мицц, З.Г. (1988), Футуризм и «неоромантизм» (к проблеме генезиса и структуры «Истории бедного рыцаря» Ел. Гуро). *Труды по русской и славянской филологии*. *Tartu ülikooli toimetised 822*. Tartu: Tartu ülikool, 109-121.
- Органика (2000), *Органика. Беспредметный мир Природы в русском авангарде XX века*. Выставка в галерее Гмуржинска. Кёльн 1999-2000. Москва: RA.
- Харджиев, Н.И. (1997), Елена Гуро. К 25-летию со дня смерти. *Н.И.Харджиев: Статьи об авангарде в двух томах*. Т. I. Москва: RA, 327-329.
- Флоренский, П.А. (1990), «Особенное». *Из воспоминаний П.А. Флоренского*. Москва: Московский рабочий.
- Флоренский, П.А. (2000), *История и философия искусства. Собрание сочинений*. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. Сост. Игумен Андроник (А.С.Трубачев). Москва: «Мысль».
- Baschmakoff, N. (2003), Karelskii peresheek kak "tvorcheskoe urochishche" v tekstakh Eleny Guro. *Karelskii perekrestok. Karelska korsvägar*. Tekster från seminarium i St. Petersburg, Oktober 2003. Elena Hellberg-Hirn, Sven Hirn (eds). Helsingfors: Svensk-ryska föreningen i Finland, 78-95.
- Gourianova, N. (1995), Introduction II: On Elena Guro's Criticism. *Elena Guro. Selected Writings from the Archives*. Anna Ljunggren, Nina Gourianova (eds.). Stockholm: Almqvist Wiksell International, 71-80.



## THE DACHA KINGDOM

- Guro (1988), *Elena Guro: Selected Prose and Poetry*. Anna Ljunggren, Nils Åke Nilsson (eds.). Stockholm: Almqvist Wiksell International.
- Guro (1995), *Elena Guro. Selected Writings from the Archives*. Anna Ljunggren, Nina Gourianova (eds.). Stockholm: Almqvist Wiksell International.
- Ljunggren, A. & Nilsson, N.Å. (1988), Elena Guro's Diary. *Elena Guro: Selected Prose and Poetry*. Anna Ljunggren, Nils Åke Nilsson (eds.). Stockholm: Almqvist Wiksell International, 19-23.
- Nilsson, N.Å. (1988), Guro – An Introduction. *Elena Guro: Selected Prose and Poetry*. Anna Ljunggren, Nils Åke Nilsson (eds.). Stockholm: Almqvist Wiksell International, 8-18.

## Архивные материалы

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)  
РГАЛИ ф. 134

Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН)  
ИРЛИ ф. 631

## Joseph Brodsky's Poem *Kellomiäki*: A Lived Landscape and a Symbolic World of Signs

From his childhood the Karelian Isthmus was a familiar place for Joseph Brodsky, a native of Leningrad. Like many inhabitants of Leningrad, his family used to spend their leisure time on the shore of the Gulf of Finland. He knew Terijoki, Raivola, Kuokkala, Uusikirkko and Kellomäki by their former Finnish names, which is evident in the title of his poem *Kellomiäki*.<sup>1</sup> Kellomäki, the official Russian name of which has been Komarovo since 1948, was the place where Brodsky became acquainted with Anna Akhmatova in August 1961. In autumn 1962 he rented a dacha in the vicinity of Akhmatova's cottage from Professor Raisa L'vovna Berg, the daughter of the deceased academician Berg, a renowned geneticist in her own right. The dacha that was part of the academic settlement of Komarovo burned later.<sup>2</sup> Brodsky spent several months at Berg's dacha, starting from autumn 1962 through winter 1963.<sup>3</sup> According to Evgenii Rein, Brodsky's friend and a poet who introduced him to Akhmatova, the main reason for Brodsky's renting a dacha in Komarovo was his desire to find refuge from his life in Leningrad where he shared part of a communal apartment with his parents. He wanted to live in peace with his loved one, Marina Pavlovna Basmanova, an artist by profession.<sup>4</sup> Brodsky wrote several lyric works during this period.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> See Mallinen 1995, 46 and Rinne 1995, 28.

<sup>2</sup> Brodskii 2000, 560.

<sup>3</sup> See, e.g., Volkov 1998, 221 and Kulle 2003, 12. Incidentally, Brodsky's father Aleksander Ivanovich Brodsky had studied with the academician Berg.

<sup>4</sup> Rein 1994, 190-191. According to Rein, another artist named Jasha Ven'kovetskii, lived at Berg's dacha that same winter. Brodsky never mentions him in his recollections of this period of his life.

One poem dealing with the ‘happy’ time at Berg’s dacha is called *Kellomiaki*, written as late as in 1982, ten years after Brodsky had emigrated to the United States.<sup>6</sup> I will focus on this long poem dedicated to “M.B”. It was written from the point of view of an émigré writer to his lost homeland. *Kellomiaki* serves as an exemplary case of the means that Brodsky uses to handle the central themes of his poetry – space and time – together with his conception of the North. In this context I will also touch on the image of “Finland” in Brodsky’s poetry, mainly in relation to the mentioned themes.<sup>7</sup>

At the time of writing, the spatial distance between the poet and his native land is enormous. It can be reached only as an image, a memory. The temporal distance is also vast – twenty years separate him from the happy winter of his youth. The position of the author, which coincides with the lyrical subject of the poem in terms of time and space, serves as a starting point for the discussion of the themes of space, time and memory in *Kellomiaki*. The lyrical subject implies his position, albeit indirectly, in two final stanzas:<sup>8</sup>

[...] *безымянность нам в самый раз, к лицу,*  
*как в итоге всему живому, с лица земли*  
*стираемому беззвучным всех клеток «пли».*  
*У вещей есть пределы. Особенно – их длина,*  
*неспособность сдвинуться с места. И наше право на*

---

<sup>5</sup> He returned to the Karelian landscape also in his later poems, such as *Pesni schastlivoi zimu*, which is rather about the emotional atmosphere of the previous winter in Komarovo than about the actual landscape, and was written in Ust’-Narva on the southern shore of the Gulf of Finland in 1964.

<sup>6</sup> The poem *Kellomiaki* was first published in the émigré journal *Kontinent*, 36/1983, 13-16, then in a slightly modified version in Brodsky’s collection *Novye stansy k Avguste*, (publ. by Ardis, Ann Arbor 1983, 137-141). The quotations of *Kellomiaki* are taken from Brodskii III, 243-247.

<sup>7</sup> I will show “Finland” in quotation marks, since Brodsky uses Finland to refer to places on the Karelian Isthmus that have been part of the Soviet Union, later Russia, after World War II, and not to the present territory of Finland. Brodsky visited Finland twice, in 1988 and in August 1995, some months before his death in January 1996. Seamus Heaney recalls the last visit in his poem dedicated to Brodsky’s memory *Audenesque*: “[...] In a train in Finland we / Talked last summer happily, / Swapping manuscripts and quips, / Both of us like cracking whips / Sharpened up and making free, / Heading west for Tampere / (West that meant for you, of course, / Lenin’s train-trip in reverse) [...]” (Quoted from Heaney 2006).

<sup>8</sup> Instead of first person singular, he speaks of “nashe pravo na “zdes” and “budem schitat”” using the first person plural. Despite the intimate autobiographical underpinnings of the poem, the personal pronoun “I” emerges in it only a couple of times, and not once in the nominative. Moreover, he, as well as his companion, has lost his right not only to this place, but to their proper names as well. See Smit 1986, 141-42.

*«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день  
клином падавшая в сугробы тень*

## XIV

*дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,  
будем считать, что клин этот острый [...].<sup>9</sup>*

For Brodsky time and space are two basic orientations through which his lyrical substitute defines his place in the world. Human beings together with all animate creatures have a limited right to time and space on earth. Inanimate beings', like objects' or buildings' claim on space or land lasts longer. Residences have more permanence than the residents. Houses seldom get displaced. As we witnessed in the quotation above, the tenant right of the lyrical subject and his companion on the dacha in Kellomäki has expired. They have physically quitted this landscape and are facing new ones in their present environments. What is left of that time and place are recollections in the poet's mind.

The position of the lyrical subject in time is defined in stanza IX through spatial metaphors:

*В середине жизни, в густом лесу,  
человеку свойственно оглядываться – как беглецу  
или преступнику: то хрустнет ветка, то всплеск струи.  
Но прошедшее время вовсе не пума и  
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив  
жертву на землю, вас задушить в своих  
нежных объятьях [...]*

Here again, the poet avoids the use of the personal pronoun 'I' by resorting to generalisations. A middle-aged man (Brodsky's autobiographical 'I' was 41 years old in 1981 when the poem was written) renders an account of his past life to himself. The first lines of the stanza with the motifs of mid-life, thick forest and beasts are allusions to the first canto of Dante's *Divine Comedy*. Unlike Dante's, Brodsky's poem is not an allegory, but he speaks with concrete images and tropes. Nevertheless, the Dantean connection suggests that we are dealing with a journey to an inner landscape.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> [Unless otherwise indicated, all italics in the quotations are mine – MK].

<sup>10</sup> Cf. Dante's *Divine Comedy*, Inf. I: 1-6: "Midway upon the journey of our life / I woke to find me astray in a dark wood, / confused by ways with the straight way at strife". (Translated by G.L. Bickersteth, Oxford 1965). For Dantean allusions in *Kellomiäki* and the meanings of the allegorical figures of puma and hound, see Kõnönen 2003, 102-104.

Every detail in Brodsky's poetry has a meaning. The title of the poem *Kellomiäki* and its orthography are not without significance either. Brodsky deploys the Finnish name of the settlement while writing it with Cyrillic letters implying its past as Finnish land before the war in 1939-40, and its present status as Russian territory. Thus, the name does not denote a real place, since a place called Kellomäki no longer exists. I am not sure whether Brodsky was aware of the semantics embedded in the Finnish name. The name contains both of those co-ordinates that are necessary for his orientation in the world – *chronos* ('kello' denotes 'a bell' or 'a clock') and *topos* ('mäki' denotes 'a hill'). In this chronotope time and space are united in the true sense of the word; time obtains characteristics of space and space is temporalised. In *Kellomiäki* articulations of space are manifold. The poet demarcates the geographical (and simultaneously the geopolitical) location of Kellomäki, as well as the time of year in the opening lines of the poem:

*Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,  
 городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни -  
 телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».  
 И никаким топором не наколешь дров  
 отопить помещенье. Наоборот, иной  
 дом согреть порывался своей спиной  
 самую зиму и разводил цветы  
 в синих стеклах веранды по вечерам; и ты  
 как готовясь к бегу и азимут отыскав,  
 засыпала там в шерстяных носках.*

The small town is lost in the dunes that have been unjustly seized from their previous possessors, the witless Finns.<sup>11</sup> For Brodsky it is not a matter of pure geography or history. His view on the ongoing political question in Finland, whether Karelia should be given back to Finland, was absolute. On his second and last visit to Finland in August 1995 he found it strange that Finns did not lay claim to "their own land".<sup>12</sup>

The houses made of plywood do not give enough shelter against cold and winter, nor do they guarantee the privacy of their tenants.<sup>13</sup> Sweden, on the

---

<sup>11</sup> The motif of losing one's way is another allusion to the first canto of the Inferno of *The Divine Comedy*.

<sup>12</sup> Mallinen 1995, 46.

<sup>13</sup> The two illusions associated by the urban Russians with dacha-life – that the climate is good for your health and that you can live in peace and quiet without being disturbed by neighbours are mentioned in passing. See Deotto 1999, 148.

other shore of the Baltic Sea represents that part of the world, which is so near in geographical terms, but geopolitically out of reach. The poem was written five years before Brodsky was awarded the Nobel Prize in literature. In his acceptance speech at the Royal Swedish Academy in 1987 Brodsky, who had finally reached the other shore returns to the Karelian Isthmus:

"[...] I was born and grew up on the other shore of the Baltic, practically on its opposite grey, rustling page. Sometimes on clear days, *especially in autumn, standing on a beach somewhere in Kellomäki*, a friend would point his finger northwest across the sheet of water and say: See that blue strip of land? It's Sweden. He would be joking, of course, because the angle was wrong [...]. Nonetheless, it pleases me to think, ladies and gentlemen, that we used to inhale the same air, eat the same fish, get soaked by the same – at times – radioactive rain [...]. It pleases me to think that we have had something in common before we ended up in this room. [...] Our presence in it, mine especially, is quite incidental from its walls' point of view. On the whole, *from space's point of view, anyone's presence is incidental in it, unless one possesses a permanent – and usually inanimate – characteristic of landscape: moraine, say a hilltop, a river bend [...]*".<sup>14</sup>

The same existential stance, expressed in *Kellomiaki*, about the incidental character of one's existence in space and time is rendered explicitly in his speech. From space's angle, his physical absence in space is more obvious, and natural, than his brief presence in it.

## The Material World of *Realias* in *Kellomiaki*

My exploration of the chronotope of the poem will begin with the depicted setting, the description of a place, whose constituents, have or at least have once had a referent in the actual world. Already in the first stanza quoted above, where the geographical location of Kellomäki was given in rough terms, the landscape is not deprived of its materiality. On the contrary, the poet conveys a detailed description of the setting focusing on its physical characteristics rendered with concrete attributes, such as a house with a veranda and windows amongst a whole settlement of plywood dachas. The imagery of "these has beens", ("*byvshie veshchi*", stanza VI) emphasising their material nature, continues throughout the poem, suggesting a resemblance to a bucolic *locus amoenus*, or *ekphrasis* in the wider sense of the

---

<sup>14</sup> Brodsky 1995, 59-60. (For a Russian translation of the speech, see Brodskii VI, 55). (Italics mine – MK).

notion.<sup>15</sup> Winter and cold are part of the concrete living conditions. The prevailing season in Brodsky's poems dedicated to the theme of the North is winter, but he likes to play with oppositions. He seeks ways to juxtapose the North with the South, winter with eternal summer. *Kellomiaki* is no exception in this respect. The frost flowers on the veranda windows in the first stanza are reminiscent of summer. The South and the wintry Karelian landscape meet in stanzas III and XI.

*В маленьких городках узнаешь людей  
не в лицо, но по спинам длинных очередей;  
и население в субботу выстраивалось гуськом,  
как караван в пустыне, за сах. песком  
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.  
В маленьком городе обыкновенно ешь  
то же, что остальные. [...].*

As noted by Stephen Lovell, Brodsky represents Komarovo as a remote northern hamlet, not as a holiday resort, or an exurban centre for the St. Petersburg-Leningrad intelligentsia.<sup>16</sup> Quite the contrary, in *Kellomiaki* ordinary small-town people confront the Soviet reality and life's material scarcity when standing in queues for food. Images of the South are brought to this everyday event through a metaphor: people, who queue for granulated sugar, are compared to a caravan in a desert. The abbreviation "sakh." (*sakharnyi* – sugary) and the colloquial form "pesok" (sand) associate the scene with the Sahara Desert.

In stanza XI the South is brought into the middle of winter through the motif of poles for skiing. In the 1960s they were made of bamboo, which evokes southern motifs – palm trees, flies and parrots in the poet's imagination. The wintry landscape is suddenly transformed to an exotic southern scene that could have served as an object of Nikolai Miklukho-Maklai's explorations.<sup>17</sup> The juxtaposition of the North with the South as such is

---

<sup>15</sup> The bucolic influence is clearer in Brodsky's poem *Ekloga 4-ia* which deals with the same themes, motifs and images of a Northern (Baltic) winter landscape as *Kellomiaki*. As for *ekphrasis*, I refer to the notion in its definition as "an expository speech, which vividly brings the subject before our eyes, whereas in its limited sense *ekphrasis* is understood as a description of a work of art (see, e.g., *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics* 1993, 320-321).

<sup>16</sup> Lovell 2003, 188.

<sup>17</sup> Miklukho-Maklai (1846-1888) was a Russian ethnographer who explored the indigenous peoples in South-East Asia (Papua-New Guinea), Australia and Oceania.

reminiscent of Romantic literature, German and Russian Romanticism in particular.<sup>18</sup>

что Финляндия спит, затаив в груди  
 нелюбовь к лыжным палкам – теперь, поди,  
 из алюминия: лучше, видать, для рук.  
 Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
 не представить пальму, муху цеце, фокстрот,  
 монолог попугая – вернее, тот  
 вид параллелей, где голым – поскольку край  
 света – гулял, как дикарь, Маклай.

The small-town -theme that began in stanza III continues in stanzas IV, V and XII.<sup>19</sup> The small houses are compared to match boxes scattered across the landscape. Despite their apparent fragility, they are strong, defying both time and harsh weather by turning their back to winter, as was observed in the first stanza, whereas the inhabitants of Komarovo turn their backs to each other while queuing for food. This gesture of turning one's back to the outside world suggests a turn inside, an introversion, which is a prerequisite of a reflective poem.

*В маленьких городах, хранящих в подвалах скарб,  
 как чужих фотографий, не держат карт –  
 даже игральных – как бы кладя предел  
 покушеньям судьбы на беззащитность тел.  
 Существуют обои; и населенный пункт  
 освобождается ими обычно от внешних пут  
 столь успешно, что дым норовит назад  
 воротиться в трубу, не подводить фасад;  
 что оставляют, слившиеся в одно,  
 белое после себя пятно.*

Stanza XII

The turn inwards may imply the Komarovo residents' attempt to free themselves from the outer isolation caused by cold and snow. The demarcation of the boundaries between inner and outer space (wallpaper in the

<sup>18</sup> For a discussion of the North-South opposition in Russian literature, see Boele 1996, 117-180.

<sup>19</sup> For a discussion of the “small town” theme in Brodsky's poetry, see, e.g., Smith 1999, *passim*, and Reynolds 2005, 320-321. Reynolds aptly argues that more important than defining the location of these indistinguishable towns on the map, is the idea which they signify – that life in a small town reveals the truth about one's insignificance. See also Zhelnov 2004, 208-209.



stanza quoted above) serves also as a defence against destiny's sudden attacks on one's body. Winter is a season, which reveals or exposes human vulnerability and defines the home as shelter.<sup>20</sup> Besides, in wintertime life consists of minor everyday events and is family centred. The inhabitants and the habitation have a common duty that binds them together – they warm winter by emitting heat. Winter (nature) and man (culture) thus live in a strange harmony with each other. Moreover, winter and man share the same white linen, as we can witness in stanza V<sup>21</sup>:

*Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,  
дар – холодея внутри, источать тепло  
вовне – постояльцев сближал с жильем,  
и зима простыню на веревке считала своим бельем [...]*

The natural conditions that force one to stay inside create an atmosphere of intimacy, suitable for love. The dacha in Komarovo is depicted as a scene of an intimate experience and, what is most significant, the scene partakes of the quality of the human encounter. Thus, the intimate events that took place there build up a strong sentiment for this particular place, although Brodsky's emotional predilection for North and winter is obvious in his whole oeuvre.<sup>22</sup> This preference of his can be explained by its specific symbolic meaning in Brodsky's poetics.

## The Immaterial World of Signs in *Kellomiaki*

As was stated above, winter is Brodsky's favourite season. One reason for this preference lies in his visual perception of a wintry landscape, which reminds him of a sheet of white paper with black writing on it, i.e., poetry. Landscape is compared to a text. The "world-text" metaphor is common in Brodsky's lyric works.<sup>23</sup> It emerges in stanzas II and VII of *Kellomiaki*. In

<sup>20</sup> Tuan 1997 (1977), 137.

<sup>21</sup> For a discussion of the symbolic meaning of snow as a shroud, winter as death's metaphor, see, e.g., Könönen 2003, 215-216.

<sup>22</sup> For a discussion of Brodsky and the North, see van Baak 1998 *passim*. As van Baak notes, Brodsky has an ambivalent attitude towards the North. Despite the fact that it is often depicted as a landscape with no characteristics, Brodsky has a soft spot in his heart for the Baltic region. Northern attributes together with winter evoke in him a sense of belonging and a feeling of home. *Ibid* 252.

<sup>23</sup> For the "world as a text" metaphor in Brodsky's poetry, see, e.g., Akhupkin 2002 *passim*.

stanza II the seagulls on the wintry sky are “like the curls of the soiled-by-nobody’s fingers page of a pallid, quietly rustling day”,<sup>24</sup> while in stanza VII the poet draws a parallel between black colour and the letters:

[...] Нет ничего постоянной, чем черный цвет;  
так возникают буквы, либо – мотив «Кармен»,  
так засыпают одетыми противники перемен.

Imprints – letters on a sheet of paper – bear a likeness to footprints in the snow. They both are taken as visible signs of one’s existence in space. Moreover, not only a written text, but also written music, black notes on white paper, especially about love and jealousy as in Bizet’s *Carmen*, outlive their authors.<sup>25</sup>

Water, the Baltic Sea, is invested with a special symbolic meaning in Brodsky’s lyrics. It is both a source of life and a source of his poetic gift, and also connected to his memory.<sup>26</sup> His identification with the Baltic Sea is expressed in the first lines of stanza II:

Мелкие, плоские волны моря на букву «б»,  
сильно схожие издали с мыслями о себе,  
набегали извилинами на пустынный пляж  
и смерзались в морщины [...].

The theme of freezing, as a mode of petrification plays also a central role in Brodsky’s poetics. It serves as a way to defy time. In the quotation above frozen waves seem to have a positive connotation. The empty beaches of the Karelian Isthmus treasure the thoughts (wrinkles) of the lyrical subject who has walked on these shores and *vice versa*; he immortalises this scenery in his poetic texts. The process of petrification anchors voices, laughter and uttered personal pronouns in particular, to this place in stanza V:

[...] Это сковывало разговоры; смех  
громко скрипел, оставляя следы, как снег,

<sup>24</sup> Brodsky 2000, 313.

<sup>25</sup> For an analogy of a wintry landscape and poetic texture, see, e.g., *Sumerki. Sneg. Tishina...*: “[...] No belizna voobshche zalog /togo, chto pod nei khoronitsia to, chto / prevratitsia vposledstvii v pochki, v tochki, / v buistvo zeleni, v bukvy strok. [...] Tak ute-shaet iazyk pevtsa, prevoskhodia samoë prirodu, / svoi okonchaniia bez kontsa / po padezhu, po rodu menia [...]” (Brodskii II, 21-22).

<sup>26</sup> For the role of the Baltic Sea in Brodsky’s poetics, see M. Iu. Lotman 1992, 227-229, 234 and van Baak 1998, 259-263.

опушавший изморозью, точно хвою, края  
местоимений и превращавший «я»  
в кристалл [...].

This is Brodsky's way of narrating a story about "us" by anchoring "our story", fragments of speech and personal possessions, to certain places in the hope that the place will retain a memory of them. The frozen water may also have an opposite meaning. It may signify loss of memory. The icy surface ceases to reflect the face of the lyrical substitute, as is suggested in stanza IX:

[...] и *Нарциссом брезгающая река*  
покрывается льдом [...].

Water is the main metaphor of time in Brodsky's metaphysical imagery, which always materialises in concrete manifestations. Water is time in a condensed form and it reflects everything that time has created. The surface of a mirror is one of water's hypostases. It, too, has ceased to reflect the faces of the former residents of the dacha in Komarovo. Here again, Brodsky's view of the relationship between reality and an individual human being is manifested as space's indifference to its temporary tenant.

## Geometrical Symbols

Certain geometrical symbols are recurrent characteristics of Brodsky's lyric works. The geometrical symbols that emerge in *Kellomiaki* belong to the invariant metaphors in Brodsky's poetics: a sharp/acute angle with its variations, a straight line and a point. The theme of perspective is connected to his geometrical perception of a landscape as a worldview. As we observe in *Kellomiaki*, Brodsky's memory is visual; he transforms mental images to geometrical forms, which he invests with specific philosophical meanings. The lines of a perspective in a landscape (as if in a landscape painting) are a metaphoric illustration of the poet's perspective on the world and on his own position in it as a perceiving subject. More than a method to represent the world, the perspective, as used in his poetry, tells rather of the way he envisions the world.

Brodsky's view of the world is elucidated partly in stanza XI, where the South intrudes into the Northern lands. The North-South polarity arises from the very notion of linear perspective, a system for representing three-

dimensional space on a two-dimensional surface by means of two intersecting lines that meet on the horizon line.

Можно кивнуть, и признать, что *простой урок*  
*лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,*  
 что Финляндия спит, затаяв в груди  
 нелюбовь к лыжным палкам – теперь, поди,  
 из алюминия: лучше, видать, для рук.  
 Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
 не представить пальму, муху цеце, фокстрот,  
 монолог попугая – *вернее, тот*  
*вид параллелей, где голым – поскольку край*  
*света – гулял, как дикарь, Маклай.*

The name of the famous Russian mathematician N.I. Lobachevsky (1793-1856) who is one of the founding fathers of non-Euclidian geometry, implies that Brodsky's images could be explained by a mathematical theory. Lobachevsky's epoch-making discovery lies in the fact that he disproved the Fifth axiom or the parallel postulate of Euclid, according to which parallel lines never meet.<sup>27</sup> In Lobachevsky's theory parallel lines meet each other in infinity.<sup>28</sup> Brodsky uses Lobachevsky's parallels metaphorically in a number of poems. In *Kellomiaki* parallel lines are manifested in the image of a skiing track and the track of a sledge vanishing into the horizon. The same metaphor of intersecting parallels on the horizon occurs at the end of the stanza, this time only as imagined in the southern hemisphere "on the edge of the world" where the vanishing point of the perspective lies. When the parallel lines intersect, they form an acute angle, which is a constant in Brodsky's geometrical imagery symbolising a dead-end.<sup>29</sup> It signifies the contraction of space into a point in which all motion will come to a halt. It is an exit point from space to non-existence signifying separation and death. A similar contraction is presented in the copying

---

<sup>27</sup> The parallel postulate states that "through any given point there is one and only one parallel to a given straight line (which does not go through the given point), i.e., one straight line which lies in the same plane with the first and does not intersect it". Quoted from Ray 1991, 71.

<sup>28</sup> Or, more precisely, there may be more than one parallel line through the given point. Euclidian geometry corresponds to our conventional view of the structure of space, whereas non-Euclidian geometry is more difficult to visualise. Incidentally, Brodsky is not the first to deploy Lobachevsky's theory as a source of inspiration. The Western and Russian avant-garde artists cherished his theory, too. See footnote 42.

<sup>29</sup> For a discussion of the poetics of a dead-end in Brodsky's lyrics, see, e.g., Vanshenkina 1996, 35-41.

of the contours of the Kremlin spire from a one-ruble note in stanza III. The point of intersection is the red star on top of the sharp-pointed spire, a symbol of the state that expelled the poet from his native land.

[...] И отличить себя  
можно было от них лишь срисовывая с рубля  
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,  
либо – видя вещи твои везде.

The symbolic significance of the acute angle is highlighted in the last two stanzas, from which we started our exploration of the poem:

[...] И наше право на  
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день  
клином падавшая в сугробы тень

#### XIV

*дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,  
будем считать, что клин этот острый – наш  
общий локоть, выдвинутый вовне,  
которого ни тебе, ни мне  
не укусить, ни, подавно, поцеловать [...].*

The woodshed's shadow falling on a snowdrift forms an angle, which from the present point of view of the former lovers is sharp. The lyrical subject compares it to "our common elbow, thrust into the outside"<sup>30</sup> – a gesture of repudiation signalling separation.<sup>31</sup> Brodsky's quasi-scientific language is also a means to avoid sentimentality and overt emotionality concerning issues that are clearly autobiographical. Moreover, geometry is part of Brodsky's philosophy of boundaries and contours. Geometrical figures have only contours, the matter of content – a personal experience or an empirical observation – does not hold in time because they belong to the subjective world of a mortal human being. What is left is the abstract, symbolic form, which is emptied of its referents in reality. Furthermore, the symbolic reality and the referential reality are not separate but parallel lev-

---

<sup>30</sup> Brodsky 2000, 317.

<sup>31</sup> The symbolism of two lines, separating after intersection, that signify death is made explicit in Brodsky's poem *Pamiati T.B.*: "[...] Kak dve priamykh rasstaiutsia v tochke, / peresekaias', prostimsia. Vriad li/ svidimsia vnov', bud' to Rai li, Ad li. / Dva etikh zhizni posmertnoi vida / lish' prodolzhen'e idei Evklida". For geometry and the theme of love and separation in Brodsky's poetry, see Zeeman 1988, 344.

els of existence. The sign or symbol does not lose its referent in the empiric reality, but helps it to survive in a new manifestation.<sup>32</sup>

The meaning embedded in the symbol of a point, now a vanishing point of a perspective, now a point on a line, is always connected to a loss, separation or disappearance from the world of matter in Brodsky's poetic realm. His worldview, as well as his view of time is linear. A point in Brodsky's poetics is a geometrical notion signifying that point where space and time merge. Time's direction, which is presented in spatial terms, is linear – a one-way road. There are no turns in its flow. Consequently, a trip down memory lane is like a return to the scene of a crime:<sup>33</sup>

*С точки зрения времени, нет «тогда»,  
есть только «там». И «там», напрягая взор  
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  
шаря в шкафах, роняя на пол роман,  
запуская руку к себе в карман.*  
Stanza VIII

The sentence “from time's point of view, there is no ‘then’, only ‘there’” has been quoted frequently in scholarly works on Brodsky's poetics. It shows how time is connected to space, especially to the space of memory, how the experience of space is crucial in recalling the past. Time is materialised in the experience of space and consequently, “there” refers not only to a particular place but to a particular time of the poet's life as well. It could also be conceived of as a philosophical statement: time has neither memory nor expectations; it has only a continuous present that materialises itself in spatial terms, as a landscape or a spatial pronoun. Future and past are seen as products of human consciousness and as such dimensions of personal historical time.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> For a discussion on Brodsky's philosophy of boundaries and contours, see Iu. M. Lotman, M. Iu. Lotman 1993 *passim*.

<sup>33</sup> In Brodsky's opinion it may be possible to return to the scene of a crime, but to revisit the scene of love is out of the question. See, e.g., Ventslova 1990, 115.

<sup>34</sup> For possible interpretations of the line “S tochki zrenia vremeni, net «togda»: / est' tol'ko «tam»”, see, e.g., Shaitanov 1988, 60, Radyshevskii 1997, 290-291, and Polukhina 1989, 260-261. Interestingly enough, Radyshevskii construes Brodsky's statement in the light of Buddhism, while Polukhina links it with Einstein's theory of relativity.

## Akhmatova, Malevich and Brodsky's "Finland"

Больше уже ту дверь не отпереть ключом

[...].

*Эта скворешня пережила скворца,*

Кучевые и перистые стада.

[...].

Stanza VIII

The line indicative of Brodsky's belief that habitations outlive the tenants "Эта skvoreshnia perezhila skvortsa" ("this birdhouse has outlived its bird")<sup>35</sup> echoes Akhmatova's poem *Primorskii sonet*, written in Komarovo in 1958:

Здесь всё меня переживет,

Всё, даже ветхие скворешни [...].

Two of Brodsky's poems in which the Karelian Isthmus figures are explicitly addressed to Akhmatova: *Utrenniaia pochta dlia A.A. Akhmatovoi iz goroda Sestroretska* and *Blestit zaliv...*, which is dedicated to "A.A.A.". The first one abounds with adjective attributes and motifs of nature that echo the image of Finland in 19<sup>th</sup> century Russian poetry suggesting a perfect harmony between the addressee, the author and nature.<sup>36</sup> For Brodsky, as for many Russian poets before him, Finland figures as a landscape with recurring natural elements, pine trees, rocks, cliffs, lakes and rivers. When Akhmatova, or Brodsky, for that matter, speak of the Karelian Isthmus and Komarovo as "rodnoi" ("native land"), they refer solely to Finnish nature.

В кустах Финляндии бессмертной,

где сосны царствуют сурово,

я полон радости несметной,

когда залив и Комарово

освещены зарей прекрасной,

осенены листвою беспечной,

любовью Вашей – ежечасной

и Вашей добротой – вечной.

(*Utrenniaia pochta dlia A.A. Akhmatovoi iz goroda Sestroretska*, 1962)<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Brodsky 2000, 315.

<sup>36</sup> A similar harmony prevails in Brodsky's poem *Vot ia vnov' prinimaiu parad...*, written in Komarovo in autumn 1963: "[...] Bol'she nekuda mne pospeshat' / za bedoi, za serdechnoi svobodoi. / Ostaetsia smotret' i dyshat' / molchalivoi, kholodnoi prirodoi." (Brodskii I, 239).

<sup>37</sup> Brodskii I, 212.

In the poem *Blestit zaliv...*, written on June 24, 1963, nature is subjugated to the theme of poetic creation:

Блестит залив, и ветер несет  
 через ограду воздух влажный.  
*Ночь белая глядит с высот,*  
*Как в зеркало в квадрат бумажный.*  
 Вдвойне темней, чем он, рука  
 незрима при поспешном взгляде.  
 Но вот слова, как облака,  
 несутся по зеркальной глади.<sup>38</sup>

The white night sees its double on the white “square” of a paper sheet. This could be Brodsky’s first hint at Malevich’s painting *White on White*,<sup>39</sup> which is mentioned explicitly in his poem *Ekloga 4-ia*. In it the image of white stars/angels against the white sky are juxtaposed to Finnish soldiers in their white camouflage during the Winter War in 1939–40, as a result of which Finland lost large areas, including the Karelian Isthmus to the Soviet Union:

Днем, когда небо подстать известке,  
 сам Казимир бы их (звезды – МК) не заметил

*белых на белом.* Вот почему незримы  
 ангелы. Холод приносит пользу  
 ихнему воинству: их, крылатых,  
 мы обнаружили бы, воззри мы  
 вправду горе, где они как по льду  
 скользят белофиннами в маскхалатах.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Brodskii I, 236.

<sup>39</sup> Another allusion to Malevich’s suprematist painting is in stanza XI of Brodsky’s *Rimskie elegii*. Now the canvas is associated with the South and with summer: “Belyi na belom, kak mechta kazimira, letnim vecherom ia, samyi smertnyi prokhozhi sredi razvalin [...] p’iu vino iz kliushchitsy; nebo blednei shcheki [...]”. Malevich figures also in another poem dedicated to M.B., namely in “*Ty, gitaroobraznaia veshch’ so sputannoi pautinoi / strun, prodolzhaiushchaia korichnevat’ v gostinoi, / belet’ a-lia Kazimir na vystirannom prostore, [...]*” (Brodskii III, 170). This time the white-on-white motif is associated with a woman, white linen and wide space. The motif of a washed out sheet as a white background appears also in a poem written in 1978 “*Pomnish’ svalku veshchei na zheleznom stule, [...], okno, zanaveshennoe vystirannoi prostynei ? [...]*”, which is about wintry Komarovo, (Brodskii III, 180).

<sup>40</sup> A similar image of a white figure against a white background – heaven depicted as lime mortar – that is connected to the theme of war, appears in *Stikhi o zimnei kompanii 1980*



In *Kellomiaki* the white sheet drying on the clothesline against a snowy landscape can be conceived of as a white “rectangular” on a white background:

и зима простыню на веревке считала своим бельем.  
Stanza V

As is known, Malevich’s suprematist canvases consisted of geometrical figures. The painting Brodsky refers to is called “White on White” – a white square on a white background. For Malevich white signified infinity and non-objectivity, pure energy or pure sensation (“*oshchushchenie*”).<sup>41</sup> Not unlike other avant-garde artists, he was interested in the new perspectives suggested by non-Euclidian geometry and Einstein’s theory of relativity.<sup>42</sup> Malevich conceived the “fourth dimension” disclosed by Einstein and non-Euclidian theory first as a higher dimension of space. In the 1920s he fell under the spell of the popularised model of the General Theory of Relativity, and he redefined the fourth dimension as time in his theoretical texts, in accordance with the space-time world of Eisensteinian relativity.<sup>43</sup>

In the context of Brodsky’s *Kellomiaki*, it is not only the winter landscape that relates Malevich’s art to Brodsky’s memories. The father of Marina Basmanova, the addressee, Pavel Ivanovich Basmanov was an artist whose works are considered to bear similarities to Malevich’s post-suprematist paintings. Basmanov’s human figures – often without a face – are set in a cosmic landscape with a demarcated horizon.<sup>44</sup> Moreover, in July 1913 Malevich himself, together with Matiushin, Khlebnikov and

*goda*: “[...] Nebo – kak osypaiushchaisia izvestka. / Samolet rastvoriasia v nem napodob’e moli [...]” (Brodskii III, 193).

<sup>41</sup> See, e.g., Malevich 2001, 75-81.

<sup>42</sup> Lobachevsky’s theory was popular among the Russian avant-garde. His postulate concerning intersecting lines appealed to the avant-garde artists, because it showed how to transcend the apparently insurmountable boundary between two parallel lines, which preserve the required distance from each other *ad infinitum* (Clark 1995, 40). The provocative idea suggested by non-Euclidian geometry that space beyond our immediate perceptions might be curved appealed to early modern artists. The existence of curved space would invalidate the linear perspective system, the dominance of which was challenged by the end of the 19<sup>th</sup> century. For a discussion of the fourth dimension in modern art, see Henderson 1983 *passim*.

<sup>43</sup> Henderson 1983, 291-292.

<sup>44</sup> See, e.g., Moist 2000.

Kruchenykh assembled at Uusikirkko on the Karelian Isthmus to work on the experimental opera *Pobeda nad solntsem*.

As pointed out by Shallcross,<sup>45</sup> Brodsky uses Malevich's suprematist canvases as images of nothingness to evoke the idea of pure nothingness in his evocation of ontological or metaphysical negativity. Geometrical figures, Malevich's canvases included, serve as a means to describe the purely nonrepresentational – nonexistence or eternity, i.e., that which cannot be explored, but for which Malevich sought expression in his “squares”. In Malevich's words: “Beskonechnost' nel'zia issledovat' i beskonechnost' ne mozhet byt' predmetom kak tol'ko bespredmetnost'iu”.<sup>46</sup> Being part of Brodsky's “negative aesthetics” (or “poetika vychitaniia”, as it has also been called), geometrical forms present a stage of transformation between reality and non-reality, a stage of gradual negation of subjects, objects and relationships. They signify a shift from the phenomenal world to the noumenal world, from a perceivable landscape to a world of signs in his lyric works.

If for Malevich non-objective art signifies “pure sensation” and reflects one's relation to the world, for Brodsky geometrical forms serve as a strategy to move away from the psychological or subjective level of experience to a world without an experiencing subject. Paradoxically though, notwithstanding his efforts to turn emotional memories into abstractions with the poetic device of estrangement, geometrical and mathematical metaphors still signify intense emotions, pain, anguish and loneliness in his lyrics.

The last “rectangular” objects that appear in stanza XIV of *Kellomiaki* are elements of an intimate place – a bed and a bedroom door. The symbolic significance of these concrete constituents of the love nest rests in a reminiscence that echoes two different sources simultaneously:

В этом смысле, мы слились, хотя *кровать*  
даже не скрипнула. Ибо она теперь  
целый мир, где тоже есть сбоку *дверь*.

---

<sup>45</sup> In her interesting account Shallcross deals mainly with Brodsky's essay *Watermark* and Malevich's painting *Black Square* (see Shallcross 2002, 137-139). Avant-garde and contemporary art were not Brodsky's favourite forms of visual art. Interestingly enough, in his conversation with Timur Novikov he links Novikov's works painted before the 1990s to the tradition of Malevich and Russian Constructivism. Brodsky pays special attention to Novikov's pictures of St. Petersburg and the Baltic Sea: “Vash vid goroda so storony Finskogo zaliva imeet liniu gorizonta, zapolnennuiu suprematcheskimi simvolami [...]” (Novikov 2001).

<sup>46</sup> Malevich 2001, 197.

Но и она – точно слышала где-то звон –  
годится только, чтоб выйти вон.

The bed, which was once a locus of love, has turned into a deathbed and the door is an exit from this world to non-existence.<sup>47</sup> As observed by Levinton,<sup>48</sup> the phrase “tochno slyshala gde-to zvon” is a contamination of two reminiscences invoking a Russian proverb and John Donne’s famous lines from his *Meditation XVII*: “and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee”. As Brodsky’s is so is Donne’s bell the harbinger of death, the image of mortality. In his sermon the door figures similarly as the exit from this life to the beyond. And indeed, if we keep in mind that the name “Kellomäki” denotes “belfry hill” in Finnish, the bedroom setting acquires features of the final crossing becoming the vanishing point of the perspective.<sup>49</sup>

## Conclusion – Nostalgia for the Past?

In Brodsky’s poem *Kellomiaki* we can follow the poet’s movement from the level of empirical observations, (albeit past), to the level of concepts; from places with material referents in reality, to space as anti-materia, geometrical forms, pure abstractions. He attempts to transform a lived place to which he once belonged, to an objective space in which the lyrical sub-

---

<sup>47</sup> Cf. *Strofy*, dedicated to “M.B.”: “Bednost' sikh strok – ot zhazhdy / chto-to spriatať, sberech’; /obernut’sia. No dvazhdy v tu postel’ ne lech’/ Dazhe esli prisluga / ne meniaet bel’e [...]” (Brodskii III, 184).

<sup>48</sup> The proverb Levinton has in mind is “Slyshal zvon, da ne znaet otkuda on”. (Levinton 1998, 248). Brodsky, as did his contemporaries in the Soviet Union, knew Donne’s lines first only from the epigraph of Hemingway’s novel *For Whom the Bell Tolls* (1940), the Russian translation of which *Po kom zvonit kolokol* was transmitted as a typed copy from hand to hand in 1961. See Shul’ts 2000, 75, and Brodskii 2000, 513.

<sup>49</sup> Komarovo, this “ne sovsem russkaia territorii” (Brodskii 2000, 176), turned out to be an actual *locus* of death. After Akhmatova’s death in March 1966 and before his own forced emigration, Brodsky visited her grave in Komarovo every year on her birthday and on the date of her death. (See Kulle 2006, 53). After Brodsky’s own death in 1996, members of the St. Petersburg political elite, Galina Starovoitova and Anatolii Sobchak, among others, tried to persuade his family to have him buried in the Monastery of Alexander Nevskii in St. Petersburg or in Komarovo, next to Akhmatova (see Bibleiskii *siuzhet*). Among the flowers laid on Brodsky’s grave at his funeral in San Michele, Venice, the most symbolic one – in Bengt Jangfeldt’s view – was a bouquet of lilies-of-the valley picked from Kellomäki on the previous day. See *Helsingin Sanomat* 1997.

ject is absent and can perceive it from a distance only. His perspective on the past experience turns to a geometrical perspective of lines intersecting in the vanishing point on the horizon. The lines of the perspective illustrate that which is no more, while the position of the lyrical substitute outside the depicted world becomes that of a worldless subject, which does not mean, however, his detachment from the past experience and its locale. In *Kellomiaki* the lyric plot of the poem is subordinate to space, as is the theme of time. The lyrical plot and its main themes emerge from space and its lyrical and symbolic representations. The poem ends symbolically with the lyrical substitute's exit from space, which stands for death, non-existence. In the poem, winter implies more than a mere season; it is an existential state that comprises both death and creativity.

*Kellomiaki* is both a landscape and a mindscape. It is at the crossroads where mind (memories, ideas, images) and matter (referential reality, *realia*) intermingle. Places as mindscapes are not only individual, or subjective, but also cultural in the sense that the mind does not create them out of nothing but through a net of references.<sup>50</sup> As is characteristic of Brodsky's poetry, the latitude of his cultural references is wide and varied. In *Kellomiaki* it ranges from Dante's *Divine Comedy* to Malevich's art and Lobbachevsky's geometry through Akhmatova's poetry to self-quotation.

For the most part *Kellomiaki* relates events in the life of the lyrical substitute that took place in the remote past. Moreover, it is addressed to a place, which belongs to a lost homeland. Is it then a nostalgic poem? The notion of nostalgia comes from Greek – *nostos* denoting homecoming and *algos* pain or anguish. It is usually defined as a “wistful desire to return in thought or in fact to a former time in one's life, to one's home or homeland, or to one's family and friends; a sentimental yearning for happiness of a former place or time”.<sup>51</sup> The definition seems to fit Brodsky's poem well. *Kellomiaki* is oriented to the past; it is an imaginary return to the native land, to a happy winter in Komarovo. Brodsky has admitted in his interviews that he was often stricken by an intense physical desire to be in a certain place or to see a particular person. In his opinion, this desire cannot be called nostalgia, since he did not long for his native country as such.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Karjalainen 1997, 16.

<sup>51</sup> See, e.g., *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* 1996.

<sup>52</sup> See Ventslova 1990, 115, or Brodskii 2000, 341. Mikhail Lotman argues that Brodsky's nostalgia has nothing to do with his forced expulsion from the Soviet Union, that it appeared already in his pre-exile poems. Furthermore, his yearnings have always been connected with his longing for foreign lands, eternity and transcendence. (Lotman, M.lu.1992, 240).

Properly speaking, the nostalgic pathos of the poem concerns rather the place than the time spent in Komarovo, or, more precisely, it concerns time manifested through spatial expressions.

However, the past is not the only temporal orientation in *Kellomiäki*. As was observed in the last stanza, the poet's concern for both his present and future is acute and painful. The past is rendered in concrete images whereas the images representing the present and the future are given in symbolic guises or in abstract forms hidden within the concrete settings. A depiction of dacha-life, a typical object of nostalgic recollections, turns to a philosophical lamentation on the impending death of the lyrical substitute.

## Bibliography

- Brodskii I-VII (1997-2001), *Sochineniia Iosifa Brodskogo I-VII*. SPb: Pushkinskii fond.
- Brodsky, Joseph (1995), Acceptance Speech. *On Grief and Reason. Essays*. London: Penguin Books, 59-61.
- Brodsky, Joseph (2000), *Collected Poems in English*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Akhapkin, D.N. (2002), "Filologicheskaia metafora" v poezii Iosifa Brodskogo. Dissertatsiia Kandidata Filologicheskikh Nauk. SPb (unpublished).
- van Baak, Joost (1998), Brodsky and the North. *Neoformalist Papers. Contributions to the Silver Jubilee Conference to Mark 25 Years of the Neo-Formalist Circle*. Joe Andrew & Robert Reid (eds.) Studies in Slavic Literature and Poetics. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 244-268
- Bibleiskii siuzhet (1972), *Bibleiskii siuzhet*. Sretenie.  
<http://www.neofit.ru/modules.php?name=bs&file=displayimage&album=45&pos=638>  
(8.1.2007).
- Boele, Otto (1996), *The North in Russian Romantic Literature*. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi.
- Brodskii, Iosif (2000), *Bol'shaia kniga interv'iu*. Moskva: Zakharov.
- Clark, Katerina (1995), *Petersburg, Crucible of Cultural Revolution*. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.
- Deotto, Patrizia (1999), Iz gorodskoi griazi na prirodu: gorod i dacha (Dacha kak odna iz kategorii peterburgskogo mifa). *Studia Litteraria Polono-Slavica* 4, 145-153.
- Heaney, Seamus (2006), *Joseph Brodsky*  
<http://www.inwriting.org/weblog/archives/000137.html> (23.8.2006).
- Helsingin Sanomat (1997), Kirjat ja kirjailijat. Joseph Brodsky, Ezra Pound ja Kellomäki (Books and Writers. Joseph Brodsky, Ezra Pound and Kellomäki). *Helsingin Sanomat*, 4.10.1997, C2.
- Henderson, Linda Dalrymple (1983), *The Fourth Dimension and Non-Euclidian Geometry in Modern Art*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Karjalainen, Pauli Tapani (1997), Mapping Places. *Place and Embodiment*. Pauli Tapani Karjalainen and Pauline von Bonsdorff (eds.). XIIth International Congress of Aesthetics. Lahti, Finland. Proceedings I. University of Helsinki, 13-16.

- Kulle, V.A. (2003), Iosif Brodskii, *Khronologiia zhizni i tvorchestva (1940-1972)*. Sost. V.A. Kulle. *Mir Iosifa Brodskogo. Putevoditel'*. SPb: Zvezda, 5-22.
- Kulle, V. (2006), *Poeticheskaiia evoliutsiia Iosifa Brodskogo v Rossii (1957-1972)*, 1-139, <http://www.liter.net/=Kulle/evolution.htm> (8.1.2007).
- Könönen, Maija (2003), *Four Ways of Writing the City. St. Petersburg-Leningrad as a Metaphor in the Poetry of Joseph Brodsky*. Helsinki: Helsinki University Press.
- Levinton, G.A. (1998), "Ot vsego cheloveka vam ostaetsia chast' / rechi" (Zametki o Brodskom). *Rossiia/Russia. Semidesiatye kak predmet istorii russkoi kul'tury* 9, 237-284.
- Lotman, M.Iu. (1992) Baltiiskaia tema v poezii Iosifa Brodskogo. *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia III. Problemy russkoi literatury i kul'tury*. Pod red. L.Biukling, P. Pesonena. Slavica Helsingiensia II. Helsinki, 225-241.
- Lotman, Iu.M. and Lotman, M.Iu. (1993), "Mezhdu veshch'iu i pustotoi" (Iz nabliudeniia nad poetikoi sbornika Iosifa Brodskogo "Uraniia"). Iu.M. Lotman: *Izbrannye stat'i. T. III*. Tallinn: Aleksandra, 294-307.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk. A History of the Dacha 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Malevich, Kazimir (2001), *Chernyi kvadrat*. SPb: Azbuka.
- Mallinen, Jukka (1995), Joseph Brodsky kotimaan portilla. (Joseph Brodsky at the gate of the native land) *Suomen kuvalehti* 37/1995, 46.
- Moist, Velimir (2006), "Kosmos dlia izbrannykh". Samyi chelovechnyi uchenik Malevicha v Tret'iakovke na Krymskom valu. <http://www.gazeta.ru/2002/11/14/kosmosdlaizb.shtml> (9.6.2006).
- New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics* (1993). Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Novikov, Timur (2001), "Chelovek est' to, chto on vidit". Beseda Iosifa Brodskogo s Timurom Novikovym. *Polit.Ru*, 28.04.2001. <http://www.polit.ru/documents/413345.html> (3.5.2001).
- Polukhina, Valentina (1989), *Joseph Brodsky. A Poet for our Time*. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press.
- Radshevskii, Dmitrii (1997), Dzen poezii Brodskogo. *Novoe literaturnoe obozrenie* 27, 287-326.
- Ray, Christopher (1991), *Time, Space and Philosophy*. London, New York: Routledge.
- Rein, Evgenii (1994), Iosif. *Voprosy literatury*. Vypusk II. Moskva, 186-196.
- Reynolds, Andrew (2005), Returning the Ticket: Joseph Brodsky's "August" and the End of the Petersburg Text? *Slavic Review* 64, no. 2, Summer 2005, 307-332.
- Rinne, Matti (1995), Joseph Brodsky on Juhlaviikkojen kirjailijätähti. Hänessä venäläinen perinne kohtaa nykyajan (Joseph Brodsky is the star writer of Helsinki Festivals. In Him the Russian Tradition Meets the Present). *Ilta-Sanomat* 24.8.1995, 28.
- Shallcross, Bozena (2002), *Through the Poet's Eye. The Travels of Zagajewski, Herbert, and Brodsky*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
- Shaitanov, Igor' (1988), Predislovie k znakomstvu. *Literaturnoe obozrenie* 8, 55-64.
- Shul'ts, S.S. ml. (2000), Iosif Brodskii v 1961-1964 godakh. *Zvezda* 5, 75-83.
- Smit, Dzheral'd S. (1986), Versifikatsiia v stikhotvorenii I. Brodskogo "Kellomiaki". *Poetika Brodskogo*. Sbornik statei pod red. L.V. Loseva. Tenafly, N.J.: Hermitage, 141-159.
- Smith, Gerald S. (1999), Long Growing Dark: Joseph Brodsky's "August". *Rereading Russian Poetry*. Stephanie Sandler (ed.). Russian Literature and Thought Series. New Haven, London: Yale University Press, 248-255, 336-339.

- Tuan, Yi-Fu (1997), *Space and Place. The Perspective of Experience*. Minneapolis, London (1977): University of Minnesota Press.
- Vanshenkina, Ekaterina (1996), Ostrië – prostranstvo i vremia v lirike Brodskogo. *Literaturnoe obozrenie* 3, 35-41.
- Ventslova, Tomas (1990), "Chuvstvo perspektivy". Razgovor Tomasa Ventslovy s Iosifom Brodskim. *Vil'nius. Zhurnal soiuza pisatelei Litvy* 7, 111-126.
- Volkov, Solomon (1998), *Conversations with Joseph Brodsky. A Poet's Journey through the 20th Century*. New York etc.: The Free Press.
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (1996). New York etc.: Random House.
- Zeeman, Peter (1988), Notes of the Theme of Love and Separation in Iosif Brodsky's Poetry. *Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sophia 1988. Literature*. Amsterdam: Rodopi 337-348.
- Zhelnov, Anton (2004), Vozvrashchenie. O poslednem stikhotvorenii Iosifa Brodskogo. *Znamia* 9, 207-211.

## «Над скукой загородных дач...» Озерковские дачи в русской культуре и литературе

Организация дач в России – продолжительный и сложный процесс, однако можно утверждать, что специфический «дачный текст», отличный, к примеру, от провинциального или усадебного, был освоен культурой только к рубежу XIX – XX вв. (пьесы А.П. Чехова, «Дачники» М. Горького)<sup>1</sup>. В том числе – мотив «темной стороны» дачной жизни.

Самое простое выражение этого мотива – (1) криминальное – связано с базовой оппозицией «природа/цивилизация». Дача, которая удалена от цивилизации, есть место блаженного отдохновения и одновременно опасное место, где без городского освещения, без бдящей полиции человек превращается в легкую добычу злоумышленников. Нервозный персонаж «Дачников» бормочет: «...и кажется, что в лесу притаился кто-то... недобрый... Свистят сторожа и свист такой... насмешливо-печальный... Зачем они свистят?»<sup>2</sup>. В популярной книге «Преступления, раскрытые начальником С.-Петербургской сыскальной полиции И.Д. Путилиным» дачные топонимы то и дело выступают как место совершения преступления (события происходят в 1850–1880-х гг.). Такова новелла, озаглавленная «Парголово-Черти». Зачин – почти идиллический: «...я частенько навещал мою семью, проводившую лето на даче, в третьем Парголово. Наслаждаться престелами дачной жизни приходилось, однако, немного. Приедешь, бывало, на своем Серке (о железных дорогах и т.д. тогда еще и помину не было)

---

<sup>1</sup> См.: Lovell 2003. Знаменательно, что автор этой основополагающей монографии апеллировал именно к заглавию пьесы Горького – «Дачники».

<sup>2</sup> Горький 1963, 155.



на дачу часам к пяти, пообедаешь с семьей, погуляешь, а уже часам к 10 вечера спешешь обратно в город...»<sup>3</sup>. И – по контрасту – «теплой августовской ночью» дачное шоссе обнаруживает inferнальную изнанку: «Вдруг моя лошадь неожиданно остановилась и затем круто шархнула в сторону. Но в тот же момент чья-то сильная рука схватила Серко под узды и осадил его на месте... Я растерянно оглянулся вокруг и увидел по обеим сторонам своего кабриолета две самые странные и фантастические фигуры... Рожи их были совершенно черны, а под глазами и вокруг рта обрисовывались широкие красные дугообразные полосы. На головах красовались остроконечные колпаки с белыми кисточками. Черты, совершенные черты, как их изображают на дешевых картинках... Недостает только хвоста и рогов, подумал я; однако ясное дело – жулики!..»<sup>4</sup>

Более сложное выражение мотива «темной стороны» дачного текста – (2.1) социально-обличительное – предполагает противопоставление самозабвенной «праздности», которой предаются дачники, тоскливой изнанке их жизни (ср. в «Дачниках» напыщенно аллегорическую реплику человека из народа – ночного сторожа: «Сору-то сколько... черти! Вроде гуляющих, эти дачники... появятся, насорят на земле – и нет их... А ты после ихнего житья разбирай, подметай...»<sup>5</sup>).

Применительно к Петербургу это противопоставление могло подерживаться (2.2) привычкой столичных жителей использовать «загородные дачи» – Шувалово, Озерки – не только для летнего проживания, но для прогулок и всякого рода развлечений. Здесь хрестоматийным может считаться стихотворение А.А. Блока «Незнакомка», при публикации которого автор счел необходимым указать в качестве места создания (и действия) Озерки.

Как писала З.Г. Минц, «в плане социальной интерпретации пространственных характеристик было бы интересно сравнить образы “дачи” и “дачников” у Блока с их решением в реалистической прозе начала XX в. (М. Горький, А. Куприн, Л. Андреев, И. Бунин и др.)»<sup>6</sup>. Первоначально «Незнакомка» предназначалась для сатирического журнала З.И. Гржебина «Адская почта» (ср. постоянно цитируемое

<sup>3</sup> Путилин 1990, 148.

<sup>4</sup> Путилин 1990, 150.

<sup>5</sup> Горький 1963, 228; см. карикатуры в газетах «Петербургский листок» и «Шут», высмеивающие приобретение имени народным писателем Горьким: Русаков 1903, 20–21.

<sup>6</sup> Минц 1999, 483.

свидетельство В.Б. Шкловского<sup>7</sup>), в качестве «произведения комического или сатирического плана»<sup>8</sup> вполне соответствуя обличительно-му дискурсу<sup>9</sup>. Однако вскоре стихотворение, завоевав широкую популярность, эмблематизировало и обогатило новыми нюансами текст петербургских дач. Григорий Чулков: «...эти “испытанные остряки”, этот “крендель булочной” и эти “загородные дачи” – лишь фантомы и призраки [...] остался лишь призрак быта, лишь темный кошмар...»<sup>10</sup>. Вильгельм Зоргенфрей: «Помню, “Незнакомка”, недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке “загородных дач”, после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно тревожное и радостное впечатление...»<sup>11</sup>. Борис Садовской: «По пути Александр Александрович указал мне исторический “крендель булочной”, воспетый в “Незнакомке”. На солнце он действительно золотился»<sup>12</sup>. Корней Чуковский: «Я часто встречал Александра Александровича там, в Сестрорецке, а чаще всего в Озерках и в Шувалове, которые он увековечил в своей “Незнакомке” и в стихотворении “Над озером”»<sup>13</sup>. Константин Мочульский: «Таинственное видение включено в пошлую раму сестрорецкого пейзажа: переулочная пыль, крендель булочной, остряки в котелках, сонные лакеи, пьяницы с глазами кроликов»<sup>14</sup>.

Суммируя наблюдения о «темной стороне», можно сказать, что существенный признак дачного топоса – принципиальная двуприродность. Вспоминая – в устойчивой связи с блоковской «Незнакомкой» (ср., по Мочульскому, оппозиция «таинственное/ пошное») – Озерки, В.А. Пяст назвал их (3) «тревожно-будничными»<sup>15</sup>.

В апреле 1906 г., когда Блок работал над «Незнакомкой», «тревожно-будничная» природа Озерковских дач приобрела прямо шокирующий характер: именно в Озерках оборвалась бурная деятельность ге-

<sup>7</sup> Шкловский 1922, 58.

<sup>8</sup> Громов 1986, 159.

<sup>9</sup> О благотворном аспекте прогулок Блока – как бегства от «узости» и «ужаса» столицы – «на острова, в Удельную, Шувалово, Озерки, Сосновку» см.: Топоров 1995, 243. См. также замечания о социально мотивированном страхе фабричных «Островов» у бюрократа Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого: Топоров 1995, 235–236.

<sup>10</sup> Чулков 1909, 112–113.

<sup>11</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников 1980, т.2, 12.

<sup>12</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников 1980, т.2, 53.

<sup>13</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников 1980, т.2, 220.

<sup>14</sup> Мочульский 1997, 84.

<sup>15</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников 1980, т.1, 375.

роя «кровавого воскресенья» – священника Георгия Гапона (1871–1906). Вернувшись в Россию в декабре 1905 г., он с женой, Марией Кондратьевной Уздалевой, поселился на территории Великого Княжества Финляндского – в Териоках, на даче Питкянен, откуда легко было выбираться в Петербург (где он также снимал квартиру под фамилией Гребницкого). Гапон был очень занят: он стремился восстановить в России функционирование своей рабочей организации, он налаживал контакты с властью – с вице-директором департамента полиции П.И. Рачковским.

Кроме того, с февраля 1906 г. в прессу проникали сведения о его финансовых махинациях. Гапон, борясь за спасение репутации, в числе прочих мер требовал общественного суда, избрав уполномоченным литератора В.М. Грибовского и пригласив в комиссию кадета П.Н. Милюкова, авторитетного журналиста А.А. Столыпина (брата политика) и др. 12 марта в открытом письме он возмущался некомпетентностью и ничтожеством российской журналистики: «Какая жалкая, болезненная подозрительность политических дегенератов и неврастеников... О, Феликсы из “Биржевых ведомостей”, Иуды из других газет и всякие мигающие совы на литературном болоте!.. Карлики и кроты! Вы видите только ближайшее, – вид золота вас тревожит и смущает, и вы, как продажная женщина, не в состоянии понять гордое сердце, чувствующее себя выше всяких искушений»<sup>16</sup>.

Одновременно Гапон затеял ту интригу, которая вскоре обернулась для него гибелью. Встретившись в московском ресторане с П.М. Рутенбергом – ближайшим знакомым в среде эсеров и соратником по событиям 9 января, Гапон неожиданно предложил ему от лица Рачковского сотрудничество с Охранкой, т.е. оплачиваемую должность полицейского осведомителя. Как известно, пораженный Рутенберг известил о предложении руководство партии (Е.Ф. Азеф, М.А. Натансон, Б.В. Савинков, В.М. Чернов) и получил разрешение на ликвидацию прежнего революционного лидера. Далее Рутенберг самостоятельно работал с группой революционеров, стремясь заручиться свидетелями, готовыми подтвердить факт предательства Гапона перед теми, кто продолжал доверять вождю. Убедив группу в своей правоте, Рутенберг приступил к выработке конкретного плана.

Прежде всего, отвергли идею убить Гапона в Териоках. По воспоминаниям Рутенберга, «сначала, согласно инструкции Азефа, все было

<sup>16</sup> Цит. по: Ксенофонов 1996, 245.

мною организовано в Финляндии. Но я вовремя увидел неуместность этого акта на финляндской территории и все отменил»<sup>17</sup>. «Никто, кроме меня», – пояснял Рутенберг, – «до смерти Гапона не знал о даче в Озерках, которая была нанята мной неожиданно, вопреки инструкциям Азефа, поручившего все сделать на финляндской территории. (Может быть, он этим имел в виду скомпрометировать Финляндию.)»<sup>18</sup>. «Обсуждался и вариант ликвидации Гапона на его квартире в Петербурге»<sup>19</sup>. В итоге остановились на специально снятой даче близ Петербурга. Думали о Шувалове, даже осмотрели помещение, но там дача, согласно анонимному мемуаристу, «не подошла из-за слишком близкого соседства станového»<sup>20</sup>. Потом сняли дачу в Озерках, на углу Ольгинской и Варваринской улиц, в глухом месте – в сосновой роще на берегу озера. Рутенберг вспоминал: «Была нанята дача Звержицкой, в Озерках, на имя И.И. Путилина, явившегося туда в сопровождении своего “слуги”. Из конспиративных соображений пришлось потребовать, чтобы дачу убрали...»<sup>21</sup>. Пикантно, что Рутенберг назвал Иваном Путилиным, возможно, игриво напоминая полиции об известном сыщике. Мебель была только в одной комнате, и, как позднее живописал ее эсер-литератор С.Д. Мстиславский, «именно это придавало ей особенно нежилой вид. Стол овальный, с потрескавшейся, горбами скоробленной, ореховой фанерой, два стула, чуть осевший на одну ногу, розовым пыльным кретоном крытый, диванчик. Со стола чахлым огоньком мигала жестяная лампочка. Два стакана, четыре тарелки, горкой, одна на одну, вилки, столовый нож»<sup>22</sup>.

Все было готово, Рутенберг вызвал Гапона. На Страстной неделе – 28 марта 1906 г. – Гапон отправился в Озерки с Финляндского вокзала, запасшись обратным билетом. На даче Рутенберг спровоцировал откровенный разговор о полиции, его сотрудники, заранее спрятавшись, слышали все необходимое, и Гапон был ими безжалостно казнен как предатель. П.М. Рутенберг: «Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник 28 марта 1906 года. Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он ос-

---

<sup>17</sup> Рутенберг 1990, 71–72.

<sup>18</sup> Рутенберг 1990, 110.

<sup>19</sup> Ксенофонтов 1996, 250.

<sup>20</sup> Цит. по: Ксенофонтов 1996, 251.

<sup>21</sup> Рутенберг 1990, 72.

<sup>22</sup> Мстиславский 1928, 17.

тался висеть. Его только и укрыли шубой. [...] Все ушли. Дачу заперли»<sup>23</sup>.

Убийство Гапона в течение некоторого времени оставалось тайной. На следующий день либеральная газета «Русское слово» сообщала: «...Георгий Гапон в настоящее время стал появляться в одном из ресторанчиков на Владимирской улице, где обыкновенно собирается мелкая пишущая братия. Среди этой братии упорно говорят, что Гапон приступает к изданию политико-сатирического журнала»<sup>24</sup>.

Только 13 апреля 1906 г., пока другая либеральная газета, «Биржевые ведомости», продолжала брезгливо спорить с «гадостью» – открытым письмом Гапона от 12 марта, информированная газета «Новое время» поместила заметку «Убийство о. Гапона»: «По слухам, распространившимся сегодня ночью в городе, в посаде Колпино Николаевской железной дороги найден обезображенный труп Гапона, убитого неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах. Труп оказался зарытым в кучу мусора. При нем найдено сто рублей. Но правда ли? Те подробности, которые нам переданы, мы не могли проверить за поздним часом. Несколько дней тому назад, в заметке об исчезновении о. Гапона, мы приводили рассказ о свидании его с одной дамой, которая предупреждала его о возможности убийства. Затем говорилось, что его сослали в монастырь, но сегодня это известие опровергнуто. И вдруг сегодня слух об его насильственной смерти. Если это справедливо, то это так же возмутительно, как все эти так называемые политические преступления, эти тайные судилища, напоминающие жестокие нравы средних веков».

Газетный сюжет развивался по нарастающей, преимущественно на страницах «Нового времени». 15 апреля – на «ударной» первой полосе – материал «К исчезновению Гапона»: «В четверг 10 апреля о. Гапон тайно повешен четырьмя русскими революционерами, принадлежащими к рабочим классам. [...] Фигурирует дача [...] А возможно, что все это комедия, или роман во вкусе “Воскресший Рокамболь”». На следующий день – информационный блок: аналитическая статья А.А. Столыпина и статья «К убийству о. Гапона», подписанная «Маска». Это был псевдоним И.Ф. Манасевича-Мануйлова, отчасти журналиста, отчасти сотрудника разведки и контрразведки. Статья, как теперь принято говорить, имела характер «слива» – вброса в общественное

<sup>23</sup> Рутенберг 1990, 80.

<sup>24</sup> Благодарим Сергея Сокурено за доброжелательные консультации и компетентные сведения о прессе начала XX в.

сознание достоверных, однако тенденциозно препарированных сведений. Например: «За несколько дней до рокового случая Гапон является к лицу, переговаривавшему с Мартыном (партийный псевдоним Рутенберга – *М.О., М.С.*), и сообщил ему, что решительный разговор должен произойти на сих днях в окрестностях Петербурга, причем почти с уверенностью можно предсказать успех делу... Нет сомнения, что свидание состоялось, и тут-то Мартын решил покончить со своим “демоном искусителем”... Весьма возможно, что они виделись в Озерках [...] Знаменитый Мартын и его товарищи исчезли из Петербурга и находятся теперь за границей...». В статье «О Гапоне», помещенной в номере «Нового времени» от 18 апреля, «Маска»-Мануйлов дал развернутую характеристику Рутенберга: «Одним из таких типичных жуиров, между прочим, является некий Мартын (Рутенберг), для которого революция лишь одно сплошное гешефтмахерство. Под предлогом осуществлений разных предприятий революционного характера он выманивает немало денег и тратит их с легкостью гусарского корнета на первоклассные рестораны и девиц легкого поведения».

Наконец, сюжет убийства Гапона перестал быть эксклюзивом «Нового времени» – 17 апреля информация дается в «Русском слове» (почти идентичный текст – в «Биржевых ведомостях»): «...вчера совершенно случайно сыскная полиция получила сведения, что в Териоках в одной из старых запущенных дач найден труп Гапона. Немедленно на место происшествия прибыли судебные власти, которыми и удостоверено убийство Гапона. Подробности убийства еще не выяснены, но достоверно известно, что Гапона заманили в Териоки на свидание с одной дамой». Как нетрудно заметить, вторичность сведений либеральной прессы привела к тому, что вместо Озерков фигурируют Териоки (возможно, по той причине, что там находилась дача Гапона).

Впрочем, «Новое время» удерживало первенство: 19 апреля убийству Гапона посвящен новый блок, в который входят эссе В.В. Розанова «Пегий человек»; разосланный в газеты текст «суда» рабочих; протесты жены Рутенберга против инсинуаций «Маски». Отсутствие тела, разноречивый характер информации, авантюризм Гапона наталкивали журналистов на странные подозрения: «В самом деле, люди убили человека и не говорят, где его убили. По-видимому, скрывать это нет никакой причины. Английский корреспондент назвал какую-то дачу в Озерках, где его повесили на лампе (так!). [...] Приходит даже мысль, не сам ли Гапон это проделывает, чтобы навек удалиться

из России». 21 апреля некий «М.А.» также во всем усомнился, аргументируя выводы литературным анализом революционного «приговора»: «Приговор этот фальшив до очевидности. [...] Для революционного приговора он длинен и достаточно глуп. По своим ненужным подробностям о свидании с чиновниками, по фразам в роде “он осквернил память”, что-то женское. *Cherchez la femme*. [...] Но мертвого тела Гапона не существует».

Тем временем обеспокоенная отсутствием съемщиков хозяйка дачи в Озерках, Звержинская, стала наводить справки; в адресном столе выяснилось, что лже-Путилин отбыл из Петербурга; Звержинская обратилась в полицию; 30 апреля дача – в присутствии урядника, дворников – была вскрыта; труп обнаружили. Опознали Гапона. Было произведено вскрытие (в полицейском архиве сохранилась жутковатая фотография). Собралась пресса. Журналист Н.И. Кравченко сделал карандашный набросок убитого, который позднее был опубликован.

В номере «Нового времени» от 1 мая (отдел хроники) были представлены точки над «і» – «Гапон найден»: «30 апреля в 5 ч. дня в Озерках нашли тело Гапона. Таинственная история его исчезновения раскрылась неожиданно. Правда, были слухи, циркулировавшие давно, что Гапон повешен в Озерках где-то в пустой даче. Слухи подтвердились буквально. [...] Страшно кончил этот человек, заставивший так много говорить о себе».

Ситуация была настолько одиозной, что 12 мая министр внутренних дел П.А. Столыпин отправил петербургскому генерал-губернатору А.Д. Зиновьеву гневное письмо-выговор: «В целом ряде сообщений, опубликованных в течение прошлого апреля в наиболее распространенных газетах, заключались самые настойчивые и подробные указания, со ссылкой на местные и заграничные источники и на свидетельства очевидцев, относительно убийства Гапона, при таких, именно, условиях места и времени, которые впоследствии в точности подтвердились обнаруженными фактами. [...] Не подлежит сомнению, что при большей заботливости достаточно было бы обратиться к своевременной беглой проверке Озерковских дач, и преступление было бы раскрыто, а не оставалось бы безгласным в продолжение целого месяца»<sup>25</sup>. Генерал-губернатор трогательно оправдывался: в Озерках – до

---

<sup>25</sup> Цит. по: Ксенофонтов 1996, 263.

2000 дач, а полицейских участковых чинов – двое, – однако местного станового пристава уволил от должности<sup>26</sup>.

4 мая «Русское слово» поведало об итоговых событиях предыдущего дня: «Сегодня на Успенском кладбище состоялись похороны Гапона. Присутствовали представители всех гапоновских организаций. Возложено много венков с красными лентами и надписями на них: “Герою 9-го января”, “Дорогому учителю”, “Истинному вождю все-русской революции” и т.д. С госпожой Уздалевой, женой Гапона, несколько раз была истерика. Над могилой произнесено несколько речей». Могила Гапона также оказалась в пределах Петербургского дачного локуса: Успенское городское кладбище расположено недалеко от станции Парголово.

Сторонники Гапона продолжали чтить его могилу и даже совершали паломничество к озерковской даче – своего рода новой Голгофе. По сообщению «Русского слова» (номер от 18 августа), «15-го августа, в день празднования Успения Божией Матери, на Успенское кладбище отправлялось много народа; три поезда были настолько переполнены, что некоторые пассажиры поместились на локомотив. Особенно много народа собралось около могилы Георгия Гапона, которую посетители буквально засыпали цветами. По окончании литургии отцом Захарием, товарищем Гапона по семинарии, была отслужена панихида, причем пел хор последователей Гапона. Тут же находилась г-жа Уздалева и горько рыдала. Один из последователей Гапона хотел произнести речь, но полиция не допустила этого. После этого многочисленная публика посетила могилу павших 9-го января. На обратном пути последователи Гапона посетили дачу в Озерках, на которой Гапон был убит».

Итак, апрель 1906 г. – это прогулки Блока по пригородам, по Озеркам, создание «Незнакомки» и это агрессивное обсуждение в газетах исчезновения Гапона, вероятного убийства, причем в качестве места совершения преступления упорно называются Озерки.

Разумеется, не исключено, что Блок – поэт-символист, к тому же выпускник, занятый университетскими экзаменами, и муж, подавленный семейными неурядицами, – мог попросту игнорировать газетную шумиху или, заметив ее, не обратить внимание на Озерки.

---

<sup>26</sup> См. резко отрицательную оценку операции Рачковского по загентурированию Гапона и Рутенберга руководителем политической полиции: Герасимов 1991, 66–67.



Однако Блок далеко не пренебрегал прессой<sup>27</sup>. В 1905 г. он (наверное, подобно всем россиянам) увлекался Гапоном<sup>28</sup>, и если собственно в апреле 1906 г. упустил газетный «сюжет», то спустя некоторое время должен был осознать невольный политико-профетический подтекст «Незнакомки». «Тревожно-будничная» природа дачного текста оказывалась мотивированной не только оппозицией «таинственное/пошлое», но и, так сказать, (4) «внутренне чреватое катастрофами /наружно спокойное».

Возможно, этим объясняется внесение Блоком даты написания стихотворения при работе над «Мусагетовским» изданием «Собрания стихотворений» (1911 г.): к пространственной локализации – «Озерки» (как значилось в «Нечаянной радости», 1907 г.) – он здесь добавил темпоральную – «апрель 1906». Судя по дате в беловом автографе, Блок написал «Незнакомку» 24 апреля<sup>29</sup>, так что «апрель» в «Мусагетовском» издании, бесспорно, соответствует биографической летописи поэта (и, кстати, лишний раз доказывает, что стихотворение создано после шумихи с Гапоном). Но – при учете формирующейся общей идеи трехтомника – актуализация даты открывает дополнительный метаисторический уровень в интерпретации стихотворения (ср. общее суждение З.Г. Минц: «Соотнесенность ранней лирики Блока с тем, что “реально” происходило в начале XX в., была очень важна для поэта, и чем дальше, тем больше осознавалась им»<sup>30</sup>). Получается, что, хотя российское общество, не подозревая (буквально) о «скелете в шкафу», погружено во мнимое спокойное «дачное» существование, поэт-пророк в апреле 1906 г. провидит роковое преступление – убийство Гапона, обнаружившееся только 1 мая, и это убийство – симптом грядущих катастроф, того, «что никто не придет назад» (в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» (август 1905 г.) «...плакал ребенок О том, что никто не придет назад» – в «Незнакомке» «раздается детский плач»).

Похоже, история Гапона не прошла бесследной и для Андрея Белого, свидетеля гапоновской ажитации Блоков в январе 1905 г. Соблаз-

<sup>27</sup> См., напр., упоминание «Нового времени» в записных книжках за май 1906 г.: Блок 1965, 75.

<sup>28</sup> Андрей Белый 1997, 131–139.

<sup>29</sup> Блок 1997, 759; в посмертном «Алконостовском» издании «Собрания сочинений» (1922 г.) вместо «апрель 1906» поставлено «24 апреля», т.е. дата белового автографа, что с тех пор обрело статус публикационного «канона».

<sup>30</sup> Минц 1999, 390.

нительно предположить, что заглавие его последнего романа «Маски» (заключительная часть эпопеи «Москва») – среди прочих смыслов – содержит аллюзию на псевдоним Манасевича-Мануйлова «Маска», «засвеченный» в апреле 1906 г. Действительно, роман посвящен, в том числе, коррумпированной политической жизни России, ее преступным тайнам, что эффектно обобщалось фигурой Манасевича-Мануйлова. Стоит напомнить, что в мемуарной книге «Между двух революций» Белый рассказал о встрече с Манасевичем-Мануйловым в Париже в конце 1906 – начале 1907 гг. и дал ему нелестную характеристику: «темная личность, провокатор», «журналист, подозрительный делец и охранник»<sup>31</sup>. А по воспоминаниям П.Н. Зайцева, Манасевич-Мануйлов послужил прототипом Велес-Непещевича, правительственного чиновника, организовавшего в романе «Маски» кампанию по выслеживанию и убийству агента иностранных разведок Мандро<sup>32</sup>.

В качестве лирического пост-скриптума – номер «Нового времени» от 5 мая 1906 г., где в очередной раз манифестировалась двуприродность дачного текста. Газета сообщала, со ссылкой на «наших корреспондентов», что в Лондоне «появилась таинственная личность, выдающая себя за Гапона, которого хотела убить полиция, но ошиблась и убила другого. Многие поверили и стали созывать митинги, но самозванец скрылся». С этой информацией соседствовала другая: «Дача, на которой был найден повешенным Гапон, уже снята и ремонтируется. Сюда переселяется какое-то семейство, уже живущее в другом флигеле, в котором много молодежи. Они относятся к вещам без предубеждения и не находят ничего страшного прожить лето в квартире, где было совершено преступление». Замечательный пример отсутствия суеверия и в то же время той социальной и эсхатологической слепоты, с которой полемизировал Блок.

---

<sup>31</sup> Андрей Белый 1990, 131, 155; ср. в записных книжках Блока за 1917 г.: «Омерзительный, малорослый, бритый; “журналист” – из нововременской пивной» (Блок 1965, 338).

<sup>32</sup> Андрей Белый: Проблемы творчества 1988, 576.

## Литература

- Александр Блок в воспоминаниях современников (1980), *Александр Блок в воспоминаниях современников*. 2 т., сост. В. Орлов. М.: Художественная литература.
- Андрей Белый: Проблемы творчества (1988), *Андрей Белый: Проблемы творчества* составители. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель.
- Андрей Белый (1990), *Между двух революций*. М.: Художественная литература.
- Андрей Белый (1997), *О Блоке*, сост. А.В. Лавров. М.: Автограф.
- Блок, Александр (1965), *Записные книжки: 1901 – 1920*, составитель В.Н. Орлов. М.: Художественная литература.
- Блок, А. А. (1997), *Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. Т.2: Стихотворения. Книга вторая (1904 – 1908)*. М.: Наука.
- Герасимов, Александр (1991), *На лезвии с террористами*. М.: Товарищество Русских художников.
- Горький, Максим (1963), *Дачники*. Собрание сочинений в 17 томах. Т.16. М.: Художественная литература.
- Громов, Павел (1986), *А. Блок, его предшественники и современники*. Л.: Советский писатель.
- Ксенофонтов, И.Н. (1996), *Георгий Гапон: вымысел и правда*. М.: РОССПЭН.
- Мицц, Зара (1999), *Поэтика Александра Блока*. СПб.: Искусство – СПб.
- Мочульский, Константин (1997), *А. Блок. Андрей Белый. В. Брюсов*. М.: Республика.
- Мстиславский, Сергей (1928), *Смерть Гапона*. М.
- Путилин, Иван (1990), *Преступления, раскрытые начальником С.-Петербургской сыскальной полиции И.Д. Путилыным*. М.: Текст.
- Русаков, Виктор (1903), *Максим Горький в карикатурах и анекдотах*. СПб.: Товарищество М.О. Вольф.
- Рутенберг, Петр (1990), *Убийство Гапона*. М.: СП «Слово».
- Топоров, Владимир (1995), *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное*. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура».
- Чулков, Григорий (1909), *Покрывало Изиды: Критические очерки*. М.
- Шкловский, Виктор (1922), К теории комического *Эпопея*, №3, 57-61.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710 -- 2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.

## Курорт как арена политических баталий: убийство Михаила Герценштейна и процесс над его убийцами, 1906-1909

Широко известно, что курортные места Карельского перешейка привлекали многочисленных дачников из России, а к началу 20 века стали Меккой для российской интеллигенции. Крупнейшим центром всего дачного региона были Териоки, где летом численность населения переваливала за 20 тысяч. Классическое описание блаженного быта русских дачников в Териоках оставил Осип Мандельштам в своём «Шуме времени»: «В Териоках песок, можжевелник, досчатые мостки, собачьи будки купален с вырезанными сердцами и зубринами по числу купаний, и близкий сердцу петербуржца домашний иностранец, холодный финн, любитель ивановых огней и медвежьей польки на лужайке и народного дома, небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьёва до Блока, пересыпая в ладонях её песок и растирая на гранитном лбу лёгкий финский снежок, в тяжёлом бреду слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для Петербурга...».<sup>1</sup>

Для русского интеллигента, человека, как правило, либеральной ориентации, финские курорты были местом отдохновения от многих российских реалий, вызывавших его неудовольствие. Идеалом либералов были западноевропейские демократии с их конституционным правлением, сформировавшимися основами гражданского общества, правовым сознанием народов и благоустроенным бытом. Финляндия

---

<sup>1</sup> Мандельштам 1993, 359.

была для них ближней, «подстоличной» Европой, Европой домашней, доступной, но при этом обладающей всеми основными внешними (и не только внешними) свойствами Европы «настоящей». Уже в начале 20 века, выражая общее мнение российских либералов, А. И. Куприн писал, например, о Хельсинки : «Так близко от С.-Петербурга – и вот настоящий европейский город.»<sup>2</sup>

Однако идилличность финских курортов была иллюзорной, напряжённая политическая жизнь империи выплёскивалась и на эти, казалось бы, предельно далёкие от политики пространства. Близость Петербурга и наполовину русское население с одной стороны, и покровительство особых законов Финляндии, нестрогий полицейский надзор с другой стороны делали весь Карельский перешеек идеальным местом для базирования разнообразных политических оппонентов российской власти. Это тихое, идиллическое, будто созданное для забвения и отдохновения место к началу 20 века стало одним из центров разнообразной политической и нелегальной деятельности. Во многих дачных местах перешейка подпольно базировались революционные партии, через эти населённые пункты пересылалась газета «Искра», здесь сформировалась целая колония оппозиционных деятелей, находившихся под надзором полиции, которым было запрещено проживать в Петербурге.<sup>3</sup> Маризтта Шагинян вспоминала: «...Вообще “дача в Финляндии” всегда была связана с историей революции, с устройством тайных типографий, с изготовлением бомб, с переходом границы – в Швецию, с конспиративными явками.»<sup>4</sup>

Одним из таких дачных центров, которые одновременно были опорными пунктами российской оппозиции в Финляндии, был посёлок Териоки. Именно здесь, например, в годы первой русской революции на даче финского гражданина Онни Комулайнена складировалось и хранилось оружие, предназначенное для революционных партий (прежде всего социал-демократов). Живущие под видом дачников студенты переправляли отсюда оружие в Россию.<sup>5</sup> Здесь организовыв-

---

<sup>2</sup> Куприн 1958, 614

<sup>3</sup> В Териоках в то время вынуждены были поселиться, в частности, редактор журнала «Научное обозрение» М.М. Филиппов и основоположник науки о физическом воспитании в России профессор П.Ф. Лесгафт. В разное время с 1905 по 1917 годы здесь жили видные большевики: В.Д. Бонч-Бруевич, А.В. Луначарский, Л.Б. Красин, М.Н. Лядов (см.: Усыскин 1987, 131-135, 181.)

<sup>4</sup> Цит. по: Тюников 2003, 100.

<sup>5</sup> Усыскин 1987, 179.

вались многочисленные митинги и конференции левых и либеральных партий, начиная от РСДРП и кончая партией конституционных демократов (кадетов). Активное посещение Карельского перешейка кадетами было обусловлено как почти полным отсутствием здесь полицейского надзора, так и взаимной симпатией кадетской партии и финляндских политических деятелей (главным образом, так называемых «старофиннов»). На Карельском перешейке была дача у главы кадетской партии Павла Милюкова. В Териоках проживали некоторые члены кадетской фракции Первой государственной думы, в числе которых был и герой нашей статьи Михаил Яковлевич Герценштейн. По свидетельству депутата М.М. Винавера, когда после роспуска Думы 8 июля 1906 года более двухсот депутатов отправились из Петербурга в Выборг для подписания известного Выборгского воззвания, в Териоках «подсела значительная группа [...] депутатов», живших здесь на дачах.<sup>6</sup> Через день или два после подписания воззвания кадетская думская фракция собралась в Териоках на совещание на даче депутата М. Г. Комиссарова. Это было последнее политическое собрание, в котором участвовал М.Я. Герценштейн. «Мы сидели перед дачей в сосновой роще...» – вспоминает обстоятельства этой политической акции В. Оболенский.<sup>7</sup>

Как видим, финская курортная зона стала ареной для самых разнообразных политических репрезентаций. Однако самой из них громкой стало убийство 18 (31) июля 1906 года М.Я. Герценштейна и последовавший за ним почти трёхлетний судебный процесс, проходивший в Териоки и Кивеннапа, и гремевший не только в России, но и за её пределами. Герценштейн был известной политической фигурой, ведущим идеологом кадетской партии, профессором Сельскохозяйственного института, крупнейшим специалистом по финансовому праву и аграрному вопросу. Его имя стало известным широкой публике лишь незадолго до убийства благодаря публикациям и немногочисленным, но ярким выступлениям в Думе по аграрному вопросу, однако масштаб его личности выходил далеко за пределы его известности. Преодолевший огромные трудности в своей научной карьере, он ни о чём так не мечтал, как о научной стезе, однако чувство долга и стремление быть полезным своей стране вынесло его, как и многих других его соратников, на политическую арену. Герценштейн с единомышленни-

---

<sup>6</sup> Винавер 1917, 15.

<sup>7</sup> Оболенский 1924, 4.

ками стал создателем в 1905 году партии кадетов, в этом же году стал депутатом Московской городской думы, а через полгода в числе четырёх депутатов от Москвы был избран в первый российский парламент – Государственную думу.

Кадеты по достоинству оценили аграрную программу, предложенную Герценштейном. Полицейская справка сообщает: «В настоящее время [он] выбран членом от Москвы в Гос. Думу, причём кандидатура его, как выдающегося финансиста, с точки зрения партийных интересов представлялась даже более желательною, чем кандидатура одного из первостепенных организаторов и руководителей к-д. партии – князя Павла Долгорукого».<sup>8</sup> Известно, что Герценштейн отказывался от депутатства, и его не сразу удалось уговорить. Глава кадетов, П.Н. Миллюков вспоминал: «От Герценштейна требовали жертвы, самой тяжёлой, которую можно было от него потребовать: у него, усталого и измученного жизнью, отнимали разом всю цену и награду жизни; из тихой пристани, за которую он так дорого заплатил, его звали снова на бой, - его, далеко не борца по натуре. И он встал и пошёл с друзьями; бросил всё, что только-что начал, что лелеял в душе и мечтал свершить: всё бросил и стал на то место, которое ему указали.»<sup>9</sup>

В думских дискуссиях земельный вопрос занял по праву одно из первых мест, и Герценштейн стал главным разработчиком проекта аграрной реформы. В.Г. Короленко не без восторженности описывал реакцию депутатов на его выступления: «Его противники сразу почувствовали в нем человека, отлично понимавшего все детали финансово-земельной политики самодержавия, все вождедения “первенствующего сословия” и казенное попустительство этим вождедениям за счет всего народа. Поэтому каждый раз как он появлялся на думской кафедре, – думскую залу охватывало вихрем особое оживление. Упрека в теоретичности этому теоретику сделать было невозможно. С иронической улыбкой на необыкновенно тонком и умном лице – он умел показать, что “практика” известна ему не хуже, а может быть, даже лучше, чем его противникам. И эта ироническая манера вызывала среди “зубров” взрывы настоящего бешенства. Крестьянские депутаты, наоборот, сразу признали в нем своего руководителя и союзника. Каждый раз, когда под гром аплодисментов правых сходил с кафедры кто-нибудь из министров или какой-нибудь правый депутат, возра-

<sup>8</sup> ГАРФ (Государственный архив российской федерации), ф. 102, оп. 1906 (II), д. 254, л. 4.

<sup>9</sup> Миллюков 1907, 38.

жавшие против “принудительного отчуждения”, – крестьяне принимались кричать: – Герценштейн! Герценштейн!...»<sup>10</sup>

Михаил Яковлевич привлёк крестьянских депутатов чётко сформулированным требованием аграрной реформы, ядром которой должно было стать принудительное отчуждение части помещичьих земель (за выкуп). Нетрудно догадаться, что этот же тезис вызывал бурное негодование среди противников этой радикальной реформы, в особенности – в рядах недавно созданных крайне-правых партий, получивших название черносотенных. Ненависть их к Герценштейну росла, и кульминацией стало его второе выступление в Думе, в котором он предостерегал правительство от стихийного крестьянского бунта, вызванного катастрофическим состоянием крестьянства. Вот дословно этот фрагмент его речи, который впоследствии не раз был искажён и неверно интерпретирован: «Чего же вы теперь ожидаете? Вы хотите, чтобы зарево охватило целый ряд губерний?! Мало вам разве опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб?! Нельзя теперь предлагать меры, рассчитанные на продолжительный срок, необходима экстренная мера, а принудительное отчуждение и есть экстренная мера!»<sup>11</sup> Черносотенцы интерпретировали эти слова как подстрекательство крестьян к поджогам усадеб, и именно после этой речи Герценштейн начал получать письма с угрозами расправы.

Как известно, Первая дума успела проработать лишь 72 дня. Она слишком раздражала власти и была разогнана 8 (21 по новому стилю) июля 1906 года. Как мы уже упоминали, депутаты в количестве более двухсот человек отправились в Выборг, где подписали и распечатали воззвание, призывавшее народ к пассивному сопротивлению. Выборг не случайно стал местом проведения слёта «протестантов»: Финляндская автономия жила по особым законам, и российская полиция не имела возможности производить здесь аресты по своему усмотрению. Под «Выборгским воззванием», хоть и весьма неохотно, поставил свою подпись и Герценштейн, считавший его тактической ошибкой.<sup>12</sup> Впоследствии все депутаты, подписавшие воззвание, подверглись в России судебному преследованию и недолгому тюремному заключению. Герценштейна же ожидала гораздо более скорая и трагическая расправа – через неделю он был убит.

<sup>10</sup> Короленко 1990, 186.

<sup>11</sup> Государственная дума 1906, 524.

<sup>12</sup> Винавер 1917, 35.



Финская газета «Wiipurii» («Выборг») сообщала в статье «Ужасное убийство»: «31-го в девять часов вечера был убит в Териоках член Государственной Думы М.Я. Герценштейн, находившийся на прогулке на берегу моря с женой и дочерьми. Неизвестный дважды выстрелил из револьвера, и обе пули попали жертве в грудь. При этом была ранена его дочь Наталья.<sup>13</sup> Герценштейн скончался на месте.» Убийца, перепрыгнув через забор, скрылся, жена Герценштейна пыталась его преследовать, но вернулась к телу мужа. На выстрел и крики сбегались люди, тело жертвы перенесли в гостиницу. К тому времени Герценштейн был уже мёртв.»<sup>14</sup>

На похороны в Териоки собралось несколько тысяч человек. В знак траура в посёлке были закрыты все лавки и ремесленные заведения, и местные жители всеми способами выражали своё сочувствие. Каждый новый поезд, прибывавший из Петербурга, встречался пением. Вдоль растянувшейся на четверть версты похоронной процессии шпалерами стояли финны с обнажёнными головами, многие плакали. Похороны, как нередко бывало в то время, переросли в политическую манифестацию, пелись революционные песни. Большевики, пользуясь ситуацией, устроили свой митинг, невзирая на протесты вдовы.<sup>15</sup> Тело должны были отправить поездом в Петербург, а оттуда – в Москву для захоронения, но в Петербурге была забастовка, и власти боялись беспорядков, которыми могло сопровождаться прибытие похоронной процессии. Вдова и однопартийцы Герценштейна, во избежание кровопролития, приняли решение захоронить его в Териоках. Там и поныне находится его надгробие и остатки стелы на месте его убийства.

Финская полиция начала действовать сразу после убийства. Негласное расследование вёл и прокурор Петербургского окружного суда. Было обнаружено множество свидетелей, которые сообщали о том, что за несколько дней до убийства в Териоках появились четыре подозрительных субъекта, которые следили за Герценштейном. Они называли себя членами революционной организации и, не особенно скрываясь, демонстративно носили оружие и панцирные рубашки. Посетив в день убийства местного жандарма, эти люди предъявили ему удостоверение охранного отделения. Один свидетель даже рас-

<sup>13</sup> Газета ошиблась: ранена в кисть руки была старшая дочь Герценштейна Анна. Дочери Натальи у него вообще не было, младшую дочь звали Верой.

<sup>14</sup> Wiipurii 1906, 2.

<sup>15</sup> Усыскин 1987, 184.

сказал, что один из этих неизвестных показывал ему револьвер и заявлял, что он заработает с его помощью 30 тысяч рублей, если удастся убить одного человека. Обличающих показаний было много,<sup>16</sup> – однако где искать этих подозрительных субъектов никто не знал.

Кадеты с самого начала подозревали, что убийство было делом рук черносотенцев. У них было даже косвенное доказательство – московская черносотенная газета «Маяк» опубликовала известие об убийстве Герценштейна в вечернем выпуске в самый день убийства. В момент выхода этого номера Герценштейн был ещё жив. Такая поразительная осведомлённость наводила на размышления – однако российская полиция к таким размышлениям не была склонна. Причиной была распространённая в самых высших сферах, вплоть до царя симпатия к черносотенцам (хорошо известно, что правительство даже тайно осуществляло их финансирование).<sup>17</sup> Гораздо позже выяснилось, что полицейские с самого начала были весьма хорошо осведомлены об организаторах убийства, однако считали своей задачей не раскрыть, а «прикрыть» дело. Почти сразу после убийства начальник Петербургского охранного отделения А.В. Герасимов вызвал одного из преступников, черносотенца Александра Половнева и спросил его: «Ведь не вы совершили убийство Герценштейна?» Тот ответил: «Нет». Тогда высший полицейский чин сказал преступнику: «Ну и хорошо, молчите, вам больше нечего и говорить, и сидите спокойно.»<sup>18</sup> Вдохновлённые этим напутствием, убийцы чувствовали себя более чем уверенно.

Однако кадеты не прекращали самостоятельного расследования, и в конце ноября 1906 года всплыли новые сенсационные факты. Как оказалось, «Союз русского народа», вербовавший зачастую свои кадры среди самых отбросов общества, был постоянно сотрясаем внутренними конфликтами и скандалами и плодил недовольных. В числе изгнанных из Союза и обиженных на него оказались бывшие члены черносотенной боевой дружины Михаил Зорин, Илья Лавров и Владимир Романов, отбывавшие в тот период наказание в Выборгской тюрьме. Они дали показания адвокату Анны Васильевны Герценштейн, помощнику присяжного поверенного Г.Ф. Веберу, и эти сведе-

<sup>16</sup> Материалы процесса см.: ГАРФ, ф. 124, оп. 65, дд. 26, 27; оп. 57, д. 110; ф. 1467, оп. 1, дд. 497, 498, 598, 599, или: КА - Kansallisarkisto (Национальный архив Финляндии), ККК, 1906, Фь 280, ХХVII; ККК, 1909, Фь 454 ХХVII; ККК, 1909, Фь 455, XLVI.

<sup>17</sup> См. об этом например: Степанов 1992, 68, 100-102, 150.

<sup>18</sup> ГАРФ, ф. 1467, оп. 1, д. 862. л. 15, об.

ния прояснили картину убийства. На всю страну прозвучали имена главных виновников и исполнителей. Организатором убийства оказался начальник боевой дружины «Союза русского народа» Николай Максимович Юскевич-Красковский, а в составе группы убийц были названы рабочие Александр Половнев, Егор Ларичкин, Сергей Александров и Лев Тополев. Было ясно, что убийство не могло быть совершено без ведома главы «Союза русского народа», доктора Александра Дубровина. Свидетели рассказывали, что после убийства его участники открыто хвастались в помещении Союза, что они «срезали» Герценштейна и за это им хорошо заплатили. Попутно всплыли и другие преступления, совершённые той же группой лиц.<sup>19</sup>

Под гнётом таких бесспорных доказательств зашевелилась и российская полиция, но раскачивалась она слишком медленно – почти все участники убийства успели скрыться. Был арестован и препровождён в Финляндию лишь один из всей группы – юный Сергей Александров, и с серии судебных заседаний, рассматривавших его дело, начался долгий процесс над убийцами Герценштейна. Процесс проходил в Финляндии, в Териоках и Кивеннапа. Финский суд был автономен и не зависел от российских властей, и это обстоятельство необычайно выводило из себя как черносотенцев, так и их высоких покровителей. То было время, когда в стране начиналась новая волна борьбы с «инородцами», и неудивительно, что особые права Великого княжества Финляндского, его независимость и стремление управлять своими делами самостоятельно вызывали раздражение властей предрежащих и их союзников - чёрной сотни. В это же самое время в Думе была начата антифинская кампания, целью которой было лишение Финляндии автономных прав. Кампания проводилась премьер-министром П.А. Столыпиным при полном одобрении царя. Настроения думцев-черносотенцев выразил один из их лидеров Владимир Пуришкевич, который говорил, что «в отношении взбунтовавшейся окраины» должны быть приняты «самые серьёзные, самые беспощадные репрессии.»<sup>20</sup>

Суд над убийцами Герценштейна взвинтил и без того нервную обстановку вокруг Финляндии. В правой печати на териокскую полицию и судей в частности и на финскую судебную систему в целом сыпались самые страшные обвинения – их «уличали» в необъективно-

<sup>19</sup> ГАРФ, ф. 1467, оп. 1, д. 598. л. 11- 40.

<sup>20</sup> Государственная дума 1910, 2415.

сти, желании погубить ни в чём не повинных черносотенцев, в бесчеловечном отношении к заключённым и даже в пытках. Лейтмотивом множества публикаций в правой прессе стали призывы «оградить русских от произвола средневекового финского суда.» Между тем страшный «средневековый» териокский суд присудил Александрову лишь пять месяцев тюрьмы за недонесение о готовившемся убийстве, а арестованного вслед за ним Тополева и вовсе временно освободил за недостатком улик. В процессе наступила пауза, ибо российские власти продолжали очень неспешно искать убийц. Наконец, в июне 1908 года произошёл перелом – в Финляндию добровольно явился Александр Половнев, уставший скрываться. Дело Половнева рассматривалось и перерассматривалось несколько раз (13.8. – 15.10.1908 и 25.1.-18.5.1909), и ход процесса подробно излагался в российских газетах. Описывалась патриархальная обстановка, царившая в Териокском суде, и сам подсудимый, «выше среднего роста, широкоплечий блондин с круглым лицом» и повязкой на глазу, бывший впрочем не просто рядовым черносотенцем, а организатором боевых рабочих дружин «Союза русского народа», участвовавший кроме того и в погромах.<sup>21</sup> Вина Половнева была доказана, и он получил шесть лет тюрьмы как соучастник убийства.

К моменту оглашения приговора Половневу обстановка вокруг процесса накалилась до предела. Финский суд, методично рассматривавший обстоятельства дела, пришёл к выводу о необходимости предъявить обвинение главе «Союза русского народа» Александру Дубровину как инициатору убийства. Дубровин был знаменем движения, человеком, державшим в своих руках все бразды, знавшим всю подноготную Союза и, одновременно, имевшим тесные связи с самыми высокопоставленными представителями российской власти. Достаточно сказать, что он был весьма благосклонно принят царём, вообще неоднократно принимавшим самых одиозных черносотенных деятелей (о симпатиях к черносотенцам в царской семье говорит хотя бы то обстоятельство, что и сам царь, и наследник престола Алексей носили значки «Союза русского народа»). Теперь, когда встал вопрос об угрозе самому Дубровину, «союзники» и их единомышленники из верхних эшелонов российской власти удесятирили усилия. Царю поступали десятки телеграмм из районных отделений «Союза». Содержание их было однотипным. Например из Вологды взывали: «Великий госу-

<sup>21</sup> О личности А. Половнева см. более подробно: Степанов 1992, 144.

дарь! Вологодский отдел с.р.н. молит тебе: повели изъять из финляндского суда, враждебного всему русскому, дело об убийстве Герценштейна в русский суд, дабы верный слуга твой Дубровин имел возможность оправдаться перед Тобою и родиной!»<sup>22</sup> Но царь не мог нарушить закон, и Дубровин предпочёл скрыться. Правда, прятался он весьма условно – вся страна знала, что находится он в Ялте, под покровительством губернатора города, пламенного черносотенца генерала И.А. Думбадзе. Думбадзе заверил Дубровина, что арестовать их могут только вместе.

Между тем скандал разрастался. В Думу в мае 1909 года поступил за подписью 73-х депутатов запрос о тесной связи охранного отделения с «Союзом русского народа». В качестве примеров, кроме дела Герценштейна, приводились и другие громкие преступления черносотенцев, бывших одновременно агентами охраны или получавших от полиции оружие.<sup>23</sup> К этому времени вышло на божий свет ещё несколько преступлений, совершённых «союзниками», и в двух особенно скандальных участвовал один из убийц Герценштейна – Александр Казанцев, бывший агентом охраны и даже секретарём чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе графа Буксгевдена. Казанцев, притворившись революционером, завербовал двух рабочих, внушив им, что они должны убить бывшего премьер-министра С.Ю. Витте и некоего бывшего революционера, укравшего у партии крупную сумму денег. В трубы каминов дома Витте на Каменноостровском проспекте были засунуты самодельные бомбы, но сделаны они были так неумело, что не взорвались. Бомбы обнаружил печник. Однако второе покушение удалось – руками рабочего Фёдорова, задуренного «революционером» Казанцевым, был 14 марта 1907 года убит видный кадет, редактор московской газеты «Русские ведомости» и друг Герценштейна Григорий Борисович Иоллос. Фёдоров узнал о том, кого он убил, лишь на следующий день, испытал шок и, конечно, заподозрил Казанцева в обмане. Через некоторое время, убедившись в том, что Казанцев – черносотенец, Фёдоров собственноручно его зарезал.<sup>24</sup> Вся эта жуткая история попала в газеты, опубликовавшие исповедь Фёдорова, и скандал вокруг черносотенных заплечных дел мастеров приобрёл международный масштаб.

<sup>22</sup> ГАРФ, ф. 124, оп. 65, д. 26. л. 93–104.

<sup>23</sup> Государственная дума 1909, 1127.

<sup>24</sup> Степанов 1992, 153–150.

В такой крайне наэлектризованной атмосфере начался последний этап судебного процесса над убийцами Герценштейна. Местом действия продолжал оставаться дачный посёлок Териоки. В апреле 1909 года был арестован скрывавшийся Юскевич-Красковский. До августа его держали в Петербургской тюрьме, но в конце концов выдали финскому суду. К этому времени в Финляндии объявился Егор Ларичкин, добровольно сдавшийся правосудию. 14 августа оба обвиняемых должны были предстать перед судом, и маленький, тихий Териоки замер в ожидании грозных событий. Дело в том, что черносотенцы угрожали финскому суду скандалом, и местные жители опасались беспорядков. Посёлок превратился в осаждённую крепость, улицы наводняли пешие и конные полицейские – в дополнение к местным сорока стражам порядка из Выборга и Хельсинки были выписаны ещё сорок два.<sup>25</sup> В посёлок и впрямь прибыло около трёхсот «союзников», по большей части петербургских забулдыг, которые не были допущены в суд из-за отсутствия пропусков. Расположившись на улицах, они выпивали и закусывали, щедро бранились, обзывая финнов «чухнами» и проклиная «жидов», а по окончании суда были увезены обратно в Петербург.<sup>26</sup> Скандала не получилось, хотя адвокат черносотенцев Павел Булацель сделал всё чтобы его спровоцировать. Он не устал объявлять, что Дубровин ни при каких обстоятельствах не явится в суд, а на следующем заседании даже вытащил из кармана палто револьвер, и был выведен из зала суда.

19-летний Егор Ларичкин признался в соучастии в убийстве и подтвердил уже известную картину преступления. Он утверждал, что непосредственным убийцей Герценштейна был уже убитый к тому времени Казанцев, и ему поверили. На последнем судебном заседании и Ларичкин, и Юскевич-Красковский получили по шесть лет тюрьмы.<sup>27</sup>

Однако общий итог процесса был удручающим для всех, кто ожидал торжества правосудия. Российские власти приложили титанические усилия к тому, чтобы черносотенцы вышли сухими из воды. Министерство юстиции во главе с министром И.Г. Щегловитовым сконструировало целую систему аргументов, которые позволяли не выдавать Дубровина в Финляндию.<sup>28</sup> Лично Столыпин неоднократно теле-

<sup>25</sup> Porvali 1951, 131.

<sup>26</sup> См. об этом: Пруссаков 1909, 31-38.

<sup>27</sup> Озеросский 1909, 4.

<sup>28</sup> Критический анализ этой аргументации см.: Финляндский суд 1909, 2282-2291.

графировал царю, прося разрешения прекратить процесс. В октябре 1909 года генерал-губернатору Финляндии Бекману было объявлено «повеление его величества непременно и настойчиво требовать окончания дела Герценштейна.» Царский приказ не давал судье Селину выбора, и 12 октября 1909 года дело Герценштейна было закончено. Его главный вдохновитель остался на свободе.

Но и немногочисленным осуждённым недолго оставалось томиться в неволе. К царю полетели просьбы Половнева и Юскевича о помиловании (Ларичкин, боявшийся мести черносотенцев, предпочёл о помиловании не просить). Уже к концу 1909 года эти просьбы были удовлетворены, и царь лично распорядился ускорить процесс освобождения подсудимых – их предписывалось выпустить из тюрьмы перед Новым Годом. Известный нам Булацель просил своего единомышленника, нового генерал-губернатора Финляндии Зейна всеми средствами препятствовать отправке Половнева в финскую каторжную тюрьму до получения официального помилования. Булацель просил «помочь русскому человеку, невинно томящемуся в финской тюрьме». Зейн охотно помог, - и к Новому Году Половнев с Юскевичем вышли на свободу.<sup>29</sup>

Как это нередко бывает, от дела Герценштейна пострадали не столько непосредственные виновники преступления, сколько те, кто его расследовал. Объектом травли стал финский суд, и, шире – финляндская автономия. Щегловитов писал царю: «Осмеливаюсь донести Вашему Величеству моё глубокое убеждение в том, что существование в Финляндии особого национального суда [...] представляется явлением в высшей степени ненормальным. Только русский суд может и должен быть верным стражем русской государственности.» Резолюция Николая II гласила: «Всецело разделяю Ваш взгляд.»<sup>30</sup>

Конечно, русским судом манипулировать было не в пример проще - но дело было не только в суде: вся Финляндия как таковая, со своей автономией и независимостью, уже давно была бревном в глазу российской власти и правых. Процесс Герценштейна стал лишь одной из последних капель в чаше их терпения. Через полгода Столыпин инициировал новый «поход на Финляндию» в Государственной Думе, и финская автономия вновь оказалась существенно урезанной, а роль финского парламента была сведена к чисто совещательной. После

<sup>29</sup> Переписку по этому вопросу см.: КА, ККК, 1909, I osasto, I jaosto, Fb 455, XLVI.

<sup>30</sup> ГАРФ, ф. 124, оп. 65, д.27. л 67об, 68.

думского голосования черносотенный лидер В. Пуришкевич ликующе воскликнул: «Finis Finlandiae!» («Конец Финляндии!»).

Так закончилась эта трагическая история, вся от начала до конца связанная с одним из самых прелестных мест Карельского перешейка – посёлком Териоки. Созданное и развивавшееся как место отдыха, призванное давать финским и российским дачникам возможность отрешиться от реалий беспокойной жизни, это дачное место попало в эпицентр политических коллизий. Здесь завязались в тугой узел самые животрепещущие проблемы империи. С одной стороны, в деле Герценштейна отразилось яростное внутривоспольское противоборство между правыми и либералами, по сути дела – между диаметрально противоположными проектами развития страны. С другой стороны, териокские события оказали серьёзное воздействие на один из наиболее напряжённых вопросов имперского бытия – так называемый «финляндский вопрос», обострили и без того непростые отношения между Финляндией и Россией. Курорт стал ареной самой ожесточённой политической борьбы, местом политического убийства, оппозиционных манифестаций и подготовки к погромам.

Дело Герценштейна как нельзя лучше показывает, что отъединённость дачно-курортного пространства от «большой жизни» эфемерна и иллюзорна, и границы между дачным миром и местами политических сражений совершенно прозрачны. Волны политических конфликтов и социальных потрясений рано или поздно настигают эти блаженные островки в море мирского неустройства и захлёстывают их с головой.

## Библиография

- Винавер, М.М. (1917), *История Выборгского воззвания (воспоминания)*. Петроград, Изд. Партии Народной Свободы.
- Государственная дума. (1906), *Первый созыв: Стенографические отчёты*. Сессия первая. т. I. СПб.: Государственная типография.
- Государственная дума. (1909), *Третий созыв: стенографические отчёты*. Сессия вторая, ч. 4. СПб.: Государственная типография.
- Государственная дума. (1910), *Третий созыв: стенографические отчёты*. Сессия третья, ч. 4. СПб.: Государственная типография.
- Короленко, В.Г. (1990), Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины. *Новый мир*, №1, 179-200.
- Куприн А.И. (1958), Немножко Финляндии. *Собрание сочинений*, Т. 6. М.: Государственное издательство Художественной литературы, 613-622.



- Мандельштам, О. (1993), *Собрание сочинений в четырёх томах*. Т. 2. М.: Художественная литература.
- Милюков П. (1907), Памяти М.Я. Герценштейна. *Былое*, №2, 37-42.
- Оболенский В. (1924), К 18-й годовщине смерти. *Последние новости*, 31 июля, № 1308, 4.
- Озеросский С. (1909), Дело об убийстве М.Я. Герценштейна. *Речь*, 13 октября, № 281, 1,4.
- Пруссаков А.И. (1909), Кто убил Герценштейна? СПб.
- Степанов С.А. (1992), Чёрная сотня в России (1905-1914 гг.). М.: Изд-во ВЗПИ, А/О «Росвузнаука».
- Тюников К. (сост.) (2003), Терийоки-Зеленогорск и окрестности. СПб.: Карельский перешеек.
- Усьскин Г.С. (1987), *Из революционной истории Карельского перешейка, 1820-1920. Люди. События. Памятные места*. Л.: Лениздат.
- Финляндский суд и министр юстиции (1909), *Право*, 25 октября, № 43, 2282-2291.
- Porvali Mikko (1951), Muistelmia. *Terijoki. Kuvia ja kuvauksia entisestä kotipitäjästä*. Lahti: Kanervan kirjapaino osakeyhtiö, 128-132.
- Wiipurin (1906), 2 августа, 2.

TATIANA SHOR

## Театр и театральность в жизни Гунгербурга-Усть-Нарвы, 1918-1944<sup>1</sup>

«Лучше сесть нам над Наровой,  
На границе вьюг и пург!»  
Сели и прозвали замки —  
Магербург и Гунгербург.  
[...]  
Старых рыцарей виденья  
Ходят здесь и до сих пор,  
Но для легкости хождения —  
Ходят все они без шпор...  
*К.К.Случевский. 1902*

Ах, этот русский театр за рубежом, не посещаемый,  
брошенный, бедный, забытый театр!  
*П. Пильский 1922*

Старинное необычное название дачного поселка «Гунгербург» (нем. *голодный город*) в живописном уголке на Нарвском взморье по одной из местных легенд связывается с пребыванием здесь русского царя Петра I в сентябре 1700 г. Он проголодался и просил окружающих дать ему что-нибудь поесть, но коль скоро ничего из еды не нашлось, местечку дали наименование Гунгербург.<sup>2</sup> Что это всего лишь красивая легенда свидетельствует тот факт, что уже в привилегии орденского мастера от 28 августа 1684 года нарвским купцам, по которой на сто лет запрещалась торговля и содержание корчем вдоль побережья

---

<sup>1</sup> Статья написана при поддержке Эстонского научного фонда, грант 6794

<sup>2</sup> Петров 1901, 353.

Финского залива, впервые фигурирует название «Гунгербург».<sup>3</sup> На старейших картах устья реки Наровы 1695 года по левую сторону берега располагался *Hüngerborg*, а по правую – *Magerborg* (ИАЭ 1695). Имя это было официальным вплоть до высадки эстонского морского десанта с кораблей английской эскадры 18 января 1919 года, ставшей точкой отсчета нового периода в жизни дачного поселка Нарва-Йыэсуу в составе независимой Эстонской Республики. Впрочем, русские уже в начале XX в. предпочитали называть поселок Усть-Наровой.

На этом курорте, возникшем в 1875 году и ставшем весьма модным в конце XIX-начале XX века, близком от Петербурга, недорого и с хорошим транспортным сообщением, летом перед I мировой войной отдыхало до 10000–14000 россиян.<sup>4</sup> Природа – море, река, озеро, лес «с органной музыкой старых сосен» и, конечно, изумительный песчаный пляж – превратила Гунгербург в один из лучших курортов не только в России, но и в Европе. Знаменательно, что в рекламно-развлекательной литературе он получил вполне *театральное* название – *Жемчужина Финского побережья*.<sup>5</sup> Прекрасный естественный пейзаж дополнялся разнообразными в архитектурном отношении дачами и пансионатами, которые могли служить декорациями к самым разнообразным драматическим или комедийным сюжетам. Здесь был каменный с колоннадой дом городского головы А. Т. Гана *Villa Capriccio*, напротив – с высокими башнями *Villa Bel Respino* П. Варгуни-на; далее – дача в мавританском стиле Р. Кольбе и, наконец, – летнее жилище *à la Russe* известного нарвского мецената купца С. Лаврецова. Кроме того, общий вид курорта дополняли более скромные, но с не менее громкими названиями, пансионаты – *Mon repo*, *Bo mond*, *Villa Irene*, *Fridau*, *Diana*, *Mon plesir* и т. д.<sup>6</sup> Деловая и торговая часть поселка начиналась сразу от пристани. Почта, несколько магазинов, базарная площадь, нашедшая отражение в одноименной картине в творчестве известной в 1920–30 гг. художницы Анны Петровны Калашниковой-Роот.<sup>7</sup> По соседству с базаром школа, сомнительного качества гостиница с претенциозным названием *Франция* и пожарное депо. Ближе к реке располагался сооруженный в 1893 году в византийском

<sup>3</sup> Orav 1993, 8.

<sup>4</sup> ЕЕ 1935, 135; Krivoshejev 1978, 15.

<sup>5</sup> Никифоров-Волгии 1929 2; Путилин 1914, 3; Роот 1922, 3.

<sup>6</sup> Krivoshejev 1978, 12-14; Orav 1993, 35.

<sup>7</sup> Владовский 1930, 2.

стиле храм в честь Равноапостольского князя Владимира, на закладку которого приезжал царь Александр III и императрица Мария Федоровна. Главная Меррекюльская улица обрамлялась с обеих сторон парками – светлым и темным. В светлом – в обширном живописном пруде плавали белые и черные лебеди. Наконец, центром и средоточием театральной жизни курорта являлся белокаменный двухэтажный кургауз, выстроенный по проекту архитектора М.С. Лялевича в 1912 г. на месте сгоревшего в июне 1910 г. деревянного здания. Он был снабжен большой крытой верандой с концертно-танцевальной площадкой, вместительным концертным залом для вечерних концертов, кабаре и танцевальных вечеров. Сад кургауза использовался для концертов симфонического оркестра, игравшего в садовой раковине–беседке. Рядом с каменным кургаузом находился деревянный летний театр на 300 мест, в котором давались драматические спектакли, оперетты и проходили творческие концерты поэтов и писателей. Месторасположение кургауза было таково, что он, как центральная сцена дачного поселка, просматривался отовсюду, так как все улицы сходились к нему. При большом наплыве отдыхающих, да еще и творческих профессий, – театральная жизнь Гунгербурга до революции конкурировала с самим Ревелем, хотя, как известно, курортный театр – явление сезонное, а отчасти и любительское.

В российском Гунгербурге дачничал весь цвет русской литературы – И. Гончаров, Н. Лесков, Д. Мамин-Сибиряк, Я. Полонский, К. Случевский, Саша Чорный и многие другие. Летом 1907–1908 гг. даже выходила газета *Голос гунгербуржца*.<sup>8</sup> Владимир Набоков устами своего героя-эмигранта со знаменательной фамилией Иванов из рассказа «Совершенство» ностальгически выписал естественный театральный фон и чувства обитателей местных дач предреволюционного периода: «Последний раз он видел море восемнадцать лет тому назад, студентом. Мерикюль и Гунгербург. Сосны, пески, далекая, бледно-серебристая вода, – пока дойдешь до нее, пока она сама дойдет до колен...».<sup>9</sup> Влюбленный восьмилетний ребенок из рассказа «Первая тоска» нарвитянина Василия Никифорова-Волгина (автору в пору написания этой зарисовки было 23 года) дается детское заманчивое видение курортного бытия из другого социального слоя России: «Если я женюсь на Груне, то всенепременно дачу в Гунгербурге сниму на

---

<sup>8</sup> Annus 1993, 286.

<sup>9</sup> Набоков 2006, 593.

берегу моря... У меня будет шоколадная фабрика. Денег у меня страсть сколько будет! Через месяц я именинником буду. Тятка мне даст двугривенный, мамка пятиалтынный, дядя Минай гривенник, тетка Меланья пятачек... Денег на разживу у меня хватит! Груне я куплю шелковое платье как у генеральши Протасовой, а себе модный «спинжак» с четырьмя карманами на французский фасон и длинные брюки, как у Федьки Тарасова. И буду я с Груней под ручку гулять и семечки лущить...»<sup>10</sup>

Мы сосредоточимся на выступлениях русских профессионалов, оставив в стороне дачное театральное любительство. Это отдельная тема, о которой мы здесь упоминаем вскользь. Для нас важно рассмотреть два аспекта дачной театральности – во-первых, жизнь театра настоящего с профессиональными актерами, а во-вторых, заразительность актерством и вовлечение всех дачников в некий летний спектакль, ежегодно повторяющийся с разными вариациями массовки, где главные герои естественно выделяясь из толпы, диктуют разные модели дачного поведения. Материалом для такого анализа нам служат периодика, архивные материалы, художественная проза и публицистика, а также мемуары.

После революции русские частные театральные труппы Таллинна<sup>11</sup>, Тарту<sup>12</sup> и Нарвы,<sup>13</sup> а также многочисленные артисты, волею судеб заброшенные в Эстонию, в летние месяцы отдыхали и работали в Нарва-Йыэсуу.<sup>14</sup> Известна, например, программа выступлений лета 1921 года «артиста государственных театров» Ивана Филипповича Филиппова – постоянного участника курортных сезонов в Эстонской Республике.<sup>15</sup> В июле он выступал в Нарва-Йыэсуу и в дачной местности Тойла вместе с певцом П.Н. Никифораки, танцовщицей В. Клапье де Колонг и мелодекламатором Н. Н. Чернаем, позже осевшем в Принаровье. В интерпретации Филиппова прозвучали популярные среди русской публики арии Гремина из «Евгения Онегина» и вяржского

<sup>10</sup> Волгин 1923, 2.

<sup>11</sup> Товарищество профессиональных артистов – начало декабря 1918, Русский театр под упр. В.Н. Владимировича – февр. – май 1919, Ревельский Русский театр А.В. Проникова и А.В. Чарского – 1920, Новый русский театр – февраль 1921. (См. Синдецкая 2001, 323-324, 326-327).

<sup>12</sup> Русский Театр в Юрьеве – март 1920. (Синдецкая 2001, 327; Исаков 2005, 379).

<sup>13</sup> Нарвский русский театр – октябрь 1921. (Синдецкая 2001, 334-335).

<sup>14</sup> Исаков 2004-2005, 371, 379, 391.

<sup>15</sup> Свободное слово 1921, 3; Об Иване Филипповиче Филиппове (наст. фамилия Бурхард; 1876-1943), см. Исаков 2001, 342.

гостя из «Садко». Никифораки пел эстонские и русские романсы, а дуэтом певцы с большим успехом исполнили «Моряки» К. П. Вильбоа и «Ванька-Танька» А. С. Даргомыжского. Чуть позже на сцене летнего театра Нарва-Йыэсуу прошел балетный вечер. Дачникам были показаны пластические и характерные танцы, в перерывах исполнялись песенки Вертинского и пр. Рецензент из Гунгербурга под криптонимом «Дэ» писал: «После целого ряда всевозможных миниатюр, балов, маскарадов неудивительно, что заманчивая программа «Балет» собрала, несмотря на дурную погоду, полный театр дачной публики. Это чуть ли не первый вечер за весь сезон с намеком на художественность».<sup>16</sup> Далее он отмечал, что выступавшая в кургаузе и в прошлый сезон представительница местной балетной «школы» Негина, пройдя курс обучения в Таллинне в студии Евгении Литвиновой, за год добилась заметных результатов. В танце «Молитва египтянки» она вполне проявила свое дарование, слабее были исполнены «Русалочка» и «Испанка».<sup>17</sup> Удачно «под Вертинского» пел В. Печорин (сценический псевдоним Владимира Самуиловича Богдановича, работавшего затем в театрах Нарвы и Таллинна). Обязательный атрибут всех «сборных» русских концертов – цыганские романсы, исполняла г-жа Кин, особенно удачно – популярный во все времена романс «Две гитары».

Пиком расцвета в Нарва-Йыэсуу русского профессионального театра в период Эстонской Республики нужно считать, на наш взгляд, сезоны 1923–1924 годов. Во-первых, здесь мы берем в расчет количество и качество спектаклей, а во-вторых, – число отдыхающих. Впервые после революции оно к середине августа достигло рекордной отметки 3500 человек. То, что учитывались интересы русских отдыхающих, свидетельствует тот факт, что через три года вышел путеводитель по курорту на русском языке.<sup>18</sup> Театральный сезон в Гунгербурге открылся спектаклем в летнем театре 21 мая комедией «Мой бэби», в котором играли артисты, осевшие в Нарве, не показавшие еще единого ансамбля. Русским актерам, прибывшим из Таллинна и из Тарту, пришлось дожидаться разрешения на право игры на русском языке из министерства внутренних дел, и первый полноценный театральный спектакль состоялся только 15 июля. В летнем театре ансамбль нарвских, юрьевских и ревельских артистов играл француз-

<sup>16</sup> Балетный вечер 1921, 4.

<sup>17</sup> Шор 2001, 363–364.

<sup>18</sup> Гунгербург 1926, 3-7.

скую комедию-фарс из репертуара петроградского театра «Пассаж» «Брачные мостки» в переводе Ф. Сабурова. Постановщиком был Александр Васильевич Чарский, главные роли исполняли Александра Аникетовна Жукова и Эрих Юрьевич Зейлер, ставшие впоследствии главными фигурами русской нарвской театральной жизни.<sup>19</sup> Сборная театральная труппа в этом сезоне сыграла перед гунгербуржцами драму Камолетти «За монастырской стеной» с Раисой Глазуновой в главной роли, комедию «Тетка Чарлея», драмы «Евреи» Е. Н. Чирикова и «Трильби» Гр. Ге.<sup>20</sup> Объявленная к постановке пьеса об эмигрантах местного автора и сотрудника газеты «Нарвский листок» В.Н. Баранова (псевд.: Владимир Шатров, Татров и др.) «На чужбине» сыграна не была.<sup>21</sup> Из театральных событий Нарва-Йыэсуу сезона особо следует отметить вечер поэзии артистки-гастролерши Елизаветы Тимофеевны Жихаревой,<sup>22</sup> состоявшийся 14 июля 1923 года в кургаузе.<sup>23</sup> Актриса, прибывшая в Гунгербург заранее 21 июня, на этом вечере читала стихи Шелли, Верхарна и Тургенева, звучала музыка Грига, Шуберта, Аренского и др. Гвоздем программы было исполнение поэмы А. Блока «Двенадцать». Бывшая мхатовка Жихарева, приехавшая в Эстонию вместе с актером Н. С. Барабановым весной 1922 года из Риги, была уже известна в Эстонии своими выступлениями в Таллине и в Тарту.<sup>24</sup> Ее репертуар содержал серьезные роли – Настасья Фи-

<sup>19</sup> Усть-Нарова 1923, 2. Летний сезон нарвские артисты проводили в Нарва-Йыэсуу с 1920 года. Бенефисы перемежались с проходными спектаклями, при этом соблюдалось строгое разделение по амплу: Г.Г. Рахматов – герой-любовник, Р.Н. Глазунова – драматическая героиня, А.В. Чарский – комик-резонер, С. К. Андреева – комическая и характерная старуха, А.А. Жукова – инженерю, Е.И. Львов неврастеник; Е. Н. Кузнецов – простак и т. д. (см. Синдецкая 2001, 334-336.) Фотографии из репертуарных пьес с участием этих артистов сохранились в альбоме Степана Рацевича (Рацевич 1920-1940, 5-8, 13-16).

<sup>20</sup> Рацевич 1920-1940, 5, 8

<sup>21</sup> Театр и искусство 1923, 3.

<sup>22</sup> Елизавета Тимофеевна Жихарева (1875 - 1967) выступала в труппе таллиннского Русского театра (1922), в 1923 - 1924 гг. руководила собственной студией (Пильский 1922). В 1927 г. вернулась в СССР и выступала в театрах Минска, Тбилиси, с 1936 г. в Ленинградском театре им. А.С. Пушкина. За роль Аппасионарии в драме А. Н. Афиногенова «Салют, Испания» получила государственную премию и звание засл. артистки РСФСР (1939). Архив Жихаревой находится в РГАЛИ (фонд 2967). Там хранятся воспоминания актрисы «История моей жизни», охватывающие советский период ее жизни 1935-1960-е гг. (ТЭ 1963: 692; РГАЛИ 7.:101).

<sup>23</sup> Татров 1923, 3; Выступление Е. Т. Жихаревой 1923, 1.

<sup>24</sup> В марте 1922 года Жихарева играла в составе труппы Русского театра дирекции А.В. Проникина, а в апреле – в Юрьевском русском театре.

липовна («Идиот»), Катерина («Гроза»), Сильвия Сеттала («Джиоконда» Д' Аннунцио), Саломея («Саломея» О. Уайльда), Анфиса в одноименной драме Л. Андреева и Электра в трагедии Г. фон Гофманстала. По отзывам современников, Жихарева была едва ли не единственной продолжательницей традиций великих русских актрис М.Г. Савиной и В.Ф. Комиссаржевской. Ее ампула – это трагические роли героинь классических пьес. В свой гунгербургский сезон Жихарева выступила также в роли режиссера-постановщика и исполнительницы заглавной роли Магды в драме Г. Зудермана с много говорящим для эмигрантов названием «Родина» (1893). Этот спектакль с успехом прошел в ее бенефис в Ревеле 25 апреля 1922 года и покорила ревельцев.<sup>25</sup> Добавим, что в августе в летнем театре Жихарева сыграла еще роли Кручининой в драме «Без вины виноватые» А. Н. Островского и Веры Мирцевой в одноименной драме Льва Урванцева.<sup>26</sup>

Кроме театральных постановок, в кургаузе чуть ли не ежедневно шли эстрадные представления. Успешно выступали студийки Е. В. Литвиновой.<sup>27</sup> На артистических субботниках и «японском вечере» пела известная таллиннская эстрадная певица А.А. Воскресенская (романтическое сопрано). В концертах играл салонный оркестр под управлением И.Б. Васильева, принимали участие танцевальная пара *Marcelle et Renè* и комик-куплетист Р. Ролин. Опереточный актер В. Печорин предлагал публике прошлогоднюю «вертинскиаду». Правда, оказалось, что нельзя два раза вступить в одну и ту же воду, имея успех от простого подражания Вертинскому, по словам П. М. Пильского, «полукомпозитору и поэту, талантливому человеку сцены». Местный обозреватель, весьма восторженно описавший субботний концерт в кургаузе Гунгербурга, посоветовал Печорину «чаще разнообразить свой репертуар».<sup>28</sup> Последние дачники могли наслаждаться вечером юмора и смеха при участии литератора П. М. Пильского и его супруги актрисы Е. С. Кузнецовой. Вечер состоялся уже после окончания дачного сезона 16 сентября 1923 года в зале Нарвского общественного собрания. Вступительное слово Пильского подготовило зрителей к восприятию юмористических рассказов А. П. Чехова, Аркадия Аверченко, Аркадия Бухова, Теффи и др. в исполнении Е.С. Кузнецовой. Ее прекрасные артистические данные, неподражаемую мимику и го-

<sup>25</sup> Чернявский 1922, 6-7.

<sup>26</sup> Шатров 1923, 3.

<sup>27</sup> Новиков 1923, 2.

<sup>28</sup> Субботник 1923, 2.



лос высоко оценил нарвский журналист В.Н. Баранов, особо выделив миниатюры «Экзамен», «На Украину» и «Дитя логики».<sup>29</sup> Позже Кузнецова неоднократно наезжала в Гунгербург, например, в 1926 г. она гастролировала здесь с пьесой «Шалая бабенка».<sup>30</sup> Совсем под занавес в начале октября в Нарва-Йыэсуу чествовали одного дачника, прожившего безвыездно на курорте пять лет и «ни разу не хворавшего ни флюсом, ни лихорадкой, ни ревматизмом. По его словам, он ежедневно выпивал с чаем по бутылке спирту!».<sup>31</sup> Такая реклама полезного воздуха в Усть-Нарове своеобразно перекликалась со знаменитыми строками Саши Чорного, писавшего:

...А воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком... О море, верней валерьяны  
врачует от скорби и зла...

В общем, можно говорить, что подобное построение театрально-развлекательных сезонов с небольшими вариациями было характерно для последующих семи лет. Например, в сезон 1924 года в летнем театре выступала гастрольная труппа русских актеров при участии Иллариона Николаевича Певцова, начинавшего карьеру в Товариществе новой драмы под руководством А.С. Кошерева и Вс.Э. Мейерхольда. В это время он состоял в труппе Первой студии Московского художественного театра.<sup>32</sup> На сцене летнего театра играли довольно редко представляемую публике пьесу Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» – историю циркового клоуна, обуреваемого экзистенциальными вопросами.<sup>33</sup> В пьесе Андреева 1915 года много мишуры и довольно банальная интрига. В маленький цирк приходит тихий, незаметный человек и просит принять его в клоуны. Делать на арене он ничего не умеет, единственное, что остается, – получать пощечины от всех желающих. Это удастся ему хорошо – публика в восторге. Но автор всячески пытается дать понять зрителю, что его герой – мудрец и благодетель человечества, а в цирк он удалился по причине личной трагедии: его жена ушла к любовнику. По Андрееву – это

<sup>29</sup> Исаков 2004-2005, 406, 407; Вечер юмора 1923,1; Шатров 1923а, 2.

<sup>30</sup> Гастроль Е.С. Кузнецовой 1926, 4.

<sup>31</sup> Гунгербург 1923, 3.

<sup>32</sup> Исаков 2004-2005, 414; О народном артисте РСФСР (1932) и педагоге И.Н. Певцове, см. Илларион Николаевич Певцов 1879-1934. Ленинград, 1935. <http://www.krugosvet.ru/articles/99/1009969/1009969a1.htm> (5.4.2007)

<sup>33</sup> В 1916 г. И. Н. Певцов снялся в главной роли в одноименной фильме у режиссеров А. Иванова-Гая, И. Шмидта.

событие не бытовое, а сугубо символическое: не жена уходит от гения к пошляку, а сама красота изменяет духу с материей. Пьеса сложная и мало удачная для постановки, но зато здесь было много переодеваний, циркового карнавала, адюльтер, что было близко и интересно именно дачной публике. В дальнейшем театральная жизнь Нарва-Йыэсуу все больше давала крен в сторону дачного развлекательного репертуара. Предпочтение отдавалось спектаклям миниатюр. Это мы видим в бенефисе художника-декоратора Нарвского русского театра В. И. Римского и суфлера С. В. Рацевича (1927), последний оставил весьма любопытные воспоминания о Нарвском театре. В вечере миниатюр с участием артисток Н. А. Волконской и А. В. Лабунской в жанре постановок Берлинского театра "Синяя птица", веселые сценки «Портреты» и «Русская идиллия» сопровождались частушками и балетными номерами.<sup>34</sup> Тот же подход демонстрировало и Театральное предприятие И. Ф. Филиппова в сезон 1929 года, представлявшее "Сказку о царе Ахромее" с участием самого певца в главной роли, с отдельными балетными и вокальными номерами.<sup>35</sup>

Кроме артистов-профессионалов, частыми гостями в Гунгербурге были известные поэты с театральными наклонностями Игорь Северянин, Вальмар Адамс, юные братья Лев и Юрий Шумаковы вместе со своим преданно любящим театр отцом, актером-любителем Дмитрием Шумаковым. Из видных русских писателей отметим уже упомянутого нами теснейшим образом связанного с театром П. М. Пильского, С. Р. Минцлова, В. А. Никифорова-Волгина и др. Последний в путевых набросках от «От Гунгербурга до Удриаса» писал: «Когда человек из каменных городских стен выйдет к вольным просторам земли, то происходит таинственное его обновление. Весь он меняется и приобретает особую душу и особое чувство. Детскость светится в его глазах...».<sup>36</sup> Именно это чувство собственного театрального преображения, которое навевалось естественными декорациями Усть-Наровы, манило сюда даже далеких от театра людей. Здесь семейно отдыхала русская профессура из Тартуского университета – Курчинские, Гриммы, Тютрюмовы – всем своим видом и манерами напоминавшие блестящие былые времена. В начале 1930-х гг. на квартире Курчинского в Нарве-Йыэсуу проводились собрания Нарвского отделения Русского

<sup>34</sup> СтНЛ 1927, 3; СтНЛ 1928, 4.

<sup>35</sup> Концерт Филиппова 1929, 2; Вечер Филиппова 1929, 2.

<sup>36</sup> Никифоров-Волгин 1929, 2.

национального союза по поводу русской культурной автономии. Профессор гражданского права Тартуского университета известный русский цивилист Игорь Тютрюмов в 1932 году купил здесь себе дачу Л. М. Готовцевой, ставшей его последним прибежищем в военные годы.<sup>37</sup>

Релаксирующие горожане, вырвавшиеся на лето в дачный поселок, бегущие от городских проблем, попадали в обстановку, которая диктовала стиль и ритм дачной жизни. «Вечный дачник» из Тойла Игорь Северянин не раз выступал на сцене кургауза в Нарва-Йыэсуу, а в конце 1930-х гг. он снимал здесь квартиру на лето.<sup>38</sup> Несмотря на военные действия близ Нарвы, свои регулярные выступления в Эстонии Северянин начал уже с марта 1919 года. В августе в Тойла, близ Нарва-Йыэсуу, а затем в Нарве в помещении Эстонского городского собрания состоялись литературные концерты Игоря Северянина с участием эстонских литераторов А. Гайлита, Х. Виснапуу и Р. Рохта.<sup>39</sup> Затем он почти ежегодно выступал в Таллинне и в Нарве. Например, в 1923 году в Нарве дважды устраивались его поэзо-концерты: 28 апреля его можно было послушать в кинотеатре «Скэтинг», а 7 октября в зале Нарвского клуба состоялся вечер при участии Ариадны Изумрудной [артистическое имя жены Северянина Фелиссы Круут – Т. Ш.].<sup>40</sup> Поэт прочел около 30 своих произведений. В. Н. Баранов по свежим следам писал об этом вечере так: «Своеобразная дикция г. И. Северянина, его певучий, тонко выразительный голос, изысканно филигранные стихи, в передаче поэта невольно ласкавшие и обострявшие настроженный слух публики зала, – все это создало шумный успех автору поэз, которого по окончании каждого номера приветствовали бурными и восторженными хлопками да так, что в ушах звенело».<sup>41</sup>

<sup>37</sup>ИАЭ 1932, 5-12; На фотографии 1938 года из архива газеты «Постимезс» на скамейке парка в Нарва-Йыэсуу сидит проф. Тютрюмов. В строгом черном костюме, в рубашке с накрахмаленным воротничком и галстуком, как будто только что собрался на очередную лекцию. В 1940 г. газета «Postimees» перепечатала эту же самую фотографию к 75-летию юбилею уважаемого профессора (на самом деле 85-летнего! – Т. Ш.). Через три года 29 III 1943 г. его не стало. (Tjutrumov 1938: 6; ИАЭ Ф 2111. Оп. 1. Д. 12222).

<sup>38</sup> Исаков 2005, 440.

<sup>39</sup> Исаков 2004-2005, 381; Вестник СЗА 1919, 2.

<sup>40</sup> Поэзо-вечер 1923, 1.

<sup>41</sup> Шатров 1923б, 2.

О выступлениях Северянина перед дачниками вспоминала Тамара Павловна Милютинина<sup>42</sup>: «В Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) тетя Зина [известный таллиннский педагог, автор учебников Зинаида Николаевна Дормидонтова (1884–1976) – *Т. Ш.*] снимала комнату в Шмецке — так назывался дальний ряд дач, очень красивых, с деревянной резьбой. Несколько из них принадлежали отцу Ирины Борман,<sup>43</sup> которая писала стихи, была умным и своеобразным человеком, дружила с Игорем Северяниным.

Я проснулся в слегка остариненном  
И в оновенном — тоже слегка! —  
Жизнерадостном доме Иренином  
У оранжевого цветника.

Так писал о ее доме Игорь Северянин. Дважды мы были на концерте Северянина. Он приплывал в Гунгербург из Тойла — на лодке! Очень трудным было начало концерта — Северянин хмурился, неохотно читал стихи, потом вдохновлялся аплодисментами и овациями и начинал почти петь».<sup>44</sup> У Т. П. Милютинной, по всей вероятности, речь идет о поэзовечерах Игоря Северянина, состоявшихся в кургаузе Нарва-Йыэсуу 7 августа 1925 года, в сопровождении профессора Всеволода Гамалеи<sup>45</sup> и 30 июля 1927 года. В последнем из них пел также известный бас И. Ф. Филиппов в сопровождении великорусского оркестра Нарвской эмигрантской гимназии. Игорь Северянин читал новые поэмы под аккомпанемент Вс. Гамалея. Как писал рецензент «Нашей газеты»:

Кроме оркестра в концерте принимал участие еще и Игорь Северянин со своими "поэмами". Можно быть не особенным поклонником его манерного исполнения своих

<sup>42</sup> Тамара Павловна Милютинина (урожд. Бежаницкая, по первому браку Лаговская) (1911–2004), деятельница Русского Студенческого Христианского Движения в 1930-е гг., автор ряда интересных воспоминаний, вышедших в полном объеме под редакцией С.Г. Исакова в 1997 году.

<sup>43</sup> Дачи Борманов находились на участке в Шмецке на берегу Финского залива под крепостным № 1 (1127 кв. сажен, ул. Ауга, 85). Отец Ирины – крестьянин Везенбергского уезда Петровской волости Константин Иванович Борман (ум. 9 мая 1919 г.), был первым дачевладельцем в Шмецке, о чем свидетельствует крепостная запись от 5 марта 1876 года. В 1939 г. официальными наследниками были признаны вдова Екатерина Борман и дети Михаил, Ирина и Антонина, в замужестве Егорова. (ИАЭ 1876. 1-131).

<sup>44</sup> Милютинина 1997, 41.

<sup>45</sup> ПИ 1925а, 1, 3; ПИ 1925, 4.

стихотворений, но в последних никто не может отрицать несомненного поэтического таланта. Очень понравилось публике прочитанное автором стихотворение, – вариация на Мятлевские слова "Как хороши, как свежи были розы."<sup>46</sup>

По детским, очень «театральным» воспоминаниям Ю. Д. Шумакова образ Северянина в «декорациях» Нарва-Йыэсуу высвечивался в несколько ином ракурсе – в маске поэта-дачника:

Как-то, гуляя с отцом у реки, там, где Россонь впадает в своенравную Нарову, я увидел лодку, а в ней рыболова. Он, словно священнодействуя, весь отдался своему занятию. Внезапно человек в лодке резким движением выхватил из кармана какую-то книжицу и принялся с лихорадочностью что-то записывать. Перехватив мой взгляд, отец сказал: "Это – поэт Игорь Северянин".

Через несколько дней после прогулки у реки сижу как-то на крыльце. Из проулка показался человек. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами, чем-то напоминало индейского вождя. Не хватало лишь пера в черных, как смоль, волосах. Я узнал его...<sup>47</sup>

«Аромат» театра чувствуется и в письме к Вальмару Адамсу близкой приятельницы Северянина Ирины Борман (поэтический псевдоним Ирбор), написанном почти через сорок лет после первого знакомства с поэтом:

Сейчас час ночи, завтра рождение Северянина и забыть нельзя того, что даже нечего и вспомнить! А вот помню, как в вспышках зарниц Северянин пел стихи на нашем Шмецком берегу для вас и для меня...(14–15.V.1976).<sup>48</sup>

«Русские сезоны» в Нарва-Йыэсуу продолжались вплоть до 1930 года, хотя очевидные признаки упадка русского театра в Эстонии обнаружались уже в 1927 г. Кризисное состояние, перманентно сотрясавшее театральные подмостки столицы, пророчески предсказал покинувший Эстонию П.М. Пильский.<sup>49</sup> А пока на площадках курзала Усть-Наровы царили балетные вечера ревельских артистов С. Инсарова и Т. Истоминой, учениц балетных студий известных балерин Е. В. Литвиновой, Тамары Бек и ее кабаре. Т. Бек, вышедшая замуж за нарвского домовладельца и содержателя кино в Таллинне "Гранд-Марина" Я. П. Крейцера, неоднократно гастролировала в Нар-

---

<sup>46</sup> НГ 1927а, 4; НГ 1927б, 3.

<sup>47</sup> Шумаков 1997, 215.

<sup>48</sup> Пономарева, Исаков 2001, 264.

<sup>49</sup> Меймре 1996, 208; Синдецкая 2001, 330-332.

ве и Усть-Нарве. Наибольший успех сопутствовал ее совместным выступлениям с солисткой Мирой Миральдой и партнером Лундманом в период с 1929 по 1932 гг..<sup>50</sup> Летний театр предлагал развлекательные постановки различных сборных трупп русского театра (фарсы «Война с тещей», «Брачные мосты», «Мой бэби», комедии «Холостячка», «За монастырской стеной», «Поташ и Перламутр», пьесы «Кин», «Цепи» и т. д.). Большая заслуга в создании театральной атмосферы Усть-Нарвы конца 1920-х гг. принадлежала певцу И. Ф. Филиппову. В 1926 году совместно с Э. Ю. Зейлером они организовали местную дирекцию театров. Вплоть до 1930 года Филиппов успешно сочетал артистическую и административно-театральную деятельность, не забывая приглашать для выступлений перед дачниками Игоря Северянина.<sup>51</sup>

С середины 1920-х гг. в гунгербургской Св.Владимирской церкви стали постоянно проводиться концерты духовной музыки. В 1926 г. здесь пел смешанный церковный хор под упр. И.Ф. Петрова. В программе значились произведения А.А. Архангельского, Д.С. Бортнянского, П.И. Чайковского и др..<sup>52</sup> Пожалуй, это единственные русские концерты, которые охотно посещали все отдыхающие без различия наций, дожившие начала Второй мировой войны.

Высокая планка русского театрализованного дачного быта, привнесенная в Гунгербург до революции визитами членов царской фамилии и творческой элитой, с большими усилиями поддерживалась русской эмиграцией. Но все больше и больше дачное пространство и театральные подмостки занимались новыми хозяевами жизни. В 1929 году Никифоров-Волгин писал о своих впечатлениях от Нарва-Йыэсуу: «Все в прошлом, гудят соседи, – все в прошлом. Да, Гунгербург изменился. Зеленые улицы пустеют. Дачи разрушаются и продаются на слом. Там, где была жизнь, растет густая трава, и виднеются груды развалин...».<sup>53</sup> Русских артистов вытесняли на второй и даже третий план. Но умирал *русский* курорт, и возрождался новый – эстонский. В начале 1930-х гг. администрация курорта внесла много новинок для того, чтобы дать надлежащую оправу *жемчужине Балтийского моря*. На пляже было оборудовано новое "Ranna Kasino", концертировал военный оркестр 1 дивизии под упр. Кнуде, играл симфонический

<sup>50</sup> СтНЛ 1932, 3; Шор 2001, 365-366.

<sup>51</sup> ПИ 1926а, 4; ПИ 1926б, 3.

<sup>52</sup> ПИ 1926, 4.

<sup>53</sup> Никифоров-Волгин 1929, 2.

оркестр, имелись площадки для баскетбола, футбола и гимнастики. Вступили в строй две телефонные будки и весь курорт был электрифицирован. Впервые на пляже появились плетеные кабинки, число платных стульев увеличилось вдвое, а число отдыхающих перавалило за 3000. Для заведования курзалом был приглашен Павел (так!) Пинна.<sup>54</sup> И хотя сюда еще прибывали русские знаменитости и П.М.Пильский, и С.Р. Минцлов, и Н. И. Мерянский, которого встречали как дорогого гостя с цветами, русский театр больше не пользовался особым спросом.<sup>55</sup> Разве что любительские драматические постановки общества «Святогор» несколько разнообразили культурную программу русских дачников. Например, 10 июля 1932 в помещении «Калью» была показана пьеса А. Ренникова «Беженцы всех стран». Культурная жизнь переместилась в стены местного Русского просветительного общества, возрожденного 9 октября 1932 года усилиями священника о. Евгения Яхонтова. Изредка проводились литературные суды («Муму»), на дни русского просвещения 1933 года ставились русские пьесы «Не в свои сани не садись», «Не все коту масленица» (режиссер – Н. Н. Базанов) и «Нечистая сила» А. Н. Толстого в постановке Венкульского просветительского общества «Заря». В августе русский литературно-художественный вечер состоялся не в кургаузе, а в стенах мастерской художницы М. Г. Бек-Мармарчевой. На вечере со своими произведениями выступали поэтесса Тамара Бух и В. А. Никифоров-Волгин. Оба эти нарвитянина отметили публикациями в местной прессе 40-летний юбилей Константина Случевского, чья обветшалая дача находилась на улице Поска, бывшей Губернаторской.<sup>56</sup> Тамара Бух писала:

Заглох тот уголок, что вдохновлял поэта.  
 Лишь вьется плющ и дремлет старый дом  
 И кажется, звучит та песнь, что им пропета  
 И плачет жалобно, так жалобно о нем.  
     Угас поэт, но песня его льется;  
     Разрушен дом, но тайны он хранит,  
     И в час ночной в нем песня раздается, ...  
 И внемлет дом, что всеми позабыт!<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Гунгербург 1931, 2.

<sup>55</sup> Хроника 1931, 2.

<sup>56</sup> Никифоров-Волгин 1934, 2.

<sup>57</sup> Бух 1933, 3.

Все реже на открытых площадках Нарва-Йыэсуу можно было услышать русскую музыку, русское слово и лишь отдельные фрагменты напоминали о былой беззаботной, полной вдохновенной игры и блеска жизни бывшего русского курорта. Упомянем гастрولي Таллиннского русского театра, созданного в 1935 году под руководством Н. Н. Устюжанина, в сезоны 1936–1938 гг. Театр порадовал русских дачников профессиональными спектаклями, представив пьесы «Касатка» А. К. Толстого, «На бойком месте» А. Н. Островского и «свежий» советский театральный бестселлер «Слава» В. М. Гусева.<sup>58</sup> В ежегодно проводимых выборах летней королевы русские красавицы могли рассчитывать только на титул первой принцессы. Так в 1938 году первой принцессой была признана В. Громова, второй Х. Миккола, а королевой – Хельми Метс.<sup>59</sup> В холодный день 12 июня 1935 г. был отпразднован 75-летний юбилей курорта, на котором присутствовали президент К. Пятс и генерал И. Лайдонер.<sup>60</sup> Нарва-Йыэсуу становился эстонским местом отдыха, сюда приезжали отдыхать высшие государственные чиновники, приглашались высокие иностранные гости. В начале лета 1940 г. в газетах говорилось, что это самый открытый курорт в Эстонии, и в этот сезон ожидается не менее 8000 отдыхающих.<sup>61</sup>

Советская оккупация, а затем военные годы нарушили нормальное развитие Нарвы-Йыэсуу, снова ставшим заштатным местечком при Нарве, покоренной немецкими войсками 17 августа 1941 г.<sup>62</sup> В статистических отчетах за 1942–1943 гг. число жителей курорта колебалось от 1179 до 1340 человек. В летние месяцы 1942 г. было зарегистрировано 61 посторонний житель, а в следующем 1943 году дачников было 126.<sup>63</sup> Изящная дача с садом в стиле югенд композитора Эдуарда Направника превратилась в дом отдыха для немецких солдат, перед которыми время от времени выступали сборные концертные бригады. В конце войны весь садово-архитектурный ансамбль погиб. Превосходный образец церковной архитектуры Владимирский храм в 1944 года

<sup>58</sup> СтНЛ 1935, 3; РВ 1936, 3; СтНЛ 1937, 3.

<sup>59</sup> Narva-Jõesuu 1940, 5.

<sup>60</sup> *ibid.*, 6, 8.

<sup>61</sup> *ibid.*, 16.

<sup>62</sup> Rahvakalender 1942, 29.

<sup>63</sup> Statistische Berichte 1942, 171; Statistische Berichte 1943, 188. Для сравнения скажем, что в Хаапсалу в 1943 г. было зарегистрировано 200, в Эльве 115 и в Курессааре – 82 отдыхающих.



взорвался от мины замедленного действия, подложенной отступающими немецкими войсками, символически похоронив под своими обломками остатки культуры русского дачного быта начала XX века.

## Литература

- Балетный вечер (1921), *Дэ. Балет-концерт в Гунгербурге: Свободное слово*. 1 VII, № 87, 4.
- “Брачные мостки” (1923), Усть-Нарова. «Брачные мостки» в Кургаузе. *Нарвский листок*, 26 VI, № 22, 2.
- Бух, Т. Б. (1933), [Тамара Бух], Посвящается „Уголку“ поэта Случевского. *Русское слово*, 3 I, № 2.
- Вечер юмора (1923), Вечер юмора и смеха. *Нарвский листок*, 15 IX, № 55.
- Вечер Филиппова (1929), Вечер И.Ф. Филиппова в Гунгербурге (письмо дачника). *Вести дня*. 12 VIII, № 216.
- Вестник СЗА (1919), Литературный вечер [Объявление]. *Вестник Северо-Западной Армии*, 23 (10) VIII, № 52.
- Владовский, А. (1930), Выставка нового общества художников. *Вести дня*, 27 III, № 84.
- Выступление Е. Т. Жихаревой (1923), Выступление Е. Т. Жихаревой. *Нарвский листок* 14 VII, № 28.
- Гастроль Е.С. Кузнецовой (1926), Гастроль Е.С. Кузнецовой в спектакле “Шалая бабенка”: *Последние известия*, 31 VII, № 168.
- Гунгербург (1923), Гунгербург. *Нарвский листок*, 23 X, № 71.
- Гунгербург (1926), *Гунгербург (Усть-Нарова)*. Нарва.
- Гунгербург (1931), Гунгербург. К предстоящему сезону. *Русский вестник*, 1931, 29 апр. № 13, 3.
- Исаков (2001), Исаков С. Г. (ред.), Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940). Тарту, Санкт-Петербург.
- Исаков С. Г. (2005), Первое научное издание сочинений Игоря Северянина: *НЛО*, т. 71, 434–441.
- Исаков (2004–2005), Исаков С. Г. (сост.), *Хроника литературной жизни русского зарубежья. Эстония (1918–1924): Литературоведческий журнал*, т. 18. Москва, 370–418.
- Концерт Филиппова (1929), Концерт И. Ф. Филиппова в Гунгербурге: *Вести дня*, 9 VIII, № 213.
- Меймре, А. (1996), П. М. Пильский в Эстонии: 1922–1927: Балтийский архив. *Русская культура в Прибалтике*, т. 1. Таллинн, 202–217.
- НГ (1927а), Гунгербург: *Наша газета*, 30 VII, № 107.
- НГ (1927б), К. Концерт И. Ф. Филиппова в Гунгербурге. *Наша газета*, 2 VIII, № 109.
- Набоков, Владимир (2006), *Собр. соч. русского периода в 5-ти томах*, т. 3. Москва, 591–609.
- Никифоров-Волгин, Василий (1923), *Первая тоска (Из детства)*: *Нарвский листок*, 28 IV, № 5.

- Никифоров-Волгин, Василий (1929), От Гунгербурга до Удриаса: *Старый нарвский листок*, 11 VII, № 75.
- Никифоров-Волгин, Василий (1934), Забытый певец Усть-Наровы. 40-летие „уголка Случевского“. *Старый нарвский листок*, 25 VII, № 85.
- Новиков, В. (1923), Театр и искусство. Балетный вечер студии Е.В. Литвиновой. *Нарвский листок*, 28 VII, № 34.
- Поэзо-вечер (1923), Поэзо-вечер. *Нарвский листок*, 25 IV, № 4.
- Петров, А. В. (1901), *Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности*. Ст. Петербург.
- ПИ (1925а), В-ов[Я. Воинов], Поэзо-концерт Игоря Северянина. *Последние известия*, 6 VIII, № 177.
- ПИ (1925б), Гунгербург. Поэзо-концерт Игоря Северянина. *Последние известия*, 10 VIII, № 181.
- ПИ (1926), Гунгербург. *Последние известия*, 9 V, № 102.
- ПИ (1926а), Закрытие театрального сезона. *Последние известия*, 20 VIII, № 185.
- ПИ (1926б), Владимиров Ст., Закрытие сезона в Гунгербурге. *Последние известия*, 26 VIII, № 190.
- Пионерский, Петр (1922), *В Эстонии: Сегодня*, 18 X, № 235.
- Пономарева, Галина & Исаков, Сергей (2001), Письма Игоря Северянина 1932–1935 гг. к Ирине Борман (Из архива Рейна Крууса). *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. (Новая серия)*, т. 4. Тарту, 260–281.
- Путилин (1914), К. Путнлин. *Жемчужина Финского побережья*. (Гунгербург). Нарва.
- РВ (1936), Культурная работа таллиннского Русского театра в провинции. *Русский вестник*. 13 VI. № 46.
- РГАЛИ (1998), Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель, вып. 7. Москва.
- Роот, Н. (1922), “Жемчужина Финского побережья”. *Жизнь*, 15 VII, № 71.
- Свободное слово (1921), Концерт в Тойла. *Свободное слово*, 28 VIII, № 84.
- Синдецкая, Н., (2001), *Театр: Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918-1940)*. Тарту; Санкт-Петербург, 321–339.
- Случевский, Контантин (1902), *Стихотворения и поэмы*. Москва, Ленинград 1962.
- Субботник (1923), Р., Усть-Нарова. Субботник в кургаузе. *Нарвский листок*, 12 VII, № 27.
- СтНЛ (1928а), Объявление. *Старый нарвский листок*, 6 VIII, № 114.
- СтНЛ (1928б), Объявление. *Старый нарвский листок*, 2 VIII, № 84.
- Ст.НЛ (1932), Балетная труппа Тамары Бек в Германии. *Старый нарвский листок*, 27 X, № 121.
- СтНЛ (1935), “Касатка”. *Старый нарвский листок*, 2 VIII, № 86.
- СтНЛ (1937), Таллиннский Русский Театр закончил гастрольную поездку по Принаровью. *Старый нарвский листок*, 28 VII, № 83.
- Татров, П. (1923), [П. М. Пильский], *Театральный календарь: Последние известия*, 23 VI, № 147.
- Театр и искусство (1923), Р., За монастырской стеной. Драма “На чужбине”. *Нарвский листок*, 31 VII, № 35.
- ТЭ (1963), *Театральная энциклопедия*, т. II. Москва.
- Усть-Нарова (1923), Театрал, Усть-Нарова. Спектакль в Кургаузе. *Нарвский листок*, 12 VII, № 27.
- Хроника (1931), Усть-Нарова. Гости из Риги. *Русский вестник*, 22 V, № 22.

- Чернявский, Ал. (1922), Е.Т. Жихарева в “Родине” Зудермана. *Tater ja Kino. = Teatr u кино*, 22–28.IV, №. 20, 6–7.
- Шатров, Владимир (1923), [В. Н. Баранов], Театр и искусство: *Нарвский листок*, 21 VIII. № 44.
- Шатров, Владимир (1923а), Театр и искусство. *Нарвский листок*, 18 IX, № 56.
- Шатров, Владимир (1923), Театр и искусство. Поэзовечер. *Нарвский листок*, 9 X, № 65.
- Шор, Т. (2001), *Балет: Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918-1940)*. Тарту; Санкт-Петербург, 361–366.
- Шумаков, Ю. Д. (1997), *Избранное*, Таллин.

- Annus (1993), *Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675 – 1940*. Annus, E. (toim.), Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu.
- EE (1935), Kleis R. (toim.), *Eesti entsüklopeedia*, köide. VI. Tartu, “Loodus”.
- Krivošejev (1978), Krivošejev, Jevgeni, *Narva-Jõesuu : kultuuriloolisest minevikust*. Tallinn, “Eesti Raamat”.
- Orav (1993), Orav, Virve, *Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga*. Tallinn.
- Rahvakalender (1942), *Aasta 1942 rahvakalender*. Tallinn, Eesti Kirjastus.
- Statistische Berichte (1942), *Satistische Monatsschrift für den Generalbezirk Estland*, Heft 6–8, Juni–August.
- Statistische Berichte (1943), *Satistische Monatsschrift für den Generalbezirk Estland*, Heft 14–15 (4/5). Juni–August.
- Tjutrumov (1938), I. Tjutrumov 35. a. professoriks. Suwitab praegu Narva-Jõesuus: Postimees, 8 VIII, nr. 181.

## Архивные материалы

### Исторический архив Эстонии (ИАЭ)

- ИАЭ (1695), *Карта окрестностей Нарвы и Гунгербурга*: ИАЭ, ф. 1646, оп. 1, д. 2643.
- ИАЭ (1876), *Дело об укреплении наследственно-оброчного участка в местечке Шмецке, крепостной № 1*: ИАЭ, ф. 4187, оп.1, д. 2600.
- ИАЭ (1932), *Дело об укреплении оброчного участка № 95 а (Парги 2) в Нарва-Йыэсуу, крепостной № 577*: ИАЭ, ф. 4187, оп.1, д. 3146.
- Рацевич (1920-1940), *Альбом С. В. Рацевича. Театральная и общественная Нарва. Труппы. Актеры. Сцены. Роли*: ИАЭ, ф. 2073, оп. 1, д. 264.
- Narva-Jõesuu (1940), *Narva-Jõesuu – Eesti avaram kuurort*: ИАЭ, ф. 2111, оп 1, д. 5326, л. 1.
- Narva-Jõesuu (1938), *Tallinna preili N.-Jõesuu suwekuningannaks*: ИАЭ, ф. 2111, оп 1, д. 5326, л. 2.
- Narva-Jõesuu (1935), *Narva-Jõesuu kuurordi juubel*: ИАЭ, ф. 2111, оп 1, д. 5326, л. 3.
- Tjutrumov (1938), 6; *Professor Igor Tjutrumov*: ИАЭ, ф. 2111, оп. 1, д. 12222.

**KATJA WIEBE**

## **Living in a Heterotopia? The Summerhouse as Foucauldian “Other Space” as Presented in Oscar Parland’s Trilogy on Childhood**

### **Heterotopia and Leisure Space**

There are also, probably in every culture, in every civilization, real places – places that do exist and that are formed in the very founding of society – which are something like counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted. Places of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in reality. Because these places are absolutely different from all the sites that they reflect and speak about; I [Michel Foucault] shall call them, by way of contrast to utopias, heterotopias.<sup>1</sup>

In his article “Of Other Spaces” Michel Foucault assumes that we live in a time of space, of spatial relations. He sketches the concept of heterotopia, which, together with the utopia, constitutes two special kinds of spaces or places within a society, a culture or a civilization. In the spatial “cluster“ of different culturally or socially arisen standardized relations heterotopias as well as utopias reflect, “suspect [and] neutralize“ those standardized relations and invert them.<sup>2</sup> While the utopia is not connected with a real place and stays an unreal desirable or cursed space, heterotopias are marked as real existing places or institutions. Every society or culture (consciously or unconsciously) establishes heterotopias as spaces of compensation, illusion, crisis or deviation. Foucault gives examples like psychiatric hospitals, pris-

---

<sup>1</sup> Foucault 1986, 24.

<sup>2</sup> Foucault 1986, 24.

ons, museums, brothels, retirement homes, cinema, the cemetery or a ship.<sup>3</sup> From these examples it becomes clear that heterotopias merge very different qualities. But they always function as a kind of corrective, compensation or contradiction to the conventions and standard of a society. At the same time heterotopias depict those conventions as they belong to the same system which produces these conventions: Both are parts of a system, generated by the same civilization.

Foucault relates this conflict between the “one” (the “standardized”) with the “other” (heterotopian) space to the sanctification of spaces in our times: Boundaries and oppositions between “private space and public space, between family space and social space, between cultural space and useful space, between the space of leisure and that of work” still reflect a “hidden presence of the sacred”<sup>4</sup> and are based on certain implications and appraisal by the society. This means that the space in which the members of a society live, is not empty but imbued ideologically, mythically and perhaps “thoroughly fantasmatic[ally]”<sup>5</sup>. According to Foucault these spaces are related due to this characteristic and a complex cluster of relations comes into being generated by a certain society or culture. In this cluster heterotopias take on the function of islands or special sites. They are linked to the cluster as they arose from the same society, but contradict it at the same time: heterotopias check, overcome or observe the cluster of social relations and routines which are shaped by spaces. The heterotopia is a special space among other socially given spaces and its functions are different and contrary to those of the latter. The heterotopian space differs from the social relations, that it reflects. One might say that the heterotopia is “a sort of simultaneously mythic and real contestation of the space in which we live.”<sup>6</sup>

Foucault’s assumption that heterotopias are “absolutely different” and by this overcome or contradict certain standards or arrangements within a society is questioned by various researchers.<sup>7</sup> The difference of heterotopias compared to most other places within a particular society or civilization should rather be called relative than absolute. The assignation of heterotopias to a given social system lets them differ only to a certain extent from

---

<sup>3</sup> cf. Foucault 1986, 25, 27.

<sup>4</sup> *ibid.*, 23.

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> Foucault 1986, 24.

<sup>7</sup> Especially Benjamin Genocchio as Pia M. Ahlbäck points out in her work about heterotopias. (cf. Ahlbäck 2001, 156-160, 171.)

other spaces of that system. There are still many elements in a heterotopia which are consistent with the rest of the system. Because of that – as the Swedish researcher Pia Maria Ahlbäck argues – heterotopias are places of relative otherness, which can be only individually experienced as absolutely others.<sup>8</sup>

Such a relatively other space, a representation and simultaneous questioning of certain social-spatial clusters within a society or culture is shown by the former estate Teerilä in the Swedish trilogy *Den förtrollade vägen* (1953), *Tjurens år* (1962) and the fragmentary *Spegelgossen* (2001) by Oscar Parland.<sup>9</sup> The heterotopian trades of the former estate Teerilä seem to be a good example for the phenomena of a leisure or recovery space within a social system, where working space dominates everyday life. Like most of the Occidental societies, the society presented in the book is a pleasure-seeking (leisure-seeking) one. Leisure plays an important part and the longing for leisure or pleasure must be regarded as “standard” or “norm” in this society.<sup>10</sup>

The places which give that society the possibility of leisure or pleasure might to some extent be called heterotopia as they are “effectively enacted utopias”, i.e. places of longing, which have become reality or where leisure/pleasure is institutionalised.<sup>11</sup> Examples like the cinema, the museum or the holiday resort can be given from Foucault’s article. I shall call them leisure space heterotopias. The former estate Teerilä in Parland’s novels will be assumed as one of them and opposed to the space of work. The relational cluster of the leisure space heterotopia does not only result from the relation leisure – work but also from the relations between cultural and natural space and urban space – countryside respectively and will be examined in this article.

---

<sup>8</sup> Ahlbäck 2001, 161.

<sup>9</sup> *The Enchanted Way* (1953), *The Year of the Bull* (1962), *Mirrorboy* (2001).

<sup>10</sup> Foucault argues, that “leisure/pleasure is the rule” in Occidental societies, which means that those societies are pleasure/leisure-seeking ones as Ahlbäck depicts. (cf. Ahlbäck 2001, 61.)

<sup>11</sup> If one defines utopias as places of longing, as experience of the different. Foucault’s paradoxical assumption, that the retirement home, the prison, the psychiatric clinic are such “effectively realised utopias” can be solved if one takes into account the perspective from which this assumption is made. Foucault argues that these heterotopias are those of “deviation”, i.e. where people, deviating from the society’s norm, can be put in. “From the point of view of pleasure-seeking society, a place where the deviant can be put away consequently becomes an “effectively realized utopia” as Ahlbäck argues. (Ahlbäck 2001, 61.)

In Parland's trilogy the I-narrator Riki depicts his childhood on the estate at the beginning of the 20<sup>th</sup> century. The estate is situated on the Karelian Isthmus, which has been a highly prominent place for leisure and recovery culture during that time.<sup>12</sup> Oscar Parland, a child of Russian socialized parents of Anglo-Baltic origin<sup>13</sup>, grows up on the Isthmus and brings his novels in line with the typical summerhouse life he explored during his childhood.<sup>14</sup> In the novels the property of Teerilä estate comprises several summerhouses without being dominated by a main building, a noble way of life or agriculture (as on a classical estate). The summerhouses belong to Riki's relatives or their acquaintances, who belong to a milieu of businessmen or intellectuals. Except Riki, his mother, grandmother and brothers, who live permanently on the estate, the family members live in St. Petersburg or Viborg and use their summerhouse for recovery and during their leisure time.<sup>15</sup> In doing so, these people and their behaviour get close to the typical pattern of Russian dacha life, which is associated with differing types of architecture and filled with various social and cultural implications through history. This rather heterogeneous dacha lifestyle as leisure space is opposed to working space, which itself is linked to urban space.<sup>16</sup> This means that the dacha deserves its meaning or definition through its function and through its relations to other sites rather than through a special architecture. Its function or relation to other spaces is assigned by society and in this way the dacha can be marked as a Foucauldian heterotopia.

---

<sup>12</sup> Especially the numerous Russian dacha-settlements that stretched along the railway from Petersburg to Viborg give proof of that popularity of the Isthmus. At least, this popularity is reflected by the great amount of articles about the Isthmus: Birnbaum 1996, 267-276; Bodin 1989, 25-40; Hämäläinen 1986, 518-538; Sihvo 1999, 236-248.

<sup>13</sup> His parents grew up like most of their relatives in the „civil/bourgeois milieu” of St. Petersburg, “which was characterized by a cosmopolitan, Russian-tsarist culture” [paraphrased by me, K.W.] (cf. Parland 1991a, 160.)

<sup>14</sup> cf. the blurb of Parland 1962. See also the review of *Den förtrollade vägen* by Maija Lehtonen, paraphrased by Kristina Björklund: “The Enchanted Way gives a clear impression of how the German-Russian-Swedish upper class lived on the Karelian Isthmus before WW 1.” [My translation, K.W.] (cf. Björklund 1982, 31.)

<sup>15</sup> In his essayistic memoirs Parland shows that the model for the fictional Teerilä has been the estate Tikkala. Tikkala estate became property of the Sesemann family in 1861, i.e. the family of Parlands mother Ida Maria. In the 20<sup>th</sup> century the estate is distributed among 26 family members and functions as plot for their *villor*, which are used as dachas/summerhouses or retirement places. According to this development Parland describes Tikkala's change from an estate with a main building in the 19<sup>th</sup> century to a *sommarställe* [summerplace] in the 20<sup>th</sup> century. (cf. Parland 1991a., 162.)

<sup>16</sup> cf. Lovell 2003, 1, 86.

This function of the dacha as leisure space as opposed to working and urban space can easily be transferred to the summerhouses in the novels of Oscar Parland. The summerhouses display a dacha-like<sup>17</sup> lifestyle, which is opposed to the world of work and urban life and which generates them as heterotopias as the following chapters will show.

## Living in a Heterotopia, Living on Teerilä

Apart from the novel *Förvandlingar* the three novels *Den förtrollade vägen*, *Tjurens år* and *Spegelgossen* constitute the main components in Parland's work. They are closely connected with Parland's biography and

---

<sup>17</sup> I avoid taking over the Russian expression *dacha* for the summerhouses of the novels as it is impossible to decide whether these houses are dachas (which would imply a Russian colouring of the word) or something different because of the clash of cultures on that former estate (Russian, Swedish, German, Finnish). On the one hand this uncertainty can be explained by the childish point of view of the narrator, who does not draw cultural distinctions and simply puts Russian as well as German, Swedish and Finnish phrases, names or persons side by side. On the other hand this uncertainty is based on the language, in which the novels are written. The Swedish expression *sommarställe* that is often used by Parland in the novels can also be used to describe a (Russian) dacha as a Swedish article about Russian dacha settlements on the Karelian Isthmus shows. The word *datja* is mentioned only once in the article and used synonymously to Swedish *sommarställe*, *sommarstuga*, *sommarvilla* or *villaområde* (cf. Bodin 1989, 26. Cf. also: the use of *sommarställe* in a Swedish translation of Mandel'shtam's *Finliandiia*. There, the expression *sommarställe* functions as the translation of dacha: „Zimoi, na Rozhdestvo, - Finliandiia, Vyborg, a dacha - Terioki.“, Mandel'shtam 1993, 358. and: „På vintern, till jul - Finland, Viborg, och *sommarstället* i Terijoki.“, quoted from: Bodin 1989, 29). Otherwise *datja/dacha* can be found neither in *Svensk Uppslagsbok* (1957-59) nor in *Nationalencyklopedin* (1989-1998), which are two of the largest Swedish encyclopaedias. Only the Swedish wikipedia gives a short definition: *Dacha* is the name for a Russian (or even Ukrainian, Byelorussian, et al) summer place of living. A dacha can be everything from a simple hut with an appending property very close to the hometown to presidential houses at the Black Sea. Many of those who own a dacha use the site to grow vegetables for their households. It is not unusual to have a sauna/ steam bath at the dacha.” [My translation, K.W.] cf. <http://sv.wikipedia.org/wiki/datja>. (13.6.2006) Parland's novels (and memories) deal also with the Swedish expressions *villa*, *villaområde*, *sommarvilla*, *paviljong*, *hus* or *sommarställe* to describe the houses on Teerilä estate. They must be considered as quasisynonym to the expression *dacha* as Parland uses them to describe genuine Russian dachas (among others Repin's Penaty). In his family chronicle Parland works with the expressions *villaområde*, *villa* and even *paviljong* to give an impression of his visits of the Russian dacha settlements Terijoki, Kellomäki and Kuokkala. (cf. Parland 1991a, 224-227.)



bear a “mystic and psychoanalytic sense of the human being.”<sup>18</sup> From a childish perspective the trilogy offers insights into the special world of a child’s imagination and perception. The five year old Riki arranges his world by stories, fairy or biblical tales and tries to bring *his* idea of the world in accord with the “strange behaviour” of the adults and the discoveries he makes in the Karelian nature.<sup>19</sup> This child perspective creates a strong alienating effect, a (writing) style which Parland has acquired from the Russian formalist school.<sup>20</sup>

The novels depict the growing up of a small boy between 1916 and 1920 and the reader is taken into a world of play, expeditions through woods, boat trips, childish fantasies and joy. And from this child’s perspective the reader gets to know the leisure milieu of the Karelian Isthmus and the events of the October Revolution, followed by the civil war. During the whole story (an exception is to be found in *Spegelgossen*) the boy’s cosmos is restricted to Teerilä estate, where life seems to be absolutely normal and “everyday-like”. For Riki other places like Petersburg and Viborg stay vague and strange reference parameters, which he only knows from stories told by the adults. The two cities are perceived as places, where all those “uncles” and “aunties” suddenly appear from in the summer and disappear in autumn. The cities seem mysterious, alien and even frightening.<sup>21</sup> For Riki they are far away and „other spaces“ in comparison with familiar Teerilä, while for all the other characters Teerilä is the “other space”, the heterotopia to their everyday life.

Only in the prologue and epilogue of *Den förtrollade vägen* Riki’s world is widened. There, the adult Riki returns to Teerilä during World War II and has now an adult and remembering perspective of the estate. The childhood on the estate cannot be revived, it is just a memory and has been internalized and transfigured: Riki cannot decide whether he has a dream, a

---

<sup>18</sup> cf. Ekman 2000, 239.

<sup>19</sup> cf. also the passage about the assimilation of the language to an infantile level in Björlund 1982, 13-17.

<sup>20</sup> Parland wants to (according to his own words) break up the automatic, narrow, egocentric perception of things that creeps into everyone in everyday life. With the help of an unusual (alienating) presentation or point of view Parland tries to reach a fresh, original relation to the things or the world as such. See: Parland 1991b, 24.

<sup>21</sup> Especially Viborg becomes a frightening, demonic place, when Riki’s mother disappears there. She is in a hospital and her life is in danger. Riki connects this danger immediately with the city, which then becomes the place of death and devil. See: Parland 1974, 31, 32.

poem or a pure landscape of soul in front of him.<sup>22</sup> The perspective of an adult blocks the view back to childhood. This childhood is associated with the old, now destroyed home and the former leisure environment of Teerilä and marks the place as “other” compared to all the spaces of the narrator’s here and now.<sup>23</sup> As a child Riki perceives the surrounding world as normal, while the special status of the place as leisure/recovery space can only be discovered with a distant, socialized, adult perspective.<sup>24</sup> The deciphering of the world and its former reference parameters Petersburg and Viborg help to classify Teerilä’s “real” status. With growing up the former estate and its leisure lifestyle are connected to more realistic spatial and social relations and become a heterotopia and for Riki the individual “other space” of childhood.

On the one hand the heterotopian characteristic of the place derives from a general, spatial-social difference of the former estate as summerhouse settlement in comparison with other spaces and on the other hand from Riki’s individual, temporarily and spatially shifted perception of Teerilä as the idyllic place of childhood. These two characteristics of the trilogy, the general and the individual perception, will be dealt with in the following examination of Teerilä as heterotopia.

### Teerilä – A Heterotopia of Compensation

Foucault assumes that heterotopias can be described and defined by six principles. But he also assumes that “perhaps no one absolutely universal form of heterotopia would be found”<sup>25</sup>, which means that not every heterotopia has to fulfil each of the six principles to reach the status of a heterotopia.

Foucault makes two major distinctions of heterotopias: those of heterotopias of crisis and deviation and heterotopias of compensation and illusion. Crisis heterotopias are defined as „privileged or sacred or forbidden places, reserved for individuals who are, in relation to society and to the human

---

<sup>22</sup> „The landscape where the way of memories meanders becomes more and more fantastic and unreal. I don’t know what is memory, poetry or dream” [My translation, K.W.] (cf. Parland 1974, 7.)

<sup>23</sup> “That house with its wooden walls, doors and windows, that I had before me as soon as I closed my eyes, existed only inside myself from now on...The scenery that surrounded me had a hostile face. It no longer belonged to me, was outside my frontier of reality and belonged to an alien, forbidden world.” [My translation, K.W.] (cf. Parland 1974, 218, 223.)

<sup>24</sup> “The proportions have changed and the meanings shifted, things are no longer what they pretend to be.” [My translation, K.W.] (cf. Parland 1974, 7.)

<sup>25</sup> Foucault 1986, 24.

environment in which they live, in a state of crisis: adolescents, menstruating women, pregnant women, the elderly, etc.<sup>26</sup> In heterotopias of deviation „individuals, whose behaviour is deviant in relation to the required mean or norm are placed.”<sup>27</sup> In Parland’s novels one can not say that people on Teerilä are deviant according to a required mean or norm. This heterotopian principle must be denied as well as that one of crisis, which is just appropriate for “so-called primitive societies”.<sup>28</sup> In the case of Parland’s novels deviation can only be understood as a synonym for difference without any valuation.

The city dwellers’ regular visiting of Teerilä is a normal, standardised part of their life, as they belong to a society, which seeks leisure/pleasure and finds it on the estate. But some habits and behaviour *on* the former estate differ from that of their everyday life in the city, which generates the place as heterotopia. It establishes a special system of relations and activities different to that of the urban centre. Especially for Riki, who individually experiences this special life on Teerilä, the estate becomes an absolutely different space to that of the city and can be perceived as heterotopian space, as a heterotopia of compensation.<sup>29</sup>

Riki, who does not know that a different form of living exists, experiences his uncles and aunties only as organizing their leisure time and takes this as absolutely normal: Uncle Heinz goes permanently for a walk (as most of the people on Teerilä do), Uncle Georg observes the weather and regularly the Teerilä-families go swimming in the lake or go on boat trips to the three Aunties Grund, whose home is the former estate Salmela. Gardening takes in an important role within the leisure time. The Aunties Falkenheimer seem to be the ultimate gardeners on Teerilä. In Riki’s eyes nothing would grow on Teerilä, if they were not there. He implicates a connection between the appearance of the three aunts in spring and the fresh germination of trees and flowers. And when the aunts leave their summerhouse in autumn it seems only logic to Riki that all the plants die:

It is uncertain if something beautiful would actually grow or come up on Teerilä, if the Aunts were not controlling the plants’ flowering, growth and fading during their tours along

---

<sup>26</sup> *ibid.*

<sup>27</sup> *ibid.*, 25.

<sup>28</sup> *ibid.*, 24.

<sup>29</sup> cf. again Ahlbäck’s assumption that heterotopias can become only “absolutely” other spaces by individual experience, while their assignation to a certain social system marks them as “relatively” different spaces according to the rest of the system. (Ahlbäck 2001, 161.)

the meadows and through the woods...They know the name of every flower and know precisely where they grow, when they shall sprout and how much sunshine and rain they need...When the Aunts disappear from Teerilä, the plants fade and the trees lose their leaves. Nothing grows or blooms until the Aunts' return next spring. But this hidden connection between the plant growth and the Aunts Falkenheimer is just one part of their character.<sup>30</sup>

The seasonal changes of the nature in association with the regular disappearances and appearances of the aunts becomes a natural, normal thing for Riki, while the reader knows that this is not true and not "normality".<sup>31</sup>

In contrast to the various leisure occupations there are working people like the cook, the cow herders and Finnish workers, whose huts are situated near Teerilä. In *Tjurens år* this contrast is exemplified in a scene, where all the aunts and uncles leave Teerilä in autumn, carrying clothes, furniture and all kinds of other things with them, while their summerhouses stand deserted. The only people that one can discover on Teerilä are the workers on their way to the stables or the meadows: „Then everywhere is empty and silent. You can see nothing but the farm girls going to and fro between the stable and the byre and the farm men ploughing out on the fields.“<sup>32</sup> Even Riki's friends, especially the boys Vova, Shura and Oliver have to leave Teerilä after the summer to attend school in Petersburg or Viborg: "When Oliver came over and gave Mom a kiss on her hand, she said: - So we won't see us until next summer! Oliver pulled faces. - I'll travel the day after tomorrow. School is starting soon."<sup>33</sup>

School and work as putative "normal" forms of life have no space on Teerilä. On the estate people celebrate and relax. And when the civil war breaks out after the October Revolution and interrupts the rhythm of the continual coming and going on Teerilä, Riki sadly remembers the wonderful feasts and special atmosphere of the summer that came along with the guests from the city. The child misses the smell and especially the presents, which came to Teerilä with those beautiful Russian aunts from Petersburg, who taught the children the names of the flowers and animals on the strolls through the nature, surrounding Teerilä:

---

<sup>30</sup> [My translation, K.W.] (cf. Parland 2001, 73.)

<sup>31</sup> This twisted understanding of "normality" is based on the narrative technique of the alienation effect, in which the "normal" is shown as something special in order to perceive a new, "aware" perception of that "normal" by the reader. In this case, the gardening and behaviour of the aunts is shown from a childish point of view and through this becomes something special, extraordinary.

<sup>32</sup> Parland 1991c, 93.

<sup>33</sup> [My translation, K.W.] (cf. Parland 1974, 190.)

The lovely happy aunts who speak Russian also come more and more infrequently from Petersburg. Recently they haven't put in an appearance at all. They smelt so good and always brought presents for us...When they came to visit us, everything here at home was different. They were so happy and talked and laughed so much, you yourself were happy and started laughing without knowing why. Sometimes they took you with them for a walk and then they picked flowers and showed you funny animals, beetles, butterflies and grasshoppers, and told you their names...I miss all those aunts and uncles from Petersburg, not just because they were so lovely and happy, but also because everything was so different when they were here. They belonged with Pappa in some way, and when they were here, everything was exciting and fun, like at a party.<sup>34</sup>

He associates Petersburg with good smell, special presents and joy and bears it a certain exotic flavour. At the same time it represents the usual, ordinary residence of Riki's father, who is working there and can only visit his family on the weekend or during his holiday. He is introduced to the reader as a mysterious man, who suddenly appears for a few days and then disappears again. Together with the Russian guests he forms the summer atmosphere on the estate that seems so exciting to Riki: its time to celebrate the holiday and the recovery from town.<sup>35</sup>

The relation Teerilä – Petersburg as opposition between leisure and work is also present in the trilogy's third part *Spegelgossen*. In the first chapter of the novel<sup>36</sup> the adults talk about the Red Army, known to Riki only as "the Reds". For him the Reds are those people, who took his grandmother's flat on Vasilevsky island and grandfather's zoological books.<sup>37</sup> Also Riki's uncles have been dispossessed by the Bolsheviks and lose their sources of capital, i.e. their work: "Uncle Bori has no sugar factory, Uncle Frans no shipping company, Uncle Erni no vineyard in the Caucasus anymore."<sup>38</sup> They all come to Teerilä to find a hideout and place of refuge or have to live there for good as their homes have been burnt down during the war. Riki is totally overwhelmed and surprised that in winter, the aunt- and uncle-less season, there suddenly appear just those aunts and uncles. Only after a certain time Riki gets to know the reason for their arrival: there is war in the city. The putative normality of Teerilä's rhythm of life is com-

---

<sup>34</sup> Parland 1991c, 15, 16.

<sup>35</sup> cf. Parland 1962, 25.

<sup>36</sup> The fragmentary novel *Spegelgossen* consists of six parts, which were combined by Parland's son Oliver.

<sup>37</sup> cf. Parland 2001, 40.

<sup>38</sup> [My translation, K.W.] (cf. Parland 2001, 40.)

pletely turned upside down, when Riki experiences his playmates and relatives living permanently on the estate.<sup>39</sup>

For all the other characters of the novel the summerhouses' function as leisure space shifts to that of a continual place of living with this situation. Teerilä reaches the status of a "normal", ordered space in comparison with its messy, crisis-ridden surroundings, i.e. the cities.<sup>40</sup>

This "messy" environment compared to a well organized and ordered space generates another general principle of heterotopias according to Foucault, which is the heterotopia of compensation. A heterotopia of compensation functions as a perfectly ordered, well arranged space, which contradicts "[our] messy, ill constructed, and jumbled [space]."<sup>41</sup> In the trilogy Teerilä takes over this function in two ways: first, on the estate people compensate for the stress of their work and the life in the city with leisure and recovery activities. Riki describes the repetitive and regular cycle of coming, going and staying of the summer visitors, which basically generates Teerilä as a perfectly ordered, idyllic space. The ancestral, well-known arrangement of and in the houses as well as the "composition" of people as a fixed group of persons guarantees a fixed, safe, intimate structure and hierarchy on the estate, which then leads to a certain harmony, shelter and order of the immediate environment compared to a messy, confused city or work. Second, Teerilä acquires its heterotopian function of compensation – although in a slightly different way – when the civil war breaks out. In *Tjurens år* the quiet and isolated estate compensates for the war confusions

---

<sup>39</sup> cf. Parland 1962, 209.

<sup>40</sup> If one regards war as the ultimate crisis in a civilization, then Teerilä estate can be characterized as a crisis heterotopia during the years of war. Persons, who are in a state of crisis in relation to their society, will find shelter in a heterotopia of crisis, just as Riki's upper-class relatives find shelter and safety from the Red Army and the working class, the "upper" society of the Revolution in Russia. One might also argue that the "upper-class" deviates from the mean or norm of the new society and that Teerilä temporarily acquires the status of a heterotopia of deviation.

<sup>41</sup> Foucault gives the example of the first colonies and their perfect organization of streets, buildings etc. and their ordered routine of the time. (cf. Foucault, 1986, 27.) The second possible function in this case might be that of the heterotopia as a space of illusion. This space has the intention to "[expose] every real space, all the sites inside of which human life partitioned, as still more illusory" (Foucault 1986, 27). But this exposure of the "normal" everyday space, which people live in, is not of relevance in the case of Teerilä estate in the three novels by Parland and will not be discussed in detail.

with shelter, safety and by keeping up the intimate, regular and known order of things.<sup>42</sup>

### Teerilä as Heterotopian System of Openings and Closures

Foucault believes that heterotopias are never freely accessible, but neither are they completely isolated from other spaces.<sup>43</sup> Concerning Teerilä one finds two criteria for this principle: To have access to Teerilä people have to be either family members or friends of those members. In this way the heterotopia Teerilä is isolated from the public.

Riki entered this heterotopia through his childhood, but in his childhood Riki did not recognise the place as heterotopian. He regarded it as his natural and normal living space. As soon as Riki grows up and becomes a socialized adult he recognises the status of Teerilä as something different and heterotopian. But at this point the entrance to Teerilä is closed: the idyll of his childhood is no longer accessible.

Step by step Riki's adolescence leads to a (temporal and spatial) alienation from Teerilä as normal space which can easily be detected through the three novels. *Den förtrollade vägen* presents the time on Teerilä before the war. Here, the boy is completely involved in and concentrated on the cosmos Teerilä. As Björklund has shown, he lives together with his family in a closed, safe idyll. Only in the second part of the trilogy foreign influences enter the life on the estate: the civil war destroys the idyll.<sup>44</sup> For Riki Teerilä's absolute isolation or insularity gets lost which precedes the further development in *Spegelgossen*. There, Riki has to leave the estate for the first time of his life, because his brother suffers from a contagious disease. He moves to his Uncle Alfred who lives in a more or less shattered marriage with Aunt Alice. Like every child, the boy becomes homesick, although the unknown environment activates his curiosity and adventurousness. Away from home Riki experiences a new, more distant perceptiveness on Teerilä for the first time ever: His Uncle Fabian, who lives close to Uncle Alfred and Aunt Alice, takes the boy for walks and introduces Riki into the great relations and phenomena of the world (the world as a globe, the secret

---

<sup>42</sup> From the epilogue of the novels the reader gets to know that this function is consistent only for a short period. Already in World War II, the summerhouses are destroyed and ruined.

<sup>43</sup> cf. Foucault 1986, 26.

<sup>44</sup> cf. Björklund 1982, 33-36. For all the other characters Teerilä acquires just then the status of an "idyll" compared to the chaotic situation in the cities.

inside that globe: the geocentre, the distance between the continents).<sup>45</sup> Riki gets to know, that everything is just a question of the right perspective and the proportions of and in the world are completely different from his former perceptions.

During his “exile” Riki discovers not only the world but also himself, his body and sexuality, which has been suggested in some passages of the two former novels. Riki’s self-cognition is already present in the novel’s title *Spegelgossen*. The mirror (spegel) is represented by a creek, where the boy can watch himself unhurriedly. This symbolises his first reflection of himself, his own situation and position in the world.<sup>46</sup> The first spatial separation from the place of childhood comes along with the first step of “cutting the cord” from that place. According to Parland’s son, who has combined the fragments of the novel, the “Exile”-passage, in which Riki discovers the world, himself and natural phenomena, marks the central idea of the novel and this initiation constitutes the final point of the trilogy’s plot.<sup>47</sup>

In the novel’s chronology only the epilogue of the first part of the trilogy must be situated after the initiation and marks the passage in which Riki’s return or not-return to Teerilä is described. At this point Teerilä is closed forever and changes into a utopia, i.e. a space that has no (longer a) place in reality.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Riki is quite despaired and tries to imagine how to get back to Teerilä along the Finnish coast, through the Russian steppes, Canada and the oceans, after he has learned that the earth is a globe. cf. Parland 2001, 210.

<sup>46</sup> Riki cannot “classify” his new consciousness or the phenomenon of his awakened body and believes that all that is a pleasant kind of magic. (cf. Parland 2001, 250, 253.)

<sup>47</sup> cf. Oliver Parland’s “Förord”. The chapter „Death“, which follows after the “Exile“ chapter, came up earlier than the “Exile”-chapter and the events of that chapter, which take place on Teerilä again, must be situated at an earlier point of time in the novel. Regarding the development of the boy, the initiation-chapter builds the final point of the plot. (cf. Parland 2001, 10.)

<sup>48</sup> The „real“ Teerilä, i.e. Tikkala estate, is closed after 1918 for the Sesemann families. Because of the revolution many of the family members were forced to sell their summer-houses on Tikkala as they had lost their work and money. The Parlands leave the estate in 1918 forever and Oscar Parland finds that “We had no feeling of loss or sorrow when we left Tikkala behind us. The desire and the latent feeling of having lost something precious and irreplaceable in our life as well as the feeling of foreignness and obliquity, which should never leave us, crept into our minds only later.” [My translation, K.W.] (cf. Parland 1991a, 221.) He has the feeling that he has lost something special and suffers a lifelong alienation from home. This feeling is also present during the first summer holidays after 1918. Between 1923 and 1925 the Parlands spend their holidays in Kellomäki on a dacha, surrounded by an illustrious Russian public. Oscar, his brothers and mother feel comfortable and at home in that glamorous atmosphere, which still has the smell of old famous Petersburg: All



## Teerilä as Heterochrony

The temporal restriction of entrance to a heterotopian place that has been discussed in the previous chapter corresponds to Foucault's fourth principle for heterotopias: Heterotopias are "often linked to slices in time – which is to say that they open onto what might be termed...heterochronies. The heterotopia begins to function at full capacity when men arrive at a sort of absolute break with their traditional time."<sup>49</sup> Heterotopias either accumulate or save time as does a museum or a library or they are linked to the opposite, i.e. "to time in its most fleeting, transitory, precarious aspect".<sup>50</sup> For example, Foucault mentions Polynesian vacation villages, which "offer a compact three weeks of primitive and eternal nudity to the inhabitants of the cities."<sup>51</sup> At this point, Foucault gets close to the phenomenon of the summerhouse (or dacha): A place, which overrides the "normal" time for a short period. In Parland's trilogy the "fleeting", but most important time is that of summer. The narrated time of the first two novels includes – apart from *Spegelgossen*<sup>52</sup> - just a few months. In *Den förtrollade vägen* those months last from spring to autumn (in 1916), in *Tjurens år* from summer 1917 until spring 1918. The summertime dominates in the description of the seasons. Winter is not present at all in *Den förtrollade vägen* and can only be found in *Tjurens år* on about 100 pages and there explicitly only in three chapters: first, the slaughter of pig Jonas; second, the trip to Salmela, to fetch some food; third, when the relatives move to Teerilä forever. In his description Riki concentrates on the summertime and describes those beloved months again and again as there is adventure, interesting and exciting people and life in every corner of the estate. This summer scenery is contrasted with sad motifs of isolation and desertion of autumn and winter, when all the houses are empty and barricaded. The winter becomes also associated with the motif of war. As long as the idyll Teerilä exists, summer is there, but as soon as the war finds its way to the estate, the season

---

have the same problems and it is easy to find subjects to discuss, as they all belong to Russia's former upper class or intelligentsia and had to move to a dacha as place of exile (cf. Parland 1991, 224-235.). But sadly, this „home“ is only a temporal one, a heterotopia, which is restricted to the time of the summer holidays and the financial possibilities of the people.

<sup>49</sup> Foucault 1986, 26.

<sup>50</sup> cf. Foucault 1986, 26.

<sup>51</sup> Foucault 1986, 26.

<sup>52</sup> It is hard to say which time of the year or how many years are described in the novel, as it is fragmentary. Because of the adventures and experiences that are told spring and summer are dominating, for example Riki's first reflection in the creek or his walks with Uncle Fabian.

changes. The fleeting of time, which was consistent for all of Riki's relatives according to their life on Teerilä, is of no relevance then and Teerilä loses its status of a heterotopian leisure space. The space, which was different and "other" to that of their everyday life, becomes ordinary space, when the people start to live there permanently.

Riki himself recognises the heterotopian character of the place only when he recognises the time on Teerilä as fleeting, i.e. as a part of his life. For the adult Riki the cyclical, seasonal time of the year is less important in contrast to the time of his growing up, which constitutes the basic theme of the whole trilogy.

### Teerilä as Space Merging Incompatible Spaces

Heterotopias "[are] capable of juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in themselves incompatible."<sup>53</sup> For Teerilä and the summerhouse in general those incompatible spaces result from the conflict between the space of culture and that of nature. On Teerilä estate cultured, refined civilised townsmen meet wild nature. The summerhouses represent the last cultural "bastion" against wild nature that mushrooms just behind the cultured nature of the garden. The notion of the summerhouses as cultural bastions derives from Riki's detailed descriptions of their interiors with selected furniture and fitments (imperial mirrors, paintings of generals, crystal candleholders, exotic plants).<sup>54</sup> For Riki his *stockvilla*<sup>55</sup> marks first of all a bastion of protection: behind the window of the children's room the mysterious and frightening dangerous world of the woods with its strange inhabitants begins.<sup>56</sup> Nonetheless Riki and his brothers spend the bigger part of their time outside in the woods, on the meadows or at the lake and even the adults recover outside in nature. They go swimming, stroll and explore the area around the estate. A strict division between cultural space and space of nature does not seem appropriate in this case. Nature is not ignored or excluded, but vividly used. In this connection Stephen Lovell states that the Russian *dacha* (in contrast to the Russian *usad'ba*) occupies a position between the cultural space of town and natural space of the countryside, which applies to the summerhouses in Parland's novels as

---

<sup>53</sup> Foucault 1986, 25.

<sup>54</sup> cf. Björklund 1982, 72-76 and Parland 1974, 94 pp.

<sup>55</sup> This is how the house of Riki's family is called.

<sup>56</sup> Mainly through the belief of Riki's grandmother the house becomes protected by a holy shine. cf. Parland 1974, 49 pp.

well.<sup>57</sup> The same phenomenon is described by Vasilii Shchukin in his analyse of the *usadebnyj tekst* in Russian literature. In opposition to the *usad'ba*, which is marked as a completely cultural space, where nature is only present behind the window, Shchukin observes that, nature is not ignored or excluded, but used in texts, which situate their story on a *dacha*.<sup>58</sup>

This middle position of the dacha or the summerhouse places it as a kind of permeable frontier between the two “incompatible” spaces of nature and culture. In the trilogy the most extreme form of that frontier is marked by the veranda. The *stockvilla*, like most of the other houses on Teerilä, has two verandas, the first one can be reached from the kitchen and is of less importance, the second veranda one reaches from the living room. It functions as alternative entrance to or exit from the summerhouses. It is the place, where the families and other summer guests meet, the children play and where people dine and celebrate.<sup>59</sup> Life on Teerilä takes place on and around the veranda. It is where one steps out of nature and into culture or vice versa, where one leaves culture for nature. And so the veranda takes over the function of a frontier or borderline. On the veranda you are not entirely in one of the two spaces, but in between. In the novels the veranda-frontier is permanently trespassed and it becomes impossible to divide the space Teerilä dichotomically into two separate parts. Teerilä is just this melting pot of the two separate spaces nature and culture and fulfils another principle for heterotopias.

Apart from the juxtaposition of those two incompatible spaces, the summerhouses or summerhouse settlements also juxtapose public and private space. For Teerilä this kind of merging seems to be not that appropriate as public space exists only between the different families of the big family clan. It is difficult to discuss the contrast between public and private space in this case, because the families are familiar with and known to each other, but still cannot be regarded as one single entity. If one assumes a certain public space between the different families of the clan and the private space of their houses, the veranda again marks the point where these two spaces meet. The families enter or exit the houses via the veranda, which leads

---

<sup>57</sup> cf. Lovell 2003, 1. cf. also the work of Tuan about *topophilia*, i.e. the love and affection for a certain place. Tuan undertakes a scaling of city, countryside and wild, non-cultured nature. (cf. Tuan 1990, 109-112.)

<sup>58</sup> cf. Shchukin 1997.

<sup>59</sup> cf. the numerous passages, where the veranda and its use are described: *Den förtrollade vägen* 1974, 58, 69, 75, 92, 166; *Tjurens år* 1962, 25, 55, 67, 80, 111; *Spegelgossen* 2001, 26, 48, 72.

directly into the living room, i.e. into a really private room, and opens this room to the public. And the veranda itself, where people spend much of their time, is open and visible from almost every corner, which at least gives the impression of the veranda as a semi-public, semi-private space or a space “in between”. The veranda generates in this case the summerhouse as a heterotopia that mixes public and private space.

### Teerilä as Heterotopia of Shifting Functions

According to Foucault heterotopias change in their function for a society and they do so over a longer period of time.<sup>60</sup> Parland’s trilogy covers only a short period of time, but it is one of historical importance. Between 1916 and 1920 Teerilä’s heterotopian function as leisure and recovery space and its rather utopian function as a childhood idyll shifts. After the October Revolution in 1917 and during the following civil war Teerilä becomes a place of refuge and permanent living for Riki’s relatives and their acquaintances. It loses its former function and Riki loses the sheltered idyll of his childhood. From the epilogue of *Den förtrollade vägen* the reader learns that nothing is left of the former estate with its summerhouses, except a few ruins, when Riki returns during World War II. The heterotopia Teerilä is completely gone and exists only in Riki’s mind as a utopia.<sup>61</sup>

Teerilä must be seen as an example of a change of the summerhouse’s or dacha’s function as leisure space during the early 1920s. The shift from a place of leisure to a space of refuge or emigration can be traced in some Russian dacha settlements after the Russian Revolution. But many of the summerhouses lose their function as leisure space as they are left vacant and unattended after the Revolution since their owners had to stay in the city to keep an eye on their property there. Stephen Lovell states, that many of those deserted, abandoned houses become used as ordinary living space for the lower class or people of the countryside.<sup>62</sup> In the Soviet Union a new type of a so-called dacha is established, but has a different connotation and function than summerhouses had before 1917:

[The October Revolution] brought into being a society in which large and increasing numbers of urban office workers grew food on allotments or dacha plots; before 1917, by con-

---

<sup>60</sup> “A society, as its history unfolds, can make an existing heterotopia function in a very different fashion.” (Foucault, 1986, 25.)

<sup>61</sup> The complete loss of the heterotopia “summerhouse” shows that the assumed heterotopian functions of crisis and deviation during the war were only short-lived.

<sup>62</sup> cf. Lovell 2003, 120.

trast, they did so only rarely. The extent of food gardening varied greatly through the Soviet period, and until the 1960s the plots of land where vegetables were grown were not called dachas; yet the Soviet takeover fundamentally rerouted Russian exurbia/inurbia toward the function of subsistence. In the 1980s and 1990s dacha fused in many people's minds with the allotment shack.<sup>63</sup>

The function of the dacha as pure leisure space seems to be lost in 1917 and a fundamental shift takes place. The question is whether the new function, as described by Lovell, generates the summerhouse of Soviet Russia as a heterotopia. In the case of Oscar Parland's Tikkala and Riki's Teerilä the heterotopia is definitely destroyed by the war, when the place loses its harmonic, idyllic leisure and recovery function. That kind of life can by no means be brought back and the heterotopia Teerilä becomes a utopian memory.

## Bibliography

- Ahlbäck, Pia Maria (2001), *Engery, Heterotopia, Dystopia. George Orwell, Michel Foucault and the Twentieth Century Environmental Imagination*. Åbo: Åbo Akademis Förlag.
- Birnbaum, Henrik (1996), Elena Guro, Edith Södergran and the Karelian Isthmus. *Russian Literature*, Vol. XL, 267-276.
- Björklund, Kristina (1982), *Riki och den förtrollade vägen. Studier i Oscar Parlands berättarkonst*. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland (= Humanistiska Avhandlingar 2).
- Bodin, Per-Arne (1989), Karelska Näset som möteplats för nordiskt och ryskt, in: Carlsson, Sten/Nilsson, Nils Åke (red.), *Sverige och Petersburg: Vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
- Ekman, Michael (2000), Femtiotalprosa I, in: Zilliacus, Clas (2000), *Finlands svenska litteraturhistoria. II: 1900-talet. Uppslagsdel*. Helsingfors/Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland/ Atlantis, 237-242.
- Foucault, Michel (1986), Of Other Spaces. *Diacritics*, Vol. 16, Issue 1, 22-27.
- Hämäläinen, Vilho (1986), Die russische Sommerhausbesiedlung auf der Karelischen Landenge am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, *Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas*, Vol. 34, 518-538.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk. A History of the Russian Dacha, 1710-2000*. Ithaca/London: Cornell University Press.
- Mandel'shtam, Osip (1993), *Sobranie Sochinenii v chetyrekh tomakh. T. II: Stikhi i Proza 1921-1929*. Moskva: ART-Biznes-Centr.
- Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetad på initiativ av Statens kulturråd* (1989-1998), 23 Vol., Höganäs: Bra Böcker.
- Parland, Oscar (1962), *Tjurens år*. Helsingfors: Schildts.

---

<sup>63</sup> Lovell 2003, 34.

- Parland, Oscar (1974), *Den förtrollade vägen*. 2. bearb.upp. Helsingfors: Schildts.
- Parland, Oscar (1991a) Ur en släktkrönika från Karelska näset, in: Parland, Oscar, *Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen*. Lovisa: Schildts, 152-275.
- Parland, Oscar (1991b), Hur mina böcker har kommit till, in: Parland, Oscar, *Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen*. Lovisa: Schildts, 9-29.
- Parland, Oscar (1991c), *The Year of the Bull*. Trans. by Joan Tate. London: Peter Owen.
- Parland, Oscar (2001), *Spegelgossen*, Helsingfors: Schildts.
- Sihvo, Hannes (1999), Summer House Settlements on the Karelian Isthmus as Described in Literature, in: Baschmakoff, Natalia, et al (eds), *Shkola organicheskogo iskusstva v ruskom modernizme*, Helsinki (= *Studia Slavica Finlandensia*, Tomus XVI/ 2), 236-248.
- Svensk Uppslagsbok* (1957-59), 2., omarbet. och utvidgade uppl., 32 Vol., Malmö: Norden.
- Tuan, Yi-Fu (1990), *Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values*. New York: Columbia University Press.
- Shchukin, Vasilii (1997), *Mif dvorianskogo gnezda. Geokul'turologicheskoe issledovanie po russkoi klassicheskoi literature*. Kraków, Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego. <http://sv.wikipedia.org/wiki/datja>. (13.6.2006)

## THE DACHA KINGDOM

ELINA VILJANEN

## Artistic Portrayal of Russian Landscape in Boris Asafiev's Essays

"...whom  
is music for  
if not for the listeners"<sup>1</sup>

A simple goal of this article is to offer an answer to the question where lies the interest in a book on Russian painting (*Russkaia zhivopis'. Mysli i dumy*, 1942) by Boris Vladimirovich Asafiev (1884–1949), the so-called father of the socialist realist musical theory<sup>2</sup>. Why should one be interested in what an officially recognized Soviet musicologist of the Stalin period was to say about Russian landscape painting? What do these writings have to offer us other than an expression of official Soviet nationalism?

Asafiev's writings on Russian painting were a part of his plan for a grand series of works *Mysli i dumy* (Ideas and thoughts). His intention was to complete all of his yet unfinished writing projects from the previous twelve years during his stay in Leningrad besieged by the Germans. The writings on Russian painting were planned as a section called *O sebe i svoe* (On myself and mine). Its character would tend toward the personal and

---

<sup>1</sup> "...ibo dlia kogo zhe // sushchestvuet muzyka, // esli ne dlia slushatelei..." (Asafiev 1942.) All the translations, if not otherwise mentioned, are my own.

<sup>2</sup> Asafiev was a prolific composer and the most well known Soviet musicologist in the West. He was the first and only musicologist elected as a member of the Academy of Sciences of the USSR and his main works *Musical Form as a Process* (1930) and *Intonation* (1947) gained classical status in the Soviet music literature. The latter especially was considered orthodox in relation to the official aesthetics. His wide literary output over three decades (1914–1948) was diverse in style and was well suited to the inconsistent development of the early Soviet aesthetics.



subjective: the section would contain Asaf'ev's memoirs *O sebe*<sup>3</sup> alongside some philosophical essays on art written from a personal perspective.<sup>4</sup> As Svetlana Galaganova, in her preface to the 2004 edition of *Russkaia zhivopis'*<sup>5</sup>, pointed out, central for Asaf'ev in his book was an attempt to determine something intangible in Russian culture – the soul of Russian painting<sup>6</sup>.

Indeed, same kind of trend had already been present in Asaf'ev's writings on music since much earlier times. In 1916 he wrote that his dream was “to learn how to understand music in such a way that all the elements of a composition could be translated into words as its ideas and concepts and not by way of fantasizing, i.e., not in the sense of programmatic comments or of a technical analysis.”<sup>7</sup> Once again in 1946, Asaf'ev reiterated that he wrote about [musical] intonation almost aphoristically<sup>8</sup> and finally, in his magnum opus *Intonation* (1947, 6) he stated: “I am fully aware of my guilt in the use of neologisms [...] I employ them [...] because of the necessity to distinguish some exceptional nuance in a very common and trite term [of intonation].” Another important agenda on Asaf'ev's mind was his desire to write about art in such a way that could be understood by an audience at large and not only by the professionals. In his writing on painting he treated the paintings as if his work were a tour guide for an ordinary audience of Russian people.<sup>9</sup>

My analysis here concentrates on two essays *Priroda – lirika russogo peizazha* (Nature: the Lyricism of the Russian landscape, 1942)<sup>10</sup>, which constitutes a chapter in Asaf'ev's book on Russian painting, and another essay of his *O russkoi prirode i russkoi muzyke* (On Russian Nature and Russian Music, 1944)<sup>11</sup> that considers the aesthetics of the Russian land-

---

<sup>3</sup> See Asaf'ev 1974.

<sup>4</sup> The project was not published as a total series of works but as separate publications. (See Asaf'ev 1952–1957, V, 328–341; Etkind 1966, 3–4.)

<sup>5</sup> The reprint honored the 120th birthday of Asaf'ev.

<sup>6</sup> Galaganova 2004, 12.

<sup>7</sup> The quote is from Asaf'ev's letter to Raiski in 15<sup>th</sup> of May in 1916. It was published in the journal *Muzikal'naiia zhizn'*. The English translation is by David Haas (1998) in his book *Leningrad's modernists: studies in composition and musical thought, 1917–1932*. See also Kriukov & Orlova 1984, 85; Viljanen 2005, 57.

<sup>8</sup> Asaf'ev 1946, 92.

<sup>9</sup> Asaf'ev 1966, 26.

<sup>10</sup> Chapter XII in Asaf'ev 1966, 186–214.

<sup>11</sup> Asaf'ev 1952–1957, IV, 84–97; see also *Sovetskaia muzyka* 1948, 29–39.

scape from a musical point of view.<sup>12</sup> Following Hegel<sup>13</sup>, Asaf'ev's reasoning held that not just music, but apparently also fine arts and the whole phenomenon of art, reflect the history of ideas in a very subtle manner within its peculiar *intonational vocabulary* that is summarized by a given epoch<sup>14</sup>. According to Asaf'ev, the masterpieces of genuine art were able to reflect one way or another the universal ideas of humanity and the mysteries of eternal life<sup>15</sup>. He applied Wilhelm Worringer's<sup>16</sup> interpretations of Theodor Lipps' theory of *emföhlung* [empathy] and answered to Worringer's call<sup>17</sup> to write about the universal psychological basis of art history in a Russian context.

Relating myself loosely to the aforementioned direction, I use Asaf'ev's texts, which I consider somewhat artistic by definition, as historical documents of the early formation of Soviet aesthetics and philosophy of art<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> The article functions as one of the many sketches for my Doctoral Thesis where I attempt to analyze Asaf'ev's literary legacy. One of the main questions of my research concerns what features in Asaf'ev's life and his writings led to his becoming the official voice in the Soviet musical field.

<sup>13</sup> In his *Lectures on Fine Art and Philosophy of History* Hegel emphasized the supremacy of art and the History of Art over historiography as a "reflective" kind of history. It forms a transition to the Philosophical History, a thoughtful consideration of history that penetrates the very "actuality" of history or "the self-produced ideas", i.e. how Reason, the substance of the Universe manifests itself in reality. He writes that "in works of art the nations have deposited their richest inner intuitions and ideas, and art is often the key, and in many nations the sole key, to understanding their philosophy and religion. [...] Neither can the representations of art be called a deceptive appearance in comparison with the truer representations of historiography. For the latter has not even immediate existence but only the spiritual pure appearance thereof as the element of its portrayals, and its content remains burdened with the entire contingency of ordinary life and its events, complications, and individualities, whereas the work of art brings before us the eternal powers that govern history without this appendage of the immediate sensuous present and its unstable appearance." (Hegel 1988, 7, 9; 1956, 8–9.)

<sup>14</sup> This vocabulary is a "reserve" of intonations, intoned by every man, which are expressive to him and which "speak to him" (Asaf'ev 1976, 936).

<sup>15</sup> Cf. Hegel's Spirit. Life was a favorite concept also for Hegel, but he admitted that only eternal life could be called spirit. According to him, Spirit appears as a life-enhancing principle that merged into diversity and which comes to life only from its basis (Sivenius 1998, 368)

<sup>16</sup> Worringer's doctoral thesis *Abstraktion und Einföhlung* (Abstraction and Empathy) was published in Munich in 1908.

<sup>17</sup> "Psychology of the need for art – in the terms of our modern standpoint: of the need for style – has not yet been written." Worringer [1910], 1950 in Harrison & Wood 1992, 69.

<sup>18</sup> Asaf'ev's method and aims are newly pronounced in an award-winning book of Boris Gasparov (2005). He is convinced that, "when viewed in this broader context, music can

The principal goal of my article is to explore and question how certain nationalistic mythologies took shape and how that process was not at all one-dimensional. Within my analysis of Asaf'ev's texts I try to give some answers to the question why the characteristic *Russian tone*<sup>19</sup> has become such an overpowering issue<sup>20</sup>. I address the question by asking how this strong Russian cultural self-consciousness was built. How did the tone become peculiarly Russian? What is Russian about it? As Andrzej Walicki (1979) has pointed out, "the originality of Russian philosophy is not easy to define whereas its dependence on Western European thought is obvious. Its striking originality can only be perceived when we examine it within the context of Russian intellectual history..."<sup>21</sup> I hold that one of the answers to this question lies within one of Asaf'ev's principal tasks, both consciously and subconsciously – to realize this peculiar Russian tone.

Consequently, this article does not concentrate predominantly on music, but rather on its literary form. It touches music only incidentally, as one of the phenomena, among other arts, that played a role in shaping the characteristically Russian modality of expression – a peculiar 'tone' conducive to the scenery of national life. I see the so-called Russian cultural self-consciousness as a product of different arts worked together with the nationalist discourse whose rhetoric and terminology was created throughout the 19<sup>th</sup> century<sup>22</sup>. It continued to evolve, albeit in an altered form, during the 20<sup>th</sup> century; the same process, involving the expanded cultural web of

---

offer a unique testimony about its time, from its aesthetic and intellectual trends to its political tides and generational psychological shifts".

<sup>19</sup> By *tone* I do not refer here only to its traditional musical meaning in all its aspects, but to a larger phenomenon, which includes also its linguistic definition, i.e. how language uses tone to distinguish lexical meaning.

<sup>20</sup> Boris Gasparov states "the question is not whether [Russian] music has a characteristic tone – it does" as he himself shows within his clear analysis in his book on Russian music. The question is rather "why in this case the [characteristic Russian] tone has become such an overpowering issue, capable of overshadowing consideration of the different aesthetic trends, ideological concerns, and cultural environments that Russian composers reflect and to which they responded in their art". (Gasparov 2005, xxi)

<sup>21</sup> Walicki 1979, xvi.

<sup>22</sup> Christopher Ely has written an extensive study on how the image of the Russian rural landscape was invented and reinvented until it achieved its standard aesthetic form and special emotional force in the late imperial Russian culture. He sees that one of the key factors in that process was "the quest among educated Russians to formulate an inspirational vision of the nation." Ely's study endeavors to *de-naturalize* the special image of the Russian landscape i.e., to read it rather as a historical rather than an ontological phenomenon. (Ely 2002, 5, 8.)

meanings, can be seen at present as well<sup>23</sup>. Asaf'ev's book *Russian painting* and his writings on 'tonepainting' are extremely pertinent for the analysis of this formative process. His writings, in general, are interesting, good quality documents that shed light on the early 20<sup>th</sup> century Russian aesthetic thinking and the development of the aesthetics of socialist realism. A detailed analysis of conventional terms, such as 'realism', in writings of the Soviet period reveals hidden goals. In many cases, Soviet writings about problems of aesthetics contained reinterpretations of the 19<sup>th</sup> century realist tradition that were not devoid of interest and originality.

I will next shortly discuss the tradition of charismatic cultural figures and the history of ethically motivated aesthetics in Russia, and then in the following chapters approach Asaf'ev's writings in view of this historical background. What I would like to show is, on the one hand, that he belonged to that tradition, and on the other, that he represented its modern stage. The usage of traditional aesthetic terminology is then examined against the backdrop of the implied goal, that of justification of an abstract art, while my conclusions will also touch on the narrative side of the 'abstract'.

## Traditionalizing Modernism

Different epochs have had their outstanding charismatic leaders who succeeded in the role of architects and designers of the culture at its various evolutionary turning points. Their contribution was of unquestioned importance. Vladimir Stasov (1824–1906) possessed an ability (sometimes it looked like a curse) to create an atmosphere of such a strong charisma that he actually left a personal imprint on general cultural consciousness. Besides Stasov, Lev Tolstoi (1828–1910) and Maksim Gorki (1868–1936) grew into cultural icons and contributed their personal views into the general discourse. Thanks to their enormous charisma, many people took their subjective opinions, often ethically motivated, as plain facts.

---

<sup>23</sup> Even Galaganova carries on the emotional tone, so typical to Russian "cultural talk", in her picturesque outpouring about the Russian national cultural image. She expresses, between the lines, that there exists some kind of genuine idea of a classical sophisticated Russianness, which Asaf'ev is able to portray in his book: "The spirituality of the Russian painting" (Galaganova 2004, 12).

The 19<sup>th</sup> century Stasovian tradition<sup>24</sup> of criticism was intentionally continued by Asaf'ev who wrote in his memoirs:

Because Stasov was very temperamental and passionate, he could express everything more brilliantly and more convincingly. When he was telling about his favorite piece of music, one could see it straightaway that it was not merely a sum of his impressions; the principal goal behind those impressions was a Tolstoyan comprehensive cognition of a human being in all his potentials. This was something that both Gorki and Shaliapin appreciated in Stasov. [...] I loved to evoke these speech improvisation of his about the music he heard; I sensed in them great truthfulness.<sup>25</sup>

Asaf'ev's own book on Russian music, *Symphonic Études* (1922), is filled with "brilliant verbal improvisations" similar to those for which he admired Stasov. Many of his texts are written in a poetic mode, especially when he speaks about musical history and his favourite pieces of music, the same way as Stasov did<sup>26</sup>. This almost hypnotic power of speaking about music and its processes, inherent in both critics, is interesting in the way it grips the reader's attention. It made people either decisively oppose the critic's views or take faith in them.<sup>27</sup> In fact, if there had not been the strong rhetoric and manneristic influence of Stasov, his patriotic, national and historical discourse, punctuated by the strong Tolstoi-like feeling of a social mission<sup>28</sup>, Asaf'ev may not have been standing on safe ground during the tightening cultural politics of the Stalin period. After all, his theories reflected strongly various, modernist and idealist tendencies and he showed a keen interest in the newest developments of Western culture and philosophical thoughts at the beginning of the 20<sup>th</sup> century.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> By Stasovian tradition I refer to Stasov and his supporters who fought against academism in art, supporting a realist way of thought and a close connection between art and society.

<sup>25</sup> Asaf'ev 1974, 384.

<sup>26</sup> In 1947 Asaf'ev wrote "...for it is necessary not only to read this book, but also to hear it (indeed this is the basic property of almost all my books.)" (Asaf'ev 1977, 607.)

<sup>27</sup> Stasov and his writings about the New Russian Musical School was attacked by the conservatives (mainly those that held that the conservatory should build on the German musical theory) whereas Asaf'ev and his writings on young modern Russian composers were attacked by the RAPM musicians. (Viljanen 2006, 29, 25n).

<sup>28</sup> Asaf'ev writes of Stasov: "Violent columnist changed into humane thinker, wise [narodno-mudryi] and sensitive to all the simple things of life [...] He quoted Tolstoi's prose with unique sensitivity..." (Asaf'ev: "O sebe" in Kriukov 1974, 382–383.) See also Asaf'ev's account of Russian musical literary development, where he writes about the 'deep social line' of Stasov (Asaf'ev 1953, 271, see also Viljanen 2006, 29, 18n).

<sup>29</sup> See Viljanen 2006.

It remains a matter of interpretation whether Asaf'ev used traditional critical means for transferring modern views to Soviet aesthetics. The result of this was traditionalizing modernism. One of the most interesting parts in the formation of Russian and later Soviet aesthetics (cf. philosophy of Russian nationalistic scenery) was the conceptual side of the process i.e., how some conventional aesthetical terms gained new definitions, above all an ethical connotation. This 'engagement' has long roots in the history of Russian national aesthetics. However, as Christopher Ely (2002) pointed out, more than about progressive values<sup>30</sup>, the painters of the 19<sup>th</sup> century Russian realism<sup>31</sup> were concerned with pure aesthetics: first of all, how to change the conservative values of the Academy of Arts and how to gain independency in portraying the national scenery and second, how to reach new audiences and to gain popularity for their art<sup>32</sup>.

The same occurred at the beginning of the Soviet Union in the battle of the new Soviet aesthetics. The ethical goals were used as a means of justification of the new art and it became gradually a natural part of the Russian aesthetic terminology. Many studies draw thus a too simplistic picture of Soviet aesthetics and their interpretations of the 19<sup>th</sup> century realism. It is true that the rhetoric of critical realism had a major influence on Soviet aesthetical terminology but it formed only one level of discussion. The talk about art was by no means simply a repetition of critical realist arguments but a peculiar synthesis of many philosophical tendencies. Thus one of the interesting questions is how Soviet interpretations of the 19<sup>th</sup> century realist tradition differed from critical realism and the whole versatile phenomenon of realism in general.

The following analysis will consider this problem in detail. Within the process of 'sovietizing' the aesthetical terminology and combining the different arts into a total vision of national scenery, Asaf'ev created his own method of expression.

---

<sup>30</sup> Needless to say, the phenomenon of realism as a whole was in many respects loose in ethical sense despite some social goals, formulated in good faith by some of the artists.

<sup>31</sup> Several painters can be numbered among the group Baron Mihail Klodt (1833–1902), Lev Kamenev (1833–1886), Ivan Shishkin (1832–1898), Aleksei Savrasov (1830–1897), Vladimir Vasi'lev (1850–1873), Petr Sukhodolski (1835–1903) and Vladimir Orlovski (1842–1914).

<sup>32</sup> See Ely 2002, 165–200.

## The Russian Lyrical Landscape: Reconstructing and Unwrapping Asaf'ev's Aesthetics

Asaf'ev wrote that the painter Aleksei Savrasov perceived nature in his painting [pic.1] through Pushkin's eyes and sensed it in a Pushkinian way. Savrasov's painting *The Rooks Have Come Back* portrays the landscape of early spring and the transition of nature from winter to spring. According to Asaf'ev, the vision as such had no role in Savrasov's painting: "rather, the emergence of early spring is clearly seen with the eyes of the Russian people, with the feeling as intimate as that in Pushkin's poem 'Gonimy veshnimi luchami...'"<sup>33</sup>

By now the rays of spring are chasing  
the snow from all surrounding hills;  
it melts, away it rushes, racing  
down to the plain in turbid rills.  
Smiling through sleep, nature is meeting  
the infant year with cheerful greeting...<sup>34</sup>

The beginning of the seventh chapter of Pushkin's *Evgeni Onegin*.

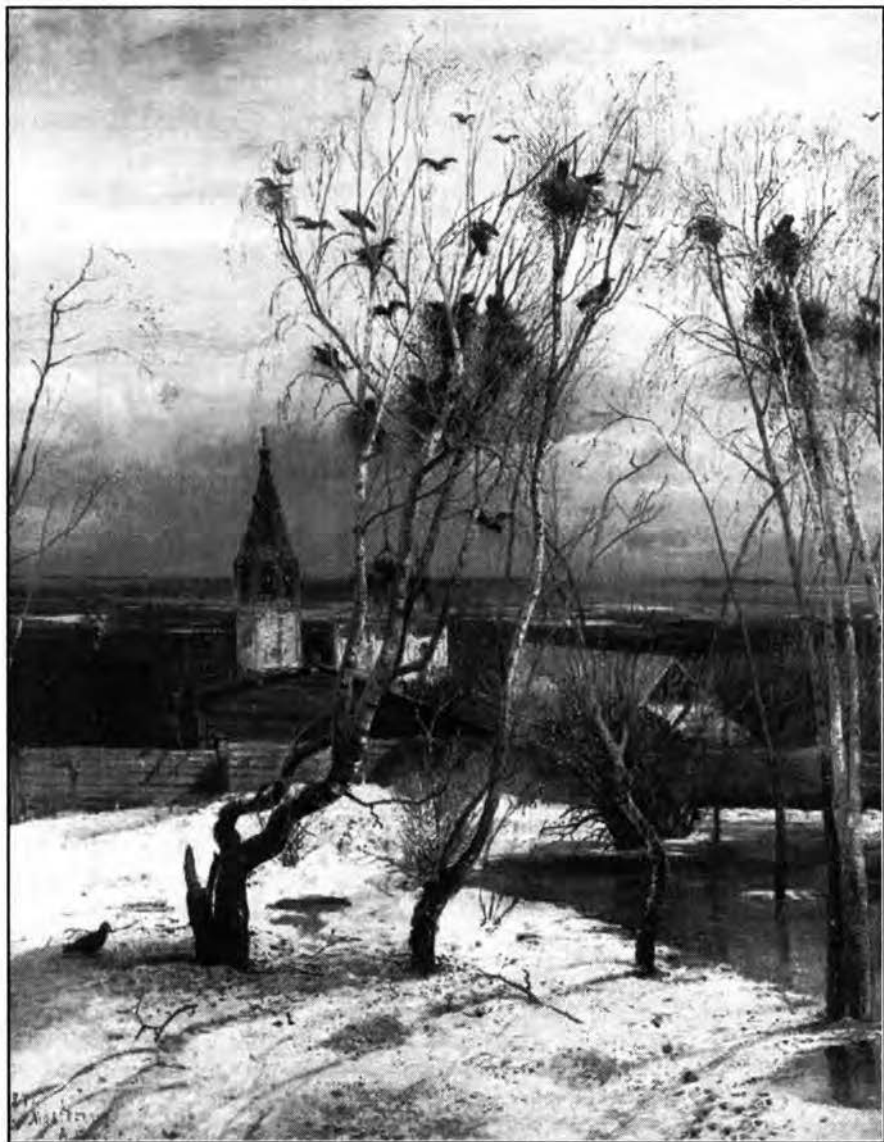
Asaf'ev finds an early musical correspondence to this lyrical image in Glinka's song *Skylark*, and its further development in Chaikovsky's piano music. He wrote: "he [Chaikovsky] devoted the third piece of his piano cycle *The Seasons* (1876), 'March,' ('The Song of a skylark'), to the elegy of the Russian spring and its perception in its most delicate coloring and the expressiveness of the light melancholy of northern spring days."<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Asaf'ev 1966, 199.

<sup>34</sup> Gonimyi veshnimi luchami, // S okrestnyh gor uzhe snega // Sbezhal mutnymi ruch'iami // Na potoplennye luga. // Ulybkoi iasnoi priroda // Skvoz' son vstrechaet utro goda... Translation by Charles H. Johnston (1977), published with minor revisions and an Introduction in Penguin Classics in 1979, [http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/ENGLISH/onegin\\_j.txt](http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/ENGLISH/onegin_j.txt) (10.7.2006).

<sup>35</sup> Asaf'ev (1952–1957), IV, 85.



**Pic.1** Aleksei Savrasov: *The Rooks Have Come Back* (Grachi prileteli, 1871)<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Aleksei Savrasov (1871): *The Rooks Have Come Back*. Oil on canvas. The State Tretyakov Gallery. The National Museum of Russian Fine Art. Bogulawski, Alexander: Russian painting, [http://www.rollins.edu/Foreign\\_Lang/Russian/frame3.html](http://www.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/frame3.html) (29.11.2007)



Song of the Lark

The field ripples with flowers,  
Waves of light are pouring from the sky,  
The blue depths are filled  
with the singing of larks of the spring.<sup>37</sup>

Apollon Maikov (1821–1897): *Pesn' zhavoronka*.

Even more sonorous and bright is the piece called *The Song of the Lark* in Chaikovsky's *Children's Album*: [24 Easy Pieces, for piano, Op. 39] (1878), where the melody also springs up from the allusion of the intonation of birds' singing; its sound and reminds us, according to Asaf'ev, of "the momentous painting of Aleksei Savrasov."<sup>38</sup>

Today, one can read on the internet websites descriptions of Savrasov's art recalling Asaf'ev's: "Savrasov was a delicate lyric-man. His best pictures were like Russian poetry and pieces of P. I. Chaikovsky's music"<sup>39</sup>. This perception of Savrasov's painting takes its origin from the art exhibition of the *Peredvizhniki* group in 1871; it was then that Ivan Kramskoi (1837–1887) wrote to his friend Feodor Vasil'ev that Savrasov's landscape *The Rooks Have Come Back* was the only landscape in the show which had a soul<sup>40</sup>. In his turn, Stasov wrote: "Oh, how marvelous all this is; how one is able to hear winter, with its fresh breath"<sup>41</sup>. Savrasov is credited by many critics for creating the 'lyrical landscape' in the late nineteenth-century Russian realist painting. His aim was not merely to portray nature but to *show* in the painting the feeling evoked by nature.

The concept of lyricism was a much used aesthetical epithet in the 19<sup>th</sup> century aesthetics. It was usually given to those realist landscape paintings that exemplified the Russian national romanticist style: modest simplicity

---

<sup>37</sup> *Pesn' zhavoronka*: Pole zybletsia tsvetami, // V nebe v'iutsia sveta volny, // Veshnih zhavoronkov pen'ia, // Golubye bezdny polny. Chaikovski's piece "May" of the piano circle *Seasons* is devoted to Apollon Maikov's poem "Song of the Lark" (Tschaikowsky 1997, 14–15).

<sup>38</sup> Asaf'ev (1952–1957), IV, 85.

<sup>39</sup> The quote is taken from the webpage of the Perm State Art Gallery [http://www.rusart.nm.ru/pages/index\\_eng.html](http://www.rusart.nm.ru/pages/index_eng.html) (10.7.2006). A similar example can be found also for example on the website of the Russian government's international radio broadcasting service *Golos Rossii* (The Voice of the Russia) (1996–) [http://www.vor.ru/English/MTales/tales\\_012.html](http://www.vor.ru/English/MTales/tales_012.html) (10.7.2006).

<sup>40</sup> "Yet all these trees, water and even the air, but only the 'Rooks' contains soul." (Kramskoi 1965, 103).

<sup>41</sup> Stasov 1952, 215.

and grayness, a genuinely Russian landscape identity that “put an end to idealization”<sup>42</sup> in the Russian landscape i.e. the imitation of European classical landscape models<sup>43</sup>. The evaluation of a sense of lyricism in a certain piece of art absolved it from the blame of aestheticism. As an evaluation it emphasized that something deeper and real about the Russian national soul had been successfully captured in the particular artwork<sup>44</sup>.



Pic.2 Feodor Vasil'ev (1850–1873): *Thaw (Ottepel)*, 1871)<sup>45</sup>

Asaf'ev compares the “breath of Savrasov’s spring” with the awakening of spring in the painting *Thaw* by Feodor Vasil'ev (1850–1873) [pic. 2],

<sup>42</sup> This comment, in compliance with the critical realism, came from Stasov who gave credit to Petr Sukhodol'ski's (1835–1903) painting *Noon in the Village* (1864) for its “dryness in its overall tone” and “sad flat horizon”(quoted in Ely 2002, 179).

<sup>43</sup> Among others Levitan wrote in 1897 that “with Savrasov appeared lyricism in the painting of landscape and an endless love for his native land”(quoted in *ibid.*, 201).

<sup>44</sup> To read more about the process of the formation of melancholic aesthetics of Russian landscape painting, see Ely 2002. The lyrical scenery that was considered valuable as such came to be realized by the means and language of a pure landscape painting aesthetics. According to Ely, although the landscape painting got its inspiration from literature, it also gained its own independent status as an alluded symbol of national spirit that was considered “impossible to put in words” and became a challenge for poetry and music and to critics in turn of how to picture its special appearance (*ibid.*, 185)

<sup>45</sup> Feodor Vasil'ev (1871): *Thaw*. Oil on canvas. The State Tretyakov Gallery. The National Museum of Russian Fine Art.

<http://www.tretyakovgallery.ru/russian/viewlarge.php?itemsid=115> (29.11.2007)

with its delicate musical lyricism, which appeared at the same time as the above-mentioned compositions by Chaikovsky<sup>46</sup>. He continues:

This opened a new era. Russian painting did not anymore express merely an outward appearance, i.e., the very unassuming Russian nature, but also its melody: the soul of the painting. In parallel to this, a particular picturesqueness of modulation, as if in transition from one season to another, can be heard in Russian music. The Russian soundscape [zvukopis'] was born: the landscape-sentiment of music and the music of the *singing* forces of nature. And within *singing* I emphasize the vital feature which is not impressionism, i.e. the sensation of every uniquely beautiful moment in their transience, a lyrical unmasking of a continuity — a song or a state of nature, as it were. In the Russian poetic, painterly and musical pictures of springs and autumns, the image of nature includes its *songfulness*; it flows like “a melancholy stream”, like the song of a skylark – a lyrical longing.<sup>47</sup>

Asaf'ev compared the lyricism of Vasil'ev's landscape to Chaikovsky's Symphony No. 1, Op. 13 *Winter Daydreams* and to his incidental music to the play *The Snow Maiden* by Aleksander Ostrovsky (1823–1886).<sup>48</sup> According to Asaf'ev, one does not want merely to observe, recreate or abuse nature: “one wants to *envision* nature as an actuality which is related to oneself and one's artistic needs”<sup>49</sup>. Asaf'ev writes that Savrasov's painting appeared as a manifestation and a herald of the new age and that his unobtrusive painting still evokes an emotional response through its warm and encouraging spring-like tone. Asaf'ev's further attributes describing the painting include rationality, simplicity and depth of thought. He writes:

The absence of a story is linked to its absolute artistic purposefulness. “Being” is grasped not subjectively as a personal experiment but as an expression of what is inherent to the very nature of the portrayed object. One cannot spot the conventionality and theatricality typical for classical art, no scenery, which gives an immanent unquestionable certainty to its realism, neither in the sense of a narration nor of the allegiance to a certain artistic school or tendency, but by ascending to a natural language of painting as it can be understood within itself in its sublime sense.<sup>50</sup>

Asaf'ev views the history of Russian landscape painting as a development of the human sensibility toward the environment and the ability to capture its aesthetical nature, i.e. its psychological or human essence. What the onlooker experiences through the painting is not just a re-creation of his

---

<sup>46</sup> Asaf'ev (1952–1957), IV, 85.

<sup>47</sup> *ibid.*

<sup>48</sup> Asaf'ev 1966, 196.

<sup>49</sup> *ibid.*, 199.

<sup>50</sup> *ibid.*, 200.

environment but the fullness of nature as a living organism in the process of unceasing change. He continues:

In order to achieve the lucidity of portrayal and its warm-heartedness without any artificial and sentimental "affectation", one has to possess, along with talent, the deep Pushkinian integrity of intellect and emotion and the Pushkinian culture. The control over technical means is not enough. In the lines of a poem, especially when the question is about the favorite Pushkinian season – the autumn, the eye of a poet sees feeling and feels seeing. It is not only an account – an arrangement of objects in poems or general poetical formulations that are adapted to observations. It is a psychological landscape, a sensation of environment as a living organism incarnated into literary images and furthermore, so that one is not able to notice the choice of means: nature is seen in a confluence, in duration, as a shift of phenomena<sup>51</sup>

According to Asaf'ev, "the eye of the new, psychologically sophisticated person and a thriving intellectual culture is able to perceive life in its refined forms, for mankind has learned to listen to organic life itself<sup>52</sup>." With this Asaf'ev refers to the birth of the Russian School of Art, reflected in the rise of the national spirit and genre painting in the nineteenth century. Asaf'ev states that afterwards it was no longer necessary for a painter to seek the noble and poetic shapes in nature, since every slice of the soil opened itself up as an artistic object. In this regard he refers once again to Pushkin, who according to Asaf'ev traveled a long way from the French classical poetry's method of portraying nature towards grasping, at his mature stage, the lyrical 'simplicity' of the Russian poetic landscape<sup>53</sup>.

The last emotional statement was, of course, nothing but a nationalistically inspired attempt to 'Russify' foreign influences in Russian art and to emphasize the special character of Russian aesthetics in comparison to others. Asaf'ev rejects the subjective experience and reaches out to the objective natural and holistic beauty that is the inherent quality of reality, which the true artist would be able to reveal to everyone. Recast in populist terms, this thesis became imperative for Soviet art. In the Soviet Union the artistic experience had to become available to everyone. It was the artist's duty to show the beauty of life by portraying the reflected reality for the benefit of the audience.

However, Asaf'ev's philosophical background, which came from modernism, and in particular, his total allegiance to the German idealist tradition, stood in conflict with the official Soviet Marxism. He saw reality as a

---

<sup>51</sup> *ibid.*, 186.

<sup>52</sup> *ibid.*, 187.

<sup>53</sup> *ibid.*

continuously changing, multifaceted philosophical position that he derived from Nikolai Losskii's interpretation of Henry Bergson's intuitive philosophy<sup>54</sup>. Asaf'ev was influenced by Bergson's concept (and that of modernists in general) of a 'living reality', subject to constant change, whereby a purely intellectual perception cannot attain the individuality of an object. He founded his premise of art on the continuity of evolution and on the intuitive contemplation of a living reality. He wrote: "Aleksii Savrasov perceived Russian nature by making the landscape lyrical according to his delicate artistic, deeply musical and melodious sensitivity (by sensing the continuity of the flow and the *interpermeability* of all of the formative components of the painting)"<sup>55</sup>. His concepts sounded rather idealistic also in his writing about "the Levitanian elegiac lyricism of eternal fluctuation..."<sup>56</sup>. His 'organistic' view of art led to the conclusion that it could be served by no idealized abstract scheme; there could be no proven recipe for beauty, because the world was subject to constant motion, which meant that art as a language of life was also under constant development. This development needed to be natural without any artificiality. Thus socialist realism was, according to Asaf'ev, far from an artistic trend or a set of methodological principles of artistic creativity, the way 19<sup>th</sup> century realist aesthetics was. It was rather a philosophical conviction that beauty lay in the truthful portrayal of reality, no matter what this may mean in different times, at one or another moment in the existence of a world constantly in flux. The moral connotation of art did not necessarily arise from its iconic relation to life, since art's reflection of life was not necessarily concrete. The living quality of art was rather some kind of energy inherent in life. The aim was to show the life of art or life in art. Art and life were thus one and inseparable.

One of rare bits of concrete advice coming from Asaf'ev during the years when he taught at the Leningrad Conservatory was that the mere study of musical scores would lead to an 'academicism' incapable of grasping the living quality of art and a genuine artistic experience, whose nature was intuitive. He asserted that academism leads to stagnation, which makes art incapable of functioning as a living historical document of the development in perception and understanding of life. Asaf'ev clearly was against pure rational schemes and static dogmas, a position that was, however, also typical for a 'creative' Russian marxism before it turned into the official 'So-

---

<sup>54</sup> See Losskii, 1914.

<sup>55</sup> Asaf'ev 1966, 198.

<sup>56</sup> *ibid.*, 214.

viet philosophy'<sup>57</sup>. He stated that composers who merely follow ossified musico-theoretical laws destroy the living and developing quality of art<sup>58</sup>. Asaf'ev's statements could be interpreted as the assertion of art's allegiance to life; but they could also be interpreted as a 'formalist' vision on an art developing according to its own immanent logic, i.e., of art as such. Asaf'ev's theory also strove to reach beyond individual tastes, yet the Soviet reality never functioned this way. The arbitrariness of art policy was caused not only by the subjective tastes and goals of party officials but also by competing artists.

Asaf'ev's argument appears contradictory mainly because he used so many traditional concepts that evoked anachronistic connotations in the reader. Following Losskii's views as distinct from Bergson's, Asaf'ev emphasized in his early writings the equal importance of both the intuitive and the rationalist aspect in a creative work. Similarly to Losski, these two aspects together formed the concept of art's organic unity. By *abstraction*<sup>59</sup> in its Worringerian meaning Asaf'ev did not always imply the process that leads to dead schemes, but rather to a human's spiritual, intellectual and anthropomorphic processes, which mean the "personification of nature" and conversely "the artistic objectification of humans so that the simple and actual could be seen behind life's parade – behind the particular, the heroic pathos of history"<sup>60</sup>. Thus Asaf'ev sets art a philosophical task which recalls Hegelian reasoning<sup>61</sup>. In *Symphonic Etudes* Asaf'ev writes: "In

---

<sup>57</sup> See for example what the famous Soviet philosopher and aesthetic Mikhail Lifshich wrote in 1930s in his *Esteticheskie vzgliady Marks'a*: "In its schematic and dogmatic appreciation, the revolutionary theory becomes a sum of abstract conclusions, which makes it easier for the bourgeois ideas to emerge..." (Lifshich 1977, 6–8.) It needs also to be clarified here, as Melzhulev (2006, 76, 93) sums up, that Russian Marxism and Soviet Marxism were philosophical movements whereas Marx saw himself foremost as a historian. Soviet Marxism lost its original Marxist idea as the critical theory buried itself in ontology (see Malahov 1995; Marejev 2006, 125). That is why Asaf'ev, for example, never had anything to do with original Marxism.

<sup>58</sup> Asaf'ev 1971, 22–23.

<sup>59</sup> The process that results from the struggle of artistic volition to tear out the given object from the eternally flowing instable formation of visible world and to capture its absolute being, independent of the ties with the phenomenon of the outside world, born by causality. (Asaf'ev 1970, 103–104.)

<sup>60</sup> Asaf'ev 1966, 187.

<sup>61</sup> "[T]he work of art too, in which thought expresses itself belongs to the sphere of conceptual thinking, and the spirit, by subjecting it to philosophic treatment, is thereby merely satisfying the need of the spirits' innermost nature. [...] [A]rt...acquires its real ratification only in philosophy" (Hegel 1988, 13; see also the footnote 15).

[Rimsky-Korsakov's opera] '[The Legend of the Invisible City of] Kitezh' we feel the logic of an organic process and we sense the organic nature of the process of abstraction."<sup>62</sup>

Asaf'ev's emphasis on the rational grew enormously as he moved towards the socialist realist aesthetics, because idealist 'mysticism' became condemnable from the materialist point of view. Since it was not safe anymore to talk about one's idealist sources, it became expedient to refer to Russian classical national heroes such as Pushkin instead: "one has to possess, along with an artistic talent, the deep Pushkinian integrity of intellect and emotion and the Pushkinian culture". Instead of intuitive perception there was now a simple concept of 'emotion'<sup>63</sup>.

Among those who helped to formulate socialist realist musical aesthetics, Asaf'ev was not the only one who experienced interesting mutations from and showed ingenious variations to the philosophy of modern Western thought and Russian modernism. He did not take the traditions of tsarist Russia<sup>64</sup> as such but reinterpreted and advanced them. Asaf'ev is a good example of an officially established artistic ideologue of the Soviet nation who had universal aesthetic considerations and modernist goals standing behind his official nationalism. He was truly interested in modern music, yet he maintained in his biography that Russia was his fatherland and if he were to stay there it was his primary responsibility to try to act honestly in order to fulfill his obligations to it, even though he might not always be able to understand the policies of the government<sup>65</sup>.

## The Disguise of Pushkin

At risk of somewhat oversimplifying the issue, I would say that the so-called characteristic Russian tone has become an overshadowing issue in Russian culture because of the Tsarist Russian and Soviet nationalist cultural output. By a nationalist output I mean mostly the formation of an official artistic canon and its terminology under the Tsarist and Soviet censorship. The persistent nationalism produced strong literary images and characters (those of 'our' national heroes) equally favored by political leaders,

---

<sup>62</sup> Asaf'ev 1977, 105.

<sup>63</sup> Asaf'ev 1966, 186.

<sup>64</sup> I refer of course to those tsarist traditions that were officially readjusted and justified during the Soviet time.

<sup>65</sup> Asaf'ev 1974, 474, 506.

critics – especially those with a strong moral mission, such as Stasov and Tolstoi – and artists, who would promote them (not always consciously) as a hierarchy of assured role models everyone could refer to. Such concepts and images functioned almost like ethical symbols of the ‘common good’. Pushkin was of course always considered the number one in this hierarchy, but many others moved on and off the top list, especially during the Soviet times. Furthermore, the ‘cultural system’ produced interpretations of non-figurative artworks as having been ‘influenced’<sup>66</sup> by those images. This system created – especially when those compositions were conceived by the great masters – certain artistic sensibilities in the audience at large as well as in individuals, which were so persistent that under the progressively-oriented nationalist mentality they amounted to powerful nationalist engrams of the collective memory, i.e., of national cultural consciousness. For instance, Chaikovsky was perceived as strongly imprinted with Russianness, despite his universal style and European acclaim.

This nationalist discourse had its own aesthetic terminology, which remained in a state of flux throughout its history. Asaf'ev used many traditional concepts to maintain the existence of the new art. Speaking of music, Asaf'ev's concept of *simfonizm* [‘symphonicity’] referred to a certain artistic element at large rather than to the symphony proper as a musical form. The new music did not have to follow a traditional set of rules in order to be symphonic. Asaf'ev's concept of the *intonatsiia* [intonation]<sup>67</sup> was an attempt to unite the ‘human content’ and an abstract aesthetic form in an artwork; he often used it in an attempt to justify the existence of modern artworks. This trend is also present in his writings on painting (cf. Realists versus the World of Art). *realism*, *lyricism* and *Pushkin* were concepts with implicit philosophical definitions. Since realism also included an ethical ‘human’ value, its value-oriented overtones were even stronger than those of the notions of lyricism or symphonicity, the latter referring merely to the living quality of art itself. Richard Taruskin has concluded rightfully that in

---

<sup>66</sup> By this I mean that an abstract artwork was not necessary influenced by a literary image, but since the Russian official art was seen as having a strong ethical and social mission, the existence of the artworks were many times justified in those terms. This is one of the interesting points in seeing music as a historical document. Its abstract form is able to contain hidden information if one is able to interpret it.

<sup>67</sup> Within relationship and meaning the tone becomes intonation. Thus intonation is distinguished from a single musical tone and the distinction is largely semantic, i.e. while musical tone is purely an acoustic phenomenon, intonation means connotation of expressiveness, (referring to meaning). (Tull 1977, 155.)



Russia, where art was always related to moral issues even romanticism had to be called realism<sup>68</sup>. However, Asaf'ev, who saw in the term realism a way to escape from the schematic and dominant German musical tradition (perhaps strengthened by the German siege of Leningrad at the time), wrote in a truly Stasovian manner: "the Romantic period certainly opened up for the arts a new perception of nature, but realistically, an accurate perception was only possible for those of the Romantics whose psyche wasn't infected by the ready-made schemes of the rhetorical theories"<sup>69</sup>. Realism was certainly something that was more than a technical and stylistic matter in Russia. It was a classical value that was given to good art of whatever artistic epoch.

### Conclusions: *Russian Tone*

The treatment of many questions related to the Russian past that have been addressed here is often ridden in preconceptions. Gasparov writes how one can take a radically different view of a Russian chorale so that it is seen as "offering an alternative path into the modernist future and not as archaic and 'underdeveloped': not a fully formalized cadence insight, nor a firmly established idea of tonality"<sup>70</sup>. This reveals how one should look at the history of Russian musical aesthetics as a broad and diverse phenomenon, charged with conflicting options and simultaneously developing phenomena that influenced each other in multiple ways, not conforming to a teleologically driven transformation. In discussions of Soviet music, it is often perceived that the traditional music, with its easily accessible melody, was conforming to the official aesthetics and because of that, irrelevant to the values and development of modern art. By the same token, modernist-oriented music is perceived as progressive and valuable, irrespective to whether it was just an imitation of a Western model. This is a point I wish to make in approaching Asaf'ev's writing. A simple melody by Shostakovich, as well as a traditional concept of Asaf'ev, when put in their proper contexts, may reveal a meaning that was anything but simple.

---

<sup>68</sup> (Taruskin 1981, ix.) Walicki (1979, xiv.) makes the same kind of conclusion in the sphere of philosophy when he states that "in Populist circles, the most influential section of the intelligentsia during the second half of the nineteenth century, working on "pure philosophy" was considered immoral, a betrayal of the sacred cause of the people."

<sup>69</sup> Asaf'ev 1966, 186–187.

<sup>70</sup> Gasparov 2005, 12.

I share the ideas of Gasparov and Asaf'ev about the testimonial value of music as a historical document, but also writings on music. However, in order to do that one must possess an extensive scope of both musical and intellectual historical knowledge. The special feature of music, which distinguishes it from other arts, is its abstract nature, which gives it greater freedom. The conveyance of the modernist trends was also easier within the framework of musicology. Studying the texts of Asaf'ev reveals that the philosophy of music was able to sustain the same kind of freedom with music<sup>71</sup>. His writings contain valuable literary documentation of the formation of the Soviet philosophy of art; a peculiar mixture of the European and Russian modern and traditional element. Seen from a distance, the Soviet period, especially the Stalin era, was in fact short. The great artistic ideas that were rife at the beginning of the century did not die in people's minds, nor did the artists and philosophers, in any circumstances, live in an intellectual vacuum. Because of the totalitarian circumstances their ideas are perhaps just harder to elucidate. I thus hold that it is important that one should not address the official socialist realist musical aesthetical canon (sounding musical as well as musicological) only as narrow nationalistic propaganda, but see in it the key to "an extensive aesthetic phenomenon", a rich intellectual culture, which, as we are well aware, produced notable artworks and great music.

The development in the Soviet Union was very similar to that which Walicki has noted about the 19<sup>th</sup> century Russian intellectual formation. The *Russian tone* was a product of a most unusual cross-fertilization of ideas and influences of the 20<sup>th</sup> century – among others, "the impact of the intellectual elite of the social realities and ideas of Western Europe on the one hand, and their constant rediscovery of their own native traditions and social realities on the other"<sup>72</sup>. As a result of the break-up of an alliance between the ruling and the intellect elites, which had already begun during the reign of Catherine II (1762–96)<sup>73</sup>, the socialist realist aesthetics emerged as yet another kind of compromise between the interests of the parties involved (this is not to suggest that those parties were all of the same moral value). In order to survive, Asaf'ev functioned in-between the two polarized forces: he maintained the thesis of the ethical and social responsibility

---

<sup>71</sup> Literary critic Aleksandr Voronsky (1884–1937) is a good point of comparison to Asaf'ev. Their paths and concepts were similar in many respects. Voronsky was executed in 1937 whereas Asaf'ev's status as a critic was only improving.

<sup>72</sup> See Walicki 1979, xvi.

<sup>73</sup> See *ibid.*, 1-34.

of art (what was later called *party-mindedness*), at the same time introducing his idealist philosophical ideas of pure aesthetics alongside; art as such also turned out to have its intrinsic value. What was happening in the Soviet Union at the time, resembled to some extent events at the end of Catherine II reign, when Novikov was imprisoned and Radishchev sent to Siberia. The modernist-minded intelligentsia who had attempted to embody the soul of the Russian idea was branded as formalists and only the neopopulist front, the part of the intelligentsia who fitted into the Ivanov-Razumnik's definition of the phenomenon, was allowed to act<sup>74</sup>. However, modernist ideas survived in the Soviet Union, not as such but in a peculiar Soviet form that was adapted by influential Soviet cultural figures, such as Asaf'ev. From the present day's view, their works appear as an interesting manifestation of a peculiar mixture of influences and ideas that form the *Russian tone*.

The informative value of Asaf'ev's writing is in some respects contingent on the time to which it belonged. However, apart from the search for a genuine Russian tone, a good reason to read Asaf'ev's book on Russian painting is that his texts are perhaps able to give one an aesthetical experience stemming from his formulations that is not devoid of originality. Asaf'ev's style of writing tends to stir a great admiration or an enormous exasperation, the latter especially on the part of those musicologists who perceive him being first and foremost a polluted product of Stalin's cultural politics. Either way, I personally see in this ability of his personality and works to evoke strong argument something that attests to his everlasting merit and interest. Galaganova's pompous preface consolidated and nourished my own general ideas about Asaf'ev's picturesque or artistic style of writing. As a non-native speaker of Russian, I constantly question my legitimacy in evaluating Asaf'ev's literary style. Although I have been many times frustrated after spending weeks translating some of Asaf'ev's nationalist banalities, repetitions and abundant verbal outpour, I agree, albeit not without controversy, with Galaganova's words: "There is no laborious nonsense or deliberate theorization in his books, which is the sin of so many scholarly works written on art. They contain only a eudemonic joy of

---

<sup>74</sup> According to his view "intelligentsia" was an ethical category par excellence. Only someone who was an individualist and opposed to the bourgeoisie could be called a member of the intelligentsia. Ivanov-Razumnik (1907), *Istoriia russkoi obchestvennoi mysli* quoted in Walicki 1979, 3n).

knowledge of Beauty and an aspiration to deliver this knowledge to (or 'to provoke' it in) his readers."<sup>75</sup>

## Bibliography

- Asaf'ev, Boris (1946), *Moia tvorcheskaia rabota v Leningrade v pervye gody Velikoi Otechestvennoi voiny. Sovetskaia muzyka* Vol. 10, Moscow: Muzgiz, 90-96.
- Asaf'ev, Boris (1947), *Muzykal'naia forma kak protsess. Kniga Vtoraia Intonatsiia*. Moscow, Leningrad: Muzkiz.
- Asaf'ev, Boris (1948), O russkoi prirode i russkoi muzyke. *Sovetskaia muzyka*, No. 5, 29-39.
- Asaf'ev, Boris (1948), Za novuiu muzykalnuiu estetiku, za socialisticheskii realizm! *Sovetskaia muzyka* Vol. 2, Moskva: Muzgiz, 12-27.
- Asaf'ev, Boris (1952-1957), *Izbrannye trudy*, 1-5 [Selected Works in 5 vols.] Moscow: Izd. Akademii Nauk USSR.
- Asaf'ev, Boris (1955), *Vstrechi i razdum'ia. (O russkikh khudozhnikakh i muzykantakh). Sovetskaia muzyka*, No. 1, 49-58.
- Asaf'ev, Boris (1966), *Russkaia zhivopis'. Mysli i dumy*. Leningrad, Moscow: Iskusstvo.
- Asaf'ev, Boris (1971), *Simfonicheskie etiudy*. Leningrad: Muzyka.
- Asaf'ev, Boris (1971), *Muzykal'naia forma kak protsess*. 2 vols in 1. 2nd ed. Leningrad: Muzyka.
- Asaf'ev, Boris (1974), O sebe. *Vospominaniia o B. V. Asaf'ev*. Kriukov, Andrei N. (eds.) Sankt Peterburg: Muzyka, 317-508.
- Asaf'ev, Boris (1976), *Musical Form as a Process*. Tull, James R., *B. V. Asaf'ev's Musical Form as a Process*. Translation and Commentary. Dissertation. The Ohio State University. (Microfilm-xerography). Ann Arbor, Michigan, U.S.A., London, England: University Microfilms International.
- Asaf'ev, Boris (2004), *Russkaia zhivopis'. Mysli i Dumy*. Leningrad, Moskva: Respublika
- Ely, Christopher (2002), *This Meager Nature. Landscape and National Identity in Imperial Russia*. De Kalb: Northern Illinois University Press.
- Galaganova, Svetlana (2004), *Priglasenie k razdum'iu. Asaf'ev, Boris, Russkaia zhivopis'. Mysli i Dumy*. Leningrad, Moskva: Respublika, 5-19.
- Gasparov, Boris (2005), *Five Operas and a Symphony. Word and Music in Russian Culture*. New Heaven, London: Yale University Press.
- Golos Rossii (2004), *Golos Rossii*. [http://www.vor.ru/English/MTales/tales\\_012.html](http://www.vor.ru/English/MTales/tales_012.html) (19.1.2007).
- Haas, David (1998), *Leningrad's modernists: studies in composition and musical thought, 1917-1932*. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
- Harrison, Charles & Wood, Paul (1998), *Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.
- Hegel, Georg W. F. (1956), *The Philosophy of History*. Translated by J. Sibree. New York: Dover Publications, Inc.
- Hegel, Georg W. F. (1988), *Aesthetics. Lectures on Fine Art*. Translated by T. M. Knox in 1975. Oxford: Clarendonpress.

---

<sup>75</sup> Galaganova 2004, 5.

- Kramskoi, Ivan (1965–1966), *Pis'ma, stat'i v dvukh tomakh*. Tom I, Moskva: Iskusstvo.
- Kriukov, Anatoli & Orlova, Elena (1984), *Akademik Boris Vladimirovich Asaf'ev. Monografiya*. Leningrad: Sovetskii Kompozitor.
- Lifshich, Mihail (1976), *Marxin esteettiset katsomukset*. Moskova: Kustannusliike edistys.
- Losskii, Nikolai (1914), *Intuitivnaia filosofiia Bergsona*. Moskva: Russkaia Pechatnia.
- Malahov, Vadim (1995), Onko Venäjällä filosofiaa? *Filosofinen aikakaustehti* 1995:1, [http://www.netn.fi/195/netn\\_195\\_mala.html](http://www.netn.fi/195/netn_195_mala.html) (29.11.2007)
- Marejev, Sergei (2006), Marx, neuvostofilosofia, Iljenkov, *Marx ja Venäjä*. Vesa Oittinen (ed.), Aleksanteri Papers 1:2006, 123-148.
- Melzhulev, Vadim (2006), Marxismi ja bolševismi, *Marx ja Venäjä*. Vesa Oittinen (ed.), Aleksanteri Papers 1:2006, 75-98.
- Perm State Art Gallery (2001–2002), *Perm State Art Gallery*. [http://www.rusart.nm.ru/pages/index\\_eng.html](http://www.rusart.nm.ru/pages/index_eng.html) (10.7.2006).
- Pushkin, Aleksander (1979), *Eugene Onegin a novel in verse*. Translated by Charles Johnston, Introduction and notes by Michael Basker, with a preface by John Bayley (Revised Edition), Hannondsworth, Middlesex, England, Penguin Books Ltd. [http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/ENGLISH/onegin\\_j.txt](http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/ENGLISH/onegin_j.txt) (19.1.2007).
- Pushkin, Aleksander (2002), *Evgeni Onegin. Roman v stikhakh* <http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm?start=0&length=all> (20.7.2006)
- Sivenius Hannu (1998) Saksalaisesta idealistisesta filosofiasta. *Filosofian historian kehityslinjoja*. Korkman Petter & Yrjönsuuri Mikko (eds.) Tampere: Gaudeamus, 336-382.
- Stasov, Vladimir (1952), *Izbrannye sochineniia v trekh tomakh*. Tom I, Moskva: Iskusstvo.
- Taruskin, Richard (1981), *Opera and Drama in Russia. As a Preached and Practiced on the 1860s*. An Arbor, Michigan: UMI Research Press.
- Tschaikowsky, Pjotr (1997), *The Seasons*. Frankfurt/M., Leipzig, London, New York: C. F. Peters.
- Tull, James R. (1976), *B. V. Asaf'ev's Musical Form as a Process*. Translation and Commentary. Dissertation. The Ohio State University. (Microfilm-xerography. Ann Arbor, Michigan, U.S.A., London, England: University Microfilms International, 1979.)
- Viljanen, Elina (2005), *Boris Asaf'ev and the Soviet Musicology*. Master's thesis, University of Helsinki. Published in the University of Helsinki <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/taite/pg/viljanen/> (29.11.2007).
- Viljanen, Elina (2006), Boris Asafjev – kulttuuripolitiikan tasapainoiteilija. *Idäntutkimus* 3/2006, 22-39.
- Walicki, Andrzej (1979), *A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism*. Translated from the Polish by Hilda Andrews-Rusiecka. Stanford: California, Stanford University Press.

**Dacha Locuses in the Baltic Area**

—

**Дачные локусы в  
циркумбалтийском ареале**



## “Sommerfrische” on the Baltic Sea

As a term, which belongs to Russian society and culture ‘dacha’ has gained “a firm foothold” in the German language as much as it has in the English,<sup>1</sup> mainly through the plays of Chekhov and Gorki’s drama *Dachniki* (*Sommergäste*). Dictionaries translate ‘dacha’ into German as ‘kleines Landgut’<sup>2</sup> or ‘Landhaus fuer den Sommeraufenthalt’<sup>3</sup> which usually implies space, a large family, and a long period of leisure in summer.<sup>4</sup> What comes nearest to the Russian ‘dachnaia zhizn’ in German would be ‘Sommerfrische’ where the emphasis lies on getting out of town and into the country. ‘Sommerfrische’ also implies more or less simple lodgings and activities like walking or swimming. In the 20th century, due to immigration of Soviet Germans and other nationalities from the Soviet Union to Germany, ‘dacha’ was also applied as a normal German term without associations with Russia; it then designated a garden plot and more likely replaced the German terms ‘Schrebergarten’, ‘Kleingarten’, or ‘Laube’, even more so in its GDR-form ‘Datsche’ (pronounced with a short *a* and a strong *t*, resembling the English *dutch*). Such garden plots were first organised in the second half of the 19th century when economic and social development urged doctors, teachers, politicians, or philanthropists to care for workers and their families, make them breathe fresh air instead of factory dust and

---

<sup>1</sup> Lovell 2003, 1.

<sup>2</sup> Pavlovskii 1879, 189.

<sup>3</sup> Bielfeldt 1960, 141.

<sup>4</sup> In her epistolary short story “Der letzte Sommer” (Huch 1958) the German writer Ricarda Huch (1867-1947) tells about the ‘last summer’ of a Russian governor from St. Petersburg who is murdered by a young revolutionist in the country during the summer. The term dacha is never mentioned, but detail in the story is typical of Russian ‘dachnaia zhizn’.



offer their children playing grounds.<sup>5</sup> Today a revival of these garden plots can be observed among Germans, but immigrants from Russia are also keen on renting them to feel at home with friends and vodka – fertile soil for interethnic and intercultural contact and friendships (or trouble) across the garden fence.

Summer vacations in Germany have never been as long as in Russia. Maybe this explains why no other people cherish such a strong commitment to one place as the Russians to ‘dacha’, a sort of commitment, which enticed a scholar from Berkeley (Yi Fu-Tuan) to coin the term ‘topophilia’.<sup>6</sup> His opinion is shared by Eugene Asse,<sup>7</sup> a Moscow architect, who maintains that dacha typology<sup>8</sup> exists only in Russia, representing Russian identity and “real Russian life”. Thus ‘dacha’ means a place and a way of life<sup>9</sup>, which the German term ‘Sommerfrische’ does not. ‘Sommerfrische’ could be anywhere, people might visit the country in one place and go somewhere else the next year, unless they owned a summerhouse like Thomas Mann who lived in Bavarian Munich and had a large summerhouse built in Lithuanian Nidden.<sup>10</sup> ‘Dacha’ or ‘Datsche’ would rather be a few hours’ distant from town and could be used also at weekends. In my article it is my intention to show with a few examples what is characteristic of German *Sommerfrische* and how it differs from the Russian *dacha*.

According to some sources ‘Sommerfrische’, the word and the phenomenon were invented by the aristocrats from Bozen (Bolzano) in Southern Tyrol. Since the 17th century well-off Bozen families used to escape the stifling heat in the valley and move a thousand meters up the alpine mountains, where they owned “fresh-houses” (Frischhäuser). They usually lived there for two or three months in summer spending their weeks with pastimes such as hunting, sportive shooting, and various games. Tourism did not start until 1907 when a railway track was built to facilitate access to the high plateau.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> cf. Kasch & Walz 1996; Parzelle – Laube Kolonie 1988; Albrecht & Blueher 1989; Warnecke 2001.

<sup>6</sup> Shchukin 1997, 311.

<sup>7</sup> Asse 2006, 112-113, 127. See also: Meyer 2006, 2-3.

<sup>8</sup> In his short statement Asse does not refer to Lovell and his typology of forms of dwelling which were called “dacha”. cf. Lovell, 2003, 59.

<sup>9</sup> “The dacha was not just a place but a way of life.” Lovell 2003, 86.

<sup>10</sup> Thomas Mannas Nidoje 2000.

<sup>11</sup> Thiele 2006.

'Sommerfrische' in the mountains is certainly something special, but so is 'Sommerfrische' on the sea, especially when spent in a seaside resort, a spa, a "Kur-Ort". The social and cultural history of the 'Kurort' (wellknown also in nineteenth century Russian literature) is certainly no less interesting than the history of the dacha. The *Kurort* was actually a place in the Midlands famous for its mineral springs and which people visited in order to be cured from a disease or to find relief from a nervous condition. But 'Kurort' also refers to a health resort on the sea (Seebad). The oldest one of these in Germany was Norderney, an East-Frisian island in the North Sea, founded at the end of the 18th century.

It is an accepted fact that the discovery of the landscape came first and its appropriation after.<sup>12</sup> In the third place came the medical use of water and air. After the appropriate institutions had been established *Kurorte* appeared as settings in literature. In my article I shall analyse literary texts by Ferdinand Gregorovius, Eduard von Keyserling, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, and Judith Hermann, authors who describe aspects of *Sommerfrische* in the North of Germany, mainly on the Baltic sea. The texts are as different as the literary periods to which they belong; they deal with different out-of-town-dwellings, different social classes and lifestyles, and they express different literary tastes. What they have in common is *Sommerfrische* as a point around which the description or the action revolves. The German *Sommerfrische* has never been so popular a literary subject as the Russian *dacha*. Accordingly, there are fewer texts where it plays a decisive role. At the same time the texts reveal details of historical, social, or ethnographic interest. A Russian text by Ivan Gensler will be used to demonstrate that the Germans took their way of summer entertainment with them when they settled in Russia.

### Ferdinand Gregorovius (1821-1891): *Idyllen vom Baltischen Ufer*

Nineteenth century literature preferred natural settings or cultural institutions. Literary criticism has placed Gregorovius between romanticism and realism. With writing what later became known under the title *Idyllen vom Baltischen Ufer*<sup>13</sup> (1851; *Idylls from the Baltic Coast*) Gregorovius returned

---

<sup>12</sup> cf. Bluhm 1986, 30.

<sup>13</sup> Gregorovius 1941, 13-14.

to the 18th century genre of the travelogue. His appraisal of the Baltic was part of his *Wanderungen in Italien (Wanderings in Italy)*. In the South the writer remembered the North and compared the Baltic to the Latin coast. The *Idyllen* show scenes of summer leisure of the German middle-class from Königsberg. The characters are on holiday in Samland (now Zemliandskii poluostrov) where they settle in tiny villages on the north coast of the peninsula (Neukuhren, Lapoehnen, Sassau, Rauschen, Warnicken), enjoying innocent nature and unpretentious entertainment. At the same time the text offers insight into the development of the small seaside-resorts in East Prussia.

Neukuhren (Pionerskii), which appears as the centre of amusement in the text had originally been inhabited by fishermen and peasants and was founded as a resort in 1837. According to the author, several hundreds of guests lived in the village during the summer. Simple accommodation was offered either by fishermen or in one of the four modest “Curhaeuser” (lodging-houses) standing in a garden above the beach. From there a simple staircase would lead down to the sea where straw-cabins (or bathing-machines) were lined up to be pulled into the water on a rope for bathing. Social life concentrated around the guesthouses where open space between the buildings was used for public amusement such as singing, dancing, listening to the village band, watching strolling jugglers, or firework – an “Eldorado” (the writer says) especially for the young and pleasure-seeking world. The young world is dominated by Königsberg students, junior barristers or junior merchants, and full of superficial kindness and boisterous merriness. The young people would produce a specific local idiom and compose a new Curish national anthem every year. They would also elect a *maitre de plaisir* whose foremost duty consisted of renting the village band for the season. The musicians would sit under a wild pear-tree,<sup>14</sup> play classical music in daytime and dance music in the evening. There would be dancing on the bare clay, corn-flower in the hair and pleasure on the cheeks – a naive scene which gives little room to the typical romance of Russian literature which would begin in the country in summer and end in town in winter. There were no dachas at Neukuhren with pavilions favourable for love affairs, there was more public space and less anonymity than in a Russian country estate.

---

<sup>14</sup> In illustrated editions we see an etching of this pear-tree (looking more like an oak-tree, though) in front of a “Curhaus”, with a band and a group of listeners. (Gregorovius 1941, 25.)

To the more established guests at Neukuhren who were used to dwelling within narrow Königsberg townwalls and social rules, informal beachlife meant "Auszeit" (time-out) in the same way – Gregorovius explains – as carnival, when people are suddenly taken by the pleasure of changing character and doing away with convention: "The councillor of commerce became Robinson, the professor turned into Diogenes, the councillor in the government into Rinaldo, and the director of the gymnasium into a handsome Swiss boy."<sup>15</sup> The same for Rauschen, the second large Samland spa after Neukuhren. Gregorovius characterises the village as an asylum for professors, school directors, and state employees. Once more he pays special attention to the youth and their love for anarchy. Commenting on social life in fashionable Cranz<sup>16</sup> which he found formal and stiff, Gregorovius praises summertime in idyllic and unsophisticated Samland which, in his eyes, excelled in authentic naturalness and domesticity<sup>17</sup> and proved free of "unfamiliar" – by which he meant aristocratic or foreign – elements. The families that came to Samland would gather together as in one big family. They had known each other for many years and they would meet year after year as friends in a region which united the homely and the strange in a pleasant way. The exciting moments appear in nature, such as the eclipse and the walk into the open amber-mine at Sassau, the moor-fire at Rauschen, the sublime scenery around the Wolfe's Gorge at Warnicken. But the numerous literary allusions to literature, philosophy, antiquity, and myths, as well as the stylistic qualities – sometimes humorous, sometimes poetic – give the text a specific harmony and a balance between social life and nature, which deserve the title "Idylls".

Gregorovius did not discover the beauty of the Samland villages between Rantau and the lighthouse of Bruesterort himself, and he was not the first to recommend them as places of destination for a holiday on the Baltic, for bathing in the Sea and living in an unspoilt and natural, sometimes even

---

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Cranz (Zelenogradsk) was founded by the government as early as 1816. The image of a fishing village was surpassed by two assembly buildings (Konversationshaeuser) and two lodging houses (Logierhaeuser), the older one built in 1843 in "Italian style". It consisted of 23 rooms for accommodation, a restaurant, a reading and a billard room, a "Salon" on two levels and open halls facing the sea and the land. A road from Königsberg to Cranz had not been constructed until 1852, a railway connection was established in 1886. Until 1939 Cranz was the largest and most renowned seaside resort in Eastprussia. (cf. Tilitzki & Glodzey 1984, 513-536.)

<sup>17</sup> "Der samlaendische Badesommer ist ein grosses koenigsberger und nur buergerliches Familienfest". (Gregorovius 1941, 14.)

archetypal environment. The villages had been praised before in guide-books and travelogues before and after 1800. In keeping with 18th century concepts, the steep coast and rugged slopes were looked upon as something sublime and remote from terrestrial matters. Gregorovius did not do away with this concept, he rather enriched it with folkloristic elements and urban civilization. The countryside became a manmade landscape; natural dwelling-sites became sheltered lodgings. The sea, the steep coast, the rugged slopes would accordingly be enjoyed from a distance and turn the authentic sublime into an illusion of the sublime. Thus the development of summer retreats runs parallel to the discovery of the countryside at the beginning of the nineteenth century.

### Ivan Gensler (1820-1873): *Kullerberg*

If we look for an equivalent of Teutonic modesty and peacefulness in Russia we have to turn to the German “colonists” who were among the earliest dacha landlords “from a humble milieu”.<sup>18</sup> However, since the time of Catherine the Great these colonists developed and formed different social groups, from craftsmen to bourgeois merchants. Nevertheless they would cling together and mix classwise when it came to the celebration of mid-summer (St. John’s Eve/Ivanov den’). Ivan Gensler, a little known prose writer in the tradition of the physiological sketch,<sup>19</sup> left a detailed account of an excursion (gulianie) to Kullerberg hill, where the celebration took place, enumerating Germans of various professions and from different social classes (“plebeians” and middle class) and illustrating his novel *Kullerberg*<sup>20</sup> with the most amusing dialogues in very bad – that is, germanized – Russian (bad in lexicology, grammar, and pronunciation). The descriptions cover one day only, but the amusement is comparable to what Gregorovius spread over a couple of weeks. We see husbands, wives, and children moving away from the hot and dusty capital by boat or carriage, packed with food and coffee, making their way from the Isle of Basil across Tuchkov Bridge and along Zhdanovka to Petrovskii Island, from there across Malaya Nevka and further to their destination on Krestovskii Island, where they head for the woods, the hill and the lake, and a theater. This was the

---

<sup>18</sup> cf. Lovell 2003, 21.

<sup>19</sup> Mogiljanskii 1989, 538.

<sup>20</sup> Gensler 1908, 3-100.

(in reality non-existent) place where they had meals, where the elder ones took a solid rest at midday, while the young ones would enjoy games and wait for dancing in the afternoon. The noisy amusement of the Germans stands in contrast to a dachnitsa from Krestovskii Island who is shown with a book and an umbrella in one hand, leading a girl of four or so with the other<sup>21</sup> – no doubt a representative of the upper class and more educated part of the population. Gensler's descriptions are so funny and vivid, that the reader feels tempted to look for traces of a Kullerberg at midsummer.

### Eduard von Keyserling (1855-1918): *Wellen*

While the texts of Gregorovius and Gensler are factual in some parts and fictitious in others, the short novel *Wellen* (1911; *Waves*) by Eduard von Keyserling is all fiction. The place of action is far from the economic and social development that were typical of the third period of resorts after 1871,<sup>22</sup> when most holiday places on the sea were transformed into spas and rivaled with the midland resorts in elegance and comfort. For Keyserling, representative of *fin de siècle* prose, there was a reason for the choice of the Curish Spit as a setting.

The author takes his reader to an extremely remote settlement of fishermen where the village-inn (named brutally "Bullenkrug" – "the Bull's Inn") – a rustic place with hardly any comfort – is rented by a general's widow (Generalin) for a family reunion of three generations. Instead of experiencing harmony and concord the reunion results in open discord. The established aristocratic family von Buttlaer feels provoked by a lady from their own class, countess Doralice, who left her husband and the city with her lover Hans Grill, a rather boorish painter. The lady has a desire for something 'beyond', whereas the painter displays a bourgeois concept of living and praises a well-ordered homely life (a villa on the outskirts of Munich and Doralice as his housewife). The young noble sisters Lolo and Nini are curious to overcome social and moral boundaries, but it is Lolo's undisciplined fiancé lieutenant Hilmar, who actually does transgress the line. He takes his liberty of courting the countess and forgetting about Lolo. None of them, though, is able to arrive at what he or she wants. The depth

---

<sup>21</sup> "Inogda proidet dachnitsa s Krestovskogo, derzha v odnoi ruke knizhku i zontik, a drugoi vedia devochku notelet chetyrekh". (Gensler 1908, 30.)

<sup>22</sup> cf. the categories for periodisation in Tilitzki & Glodzey 1984.

and width of the sea frighten the countess, its endlessness almost annihilates Lolo, lieutenant Hilmar has to go home, and the painter never returns from the sea.

The fields and agriculture are closer to the hearts of the general's widow and her daughter, who arrived from their estates, than the sea is. They have no sense for diversity in repetition<sup>23</sup> such as the changing of sounds or the striking variety of colours. Through the eyes of the poetic Lolo we see the incompatibility between the waves' eternal washing on the shore and the petty sorrows of her mother worrying about orders for the estate, unreliable servants, poultry and cattle. Her husband is none the better, for he is self-indulgent, superficial, and sentimental, his speech rich with trivialities. Although he touches upon industrial development in the 19th century and mentions a gap between 'the poetry of nature' and industrial agriculture,<sup>24</sup> his pragmatism makes him indifferent towards the beauty of nature devoid of field and fruit.

The setting is characterized by a tension between open and closed space, between rough and quiet sea, natural and domesticised elements, with verandas and windows functioning as thresholds. On the one hand, nature is described as idyllic and peaceful, appearing as a poor little kitchen-garden, creeping beans on the veranda and wild pea on the family table. On the other hand, beyond the veranda, there is the noise of the sea, its uneasy glistening, an orange beach turning bright red in the evening sun. When the night descends those who are out on the veranda stand silent and motionless, with a feeling of nothingness towards the infinite and undergoing dizziness and fear of falling.

On the personal level there is tension between the leisurely townsfolk and the working locals. The fishermen function mainly as uncivilised background, economically degraded to service as they let rooms and offer boat-rides, although they, and not the guests, are the ones who master the sea. Another difference is between the sexual morals of the established aristo-

---

<sup>23</sup> Positive descriptions of monotony, loneliness, repetition of the same phenomena characterize Louis Passarge's wanderings along the Curish Spit and make the author maintain the importance of perceiving and mentioning detail: "In einer Natur, wo der Hauptreiz in der Einförmigkeit, in der Wiederholung derselben Erscheinungen besteht, kann die Darstellung sich nicht begnügen die unendliche Kette anzudeuten; sie kann es sich nicht versagen, immer wieder es auszusprechen, dass die ungeheure Dünenkette nur aus einzelnen Sandkoernern besteht." (Passarge 1878, 167.)

<sup>24</sup> "Ach die Landwirtschaft war ja jetzt eine Industrie, und die Poesie hatte in ihr wenig Raum." (Keyserling 2004, 77.)

crats and the free artist. Hans and Doralice have rented the thatched house of the best fisherman in the village who moved himself and his family out into the store room. The two characters live as husband and wife, and their practice of free love shocks the female von Buttlaers who fancy themselves to be a moral fortress. In the village they have no chance of ignoring the couple, but they know that a confrontation which would have proved compromising in the city, will have no significance in this remote place on the sea. As forbidden love, the affair upsets the high society ladies but it is watched with curiosity by their husbands.

"Immoral" behavior sparks irritation and fascination at the same time. Swimming naked in the sea,<sup>25</sup> the young maid Ernestine sets what is considered a bad example, and the ladies fear it might spoil the good manners of the girls. Wedig, though, a boy of fifteen, listens attentively when the fact is being discussed. Unfortunately, being rather effeminate and in poor health, he will not be allowed to bathe in the sea. Hans Grill's thirst for order puts him alongside with the aristocrats and distances him from his own aspirations as a free artist.<sup>26</sup> With his inability to transform into paint what he praises in words, he proves to be a 19th century rhetoric and a failure as a painter. He adores Doralice and he watches the sea endlessly, but he can express neither his wife's beauty nor that of the sea. The richness of colours and the shades of light he cannot find are provided instead by the narrator's impressionistic style. Hans can merely form and produce a lifeless drawing of the fisherman's wife.

The local people are shown as quiet and firm, sitting on a bench in their free time and letting time go by. They are in harmony with nature (even when one of them is killed at fishing), whereas the aristocrats suffer from monotony and have no idea of how to occupy themselves. The lovers spend their time lying in the dunes, looking at the sea, walking, talking, and experiencing a lack of that guidance that they used to have when travelling with a guidebook. It is Hans who grows uneasy with their permanent holiday, who protests against the endless horizon and time, who misses a boundary and keeps projecting ideal images of the ordinary. Doralice, however, cannot get accustomed to poor accommodation (the plain potatoe soup offered

---

<sup>25</sup> Ernestine is probably an example of "Swedish bathing" – common nudism as practised in Sweden and imported to the German beaches around 1900. It was part of the growing discussions about vegetarianism and "Freikoerperkultur" and considered indecent by the majority of spa guests. (cf. Prignitz 1986, 214.)

<sup>26</sup> With my interpretation I am indebted to Steinhilber (1977); Less rewarding was Binek (2006).



by Grills's housekeeper). As the wife of a diplomat she keeps remembering her salon in Dresden, and once when Hans is out she finds consolation in putting on the fashionable dresses from her wardrobe.

A "lack of events" (Ereignislosigkeit) is one of the most frequently used terms in the novel, and the painter's hope to find a cure in following the agitated sea is treacherous.<sup>27</sup> A thunderstorm at night forecasts a thunderstorm in the relations of the characters. The change is brought about by the young generation. They are the ones to break with tradition and to search for something new. In spite of her mother's disapproval Lolo adores Doralice, but she feels that her beauty is fatal. Having gone too far into the sea when swimming Lolo, is saved by Doralice who then turns out to be Lolo's rival in relation to her fiancé, lieutenant Hilmar. Neither Doralice nor Hilmar are able to withstand their erotic attraction, they want to go 'beyond' and try to overcome the barrier of the I.<sup>28</sup> Doralice mortally hurts Hans, and Lolo who has accidentally witnessed her fiancé on his knees before Doralice attempts suicide but is rescued by the fishermen. After this 'event' Doralice is working hard to come to terms with herself and her lover and to regain the love of Hans, wishing to find peace and security with him. But fate (the sea) decides against her, the waves do not bring him back. The sea represents the only unquestionable authority in the novel, its strongest power and actual hero.

On the thematic level the various tensions underline the idea of chaos and order, death and life, longing and fulfilment, as also do the images and colours (orange, red). In the first place the title of the novel hints at nature, in the second it symbolises the stream of life with its ups and downs in a continuum, its beaches as an in-between (edge of water/edge of land)<sup>29</sup> and its shelves (land in the sea) at a distance.

Strangely enough, the latest German edition of the novel shows a cover photo with some fifty roofed wicker beach-chairs on a sandy beach, although in the novel there happen to be no more than two of them, which the general's widow asks to be brought to the lonely beach to sit with her daughter in shade and shelter and do needle work.<sup>30</sup> The cover rather cor-

---

<sup>27</sup> "Das Meer wird uns kurieren, das Meer kann immer ein Ereignis sein und da wollen wir uns anschließen [...]". (Keyserling 2004, 95.)

<sup>28</sup> cf. Steinhilber 1977, 166; with reference to Schopenhauer, 137.

<sup>29</sup> Recent publications about 'boundaries' open new fields for research. (cf. Koschorke 1990; Lencek & Bosker 1998; Feldbusch 2003.)

<sup>30</sup> "Der Tag war sehr heiss. Die Generalin hatte die Strandkoebe auf die Duene stellen lassen. Dort sassen sie und ihre Tochter und machten Handarbeit." (Keyserling 2004, 37.)

responds to the imagination of hunchbacked privy councillor Mr. Knospe-lius, the born observer and reasoner in the novel who would love more social life on the Spit. This is why he suggests the foundation of a "tiny Norderney".<sup>31</sup> Norderney, an island in the North Sea, was founded in 1797 as a resort for reconvalescence in salty air and water. In spite of its belonging to the King of Hanover for some decades, it preserved much of its character as a fishing village. It has never been glamorous like Heiligendamm which had been founded shortly before, in 1793, by the Duke of Mecklen-burg. Regardless, Norderney and Heiligendamm set the example for later seaside resorts such as Luebeck-Travemuende which followed in 1802 and was the first resort to provide a complete ensemble of spa architecture, such as buildings for lodging and entertainment, a "Bazar", a casino, a music pavilion, a theatre. There would also be a park, an esplanade along the beach (Kurpromenade), and a wooden pier (Seesteg).

These were the places, which the German *haute bourgeoisie* (Grossbu-ergertum) had created as a setting that permitted imitation of an aristocratic lifestyle, and such was the platform that allowed them to demonstrate their appartaining to the elite.<sup>32</sup> The prosperous financial situation in Germany in the 1870s and 1880s, after the French and German war, which allowed more and more people to go on holiday caused a boom of villas in a style that became known as "Baederarchitektur" (spa architecture).<sup>33</sup> Its main features are galleries, wooden verandas and balconies open to nature.

### Thomas Mann (1875-1955): *Buddenbrooks*

Although most of the action in Thomas Mann's novel *Buddenbrooks* (1901) takes place in Luebeck (the city is not named in the book) and in-dooors there is an outdoor episode at Travemuende early in the novel. The purpose of this episode may be interpreted as characterizing Tony Budden-brook by means of contrast between the lower class she gets to know and the *haut monde* she comes from.

For many years the Buddenbrook family used to spend their summer va-cation at Travemuende, but in 1845 (the time of the episode) things are

---

<sup>31</sup> Keyserling 2004, 48.

<sup>32</sup> Tilitzki & Godzey 1984, 522.

<sup>33</sup> About the mixture of architectural styles on the Isle of Norderney and Baederarchitektur which is actually not a style of its own (cf. Winter 2009.)

different. Tony has caused trouble by refusing the proposal of the (supposedly) wealthy merchant from Hamburg, Bendix Gruenlich, whom she detests. So she is sent to healthy and natural surroundings on the sea to recover from turmoil and listen to reason. Staying with the family of a pilot officer, she meets their son Morten, a student of medicine who criticizes aristocratic, clerical, and landowning institutions and talks to Tony about a classless society. Neither does Tony understand what he is about nor does she conceal her feudal inclinations. But she feels attracted by the young man who conveys her insight into things she has never thought about and who displays to her the possibility of living a life other than in the family tradition.<sup>34</sup> A lively person who never grows out of her childlike state and easily adapts herself to a new situation, she likes the honesty of her hosts and her clean room in the house, she is pleased with the food the pilot's wife prepares, and she never mentions a word about wanting any better.

On her first outing with Morten, Tony walks through *Kurgarten* where she meets the young and privileged generation of the Travemuende circle that is characterized by financial independence, expensive lifestyle, and a desire for representation. Most of its representatives come from the five or six families that rule the city of Luebeck. This group spends its vacation in the luxurious Kurhaus-hotel<sup>35</sup> surrounded by roses and fir-trees, the best address at Travemuende and out of town; they wonder about Tony's modest lodging within town. Morten refuses to be introduced to the group and decides to sit aside on a stone while Tony talks to her friends. In fact, there is much less description in the text than dialogue, discourse is considered more apt for exemplifying class distinction than images.

The Kurhaus-hotel with its assembly room (Kursaal) and restaurant answers the need for exclusiveness of the male patricians, who would come over just for a couple of days to have a good time between Kurhaus and Casino, with bathing, courting, and gambling, and otherwise to do business in the city. For Tony the group they represent means social pressure<sup>36</sup> from which she sees a chance to escape through Morten, but at the same time this class corresponds to her own wish for wealth. She is brave enough to vindicate to her father her love for Morton, but six weeks later, when she is back in the city she considers the alternative: either money without love or love

---

<sup>34</sup> cf. Keller 1988, 182-184.

<sup>35</sup> The two buildings in Swiss style (Schweizerhaeuser) Thomas Mann mentions had not been there in 1845. They were built in 1860 after the lodging-house of 1804 had been pulled down. (cf. chapter "Unterbringung", *Saison am Strand* 1986, 75.)

<sup>36</sup> cf. Mueller 1993, 38.

without money, and her sense of family commitment (Familiensinn) prevails. She renounces Morton and marries Mr. Gruenlich. However, she will never forget what Morton told her and repeat his words into old age as if it were law.

The decline of the Buddenbrooks represents the decline of the upper class but only in part as there are several factors, psychological as well as social, which contribute to it also. As we know, Tonys marriage to Gruenlich was a flop which was followed by others. In 1868 vacations at Travemuende come to an end, the family cannot afford them any more. The sojourn at the sea has to be replaced by the garden in the city. Finally, in 1872, there is only Hanno, the delicate last member of the dynasty, to be taken to the sea during school holidays to strengthen body and soul. "Sommerferien an der See! Begriff wohl irgend jemand weit und breit, was fuer ein Glueck das bedeutete?"<sup>37</sup> (Summer vacation at the shore! Could anyone, anywhere, know what happiness that was?<sup>38</sup>) exclaims Hanno when he is finally free from school. He resides in one of the two Swiss-style lodges at the end of the long central building, thoroughly enjoying the blissful confusion at waking up in another place, touching the exceptionally thin and soft linen sheets, listening to the laborer raking the ravel on the path in Kurgarten and to the buzzing of a fly between the blind and the window: „Und dieser sanft belebte Frieden erfüllte den kleinen Johann alsbald mit einer koestlichen Empfindung jener ruhigen, wohlgepflegten und distinguerten Abgeschlossenheit des Bades, die er so ueber alles liebte.“ („And the gently animated calm suddenly filled little Johann with a delicious awareness of the quiet, well-tended, elegant seclusion of this resort, which he loved more than anything else.") Hanno spends his four weeks of a summer vacation in a state of exaltation and bliss that makes him love and praise every detail, be it a metal egg cup or the breathing of the sea, the smooth sand under his feet or the quality of the water (das hellgruene, kirschtalklare Wasser schaeumte weithin/ruffled streaks of bottle-green and blue.). Hanno's loving and poetic description of his twenty-eight days on the Baltic are Thomas Mann's *hommage à Travemuende* as a great 19th-century seaside resort.

---

<sup>37</sup> Mann 1957, 579. The whole description of these holidays (part 10, chapter 3) runs over several pages. (Mann 1957, 579-585.)

<sup>38</sup> For this and the following quotations see Mann 1994, 610-611.

Vladimir Nabokov (1899-1977): *Korol', dama, valet*

It was left to Vladimir Nabokov to make use – in his life and works – of the typologies Russian dacha and German spa (Seebad). After having paid his debts and gone for a five-months' lepidopterological expedition to the Pyrenees, Nabokov took the rest of the honorarium the Ullstein publishing house had paid for the German translation of *Korol', dama, valet* and bought a plot of land on lake Wolzig at Kolberg southeast of Berlin.<sup>39</sup> He meant to have a dacha built there with three or four small rooms but he ran out of money and had to give up the idea.

The setting, however, was incorporated into *Otchayanie (Despair)*. Nabokov made the artist Ardalion own “nebol'shoi uchastok v trekh chasakh ezdy ot Berlina [...] Polosa byla dlinoi v dve s polovinoi tennisnykh ploshchadki i upiralas' v malen'koe milovidnoe ozero”<sup>40</sup> (a plot of land the size of two and a half tennis courts, on a nice little lake, with two birches and five fir trees). The site is significant: it makes the setting for the love affair between Ardalion and Lida of which Hermann is oblivious, and it functions as the place where Hermann, blind again, will shoot his double Felix.

For the murder of Mr. Dreyer in *Korol', dama, valet* Nabokov needed a completely different setting. In the English version the beach is Gravitz where Dreyer's wife Martha, with the help of her lover Franz, planned to get rid of her husband. The Russian text reads simply “k moriu” (to the seaside).<sup>41</sup> Anticipating a wonderful holiday Martha offers in short a rich description of the fashionable spa: “Ei predstavilsia dlinnyi pliazh, gde oni kak-to raz uzhe pobyvali, belyi mol, polosatye budki, tysiacha polosatyykh budok... oni redeiut, obryvaiutsia, a dal'she, verst na desiat', pustaia belizna peska vdol' siiaiushchei, serovato-sinei vody.”<sup>42</sup> (The magic lantern of fancy slipped a colored slide in – a long sandy beach on the Baltic where they had once been in 1924, a white pier, bright flags, striped booths, a thousand striped booths – and now they were thinning, they broke off, and beyond for many miles westward stretched the empty whiteness of the sands between heather and water.<sup>43</sup>) She even gets excited when she fancies herself in her summer dresses and – typical of the twenties – with a tan:

---

<sup>39</sup> cf. Boyd 2001, 341.

<sup>40</sup> cf. Nabokov 2000, 415.

<sup>41</sup> Nabokov 1999, 267.

<sup>42</sup> *ibid.*

<sup>43</sup> Nabokov 1968, 211-212. The English version differs from the originally Russian version.

“solnechnyi zagar teper’ v bol’shoi mode”<sup>44</sup> (a sun-tan is now the great fashion).

The prototypes for Gravitz were the seaside resorts Binz on the Isle of Ruegen and Misdroy (Polish since 1945). Nabokov knew Binz from his summers in 1926 and 1927, when he had been a guardian of boys from rich Berlin families. As Brian Boyd suggests it was during these summer holidays that Nabokov conceived the idea for an unsuccessful murder at the seaside.<sup>45</sup> Both resorts were frequented by visitors mainly from Berlin. In Nabokov’s novel we see Mr. Dreyer in the Seaview Hotel at breakfast spelling funny names from the resort’s guest list (“spisok kurortnykh gostei”), such as Blavdak Vinomori (anagram of his creator)<sup>46</sup> while his nephew Franz admires an elegant (genuine elegance had to be all in white) and obviously happy foreign couple talking in a language he does not understand: the writer himself is setting his foot into the book as its organizing principle. Thanks to intensive advertising, guests from the capitals of Russia and Austria also visited Binz. They contributed to the urbanisation of resorts on the Baltic Sea (and to the loss of that unpretentious gregariousness we had met in Gregorovius). Today, Binz is the seaside resort with the most spectacular and best preserved “Baederarchitektur” in Germany.

Apart from architecture, outdoor furniture is certainly worth mentioning in relation to the German beach. Firstly, the Strandkorb, which followed the beach-tent after 1880.<sup>47</sup> Usually this was a high wicker chair for two people covered with striped cloth to keep the wind away and allow comfortable shelter and plenty of sun as the chairs could be turned round with the sun. In *Korol’, dama, valet* Nabokov calls them “budki” (booths) or “korziny”<sup>48</sup> (baskets). Another phenomenon of the German beach which Nabokov did not miss was the building of fortresses of sand around the booths to mark the territory of the persons in it: [...] “mezhdia krepostnykh valov, okruzhayushchikh kazhduyu budku”<sup>49</sup> (among the ramparts of sand that surrounded each bather’s ephemeral domain<sup>50</sup>). This digging-up of the sands has now come to an end, although you can still find fathers (more than mothers) and children constructing tunnels, towers, and walls which the

---

<sup>44</sup> *ibid.*

<sup>45</sup> Boyd 2001, 321-322, 327.

<sup>46</sup> Nabokov 1999, 282; and Nabokov 1968, 239.

<sup>47</sup> cf. Holfelder 1996, *passim*.

<sup>48</sup> Nabokov 1999, 279.

<sup>49</sup> *ibid.*, 280.

<sup>50</sup> Nabokov 1968, 234.

waves will soon wash away. Martha's scheme to murder Dreyer was to be washed away just like these German fortresses of sand.

There is plenty of detail when Nabokov makes Dreyer walk the place. Unlike Franz whom "the things did not love" (*Veshchi ne liubili Franca*)<sup>51</sup> Dreyer is keen on them, and they keep him amused. He forms categories for the streets (first, second, and third order) and the importance of the hotels accordingly, and he wonders at their names (some indicate the presence of the sea, others aspire to "Helvetia"). He looks at the postcards on a stand (and finds them all alike) and takes a special interest in the snapshots of people who were photographed long ago and are now preserved in the pictures, and he watches a photographer walking the beach to take photos of the present guests – a symbol of Dreyer's survival in the novel. The souvenir business<sup>52</sup> in the small shops of the place are described as miserable and sad: antique trash such as frames made of mother of pearl or seashells, barometers, Chinese silk and vases which nobody needed at the seaside. Just like his short story "Putevoditel' po Berlinu" (A Guide to Berlin) the episode at Binz shows Nabokov as a master of the integration of theme and device.

### Judith Hermann (born 1970): *Sommerhaus, spaeter*

*Sommerhaus, spaeter* (*Summerhouse, later*; 1998) is the title story of the first collection of stories by the young author Judith Hermann.<sup>53</sup> It would have been a love story if the characters – the shy and goodlooking lower class taxi driver called Stein and the sophisticated intellectual narrator-I from whose point of view the story is told – had been able to speak and decide. What is postponed until later – life together in a house – turns out to be never. The story opens with the words: "Stein fand das Haus im Winter. Er rief mich irgendwann in den ersten Dezembertagen an und sagte: – Hallo, und schwieg. Ich schwieg auch" (Stein found the house in winter. He called me some time during the first days of December and said: – Hallo, and was silent. I was also silent). In the last sentence the narrator informs

---

<sup>51</sup> *ibid.*, 278.

<sup>52</sup> The real boom of souvenir industry in Germany came after 1945. This phenomenon has recently also become a theme in research.

<sup>53</sup> Hermann 2000, 139-156. – Her story "Rote Korallen" (Hermann 2000, 11-29) would be worth comparison with A. I. Kuprin's "Granatovyi braslet".

us that six months later the house had burnt down and the owner, probably the fire-raiser, had disappeared.

The building Stein had found is an 18th century country house near Angermünde, some thirty kilometers northeast of Berlin in a village, which the narrator calls Canitz.<sup>54</sup> Although the house is a ruin and near to collapse Stein paid an enormous amount of money for it. He did this, she reckons, to show her a possibility, "one out of many".<sup>55</sup> She is the only one in a group of intellectuals (a painter, a pianist, a writer) whom he loves without ever declaring it, and she responds to this love without ever confessing it to herself let alone to him. She belongs to a Berlin Bohème that walks at easy-rider pace, takes drugs, and listens to the latest songs. Stein imitates everything they do, he does not understand but he wants to be one of them. By and by these people occupy the houses of the petty GDR working class, they penetrate their small world which they despise and destroy, they tear down and pull out what there is only to establish their own way of life, for the city-dweller will always dream of a house in the country. So did Stein: "get out of Berlin, country house, manor house, farm house, lime tree in front, chestnut at the back, sky above, a lake typical of the March, three acres of land, no less,"<sup>56</sup> until he found that house: an old redbrick farmhouse with two floors and a veranda overgrown with ivy, looking like a proud boat shipwrecked in the village street.

When Stein offers the house to his friend he does not conceal that he disagrees with her way of life and wants to show her better. Stein is rude and his words are pure irony when he explains that there will be land to grow drugs, one room for each of her friends and a large table for them all, a salon, one room for billard and another one for smoking. This perspective is the opposite of the image conveyed by the nearby village church with its round bell-tower and also of the twenty-three keys, which Stein hands out to his companion. They are nice keys, small and big, keys that would open attic and cellar, shed and barn, gate and letter box, keys whose functions bring to life times gone by but which are now – and forever – void of meaning. In March he would write postcards always with the same view of the church – concealed invitations for her to come, which she would not. But she keeps the postcards and the keys after the house had burnt down – a

---

<sup>54</sup> The real Canitz is near Lipsick.

<sup>55</sup> "Ich sagte: Du hast 80 000 Mark bezahlt, um mir eine Möglichkeit zu zeigen, eine von vielen? hab ich das richtig verstanden? Stein? Was soll das?" (Hermann 2000, 152).

<sup>56</sup> "raus aus Berlin, Landhaus, Herrenhaus, Gutshaus, Linden davor, Kastanien dahinter, Himmel darueber, See maerkisch, drei Morgen Land mindestens" (Herrmann 2000, 139).



fact she learnt from a paper clipping. Stein had not insisted on her coming, he had only offered an opportunity, telling her she could seize it or leave it as much as he could seize it or leave it and go somewhere else. They could both seize it and pretend they had never known each other. Thus it is a story about missed opportunities as well as about a generation that does not care to make and realise a life-plan.

The story is not explicit about lifestyles in East and West Germany, but the political change is evident. As architecture, Stein's grand style summer house is opposed to the type of GDR-Datsche which was not merely a piece of nature or spare time amusement but served as a retreat in view of bad living conditions and limited possibility for travel. As a way of life his summerhouse means a summary within its walls of all the bad, the decadent western influence that flooded the GDR after the unification. The Berlin groupies detest and hate the GDR working-class people as much as these detest and hate them, with one difference: the working class had lived in peace until the modern city-dwellers turned up. Also, when Stein says that the house had first been bought by someone from Dortmund who moved the family out that used to live there it becomes clear that the owner made a bargain when he sold the house. In the end, the two ways of life exclude each other, they remain separate.

Reading through the selection of texts from two centuries where Sommerfrische in regions on the Baltic Sea result from the discovery of landscape and serve as a setting for literary action, we find extremes like the absolute remoteness of the Curish Spit and the busy bustling of a spa like Travemuende or Binz where social life on the beach is in no way inferior to social life in the big city. In the first place Nidden (Nida) would certainly be worth a study of its own, including Wilhelm von Humboldt's descriptions, Nidden's function as a place of political resistance of German intellectuals against the Nazi regime,<sup>57</sup> the Thomas Mann's summerhouse as a cultural centre, not to mention the Baltic national literatures or the use Andrei Bitov made of the landscape. Baltic Memoirs of Ida Hahn, Kaethe Kollwitz, Siegfried von Vegesack, Max Fuerst or others would offer childhoods on the Baltic as a topic of its own. Literature has the capacity to invent what has never been, and to promote encounters with what there is, thus animating what otherwise might be dead, or preserving in detail what otherwise might be lost.

---

<sup>57</sup> cf. Helga Grebing: *Die Worringers. Bildungsbuergerlichkeit als Lebenssinn. Wilhelm und Marta Worringer (1881-1965)*. (Berlin 2004.)

## Bibliography

- Albrecht, Joerg (Text) & Blueher, Karin (Fotos) (1989), *Schrebergaerten*. Braunschweig: Westermann.
- Asse, Eugene (2006), Zaeune. *archXchange. Berlin and Moscow. Cultural identity through architecture*. Lara Eichwede et al. (eds.) Berlin: Jovis Verlag, 112-127.
- Bielfeldt, H. H. (1960), *Russisch-deutsches Woerterbuch*. Berlin: Akademie.
- Binek, Melanie (2006), *Leben im wilhelminischen Zeitalter. Ausgewaehlte Prosa von Eduard von Keyserling*. Frankfurt am Main: Lang. Historisch-kritische Arbeiten zur deutschen Literatur, vol. 39.
- Blumh, Hans-Georg (1986), *Landschaftsbild im Wandel. Saison am Strand. Badeleben an Nord- und Ostsee, 200 Jahre*. 16. April-31. August 1986. Altonaer Museum in Hamburg. Herford: Koehler.
- Boyd, Brian (2001), *Vladimir Nabokov. Russkie gody. Biografiia*. St. Petersburg: Nezavisimaja gazeta, Simpozium.
- Feldbusch, Thorsten (2003), *Zwischen Land und Meer. Schreiben auf den Grenzen*. Wuerzburg: Koenighausen und Neumann. Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft; vol. 465.
- Gensler, I. (1908), Kullerberg. *Kullerberg ili Kak guliali peterburgskie nemtsy na Ivanov den'. Iumoristicheskaia povest'-zhanr. V Galernoi gavani. Iumoristicheskie stsunki*. 3-e izd., St. Petersburg: Gubinskij, 3-100.
- Gregorovius Ferdinand (1941), *Idyllen vom Baltischen Ufer*. Hrsg. Carl von Lorck. 4. Aufl. Koenigsberg (Pr.): Gräfe und Unzer.
- Herrmann, Judith (2000), Sommerhaus, spaeter. *Sommerhaus, spaeter.*, 13th edition- Frankfurt am Main: Fischer.
- Holfelder, Moritz (1996), *Das Buch vom Strandkorb*. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft.
- Huch, Ricarda (1958), *Der letzte Sommer*. Wiesbaden, Insel-Buecherei Nr. 172.
- Kasch, Guenter, Walz, Johann B. (1996), Kleingaerten und Kleingaertner im 19. und 20. Jahrhundert. Bilder und Dokumente. Bundesverband Deutscher Gartenfreunde anlaesslich des 75 (ed.). *Jahrestages der Gruendung des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands 1921*. Leipzig: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde.
- Keller, Ernst (1988), Die Figuren und ihre Stellung im "Verfall". *Buddenbrooks-Handbuch*. Ken Moulden & Gero von Wilpert (eds.). Stuttgart: Kroener.
- Keyserling, Eduard von (2004), *Wellen*. München, Süddeutsche Zeitung. Bibliothek.
- Koschorke, Albrecht (1990), *Die Geschichte des Horizonts. Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lenchek, Lena, Bosker, Gideon (1998), *The Beach. The History of Paradise on Earth*. London: Secker & Warburg.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk. A History of the Dacha. 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell.
- Mann, Thomas (1957), *Buddenbrooks. Verfall einer Familie*. Guetersloh: Bertelsmann.
- Mann, Thomas (1994), *Buddenbrooks. The Decline of a Family*. Translated from the German by John E. Woods with an Introduction by T. J. Reed. London: Knopf. Everyman's Library; 107.
- Meyer, Friederike (2006), ArchXchange – Berlin und Moskau. *Bauwelt*, vol. 13, 2-3.
- Mogiljanskii, A. P. (1989), Gensler Ivan Semenovich. *Russkie pisateli 1800-1917. Biograficheskii slovar'*. T. 1: A-G. Moskva: Sovetskaoa enciklopediia.

- Mueller, Fred (1993), *Thomas Mann. Buddenbrooks. Interpretation*. 2. (revised) edition. Muenchen: Oldenbourg. Oldenbourg-Interpretationen; vol. 23.
- Nabokov, Vladimir (1968), *King, Queen, Knave*. Translated by Dmitri Nabokov in collaboration with the author. New York, Toronto: McGraw Hill.
- Nabokov, Vladimir (1999), *Sobranie sochinenii russkogo perioda*. Vol. 2. St. Petersburg: Simpozium.
- Nabokov, Vladimir (2000), *Sobranie sochinenii russkogo perioda*. Vol. 3. St. Petersburg: Simpozium.
- Parzelle – Laube – Kolonie (1988.)*. *Kleingarten zwischen 1880 und 1930*. Texte und Bilder zur Ausstellung im Museum „Berliner Arbeiterleben um 1900“ vom 18. Mai 1988 bis 8. April 1989. Berlin.
- Passarge, Louis (1878), *Aus Baltischen Landen. Studien und Bilder*. Glogau: Carl Fleming.
- Pavlovskii, I. Ja. (1879), *Russko-nemeckii slovar'*. Izd. 2-oe. Riga, Leipzig: Kymmell, Fleischer.
- Prignitz, Horst (1986), *Wasserkur und Badelust. Eine Badereise in die Vergangenheit*. Leipzig: Koehler & Amelang.
- Saison am Strand (1986). *Badeleben an Nord- und Ostsee, 200 Jahre*. 16. April-31. August 1986. Altonaer Museum in Hamburg. Herford: Koehler.
- Shchukin, V. (1997), *Mif dvorianskogo gnezda*. Kraków: Uniwersytet Jagiellonskiego.
- Steinhilber, Rudolf (1977), *Eduard von Keyserling. Sprachskepsis und Zeitkritik in seinem Werk*. Darmstadt: Agora. Canon. vol. 4.
- Thiele, Klaus (2006), *Urlaub mit 360 Grad. Der Ritten in Südtirol*. [www.vgm1.niedersachsen.com/Mol3/PAZ/service/show.htd?url=/MOL3/service.data/re/99082815.htm](http://www.vgm1.niedersachsen.com/Mol3/PAZ/service/show.htd?url=/MOL3/service.data/re/99082815.htm) (31.7. 2006).
- Thomas Mannas Nidoje: kronika (1929-1932)/Thomas Mann in Nidden: Eine Chronik (1929-1932)*, *Marbacher Magazin* 2000, vol. 89 (Sonderheft).
- Tilitzki, Christian, Glodzey, Baerbel (1984), *Die deutschen Ostseebaeder im 19. Jahrhundert. // Kurstaedte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung*. Ed. by Rolf Bothe. Berlin: Froehlich & Kaufmann, 513-536.
- Warnecke, Peter (2001), *Laube Liebe Hoffnung. Kleingartengeschichte*. Filmmuseum Potsdam (ed.). Berlin.
- Winter, Christiane (2009), *Architektur Highlights auf Norderney*. Goch: Book Print

## **Дачные места на Нарвском взморье (конец XIX – начало XX в.): отражение в литературе и искусстве**

К концу XIX в. в Прибалтике, тогдашнем Остзейском крае Российской империи, было завершено создание цепочки курортов и дачных поселков, расположенных по берегу Балтийского моря и его заливов – Финского и Рижского. Эта цепочка превратилась в мощный, очень популярный у россиян (в особенности у петербуржцев) дачно-курортный регион, вполне успешно конкурировавший с Крымом и Кавказом. Начинался он в Гунгербурге (Усть-Нарве, ныне Нарва-Йыэсуу), охватывал так наз. Нарвское взморье – южный берег Финского залива от Гунгербурга до Тойла. Далее его, так сказать, опорными пунктами были Ревель (Таллинн), Гапсаль (Хаапсалу), Пернов (Пярну) и Аренсбург (Курессааре) на острове Эзель (Сааремаа) в нынешней Эстонии, Нейбад (Саулкрасты), Рижское взморье и Либава (Лиепая) – в Латвии. Заканчивалась цепочка в Полангене (Паланга) на территории современной Литвы. Мемель (Клайпеда) и Куршская коса входили в ту пору в состав Пруссии (Германии).

Объединяло эту цепочку курортов и дачных мест, конечно, море, морские купания, песчаные пляжи, водолечение, сочетание моря и прибрежного «естественного» леса. Напомним, что еще в начале XIX столетия медицина в полной мере оценила целительную силу морских купаний, и с этого времени по всей Западной Европе началось интенсивное развитие курортного дела по берегам морей.

Важную роль в создании только что названной цепочки сыграла близость ее к Петербургу, хорошо налаженное сообщение с ним. Был и еще один фактор, способствовавший популярности региона: Остзей-

ский край в Российской империи всегда считался немецким, по представлениям россиян он был чем-то вроде отечественной заграницы.

Прибалтийский дачно-курортный регион XIX – начала XX в. как некое единство, структурное целое, насколько мне известно, никогда не был предметом специального научного исследования. Есть работы, посвященные отдельным, составляющим его частям и структурным элементам. Но о Нарвском взморье и этого сказать нельзя, оно попросту не изучено. Есть, правда, работы эстонского краеведа Вирве Орав<sup>1</sup>, но они, скорее, относятся к категории путеводителей и посвящены прежде всего Нарвскому краю как части эстонской национальной культуры. Роль же его в истории русской культуры, литературы и искусства В. Орав интересуется мало<sup>2</sup>. Между тем в конце XIX – начале XX в. Нарвское взморье, конечно, было более всего известно как все-российский курорт, русский культурный очаг в широком смысле этого слова.

Формирование дачно-курортного района на Нарвском взморье падает на более поздний период, чем создание других центров прибалтийской курортной зоны. Начало положил Ревель, который стал известным в России курортом, местом летнего отдыха и туристским объектом, если пользоваться современной терминологией, уже во второй половине 1810-х – в 1820-е гг.<sup>3</sup> За Ревелем последовал Гапсаль, где первая грязелечебница была открыта в 1825 г.<sup>4</sup> В конце 1830-х гг. возникают купальные заведения и грязелечебницы в Пернове<sup>5</sup> и Аренсбурге.<sup>6</sup> К этому времени завершается и формирование Рижского взморья как особого дачно-курортного района с большим будущим.<sup>7</sup>

Отдельные дачники из близлежащих эстляндских и лифляндских городов, в первую очередь, из Нарвы и Дерпта (Тарту), приезжали на

<sup>1</sup> Orav 1991; 1993.

<sup>2</sup> Симптоматично, что и в большом обзорном труде, посвященном северо-восточной Эстонии (Вирумаа), ничего не говорится о Нарвском взморье как всероссийском курорте, а русским деятелям культуры и искусства, бывавшим на взморье, посвящена одна страница (см.: Viigumaa 1996).

<sup>3</sup> См.: Исаков 2005, 98-103.

<sup>4</sup> Из старых работ о Гапсале на русском языке см.: Самойлов 1842; Сухаро 1861; Гунниус 1870; Гольст 1908; Гапсальский замок 1912; Китченко 1912.

<sup>5</sup> Из старых работ о Пернове на русском языке см.: Шнейдер 1891; Крегер 1905.

<sup>6</sup> Из старых работ об Аренсбурге на русском языке см.: Хартен 1873; Благовещенский 1881; Аренсбург 1902.

<sup>7</sup> Из многочисленных старых русскоязычных работ о Рижском взморье отметим: Арбузов 1911.

лето для отдыха в деревни Нарвского взморья, населенные эстонскими крестьянами и рыбаками, уже в первой половине XIX в.<sup>8</sup> Но это были именно отдельные лица из прибалтийских немцев, дач они не строили и ни о каких дачных поселках речи пока не шло.

Первый дачный поселок создается в Силламягги (ныне Силламяэ). Сейчас это трудно себе представить. Современное Силламяэ – чисто «индустриальный», в советский период – закрытый город, очень экологически загрязненный, даже опасный с экологической точки зрения. Между тем до 1917 г. Силламягги был известен только как дачный поселок. Хозяин здешних земель на берегу Финского залива Фридрих фон Зейдлиц с 1849 г. стал строить здесь дачные домики с целью сдавать их на лето в аренду желающим отдохнуть на лоне природы, прежде всего, немцам – жителям местных прибалтийских городов. Уже через 10-12 лет Силламягги превратился в дачный поселок, где на склонах – уступах – высокого морского берега расположились десятки дач с громкими названиями Bellevue, Montebello, Apolloquelle, Philomele, Milano и т.д., еловый лес стал парком, старая корчма – салоном с буфетом и гостиницей и т.п.<sup>9</sup> Дачи, предназначенные для сдачи на лето в аренду, начинают строиться и в соседних имениях – в Чудлей (эст. Вока), Орро (Ору), Сакгоф (Сака) и даже в Алт-Изенгоф (Пуртсе).<sup>10</sup> Правда, в этих местах, за исключением Орро, дачное строительство не получило продолжения. Ф. Булгарин уже в 1852 г. изумлялся: Дерпт летом пустеет, все отправляются отдыхать на берег Финского залива в район Силламягги и Чудлея. «Зачем?» – спрашивал Булгарин, – ведь «весь город Дерпт не что иное, как дача».<sup>11</sup> По-видимому, уже в 1860-е гг. здесь появляются и первые русские. Известно о красивой вилле княгини Дондуковой-Корсаковой. В 1868 г. в Силламягги отдыхает П. И. Чайковский.

В начале 1860-х гг. земли приморской деревни Меррекюль (Мерекюла) купил нарвский бюргермейстер Вильям Гендт. В 1863 г. он воздвиг здесь лютеранскую капеллу («Waldcapelle») и положил начало курортному поселку Меррекюль, ставшему со временем весьма известным местом отдыха. Уже в 1865 г. в русской печати появляются первые сообщения о новом дачном месте (Меррекюльские морские купания 1865). В 1867 г. здесь строится салон, позже превратившийся

<sup>8</sup> Revallsche Zeitung 1901. № 187. S. 1

<sup>9</sup> См.: Sillamäggi in Ehistland 1867; Revallsche Zeitung 1901. № 189. S. 1.

<sup>10</sup> См.: К. 1867; Sivers 1867; Neumann 1867.

<sup>11</sup> Булгарин 1852, 551.

в кургауз с театральным залом, рестораном, читальней, гостиницей. Поначалу Меррекуль был излюбленным местом отдыха петербургских немцев.<sup>12</sup> Впрочем, уже к концу 1880-х – началу 1890-х гг. положение меняется (об этом далее).

Но все же решающее значение для окончательного формирования дачно-курортной зоны на Нарвском взморье имело создание в 1873 г. курортного поселения Гунгербург у самого начала взморья, там, где река Нарова впадает в Финский залив<sup>13</sup>. Именно Гунгербург быстро превратился в «стольный град» курортного района, в его центр, который способствовал созданию и развитию новых дачных поселков, прежде всего, Шмецке, со временем слившегося с Гунгербургом.

Собственно, населенный пункт Гунгербург известен с XVI в., но до середины XIX в. это была бедная деревушка, в которой проживали рыбаки и лоцманы, преимущественно эстонцы. Земли Гунгербурга входили в принадлежащую городу Нарве деревню Куттеркуль (Кудрукюла). Заслуга создания курорта Гунгербург принадлежала первому нарвскому городскому голове, инженеру по специальности Адольфу Гану, на редкость энергичному, деловому и к тому же человеку высоких моральных качеств, что придавало особый вес его начинаниям. В ноябре 1873 г. нарвская городская управа по предложению А. Гана принимает постановление о создании дачного поселка в устье реки Наровы. Очень важно, что Гунгербург как курорт планировался заранее. Загодя были определены линии дорог и застроек, оставлено место для парка и т. д. Вся территория будущего дачного поселка была разбита на участки, которые поначалу предоставлялись всем желающим в пожизненную аренду по очень низкой цене. Первые участки были приобретены состоятельными нарвитянами, за ними очень скоро последовали петербуржцы. Курорт стал быстро застраиваться. Появились красивые дачи – прекрасные образцы деревянной архитектуры.<sup>14</sup> Впрочем, были и каменные сооружения – например, знаменитая дача Гана «Villa Carpiccio» в итальянском стиле, более напоминающая небольшой дворец.

---

<sup>12</sup> См.: *Revalsche Zeitung* 1901. № 188. S. 1

<sup>13</sup> Истории курорта Гунгербург (Нарва-Йъэсуу) посвящена уже довольно большая литература. Старые работы будут приведены ниже. Из более новых отметим: Кривошеев 1978; Orav 1993.

<sup>14</sup> Иногда даже говорят об их особом гунгербургском дачном стиле; см.: Siibak, Paat 2003.

В Гунгербурге строятся и общественные здания, в частности, в 1882 г. сооружается деревянный кургауз. В 1877 г. появилось здание теплых лечебных ванн, замененное в 1894 г. большой и модной, построенной по последнему слову тогдашней медицинской техники, водо- и грязелечебницей д-ра Э. Круга. Несколько позже появилась и вторая – д-ра И. А. Зальцмана. Были открыты пансионаты, гостиницы. В поселке строятся две церкви – православная и лютеранская, причем на закладку православной Свято-Владимирской церкви приезжает император Александр III. По официальным данным в 1896 г. в Гунгербурге уже отдыхало около 3 000 дачников,<sup>15</sup> а в первые годы XX в. – 4 000 – 5 000. Описание тогдашнего Гунгербурга мы находим в книге К. К. Случевского «Балтийская сторона»,<sup>16</sup> более подробное описание дано во втором издании ее, носящем название «По Западу России».<sup>17</sup>

В свидетельствах современников, в том числе и писателей той поры, неоднократно можно встретить утверждение, что Рижское взморье и финляндские курорты «во всех отношениях уступают красивому и на редкость здоровому по своим климатическим условиям Гунгербургу». Один из авторов писал: «Среди нашей столичной публики едва ли много найдется таких лиц, которые не знают Гунгербурга и не мечтают о том, как бы в ближайшем сезоне провести в нем хоть несколько приятных дней. Чем же он так привлекает даже избалованную столичную публику? [...] Тут и бесподобное взморье, представляющее все удобства для купанья, тут и обширный песчаный берег или пляж, где детишки и взрослые, сколько душе угодно, могут пользоваться бесплатными и в то же время незаменимыми солнечными ваннами; тут и роскошный парк, и густой сосновый лес, и красивые дачи с обширными садами и палисадниками, и, главное, тут чистый воздух, не испорченный обычной в других курортах скученностью жилых помещений! Тут дышишь свободно, легко, полной грудью, недоумевая в тайне, как это другим приходит в голову тащиться для отдыха и лечения за тридевять земель в разные заграничные курорты и там задыхаться в многоэтажных каменных громадах...».<sup>18</sup> Был и еще один плюс: близость к Петербургу, это предоставляло возможность лицам из столичного служивого люда, отправив свое семейство на всё лето в Гунгербург,

---

<sup>15</sup> Зальцман 1897, 66.

<sup>16</sup> Случевский 1888, 310-313.

<sup>17</sup> Случевский 1897, 222-228.

<sup>18</sup> Усть-Наровский прибор 1911, 145-146.



регулярно навещать его по воскресеньям. На Рижском взморье подобное было затруднительно.

Отдыхающие в Гунгербурге в 1880-1890-е гг. представители творческой элиты особенно подчеркивали возможность здесь уединиться. И. А. Гончаров, проведший в Гунгербурге лето 1887 г., писал: «Здесь, в Усть-Нарве, живут тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены где маленькими, где большими садами, так что дачникам неизвестно, как живут соседи. Дачники, если хотят, могут встречаться друг с другом на музыке, которая собирает около себя публику, или на море во время купанья, или же на вечерних прогулках на морском берегу [...]. Таким образом, дачники друг с другом не сталкиваются на каждом шагу, как, например, около Риги и на других людных приморьях, и друг другу не мешают».<sup>19</sup>

В письме к А. Ф. Кони Гончаров тогда же писал: «Сегодня три недели, как я здесь, и пока не нахваляюсь. Всё в зелени кругом, берег неописанно хорош, куда лучше дуббельнского, широкий, красивый, бесконечный! Но главная прелесть – это пустынность, тишина, уединение! Отсутствие толпы и знакомых переносит меня в деревенскую глушь – и я чувствую себя на своей просторной даче [...] совершенным помещиком».<sup>20</sup>

Впрочем, эта идиллия очень скоро, в начале XX в., кончится, но об этом позже.

Приезжавших в Гунгербург, как и на Нарвское взморье в целом, дачников можно условно разделить на три группы или категории. Первую, самую малочисленную, составляют владельцы дач. Среди них преобладали представители столичной элиты, в том числе и из мира литературы и искусства. Здесь, конечно, в первую очередь надо назвать поэта К. К. Случевского.<sup>21</sup> В конце XIX в. он построил в Гунгербурге дачу, названную им «Уголок», и стал регулярно проводить здесь лето, а после выхода в отставку – и большую часть года. Дача была расположена в чудесном месте: с нее открывался изумительный вид на море, на реку Нарову и вытекающую или впадающую в нее Россонь. Поэт сам руководил обустройством дачи, и она стала одним из самых красивых дачных ансамблей Гунгербурга. В гостях у Случевского бывали многие видные русские писатели и философы, в ча-

<sup>19</sup> Гончаров 1954, 224-225.

<sup>20</sup> Цит. по: Кривошеев 1978, 56-57.

<sup>21</sup> О пребывании К. К. Случевского в Гунгербурге см.: Иванченко 2004, 67-84, 94-96.

стности, Вл. Соловьев, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт. Здесь Случевский создал свой последний большой сборник стихов «Песни из "Уголка"».

Здесь всё мое! – Высь небосклона  
И солнца лик, и глубь земли,  
Призыв молитвенного звона,  
И эти в море корабли;

Мои – все сёла над равниной,  
Стога, возникшие окрест,  
Река с болтливой стремниной  
И всё бывшее этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...  
Мне – свежесть воли, мне – жар огня,  
Туманы даже, те, что бродят, –  
И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,  
Как инок, на исходе дней,  
Пишу последнее сказанье,  
Еще одно, других ясней!<sup>22</sup>

Регулярно отдыхал на своей даче в Гунгербурге композитор Э. Ф. Направник.<sup>23</sup> Здесь была дача и мастерская модного салонного художника М. Г. Сухоровского.

Вторую, самую многочисленную, группу составляли приезжающие сюда на отдых с семьей, арендовавшие дачу на весь летний сезон – обычно с 1 мая по 1 сентября. Дачи были самые разные по своему типу, размеру, местоположению и, соответственно, по цене; чаще всего – одноэтажные и деревянные, рассчитанные на одну семью. В конце XIX в. аренда дачи стоила очень дешево. Д. Н. Мамин-Сибиряк, например, в 1896 г. за дачу – особняк в сосняке из пяти комнат – платил 100 р. за сезон.<sup>24</sup> В начале XX в. цены за аренду стали быстро возрастать, колеблясь в пределах от 30 до 2 500 р.<sup>25</sup>

Автор первого основательного описания курорта И. Зальцман так характеризовал сдаваемые в аренду помещения: дачи обычно занима-

<sup>22</sup> Случевский 2004, 343.

<sup>23</sup> См.: Кривошеев 1978, 40–44.

<sup>24</sup> См. письмо Мамина-Сибиряка матери от 22 июня 1896 г.; Кривошеев 1878, 69.

<sup>25</sup> Рюне 1912, 12–13, 45–67

ют довольно большой участок, «так что к каждому дому принадлежит большой сад. Вследствие этого жители совсем не стеснены соседями и являются полными хозяевами своих дач; этим объясняется отчасти то явление, что днем на улицах встречается очень мало людей, так как они, благодаря собственным садам, остаются дома, не стесненные требованиями этикета в публичных местах. Только под вечер, когда становится прохладнее, дачники оставляют свои дачи, чтобы или гулять по берегу моря, или отправиться в кургауз на концерт [...]. При каждой даче обязательно имеется балкон, так как он является чуть ли не главным местом пребывания дачников; на нем обедают и проводят большую часть дня. Кухни помещаются почти всегда отдельно в пристройках; на дворе находится ледник и колодец. Дома отдают с мебелью и посудой за умеренную цену. Принадлежащий к дому сад представляет собою не что иное, как остаток бывшего тут соснового леса».<sup>26</sup>

Обратим внимание на наличие почти при всех дачах ледника – он был своеобразным заменителем современного холодильника.

Третью группу дачников составляли чаще всего те, кто приезжал в Гунгербург на короткий срок (таких было довольно много). Они обычно останавливались в гостиницах, в курзале, где также были гостиничные номера, в пансионатах, в конце XIX в. еще немногочисленных, в начале же XX в. их было уже много. Нередко такие дачники устраивались у своих знакомых или родственников, арендовавших дачи на весь сезон. Для тех, кто приезжал для лечения, в 1909 г. был открыт санаторий д-ра И. Зальцмана с 25 номерами. Пребывание в гостиницах и пансионатах, конечно, обходилось значительно дороже проживания в арендуемых дачах. Сохранились точные расценки того времени.<sup>27</sup>

В начале XX в. Гунгербург стремительно разрастался, все более превращаясь в модный курорт европейского типа, мало чем отличающийся от европейских и ближневосточных курортов наших дней. Строятся новые дачи, пансионаты, гостиницы, лечебные заведения, и число отдыхающих растет с каждым годом. Большинству это нравится, но часть отдыхающих недовольна произошедшими изменениями. В печати даже раздаются голоса, призывающие «сделать шаг назад, лет на десять, вернуться к недалекому еще прошлому, когда общест-

---

<sup>26</sup> Зальцман 1897, 50-52

<sup>27</sup> См.: Рюне 1912, 44

венная жизнь дачников укладывалась в более скромные рамки, на чисто семейных началах, чуждых современной пестроте разнообразного пошиба увеселительных зрелищ, от бесконечных по числу концертов и музыкальных вечеров до сногшибательных cabaret [...]. От подобного уклонения нормальной дачной жизни в Гунгербурге в сторону шумного веселья, непрерывно сменяющихся музыкальных вечеров, концертов и балов с крикливыми нарядами дам, с султанами вместо шляп, ощутительно вздрожала жизнь на курорте, по крайней мере на 50 % против прошлого десятилетия».<sup>28</sup>

Эти призывы, конечно, особых последствий не имели, но многие представители творческой интеллигенции – поэты, художники, артисты, – действительно, предпочитают теперь отдыхать не в Гунгербурге, а в других – маленьких – курортных поселках Нарвского взморья

Пик расцвета Гунгербурга как курорта был достигнут к лету 1914 г. В разных источниках приводятся разные данные о числе отдыхающих в Гунгербурге в этом году: от 10 до 12–14 тысч (возможно, последняя цифра обозначает число отдыхающих на всем Нарвском взморье). В Гунгербурге было 814 дач и около 20 пансионатов.<sup>29</sup>

Как же протекала жизнь дачников в Гунгербурге?

Как уже не раз отмечалось, большинство дачников составляли петербуржцы. Отсюда, естественно, возникает первый вопрос: как они добирались до Усть-Нарвы или Усть-Наровы (именно это наименование курорта стало в начале XX в. наиболее распространенным, причем им фиксировалось объединение Гунгербурга со Шмецке)? Большая часть дачников приезжала по железной дороге. Из Петербурга в сторону Нарвы в летний сезон шло до 7 поездов. На скором отдыхающие добирались до Нарвы за 3 часа 45 минут, на обычном, пассажирском – за 5 часов 15 минут. С вокзала до Усть-Нарвы можно было добраться на извозчике, но можно было на том же извозчике доехать до речной пристани, а оттуда уже на пароходе до курорта за 45 минут. Расписание пароходов «Усть-Наровск» и «Павел» было скоординировано с прибытием поездов из Петербурга. Перед 1914 г. была завершена подготовительная работа по строительству железнодорожной ветки Нарва – Гунгербург, но начавшаяся I мировая война помешала воплощению в жизнь этого плана. Добраться из Петербурга в Усть-Нарву можно было и на товаро-пассажирских пароходах «Гунгербург» и «Инкер-

<sup>28</sup> Путилин 1914, 1105

<sup>29</sup> См.: Путилин 1914, 1102

ман», отправлявшихся 4 раза в неделю. Путь до Усть-Нарвы занимал 11 часов.<sup>30</sup>

Желающие снять дачу обычно делали это заблаговременно, уже ранней весной – в марте-апреле. В разгар сезона найти свободную дачу было порою трудно, и приходилось останавливаться в гостиницах или пансионатах, впрочем, также переполненных.<sup>31</sup>

Гордостью курорта был широкий, чистый, протянувшийся на пять верст песчаный пляж, который современники обычно противопоставляли каменистому берегу моря в окрестностях Петербурга и в Финляндии. Не случайно едва ли не главным «занятием» отдыхающих в Усть-Нарве были солнечные ванны и морские купания, которые начинались в июне и продолжались до середины августа. Купание проводилось из будок, поставленных на морском берегу, или из кабинок на телегах, вывозимых лошадьми в море. Были предусмотрены отдельные часы для купания мужчин и дам: мужчины с 9 до 10 и от 12 до 2 часов, дамы от 10 до 12 и от 2 до 3 часов полудня. В остальное время, но не позже шести часов вечера разрешалось купаться всем. В часы купания дам мужчинам запрещалось выходить на пляж, как и дамам – в часы купания мужчин. При начале купания мужчин на пляже вывешивался синий флаг, а при начале купания женщин по одним источникам красный<sup>32</sup>, по другим – белый.<sup>33</sup>

Была предусмотрена обширная программа развлечения отдыхающих. Ежедневно утром и в вечерние часы на пляже, в парке или в саду курзала играл военный духовой оркестр. Перед I мировой войной к нему добавился еще струнный («салонный») оркестр, игравший на террасе курзала.

Центром театрально-концертной жизни Усть-Нарвы был курзал. Старый деревянный сгорел в 1910 г., но в 1912 г. был построен по проекту петербургского архитектора М. Лялевича новый каменный курзал с большим театральным залом. Рядом с ним был расположен летний театр (с 1902 г.). В курзале сначала по воскресеньям, а позже два раза в неделю устраивались семейно-танцевальные вечера и раз в неделю (обычно по средам) – праздники для детей. В зале кургауза и в летнем театре регулярно давались театральные представления и кон-

<sup>30</sup> См.: *Revalsche Zeitung* 1901. № 187. S. 1; Рюне 1912, 13; Путилин 1914, 1095; Летний спутник Гунгербургского дачника 1912.

<sup>31</sup> См.: Усть-Наровский прибой 1911, 155; Рюне 1912, 7; Путилин 1914, 1102.

<sup>32</sup> См.: Усть-Наровский прибой 1911, 151-154.

<sup>33</sup> См.: Рюне 1912, 19.

церы как приезжих знаменитостей, так и отдохавших в Усть-Нарве актеров, музыкантов, певцов.<sup>34</sup> Среди выступавших был, например, всемирно известный тенор Дмитрий Смирнов. Среди отдыхающих в Усть-Нарве мы видим таких знаменитых актеров, как К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, В. В. Стрельская, певиц М. Я. Будкевич, М. Э. Маркович, певцов О. О. Палечека, И. В. Тартакова, балерину Т. Карсавину, виолончелиста А. В. Вержбиловича и др. Устраивались их бенефисы. Здесь бывал композитор С. С. Прокофьев. Отметим и русских писателей, отдохавших в Гунгербурге – Усть-Нарве: помимо уже называвшихся И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка и К. К. Случевского, это Я. П. Полонский, А. Ф. Кони, «августейший поэт» К. Р., Мирра Лохвицкая, К. М. Фофанов, в детские годы – Анна Ахматова, Н. Д. Телешов, Игорь Северянин и др. Впрочем, кто только не бывал в Гунгербурге в эти годы! Здесь, например, некоторое время проживал будущий король сербов, хорватов и словенцев Александр I, в ту пору, когда он учился в Санкт-Петербургском училище правоведения.<sup>35</sup> Выходили и литературные альманахи, посвященные курорту (Усть-Наровский прибор, 1911; Белый дачник. Лето в Гунгербурге. Дачные штрихи. Усть-Нарова, [1912], и др.).

В кургаузе перед I мировой войной работал и кинематограф.<sup>36</sup>

К услугам отдыхающих были экскурсии по живописным окрестностям курорта, в соседние дачные поселки – в Меррекулъ, Удриас. Особенно популярны были лодочные прогулки по реке Россони, на Тихое озеро (сейчас это территория Российской Федерации). Сюда же ездили любители рыбной ловли. В Усть-Нарве были теннисные корты и Лаун-теннисный клуб, как и яхт-клуб для любителей парусного спорта. Этим преимущественно увлекалась молодежь.

Конечно, публика, отдохавшая в Гунгербурге, была весьма разношерстной. Она давала благодатный материал для поэтов-сатириков. Гунгербургу посвящен цикл сатирических «Посланий», да и ряд других стихотворений Саши Черного, в которых поэт язвительно высмеивает разбогатевших мещан, выскочек-нуворишей на модном курорте, на пляже. Порою это очень злые стихи:

<sup>34</sup> См.: Рюне 1912, 16-17; Путилин 1914, 1099; С. В. 1934, 2.

<sup>35</sup> См.: Горин 1924; Бух 1933в.

<sup>36</sup> См.: Путилин 1914, 1099.

Как наполненные вёдра,  
Растопыренные бюсты  
Проплывают без конца.

И опять зады и бедра...  
Но над ними, – будь им пусто --  
Ни единого лица.<sup>37</sup>

Или «Послание второе»:

Навстречу старухи мордатые, злобные,  
Волочат в песке одеянья суконные,  
Отвратительно-старые и отвисло-утробные,  
Ползут и ползут, словно оводы сонные.  
[...]  
Курзальные барышни, и жены, и матери!  
Как вас не трудно смешать с проститутками,  
Так мелко и тинисто в вашем фарватере,  
Набитом глупостью и предрассудками.<sup>38</sup>

Впрочем, в своих стихотворных и прозаических зарисовках дачной жизни Гунгербурга Саша Черный не ограничивается только издёвкой над миром мещанства. Он с интересом наблюдает, как горожане, попав на пляж, начинают «разоблачаться» не только физически: порою оттаивают их души, в них выявляется нечто человеческое («Послание третье», «У моря»). Гунгербургские впечатления легли в основу первого рассказа Саши Черного – «Люди летом».<sup>39</sup>

Но, как уже говорилось, Нарвское взморье – это не только Гунгербург – Усть-Нарва. Это цепочка протянувшихся более чем на 30 километров на запад вдоль берега Финского залива дачных поселков: Шмецке, Меррекюль, Удриас, Монплэзир, Каннока, Силламягги, Орро, Тойла.

Мы постараемся далее вкратце охарактеризовать эти поселки и назвать отдохавших там видных деятелей русской культуры.

Шмецке (или Шмецк; ныне часть Нарва-Йыэсуу, называемая Ауга) – это фактически продолжение Гунгербурга, растянувшееся на две с половиной версты вдоль дороги, ведущей в Меррекюль. В 1913 г. Шмецке и Гунгербург формально объединились. Свое название поселок получил от местного жителя кузнеца по фамилии Шмецке (первая

---

<sup>37</sup> Саша Черный 1996, 64.

<sup>38</sup> Там же, 133-134.

<sup>39</sup> См.: Сергеев 1998, № 3, 15; № 4, 15.

половина XIX в.), немца, чьи дети перешли в православие. Первые дачи, преимущественно жителей Нарвы, здесь появились весьма рано – уже в 1840-е гг., но дачный поселок возникает только в 1880-е гг. и связан с развитием Гунгербурга. Именно в эти годы строятся дачи княгини Урусовой и княгини Гагариной, здесь отдыхают балерина Л. П. Радина, профессор Петербургской консерватории, пианист Г. Г. Кросс.<sup>40</sup> Из русских писателей в Шмецке провел три летних сезона Н. С. Лесков (1890-1892), оставивший в своей «картинке с натуры» «Импровизаторы» краткое описание поселка.<sup>41</sup> В письме к Л. Н. Толстому из Шмецке 20 июня 1891 г. Лесков отмечал: «Шмецк – это приморское селение между Гунгербургом и Мерреклеюлем. Очень тихо, воздух чистый и сосновый лес на берегу».<sup>42</sup> Позже именно здесь два лета проживал Саша Черный, а в 1909 г. – Федор Сологуб со своей супругой писательницей Анастасией Чеботаревской. Из русских ученых в Шмецке отдыхали историк, профессор Петербургского университета, академик А. С. Лаппо-Данилевский, ученый-востоковед, также академик С. Ф. Ольденбург (в течение многих лет «непременный секретарь» Академии Наук), директор Училища правоведения В. В. Ольдерогге и др. В этом дачном поселке бывал великий князь Михаил Александрович. В 1888 и в 1892 г. в Шмецке останавливался И. И. Шишкин, который, впрочем, объехал почти всё Нарвское взморье. Именно в Шмецке создавались его этюды «Смешанный лес (Шмецк близ Нарвы)», «Утро в лесу», «Еловый лес», «Лесное кладбище» и др..<sup>43</sup>

Об основании следующего дачного поселка – Мерреклеюль – выше уже шла речь. Мерреклеюль в конце XIX – начале XX в. стал очень популярным местом отдыха жителей столицы, в том числе петербургских немцев. Если в Шмецке дома были расположены вдоль дороги, один за другим, то в Мерреклеюле «дачи романтически разбросаны по сравнительно большой территории, к ним ведут деревенские проселочные дорожки через луг».<sup>44</sup> Дач на стыке двух веков было свыше ста. Очень разнообразен пейзаж Мерреклеюля: здесь уже начинался крутой обрывистый берег – глинт, выступали скалы, сосновый бор сменялся смешанным лесом. В то же время в Мерреклеюле были представлены все атрибуты тогдашней дачной «цивилизации»: лавки, са-

<sup>40</sup> См.: *Revalsche Zeitung* 1901. № 188. S. 1; Усть-Нарова в прошлом 1933, 2.

<sup>41</sup> Лесков 1958а, 333.

<sup>42</sup> Лесков 1958b, 493.

<sup>43</sup> См.: Мазанов 2000, 112-117.

<sup>44</sup> См.: *Revalsche Zeitung* 1901. № 188. S. 1.



лон-курзал, с балкона которого открывался изумительный вид на море, лютеранская капелла и маленькая православная церковь – историю ее строительства поведал Н. С. Лесков в своем рассказе-обозрении «Загон».<sup>45</sup> Но, как отмечали современники, Меррекуоль еще не превратился, как Гунгербург, в модный «рафинированный» курорт. Здесь – особенно в начале XX в. – господствовали более простые «демократические» порядки, что привлекало сюда людей из мира искусства, писателей.<sup>46</sup> В Меррекуоль из Петербурга также добирались по железной дороге, только чаще всего высаживались на станции Корф (Аувере), находившейся в семи верстах от дачного поселка<sup>47</sup>.

Восторженным поклонником Меррекуоля был Н. С. Лесков, отдыхавший здесь в 1893 и 1894 гг. Он писал: «Я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских, ни в украинских деревнях, а вертелся по балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Полангена, и не нашел ничего лучше, как Меррекуоль, выдерживающий свою старинную и почтенную репутацию. Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские генеральши захотят сделать для себя «заграничное место». Здесь хорошо жить, потому что в Меррекуоле очень красивое приморское положение, есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш».<sup>48</sup>

Как известно, Н. С. Лесков был весьма общительным человеком и в гости к нему в Меррекуоль приезжали его друзья и хорошие знакомые – литераторы Л. И. Веселитская-Микулич<sup>49</sup>, В. А. Гольцев, Л. Я. Гуревич, М. О. Меньшиков, А. М. Хирьяков и др.

В 1903 г. в Меррекуоле отдыхал К. Д. Бальмонт, также с восторгом отзывавшийся об этом дачном поселке. 19 июля 1903 г. он писал В. С. Миролюбову: «Приезжайте к нам сюда. Здесь солнце, и море, и лес. Здесь много незримых чудес. Здесь в соснах для белок приют. Здесь волны поэтам поют».<sup>50</sup> В письме к А. П. Чехову от 26 июля того же года К. Д. Бальмонт признавался: «Мы живем здесь в некоем сказоч-

<sup>45</sup> Лесков 1958а, 379-380.

<sup>46</sup> См.: Revalsche Zeitung 1901. № 188. S. 1.

<sup>47</sup> См. детализированное описание того, как надо добираться из Петербурга в Меррекуоль, в письме Н. С. Лескова к Л. И. Веселитской (Лесков 1958b, 546-547).

<sup>48</sup> Лесков 1958а, 374-375) О пребывании Н. С. Лескова в Шмекце и Меррекуоле см. также: Борхсениус 1983, 345-347; Никифоров-Волгин 1935, 2.

<sup>49</sup> Оставила интересные воспоминания о Лескове – см.: Микулич 1929.

<sup>50</sup> Лит. архив 1960, 197.

ном невинном царстве и, кажется, значительно приблизились, или отодвинулись, к Золотому веку. Не знаю, иду ли я вперед или уйду назад, но только я вне современности...».<sup>51</sup> Именно в Меррекуле был создан один из лучших поэтических сборников К. Д. Бальмонта «Только любовь»<sup>52</sup>.

Из других русских писателей в Меррекуле отдыхали Ю. Балтрушайтис, Б. Л. Пастернак, В. В. Набоков, Ю. Л. Слезкин; в июне 1909 г., правда, на короткое время приезжал сюда А. М. Ремизов.

Очень любили Меррекуль художники: здесь бывали и рисовали здешние пейзажи И. И. Шишкин, И. Е. Репин,<sup>53</sup> Е. Е. Волков, Н. Н. Хохлаков (по некоторым сведениям, он имел дачу в Меррекуле), Л. О. Пастернак и др.

Не меньшей известностью и популярностью Меррекуль пользовался у артистов, музыкантов, ученых. Еще в 1890-е гг. здесь отдыхал Мариус Петипа, а в начале XX в. - Анна Павлова. Великая русская балерина очень полюбила Меррекуль и приезжала сюда не только летом, но, по воспоминаниям современников, и весной, и ранней осенью, когда представлялась возможность.<sup>54</sup> В Меррекуле много лет отдыхали сестры Гнесины. Из ученых прежде всего надо назвать К. А. Тимирязева, кроме него академики – филолог М. И. Сухомлинов, зоолог Ф. Ф. Брандт (кстати, он умер в Меррекуле), историк С. Ф. Платонов, члены-корреспонденты Петербургской Академии Наук филолог и археолог И. В. Помяловский, зоолог и поэт-переводчик Н. А. Холодковский и др. Бывали здесь и крупные русские политические и государственные деятели, в частности, лидер октябристов А. И. Гучков.

Если двигаться вдоль берега далее на запад, то следующим дачным поселком будет Удриас (Удриа, Утрия), находившийся в очень живописной местности, пересеченной ущельем, на дне которого бежал к морю ручей и били ключи с идеально чистой водой. Здесь в большом парке была расположена прекрасная вилла владельца нарвских пароходов П. А. Кочнева. Она считалась украшением всего Нарвского взморья, как и парк при ней считался вторым – после Орро – по богатству растительного мира, красоте и изяществу. С балкона виллы от-

<sup>51</sup> Вопросы литературы. 1980. № 1. С. 124.

<sup>52</sup> О пребывании К. Д. Бальмонта на Нарвском взморье см.: Исаков 1997.

<sup>53</sup> этюд 1899 г. «Меррекуль близ Нарвы (берег, покрытый орешником)», Третьяковская галерея – см.: Каталог 1952, 67.

<sup>54</sup> См.: Dandrè 1933.

крывался вид на побережье, который напоминал современникам бухты итальянской Ривьеры с пиниями.<sup>55</sup> В этом же ущелье была построена и кофейня, которую любили навещать отдыхающие из Гунгербурга и Меррекюля. Удриас был и излюбленным местом их пикников.

В 1910-1912 гг. в Удриасе отдыхал Федор Сологуб с А. Чеботаревской. В рассказе «Алая лента» (1911) он с документальной точностью воссоздал облик тогдашнего Удриаса, который, правда, носит здесь название Трежоли. Но, без сомнения, Трежоли – это Удриас. «Дачи в Трежоли стояли на высоком берегу. От него к морю шли то отлогие склоны, то крутые обрывы, кое-где поросшие деревьями, кустами, дикими нарциссами, а кое-где совсем голые, слоистые, и в этих местах обнажались, радуя профессорские и студенческие сердца, отложения силурийской системы, зеленые, бурые, желтые слои известняков и песчаников. А вдоль самого моря тянулась широкая полоса мелкого, сыпучего, палево-желтого песка, усеянного крупными и мелкими валунами. Эти суровые камни украшали вид, мелкие мешали при ходьбе, но песок был восхитителен и купанье превосходное, и пляж против дач был уставлен рядом чистеньких кабинок...».<sup>56</sup>

Далее следует удивительное по точности и выразительности описание морского пейзажа в штиль и ветряную погоду: «Приятнее всего для дачников в Трежоли было милое сочетание воды и леса, который начинался в иных местах почти у самых волн. Было поровну лиственных деревьев и хвойных – угрюмо-стройные сосны и ели росли перемежку с веселыми белоствольными березами, трепетными осинами, скучными ольхами, горькими рябинами и гордыми кленами».<sup>57</sup>

Нет ничего удивительного, что Удриас, подобно Меррекюлю, часто посещался художниками. И. И. Шишкин именно здесь написал свою известную картину «У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)» да и другие работы. Здесь бывали Н. Н. Дубовской, Е. Е. Волков, С. Ю. Судейкин и др. Вместе с мужем в Удриасе проводила лето в 1912-1913 гг. О. А. Судейкина, актриса, скульптор, танцовщица.

В таких маленьких дачных поселках, как Удриас, отдыхающие чаще общались с коренным населением края – эстонцами. В рассказе «Алая лента» Ф. Сологуб отмечал высокий культурный уровень здеш-

<sup>55</sup> См.: Wittrock 1906, 371.

<sup>56</sup> Сологуб 1913, 113-114.

<sup>57</sup> Там же, 117.

них крестьян: в народном доме они ставят Мольера, у них свой хор и оркестр, в домах нередко пианино и пр.

Следующий очень маленький дачный поселок – Монплэзир (ныне Муммассааре) – стал, прежде всего, местом летнего отдыха дерптской (таргуской) немецкой профессуры. Строительство дач тут началось в 1881 г. «Первооткрывателями» Монплэзира были профессора Дерптского университета братья – теолог Александр Эттинген и физик Артур Эттинген. К началу XX в. в Монплэзире было только 14 дач, в последующие годы – в период курортного бума на Нарвском взморье – число их увеличилось. Здесь стремились строить дачи в отдалении друг от друга, чтобы, по признанию одного из современников, отдыхающие могли при желании наслаждаться одиночеством.<sup>58</sup>

Чуть больше Монплэзира был следующий за ним поселок – деревня Каннока (Каннука), в которой дачное строительство началось во второй половине 1880-х – в 1890-е гг. К 1901 г. в Каннока было уже 40 дач и имелся пансионат.<sup>59</sup> В 1890-е гг. здесь отдыхали ботаник академик А. С. Фаминцын, историк и филолог-классик академик В. В. Латышев, в начале XX в. в Каннока бывали молодые философы С. Л. Франк и Л. П. Карсавин.

На фоне этих скромных дачных деревушек, к которым можно было бы еще добавить Перьяц (Перьятси), следующий населенный пункт Нарвского взморья – Силламягги – выглядел большим солидным дачным поселком со своей историей, восходящей к 1849 г. Здесь были кургауз, аптека, почта, телеграф, лавки, пекарни; по вечерам играл оркестр. И все же у Силламягги была своя специфика, отличавшая его от Гунгербурга. Немецкий журналист, посетивший Нарвское взморье в 1901 г. и очень основательно и объективно описавший его дачные поселки, заметил, что Силламягги как бы остановилось на уровне 1860-х гг., но именно это и придает местечку особенную прелесть.<sup>60</sup> Здесь в цене красоты природы, и жизнь в поселке напоминает жизнь на хуторе в деревне. В Силламягги более 60 дач, но большая их часть была построена уже в 1850-1860-е гг. и, как будто, не вполне удовлетворяет современным требованиям. Дачи, как и в Мерркюле, разбросаны по всему пространству поселка, нет шаблона. Здесь, по словам того же немецкого журналиста, «преобладает русский элемент».

<sup>58</sup> См.: Wittrock 1906, 372-373; Revalsche Zeitung 1901, 1.

<sup>59</sup> См.: Revalsche Zeitung 1901, 1.

<sup>60</sup> См.: Там же.

Силламягги любили ученые, художники, поэты. Здесь с 1891 года по 1917-ый (т.е. 27 лет) регулярно проводил летние месяцы лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов. Сохранились многочисленные воспоминания современников, которые ярко рисуют дачный стиль жизни Павлова, очень отличавшийся от общепринятого в ту пору, но неожиданно перекликающийся с нашим временем. Ученый принципиально не брал с собой на дачу научных книг: он, по словам супруги, «находил нужным совершенно освобождать свой мозг от всяких лабораторных мыслей».<sup>61</sup> И. П. Павлов сам благоустроил свою дачу, сам следил за ней, сам выращивал на ней цветы, привозил навоз, копал грядки, на тачке с берега моря возил песок для засыпки дорожек, в общем, до изнеможения занимался физическим трудом. Отдых он находил в игре в городки и в собирании грибов (в этом его соперником был уже упоминавшийся академик А. С. Фаминцын)<sup>62</sup>.

В Силламягги проводили лето ботаник и биохимик академик В. И. Палладин, профессора Д. С. Зернов, А. А. Курбатов, А. А. Яковенко, ученый в области электроники, один из «прародителей» телевизора Б. Л. Розинг и др. Виды Силламягги рисовали регулярно приезжавшие сюда Н. Н. Дубовской и Р. А. Берггольц, а также бывавшие здесь К. А. Сомов, А. Н. Бенуа, А. В. Паульсен и др. Из поэтов в Силламягги в 1905 г. отдыхал К. Д. Бальмонт, а в 1911 г. – Вяч. Иванов. Этот список можно было бы продолжить.

Однако двинемся дальше. В 12 верстах от Силламягги на берегу речки Пюхайыгги расположено дачное место Орро (Ору). Оно было известно, прежде всего, построенным здесь в 1897–1899 гг. летним дворцом в стиле итальянского Ренессанса (архитектор – Г. Барановский). Владельцем его был хозяин большой торговой фирмы и знаменитых магазинов в Петербурге и Москве Г. Г. Елисеев. В самом дворце были зимний сад, домашняя церковь. Вокруг него на террасе расположился великолепнейший парк, занимавший много гектаров и заслуженно считавшийся лучшим на всем Нарвском взморье. О том, каков был елисеевский дворец в Ору, ныне не существующий, свидетельствует хотя бы тот факт, что позже, в 1930-е гг., он стал летней резиденцией президента Эстонской Республики<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> Павлова 1946, 130.

<sup>62</sup> О жизни И. П. Павлова в Силламягги, помимо мемуаров С. В. Павловой, см. воспоминания В. Н. Болдырева, В. В. Кудрешевского, П. С. Купалова, В. В. Строганова и Я. Д. Минченкова в сб.: Павлов 1967, 62, 139-140, 147, 230-231, 335-336.

<sup>63</sup> Об Ору (как и о следующей за ним Тойла) см.: Mõtuste 1998.

В одной версте от Орро находится последний пункт нашего обзора Нарвского взморья – дачный поселок Тойла, расположенный невдалеке от берега моря. Дачники стали приезжать сюда уже в 1870-е гг., вслед за тем складывается дачный поселок со всеми его атрибутами – дачами, которые были значительно дешевле гунгербургских или даже силламяггевских, пансионатами, лавками.<sup>64</sup> Из Петербурга сюда приезжали по железной дороге до станции Иевве (Йыхви), находившейся в 8 верстах от Тойла, а далее следовали на извозчике («карафашке», по выражению Н. С. Лескова). Характер дачной местности здесь был иной, чем в Гунгербурге: в Тойла не было широкого песчаного пляжа, но зато вблизи были обрывистый берег – глинт, красивая речка Пюхайыги, прекрасные места для прогулок к морю, с высокого берега (особенно в Онтика) открывался изумительный вид на окрестные места, морские дали.

В Тойла, начиная с 1912 г., довольно часто приезжал Игорь Северянин, после революции, в 1918 г., и вообще поселившийся в этом дачном поселке. С Тойла связана большая часть его позднейшего творчества. «В Тойле имеются все необходимые удобства: безукоризненная почта, аптека, два, еженедельно по разу, в определенные дни приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра [имеются в виду театральные залы. – С. И.], шесть лавок..., – писал Игорь Северянин. – Но здесь вы не найдете ни удручающей прилизанности и вылощенности, ни «досчечек» (как писал это слово Сологуб) с «Verboten», ни подстриженных газонов – одним словом, всего того, что, вместе взятое, обозначается именно «немецкой чистотой». Здесь нет «русской» грязи, но нет и «немецкой» чистоты. Тойла – и внешне, и нравственно – просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы [...]. На дачи ездили сюда исключительно интеллигентные люди, не толпу, а природу любящие, и не только из Петербурга, а зачастую и из Москвы, и даже с Кавказа».<sup>65</sup>

В 1913 г. в Тойла проводил лето Федор Сологуб, здесь он создал большую часть сборника стихов «Очарование земли». Многие стихотворения в нем помечены «Тойла» или «Иевве-Тойла», т. е. они написаны в пути от станции Иевве до дачного поселка. Ф. Сологуб даже

<sup>64</sup> См.: *Revalsche Zeitung* 1901. № 189. S. 1.

<sup>65</sup> Игорь Северянин 1996, 55.

хотел купить в Тойла дачу, но не сошелся в цене с ее владельцем<sup>66</sup>. Здесь отдыхали литературовед и историк П. Е. Щеголев, из художников бывал К. Е. Маковский.

Вполне естественно, что русские художники, приезжавшие на Нарвское взморье, прежде всего, рисовали море и побережье. Для них это были первостепенные знаковые величины. Пожалуй, только И. И. Шишкин, помимо моря, часто изображал лес, «материковые» пейзажи. Поражает многочисленность русских живописцев, посещавших Нарвское взморье. Полного их списка пока еще не составлено, но в имеющемся в моей картотеке перечне насчитывается, по меньшей мере, тридцать пять имен. Некоторых из них с полным основанием можно назвать певцами Нарвского взморья, поскольку в их творчестве оно занимает очень важное место. Это, в первую очередь, А. И. Мещерский. Много и плодотворно рисовали виды Нарвского взморья А. А. Киселев, Г. П. Кондратенко, И. Я. Билибин, П. С. Сейтгоф. Отметим еще, что в Гунгербурге некоторое время проживал Марк Шагал.

Между прочим, материалы по истории Нарвского взморья позволяют раскрыть историю становления в русском литературном языке слова *пляж*. Как известно, это слово восходит к французскому *plage*. У Н. С. Лескова мы встречаем вариант – *плаж* (мужского рода), причем писатель, видимо, не надеясь, что его поймут, приводит и французское слово, которое легло в основу русского.<sup>67</sup> К. К. Случевский в своих путевых очерках при описании Гунгербурга пользуется формой женского рода – *пляжа* (см.: Случевский 1897, 226). Лишь в самом конце 1890-х – в 1900-е гг. окончательно утверждается форма *пляж*.

Нам осталось рассказать о дальнейшей весьма печальной судьбе Нарвского взморья как дачно-курортного района. Курорт пострадал уже во время I мировой войны, когда в дачных поселках были размещены армейские части для защиты побережья от возможного вражеского десанта.<sup>68</sup> Значительные разрушения принесли с собой годы гражданской войны, когда взморье стало местом боевых действий.

После установления власти большевиков в России и создания независимой Эстонской республики приток дачников из Петрограда прекратился. Теперь здесь отдыхали преимущественно жители городов Эстонии, причем, продолжая дореволюционную традицию, сюда час-

<sup>66</sup> См. очерк Игоря Северянина «Сологуб в Эстляндии» (Игорь Северянин 1996, 47-53).

<sup>67</sup> См.: Лесков 1958а, 333.

<sup>68</sup> См.: Нивин 1919, 2-3.

то приезжали и местные русские. Владельцы части дач погибли в водвороте событий тех лет, и их дачи стали «бесхозными». Многие сдаваемые ранее в аренду дома теперь были не нужны, и они быстро ветшали, разрушались. Если в 1914 г. в Усть-Нарве отдыхало 12 000 – 14 000 дачников, то в конце 1920-х гг. число отдыхающих колебалось в пределах между 3500 и 4000. «До войны в Гунгербурге и в прилегающем к нему Шмецке было около 1500 дач [цифра несколько преувеличена. – С. И.]. Теперь из них осталось не более 730, остальные либо совершенно развалились, либо снесены. 200 дач сгорело», – писала в августе 1928 г. таллиннская газета «Вести дня».<sup>69</sup> Даже в наиболее благополучные для Нарва-Йыэсуу (так теперь стала официально называться Усть-Нарва) 1936-1937 гг. число отдыхающих редко превышало шесть тысяч,<sup>70</sup> т. е. их было в два раза меньше, чем до I мировой войны.

Особенно же обезлюдели другие дачные поселки. Те же «Вести дня» в 1929 г. отмечали: «Меррекулъ – заброшенный дачный уголок. Когда-то здесь были курзал, богатые дачи, почта... Всё заросло травой и покрылось кустарником. От бывшего Меррекуля не осталось и следа, за исключением старых, гниющих, полуразрушенных дач. В стороне от дороги – развалины старой дачи. Здесь жил писатель Лесков. До сих пор сохранилась любимая им лесная аллея».<sup>71</sup>

Но окончательный удар по Нарвскому взморью нанесла II мировая война, когда взморье стало местом ожесточенных боев. В результате практически исчезли с лица земли поселки Мерекюла, Удриа, Мумма-сааре (Монплэзир), Каннука. Сгорел дворец Елисеева в Ору. Большие разрушения были в Нарва-Йыэсуу. Силламяэ еще в 1920-1930-е гг. из дачно-курортного поселка превратился в индустриальный, а после войны, как мы уже отмечали, в закрытый город, где производилась добыча урана для советских атомных бомб.

В Нарва-Йыэсуу после войны все-таки кое-что сохранилось от старого Гунгербурга, кое-что можно было отреставрировать, восстановить. Увы, в этом отношении было сделано очень мало. Власти предпочитали строительство многоэтажных домов отдыха. Затем последовало «бесхозное» начало 1990-х гг., когда буквально на наших глазах в результате элементарного небрежения погиб, сгорел целый ряд еще

<sup>69</sup> 1928. 8 авг. № 210. С. 1. Ср.: Бух 1933а, 2.

<sup>70</sup> См.: Орав 1993, 37.

<sup>71</sup> Никифоров-Волгин 1932, 2. См. также: Волгин 1929, 2-3.



сохранившихся старых дач. Сейчас достаточно десяти пальцев, чтобы перечислить всё, что осталось от прежнего Гунгербурга, одного из лучших курортов Российской империи. Впрочем, стоят еще стены сгоревшего курзала...

Дачи, дачная жизнь, дачный «антураж» Нарвского взморья в конце XIX – начале XX в. вряд ли представляет что-либо принципиально новое, в корне отличное от других дачных мест бывшей Российской империи. С аналогичными явлениями исследователи сталкиваются и в истории Рижского взморья, Карельского перешейка и др. Это – завершение процесса формирования особых дачно-курортных районов со своей «специализацией». И все же Нарвское взморье вносит свои штрихи в историю дачного дела в России, оно интересно для историка этого культурного феномена.

## Литература

- Арбузов, Л. (1911), *Иллюстрированный путеводитель по Рижскому взморью, Кеммерну и курорту Магнусгоф (Вецакан)*. С кратким историческим очерком д-ра Леонида Арбузова младшего. Перевод с немецкого В. Стржецкого. Рига.
- Аренсбург (1902), *Аренсбург и его целебные грязи*. Спутник приезжим. Рига.
- Благовещенский, А. А. (1881), *Остров Эзель, город Аренсбург и его достопримечательности*. СПб.
- Борхсениус, Е. И. (1983), Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове. *В мире Лескова*. Сб. статей. сост. В. Богданов. Москва: Советский писатель, 342-359.
- Булгарин, Ф. (1852) [Ф. Булгарин]. Ливонские письма. *Северная пчела*, №133 (14 июня).
- Бух, Т. (1933а), Письмо из Гунгербурга. *Вести дня* (Таллинн), № 255 (31. окт.).
- Бух, Т. (1933б), Один из красивейших курортов Эстонии. *Вести дня*, № 296 (17 дек.).
- Волгин, В. (1929), От Гунгербурга до Удриаса. Путевые наброски. *Старый нарвский листок*, № 75 (11 июля).
- Гапсальский замок (1912), *Гапсальский замок, его настоящее и прошлое*. Составлено по лучшим историческим источникам. Гапсаль.
- Гольст, Рудольф фон. (1908), *Грязевой и морской курорт Гапсаль в Эстляндии*. Перевод с немецкого Ю. Н. СПб.
- Гончаров, И. А. (1954), *Собрание сочинений в 8 т.* Москва: Гослитиздат. Т. 7.
- Горин, Сергей (1924), Филиппов (Из воспоминаний). *Последние известия* (Таллинн), № 318 (14 дек.).
- Гунниус, К. К. (1870), *История Гапсалья. В воспоминание пятидесятилетия открытия морских целебных грязей в Гапсале*. СПб.
- Зальцман, И. А. (1897), *Курорт Усть-Нарова (Гунгербург) в историческом, топографическом и санитарно-медицинском отношении*. СПб.
- Иванченко, И. Е. (2004), *Род Случевских в истории. Портреты и судьбы*. СПб.: Академический проект.

- Игорь Северянин (1996), *Игорь Северянин*. Соч. в 5 т. СПб.: "Logos", Т. 5.
- Исаков, Сергей (1997), К. Д. Бальмонт и Эстония. *Учитель*, № 1, 6; № 2, 6.
- Исаков, С. Г. (2005), *Очерки истории русской культуры в Эстонии*. Таллинн: Aleksaiga.
- Каталог (1952), *Третьяковская галерея. Рисунок и акварель. И.Е. Репин. В.И. Суриков. В.М. Васнецов*. М.: Изд-во Третьяковской галереи.
- Китченко, Владимир (1912), *Руины замка в Гапсале... Рисунки, чертежи и стихотворения автора*. Ревель.
- Крегер (1905), *Пернов. Морское купанье и курорт*. Сост. д-р мед. А. Крегер. Пернов.
- Кривошеев, Е. (1978), *Нарва-Йыэсуу*. Таллин: Ээсти Раамат.
- Лесков, Н. С. (1958а), *Собр. соч.* В 11 т. М.: Государственное изд-во художественной литературы. Т. 9.
- Лесков, Н. С. (1958b), *Собрание сочинений*. В 11 т. Т. 11. М.: Государственное изд-во художественной литературы.
- Летний спутник Гунгербургского дачника (1912), *Летний спутник Гунгербургского дачника 1912 г.* Расписание поездов железной дороги с указанием стоимости проезда, абонементных и сезонных билетов; пароходное сообщение с Финляндией, за- границей, Кронштадтом, Ригой, Ревелем, Нарвой, Гунгербургом и другими при- балтийскими портами. Нарва.
- Лит. архив (1960), *Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения*. Ред. Н. Д. Муратова. Вып. 5. М.; Л.: Издательство Ака- демии Наук СССР.
- Мазанов, Юрий (2000), Шишкин и Нарвское взморье. *Радуга*, № 2, 112-119.
- Меррекольские морские купания (1865), *Меррекольские морские купания*. [СПб.,] (отд. оттиск из газ. «Биржевые ведомости», № 197).
- Микулич, В. (1929), *Встречи с писателями*. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде.
- Нивин, П. (1919), Гунгербург. *Ревельское слово*, № 100, (31 марта).
- Никифоров-Волгин, В. (1932), Гунгербург, Шмецке, Мерекюль и Удриас (Тени про- шлого). *Вести дня*, № 165 (19 июля).
- Никифоров-Волгин, В. (1935), Встречи с знаменитостями в Нарва-Иоезу. *Вести дня*, № 156 (5 июля).
- Павлов, И.П. (1967), *И. П. Павлов в воспоминаниях современников*. Л.: Наука.
- Павлова, С. В. (1946), Из воспоминаний. *Новый мир*, 1946/№ 3, 97-144.
- Пугилнн, К. И. (1914), Жемчужина Финского залива. Гунгербург. *Исторический вестник*. Т. СXXXVI, Июнь (известен и отд. оттиск).
- Рюне, Л.А. (1912), *Морские купания. Курорт Усть-Нарова (Гунгербург и Шмецке) Эстляндской губернии*. Сезон с 1-го мая по 1-е сентября. Краткое иллюстрирован- ное описание с приложением плана, списка сдающихся дач, таксы для извозчиков и пр. Сост. Л. А. Рюне. Нарва.
- Самойлов, Н. (1842), *Гапсаль, древний разрушенный замок в Эстляндии и при оном того же имени уездный город, где пользуются морскими ваннами, с видом замка*. СПб.
- Саша Черный (1996) *Саша Черный*. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. М.: Эллис Лак.
- С. В. (1914), С. В. Гунгербург перед мировой войной (Из воспоминаний дачника). *Старый нарвский листок*, № 89 (3 авг.).
- Сергеев, И. (1998), [С. Исаков]. Саша Черный и Эстония. *Учитель*, № 3, 15; № 4, 15.

- Случевский, К. К. (1888), *Балтийская сторона*. Путешествия их императорских высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1886 и 1887 гг. СПб. (По Северу России. Т. Ш).
- Случевский, К. К. (1897), *По Северо-западу России*. Т. II: По Западу России. СПб.
- Случевский, К. К. (2004), *Стихотворения и поэмы*. СПб.: Академический проект.
- Сологуб, Федор (1913), *Неутолимое*. Рассказы. Собр. соч. Т. XIV. СПб.
- Сухаро, Владимир (1861), *Город Гансаль в топографическом, статистическом, гидрологическом, историческом и проч. отношениях; и его жители с их нравами, обычаями и образом жизни*. СПб.
- Усть-Нарова в прошлом (1933), Усть-Нарова в прошлом (Из нарвского архива). *Старый нарвский листок*, № 69 (27 июня).
- Усть-Наровский прибой (1911), *Усть-Наровский прибой*. Лит.-худ. сборник и справочник. Сост. В. И. Петрусевиц. СПб.
- Хартен, М. фон. (1873), *Морские ванны и целебные грязи аренсбургские на острове Ээль*. Аренсбург.
- Шнейдер, П. (1891), *Лечебная станция и морские купанья в Пернове на побережьи Балтийского моря*. Сост. П. Шнейдер. СПб.
- Dandrè, V. (1933), *Anna Pavlova*. Berlin: Izdatel'stvo "Petropolis".
- K. (1867), K. Seebad Isenhof in Ehistland. *Album ehstländischen Ansichten, gezeichnet und hrsg. W. S. Stavenhagen*. Mitau.
- Mõtuste, Märt (1998), *Toila ümbruse kultuuri- ja hariduselu ajaloo*. Toila.
- Neumann, C. (1867), Chudleigh in Ehistland. *Album ehstländischen Ansichten, gezeichnet und hrsg. W. S. Stavenhagen*. Mitau.
- Orav, Virve (1991), *Matkateed Narva lähistel ehk Vaivara radadel*. Tallinn: Olion.
- Orav, Virve (1993), *Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga*. Tallinn.
- Revalsche Zeitung (1901), Badeorte am Ehstländischen Strande. *Revalsche Zeitung*, 17. (30.) Aug. Nr. 187; 18. (31.) Aug. Nr. 188; 20. Aug. (2. Sept.) Nr. 189. – Aus dem deutschen „St. Petersburg. Ztg.“.
- Sillamägi in Ehistland (1867), Sillamägi in Ehistland. *Album ehstländischen Ansichten, gezeichnet und hrsg. W. S. Stavenhagen*. Mitau.
- Siibak, Liisi & Paat Aili (2003), *Puitpitsvilla. Narva-Jõesuu puitarhitektuur*. Tartu.
- Sivers Jegór von. (1867), Klein Heimthal und der ehstländische Glint. *Album ehstländischen Ansichten, gezeichnet und hrsg. W. S. Stavenhagen*. Mitau.
- Virumaa (1996), *Koguteos Virumaa*. [Rakvere], Lääne-Viru Maavalitsus; Ida-Viru Maavalitsus.
- Wittrock, Viktor (1906), Wanderbilder vom estländischen Strande. *Heimatstimmen. Ein baltisches Jahrbuch*. Hrsg. C. Hunnius, V. Wittrock. II. Jg. Reval.

## Русские дачники в Эстонии – могли ли они «разглядеть самое жизнь»?<sup>1</sup>

Речь в настоящей статье пойдет не обо всех русских дачниках, но только о тех, кто приезжал на дачи в Эстонию из-за ее пределов. Это особый, локальный «дачный текст», пространство которого охватывает, однако, практически почти все эстонское морское побережье – пригороды Таллина, поселки Вызу и Кясму, города Пярну, Локса, Усть-Нарву, Хаапсалу, Палдиски, Курессааре на острове Сааремаа, побережье Чудского озера, но также и некоторые местности вдали от моря, как, например, Эльва, Отепяэ и некоторые другие.

Хотя традиции дачного отдыха россиян в Эстонии восходят к XVIII веку, хотя сохранились описания купален, а в настоящее время энергично реставрируются курзалы, хотя исследователя не может не впечатлять вся история дачного отдыха русских в Эстонии, наиболее интересным представляется советский период, начиная примерно с 1960-х годов, когда пошла мода на отдых в Прибалтике.

От остальных этот период отличается, прежде всего, «многолюдностью», а также своеобразием ситуации, в которой оказывались русские дачники (независимо от того, понимали они это сами или нет). Именно поэтому название настоящей работы включает парафраз цитаты из статьи Станислава Рассадина, писавшего о приехавших в Эстонию литераторах, которые осознали, что пространство, где они оказались, «...трогало и безраздельно завладевало вниманием, пока что не позволяя разглядеть самое жизнь».<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Статья написана при поддержке Эстонского научного фонда (грант G-6966).

<sup>2</sup> Рассадин 1981, 373.

Можно назвать десятки имен известных советских музыкантов, писателей, художников, деятелей науки и культуры, которые из года в год приезжали и снимали дачи в традиционных дачных местах Эстонии, участвуя, таким образом, в создании там специфического «дачного текста». Кроме специфического контекста, этот период заслуживает самого безотлагательного изучения еще и потому, что пока еще задерживается в «разогретой» памяти по меньшей мере двух поколений и общими усилиями мемуаристов и исследователей может быть «материализован», осмыслен и понят.

Национальный колорит этому «дачному тексту» сообщают не только эстонские топонимы, но и само понятие эстонской «дачи». Уникальность этого понятия, принадлежащего русской культуре и вызывающего трудности при переводе его на другие языки, во многом связана с его многозначностью. По справедливому замечанию Л. Овчинцевой, единственное научное исследование, посвященное феномену дачи, – книга британского ученого Стивена Лоуэлла<sup>3</sup> – «исследует дачу как социальный, экономический и культурный феномен с самыми разнообразными функциями: рекреационной, статусной, ландшафтно-архитектурной, коммуникативной и проч.»<sup>4</sup> В последнее время широко распространился взгляд на дачу (при этом она определяется как постсоветская дача с постсоветскими дачниками – см., напр., Илка Борхардт<sup>5</sup> – как подобие приусадебного участка (порой без какого бы то ни было наличия самой усадьбы). Порой садовый участок приравнивается к даче – ср., напр., рассуждение пенсионерки-дачницы М. Кашковской, принимавшей участие в радиопередаче «Дачи и дачники», организованной московской студией радиостанции «Свобода» 13 мая 2003 года: «... у нас не дача – у нас садовый участок, и мы, конечно, туда все силы вкладывали, там отдыхали, там строились, и на природе были [...] Все очень-очень красиво и хорошо на даче».<sup>6</sup>

Эта функция дачи далека от отдыха русских в Эстонии (как, впрочем, и в странах Балтии в целом). Эстонские дачи входили (и продолжают входить) в духовное и культурное пространство многих русских людей, приезжающих из-за границы. Пространство это было характерным: чрезвычайно редки были собственные, купленные в Эстонии

---

<sup>3</sup> Lovell 2003.

<sup>4</sup> Овчинцева 2004.

<sup>5</sup> Борхардт 2005.

<sup>6</sup> Кашковская 2003.

дачные дома/домики; еще реже россиянам принадлежали хутора, обращенные в место отдыха (т.е. лишенные привычного хозяйства). Наиболее частным вариантом для «снимателя дачи», как названа эта разновидность людей в шуточном стихотворении Давида Самойлова, самого известного русского дачника Эстонии советского периода, была комната(ы) в хозяйском доме, которая в его лексиконе получала, однако, гордое наименование дачи. Здесь уместно процитировать письмо одного из таких дачников, советского литературоведа В.Д.Дувакина,<sup>7</sup> где названия места отдыха варьируются, обнаруживая готовность воспринять как дачу любое возможное строение:

...Моя соседка по квартире несколько лет подряд ездит в эстонский городок Локса и очень его расхваливала. *Домик* [курсив здесь и далее мой – И.Б.] на окраине, рядом сосновый лес, дюны, море, с питанием просто и... некурортное место: пляж пустынный, жилье дешевле. В прошлом году я сосватал эту *отдыхательную точку* Александру Моисеевичу Пятигорскому с женой [...] Они вернулись восхищенные. В этом году соседка едет туда сама (сегодня) и пробудет до 24 июля. Предложила мне с 24.VII вселиться в *эту комнату* в Локсе.<sup>8</sup>

Приезжавшие в Эстонию дачники, наряду с отдыхом, преследовали разные цели: люди творческие воспевали отшельничество, одиночество. Так, Л.З. Копелев посвятил Давиду Самойлову шуточное стихотворение «Пярнский эремитаж» с подзаголовком «Почти баллада», где сетовал на невозможность обретения состояния поэтического вдохновения в эстонском городе Пярну, густо населенном летом российских дачниками:

Московской суеты хотел бежать пиит,  
 От шумных сутолок устав до гнева аж,  
 Он рвался в тишину, леса, в пустыню, в скит,  
 Чтобы вдали столиц как скромный эрemit  
 Воздвигнуть свой эремитаж.  
 И вот жена его на дальнем берегу  
 Обласканном балтийскою волной,  
 Нашла предивный дом под крышею крутой. [...]  
 Едва дохнул зефир, едва притих Борей,  
 Как задрожал его, недавно тихий, кров  
 От звуков и звонков и зычных голосов...  
 И заclubились толпы у дверей.  
 Друзья, приятели, знакомые друзей,

<sup>7</sup> Единственного свидетеля защиты на процессе Ю.Даниэля и А.Синявского, отлученного после этого от преподавательской работы в МГУ

<sup>8</sup> Письмо от 04.07.1970 года (архив автора статьи).

Родня друзей, знакомцы их детей...  
И гости всех сортов из разных городов [...]  
Жена смиренно рыщет в погранзоне  
И спешно ищет остров робинзоний...<sup>9</sup>

Бережно охраняя свой творческий настрой, Юрий Айхенвальд, много лет подряд отдыхавший с семьей в городке Локса, предпочитал не наезжать в Таллин:

...я твердо решил поехать куда бы то ни было лишь после того, как окончу книгу, а в эти жаркие дни она тянулась как товарный поезд с пустыми вагонами, и кончу я ее не раньше 10 августа, после чего (т.е. 11-го) мы поедem заказывать билеты в Москву, а затем [...] к нашим друзьям в Кясму дня на два.<sup>10</sup>

Отдыхавший там же, в Локса, В.Д. Дувакин, наслаждался одиночеством:

Живу, как отшельник, кругом очень хорошо и разнообразно. [...] Гуляю я ежедневно, постепенно удлиняя маршруты, и пока доволен всем, кроме того, что не нашел Юру Айхенвальда (на почте не знают).<sup>11</sup>

Выключенность из привычной ситуации, временное высвобождение от насущных проблем, ощущение границы (несмотря на ее юридическое отсутствие), возможность на время изменить привычный жизненный уклад были магнитом, который притягивал дачников, обеспечивая им «прекрасное далеко» и иллюзию полной свободы – известно, что Прибалтийские республики были для советских людей «разумеется, паллиативным, суррогатным, но Западом».<sup>12</sup>

Другие российские дачники, не довольствуясь «привезенными с собой» дружескими связями, познакомились с местной жизнью и культурой, заводили знакомых и друзей среди эстонцев и живущих в Эстонии русских, а впоследствии, как, например, Василий Аксенов, Владимир Арро, Анастасия Цветаева и некоторые другие, с теплотой писали об Эстонии, репрезентируя ее в своей культуре. Профессор Московской консерватории Михаил Сапонов выучил эстонский язык (случай почти уникальный); ему доверяли ключ от часовни в Кясму, и он играл там на органе, а по воскресеньям давал бесплатные концерты.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Копелев 2001, 97-98.

<sup>10</sup> Письмо от 02.08.1972 (архив автора статьи).

<sup>11</sup> Письмо от 29.07.1970 (архив автора статьи).

<sup>12</sup> Венцлова 1982, 163.

<sup>13</sup> Käsму 2000.

Следует сказать еще об одной специфической характеристике рассматриваемого дачного пространства. С одной стороны, дачники включали Эстонию в единое советское пространство, и читателя не должны обманывать строки Самойлова из шуточного цикла «Послания из Пярну в Пярну»: «Полтора рубля без визы – // Койка вам и все удобства».<sup>14</sup> В подкладке этого рассуждения даже имплицитно не присутствует альтернативное допущение – что в иных условиях виза могла бы быть, скорее, это недвусмысленный призыв не мечтать о далеких странах и странствиях, в то время как и здесь хорошо. С другой стороны, гомогенность страны была мнимой, фантомной, навязывалась советской идеологией дружбы и единства народов, и некоторыми это ощущалось. Сравнивая неказистую дачу Самойлова в подмосковной Опалихе с его пярнуским домом, приобретенным вначале как дача, как заменитель Опалихи (поначалу это был даже не двухэтажный особняк, а лишь его первый этаж; второй был выкуплен потом значительно позже), чуткий Александр Городницкий писал о духе свободы, витавшем в подмосковном жилище поэта, и задумывался над тем, почему этот дух не ощущался в Пярну:

Может быть, потому, что прошли годы и все стало восприниматься по-другому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял [...] в эстонском курортном городке, среди чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.<sup>15</sup>

В письме В.Д. Дувакина, отражающем московские слухи, пусть с шутивным определением себя как оккупанта, но все же вычитывалась вера в возможность отчуждения, отделения (хотя, конечно, не самоотделения):

В Москве ходят всякие слухи, будто бы в Прибалтику будут впускать с разными ограничениями и т.п. Напишите мне, пожалуйста, о том, как на сегодня выглядит ситуация, если смотреть глазами не агрессора-москвича-курортника-дачника, а туземца-прибалта.<sup>16</sup>

В культурологическом аспекте глубоко верно определение Т.В. Цивьян: дача – это остров; продолжая его, можно сказать, что дача в Эстонии для российского человека была дважды островом. И так же как описание острова обычно дается глазами материкового жителя, вос-

<sup>14</sup> Самойлов 2001, 95.

<sup>15</sup> Городницкий 1993, 457-458.

<sup>16</sup> Письмо от 23.05.1971 г. (архив автора статьи).



поминания российских дачников о людях Эстонии, с которыми они познакомились, - это обычно взгляд со стороны, взгляд извне, удивленно-восторженный.<sup>17</sup> Именно так, например, писала Анастасия Цветаева, более двадцати лет отдыхавшая в местечке Кясму, в цикле эссе «Моя Эстония» об эстонских художниках Олаве Маране и Ирине Бржеской. Здесь ось *свой – чужой* переходит в иное соположение: *другой и я*, причем *другой* эксплицируется как ясный, понятный, то есть не очень-то другой. Чужой опыт, чужая культура воспринимаются, прежде всего, в узнаваемых чертах и уподобляются своим собственным. Схожесть, близость подчеркиваются, различия затушевываются – предпринимается попытка в процессе при-своения свести Другого к себе. Такая модель поверхностного психологизма не допускает интернализации отношений с «другим», «чужим» и вызывает ассоциацию с прозрачным, стеклянным барьером, который в 1960-е годы использовался в искусстве как символ некоммуникабельности.

Однако – что бы ни думали об этом участники подобных отношений – дача (независимо от материального воплощения этого понятия), населенная русским дачником в Эстонии, - это поле встречи двух культур. В случае если такая встреча «своего» и «чужого» заранее осознается обеими сторонами именно в таком раскладе социальных ролей, разница культур смягчается или даже преодолевается.

Эмпирически специфика обитания на даче в «чужом пространстве», как правило, препятствовала подлинному знакомству с жизнью коренных обитателей, так как общение дачников происходило в «своем» кругу и переходило его границы лишь при наличии серьезной причины. Тем более следует ценить редкие (и в особенности редкие удачные) попытки осмыслить свое место в «чужом» пространстве. Один из таких, почти уникальных, случаев представляет собой «дачная история» ленинградского драматурга Владимира Арро, эстонца по отцу, не знающего, впрочем, эстонского языка.

---

<sup>17</sup> Ср., напр., фрагмент стихотворения Евгении Куниной, многолетней дачницы в Кясму: «Я учусь языку у щебечущих деток Эстонии/ Льноволосых, веселых и ловких, как тролли, ребят» (Käsma suvitajad 2000, 53; цикл из 28 стихотворений «Я учусь Эстонии»). Авторское восхищение странным образом противоречит значению слова «тролли», в скандинавских поверьях они предстают как сверхъестественные существа, чаще всего великаны, обычно враждебные людям.

## Случай В. Арро

В книге «Теге, Эстония!», т.е. «Здравствуй, Эстония!» Арро рассказывает свою дачную (вернее даже, хуторскую) историю: тартуский театр «Ванемуйне» в начале 1980-х годов поставил его пьесу «Высшая мера», автор понравился актерам, режиссеру, работникам театра, и Арро, воспринимая его как отчасти «своего», предложили купить хутор в подшефном совхозе. Хутор, выполнявший функцию летнего дома, то есть дачи, был куплен, Арро вжился и, действительно, стал в окрестностях «своим», хотя так и не выучил эстонский язык, назвав себя впоследствии за это совком. Книга его полна выразительных и метких самонаблюдений и наблюдений за окружающими. Мало кто из русских дачников так пристально вглядывался в эстонскую среду, но и мало кому дано было находить в себе те же характерные, так сказать, «родовые» черты:

[Днем] ...ни вблизи, ни вдали глаз не мог отыскать никаких признаков чужого жилья, хотя я знал, что в километровом радиусе по разные стороны от меня располагаются четыре соседских хутора.

Я уже понимал, что это было не просто случайностью, а принципом хуторского строительства: не мозолить глаза другим и самому других без особой нужды не видеть. [...] Психология эстонца – и крестьянина, и горожанина – это психология разумного индивидуализма. [...] Отъединенность выделяла эстонца из общей толпы и в городской, цивилизованной жизни. Удивленными писателями иных языков и менталитетов, побывавшими в Эстонии, много написано об этом умении эстонца даже в большом скоплении людей хранить личный суверенитет, невозмутимость и молчание. Его как бы нет, то есть, он есть, но он как бы один, его нет в толпе – с ними. А уж если предоставляется выбор, то он несомненно выберет одиночество. [...] Что-то от этой тяги к автономности унаследовал и я. Сколько раз ловил себя на внутреннем, принципиальном отсутствии там, где людей было много: на лекции ли, на собрании. И даже в тесной компании друзей меня порою как будто куда-то уносило. Бывало, что и женщина жаловалась, что меня рядом нет, хотя я был в наличии....<sup>18</sup>

В результате книга описывает редчайшую ситуацию бесконфликтного и основательного вхождения русского дачника в эстонский быт и эстонскую повседневную культуру, более того, радостного ощущения принадлежности к ней. Не случайно и само летнее времяпровождение на хуторе Лахварди представляется Арро не дачным или не вполне

---

<sup>18</sup> Арро 2003,73-76.

дачным, не похожим на обычное, хорошо известное ему дачное существование русского дачника в Эстонии:

...у нашей семьи завязывалась какая-то новая жизнь, не просто дачная, не просто сезонная, а всамделишная, со всем полнокровием связей, привязанностей, традиций, привычек и обязательств.<sup>19</sup>

Арро описывает курьезную ситуацию: они с женой справляли летом свои дни рождения на хуторе, и со временем эти дни рождения «стали превращаться в сельский праздник для всей округи». Соседи приходили и приезжали поколениями, а автор с женой чувствовали себя «хозяевами придорожной харчевни». Однако досада не была единственным послекусием от этих вечеров, характерна двойственность ощущений – суета и хлопоты не могут заслонить чувства сопричастности здешнему укладу жизни: «На моем 60-летию перебивало сорок человек. Что говорить, внешне досадуя, в душе я гордился этим».<sup>20</sup>

О преодолении барьера между «своим» и «чужим», кроме закономерной гордости дачника, свидетельствует и то, что приятельница с соседнего хутора в минуту, когда Арро решит продать свой дом, со слезами в голосе скажет: «Не делай этого, здесь, здесь твой дом!»<sup>21</sup> и назовет его при этом эстонским аналогом имени Володя – Волли.

Однако деревенской идиллии, в центре которой находился Владимир – Волли, ленинградский эстонец по отцу с родным русским языком – не суждено было пережить распад Советского Союза и восстановление суверенитета Эстонии. В новом времени актуализировалась двойственность статуса Арро – хозяин дома за границей; обострилась двойственность ситуации: возникла необходимость выстаивать очереди за визой к ленинградскому консульству Эстонии, чтобы поехать к себе на дачу. Еще более двойственными были чувства самого русского дачника наполовину эстонского происхождения, для которого в политических событиях сразу же обнажилась не только национальная, но и культурная проблема:

С одной стороны, я радовался, что восстанавливается историческая справедливость и Эстония обретает собственную, органичную ей судьбу. С другой, было очевидно, что

---

<sup>19</sup> Там же, 88.

<sup>20</sup> Там же, 129.

<sup>21</sup> Там же, 150.

она стремительно отчуждается от всего, что связывало ее с Россией, даже от того, что было ей не во вред, а на пользу, как, например, культурные и литературные связи.<sup>22</sup>

Случай Арро почти уникален, потому что обычно, приезжая на дачу, дачник хотя и встречается с иной культурой, иной ментальностью, иным языком, однако направляющийся на отдых человек (характерна лингвистическая деталь: при субстантивации причастие «отдыхающий», которое представляет собой метонимия, напр., в словосочетании «отдыхающий человек»), замещает само имя существительное) априорно настроен доброжелательно, энтузиастически и, как правило, поверхностно воспринимает окружающее. Сам этикет дачных поселков предусматривает минималистские отношения дачника с хозяевами дома, в основе которых лежат определенные конвенциональные характеристики: постоянство (жизнь в течение многих лет на одной даче; если же события складываются так, что хозяева не могут принять завсегдатаев-постояльцев, то они сами находят гостям новое жилье); нешумная жизнь; негромкое общение; обмен новогодними (рождественскими) открытками, а иногда и парой писем в год, в редких случаях даже посещение «своих» дачников в местах их постоянного проживания (где установившийся этикет продолжал действовать) и т.п. В такой плоскости социальной жизни дачники не могли, да и вряд ли хотели бы видеть «самое жизнь», текущую рядом с ними.

Дача и дачники – явления в большой степени конвенциональные, однако неудивительно, что для изучающих феномен дачи и дачника характерен интерес только к временному обитателю дачи и «пренебрежение к статусу возможного Другого, соседствующего на одной плоскости социальной жизни».<sup>23</sup> Рекреационная функция дачи (если это не садовый участок, на котором активно трудятся) превращает ее в территорию постоянного праздника. Между тем есть и другая сторона, пока еще не до конца понятая и не осмысленная: дача может стать и травмотогенной территорией, в тех случаях когда на традиционном фоне поверхностно любезных отношений между дачником и дачевладельцем рельефно проступает ось *свой – чужой*. Тогда и поверхностный психологизм, предопределенный самим временным характером ни к чему не обязывающих отношений, может обернуться напряженным психологическим исследованием чужой ментальности с глубоким в нее проникновением.

<sup>22</sup> Там же, 149.

<sup>23</sup> Подорога 2006.

Более того, хотя в подобных обстоятельствах мы имеем дело с единственным случаем, тем не менее, его подробное и убедительное описание, причем описание, предпринятое человеком, рефлексирующим над своим существованием в чужом окружении, а также над репрезентацией своей личности в иной культуре, способно стать своего рода подтекстом в исследовании феномена «русские дачники в Эстонии», когда речь идет, по крайней мере, о советском периоде.

Дачная жизнь, которую можно отнести к сфере повседневности, в рассматриваемой нами модификации представляет усложненный вариант, участниками которого выступают, по меньшей мере, две различные культуры. И, хотя психологи и социологи склонны считать, что «...процесс создания и трансляции интеллектуальных и эстетических символов может относительно легко перемещаться и осуществляться между территориально удаленными индивидами или группами (детерриторизация). Культура – это сфера, наиболее подверженная глобализации, поскольку в ней социальные отношения максимально символизированы и, следовательно, могут осуществляться без привязки к конкретной территории»,<sup>24</sup> в реальности, однако, дача вовсе не экстерриториальна. «Привязка к конкретной территории» зачастую оказывается решающей, и модель человеческих отношений в их облегченном, дачном варианте отнюдь не свободна от глубинных социальных противоречий и противостояний.

Из разножанровых произведений, описывающих дачную жизнь как напряженный процесс всматривания в Другого, осознанная рефлексия над соотношением своей и чужой культуры, плодотворная попытка осмыслить свое, дачницы, место в ситуации «русские дачники в Эстонии» воспроизведена лишь в повести Марины Палей «Хутор», опубликованной в 2004 году в таллинском журнале «Вышгород» и воспроизводящей события 1979 года на эстонском хуторе К.<sup>25</sup>

Показательна симметрия, обнаруживающаяся в самой модели ситуации у Арро и Палей, пускай даже с разными знаками: в обоих случаях маркированы одни и те же реалии: действие происходит на хуторе (у Арро на своем, у Палей – на чужом); отмечена продолжительность пребывания автора в статусе «дачника» (несмотря на казалось бы несопоставимые десять лет Арро и полтора месяца Палей, подчер-

<sup>24</sup> Никулина 2005.

<sup>25</sup> В данном случае вопрос о доле вымысла в повествовании М. Палей нерелевантен, поскольку при любой пропорции реальности и игры воображения повесть все равно представляет собой осмысление интересующей нас проблемы.

живается, что и тот, и другая поняли коренных обитателей этого пространства); сообщается об отношении к ним со стороны «местных» (причисление Арро к «своим» и откровенная ненависть к героине-рассказчице «Хутора»).

В этом отношении характерны сами названия их произведений: у Арро это приветствие, приятие; на основании анализа его языкового выражения – слово «Здравствуй» написано по-эстонски, а «Эстония» – по-русски – можно трактовать его как двойственность авторских чувств к Эстонии, и как двойную национальную принадлежность автора, полурусского-полуэстонца, и как двойственность, пронизывающую все его отношения с Эстонией, и т.п. (ср.: «...история идей и важных семиотических понятий может быть описана на основании анализа их языкового выражения»<sup>26</sup>).

## Случай Марины Палей

Название повести Палей для русского, точнее, советского уха содержало и те негативные коннотации, которые связаны с отделенностью, обособленностью хуторов и их владельцев – красноречив в этом плане пример, демонстрирующий словоупотребление «хуторянин» в Толковом словаре русского языка под редакцией Н.Д.Ушакова: «...На почве столкновения общинников с хуторянами происходит усиление крестьянского движения против помещиков и кулаков-хуторян. История ВКП(б)». <sup>27</sup> Однако для Другой, эстонской культуры хутор – это основополагающее понятие, дом-крепость, и в «лингвистическом конфликте», за которым ощущается разница жизненных укладов и ментальностей, повествовательница становится на сторону Эстонии.

Хотя в ответ сталкивается с откровенной ненавистью хозяйки (здесь нужно пояснить, что дом, в котором жила приехавшая из Ленинграда повествовательница, был разделен на два этажа, причем нижний, где она остановилась, принадлежал действительному владельцу хутора, восьмидесятилетнему человеку, некогда служившему в императорской инфантерии, но заправляла всем хозяйством его невестка Ванда).

Пригласить дачников (не героиню, но ее ленинградскую приятельницу с мужем, которые на одно лето уступили ей свое место) владель-

<sup>26</sup> Иванов 2000, 11.

<sup>27</sup> Толковый словарь 1940, 1200.

ца хутора подбил живущий по соседству врач Василий, потомок декабристов, эстонский житель в третьем поколении.

На хуторе, как можно догадаться, таких декадентских словечек [дачники] не знали – не ведали даже и самого понятия «дачники». Хуторяне выдвали людей, приезжавших в их края, скажем, из Таллина, в летние коттеджи, – причем, разумеется, в коттеджи собственные. А так, чтобы снимать углы в чужом доме... чтобы пускать к себе в дом чужих... да еще русских... позор и мерзость.<sup>28</sup>

Жизнь Ванды самодостаточна: дом, хозяйство, семья, множество детей; одно лишь эту жизнь отравляло:

Свекор, который, по мнению Ванды, сильно задержался на этом свете, мало того, что занимал весь нижний этаж – что уж само по себе адскими угольями жгло ей нутро! – так еще затеял пускать туда русских – оккупантов, квартирантов, свиней, «дачников»!<sup>29</sup>

Как зовут членов семьи, в доме которой они жили вместе с полуторагодовалым сыном, героиня узнала только из писем своей ленинградской приятельницы, «которые отправлялись из точки, отстоящей от хутора километров на триста!.. С другой планеты».<sup>30</sup>

Одно из наиболее частотных слов в описании этой истории – «чужой» во всех его разновидностях. Повествовательница в «Хуторе», лишённая всякого общения с хозяйкой Вандой, продуцирует ее реплики в возможном диалоге, сплошь состоящие из инвектив и полного неприятия «чужого», Другого. Оказавшись внутри запутанного клубка отношений, героиня, даже когда ей разъясняют смысл происходящего, не в состоянии изменить что бы то ни было, так как описываемый мир закрыт для нее. Она не в силах, например, помочь пригласившему ее старику, который, несмотря на хуторское изобилие, покупает продукты в сельском магазине, потому что боится, что невестка его отравит.

Ей не удастся расположить к себе Ванду, а в какой-то момент, когда та соглашается продавать героине молоко, ее полуторагодовалый сын заболевает и оказывается на грани смерти (досужие кумушки подозревают даже намеренное отравление). Спасение в лице живущего недалеко знаменитого эстонского Художника приходит, как чудо.

Уже понимая, что в мир людей, для которых эта земля своя, ей никогда не проникнуть, героиня не воспринимает отчуждение, с кото-

---

<sup>28</sup> Палей 2004, 21.

<sup>29</sup> Там же, 21.

<sup>30</sup> Там же, 25.

рым относится к ней эстонская семья, только как несправедливость. С виду дачные, отношения на поверку оказываются закономерным результатом исторических перипетий:

Большие и сильные завоевали малых и слабых. Они долго их мучили, затем, слава Богу, этой эпохе настал конец, давайте забудем. Идеолог скажет: я свято верил в чистоту теории. Политик скажет: я хотел, как лучше. Офицер скажет: я не имел представления об истинных целях плана. Представитель правоохранительных органов скажет: мне никогда не сообщали о такого рода злоупотреблениях [...] Винаватых нет.

И все это так предсказуемо! Так скучно!

Но кто это там топчется в самом конце цепочки? В самом-самом конце? Кто это там тоненьким голосочком кричит: «В этом моя, лично моя вина!»?

Это не стрелочник. Нет.

Это я.

Я врач, и я всегда помню, что организм состоит из клеток. И автономных, «независимых» клеток в едином организме нет. Кроме раковых, конечно. А клетка здоровая обязательно имеет принадлежность к какой-либо ткани.

То есть является ее частью. [...] Я, как ни крути, – неотъемлемая часть того огромного, хищного и жестокого организма, который долгое время, притом безнаказано, разрушал организм соседней – несоразмерно меньшей! – страны.

А я всегда встану на сторону малочисленного, всегда предпочту, в конечном итоге, штучное – массовому.

Но вина предполагает ответственность. А в чем же состоит ответственность, если ты не можешь ни на что влиять?

Неправда, могу. Потому и пишу этот текст.<sup>31</sup>

Неудавшийся отдых на хуторе, едва не обернувшийся трагедией, осмыслен Мариной Палей в культурно-антропологическом плане и возведен к истокам ее отторжения Прибалтикой, которую она называет своей, как она пишет, «не по праву конквистадора [...] по праву – ни на что не посягающему праву – пожизненной любви».<sup>32</sup>

В итоге можно прийти к заключению, что возможность идиллических отношений в интересующей нас категории связей – русские дачники в Эстонии – обусловлена лишь их поверхностностью: строгим соблюдением ролей – «хозяин» – «дачник», «свой» – «чужой» – и их подчеркнуто межличностным характером. Отношения эти не терпят глубины, не уходят корнями в историю и старательно отстраняются от социальных обобщений и попытки понять Другого, Иную жизнь. Только наличием этих условий можно объяснить безмятежные отношения между русскими дачниками и эстонскими дачевладельцами. По

<sup>31</sup> Там же, 55-56.

<sup>32</sup> Там же, 57.



поводу иной страны в той же повести Марины Палей сказано: «...до тех пор, пока я не понимаю языка – эта страна будет оставаться для меня волшебной. Именно пока не понимаю языка – не дольше!».<sup>33</sup>

Непонимание языка – и в прямом и в фигуральном значении этого слова (языка как социально-культурного кода) – и, следует признать, отсутствие у большинства желания этот язык освоить не могло позволить русским дачникам «разглядеть самое жизнь». В концепции «значимого другого», вполне применимой к случаю Марины Палей, в качестве Другого выступает не индивид, а Прибалтика в целом, и процесс социализации осуществляется как раз через преодоление чисто «дачных» черт в отношениях писателя и данного региона – дачница не выпадает из своего времени и пространства, но, напротив, продлевает их в прошлое, придает им глубину; дача у Палей теряет значение «локального текста» и обретает статус репрезентанта этносоциальных сдвигов. Частный случай Марины Палей, отразивший глубинные противоречия целой эпохи, демонстрирует нарушение «дачной» конвенциональности, минимализированных дачных отношений, но это нарушение обернулось проникновением в «самое жизнь».

На основе представленных в настоящей статье материалов можно сделать вывод о многозначности образов дачи и дачника в рамках темы «российские дачники в Эстонии». Хотя и в данном случае концепт дачи выстраивается по нескольким, уже известным осям координат – временная природа дачи как места отдыха; выпадение дачника из повседневности, привычного пространства; смена жизненного уклада; приватность как неотъемлемая принадлежность дачного образа жизни и т.п. – в обитании российских дачников в Эстонии есть и своя специфика. В отличие от традиционных русских дач и дачных отношений, эстонские становятся полем встречи двух культур, актуализирующим оппозицию свой / чужой. Минимализированные дачные отношения представляются идиллическими, до тех пор пока не предпринимается попытка интернализации и социализации этих отношений. С другой стороны, обнаруживающиеся противостояние и столкновения способствуют более адекватному пониманию «иного», «чужого».

---

<sup>33</sup> Там же, 45.

## Литература

- Арро, Владимир (2003), *Tere, Эстония!* Таллин: Kirjastus Illo.
- Борхардт, Илка (2005), *Сибирские дачи как пространство культурной памяти*. [www.cnsio.irkutsk.ru/sov\\_konf/annotation/borhardt.htm](http://www.cnsio.irkutsk.ru/sov_konf/annotation/borhardt.htm) (14.09.2005).
- Кашковская, М. (2003), *Выступление в передаче «Дачи и дачники» радиостанции «Свобода» 13 мая 2003*. [радиопередача] [www.svoboda.org/programs/pf/2003/pf.051303.asp](http://www.svoboda.org/programs/pf/2003/pf.051303.asp) (14.09.2005).
- Венцлова, Томас (1982), Литовский дивертисмент Иосифа Бродского. *Синтаксис*. Париж, №10, 162-175.
- Городницкий, А. (1993), *След в океане*. Петрозаводск: Карелия.
- Иванов, Вяч. Вс. (2000), Предисловие редактора английского издания. – О. Ронен. *Серебряный век как умысел и вымысел*. М.: ОГИ., 11-20.
- Копелев, Л.З. (2001), Пярнский эремитаж. Д.Самойлов. *В кругу себя*. Таллин: Авенариус, 97-98.
- Никулина, И. (2005), *Терроризм как социокультурная травма*. [www.kreml.org/other/94186512?mode=print&user\\_session=dedce22d07a7cfe0f51ca45](http://www.kreml.org/other/94186512?mode=print&user_session=dedce22d07a7cfe0f51ca45) (10.08.2005).
- Овчинцева Любовь (2004), «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» *Отечественные записки*, №1. <http://www.strana-oz.ru/print.php?type=article&id=784&numid=16> (14.09.2005).
- Палей, Марина (2004), Хутор. *Вышгород*, №3-4, 14-59.
- Подорога В.А. (2006), *Словарь аналитической антропологии*. [www.lib.ru/FILOSOF/PODOROGA\\_W/s\\_antropo.txt](http://www.lib.ru/FILOSOF/PODOROGA_W/s_antropo.txt) (14.09.2006).
- Рассадин, Ст. (1981), Почва поэзии. *Глазами друзей*. Таллин: Ээсти Раамат, 372-383.
- Самойлов, Д. (2001), Послание из Пярну в Пярну. Д.Самойлов. *В кругу себя*. Таллин: Авенариус, 95.
- Толковый словарь русского языка (1940), *Толковый словарь русского языка*. Под редакцией Н.Д.Ушакова. т. IV. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей,
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710 – 2000*. Ithaca & London: Cornell University Press.
- Käsmu (2000), *Käsmu suvitajad läbi aegade. Artiklid, mälestused, intervjuud*. Toimetaja Aarne Vaik / Koostajad Anto Juske ja Dagmar Normet. Käsmu: Käsmu Meremuuseum Toimetised, N5.

## THE DACHA KINGDOM

## Эльва как дачный локус<sup>1</sup>

Проект чеховского Лопехина: «Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если [...] землю [...] разбить на дачные участки и отдавать в аренду под дачи, то будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода»<sup>2</sup> – еще раньше, до создания «Вишневого сада», был осуществлен в эстонском местечке, в конце 1880-х гг. получившем название Эльва. Местные помещики, прибалтийские немцы фон Зейдлиц и фон Фукс, оказались расчетливее владельцев вишневого сада и ответили на вызов времени не так, как Раневская Лопехину: «Дача и дачники – это так пошло, простите».<sup>3</sup> Когда была построена железная дорога из Тарту (Дерпта) в Ригу, Зейдлиц и Фукс разбили свои земли близ живописных озер Арби и Вереви на дачные участки<sup>4</sup>. Их примеру вскоре последовали местные хуторяне, и постепенно дачник, как и предрекал Лопехин, «размножился». Справедливости ради заметим, что помещикам не пришлось тесниться – участки находились «на задворках» их имений Меэри и Удерна, зато Эльва из забытого Богом заболоченного угла (как назвал ее Ян Кярнер) превратилась сначала в поселок (1923 г.), а затем в город (1938 г.).

Сначала дачные участки отдавались в аренду; наиболее обеспеченные арендаторы строили на них собственные, так называемые «владельческие», дачи, а со временем выкупали и землю. Иногда дома строили сами землевладельцы и затем сдавали внаем либо весь дом,

---

<sup>1</sup> Статья написана при поддержке гранта ЭНФ № 7021.

<sup>2</sup> Чехов 1963, 616.

<sup>3</sup> Чехов 1963, 629.

<sup>4</sup> Наиболее подробные сведения об истории и быте Эльвы см. в книге эстонского писателя и эльвского старожила Яана Кярнера (см.: Кярнер 1931).

либо отдельные комнаты (так называемые «наемные» дачи). Как бы там ни было, уже к концу 1900-х гг. Эльва покрылась характерными «немецкими» дачными домиками в стиле модерн – с башенками, мезонинами, а также с верандами, террасами, где можно было пить чай или кофе на открытом воздухе. Украшались дома в зависимости от достатка владельца, вокруг иногда разбивался сад (как вокруг дачи проф. Шурупова<sup>5</sup>). Открывались и пансионы; один из первых располагался на центральной улице (теперь на этом месте – краеведческий музей Тартуского региона); возникли гостиницы, рестораны, кафе. В гостинице-ресторане «Elwa» долго снимала комнату эстонско-финская писательница Айно Каллас<sup>6</sup>.

Разумеется, задолго до строительства железной дороги (эльвский вокзал был открыт в 1889 г.) эти места были в той или иной мере обитаемы. Как показали археологические раскопки, предпринятые в 1936 г. в Эльвском регионе проф. Харри Моора, в районе нынешних Пезду-Вапрамяэ находилось городище древних эстов (примерно VI–XI вв. н.э.). В средние века земли перешли в руки немцев, захвативших Эстонию в XIII в. По сохранившимся данным, в XV в. в округе нынешней Эльвы располагались поместья Конгута, Меэри, Удерна, а также Хартен (последнее тогда принадлежало Тизенгаузенам). В XVII в., в период шведского владычества, был проложен почтовый тракт между Дерптом и Ригой, и примерно в 1645 г. была построена почтовая станция Удерна (на месте современной Эльвской гимназии)<sup>7</sup>.

Большая история, в основном, обходила Эльву стороной, но Северная война оставила здесь свои следы. Разрушенная почтовая станция была восстановлена по приказу Петра I. Эльвские легенды сохранили память об обоих героях Северной войны – о Карле XII и о Петре I. В районе озера Арби до сих пор существует сосна, якобы посаженная шведским королем, и другая, якобы посаженная русским царем. Так противники оказались уравнены в народной памяти.

<sup>5</sup> Я. Кярнер отмечает, что для этого пришлось возить землю за десятки километров, так как участок был сплошь песчаным с редким сосняком (см.: Кярнер 1931, 16). Теперь от этого сада не осталось и следа.

<sup>6</sup> Характерна судьба этого здания в нынешнее время. Эльвские городские власти отремонтировали и надстроили его за счет городского бюджета, в надежде возродить здесь прежний известный ресторан и привлечь отдыхающих и туристов. Однако возникла тяжба с потомками бывших владельцев, и уже готовое здание пустует и разрушается.

<sup>7</sup> См. недавно изданный содержательный буклет (Эльва). Информация об истории города имеется и на Интернетсайте: <http://www.elva.ee>

И все же вплоть до конца XIX в. великие мира сего лишь проезжали сквозь будущую Эльву по почтовому тракту Петербург – Рига, а местная жизнь была сосредоточена вокруг комплекса почтовой станции Удерна, заново отстроенного в 1836 г. От тех времен до наших дней сохранился домик почтальонов и корчма. Во второй половине XIX в. неподалеку возник магазин и несколько домов на достаточном расстоянии друг от друга. Вот и все.

Рождение Эльвы как дачного локуса совпало со вторым дачным бумом в России. Первый (условно говоря, аристократический) разразился в конце 1820 – начале 1830-х гг. (особенно после эпидемии холеры 1830 г.). Второй («демократический») совпал с эпохой великих реформ и строительством железных дорог. Его, так же как и первый, стимулировал рост городского населения и резкое ухудшение экологической обстановки в городах.

Дачная Эльва была тогда всецело связана с Тарту (Дерптом / Юрьевом), от которого отстоит на 24 версты. Вот как описывал Тарту/Юрьев начала XX в. Дмитрий Константинович Зеленин, будущий великий этнограф, а тогда – преподаватель Тартуского университета, автор путеводителя по городу: «В гигиеническом отношении Юрьев похвалить нельзя. [...] В городе нет водопровода, между тем вода местных колодцев, не говоря о реке Эмбахе [...], крайне загрязнена [...]. Канализация отчасти устроена плохо». Неприглядную картину, нарисованную Зелениным, дополняет указание на сточные воды, которые проникают в почву, загрязняя питьевую воду, а также вонь от нечистот и гниющего пруда. Венчает картину список болезней: «Среди городского населения сильно распространен туберкулез и некоторые венерические болезни (гонорея и сифилис); очень много больных глазами; хронический насморк и хронический катарр гортани – обычные болезни, особенно у лиц, родившихся в другом климате [...]. В уезде свирепствует проказа».<sup>8</sup> Стремление вырваться на время из такой обстановки, поправить здоровье и выехать на лето *in's grüne* – сделали Эльву, как пишет тот же Зеленин, «излюбленным дачным местом юрьевцев».<sup>9</sup>

Однако кроме гигиенических соображений не менее сильным двигателем дачного бума повсюду, в том числе и в Тарту – Эльве, был фактор социальный: соображения моды и престижа. Находиться летом

<sup>8</sup> Зеленин 1909, 23-24.

<sup>9</sup> Зеленин 1909, 103.

в городе становилось знаком бедности, материального неблагополучия, а дача – особенно «владельческая» - сделалась символом достатка, а для недворян – причастности к «господской жизни».

Первыми эльвскими дачниками стали те, кого эстонцы называли "võõrkeelsed saksad" – т.е. «иноязычные господа», другими словами немцы и русские. Но за ними тотчас потянулись в Эльву богатые или просто обеспеченные эстонцы: купцы, мещане, хуторяне. Одни из них стремились вырваться из «низшего» сословия и сделаться «господами» хотя бы на лето. Характерно, что народ прозвал дачников "suvi-saksad"<sup>10</sup>, т.е. «летние господа» или «господа на лето». Тогдашний эстонский язык хорошо вскрывает семиотическую природу феномена дачника, его временный, недолговечный, в каком-то смысле хрупкий статус. Этот оттенок присутствует и в литературном эстонском слове "suvitaja" (адеквате слова «дачник»). "Suvitajad", в точном смысле, означает «проводящий лето».

Другую группу эльвских поселенцев разных национальностей составили мелкие лавочники (мясники, пекари, зеленщики), ремесленники и крестьяне, которые арендовали или покупали землю, строили дома, чтобы сделать здесь свой бизнес – сдавая комнаты и обслуживая дачников. Они не принадлежали к категории дачников, хотя без них существование дачников было бы невозможно.

Однако классический тип «дачника» того времени, не озабоченного хозяйством и бизнесом, а занятого отдыхом или культурным досугом (другое дело, что под этим подразумевалось), составляли тартуские врачи, провизоры, юристы и, конечно, университетские профессора. Так в конце 1900-х гг. в районе Большого озера (Вереви) возник так называемый «профессорский городок». Первым обитателем стал Шурупов, затем по соседству выросли дачи профессора математики Виссариона Григорьевича Алексеева (бывшего в 1910-1913 гг. ректором Тартуского университета), профессора патологической анатомии Вячеслава Алексеевича Афанасьева и профессора фармакологии Ивана Лаврентьевича Кондакова. В советское время эти дачи частично использовались под пионерский лагерь.

Судьбе было угодно, чтобы в 1920-30-е гг. для некоторых профессоров дачи в Эльве превратились в жилье и даже в источник дохода. Изобретатель синтетического каучука проф. Кондаков с 1921 г. до своей смерти постоянно жил в Эльве и был в 1931 г. похоронен на

---

<sup>10</sup> Кярнер 1931, 9.

эльвском кладбище у Тихого озера (кладбище было основано в 1924 г.). У Кондакова снимал комнату эстонский драматург Хуго Раудсепп. Теперь дорожка, ведущая к бывшей даче Кондакова (дом сгорел несколько лет назад), названа улицей Раудсеппа. Алексеевы (особенно сын профессора, художник Виктор Алексеев) жили в Эльве не только в дачный сезон. У Шурупова комнаты сдавались очень активно, и в основном доме, и в хозяйственных постройках. Там снимала дачу и семья будущего тартуского поэта и корреспондента Бунина В.В. Шмидт (1915-2001). Эльва описана в ее стихах как обетованное место – царство солнца, сосен, диковинных птиц, как символ счастливого детства.<sup>11</sup>

Но вернемся еще ненадолго к начальному периоду Эльвы как дачного локуса. Ее природа и климат оказались благоприятны для отдыхающих, несмотря на то, что низины, особенно около Малого озера (Арби), еще не были тогда осушены. В Эльве можно было предаваться традиционным дачным занятиям: прогулкам *in's grüne*, собиранию грибов и ягод (или же покупкой того и другого у местного населения), лежанию в гамаке, катанию на лодке (купание входило в моду постепенно – характерно, что купальня с вышкой была построена только в 1930 г.), ловле рыбы. Рестораны с музыкой, променады на перроне при встрече прибывающих поездов, прогулки в привокзальном скверике и по центральной улице до почтовой станции предоставляли возможность для светского общения: людей посмотреть, показать себя и новые туалеты, раскланяться со знакомыми, при желании завязать новые знакомства. Однако на таких променадах происходила и встреча цивилизаций и культур. Как вспоминал о своем отрочестве Я. Кярнер, он и его сверстники, деревенские парнишки, не могли противостоять искушению каждый день отправляться на вокзал вместе с городской «господской» публикой, не отдавая себе отчета в том, что, собственно, их привлекало. Однако писатель Я. Кярнер, анализируя прошлое, писал о том, что это и было началом «контакта между городом и деревней», принесшего впоследствии как положительные, так порой и разрушительные плоды для эстонской культуры.

Обслуживание дачников сделалось источником дохода для окружающих крестьян; многие из них стали также строить дачи на своих земельных участках. Именно дачи и дачники способствовали не только

---

<sup>11</sup> См.: Шмидт 1991.



развитию инфраструктуры Эльвы, но и приобщению местных эстонских крестьян к городской цивилизации и культуре.

Конечно, Эльва возникла и долго продолжала оставаться дачным локусом местного значения. Здесь не было моря, лечебных грязей, как в Пернове, Гапсале, Аренсбурге. Местоположение Эльвы нельзя было сравнить с близким к Петербургу восточным побережьем Финского залива с его чудесными курортными поселками Гунгербург, Меррекуль, Силомьяки, где выстроили себе дачи многие петербургские высокие чиновники и деятели культуры.

Более поздняя статистика 1930-х гг., времени первой Эстонской Республики, дает нам следующие данные: если в Пярну, самом дорогом и престижном курорте Эстонии, за сезон отдыхало по 3 тысячи иностранцев, в Нарве-Йыэсуу (Гунгербурге) – 2,5 тысячи, в Курессааре (Аренсбурге) – 2 тысячи, то в Эльве иностранцы исчислялись всего лишь сотней, хотя общее число дачников – эстонских граждан приближалось к 1,5 тысячам. Однако если использовать старую классификацию дач по принципу «комильфотности», которую приводит в своей книге классик дачной темы Вл. Михневич,<sup>12</sup> Эльва могла быть отнесена к категории «просто *comme il faut*»: до «вполне *comme il faut*» она не дотягивала, но и в класс “*fi donc*” не попадала.

Дачный локус как место встречи культур – городской и деревенской, немецкой, русской и эстонской – за несколько десятилетий сделал Эльву одним из видных центров эстонской литературы и культуры. Здесь выходили не только свои газеты (в 1930-е гг. это – “*Elva Elu*“, “*Elva Sõna*“, “*Elva Suvitused*“, “*Elva Noorsoolane*“), поэтические сборники и книги, но и редактировался центральный эстонский литературный журнал «Лооминг» (1927-1929). Аннотированный указатель известных деятелей эстонской культуры, связанных с Эльвой, занимает целую книгу.<sup>13</sup> Эльва стала и объектом изображения в эстонской литературе. Из наиболее значительных сочинений, в которых отразилась Эльва как дачный локус, назовем роман Яана Кярнера «Содомская хроника» и комедию Хуго Раудсеппа «Розовые очки».

Советский период был для эльвского дачного локуса временем расцвета, несмотря на препятствия, которые чинила советская власть дачному бизнесу. Феномен прибалтийского дачного бума 1950-80-х

<sup>12</sup> См.: Михневич 1887, 14.

<sup>13</sup> См.: Мьяльберг 1995. См. также русский путеводитель по Эльве, из которого стольные дачники черпали свои сведения о городе, его истории и достопримечательностях (Суур 1971).

гг. захватил и Эльву. Она явно повысилась в статусе. В советских условиях иностранцев в ней, конечно, не было и быть не могло, но людей «из Советского Союза» (как по традиции называли местные русские всех приезжавших в Эстонию из-за пределов ее старой восточной границы) было более чем достаточно. В основном, из Ленинграда<sup>14</sup> и Москвы, но и из самых экзотических мест, вплоть до Новосибирска. Транспортные возможности были достаточно благоприятны, особенно для неизбалованного советского человека. Из Ленинграда можно было добраться автобусом до Тарту, а далее на автобусах или поездах, которые ходили часто и исправно. Из Москвы в Тарту ежедневно прибывал поезд. Приезд на своей машине был случаем более редким, но в поздние советские годы расширились и эти возможности.

Летом русский язык явно доминировал на улицах Эльвы. Среди дачников было много евреев, поэтому для части местных жителей понятия "juut" (еврей) и «дачник» надолго стали синонимами (хотя нередко определение «еврей» отнюдь не совпадало с реальной национальной принадлежностью дачника).

Советская власть не поощряла дачного бизнеса, но и поделаться с ним ничего не могла. Официальных «здравниц» (санаториев, домов отдыха, пансионатов) явно не хватало. В Эльве существовал небольшой ведомственный пансионат для работников торговли, пионерский лагерь – и этим дело ограничивалось. Поэтому местные жители сдавали внаем под дачи все возможные помещения. Даже когда им не удавалось укрыться от налогов (соседи из зависти «стучали» друг на друга, «куда следует»), то доходы все равно были таковы, что давали возможность безбедно существовать потом целый год до следующего сезона, а то и отложить копейку на «черный день».

По сравнению с подмосковными и питерскими дачными поселками Эльва была менее перегружена и более цивилизована. Конечно, производственные трудности встречались и здесь – очереди за «колбасой» и скандалы в этой очереди ее не обошли. Число дачников летом приближалось к числу жителей города. Это обостряло и без того непростые проблемы с едой, т.к. квоты «на колбасу» (дивная реалья советского времени!) выделялись по числу жителей, без учета приезжих. Но спасали прекрасные молочные продукты, по которым потом целый год тосковали столичные жители. Возникали и столкновения

<sup>14</sup> Это отразилось в песне тартуского математика Я.А. Габовича: «По Питеру молва пошла, / Что есть такой курорт «Эльва́»».

темпераментов и бытовых традиций. Имевшая место в 1950-е гг. привычка столичных дачников разгуливать по городу в пижамах немало шокировала местных жителей, привыкших к иным дачным манерам. Важно отметить, что уже к 1960-м гг. дачники под влиянием местных традиций приобрели более благообразный вид. У озера также существовало своеобразное распределение времени: в первую половину дня купались отдыхающие, а во вторую – возвращающиеся с работы местные жители.

Что касается категорий дачников, то любое разделение будет, конечно, условным, и все же можно выделить две основные группы. Одну (пожалуй, наиболее многочисленную) составляли те, кто искал удобного и сравнительно дешевого места проведения летнего отпуска. Они проводили летний досуг, непрерывно занимаясь добыванием, приготовлением, поглощением еды и обсуждением того, что было съедено и еще предстоит съесть. По воспоминаниям эльвской учительницы и краеведа С.Г. Ситниковой<sup>15</sup>, местных жителей поражала такая сосредоточенность на еде, как и шум и крик, раздававшиеся из домов, где обитали дачники этой категории.

Другую образовывали ученые и люди творческих профессий из столиц, но также из самых разных мест тогдашнего СССР. Их Эльва привлекала как «своя заграница», где можно было приобщиться к остаткам европейской цивилизации, в рамках которой вежливое обхождение, наличие кафе, хорошей библиотеки и привычка к культурному досугу (посещение музеев, выставок, концертов, певческих праздников и пр.), еще было нормой. Для них Эльва была местом спокойного творчества (поэтому сюда приезжали не только летом, но и во всякое время года), практики в разговорном немецком (на котором еще говорили многие старые хозяева дач), взаимного общения и неформально-знакомства с эстонской историей и культурой.

Контакты между эстонскими и российскими учеными (особенно после открытия обсерватории в Тыравере) и писателями (дом творчества в Пезду) также нередко основывались на дачном общении. Среди них были не только приезжие издалека, но и семьи местной интеллигенции – эстонской и русской. В архиве Ю.М. Лотмана есть немало писем, открыток из Эльвы или по поводу Эльвы (просьбы помочь снять дачу и т.п.). Лотманы сами часто снимали здесь дачу. Перебы-

---

<sup>15</sup> Приношу С.Г. Ситниковой свою глубокую признательность за помощь в подготовке настоящей работы.

вали здесь и многие представители Московско-Тартуской школы. Однако к концу 1970-х – началу 1980-х гг. Эльва утратила свою привлекательность для тартуских интеллигентов – она стала слишком шумной и беспокойной. Центр тяжести переместился в Валгеметса, где купили себе дачи (или снимали их) многие университетские сотрудники.

Близость к Тарту сделала из Эльвы 1960-70-х гг. своеобразный филиал университетского города. «Филиал» действовал не столько летом, сколько в течение учебного года. К дачной культуре в строгом смысле слова это отношения как будто не имеет, но является ее некоторым следствием.

В советские годы в Тарту был острый кризис жилья. Студентам общежитий не хватало, преподаватели тоже были вынуждены годами снимать жилье, из-за чего некоторые покидали университет, так и не дождавшись собственной квартиры. Снять комнату в Тарту было нелегко, и эльвские жители пользовались возможностью сдать освободившиеся дачные комнаты после окончания сезона. Жилье в Эльве было дешевле, а хорошо налаженный транспорт делал сообщение с Тарту вполне удобным.

К студентам и преподавателям, жившим в Эльве, приезжали гости. В домашних кружках филологов – эльвских обитателей читались стихи (так, популярны были чтения поэта и переводчика С. Семененко), устраивались и научные доклады приезжих и своих ученых, обсуждения, дискуссии. Иногда гости снимали для себя отдельное жилье. Например, в конце 1960-х гг. в Эльве подолгу жил поэт Г.С. Семенов (его сын учился в Тарту). К нему приезжали питерские поэты – А. Кушнер, Я. Гордин, Е. Кумпан, Е. Шварц и др. Помню поэтический вечер, устроенный в университете, где все они выступали с чтением стихов. Потом их подборка была опубликована в «Русской странице» (приложении к газете „Tartu Riikilik Ülikool“). Но самым большим событием стал приезд И. Бродского. Его облик, манера чтения запомнились навсегда. Первая подцензурная публикация Бродского в СССР тоже была в «Русской странице».

Эльва помнится русским «дачникам» (в широком смысле) не только природой, лесом, озером, но и прекрасной библиотекой, где в дачный сезон выстраивались целые очереди на книжные и журнальные новинки. Поездки в Тарту, посещения музеев, выставок, расширяли знакомство с местной историей и культурой, укрепляли «эстофильство» столичной интеллигенции. Дачный локус сыграл немалую роль в

формировании ее политических симпатий к идее независимости Эстонии (понятно, что мы говорим о тенденции, а не об общем правиле). Дачный опыт ясно показал, что Эстония – «другая», что она имеет право на свой путь.

После распада СССР, введения визового режима между Эстонией и Россией и резкого ухудшения транспортных возможностей приезд в Эльву российских дачников стал весьма затруднительным. Для европейцев Эльва – еще слишком «экзотическое» место, удаленное от основных транспортных магистралей и лишенное привычного комфорта и курортной индустрии. Состоятельные жители Эстонии стремятся теперь проводить отпуск за границей, а необеспеченные не всегда могут позволить себе даже приехать к озеру на выходные. Эльва заметно опустела. Однако и в постсоветские годы у многих бывших дачников сохранилось чувство ностальгии по Эльве, поэтому не исключено, что Эльву как дачный локус еще ожидает новый взлет. Залогом тому – ее удивительная природа, которая может привлечь и дачников из Европы, особенно с ростом спроса на экологически чистое курортно-дачное пространство.

## Литература

- Зеленин, Д. (1909), *Путеводитель и справочная книга по г. Юрьеву и Юрьевскому университету*. Изд. 2-е. Юрьев.
- Кярнер (1931), Kärner, J., *Elva minevikus ja olevikus. Ajalooline, maadeteaduslik ja tulunduslik kirjeldus*. Tartu: Postimees.
- Михневич Вл. (1887), *Петербургское лето. Очерки летнего сезона. Летние сказки. Дачный роман*. СПб.
- Мяльберг (1995), Mälberg, A., *Näpuotsastäis Elvast*. Elva: Elva Muuseum.
- Суур, А. (1971), *Эльва*. Таллин: Ээсти Раамат.
- Чехов, А.П. (1963), *Собрание сочинений в 12-ти т. Т. 9*. М.: Гослитиздат.
- Шмидт, Вера (1991), *В пути. Стихотворения*. Таллинн: Александра.
- Эльва. *Elva kultuuriloolised rajad*. Elva, [б.г.]

## Куршская коса как дачный локус

Куршская коса (*Neria Curoniensis*), это песчаная полоса длиной 98 км, тянущаяся между Балтийским морем и Куршским заливом.<sup>1</sup> Начиная с 14 века Куршская коса была важным путем связывающим Ригу и Мариенбург (теперешний Мальборк в Польше). Значение косы еще более укрепилось начиная с середины 17 века, когда через нее была проложена почтовая дорога, связывающая Париж, Берлин, Санкт Петербург.<sup>2</sup> Власти на Куршской косе менялись: с середины 13 в. – под властью Тевтонского ордена и Самбийского епископства, с 1525 года это часть Прусского герцогства, с 1657 года часть Прусского королевства, с 1871 провинция Германии. В 1923 году примерно половина Куршской косы отошла к Литве, другая половина к Германии. После Второй мировой войны довоенная немецкая часть стала частью СССР (теперь Российской Федерации), вторая часть осталась при Литве. Несмотря на изменения, вплоть до Второй мировой войны территория Куршской косы с ее жителями и отдыхающими сохранялась и оставалась прежде всего как своеобразный культурно-исторический островок (*‘Ostpreußen’*), включающий в себя особенности балтской и германской традиционных культур. История хранит список знаменитостей, проезжавших по почтовой дороге Куршской косы. Это и Прусский король Фридрих Вильгельм Третий и королева Луиза, Россий-

---

<sup>1</sup> “Куршская коса покоряет красотой природы. Лучше всего понимаешь особенность и уникальный характер здешнего ландшафта, глядя с вершин высоких дюн: видны залив, море, дюны и лес, а в дали все это словно сливается и теряется в голубоватом тумане.” (Стракаускайте 2005, 37.)

<sup>2</sup> “С середины 17 века до 1833 г. Куршская коса была важной для Пруссии, а также для всей Европы как артерия связи, так как через нее шел Великий почтовый путь.” (Strakauskaite 2001, 10.)

ский царь Петр Первый. Писатели, ученые, в том числе Дени Дидро, Александр Гумбольдт и др. Риторический вопрос – была бы Куршская коса Куршской косой, излюбленным местом отдыха многих, если туда не приезжал ни Томас Манн, ни немецкие экспрессионисты Макс Пехштейн, Ловис Коринт, Карл Шмидт-Ротлуф, т.е. если с этим местом не связывался ни один рассказ о пребывании знаменитостей? Или природа, климат, местоположение Куршской косы таковы, что пребывание на отдыхе хотя бы нескольких знаменитостей для нее неизбежно?

С середины 19 века Куршская коса постепенно приобрела статус курортного, дачного локуса. Прежде всего это относится к Юодкранте (до Второй мировой войны – Шварценурт), Ниде, Раушен (теперь Светлогорск), Кранц (теперь Зеленоградск). Из Кенигсберга, из Тильзита (соответственно теперь Калининград и Советск) на лето приезжали горожане и останавливались в домиках куршских рыбаков<sup>3</sup> или в гостиницах. В 1865 г. владелец гостиниц в Тильзите Эдуард Штельмахер устроил первую гостиницу в Шварценурте.<sup>4</sup> В Ниде в 1867 году куршским рыбаком Херманом Блоде была построена гостиница, за ней или одновременно с ней последовали и другие. В 1905 г. для отдыхающих в Шварценурте были открыты лечебные горячие купальни.<sup>5</sup> Только в редких случаях отдыхающие имели свои собственные дачи (как, например, писатель Томас Манн) на Куршской косе. В основном Куршская коса как место отдыха характерна не своими дачами как, например, Рижское взморье, а дачниками – отдыхающими, снимающими на время отдыха часть домиков куршских рыбаков (до войны) или проживающих в гостевых домах, гостиницах.

Суровая, но одновременно и красивая природа – песок, дюны, Балтийское море и залив – стали все более привлекать туда художников и писателей. В первые десятилетия 20 века Куршская коса была облюбована немецкими художниками – экспрессионистами.<sup>6</sup> Более или

<sup>3</sup> Потомки жителей Курземе – западной части теперешней Латвии, которые переселялись особенно интенсивно на Куршскую косу в 15 – 16 вв. и составляли основное ядро жителей Куршской косы вплоть до Второй мировой войны.

<sup>4</sup> Стракаускайте 2005, 49

<sup>5</sup> Neringa 2006, 19, 26

<sup>6</sup> Своеобразный ландшафт Куршской косы как нельзя лучше подходил мироощущению экспрессионистов. – «Кто бывал на дюнах не раз, тот знает, что в пасмурную погоду у человека там могут возникать или обостряться чувства тоски, одиночества, а иногда и страха.» (Черный плащ 1998, 29; см. также: Barfod 2005, 13-16; Kurschat 1990, 526-533; Ostpreussische Künstler in Kaliningrad 1999, 141-149.)

менее продолжительное время там проводили писатели Герман Зудерманн, Томас Манн, позгесса Агнес Мигель.<sup>7</sup> Т. Манн после первого приезда в Ниду в 1929 г. и остановки в гостинице Блоде решил построить свою собственную дачу, что и сделал. Он провел там три лета (1930 – 1932) и написал часть трилогии «Иосиф и его братья».<sup>8</sup> Отдыхали, а заодно собирали материал для исследований там и ученые, – 40 летних сезонов там провел знаток языка куршей, немецкий этнограф и археолог 19 века профессор Адальберт Беценбергер, в 1889 году опубликовавший исследование “Kurische Nehrung und ihre Bewohner.” В Росситен (нынешний Рыбачий) родился и детские годы на Куршской косе провел фольклорист, профессор Кенигсбергского университета Людвиг Реза. В 1901 году немецкий исследователь Иоганнес Тинеманн основал в Росситен станцию кольцевания птиц, так как Росситен был местом остановки перелетных птиц. Птицы до Второй мировой войны были одним из излюбленных объектов интереса приезжающих туристов и дачников.



Илл.1: Вид Куршской дюны. Нида. © Janina Kursite

<sup>7</sup> Стракаускайте 2005, 50.

<sup>8</sup> Neringa 2006, 11.



На Куршской косе, в отличие от ровной, окультуренной природы Рижской Юрмалы, соседствовало и до сих пор в какой-то мере соседствуют два противоположных начала: *мягкая*, одомашненная красота и *дикая* красота природы. С одной стороны, панораму открывающуюся из окон дачи Томаса Манна называли «Итальянским видом»<sup>9</sup>: много теплого солнца, сосны, залив, узкая, аккуратная полоса песка. С другой стороны, Куршскую косу называли «Северной Сахарой»<sup>10</sup>, пустыней<sup>11</sup>, так как нигде больше в Европе нет таких высоких, а до конца 19 века и передвигающихся дюн как там.

Ландшафт Куршской косы литератор назовет одним из красивейших явлений содружества человека и природы на Земле; естествовед – уникалом сосуществования наносных песчаных дюн и растительности; эколог и этнолог – классическим примером жизни людей в согласии с ландшафтом и наглядным примером его разрушения; архитектор ландшафта и культуролог – эталоном целевого формирования культурного ландшафта.<sup>12</sup>



**Илл.2:**  
Вид Куршской  
дюны.  
© Janina Kursite

<sup>9</sup> «Множеству отдыхающих из Европы бухта Пурвние с качающимися на волнах лодками и силуэтом одинокой сосны напоминали вид неаполитанской бухты с такой же самой сосной. Поэтому эту панораму, открывающуюся от легнего домика Т. Манна, назвали «Итальянским видом.» (Neringa 2006, 40.)

<sup>10</sup> Neringa 2006, 13.

<sup>11</sup> «Куршская коса со своей картой и разбросанными в ней дюнными пустынями, на которых в виде белых домиков отмечены некогда существовавшие пансионаты, которых «съела» пустыня.» (Timofejevs 2003, 11.)

<sup>12</sup> Bucas 2001, 410.

Два начала – культурного и дикого ландшафта – на Куршской косе борются и по сей день. С одной стороны, в 20 веке, особенно с 1960 гг. там все интенсивнее велась одноэтажная и многоэтажная застройка домов отдыха и дач. Чем ближе к заливу, к морю, к основам закрепленных дюн, тем для отдыхающих удобнее. С другой стороны, понимая, что строительство разрушает уникальность природного ландшафта, сначала в законодательстве Советского Союза (1966), потом восстановленной Литвы (1991) была обоснована необходимость Национального заповедного парка со своими правилами и законами, которые только в строго определенных местах Куршской косы разрешают строительство и отдых.<sup>13</sup> В 2000 году ландшафт Куршской косы был занесен в список Всемирного наследия Юнеско. Двуначалье ландшафта Куршской косы актуализировалось и весной 2006 года, когда за один день выгорела большая территория Литовской Куршской косы. Хотя восстановительные работы начались уже в том же году, еще летом 2007 года выгоревшая часть Куршской косы более напоминала «пустыню» с свободно передвигающимися дюнами и черным песком, нежели «итальянский вид». Но тем не менее количество отдыхающих и дачников не уменьшилось, а «наоборот» выросло. Если на Российской стороне это чаще всего были проезжающие туристы<sup>14</sup>, которых гиды привозят увидеть воочию огромную дюну Эфа или посмотреть на Куршский залив, то на Литовской стороне это в основном специально туда на отдых приезжающие из Литвы, Латвии и всей Европы, но особенно из Германии.<sup>15</sup> Они снимают домики («дачи») или отдельные комнаты в домах местных жителей, или в домах отдыха Ниды, Юодкранте, Первалки, Прейла. Более респектабельная, но количественно немногочисленная часть литовских отдыхающих имеет на Куршской косе свои дачи.

<sup>13</sup> «Несмотря на это, в 70-е годы коса пережила невиданный в ее истории строительный бум. За несколько десятилетий вновь застроенная территория и размах новых объектов во много раз превосходили старую застройку. Однако памятникоохранная деятельность была направлена не на охрану памятников, а на создание рекреационного муляжа и имитационного кича.» (Вucas 2001, 415.)

<sup>14</sup> Или т.н. «новые русские», которые построили свои дачи и приезжают там на лето.

<sup>15</sup> «Сюда приезжают отдыхать. Здешняя публика – это новая литовская буржуазия, политики, богема и иностранцы – в основном немцы [...] В административном центре Куршской косы, Ниде, обычно отдыхает и президент Литвы. Раньше в Ниде находилась и дача (председателя совета министров СССР) Косыгина [...] Любят отдыхать в Ниде и знаменитые в литовских писательских кругах писатели.» (Черныйплащ 1998, 36-37.)



Илл.3: Куршская коса. Ннда. © Janina Kursite

Приезжать домой на отдых – относится только применительно к бывшим жителям т.наз. Восточной Пруссии. После Второй мировой войны или во время войны они были вынуждены уехать. После войны, чаще всего до начала 1980 гг. они жили 'домом', т.е., Куршской косой только в своих воспоминаниях. Во время Горбачевской оттепели стали приезжать уже как туристы из Швеции, Канады, Германии и др. мест проживания. Но есть еще одна категория, – бывшие восточные пруссы, которые родом из Кенигсберга, из Тильзита и других мест, и которые до войны любили летом приезжать на Куршскую косу отдыхать. Западногерманская писательница и журналист Рута Гээде (ей уже исполнилось 90 лет), встреченная на Берлинской мессе Восточной Пруссии в 2005 году (Deutschlandtreffen der Ostpreußen. Messe Berlin. 21. – 22. Mai 2005) рассказывала, как до войны ездила с семьей отдыхать в Росситен в дом рыбака Балтруша. – «Это вспоминается наподобие рая» она сказала. Другое отношение к природе Куршской косы у послевоенных переселенцев. Для них это по-прежнему земля чужая, непохожая на привычный с детства ландшафт Смоленской, Астраханской области России, Украины или Белоруссии – мест откуда в основном после окончания Второй мировой войны переселились жители

теперешнего Морского, Рыбачьего, Лесного, Зеленоградска, Светлогорска – курортных мест Куршской косы. Так в фольклорной экспедиции на Куршскую косу в 2005 году между фольклористом Латвийского университета и Антониной Переверзевой (род. в 1913 г. в Ивановской области), проживающей в Рыбачьем с 1947 года происходил следующий диалог:

- А как вам нравится здешний климат и природа?
- Ничего здесь мне не нравится. Ничего. Чего хорошего? Ничего ж тут хорошего.
- Ну, море, залив...
- Не, море мне не нравится. Я до замужества моря не видела, воды не видала – речка, да и все.

Для послевоенных переселенцев рай, идеальное место жизни и отдыха это родной край, а Куршская коса – *пустыня*, нелюбимое место. Многие из проживающих, особенно из старшего поколения, никогда не относились к Куршской косе как к месту, где можно приятно и хорошо отдохнуть. Впрочем, и для бывших, довоенных жителей Куршской косы – куршских рыбаков – данное место не ассоциировалось с отдыхом, а с работой. Ныне проживающий в Швеции Мартин Закут рассказывал (интервью 2006 г.), что дачников, которые на лето останавливались в их доме, он воспринимал как людей чуть ли не с другой планеты. Пока они отдыхали, Мартин, его семья и другие курши работали. Начиная с 1990 г. Мартин Закут и его братья приезжают на Куршскую косу в двойном статусе – как отдыхающие и как к себе домой.

О том месте, где постоянно проживаешь, кажется, что все знаешь. Отдых на чужом месте располагает к восприятию рассказов. Не проверяешь и нет времени для проверки – соответствуют ли данные рассказы истине, главное – интересно и ново. Приезжая в следующий раз начинаешь постепенно отсеивать достоверное от вымышленного, при этом и пропадает *сладость места*. Приходится искать новый локус или найти удовольствие в углублении постижения места. Меньше всего везет тем, у кого постоянные дачи. Мифологичность, таинственность и очарование места, и рассказов об этом месте – хочешь не хочешь – со временем улетучивается. Наверно хорошо, что на Куршской косе, во всяком случае на Литовской стороне ее, практически невозможно купить или построить собственную дачу. Но, к сожалению, это относится и к бывшим владельцам домов, жившим там до войны. У них нет возможности вновь стать владельцам своих прежних домов,

хотя дома и по большей части сохранились. В конечном счете – как это жестоко не прозвучало бы – это помогает им сохранить свежесть восприятия места. Каждую зиму можно жить в ожидании приезда и каждое лето на Куршской косе чувствовать очарование места с новой остротой, и уехать, прежде чем надоело. Одна из таких ежегодно приезжающих куршей Лизелота Шрайбер (род. 1934 г.), урожденная Пурвин. Каждое лето она приезжает в свою родную Ниду, снимает у литовцев комнату в своем бывшем родном доме. Она очень благодарна М.Горбачеву, так как, считает она, благодаря ему пала Берлинская стена и она, и ей подобные, начиная с 1990 года могут приезжать летом в родную Ниду:

Спустя 46 лет я смогла вернуться в Ниду! Ночью. Я могла лечь в теплый песок и просто заснуть. Это правда. Я хотела спать у причала, проснуться и встретить там восход солнца. Ночью, когда туристическая группа прибыла, я сразу хотела увидеть свой дом, но было уже поздно – два часа ночи.

По приезде Лизелота Шрайбер ежедневно идет в кафе с значимым названием «Куршис» обедать и выпивать неизменный «куршский кофе» – 50 грамм водки с 50 граммами минеральной воды или 50 грамм водки с крепким кофе.

Летом 2004 г. Лизелоте Шрайбер за куршским кофе в кафе «Куршис» рассказывала о предвоенных дачниках в их доме:

Художники и фотографы, которые в нашем доме отдыхали и работали, просто преследовали куршей, особенно отца и других рыбаков. Им нравились ветром одутые лица куршей, настоящие лица прототипов. И у женщин такие одухотворенные лица – тоже их привлекали. Актеры приезжали, Оскар Кеслер приезжал 10 лет подряд и со всей актерской труппой. На веранде все завтракали, а потом в купальных халатах ритуализованным ходом шли к морю купаться. Куршские парни ходили тайком подсматривать на немецких актрис, которые купались голышом.

Лизелоте Шрайбер говорит, что куршские парни в жизни не видели голых женщин, и ей кажется, что культура нудистов началась именно в Ниде. Так или не так, но как будто из-за этого Куршская коса получила еще одно название: «Рай у Балтийского моря.»

В раю, как предполагается, нет времени. На Куршской косе – как для кого. Для работающих там, время обычное, походка, если не быстрая, то во всяком случае целеустремленная. Отдыхающим, дачникам, удастся побыть и вне времени, забыть о времени. По середине находятся люди типа Лизелоты Шрайбер – приезжающие на лето в бывшие дома. В их воспоминаниях – Куршское время это рабочее,

подвижное время, и в подсознании живой мысль о минуте отъезда. Они не в раю, их рай это воспоминания.

Куршская коса с ее поселками никогда не соответствовала сложившейся в русской, а позже в советской традиции понятию дачных поселков и понимания дачи. Первоначально, как известно, дача обозначала князем дарованную землю, в советское время это была за какие-нибудь заслуги государством подаренный или от государства арендованный дом в красивой местности. Уже в дореволюционный период дача в России стала знаком достатка и положения человека в обществе:

Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. Ей понравились берега реки и роскошный вид на зеленую долину с деревушками, церквями, стадами, и она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили двадцать десятин земли и на высоком берегу, на полянке [...], построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг.<sup>16</sup>

В советское время дача прежде всего была знаком положения человека в обществе. Так на Куршской косе свои дачи могли иметь только высокопоставленные партийные и государственные чиновники, как например, председатель совета министров СССР А.Косыгин или ангажированные советской властью художники. Остальные могли или получить путевку на курорт, или арендовать комнату на время отдыха у местных жителей<sup>17</sup>, или просто поехать в экскурсию на Куршскую косу и один или несколько дней помимо осмотра гидом выбранных местных достопримечательностей на короткое время окунуться в море или посидеть у моря. В настоящее время стать дачником на Куршской косе можно в основном двумя способами: а) снять комнату или даже весь дом у местных жителей на время отдыха, при этом хозяева на это время переселяются в основном в подсобные постройки; б) снимать комнаты в многочисленных гостиницах и гостевых домах. Море, залив, дюны и прочие с дикой или окультуренной природой связанные элементы получения загара, удовольствия, отдыха по-прежнему в избытке. В отличие от многих других мест отдыха и «дачевания», Куршская коса может предложить не только разнообразие и привлекательность природы, но и многослойный исторический и ми-

<sup>16</sup> Чехов 1960, 143.

<sup>17</sup> “Летом, в дополнение к основному заработку, многие сдавали комнаты дачникам – а тех приезжало в Ниду более 100 000 в год.” (Черныйплащ 1998, 69.)

фологический пласт местности, начиная от пруссов и куршей, дополняя немецким и послевоенным литовским и русским пластом разнообразных экскурсов в историю и традиций рыбачества, мореходства, парусного спорта и др. Во всяком случае литовская половина Куршской косы, как явствует из туристических буклетов, более ориентирована на специализированного дачника, хотя не отвергает любого, желающего на какое-то время соприкоснуться с местным ландшафтом и достопримечательностями.<sup>18</sup>



Илл.4: Нида. Дом Томаса Манна. © Janina Kursite

Сложнее обстоит дело с Куршской косой на Российской стороне. В Морском и Рыбачьем за последние годы построено и продолжает строиться множество дач, даже у подножия самой большой и природно-охраняемой дюны Эфа. Не вникая в вопрос, кто может себе позволить возводить огромные дачи, все же главный вывод напрашивается сам собой. – Здесь по прежнему, как и в советское время, дача – знак статуса, знак личного благосостояния. Старинные дома и старинную

<sup>18</sup> "Neringa is expecting all the guests, artists, sportsmen, scientists and politicians. Each of you can discover your own Neringa." (Neringa 2006, 1.)

довоенную архитектуру после Второй мировой войны уничтожали как на Российской, так и на Литовской стороне косы. Но на Литовской стороне гораздо быстрее спохватились, что ценность данного места не только в особенных природных условиях, но и в своеобразной деревянной архитектуре, в компактном, симметрическом расположении построек. На Российской стороне, как в Рыбачьем, в Морском и других местах, особенность традиционной, предвоенной застройки по-прежнему не учитывается.

Русские строят топорно, по-собакевически, то есть огромно так, много территории. Здесь все сжато, культурно. И притом здесь каждый участок земли использовался с делом. Надо не уничтожать, а поддерживать эту культуру и воспитывать на ней молодежь.<sup>19</sup>

На чем воспитывать молодежь, это дело родителей, школы, Российского общества. Но слова послевоенной переселенки Екатерины Петровны Кожевкиной о необходимости учитывать прежние традиции, в том числе и в строительстве, это не только вопрос культуры, но и вопрос отношения к земле. Новые дачи и места отдыха как в Морском, так и в Рыбачьем в основном строятся согласно вкусам их владельцев, игнорируя логику ландшафта и традиции. Если основная задача и цель строить новые дачи, чтобы никому другому не захотелось в данном месте жить и отдыхать, то задача решена. Если владелец новой дачи хочет вписаться в общий, задолго до него заложенный дачный локус отдыха, то он должен думать о своей даче не как единственной в данном локусе, огражденной для этого высоким забором от окружающей местности, но как о части дачного пространства, в котором существует одна общая логика. Необязательно кому-то еще жить в твоём личном дачном пространстве, но оно должно радовать глаз других отдыхающих гармонической включенностью в ландшафт и традицию.<sup>20</sup> Игнорируя природные условия, закрывая высотой или шириной дачных построек ландшафт, «новые дачники» создают как для себя, так и для окружающих условия, в которых соприкосновение с природой становится невозможным.

Семантика дачи традиционно связана с семантикой дома. В фольклоре и традиционных народных представлениях «названия различных

<sup>19</sup> Восточная Пруссия 2003, 307.

<sup>20</sup> Непреодолимое желание отличится огромностью, помпезностью дач, а не вкусом владельца видно не только в Рыбачьем и Морском Куршской косы, но и, например, на Рижском взморье.



разных видов *дома* (в архитектурном, функциональном т.п. плане – башня, землянка, крепость, дворец, хижина, жилище, церковь, корчма и др.) употребляются, как правило, либо синонимично *дому*, либо стилистически окрашено; случаи противопоставления разных видов *дома* друг другу сравнительно редки.»<sup>21</sup> Дачность на довоенной Куршской косе возникла по принципу открытости дома, что предполагало и более свободный способ общения как между дачниками, так и между дачниками и хозяевами. Дача предполагалась как часть более широкого дачного пространства, включающей пляж, море, туристические объекты и т.п. На Куршской косе Литовской стороны данная модель существует и является основной до сих пор. На Российской стороне нынешний концепт дачи/дачности либо предполагает, что это временное и поэтому чужое пространство, которое эмоционально никак не соотносится с самим дачником (можно сорить, действовать разрушительно, так как это чужое), либо это приобретенное свое и поэтому требует максимального ограждения (в основном высокими заборами, сигнализацией, собаками) от не-своего. Как в первом, так и во втором случае не образовывается диалог ни с другими дачниками/хозяевами, ни с природой. Часть пространства, временно присвоенная или купленная дачником, не часть целого, а самоизолированный фрагмент. Это фрагмент, построенный или по образу общежития/коммунальной квартиры, где одному нет дела до другого, или по образу крепости. На Литовской стороне места отдыха предполагают открытость, возможность диалога, если не словесного, то на уровне мимики (улыбка при встрече) или доброжелательного жеста. Автор данной статьи никоим образом не ставил своей задачей указать на предпочтительность одной или другой модели дачности на Куршской косе. Наблюдения на Куршской косе во время экспедиций (собственные наблюдения, интервью как с жителями так и с отдыхающими данной местности), начиная с 2003 года дало возможность первоначального накопления материала и анализа его. Будущность Куршской косы как дачного локуса, модели развития и более обширный как по времени наблюдения, так и по количеству материала анализ, дело будущего.

---

<sup>21</sup> Цивьян 1974, 46.

## Литература

- Barfod, J. (2005), *Nidden. Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung*. Edition Fischerhuder Kunstbuch. Fischerhude: Verlag Atelier im Bauernhaus.
- Bucas, J. (2001), *Kursiu nerijos nacionalinis parkas*. Vilnius: Savastis.
- Kurschat, H. (1990), *Das Buch von Memelland*. 2. unveränderte Auflage. Oldenburg: Verlag Werbedruck Köhler.
- Neringa (2006), *Neringa. Curonian Spit*. Neringa: S. Jokuzis Printing-Publishing House.
- Ostpreussische Künstler in Kaliningrad (1991), *Ostpreussische Künstler in Kaliningrad*. Berlin/Bonn: Westkreuz-Verlag.
- Strakauskaitė, N. (2001), *Neringa*. Klaipėda: R. Paknio leidykla.
- Timofejevs, S. (2003), *Ka es pavadu vasaru*. *Diena*, 30.6.2003.
- Восточная Пруссия (2003), *Восточная Пруссия глазами советских переселенцев*. 2-ое изд., исправленное и дополненное. Калининград: Издательство Калининградского университета.
- Стракаускайте, Н. (2005), *Клайпеда и Куршская коса*. Путеводитель. Клайпеда: Издательство Пакннса.
- Цивьян, Т.В. (1974), К семантике дома в болгарских загадках. *Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам*. Тарту: Тартуский государственный университет, 45-49.
- Черныйплащ, Г. (1998), *Нуда – без тайн*. Каунас: Изд. Бюро информации Леонида Задонского.
- Чехов, А.П. (1960), Новая дача. *Избранные произведения*, т.3. Москва: Государственное издательство художественной литературы.

## THE DACHA KINGDOM

## Места отдыха на Северо-востоке Эстонии в 1920-1930-е годы

В период первой Эстонской Республики (1918-1940) более посещаемыми местами отдыха на Северо-Востоке Эстонии считались Тойла с ее «прекрасной природой и высоким берегом [...] и замком Ору»<sup>1</sup>, Силламяэ вместе с Каннука и Перятси, «несмотря на то, что там нет уютных курзалов, парков с летними садами»<sup>2</sup>, Мерекюла и Шмецке, «четкой границы между которыми нельзя провести, поскольку весь берег обсыпан дачами от Ййэсуу до Мерекюла вдоль южного побережья Нарвского залива»<sup>3</sup>. «Жемчужиной» Финского залива считалось Нарва-Ййэсуу (Гунгербург, Усть-Нарва) вместе с Магербургом.

Все эти места отдыха известны дачникам еще с дореволюционного периода, их описания нам известны как по художественной литературе, воспоминаниям и переписке разных деятелей русской (и не только) культуры, также из искусства, например, работы Ивана Шишкина за 1888 год: *Лес* (Шмецк близ Нарвы) и *Смешанный лес* (Шмецк близ Нарвы). Описания былой славы и красоты Северо-восточного берега Финского залива, вдоль которого расположены все вышеупомянутые дачные места, можно увидеть, например, у Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Курорт носит общее название Гунгербург и тянется по берегу больше, чем на десять вёрст. Чудный морской берег, великолепное купанье, громадная площадь хвойного леса, – всё это делает Гунгербург одним из первоклассных русских курортов, на котором находят себе

---

<sup>1</sup> Rosenberg 1923, 25. Здесь и далее перевод с эстонского языка на русский – автора настоящей статьи.

<sup>2</sup> Там же, 32-33.

<sup>3</sup> Там же, 36.

летний приют больше десяти тысяч дачников и больных»<sup>4</sup>. У И. Гончарова же можно встретить следующее описание этого региона: «Здесь, в Усть-Нарове живут тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены где маленькими, где большими садами, так что дачникам неизвестно, как живут соседи. Дачники, если хотят, могут встречаться друг с другом на музыке, которая собирает около себя публику, или на море во время купанья, или на вечерних прогулках на морском берегу».<sup>5</sup> И наконец еще один пример из Н. Лескова: «Шмецк – это длинная береговая линия домиков, соединяющая Устье- Наровы, или Гунгербург, с мерекюльским лесом, за которым непосредственно начинается и сам знаменитый некогда Мерекюль – ныне довольно демократизированный, или “опрошенный”. Местоположение такое: море, за ним полоса плотно уложенного песку (plage), за пляжем береговая опушка из кустов и деревьев, и тут построены дачи или домики, а мимо них пролегает шоссированная дорога, и за нею лес, довольно сырой и довольно грязный. Лавчонки, так же как и домики, построены лицом к дороге, за которой начинается лес».<sup>6</sup>

Все эти т.н. дачные места, особенно Нарва-Йыэсуу, Мерекюля и Силламяэ, сильно пострадали во время Освободительной войны (1918-1920), в особенности дачи и мызы, которые временно заселялись военными, военнопленными, ранеными или бралась под карантины для беженцев, не говоря уже о разрушениях, связанных с непосредственными военными действиями.

В первые послевоенные годы как частные дачевладельцы и прочие собственники, местные самоуправления, так и само государство прилагали немало усилий для восстановления этих курортных мест. Основное внимание было направлено на восстановление Нарва-Йыэсуу, а также рекламу всех дачных регионов страны. Из года в год в посольства Эстонии разных стран посылались рекламные проспекты на разных языках (русском, шведском, английском, немецком и др. языках) с тем, чтобы посольства распространяли рекламу о курортах уже в своей местной прессе.

С точки зрения восстановления былой славы курорта Нарва-Йыэсуу, очень важным стал вопрос о его административном статусе. В самом начале 1920-х годов поднялся вопрос о присоединении Нарва-Йыэсуу

---

<sup>4</sup> Мамин-Сибиряк 1951, 352.

<sup>5</sup> Гончаров 1987, 241.

<sup>6</sup> Лесков 1989, 224.

с Нарвой. Так, например, в сентябре 1922 года министр внутренних дел Эстонии К.А. Эйнбунд в отчете по поводу соединения поселка Усть-Нарвы с городом Нарва среди прочего отметил, что к Нарва-Йыэсуу следует относиться как к самой важной дачной местности в Эстонии, с которой, среди прочего, связаны и государственные интересы.<sup>7</sup> В 1924 году он же в своем письме правительству Эстонской Республики отметил, что «по сравнению с русским временем дачный район Нарва-Йыэсуу многое потерял, поскольку количество дачников сильно сократилось, дачи пострадали из-за войны, а сами дачники не столь богаты, как ранее».<sup>8</sup>

В большинстве рекламных брошюрах и газетных статьях рекламного и пр. характера отмечалось плачевное положение дачных мест, при этом, чем ближе к российской границе, тем хуже, считалось, было положение. Так, например, эстонский культурный деятель Э. Розенберг описал дачи в Силламяэ в 1923 году следующим образом: «Общее количество дач уходит далеко за сто, но многие из них были разрушены во время войны, часть из них были куплены новыми хозяевами и увезены на участки близлежащих мыз».<sup>9</sup> Примерно так же описывается Мерекюла: «Во время войны большая часть дач Мерекюла были разрушены, многие из них вовсе увезены, однако, дач, готовых принять дачников все еще в достаточном количестве».<sup>10</sup> Судя по разным описаниям дачных мест в начале 1920-х годов, наиболее плачевное было положение местечка Смолка, где в довоенное время было несколько сот дач, расположенных вдоль реки Нарва и раскиданных по лесу: «во время войны многие, из которых были сожжены, а те, что остались представляют собой грустную бездверную и оконную картину. [...] Некоторые дачи подходят к жилью и доступны вполне дешево».<sup>11</sup>

О Нарва-Йыэсуу, как главном курорте страны пишут более осторожно: «Несмотря на то, что во время войны были соблюдены не все гигиенические нормы, в последнее время, когда снова стал расти спрос на дачи, проводилось более серьезное благоустройство курорта».<sup>12</sup> В другой книге, характеризующей морской курорт Усть-Нарвы с

---

<sup>7</sup> Государственный архив Эстонии (далее – ГАЭ) Ф.31. Оп. 4. Ед.хр. 342. Л. 2.

<sup>8</sup> ГАЭ. Ф. 31. Оп. 4. Ед. хр. 342. Л. 7

<sup>9</sup> Rosenberg 1923, 34.

<sup>10</sup> Там же, 37.

<sup>11</sup> Prümmel 1923, 164-165.

<sup>12</sup> Rosenberg 1923, 48.

ее достопримечательностями, написано, что «Нарва-Йыэсуу виднеется как заметная и привлекающая картина, сохранившаяся в памяти как удобное дачное место русской богатой аристократии, чему война положила конец. Здесь можно увидеть то, что можно было построить за счет капитала петербургских купцов, правителей и народных князей [...]. Разрушительная пора борьбы стерла русских господ или хотя бы основы их имущества. В лесах Нарва-Йыэсуу остались лишь грустно пустые дачи – настоящие играющие с разными стилями виллы богатей. Во многом остались лишь фасады с украшениями на русский лад, башни, колонны и балконы. Мебель, окна, двери – исчезли бесследно во время войны. Большая часть вилл все же стоит готовым принять дачников».<sup>13</sup>

Но не всегда литераторы, пишущие о Северо-восточном побережье, видят в развалинах и разрушениях негативное: «Не смотря на то, что во время войны и в послевоенные годы Йыэсуу ужасно разрушилось, пусть многие дома сгорели, место все же можно найти, более уютно стало: не так много людей»<sup>14</sup>, писал эстонский литератор Н. Андресен под псевдонимом Вагабундус.

Вполне понятно, что в первую очередь, сами курорты финансово зависели от количества дачников, каждый из которых должен был платить курортный взнос, не говоря уже о доходах, которые они приносили владельцам дач, пансионатов, кафе, магазинов и т.д. В связи с дачными взносами, следует упомянуть и о «дачных зайцах», которых ежегодно ловили все больше и больше. Кто были эти «дачные зайцы» и как их узнать: «Они имеют общие черты со всеми видами „человеческих зайцев“: они стараются оставаться незаметными для полиции, чтобы любимыми способами освободиться от лишних денежных затрат, т.е. от дачного налога. При этом, никаких особых хитростей знать не надо, лишь суметь со слащавой миной доказать дачевладельцу, что из-за нескольких дней отдыха не стоит идти для регистрации в полицию».<sup>15</sup> Согласно сообщению газеты «Старый нарвский листок» от 17 августа 1938 года в одном лишь Нарва-Йыэсуу было поймано 200 подобных зайцев.

Несмотря на военные разрушения, на объявление Эстонии суверенной республикой Нарва-Йыэсуу все же оставалось среди эстонских

---

<sup>13</sup> Prümmel 1923, 158-159.

<sup>14</sup> Wagabundus 1926, 4.

<sup>15</sup> [I.a.], 1932, 5.

дачных и курортных мест самым популярным. Ежегодно именно там отдыхали на несколько тысяч дачников больше, чем, например, в Пярну, Хаапсалу и Курессааре. Кроме того, следует отметить, что основной контингент составляли жители самой Эстонии, как граждане, так и не граждане. Так, например, в 1920 и 1921 годах в Нарва-Йыэсуу отдыхали дачники почти исключительно из Эстонии, при этом в небольшом количестве – соответственно 158 и 308 дачников, из которых иностранными гражданами были всего 4 дачника в 1920 и 2 – в 1921 году, к 1922 году количество дачников выросло до 848 человек, среди которых были 8 иностранцев. Учитывая подобное почти несуществующее количество дачников-иностранцев, особенно российских, правящим кругам дачных регионов, а также самой стране пришлось предпринять определенные меры для привлечения большего количества дачников из-за рубежа. Так, например, в конце 1922 года к доктору посольства Эстонии в Москве Шоттеру обратился член Купального бюро Курессааре доктор Д. Фавр, который просил собрать данные о потенциальных дачниках из России, особенно из Москвы. А также его интересовало, может ли посольство помочь отдыхающим облегчить получение визы в Эстонию. Кроме того, Фавр просил доктора Шоттера стать доверенным лицом, рекламирующим в российских газетах эстонские курортные и дачные регионы, также дающим рекомендации для поездки в Эстонию людям, нуждающимся в отдыхе и лечении.

Письмо высланное из Курессааре было взято в дело. Доктор Шоттер, в свою очередь, обратился к послу А. Бирку уже с вполне конкретными предложениями относительно оформления виз, рекламы курортов, а также он обратил внимание на один очень важный нюанс, имеющий отношение именно к советским гражданам – карантин, через который надо было пройти всем приезжим из России, при этом в карантине надо было находиться 3 дня. Подобная перспектива, конечно, могла отпугивать потенциальных дачников.

С целью привлечения дачников из России, помогающих «поднять благосостояние эстонских курортов», посол А. Бирк обратился уже в январе 1923 года к министру иностранных дел с просьбой «отменить трехдневную дезинфекацию в караните всем дачникам, следующим в Эстонию в курьерском вагоне».<sup>16</sup>

Каковы были последствия всей переписки можно увидеть в сохранившихся в архиве документах Посольства Эстонии в Москве. По их

---

<sup>16</sup> ГАЭ. Ф. 1584. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 1.



данным летом 1923 года визы были выданы всего 32 дачникам со сроком от трех недель до трех месяцев. Из этих 32 человек в Нарва-Йыэсуу и Йыхви отдыхали всего 3 дачника.<sup>17</sup> Можно сказать, что усилия московского посольства оправдались лишь в 1928 году, когда в Эстонию прибыло наибольшее количество советских дачников за все время существования «первой» Эстонской Республики. По данным бюро статистики их было зарегистрировано 52. Это был успех, поскольку еще годом раньше российских дачников было всего 14. Можно сказать, что из бывшего русского дачного региона, к концу 1920-х годов, Северо-восток Эстонии становится одним из популярнейших мест среди латышей, скандинавов и немцев:

	1926	1928	1930	1932	1934	1936	1937
<b>СССР</b>	9	52	24	10	7	5	3
<b>Финляндия</b>	28	139	227	13	48	74	110
<b>Швеция</b>	3	18	21	31	39	264	393
<b>Латвия</b>	31	57	79	45	85	115	71
<b>Германия</b>	19	27	66	58	98	90	85
<b>Всего</b>	<b>2596</b>	<b>4434</b>	<b>5181</b>	<b>4413</b>	<b>4693</b>	<b>6066</b>	<b>5906</b>

Как видно из вышеприведенной таблицы, бывшее любимое дачное место русских в новое время перестало их притягивать. Вполне понятно, что граждане Советского Союза были не единственными представителями русского народа в Нарва-Йыэсуу и других дачных местах Северо-востока Эстонии, а также, представляется, что место их все равно притягивало, но учитывая обстоятельства, тоталитарный сталинский режим, мало кто осмелился выехать из страны. Несмотря на отсутствие россиян, русские все равно остались основными дачниками в этом регионе. Понять это можно хотя бы по статьям эстонских газет, где ежегодно публиковались разные материалы с разных дачных регионов Эстонии.

Так, например, некто, скрывшийся под псевдонимом «Атака», не раз в 1925 году писал о том, что Нарва-Йыэсуу – это замечательный курорт, куда стоит ехать и попасть туда можно «без всякого загранпаспорта, желательнее лишь немного ознакомиться с русским языком».<sup>18</sup> Еще до этого этот же «Атака» написал в газету «Пяэвалехт» «Письмо из Нарва-Йэсуу», которое он начал следующим пассажем: «Это маленькое письмо „из за границы”. Дело в том, что не надо ехать

<sup>17</sup> ГАЭ. Ф. 1584. Оп. 1. Ед. хр. 366. Лл. 23-25, 27.

<sup>18</sup> Атака 1925, 4.

за границу – поезжайте лучше в Нарва-Йыэсуу. Это столь же хорошо, а может еще и лучше любой заграничной поездки», а заканчивает он письмо следующим образом: «приезжайте иногда сюда, потому что это столь же хорошо как за гарницей, а ехать сюда можно без заграничного паспорта и визы, и дешевле будет тоже».<sup>19</sup> Отдыхая в Нарва-Йыэсуу он стал постепенно понимать, что знание эстонского языка там совершенно не нужно, поскольку всюду слышна русская речь, как из уст местных «аборигенов», так и дачников. Кроме местных русских, в Нарва-Йыэсуу постоянно на день, а то и два приезжали нарвляне, по старой памяти – русские эмигранты, раскиданные по всей республике. Так известно, что из местных русских довольно часто на дачи в Нарва-Йыэсуу и близлежащие к нему дачные места приезжали художники Н. Роот, А. Калашникова, А. Егоров, профессор И.М. Тютрюмов, артисты Н. Мерянский, Л. Ярон, С. Сабуров, балерина Т. Бек, редактор газет А. Шульц и другие. Ежегодно в Нарва-Йыэсуу отдыхали представители Российского посольства в Эстонии. Не раз Тойле «изменял» и И. Северянин, отдохнувший на даче у поэтессы И. Борман в Шмецке, иногда в Вяйккюла.

Один из корреспондентов газеты «Постимеэс» пытался своим читателям объяснить, почему эстонцы не так часто и не в таких массах посещают Нарва-Йыэсуу: «То ли дело в том, что эстонец никак не может забыть о своей работе и никак не может найти время для летнего путешествия, или он хочет до отпуска обязательно сходить на певческий праздник».<sup>20</sup> Но пока здесь [в Нарва-Йыэсуу] эстонцев мало. За то есть много русских, немцев и израильского народа. На пляже почти на каждом шагу можно услышать немецкую и русскую речь».<sup>21</sup>

В начале 1920-х годов основные усилия на Северо-востоке были направлены на восстановительные работы, о чем постоянно сообщалось как в местных, так и в общегосударственных газетах. Кроме того, что восстанавливать надо было дороги, порты, дачи, курзалы и пр., для наибольшего удобства дачников, надо было проводить электричество в парках, на дорогах и улицах, требовались новые автобусные и паромные линии, надо было проводить водопровод и т.д. Местное самоуправление думало не только о подобных строительных работах, но и о других вещах, которые должны были улучшить положение и

<sup>19</sup> Ataka 1925, 6.

<sup>20</sup> Певческие праздники были ежегодным мероприятием, которое проводилось в разных местах Эстонии в конце июня – начале июля.

<sup>21</sup> -g. 1933, 4.

жизнь дачников. Таким образом, в 1923 году в Усть-Нарве было принято Обязательное постановление на дачный сезон, которое, среди прочего, установило время и место для купания, отменившее ранее существующие «дамские и мужские часы». Вызвано было это жалобами дачников, которые не могли купаться именно в то время, когда им этого хотелось, а надо было приходиться на пляж в указанное для определенного пола время. Согласно новому постановлению вдоль пляжа появились отдельные пляжи для мужчин и женщин, смешанный пляж, отельный район, где можно было купаться только в костюмах, а также свободный район для всех, где можно было купаться в любое время.<sup>22</sup> Подобное решение было, естественно встречено положительно, поскольку оно давало дачнику возможность купаться, «когда ему заблагорассудится». Кроме этого, оно давало подпитку фантазии карикатуристов и шаржистов:



Илл.1: Нарвский листок, №28, 14.07.1923

<sup>22</sup> См. [Б.а.] 1923, 2.



Илл.2: Кнут, №13. С.1.<sup>23</sup>

Но не всегда решения, принятые местным самоуправлением были благоразумными. Так, например, в 1936 году было принято постановление относительно времени торговли в лавках и магазинах. Газета «Русский вестник» отреагировала на это следующим размышлением: «постановление [...] вызывает и недоумение, и недовольство буквально всех. Ворчат и дачники, и лавочники. Отцам города почему-то пришло на ум запретить продажу съестных припасов от 1 до 4 часов дня, и в это время все магазины должны быть закрыты. А именно как раз в эти часы дачники, возвращаясь с пляжа домой, обычно делали

<sup>23</sup> Текст на карикатуре: – Приятно так, когда солнышко тебя пригревает. – Это какое же солнышко? Которое вон там, в мужском районе в бинокль смотреть.

необходимые закупки. Теперь отцы города заставляют их по пути вечером на пляж, заходить в магазины и уже вместе с покупками идти к морю. Это неудобное распоряжение следовало бы как можно скорее отменить».<sup>24</sup>

Восстановительным работам курорта по-своему помогала и пресса. Так, например, в 1930 году в «Старом нарвском листке» была опубликована анкета, дающая «возможность на страницах повременной прессы высказаться наиболее видным деятелям науки, музыки и искусства, проживавшим в Гунгербурге, о достоинствах и отрицательных сторонах нашего курорта, самого популярного и излюбленного в Эстонии».<sup>25</sup> Из негативных сторон, например, профессор Курчинский выделил следующие моменты: «отсутствие специального раздевального помещения на пляже, где дачник имел бы возможность, за известную плату, в особенности в дождь, отдать вещи на хранение; неудобство для купающихся – идти в море около 70 сажней, прежде, чем достигнешь глубокого места [...] крупнейший недочет курорта – отсутствие театра, весьма необходимого для дачников, и наличие духового оркестра».<sup>26</sup> Если первый и третий упомянутый недостаток мог быть исправлен земными силами, то исправление второго, конечно, подвластно лишь небесным силам. В списке негативных моментов встречались еще отсутствие в некоторых местах освещения, отсутствие досок с объявлениями о местах, где можно снять комнату или дачу, недоумение дачников все еще вызывали разрушенные дачи и т.д.

Что бы не предпринималось для восстановления былой славы курорта, то достичь ее все равно было не реально: дачный сезон вместо прежних 3-4 месяцев сократился в лучшем случае до месяца, а то и меньше. Основная причина по мнению разных журналистов – дороговизна или, наоборот, отсутствие богатого клиента, который вместо своего курорта предпочитает заграничные, чтобы «себя показать» и «получить за свои деньги максимум удовольствия», а также потому, что «у нас неудобно слыть богатым, потому что это ведет за собою близкое знакомство с податным инспектором».<sup>27</sup> Если богатый человек и появился в Нарва-Йыэсуу и других бывших дачных местах, то лишь для того, чтобы купить дачу, а затем ее снести с тем, чтобы ее

---

<sup>24</sup> Приезжий 1936, 2.

<sup>25</sup> [Б.п.] 1930, 3.

<sup>26</sup> [Б.п.] 1930, 3.

<sup>27</sup> А.Я.Я. 1929, 2-3.

затем поставить уже в Таллине или окружающих столицу дачных местах Кадриорге, Нымме, Пирита.

Таким образом, в 1920-1930-е годы, хоть Нарва-Йыэсуу и было самым важным и популярным курортом Эстонии, он все это время «переживал муки великого сиротства. На нем легла темная и жестокая печать покинутости и бедного одиночества [...] Все позади. Все было. Все минуло, будто провалилось. Круг жизни сузился. Вчерашний богач, он влачит существование полунищего. Его бросили. Гунгербург – закалоченный дом. Жизнь шумела и отшумела»<sup>28</sup>, писал Петр Пильский о внешности Нарва-Йыэсуу.

## Литература

- А.А.Я. (1929), Мысли и соображения. (Письмо из Гунгербурга.) *Старый нарвский листок*, № 83, (30.07.1929).
- [Б. п.] (1923), Усть-Нарова. Обязательные постановления на дачный сезон. *Нарвский листок*, № 18, (13.06.1923)
- [Б.п.] (1930), Гунгербург – его прелести и недостатки. Анкета «Старого нарского листка». *Старый нарвский листок*, № 87, (09.08.1930).
- Гончаров, И. (1987), *На родине*. Москва: Сов. Россия.
- Лесков, Н.С. (1989), *Собрание сочинений в двенадцати томах*. Т. 11. Москва: Правда..
- Мамин-Сибиряк, Д.Н. (1951), *Собрание сочинений в двенадцати томах*. Свердловск: Свердловское областное гос. Изд.во.
- Пильский, П. (1924), Эстонские впечатления. *Сегодня*, № 190, (23.08.1924).
- Приезжий, П. (1936), О красотах Нарва-Иоезу, злополучном кафе и о нарвском гор. самоуправлении. Письмо из Нарва-Иоезу. *Русский вестник*, № 47, (13.06.1936).
- Ataka (1925), Eesti suvituskohtadest. Kiri Narva-Jõesuust. *Päevaleht*, № 207, (04.08.1925).
- g. (1933), Suvituspilte N.-Jõesuust. *Postimees*, № 146. (25.06.1933).
- [I.a.] (1932), Elva suvikiri. *Postimees*, № 181, (05.08.1932).
- Prümmel, J. (1923), *Põhja-Eesti rannik. Eesti kuurordid IV*. Tartu: Loodus.
- Rosenberg, E. (1923), *Viru suvitusrand*. Rakvere.
- Wagabundus (1926), Maastikke kirde-Eestist. *Postimees*, № 205, (01.08.1926).

## Архивные материалы

- Государственный архив Эстонии (ГАЭ)  
 ГАЭ. Ф.31. Оп. 4. Ед.хр. 342. Л. 2.  
 ГАЭ. Ф. 31. Оп. 4. Ед. хр. 342. Л. 7  
 ГАЭ. Ф. 1584. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 1.  
 ГАЭ. Ф. 1584. Оп. 1. Ед. хр. 366. Лл. 23-25, 27.

<sup>28</sup> Пильский 1924, 2.

## THE DACHA KINGDOM

## Дачная жизнь русских в Эстонии во время Второй Мировой войны (1939-1945)<sup>1</sup>

В Эстонии к 1939 году было немало курортных мест, куда приезжало много иностранцев. Путеводители выходили на нескольких языках. Как вспоминает директор Пярнуского музея Эльсбет Парек, когда в 1939 году Пярну праздновал столетие курорта, по тогдашнему обычаю, у прибрежного отеля развевались флаги всех стран, откуда приехали отдыхающие: Швеции, Финляндии, Англии, Дании и даже США и СССР. Из Стокгольма имелось прямое пароходное сообщение с Пярну.<sup>2</sup> С пярнуским курортом русские были связаны слабо. В основном, русские отдыхающие проводили лето в Усть-Нарве и Эльве, где из трех владельцев пансионатов в середине 1930-х годов двое были с русскими фамилиями.<sup>3</sup>

Русские писатели в Эстонии в 1920-1930-е годы жили небогато. Лишь у поэтессы Ирины Борман была дачка в Шмецке рядом с Усть-Нарвой. Ее отец до революции был домовладельцем и дачевладельцем. Поэт Ю. Шумаков вспоминал: «Семью Борман издавна окружали легенды. Отец Ирины Константиновны установил такой обычай: как только на свет Божий появлялся новый отпрыск, в честь новорожденного строилась очередная дачка».<sup>4</sup> Поскольку в семье было 8 детей, то и дачек было много. Часть из них пострадала во время гражданской войны.

---

<sup>1</sup> Статья написана при финансовой поддержке Эстонского Научного Фонда. Грант № 6794.

<sup>2</sup> Parek 2000, 7-8.

<sup>3</sup> Elva 1934, 21.

<sup>4</sup> Шумаков 1989, 73.



Обычно русские нанимали дачи или комнаты в пансионатах, в курортных местах, иногда на эстонских хуторах. Правда, не всем это было доступно.

Последнее предвоенное лето 1939 года было очень теплым. Еще в конце августа купальни были переполнены, звучала музыка. В Хаапсалу, например, отдыхало 922 иностранца.<sup>5</sup> 1 сентября, когда была объявлена война, иностранцы заспешили домой. Русские, находившиеся в момент объявления войны вне пределов страны, тоже старались вернуться в Эстонию. Ксения Сергеевна Хлебникова-Смирнова в «Валаамских страничках» вспоминала о своем паломничестве на остров, находившийся тогда на территории Финляндии: «В одно сентябрьское утро нам сказали, что в Европе началась война и иностранцы должны покинуть пределы Финляндии в течение суток. Иностранцев на Валааме было человек 50. Нас посадили на пароход и повезли в Сортавалу».<sup>6</sup>

В сентябре 1939 г. дачная жизнь для части русских Эстонии еще продолжалась. Т.П. Милютин в книге «Люди моей жизни» вспоминала: «В сентябре 1939 г. я гостила в Вызу, на северном побережье Балтийского моря, у Вали и Лены Мюленталь. Валя уехала в Таллинн принимать экзамены, на Ленином попечении остался трехлетний племянник, поэтому в нашей дачной жизни было много неожиданного и забавного».<sup>7</sup> Возвращение в город с дачи проходило как обычно. Хлебникова-Смирнова писала о своей знакомой Дезен: «Васса Арсеньевна с детьми приехала из Изборска, с дачи».<sup>8</sup>

Дачная жизнь русских писателей Эстонии была больше всего связана с Усть-Нарвой и ее окрестностями. Хлебникова-Смирнова рассказывала о поэтессе Ирине Борман: «Каждое лето ИРБОр ездила в Шмецке. Друзей она приглашала много, и зачастую они проводили в Шмецке целое лето. Ирина и ее семья старались помочь людям. Молодые люди музицировали, наслаждались красотой природы, поправляли свое здоровье».<sup>9</sup>

Игорь Северянин обычно снимал дачу в Усть-Нарве, куда к нему приезжали двуязычные поэты: Вальмар Адамс и Алексис Раннит. Северянин не только отдыхал, но и работал. В начале октября 1939 года

<sup>5</sup> В Хаапсалу 1939.

<sup>6</sup> Хлебникова-Смирнова 1991, 6.

<sup>7</sup> Милютин 1997, 115.

<sup>8</sup> Хлебникова-Смирнова 1994, 50.

<sup>9</sup> Хлебникова-Смирнова 1996, 186.

в Усть-Нарве Северянин перевел книгу Раннита «Via dolorosa». Здесь он провел и последние годы жизни (1938-1941).

Лето 1939 года было последним, когда Игорь Северянин был здоров и наслаждался летним отдыхом. Из Берлина приехала его первая любовь Евгения Гуцан (по мужу Меннеке). В письме к своей меценатке Софье Ивановне Карузо поэт так описывает лето 1939 года: «Время провели очень весело – бывали в курзале, в Нарве, катались в моей «Дрине» по Россони и Тихому озеру, делая по 20 км в день и устраивая шумные и многолюдные пикники на нескольких лодках».<sup>10</sup> В 1940 году Северянин заболел воспалением легких. Врачи не разрешили ему заниматься весенней рыбной ловлей. Но и в начале лета ему многое было запрещено: «грести нельзя, быть на лодке до рассвета тоже нельзя из-за возможности тумана, не рекомендуется оставаться у воды после заката. А когда рыба клюет лучше всего? Именно в эти часы»<sup>11</sup>. Летом 1939 года Северянин много времени провел в своей лодке «Дрине», но не так было летом 1940 года: «Лодка поэта обновлена, выкрашена, стоит сиротливо у берега Наровы, который находится в нескольких шагах от низенькой уютной его квартиры».<sup>12</sup> Северянину пришлось бросить курить, отказаться от алкогольных напитков и даже чая, и в начале июня в газете «Вести дня» появилась заметка «Игорь Северянин пьет только фруктовые соки». Игорю Васильевичу оставалось лишь погрузиться в чтение. Начавшаяся в Европе война интересовала и волновала поэта: «Мировые события, конечно, заставляют с нетерпением ожидать прихода газеты, причем он читает не только русские, но эстонские газеты».<sup>13</sup> Этим летом Северянин больше общался с лечащим врачом Алексеем Кругловым и его женой учительницей Верой. Поэт Ю. Шумаков, беседовавший с Северяниным летом 1941 года в Усть-Нарве, 9 декабря 1987 г. писал об этом В.Т. Адамсу: «Круглов лечил Северянина и довел нас до дома, где поэт жил. Здесь-то я виделся с Игорем Васильевичем в последний раз. Поэт был очень болен, в основном лежал. Беседы у нас были поэтические».<sup>14</sup>

Осенью 1939 года началась репатриация немцев, появились советские военные базы, началась война СССР и Финляндии. Все это не

<sup>10</sup> Из переписки 2002, 73.

<sup>11</sup> Л.С. 1940.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Л.С. 1940.

<sup>14</sup> Shumakov 1987, 52, 184.

могло не повлиять и на дачную жизнь в Эстонии: советские базы расположились в дачных местах – Хаапсалу и Клоога.

В 1989 году в журнале «Таллин» были напечатаны воспоминания писателя Георгия Васильева «Осколки памяти». Васильев служил шофером в НКВД и был вместе с советскими войсками в Хаапсалу с середины октября 1939 по июнь 1940 г. Его воспоминания написаны от лица простого шофера, хотя Васильев не был выходцем из рабоче-крестьянской семьи. Он – сын служащего и до революции учился в коммерческой школе.<sup>15</sup> Как отмечает автор, советские войска были расквартированы в центре курортного городка: «В Хаапсалу наш особый отдел разместили на тихой улочке, заросшей кряжистыми липами. Улочка одним концом упиралась в набережную залива. На набережной стояло легкое, прозрачное от множества стекла здание курзала. В курзале и кино, и ресторан. Набережная называлась «Променадом» и была местом гулянья горожан. [...] Весь городок потеснился, уступив место многочисленным гостям. Здесь к этому привыкли. Летом множество курортников из соседних северных стран – шведы, финны, норвежцы – лечились тут знаменитыми хаапсалускими грязями. На этот раз гости были с другой стороны».<sup>16</sup>

Но дело даже не в том, что гости были с Востока, а не с Запада, а в том, что это были незваные гости. С эстонских аэродромов взлетали советские самолеты и бомбили Финляндию, а все эстонцы были на стороне финнов. К лету 1940 года присутствие советских войск в Хаапсалу привело к тому, что дачники с Запада не приехали: «На Променаде вновь открылся курзал. Наш подотдел организовал для личного состава бесплатные киносеансы. Приглашались и гости – почетные жители Хаапсалу во главе с мэром города. Но шикарный ресторан при курзале закрылся. А шведские и финские туристы, постоянные клиенты, от поездок на целебные грязи в эту весну отказались».<sup>17</sup>

В начале нового летнего сезона 6 июня 1940 г. в Таллинне в «Доме искусств» открылась выставка «Дачная жизнь».<sup>18</sup> В начале июня в Эстонии была прохладная погода, поэтому курортный сезон начался с запозданием. Несмотря на только что прошедшую зимнюю войну,

---

<sup>15</sup> Бассель 1984, 35.

<sup>16</sup> Васильев 1989, 69-70.

<sup>17</sup> Васильев 1989, 77.

<sup>18</sup> Дачная 1940.

финские туристы хотели приехать отдыхать в Пярну и делали запрос пярнускому курортному управлению.<sup>19</sup>

Государственный переворот, состоявшийся в июне 1940 года, повлиял на дачную жизнь Эстонии в целом намного сильнее, чем начало Второй Мировой войны. Вернулись домой иностранцы. В июле 1940 г. началась национализация. Спецкор газеты «Правда» П. Лидов описывал обстановку на пярнуском курорте летом 1940 года: «Нынешним летом на курорт съехались лишь сотни две состоятельных эстонских семей. Вскоре для бывших хозяев Эстонии начались беспокойные времена. Рабочие стали выходить на улицу, требуя покончить с буржуазией и учредить советы. Заговорили о моратории и национализации крупной собственности, и буржуазия с курортов и дач потянулась в города, чтобы в «годину бедствий» быть поближе к своим сейфам, фабрикам и домам».<sup>20</sup> Нарвский краевед Е. Кривошеев писал о судьбе дач в начале 1940-х годов: «Дачи были отданы рабочим и их семьям».<sup>21</sup>

Среди русского населения Эстонии богатых было мало. Это были, в основном, местные купцы, которые жили в Эстонии еще с XVIII-XIX вв. Вскоре после прихода советской власти начались аресты. Ю. Иваск писал в «Повести о стихах»: «Аресты растянулись на весь советский год, до следующего июня».<sup>22</sup> Иваск писал о тех, кто стал первыми жертвами НКВД: «Исчезали преимущественно русские: в первую очередь крестроссы, младороссы, заправили Обще-Воинского Союза, а из эстонцев – чиновники тайной полиции, министры, генералы».<sup>23</sup> Добавим, что среди русских одними из первых были арестованы и активные члены РСХД. Одним из них был Иван Аркадьевич Лаговский.

Для семьи Лаговских дачная жизнь в южной Эстонии стала привычной. Т.П. Милютин вспоминала: «Каждое лето мы жили в деревне, в милой Каруле (недалеко от Валки) у озера, снимая половину домика на хуторе у добрых и трудолюбивых эстонских крестьян. На второе лето уже была готова лодка, сделанная нашим хозяином, и с раннего утра мы уходили на озеро [...]. На другом берегу – парк, превратившийся в лес, и старая мыза, где мы покупали яблоки. Остальное

<sup>19</sup> Курорты 1940.

<sup>20</sup> Лидов 1940.

<sup>21</sup> Кривошеев 1971, 23.

<sup>22</sup> Иваск 1987, 135.

<sup>23</sup> Иваск 1987, 136.

у хозяев».<sup>24</sup> Летом 1940 года изменилась мирная и спокойная эстонская деревня. Т.П. Милютина вспоминала: «Мы уехали в деревню, в нашу милую Карулу. Там тоже стояли войска. Дисциплина была строжайшая. По вечерам показывали кино. Отовсюду с окрестных хуторов приезжала молодежь – у всех ведь были велосипеды. К нашим хозяевам на хутор приходили покупать молоко».<sup>25</sup> Когда Лаговские вернулись в Тарту, Иван Аркадьевич был арестован органами НКВД.

Арестовать могли и прямо на даче. Мария Сергеевна Плюханова вспоминала, как в конце лета 1940 года они «жили на даче в Пирита. На втором этаже этого дома жила семья тоже местных русских, Добровольских. Как-то утром, спустившись сверху, Кира Добровольская, рыдая, рассказала, что ночью был арестован ее муж».<sup>26</sup> Через несколько дней перед их домом затормозила ночью машина: «И родители, и мы с братом Сергеем окаменели от ужаса».<sup>27</sup> Все подумали, что приехали арестовать их отца, эмигранта: «Папа, прощаясь с нами, всех нас благословил».<sup>28</sup> К счастью, оказалось, что это не сотрудники НКВД, а только шофер. Стенографистку Марию Сергеевну срочно вызвали на службу в эстонский парламент, который еще не успели переименовать в Верховный Совет, переводить конституцию Эстонской ССР на русский язык.

Лето 1940 года отражает переходное положение «от капитализма к социализму». Существовали еще частные пансионы, а в лагерь Христианского Союза Молодых Женщин власти посылали девушек из бедных семей, поскольку пионерских лагерей еще не было. Пропагандировались советские формы отдыха. В газете «Трудовой путь» появилась статья «Советские курорты». В ней сообщалось, что в СССР 270 курортов. «Тысячи трудящихся ежегодно лечатся и проводят свой отдых в бывших царских и великокняжеских дворцах, ныне превращенных в прекрасные санатории, такими являются «Пролетарское здоровье», Хсеракс, Тубинститут – санаторий в Массандре – санаторий-комбинат имени Сталина в Ливадии и другие».<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Милютина 1997, 101.

<sup>25</sup> Милютина 1997, 122.

<sup>26</sup> Плюханова 1999, 65.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Советские 1940.

Летом 1941 года были уже созданы первые пионерские лагеря. Школьников заманивали в пионеры, обещая поездку в Артек, и действительно в июне 1941 года туда поехала первая группа эстонских пионеров. В дома отдыха рабочим и служащим выделяли бесплатные путевки. К.С. Хлебникова-Смирнова вспоминала о 1941 годе: «Мне в Наркомате предложили путевку в Крым на сентябрь».<sup>30</sup>

В июне 1941 года начало дачного сезона совпало с массовыми высылками 14 июня. Высылали семьи с маленькими и даже грудными детьми. Конечно, дети далеко не всегда понимали цель поездки. Семья Кашневых-Золотовых каждое лето выезжала на дачу в Рутъя. Татьяна Кашнева в книге «Земная коротка наша память» вспоминает, как во время ареста и высылки, когда солдаты вошли в квартиру, проснулся ее сын Женя: «Он сразу вскочил. 'Мама, мы куда, на дачу?' – Обещанную дачу он давно и радостно ждал».<sup>31</sup> Во время депортации в вагоне солдаты-охранники брали к себе маленького Женю, чтобы он их развлекал. Он читал им стихи и пел, солдаты громко смеялись. Однажды они взяли к себе в вагон мальчика, не предупредив об этом мать, и вернули его лишь поздним вечером. Несколько долгих часов она ничего не знала о судьбе ребенка. Солдаты, вернувшие мальчика, рассказывали его матери о беседах с ним: 'Куда, спрашиваем, с мамкой отправился? – На дачу, говорит. – А хорошо ли ехать? – Очень, мы в мягком вагоне.' – Они хохочут и передают мне сияющего Женьку, нагруженного пакетами солдатских галет. Со всех сторон тянутся руки с пакетами».<sup>32</sup> Видимо, солдаты, которые от природы не являлись злыми людьми, не до конца понимали свою роль во время высылки невинных людей. «После поезда высланным из Эстонии пришлось ехать в трюме парходика. Женечка часто просыпался. 'Мама, ну почему дача так далеко?'. Он никогда не хныкал, но теперь уже почти не верил в мечту о даче».<sup>33</sup>

Кому-то летом 1941 года все-таки удалось вывезти на дачу старых родителей или детей. Мария Сергеевна Плюханова вспоминала: «На лето 1941 года мы с братом наняли в основном для родителей дачу на Меривялья под Таллинном».<sup>34</sup> На дачах люди и узнавали о начале войны между СССР и Германией. М. С. Плюханова писала: «В вос-

<sup>30</sup> Хлебникова-Смирнова 1994, 55.

<sup>31</sup> Кашнева 1993, 6.

<sup>32</sup> Там же, 9.

<sup>33</sup> Там же, 10.

<sup>34</sup> Плюханова 1999, 84.

кресенье 22 июня кто-то приехал из города и сообщил о начале войны. Утром мы, как и всегда, поехали на работу. В первый и последний раз после этого я побывала на даче в ночь с 8 по 9 июля». <sup>35</sup> Во время военных действий родители тоже вынуждены были вернуться в Таллинн. Оставшиеся без дачников дачи подвергались мародерству со стороны как советских, так и немецких солдат. После взятия Таллинна немцами на дачи не пускали. Но отца Плюхановой как старого человека все-таки пропустили. Картина, которую он там увидел, ошеломила его: «Все шкафы раскрыты, вещи вывалены на пол, между платьями, посудой и продуктами валяются грампластинки». <sup>36</sup> Хозяева дачи объяснили, что в начале отступающие советские солдаты искали гражданскую одежду и взяли часть мужской одежды. Потом по доносу шофера приехали немецкие солдаты и перерыли всю дачу. Дело в том, что брат Плюхановой привозил на дачу продукты, а бдительный шофер решил, что это архивы НКВД (М.С. Плюханова была секретарем председателя Совнаркома). После обыска немецкие солдаты начали поедать продукты, ставить пластинки и сломали граммофон. Хозяев дач пригласили как свидетелей. Если такое происходило на дачах, где были хозяева, то бесхозные дачи советские истребительные батальоны часто просто поджигали.

Летом 1941 года в Усть-Нарве на даче жил старый профессор-юрист Игорь Матвеевич Тютрюмов. Позже в газете «Северное слово» сообщалось: «Тютрюмов в период захвата Эстонии большевиками сильно опасался ареста и ссылки. Особенно тяжелы были последние дни владычества большевиков, когда к страху ареста присоединился и другой страх: отступающие коммунисты предавали огню лучшие здания курорта». <sup>37</sup> Тютрюмову было чего опасаться. Например, в протоколах допроса Вячеслава Болеславовича Булгарина о Тютрюмове говорилось как о заместителе председателя общества «Белый крест»: «Известен в Эстонии как юрист и специалист гражданского права. Если не ошибаюсь, он до революции служил в Сенате на каком-то высоком посту. Человек он правых убеждений. Живет на пенсию и имеет дачу в Гунгербурге. Принимал большое участие в общественной жизни в Эстонии; большой законник-теоретик». <sup>38</sup> Видимо, Тютрюмова просто не успели арестовать.

---

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Там же, 91.

<sup>37</sup> Тютрюмов 1942.

<sup>38</sup> Мартиролог 1996, 135.

Каждая из противоборствующих сторон (фашистская и советская) во время войны вела пропагандистскую кампанию, очерняя своего противника и восхваляя себя. Как немцы в 1941 году, так и советские органы в 1944 году, придя в Эстонию, производили раскопки массовых захоронений жертв, соответственно, большевистского и фашистского режимов. Фотографии трупов вместе с пропагандистскими статьями появлялись в газетах. Иногда местом массовых репрессий оказывалась дача или дачная местность.

Во время немецкой оккупации были найдены следы массовых захоронений жертв НКВД. Одно из них находилось на участке дачи в Пирита-Козе. Эксгумировали 42 трупа. Среди опознанных лиц были «директор Торговой школы Владимир Утехин, бухгалтер Кренгольмской мануфактуры в Нарве Василий Жилин, культурный техник Эстонского Министерства Земледелия Сергей Семенников, члены бывшей эстонской полиции, военнослужащие, железнодорожники и рабочие».<sup>39</sup>

Добавим, что во время немецкой оккупации в популярном дачном месте под Таллинном Клоога, куда до войны ездили отдыхать еврейские школьники, фашистами был устроен большой концлагерь, где погибли тысячи евреев со всей Европы. Об этом писали уже советские газеты в Эстонии в 1944-1945 годах.

В период немецкой оккупации относительно спокойными были лета 1942 и 1943 гг., когда был возможен летний отдых. В июне 1943 года в газете «Новое время» появилась статья «Дачные места разделены на разряды». К первому разряду, например, были отнесены Пярну, Усть-Нарва и Пирита. Ко второму относились Хаапсалу, Курессааре, Меривяля, Козе, Рок-аль-Маре, Эльва и Аэгвийду.<sup>40</sup> В газете сообщалось, что плата взимается в зависимости от того, к какому разряду принадлежит местность, где находится дача. Наем производился с 1 мая по 1 сентября. Все споры относительно наемной платы рассматривал префект. К сожалению, иной информации о дачной жизни тех военных лет в газетах не содержится. Нет и воспоминаний о дачном сезоне этого периода. Известно, что мемуары писал проживавший в Усть-Нарве проф. Тютрюмов, но он умер 29 марта 1943 года, и о судьбе его воспоминаний ничего не известно. Видимо, дачников было мало.

---

<sup>39</sup> Жертвы 1942.

<sup>40</sup> Дачные 1943.



Взрослые должны были отбывать трудовую повинность на сельскохозяйственных работах, отдыхать могли только дети и старики.

Летом 1942 года был создан Отдел Русской Помощи (как часть Эстонской Народной Помощи), основной задачей которого было оказание материальной помощи русским. Отдел Русской Помощи и занимался созданием летних детских колоний. Летом 1942 и 1943 годов Отделом были организованы детские колонии, т. е. детские летние лагеря, где русские дети могли отдохнуть на свежем воздухе. Детские колонии существовали отдельно для местных русских детей и для детей эвакуированных, поскольку педагоги боялись влияния советских детей на местных. Летом 1943 года Отделом Русской Помощи были организованы 23 детских колонии в Ревеле, в Нарвском округе и других округах.<sup>41</sup> Имелись трудности с питанием и с игрушками. В русских газетах появлялись сообщения об организации в деревнях Печорского уезда сбора пожертвований продуктами.<sup>42</sup> Русской Помощью и педагогами были организованы и летние площадки для деревенских детей, как это уже делали в Эстонии в довоенное время. В 1943 году на летних площадках занимались около тысячи детей.<sup>43</sup>

Летом 1944 года уже стремительно наступали советские войска. Отдел Русской Помощи собирался открыть летнюю детскую колонию под Пярну, но, по-видимому, она так и не открылась из-за обострившейся военной обстановки.<sup>44</sup>

В период немецкой оккупации курортные места стали местом отдыха для немецких солдат. В 1942 и 1943 годах велись какие-то работы по благоустройству эстонских курортов. В апреле 1942 г. для отдыхающих немецких военных были открыты в Нарве художественный Лавренцовский музей и музей Петра Первого.<sup>45</sup> Эльсбет Парек писала, что в Пярну летом 1942 г. открылись прибрежное кафе и купальное заведение. Прибрежный отель стал домом отдыха немецких военных. В купальном заведении принимали ванны, конечно, также в основном, военные.<sup>46</sup>

В 1943 году немцами благоустроивался усть-нарвский парк. Газета «Новое время» за 2 июня 1943 г. сообщала: «В парках Усть-Наровы,

---

<sup>41</sup> Сергеев 1944.

<sup>42</sup> Сбор. 1943.

<sup>43</sup> Деятельность 1943.

<sup>44</sup> Летняя 1944.

<sup>45</sup> Narva muuseumid 1942.

<sup>46</sup> Parek 2000, 72.

которые частично пострадали от военных действий, недавно были посажены молодые деревья. Одновременно в парках производится и другая работа по приведению их в порядок». <sup>47</sup> В газете «Северное слово» в июле 1943 года появилась статья В. Богоявленского «В Гунгербурге». В ней описывается прогулка по этому курортному местечку с группой русских трудовых добровольцев: «Проходим мимо красивых, как на картине, дач. Везде сады и огороды. Идем в парк. Гуляем по тихим, уютным аллеям. И здесь, несмотря на суровое время войны, везде видны следы работы по поддержке чистоты и порядка: дорожки чисто подметены, кустики подрезаны, разбиты клумбы». <sup>48</sup> Для кого это делалось? Дачников было очень мало, как и местных жителей. Видимо, в основном опять же для немецких военных, отдыхавших здесь в домах отдыха. В статье Богоявленского отмечалось: «Музыка доносится издали. Это в домах отдыха начинаются танцы». <sup>49</sup> Правда, какая-то польза курортному месту от военных была. В июле 1943 года начался пожар на «Вилла Каприччио» – одном из красивейших зданий Усть-Нарвы: загорелись защитные обмотки водопровода, и военные вместе с пожарными потушили пожар. <sup>50</sup>

В конце июля 1944 года советская армия заняла Нарву. В это лето было уже не до отдыха. Город был почти полностью разрушен, пострадала и соседняя Усть-Нарва. Сгорели и дачки в Шмецке, принадлежавшие семье Ирины Борман.

Для местных русских дачная жизнь во время Второй мировой войны давала кратковременный отдых во время испытаний и в преддверии тяжелых испытаний. Но дача-рай часто превращалась в ад. Там могли арестовать, произвести обыск, пытать и даже убить как органы НКВД, так и органы СС. Дачи горели от залетевших туда снарядов, их поджигали и истребительные батальоны.

Отметим, что такие тоталитарные государства, как СССР и Германия, индивидуальная дачная жизнь интересовала мало. Оба государства развивали формы коллективного отдыха: дома отдыха для взрослых и пионерские лагеря и детские колонии для детей. Это давало возможность подвергать своих граждан идеологическому воспитанию и летом, контролировать их поведение. Особенно это касалось детей и подростков. Например, в июне 1941 года, когда в Эстонии открылись

---

<sup>47</sup> В парках 1943.

<sup>48</sup> Богоявленский 1943.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> см.: Пожар 1943.

первые пионерские лагеря, дети из них должны были общаться с пионерами из соседнего лагеря, где отдыхали дети командиров Красной армии. Во время войны эстонские дети отдыхали в Германии. К сожалению, в газетных заметках не указывается, из каких семей были эти дети. Видимо, часть из них была из семей начальников-коллаборационистов.

Война на территории Эстонии закончилась, и летом 1945 года летняя жизнь в Эстонии стала такой же, как и в остальном СССР: дети ездили в пионерские лагеря, а рабочие и служащие – в дома отдыха. Пионер Аксель Тамм перед поездкой в Артек в газете «Советская Эстония» благодарил партию и правительство за отеческую заботу о детях.<sup>51</sup> О сложной дачной жизни военного времени никто больше не вспоминал. А большинство мемуаристов, чьими воспоминаниями мы воспользовались в этой статье, тоже находились в лагерях, но не в пионерских.

## Литература

- Бассель, Н. (1984), Васильев Георгий. *Писатели Советской Эстонии. Биобиблиографический словарь* (1984), Таллин: Ээсти раамат.
- Боговяленский, В. (1943), В Гунгербурге. *Северное слово*, № 78 (9 июля).
- В парках Усть-Нарова сажают деревья (1943), Нарва. *Новое время*, № 62 (2 июня).
- В Хаапсалу прибывают новые дачники (1939), *Вести дня*, № 192 (25 авг.).
- Васильев, Г. (1989) Осколки памяти. Из книги воспоминаний. *Таллинн*, № 6, 57-82.
- Дачная выставка (1940), *Вести дня*, № 123 (3 июня).
- Дачные места разделены на разряды (1943), *Новое время*, № 66 (11 июня).
- Деятельность русской помощи (1943), *Северное слово*, № 86 (28 июля).
- Жертвы НКВД в Таллине (Ревеле) (1942), *Новое время*, № 38 (28 мая).
- Иваск, Ю. (1987), *Повесть о стихах*. New York: Russica Publichars, Inc.
- Из переписки Игоря Северянина (2002), Письма к С. И. Карузо (1931-1940). Публ. Л. Н. Ивановой, *Игорь Северянин: "Жизнь прожита большая, неповторяемая на Земле!"* Таллинн: Тарбеинфо-Русский Телеграф.
- Кашнева, Т. (1993), «*Земная коротка наша память...*». Таллинн: Александра.
- Кривошеев, Е. (1971), *Нарва-Ййэсуу*. Таллин: Ээсти раамат.
- Курорты оживляются. Наша провинция (1940), *Вести дня*, № 125 (5 июня).
- Летняя детская колония (1944), *Северное слово*, № 76 (9 июля).
- Л.С. Игорь Северянин пьет только фруктовые соки (1940), Письмо из Нарва-Июезу. *Вести дня*, № 125 (5 июня).
- Лидов, П. (1940), Путевые впечатления. *Трудовой путь*, № 36 (12 авг.).

<sup>51</sup> Тамм 1945.

- Матриолог (1996), Перечень деятелей русской культуры в Эстонии, подвергшихся репрессиям после установления советской власти. Публ. и сост. В. А. Бойкова. *Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике*. Т. 1. Таллинн: Авенариус.
- Милютина, Т. (1997), *Люди моей жизни*. Тарту: Крипта.
- Пожар на «Вилла Каприччио» (1943), *Новое время*, № 74 (4 июля).
- Плюханова, М.С. (1999), Мне кажется, что мы не расставались... *Воспоминания*. Таллинн, Александра.
- Сбор в пользу детских колоний (1943), *Новое время*, № 68 (17 июня).
- Сергеев, М. (1944), «Свое» учреждение. В Управлении по делам русского населения. *Северное слово*, № 74 (5 июля).
- Советские курорты (1940), *Трудовой путь*, № 3 (8 июля).
- Тамм, А. (1945), В Артек! *Советская Эстония*, № 158 (7 июля).
- Тютрюмов, И. (1942), Нарвская жизнь. *Северное слово*, № 22 (14 июля).
- Хлебникова-Смирнова, К. (1991), Валаамские странички. *Русская почта*, № 3 (13), 6.
- Хлебникова-Смирнова, К. (1994), *Мои воспоминания*. Таллинн: Александра.
- Хлебникова-Смирнова, К. (1996), Воспоминания об Ирине Борман (псевдоним ИрБор). *Таллинн*, № 5-6, 186-188.
- Шумаков, Ю. (1989), ИрБор. *Радуга*, № 5, 73-75.
- Elva (1934), *Elva. Kaunim sisemaa suvituskohi*. Elva alevivalitsuse väljaanne. Suvi. I
- Jänes, A.(1938), *Narva ja kuurori Narva-Jõesuu*. [Tartu].
- Narva muuseumid (1942), Narva muuseumid avati uuesti. *Eesti Sõna*. Nr. 79 (8 apr.).
- Parek, E. (2000), *Mälestusi aastaist 1939- 1944 Pärnus*. Eesti Kirjandusmuuseum. Litteraria. Eesti kirjandusloo allikmaterjale. Vihik 18. Tartu .
- Shumakov, J (1987) Üks sada viiskümmend üks kirja Jüri Shumakovilt. *Eesti Kirjandusmuuseum*. Fond 344. V. Adams. M 29:1. V. Adams.

## THE DACHA KINGDOM

## **Летний рай**

Основание новой столицы России в восточной части Финского залива было стратегически успешным начинанием Петра Первого, несмотря на то, что ее местоположение в болотистом устье Невы несло множество неудобств городскому населению. На гнилой почве фундаменты домов и улицы необходимо было укреплять сваями, а набережные Невы одевать финским гранитом. Великолепная архитектура города впечатляла, но неблагоприятный климат оставлял желать лучшего. Сырые ветры насквозь продували улицы, а Нева часто выходила из берегов, грозя наводнением. Даже если порой лето и бывало достаточно жарким, все же семейства с детьми стремились выехать из города, чтобы подышать свежим воздухом и побыть на природе.

Выбор был невелик – окрестности Петербурга не представляли собой ничего особенно примечательного, и лишь побережье Карельского перешейка могло отвечать запросам жителей столицы. Их привлекал туда мягкий климат, благоухающие сосновые леса и идеальные для купания песчаные пляжи. На расстоянии нескольких десятков километров от Петербурга находились приморские места, которые красотами могли потягаться чуть ли не с крымским побережьем. После открытия в 1870 г. Выборгской железнодорожной ветки можно было доехать туда всего за час, а на станции приезжих ожидали извозчики, готовые довести их до собственной дачи.

Разумеется, для этого надо было пересечь границу автономного Княжества Финляндского, но пограничные формальности были не слишком суровыми. А по ту сторону границы все было иным, начиная с языка и кончая дензнаками и почтовыми марками. Петербуржцы наслаждались подобной экзотикой. Им нравились финская честность

и чистоплотность, но особенно импонировало то, что порядок обеспечивался без вездесущего надзора жандармов.

С конца 1890-х годов дачники стали наводнять Терийоки и окружающие поселки. Кое-кто предпочитал селиться на всем готовом в пансионе, но большинство все же мечтало о собственной даче на берегу залива. Дачу легко и просто можно было снять на лето, но тем не менее иметь летний дом и свое хозяйство было вполне в русском вкусе. Организованная торговля дачными участками процветала, и перед первой мировой войной цены выросли до небес.

Северная российская столица постоянно нуждалась в свежих продуктах питания, что было на руку жителям перешейка. Поставка овощей, фруктов и молочных продуктов была прочно налажена, причем их высокое качество и надежность привоза всегда заслуживали похвалы. В Петербурге финские ремесленники, начиная от извозчиков, трубочистов и маляров и кончая ювелирами фирмы Фаберже, были в почете, также как и рабочие, занятые укладкой камня на улицах и набережных города.

Особенно ценились живые, личные контакты. Продажу участков и дач держал в своих руках государственный советник Фридольф Рафэль фон Хаартман (1839-1902) с супругой Алис Пинелло. В числе его начинаний следует упомянуть создание Финского пароходного общества в Петербурге и введение спальных вагонов на железных дорогах Финляндии. Фирмы успешно развивались и быстро росли; в одном Петербурге число служащих, в основном финнов, достигало тысячи. Но здесь особенно важно отметить то, что фон Хаартман успешно продавал дачи и участки на Карельском перешейке, где он сам имел виллу «Алис». Весной 1878 г. Финский Сенат утвердил устав акционерного общества «Терийоки-курорт» с основным капиталом в 40 000 марок. В правлении общества числились фон Хаартман, коллежский советник И. Бруни и архитектор Марцеру.

Предприятие фон Хаартмана было разносторонним; участки покупались у местных жителей и в сделку часто входила планировка дома и окружения. Большое внимание уделялось также развитию курорта Терийоки, включая купальные заведения с банями, а также казино и разнообразные развлечения для дачников. Архитекторов привлекали обычно лишь для больших и сложных проектов, как например постройки колоссальной виллы «Харппулинна» в Келломяках по проекту архитектора Баранова. В этом фон Хаартман, повидимому, не при-

нимал большого участия, как и в постройке репинских «Пенат» в Куоккале. Торжественное открытие «Пенат» состоялось летом 1906 года.

В большинстве случаев новым хозяевам дачного участка приходилось довольствоваться услугами подрядчика, который прислушивался к пожеланиям владельца. Стандартный вариант дачи был таков: большая веранда на юг, по возможности с видом на залив, обилие резных деревянных украшений, и желательно артезианский колодец. Часто дом и участок огораживали каменной стеной для защиты от морских штормов. Порой она соединялась с соседними оградами, и тогда гранитная стена могла тянуться на несколько километров. Собственный огород и сад с яблонями, как и площадка для крокета, были неременной принадлежностью дачного участка. Зато теннисный корт уже требовал больше места и был достаточно дорогим удовольствием. Все необходимые работы выполнялись местными жителями, однако, при высокой конъюнктуре приходилось выписывать рабочих и из других районов Финляндии. Дачный бум гарантировал занятость местного населения и приносил жителям желанный доход.

Побережье Финского залива на перешейке протянулось примерно на 30 км: начиная от финско-русской границы на реке Сестре через Оллила, Куоккала, Келломяки, Терийоки и Тюрисевя до Ваммельсуу и огромных блоков разрушенного форта Ино. Узкая и порой каменистая прибрежная полоса была прекрасным местом для прогулок вдоль моря и для купания на мелководных пляжах. Эти места нравились и детям, и взрослым.

Как можно предполагать, фон Хаартман был удачливым дельцом. Местечко Терийоки вскоре изменилось до неузнаваемости и летом местное население почти растворялось в потоке русских дачников. Пригородные поезда ходили часто, для развлечения гостей устраивались балы и концерты, так что приезжие могли и на даче придерживаться своих более или менее светских городских привычек. На пляже появился ряд тесных кабинок для переодевания, а близлежащее казино приобрело неслыханную популярность.

Всей этой легкой жизни пришел конец, когда граница между Финляндией и бывшим Петербургом, теперь уже Петроградом, в 1918 году в результате гражданской войны практически, совершенно закрылась. Прекратилась торговля с прежней столицей. Перед населением Карельского перешейка встала проблема выживания. Русские дачники и владельцы вилл исчезли бесследно или вернулись беженцами-голодранцами. Виллы разваливались, сады и огороды зарастали



сорняками. Некоторые дома были разобраны и вновь выстроены где-то на территории независимой Финляндии.

Жителям страны пришлось тогда приспособляться к дотоле незнакомой самостоятельности, поскольку жизнь без российского произвола принесла столько угрожающей неопределенности, особенно в период экономического кризиса 1930-х годов. Когда положение, наконец, стабилизировалось, Карельский перешеек вновь стал популярным местом летнего отдыха для туристов и дачников, теперь уже из Финляндии. Уцелевшие виллы использовались как пансионы, пляжи снова заполнились отдыхающими.

Мне самому довелось ребенком провести с родителями лето 1935 года в Терийоках, и я хорошо помню эти места. Восточный сосед напоминал о себе ежедневно грохотом тяжелой артиллерии из Кронштадта. Ночью блуждающие лучи прожекторов освещали строения на берегу залива. Угроза с той стороны ощущалась вполне конкретно.

### «Могила любви»

Здесь нет возможности рассказать о всех достопримечательностях на прогулочном расстоянии от Терийок. Я последую лишь вслед за семейством Хаартманов до Ваммельсуу, ныне Черной речки.

Дочь советника фон Хаартмана Марта (род. в Петербурге 20.8.1885) была известной красавицей, ее портреты писали Репин и Эдельфельт. Жизнь ее сложилась, однако, достаточно тяжело. Марта фон Хаартман обвенчалась 4.6.1905 г. в православной церкви в Терийоках с лейтенантом российского флота по имени Мишель Кирпичев. Но этот брак не дожил даже до свадебной ночи, ибо жених сбежал сразу же после венчания; оказалось, что он педераст и алкоголик. Развод последовал в 1907 г. Следующая матримониальная попытка Марты была несколько более удачной: ее брак с капитаном Всеволодом Картавцевым был расторгнут лишь в 1920 г.

Марта породнилась в этом браке с героем нашей повести. Богач Евгений Картавцев приобрел в Ваммельсуу имение Марийоки для своей жены Марии. Там она жила, когда он занимался делами в Кронштадте. У Марии Всеволодовны Картавцевой (урожденной Крестовской) имелся внебрачный сын Всеволод от директора театра, где она выступала, пока не обнаружился скандал.

Евгений Эпафродитович Картавец был щедр и великодушен во всем. Он усыновил Всеволода, который принимал участие в русско-японской войне, где был ранен и взят в плен, но все же смог потом вернуться в Марийоки на поправку. Ему там действительно стало лучше, и молодая жена Марта за это время смогла ближе познакомиться с его родителями. Мать Всеволода Мария Всеволодовна вела светскую жизнь и устраивала в Марийоках домашние спектакли.

Считалось, что она имела неуравновешенный характер и притом была постоянно раздражена и несчастна. Как оказалось, Мария была больна раком, лечение в Швейцарии ей мало помогло. Она умерла 24.6.1910 (7.7 по новому стилю). Безутешный Евгений построил на берегу Черной речки церковь<sup>1</sup>, а также поставил памятник, где любимая жена изображена сидящей на гранитной скале и устремившей взоры в направлении Кронштадта.<sup>2</sup>

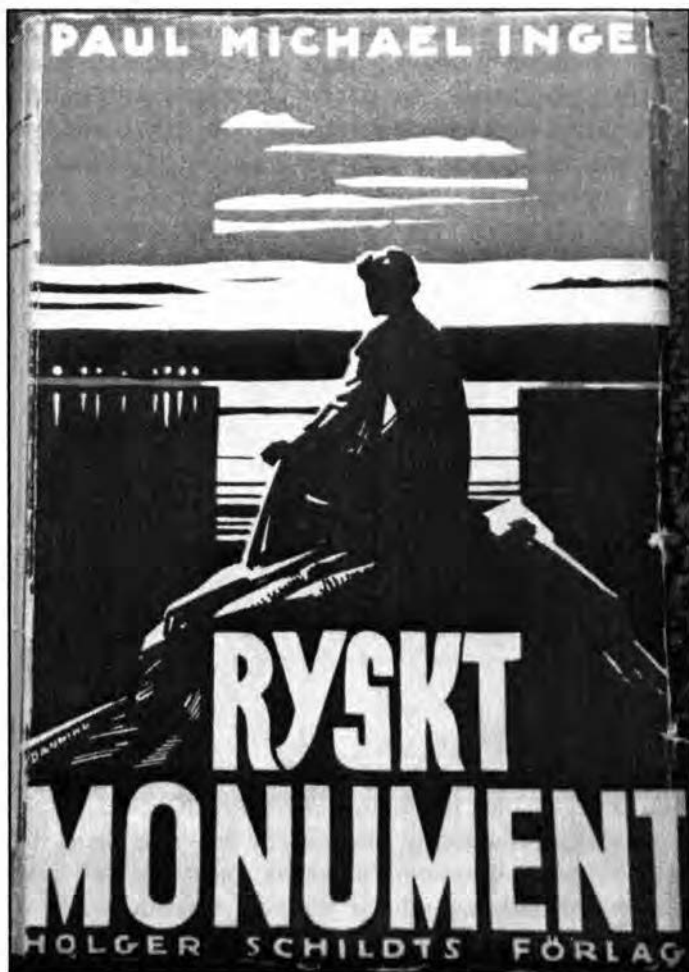


Илл.1: «Могилка любви» в 1930-е годы.

<sup>1</sup> Архитектор Иван Фомин.

<sup>2</sup> Скульптор Всеволод В. Лишев, 1877-1960 гг., впоследствии автор памятников Моцарту Мусоргскому, Петру Первому и Карлу Марксу, в 1933 г. удостоился Сталинской премии. См. его биографию: В. Бойков 1960.

Этот памятник стал в 1930-е годы местом паломничества для финских туристов, в особенности для влюбленных пар, которые приносили туда цветы и окрестили этот памятник «могилой любви». Жизнь Марии Крестовской была мало кому известна, но образ тоскующей женщины на гранитной скале вызывал романтические чувства. Шведский писатель П. М. Ингель (псевдоним Рагнара Хольмстрема) в 1933 г. посвятил новеллу этой любви. А в 1950 г. появился финский роман Яакко Терентила (Тойванен) на ту же тему.



Илл.2: Книга П. М. Ингеля, художник обложки А. Даннинг, 1933.

Знакомые с истинной историей местные жители считали, что памятник надо было поставить супругу Марии, Евгению Эпафродитовичу. После первой мировой войны он потерял свое состояние и, полуслепой и беспомощный, скончался в Париже в 1920 г. Судьба Марии Крестовской содержится в ее дневниках, где описан роман 1900 г. с директором театра С. Н. Виноградским, которого она обожала всю свою жизнь. Мария Крестовская была не только актрисой, но и сравнительно известной писательницей.<sup>3</sup>



Илл.3: Гранитная скала, оставшаяся от памятника; трещина заделана цементом. Имя скульптора указано, что бывает не часто. Фото: Елена Хеллберг-Хирн 2003.

Те же самые события описаны в мемуарах Марты фон Хаартман-Меес.<sup>4</sup> Марта обрела, наконец, семейное счастье в Голландии, доказав тем самым, что любовь не навсегда была похоронена в Ваммельсуу. Амур и по сей день пускает свои стрелы куда ему заблагорассудится, обрекая людей на радость и страдание.

<sup>3</sup> См. ее краткое жизнеописание, составленное И. И. Казаковой (DRWW, 1994).

<sup>4</sup> Haartman-Mees 1972.



Илл.4: Ныне трудно найти это место, вокруг вырос лес, но все же туда приходят люди. Фото: Елена Хеллберг-Хирн 2003.

Территория Ваммельсуу в большой мере пострадала от войны и послевоенных событий. Бронзовая скульптура Марии, судя по всему, была перелита на гранаты, которыми возможно сиреляли из укреплений, устроенных рядом с ее могилой. Былая просека к Финскому заливу заросла деревьями, а церковь сравнялась с землей. От виллы Марийоки не осталось и следа. Неподалеку стоял когда-то огромный дом Леонида Андреева в стиле скандинавского модерна. Он также был полностью уничтожен. Сам писатель был похоронен около Марийокской церкви, но его останки в 1957 г. были перевезены в Ленинград. (Перевод со шведского: Елена Хеллберг-Хирн)

## ИСТОЧНИКИ

- Andreeva, Vera (1977), *Talo Vammelsuussa*. Porvoo: WSOY.  
DRWW (1994), *A Dictionary of Russian Women Writers*. Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, Mary Zirin (eds.). Westport, CT: Greenwood Press.  
Engman, Max (2000), *Lejonet och dubbelörnen: Finlands imperiella decennier 1830-1890*. Svenska humansitiska förbundets skriftserie 113. Stockholm: Atlantis.

- Haartman-Mees, Martha von (1972), *Vinddriven*. Ekenäs: Ekenäs tryckeri.
- Heikkilä, Ritva (1991), *Terijoen vuodenajat: Ollinpäässä kuultua, nähtyä, koettua*. Helsinki: Kirjayhtymä.
- Hirn, Sven (2003), Postkarelianismen. *Karelska Korsvägar: texter från seminarium i St.Petersburg, oktober 2003*. Elena Hellberg-Hirn, Sven Hirn (eds.). Helsingfors: Svensk-ryska föreningen i Finland, 6-29.
- Hirn, Sven (2004), *Kaunotar ja hirviöitä: kotimaista kulttuurihistoriaa*. Helsinki: Yliopistopaino.
- Photographs (1989), *Photographs by a Russian Writer. Leonid Andreyev: an Undiscovered portrait of pre-revolutionary Russia*. Richard Davies (ed. and introd.). London: Thames and Hudson.
- Reijonen, Tuuli (1968), *Kannaksen mosaiikkimaailma*. Helsinki: Otava.
- St. Petersburger Zeitung (1898, 1906), *St. Petersburger Zeitung* (31.3.1898; 10.8.1898; 27.6.1906).
- Бойков, В.С. (1960), *В.В. Лишев. Скульптор*. Л.: «Художник РСФСР».
- Григорьева, Н.В. (2002), *Путешествие в русскую Финляндию: Очерк истории и культуры*. СПб: Норма.

## THE DACHA KINGDOM

**KRISTINA ROTKIRCH**

## **Karelia Through the Umbilical Cord**

During the last years of her life, my mother slept under a blown-up photo of her home on the Karelian Isthmus. She suffered from a depression which had developed slowly after my father's death, but which I understood to be the result of three traumatic bereavements earlier in her life. The first one occurred when she lost her mother: the radiant Magda Ofelia abandoned her husband as well as her young daughter and only child in Viborg for a handsome officer in Helsinki. The second one was the death of her beloved father which left her alone in the world at the age of nineteen. And then, with the Finnish-Soviet wars, came the loss of her native city Viborg and her summer home at Tyrisevä, a village in the community of Terijoki on the Karelian Isthmus.

I have always regretted not having known my maternal grandfather, Oskar Forstadius. He was born in 1875 as one of six children in a family of priests in Valkeasaari (now Sestroretsk in Russia) in northern Ingermanland, and was evidently a man who fully enjoyed the pleasures of this world. He was good-humored and had an easy laugh, he loved to sing and eat and drink in company, he was a tender gardener and an avid hunter. And even though he became quite heavy around the waist, he apparently never lost his ability to dance the "ripaska"<sup>1</sup> before his untimely death in 1932 .

The Karelian Isthmus was a crossroad of cultures: here influences from North and South, West and East met. In Viborg many people spoke four languages: Finnish, Swedish, German and Russian as did my grandfather. (I remembered how my mother, later complaining about the general dullness of Helsinki, pointed to the fact that there only two languages were spoken).

---

<sup>1</sup> Russian "trepak" -dance.



After graduating from the classical gymnasium in Viborg, Oskar Forstadius studied medicine in Helsinki and was actually one of the assistants at the Surgery Hospital in 1904 when the Russian governor, general Nikolai Bobrikov, was brought in, mortally wounded by the Finnish activist Eugen Schauman.

Shortly afterwards the young doctor joined an ambulance team and traveled eastward with the Russian army in the 1904 –1905 war against Japan. From there he brought back a surprisingly big collection of Chinese artifacts: small Buddhas, exquisite porcelain, luxurious fabrics and stately enamel vases which eventually found their home in his summerhouse at Tyrisevä. After the war, Oskar Forstadius worked as a district doctor in various places in Karelia and settled in Muolaa where he brought his young wife Magda Ofelia, born Rydman in 1889, and where their daughter Eva was born in 1912.

As the attractive and lively Magda did not find life in Muolaa especially exciting, the couple used to save up money and go for a splurge to St. Petersburg. They also visited the nearby fashionable Terijoki resort – an area blessed with a mild climate and magnificent long sandy beaches which attracted people from all over Finland as well as international summer visitors, among them mostly Russians from nearby St. Petersburg. This “Finnish Riviera” was famous for its numerous spas, elaborately carved wooden dachas and easy-going social life off and on the beach.

The Russian revolution and Finnish Independence in 1917 closed the border towards the Soviet Union and profoundly changed life on the Karelian Isthmus. Oskar Forstadius’ childhood home, the parsonage in Valkeasaari, was now on the Soviet side of the border. His brother, Alfred Forstadius, who had succeeded their father Alexander as the vicar, was arrested in the fall of 1918 and imprisoned in St.Petersburg for a short time. Back in Valkeasaari he, his wife and their four children were given the choice of leaving within 24 hours or being shot. Their escape through marshes and gun fire on a cold and wet November night is a dramatic piece of family history.<sup>2</sup>

Back in Finland, my grand uncle Alfred Forstadius settled as a parish priest in Terijoki, which also had changed dramatically. Gone was the prosperous trade with St. Petersburg, gone were the wealthy Russian dacha owners, gone were the elegant Russian ladies with their boisterous families. A few lived on as poor emigrants, but most of them fled further or perished

---

<sup>2</sup> Pekkanen 2004.

in the waves of the revolution. For many years their sumptuous houses stood empty with grass-grown tennis courts and dried-up fountains. In Terijoki alone there were around 350 empty dachas whose former owners had disappeared into nowhere.

In 1920 the Finnish parliament passed a law which enabled the purchase of those deserted premises. The Forstadius family took advantage of this opportunity in the early twenties and bought three properties at Tyrisevä. Many of the most beautiful and costly Russian dachas in Terijoki were actually found on the ridge of Tyrisevä. “Among others there were the Peremont family’s castle-like stone villa adorned with towers, the huge dacha which had belonged to the imperial children’s doctor Ostrogovsky and count Sjeremetiev’s luxurious summer residence which later became a vacation home for Finnish railroad workers”.<sup>3</sup>

The Forstadius family settled for plainer accommodations. Presumably helped by their relatives, Oskar and Alfred Forstadius’ two unmarried sisters Selma and Bertha bought an old Russian-style wooden house surrounded by a fruit- and vegetable garden at the convenient distance of one kilometer from the Tyrisevä railway station. The former owners cannot have belonged to the resort aristocracy as that house boarded on an inner court with outbuildings containing a sauna, an outhouse, a small cow barn, a hen house and wood piles. Selma and Bertha Forstadius called their place “Humina” (The Sough) and lived there permanently. Close by on the other side of the road, between the Tyrisevä brook and an old spruce hedge with flying squirrels, there was a big wooden Russian log house which became the summer home of Alfred Forstadius’ eldest daughter Alfhild and her husband Emil Pekkanen. It was a stately dacha, two stories high, with six rooms, a glass veranda and balconies on each level leaving plenty of room for their boys Pentti and Raimo.<sup>4</sup>

By the early twenties my grandfather Oskar Forstadius had left Muolaa and joined the army as a military doctor. To his great sorrow, Magda had deserted him for another man and gone off to Helsinki. When nine year old Eva heard her father crying night after night, she was afraid that he would kill himself, and she hid his hunting rifles. The two of them now lived in Viborg, more precisely at Torkelsgatan 8. It was a pleasant apartment which faced the main esplanade and included reception rooms for the doctor’s private practice. But as the location was in the very center of the city

---

<sup>3</sup> Koho 2008.

<sup>4</sup> Pekkanen 1999.

and Oskar Forstadius' financial situation evidently had improved, he joined his relatives and bought a summer home at Tyrisevä.

I do not know if their house had a name. For a long time I believed that "Tyrisevä" was the name of the house, not of the village, as my mother Eva always used that word speaking about her childhood home. She was not a person inclined to sentimentality, but when she said "Tyrisevä" there were such piercing undertones of loss and longing that I can feel them even today. For me, the word "Tyrisevä" came to embody a fragrant mixture of pine trees, roses, sandy roads, endless beaches and the open horizon on the Gulf of Finland. The days were always filled with sunlight and at nighttime you could see the lights from the Kronstadt fortress on the Soviet side. The air had a special freshness and the atmosphere was light and lively. Later on I learned that the climate actually was considered so healthy that doctors in St. Petersburg used to recommend Tyrisevä as an ideal summer resort for their patients.<sup>5</sup>

The house Oskar Forstadius bought was situated on the same side of the road and quite close to Selma's and Bertha's place, just some hundred meters to the north. This way Oskar made sure that his daughter would be cared for by her nearby aunts during his absences. My grandfather's decision may also have been influenced by the fact that the house had belonged to a Russian doctor and the medical serpent emblem was inscribed above the main entrance. This house was built in a style which might be characterized as Petersburg empire and differed noticeably from the traditional Russian style of his sisters' house and the Pekkanen family's dacha across the road.

During my own childhood in typical Finnish summer houses where you had to carry the water and empty the outdoor toilet, I used to marvel at my mother's description of her Tyrisevä home: there had been running water, a bathroom and an indoor toilet. Furthermore, there had been many bedrooms, a real dining room, a big glass veranda and a spacious living room with a piano. Even from the small black and white photos which have remained, you get the impression of endless summers filled with guests, now for most part impossible to identify. My grandfather is in the middle of it all, strangely enough always dressed in his uniform. Yet he must have been a passionate gardener who had managed to create large flower beds in the sand between the pine trees. He took special pride in his magnificent stem roses.

---

<sup>5</sup> Kähönen 1982, 220.

And suddenly Oskar is sitting on a bench, together with Eva and a smiling woman. In another photo you see this woman playfully hugging a pine and tossing her head. Unfortunately the color is lost – Berta Stammmler’s pride was her flamboyant red hair. This young woman had left her native Munich after a family drama: she had fallen in love with her sister’s husband. The solution was to go to the end of the world which proved to be Viborg. There she gave German lessons before meeting the deserted Oskar. They married and evidently managed to console each other.

Oskar was over twenty years older than his second wife. He was already quite heavy, but moved with ease and was blessed with a lively, cheerful temper. In the army he was a well known and popular figure. “During the first years ‘papa’ Forstadius served as doctor in a heavy artillery regiment. He had been educated in the war with Japan and was a splendid person whose kind-heartedness and hospitality were known all over the garrison. He treated the soldiers in a fatherly and understanding way, but could put on quite a show if he noticed that somebody tried getting away with something”.<sup>6</sup>

Berta was called Bertl and seems to have been a good wife, a pleasant stepmother and a fine hostess. Guests would arrive by train from Viborg; many of them Oskar’s officer colleagues and some former Russian military men whom he might have befriended already in the Russian-Japanese war. To the easy mingling of Finnish and Swedish in the Forstadius family, Bertl added her soft Bavarian German and the émigré officers their vivacious Russian. Thus the typically Karelian language foursome was present also at home in Tyrisevä.

Of these languages, my mother never learned Russian although she was teasingly called “Eva Oskarovna” by her father’s friends. But she never forgot the “*khorošhoe morozhenoe*” shouted by the ice cream vendor down at the beach. She went there on a bicycle and that ride must have been magic – downhill through the pine groves towards the immense glittering surface of the sea. The beach was totally virgin, with no buildings except for the rows of bathing-huts a bit further up on the shore, looking like something out of a fairytale. Most summer visitors had bathing-huts of their own where they changed before emerging into the clear, slightly salty water.

The sea lay wide open, the sand was soft and warm, the beach seemed to have no end in either direction, the skies were higher than anywhere else and the air filled with the fresh smell of heather and pines. And once you

---

<sup>6</sup> Santavuori 1954, 220.

stepped into the water, there were the sand banks. At first, you went gradually deeper until you came to the first bank where you could stand almost dry-shod, then you went deeper again until you came upon the second bank. From there you could walk with your feet on the bottom to the third one and then, if you could swim in deep water, you might venture out to the fourth and then there was still one final bank to be found under water. Of all my mother's Tyrisevä memories, the ones from the beach were the most intense. Here nature was both majestic and appealing in an intimate, sensuous way, here life was totally carefree. Here she met with her friends Sinikka, Vera and Erkki, here they posed for heaps of happy photos which today seem touchingly innocent and unsuspecting. Here you could occasionally see mirages over the water. And here you could get the best ice-cream in the world!

Tyrisevä was a small and comparatively poor village and the loss of Russian visitors as well as the Petersburg market was heavily felt. And although the village recovered and developed during the years of Finnish independence through market gardens and even extensive bee-keeping in addition to the traditional fishing, social and living conditions were remarkably different for summer guests and the permanent population. In this respect the Forstadius family was atypical, as it included both kinds of Tyrisevä people.

Whereas the Pekkanens came all the way from Helsinki and Oskar Forstadius with family from Viborg, Oskar's sisters Selma and Bertha lived at Tyrisevä the year around. Their house was a pleasant gathering place and numerous photos were taken on the porch, showing family members from all over Karelia. Each Saturday they heated the sauna and afterwards served tea from a samovar and delicious "vatrushka" pastry.

Yet their life was far from idyllic. Both sisters lacked formal education, they were getting old and Selma especially was ailing. They had a cow, some hens, a vegetable garden and some land which they rented out, presumably for help with fire wood and snow clearing in the winter. Bertha also gave sporadic lessons in Swedish, but they lived in poverty and would not have managed without help from the rest of the family. Yet they seem to have been good-humored and contented with their life, and they were fondly remembered by my mother and Raimo Pekkanen.

The news of my grandfather's untimely death on May 1<sup>st</sup> in 1932 was brought to my mother when she, as a first year student, was participating at the May Day celebrations in Helsinki. On a photo from her father's funeral one can discern the circle of her white little face. As she could not afford to

continue her studies, she went abroad instead, as an au pair to England and to France in order to perfect her languages. It was only after her marriage in 1938 to Holger Witting that they together took up summer life in the old Tyrisevä style with long walks on the beach, a happy flow of guests and excursions to "The tomb of Love" in Vammelsuu and Ilya Repin's Penaty in Kuokkala.



**Pic.1:** Mrs. Ellen Witting with her granddaughter Kristina in Tyrisevä, summer 1939. (From the personal archives of the author)

In the summer of 1939 they brought their first-born to Tyrisevä and there are pictures of me as a baby among the pine trees outside the house. I am in the arms of my paternal grandmother, and the pictures might have been

taken by my father who had become deeply attached to the Karelian Isthmus where he invited friends and family. This was the last summer and in the years to come many remembered the cannon-shots from Kronstadt which made windows shake, occasionally even shatter.



**Pic.2:** The house of military doctor Oskar Forstadius in Tyrisevä, beginning of the 20<sup>th</sup> century. (From the personal archives of the author)

After the start of the Winter War in November 1939 Selma and Bertha Forstadius were hurriedly evacuated from the Karelian Isthmus together with the whole population of Tyrisevä, leaving the little they owned and all they loved behind them. Selma died the following year whereas Bertha lived in Järvenpää until her death in 1958. She used to visit us in Helsinki, but I was too young and self-absorbed to take any interest in her earlier life.



**Pic.3:** Eva Forstadius and Vera Salomaa on the Tyrisevä beach, summer 1927. (From the personal archives of the author)

In the fall of 1941 when the Finnish army had reconquered part of Karelia, the 14 year old Raimo Pekkanen joined a schoolboy brigade sent out to harvest what was possible on the Isthmus. As Raimo found himself situated not too far from Tyrisevä, he could not prevent himself from going there even though the area was in a battle zone. Together with another boy he walked thirty kilometers until he found the ashes of Tyrisevä station and further on the ruins of his home. The retreating Finnish army had burned most of the buildings on the Karelian Isthmus in order not to supply the invading Soviet forces with shelter during that exceptionally cold winter.



“It was a terrible sight. The well-known summer scene of so many happy events had changed into partly snow-covered heaps of gravel in the middle of which tin stoves still were standing. We sat and chewed our hard rye-bread in silence. All the houses in the village were destroyed except for Haajanen’s sauna.”<sup>7</sup>

Growing up, I sometimes wondered whether it would have been better if my mother, as so many Karelians did, had gone back and seen Viborg and Tyrisevä incorporated in the Soviet Union. Perhaps the mere fact of geographical endurance might have helped her to deal with her loss. And now, definitely grown up, I realize how much of it she transmitted to me. Today contemporary Russian literature is my main professional interest and I frequently travel by train to Moscow or St. Petersburg. Still, it is always painful to pass through Viborg and the Karelian Isthmus.

## Bibliography

- Kiuru, Paavo (1976), *Tyrisevän kylä*. [Personal genealogy].  
Koho, Kari (2008), *Tyrisevä*. [www.terijoki.fi/tyriseva.html](http://www.terijoki.fi/tyriseva.html) (15.5.2008).  
Kähönen, Ester (1982), *Entinen Terijoki – kylämuistoja*. Kouvola: Teri-säätiö.  
Pekkanen, Pentti (1983), *Forstadius-suku*. Helsinki. [Personal genealogy].  
Pekkanen, Raimo (1999), *Menneitä muistelen*. Helsinki. [Personal genealogy].  
Pekkanen, Raimo (2004), *Vanhempani*. Helsinki. [Personal genealogy].  
Pirilä, Pia Barbara (1975), *Hospodi*. [Ekenäs]: Söderström.  
Santavuori, Martti (1954), *Tähti, ruusu ja leijona. Suomalainen sotilaallinen johtaja kaskujen ja huumorin valossa*. Helsinki: Pellervo.

---

<sup>7</sup> Pekkanen 1999.

**Changing Forms of Summer Dwelling**

—

**Меняющиеся формы дачничества**



## **«Крестьянский домик, нанимаемый горожанином»: о некоторых метаморфозах петербургской / ленинградской дачи в XIX-XX вв.<sup>1</sup>**

Выезд на дачу – традиция, начавшая распространяться в России во второй половине XVIII века, первоначально была прерогативой почти исключительно дворянского сословия. Однако уже к концу первой трети XIX века обычай иметь два дома – зимний и летний – начал охватывать довольно широкие массы горожан, и, прежде всего, Санкт-Петербурга.

Фаддей Булгарин в своих очерках, публикуемых в «Северной пчеле», отмечает формирование даже особых, «летних», дачных нравов и обычаев, отличных от зимних:

Владельцы особые и богатое дворянство в Германии и во Франции переняли у итальянцев вкус к загородным домам. Позднее он перешел в Англию. Но до конца XVIII века жили на дачах или в загородных домах только цари, владельцы князья, вельможи и первостатейные богачи. Дворянство уезжало из города на лето в свои поместья; чиновники прогуливались в публичных садах или выезжали за город с семьями подышать чистым воздухом; купцы и ремесленники не дерзали переселиться из своей лавки, конторы или мастерской. Одним словом, горожане жили зимой и летом в городе, в городской черте, и только по праздникам, в хорошую погоду, прогуливались за городом. [...] В России постройка дач стала распространяться в

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №06-06-80278а «Историческое пересоздание структур латышской этнической культуры», Программы Фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» по теме «Эволюция культурного облика Европы под воздействием миграционных процессов и модернизации общества», а также при содействии Фонда содействия отечественной науке РАН.

царствование императрицы Екатерины Второй, вместе с развитием просвещения. Модное место была Петергофская дорога. Острова были пусты. Каждый из них принадлежал какому-нибудь одному лицу и имел не более одной дачи. Там, где ныне тысячи дач, было всего четыре... В Стрельной и от Стрельной мывы до Петергофа не было ни одной дачи еще в мое время. Сказать о ком-нибудь: он *живет на даче*, значило то же что: он *богат, силен и знатен*. [...] А ныне? [...] Почти все сидельцы Гостиного двора проветриваются по праздникам на дачах своих хозяев. [...] Не ищите летом купца в лавке, аптекаря в аптеке, немецкого мастерового в мастерской, бумажного дельца в его кабинете! Все они на даче! [...] На даче более естся, более спится, более гуляется – и менее работается. Дамы разговаривают потому, что на дачах легко знакомятся и по соседству часто сходятся. Зимой можно и не продолжать летнего знакомства, ибо два города, летний и зимний, имеют особые нравы и обычаи.<sup>2</sup>

Первоначально дачи представляли собой «загородные места, данные во владение Правительством или купленные каким-либо лицом», или «лесистые участки земли вокруг Петербурга, раздаваемые даром для постройки на них загородных домов».<sup>3</sup> Однако уже в середине XIX века ситуация несколько меняется. А. Греч в 1851 г. пишет: «Под именем дачи теперь разумеется нередко крестьянский домик, нанимаемый горожанином на летние месяцы».<sup>4</sup>

Примечательно, что в середине XIX века дача оставалась преимущественно петербургским явлением; это отмечал писатель и публицист В. Межевич в «Северной пчеле»:

Слово дача в значении летнего загородного жилища есть, можно сказать, почти исключительный термин Петербурга. Москва усвоила его от северной столицы, и то в недавнее время. Наши провинциальные города пока еще дач не знают. В Москве несравненно меньше живут на дачах, нежели в Петербурге [...] Москва имеет множество садов, бульваров, освежающих воздух благоуханием и доставляющих тень и прохладу жителям [...] Поэтому дачная жизнь в Москве не укореняется, не превращается в необходимость для каждого...<sup>5</sup>

Таким образом, обычай снимать дачу, или строить дачный дом, и переселяться туда на лето широко распространился в первой трети XIX века в Петербурге, и уже оттуда начал распространяться и среди городского населения всей России. Среди функций дач культуролог Альбин Конечный отмечает возможность несколько сэкономить средства, необходимые на оплату квартир доходных домов, освобождение от тягот жестко регламентированной службы; дачная жизнь была так-

<sup>2</sup> Булгарин 1837; см. подробнее: Конечный 2005.

<sup>3</sup> Воскресный летний день в Петербурге 1841.

<sup>4</sup> Греч 1851.

<sup>5</sup> М/ежеви/ч 1842.

же источником более легкого и непринужденного общения в новой обстановке.<sup>6</sup>

Во второй половине XIX – начале XX века дачная топография окрестностей Петербурга укрепилась: сформировались дачные поселения на островах – Аптекарском, Крестовском, Каменном, Елагином, в Старой и Новой Деревне, Парголово, Павловске и т.д. Появляется немало журнальных очерков и фельетонов, посвященных дачной жизни; значительное место она занимает и в частной переписке, и в мемуарах, и в художественной литературе<sup>7</sup>.

Весьма интересна заметка Н.А. Лейкина из серии очерков «Наше дачное прозябание» о том, как дачная жизнь преобразовывала купечество:

Серый купец, познавший прелесть цивилизации в виде дачной жизни и решаясь впервые выехать на лето из какой-нибудь Ямской или с Калашниковой пристани, едет на Карповку и потом, постепенно переходя к Черной речке, Новой деревне, Лесному, дойдет до Парголово и Павловска. На Карповке он отвыкает от опорок, заменяя их туфлями, ситцевую рубаху с косым воротом и ластовицами, прикрывает миткалевой манишкой, меняет на полотняную сорочку, начинает выпускать воротнички из-за галстука, перестает есть постное по средам и пятницам, сознает, что можно обойтись без домашних кваса и хлебов, начинает подсмеиваться над кладбищенскими стариками, наставниками древнего благочестия, сознает, что и «приказчики – тоже люди», укорачивает полы сюртука, отвыкает от сапогов со скрипом и впервые закуривает на легком воздухе «цигарку», – одним словом приобретает лоск и быстро идет к прогрессу.<sup>8</sup>

Таким образом, мы видим, как дача – квази-деревенское культурное пространство – начинает укреплять городское, цивилизационное и в какой-то мере западническое сознание людей третьего сословия. Оказываясь на даче, они понимают, что уже весьма далеки от местных деревенских жителей.

Традиция съема дачи, продолженная в советское время, несмотря на существенные отличия от подобной же практики в дореволюционной России, имела, тем не менее, некоторые особенности, которые дают возможность говорить о преемственности этого института. Уже в практике XIX века можно выделить две формы дачи: снимаемая на время и приобретаемая в собственность. В советское же время дача

---

<sup>6</sup> Конечный 2005, 446.

<sup>7</sup> Здесь, конечно, прежде всего, нужно вспомнить рассказы А.П. Чехова. См. автобиографические заметки: Зотов 1890; Деотто 1997; Пискарев & Урлаб 2005.

<sup>8</sup> Лейкин 1912.

начала играть роль «личной собственности», воспринимаемой как своего рода вариант в принципе отсутствующей частной собственности. Кроме того, дача стала признаком относительно высокого социального статуса, материального благополучия, местом реализации творческого потенциала.

Стивен Лоуэлл, автор фундаментальной монографии об истории дач в России, отмечает глубоко урбанистический характер самого явления дачи. Дачу снимает горожанин как место, где он – время от времени – может жить, но где ему не нужно заниматься ведением хозяйства<sup>9</sup>. Таким образом, наличие дачи расширяет жизненное пространство; однако эта форма временной собственности не закабальет человека, не привязывает его окончательно к данной территории и дому. Ведь на следующий летний сезон можно снять дачу в другом месте. Дача, по мнению С. Лоуэлла, относится к двум различным культур-антропологическим категориям расширения городского пространства: «пригороду» (Suburban, «a place contiguous with the city where urbanites live»), и «загороду» (Exurban, «a place spatially separate from the city, but again inhabited by urbanites (i.e. by people whose work etc. is in the city)»)<sup>10</sup>.

Опираясь на данное разделение, можно выявить две стратегии дачного поведения горожан: в первом случае дачи-«пригорода» речь идет об окраине города, куда можно наведываться довольно часто и ненадолго, не меняя своего заведенного городского уклада; во втором случае, дачи-«загорода», туда переезжают, там осваиваются, и начинают вести иной образ жизни. Нельзя сказать, что эти две стратегии принципиально различны, они скорее взаимодополняют друг друга; они выстраивают разную территориальную, но в еще большей степени культурную дистанцию от города.

Традиция съема комнат в крестьянских домах, в деревнях и на хуторах, продолжала сохраняться в широких кругах интеллигенции Ленинграда и в послевоенные годы XX века. В этом отношении излюбленными стали восточные районы Прибалтики, и в частности Латвии – Латгалия, куда многие семьи были привлечены живописными окрестностями, множеством чистых озер и лесов с грибами и ягодами, качественной молочной продукцией на местных сельских рынках, ухоженностью и уединенностью хуторских хозяйств, приветливостью

---

<sup>9</sup> Lovell 2003.

<sup>10</sup> Благодарю Стивена Лоуэлла за консультации и пояснения.

хозяев. Немаловажной была и относительная близость Рижского взморья с ее близкой к дачной, но все же иной культурой курортов. Дачные места Латгалии формировались, в частности, в связи с развитием железнодорожного и автобусного сообщений: так, весьма популярными стали районы вокруг городов Резекне, Лудза, Прейли.

Многие семьи Ленинграда выезжали туда на все лето, снимая комнаты на хуторах и в деревнях. Циклическое появление довольно большого количества дачников дополняло и усложняло социальную и этнокультурную картину этого и без того весьма сложного пограничного региона, где издавна жили латгальцы, белорусы, поляки, русские (прежде всего, старообрядцы), где существовали области с нечетким этническим самоопределением (т.н. «тутейшие»), и где в городах (особенно Даугавпилсе и Резекне) за годы советской власти сильно вырос процент жителей, в основном, семей рабочих и военнослужащих, мигрировавших из самых разных областей СССР. Широкое развитие промышленности в советский период обусловило массовый приток населения в эти районы, что имело определенные сложные последствия в местной этнодемографической ситуации. С другой стороны, весьма ограниченные возможности поездки за рубеж для широких масс населения СССР делали временные летние выезды на дачу в республики Прибалтики привлекательными. Это было соприкосновение с иным – латышским, латгальским, литовским, эстонским миром.

Такое временное, хотя на поверку весьма продолжительное, обитание ленинградцев-дачников в этой освоенной столь разными этническими, социальными, конфессиональными группами, имеющими разный жизненный опыт и придерживающимися разных традиций и обычаев, порождало ситуацию, сходную с практикой «включенного наблюдения» в этнографических исследованиях, и создавало благоприятные предпосылки для этнокультурного диалога.

Дихотомия «свое»/«чужое» здесь подчас обретала более острый чем во внутренних областях Латвии, характер. Это было инспирировано как бытовыми привычками, так и идеологическим настроением участвующих сторон, их разным культурным опытом, разными семейными обычаями и представлениями, разными традициями повседневного этикета. Однако именно здесь вырабатывались и механизмы добрососедства, разрешения конфликтов, умения слышать и воспринимать чужое, приспосабливаться к нему, находить позитивные стороны во всяком общении. Все это происходило на повседневном, «низовом» уровне. Важно, что все этапы поиска, съема комнат или домов и жиз-



ни там были делом личной инициативы. Память о прибалтийской дачной жизни сохраняется во многих семьях петербургско/ленинградской и московской интеллигенции; в отличие от контактов другого типа (в частности, у трудовых мигрантов и семей военнослужащих), она является мощным источником эмпатии.

Распространение возможности и традиции покупки дома с шестью сотками земли – собственность, также получившая название «дачи» в советском быту 1970-80-х гг. – была одним из феноменов, ведущих к размыванию самого института дачи в том смысле, о котором мы вели речь до сих пор. Отныне дачей стали называть постоянную собственность, хотя и чрезвычайно небольшого размера, где, однако, как правило, необходимо вести хоть какое-то хозяйство. Это вело к значительному снижению числа снимаемых дач, в частности, в таком традиционном «дачном анклав», как пригороды Ленинграда и восточные районы прибалтийских республик.

Хотя массовый съем дач в Латгалии прекратился в конце 1980-начале 1990-х гг. в связи с оформлением государственной границы между Россией, Белоруссией и Латвией, обретенные местными жителями навыки организации подобных хозяйств не исчезли. В середине – второй половине 1990-х гг. на их основе начали создаваться так называемые «натуральные экологически чистые» частные хозяйства, вошедшие в новую систему экотуризма. Они обозначаются в информационных и рекламных туристических печатных материалах и Интернет-сайтах как «отдых на селе», привлекательность которого заключается, прежде всего, в живописных лесных и озерных массивах вокруг, простых, но комфортных условиях проживания (деревянные домики, бани, оборудованные детские площадки, современная сантехника), а также, во многих случаях, природные и культурные достопримечательности неподалеку, такие как, например, Аглонский кафедральный собор с его чудотворной иконой Божьей Матери, почитаемые природные объекты, старинные крупные деревья, камни-валуны, родники и озера, овеванные легендами и преданиями. Среди приезжающих сюда посетителей, несмотря на усложнившийся по сравнению с советским временем въезд, немало россиян, поддерживающих контакты со старыми знакомыми местами и их хозяевами.

Таким образом, традиция «крестьянского домика, снимаемого на лето горожанином», не исчезает в балтийских республиках, но преобразуется, теперь уже в новых условиях общеевропейского экономического пространства.

## Литература

- Булгарин, Ф. (1837), Дачи. *Северная пчела*, (9 августа).
- Воскресный летний день в Петербурге (1841), *Северная пчела*, (13 августа).
- Греч, А. (1851), *Весь Петербург в кармане*. СПб, 176-177.
- Деотто, П. (1997), Петербургский дачный быт XIX века как факт массовой культуры. *Europa Orientalis*, № 1, 357-371.
- Зотов, В.Р. (1890), Петербург в сороковых годах. *Исторический вестник*, т.39. № 2, 324-343.
- Конечный, Альбин (2005), Петербургские дачи. *Антропологический форум*, № 3, 444-452.
- Лейкин, Н.А. (1912), Наше дачное прозябание. *Неунывающие россияне: Рассказы и картинки с натуры*, Изд. 2-ое, 226-227.
- М/ежеви/ч, В. (1842), Петербургские и московские дачи. *Северная пчела*, 17-18 августа.
- Пискарев, П., Урлаб, Л. (2005), Дачный быт Петербурга в начале XX века (публикацию подготовил А. Конечный). *Антропологический форум*, № 3, 452-474.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.



## **«Дача – это просто когда дом строится, дом на земле»: дачные практики и представления северян<sup>1</sup>**

### Дачная культура за Полярным Кругом

Дача как историко-культурное явление – атрибут урбанистической культуры, о чем убедительно свидетельствуют все имеющиеся исследования. В России дача и дачный образ жизни долгое время ассоциировались преимущественно с бытом столичных жителей, в том числе научной и творческой интеллигенции. Массовым этот вид социальных практик стал в позднесоветский и особенно – постсоветский период. В современной культуре дачные практики полифункциональны. Они являются одновременно хозяйственными, рекреационными, креативными. Дачные сообщества занимают свое место в социальной стратификации, дачник – это социальный статус. Вместе с тем дача может быть рассмотрена как культурный концепт, как время и пространство, что предоставляет особые возможности для социально-антропологических исследований.

При всей универсальности данного феномена легко предположить, что существует региональная специфика становления и развития дачной культуры на общем фоне субурбанизационного процесса. Природ-

---

<sup>1</sup> Статья выполнена по материалам исследования по проекту «Современные локальные сообщества Кольского Севера на этапе трансформаций Российского общества: социокультурные факторы стабилизации», которое осуществляется в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».

но-климатические, демографические, историко-культурные и прочие различия территорий сказываются на особенностях дачного образа жизни и самого дачника как социального типа (или типов), на значениях дачи и мотивах дачной деятельности. В первую очередь, действуют факторы, которые связаны с характером осуществления урбанизации в конкретном регионе, с профилем и историческими типами городов и городских сообществ. Концептуализация «дачи» и дачничества, оценка их престижности, как и многое другое, зависят от свойств территориально-поселенческих групп, особенностей их локального самосознания, культурных традиций.

Крайний Север, с точки зрения большинства жителей России, представляется во многом экзотической территорией, прежде всего, в силу «экстремальных» климатических условий и географического положения «на краю земли».<sup>2</sup> Относительно автономна (как географически и административно, так и символически) самая западная его часть – Кольский Север, по административно-территориальному делению – Мурманская область. Большая часть ее территории находится в Заполярье. На сегодняшний день это одна из самых урбанизированных областей России. Урбанизация Кольского края по типу может быть отнесена к экстремальным. Осуществлялась она ускоренными темпами в советский период, на первых этапах в основном за счет труда спецпереселенцев, в дальнейшем – благодаря привлечению рабочих и научно-технических кадров с помощью экономических и идеологических стимулов. Демографический состав населения здесь отличает высокий процент горожан (ок. 93,5%, по итогам переписи 2002 г.) и мигрантов. В процессе научно-промышленного освоения территории, ее колонизации сформировались своеобразные локальные сообщества а) малых индустриальных городов области, б) закрытых, в том числе военных, городов. Между городскими жителями и немногочисленным автохтонным и старожильческим населением сельских районов существует известная культурная дистанция.<sup>3</sup> Подавляющее большинство населения – прямые потомки тех, кто переселялся на Крайний Север, начиная с первых десятилетий XX в. и особенно – с конца 1920-х до 1980-х гг., а также сами мигранты. Любой миграционный процесс включает в себя завершающую стадию – адаптацию переселенцев на новом месте, де-

---

<sup>2</sup> Разумова, Тарабукина 2006; Федоров, 2005; Разумова 2006 а.

<sup>3</sup> Петров, Разумова 2005, 115-116.

терминируемую комплексом объективных и субъективных факторов.<sup>4</sup> В рассматриваемом случае адаптация имела два основных вектора: территориальный и социальный. Во-первых, мигранты были и являются выходцами из разных исходных территорий России и сопредельных республик (ныне – государств). Вполне естественно, что адаптация к Крайнему северу уроженцев Центральной России, южных районов, Северо-Запада и т.д. протекала по-разному. Во-вторых, значительное число переселенцев, если не большинство, составили сельские жители. Они строили новые города и становились их «первопоселенцами»-горожанами в первом поколении. Этой категории людей предстояло адаптироваться не только к непривычным природно-климатическим условиям, но и к городскому образу жизни в его особой разновидности.

Идеология освоения Севера, обстоятельства миграций и микромиграций, сложности физической адаптации, правительственные инициативы в отношении северян (программа переселения тех, кто «отработал» свой стаж на Севере, предложения осваивать Север вахтовым методом) и ряд прочих факторов повлияли на восприятие мигрантами Севера как места временного пребывания. И в настоящее время определенная категория жителей считает, что Север – это исключительно место работы, а все, что связано с рекреацией, должно осуществляться в каком-то ином пространстве. Отдых для северян ассоциируется, в первую очередь, со сменой средовых условий. У них сформировался свой образ жизни, в соответствии с которым летний отпуск следует проводить на юге. Второй вариант сезонной рекреации – это поездка на родину, свою или родительскую, но и она нередко сочеталась с обязательным пребыванием на Черном (реже Азовском) море. Этому способствовала продолжительность отпускного периода. Если, например, для петербуржцев, москвичей, многих петрозаводчан, жителей ряда других городов вполне естественным и даже престижным считался в советский период отдых в Прибалтике, то для северян приемлемой была только такая компенсаторная форма организации годового цикла, которая позволяла переменить место и климат на противоположные: теплые, южные, дистанцированные от севера – «края земли». Самоидентификация сообщества «северян» и основывается, в первую очередь, на оппозиции «севера» и «юга». При этом северянин, находящийся в процессе адаптации к новому пространству и специфическим условиям, является человеком мобильным. Он постоянно, с известной

---

<sup>4</sup> Рыбаковский 1973; Аарелайд-Тард 2003; Moving in the USSR 2005.

периодичностью, перемещается между бывшей и новой родиной, между местами работы и отдыха, севером и югом страны, а также – особенно в последнее время – за ее пределы, чему способствует пограничное положение Кольского севера. Свойство мобильности входит в устойчивый образ жителя севера и служит одним из оснований его высокого статуса. Здесь следует учесть и то обстоятельство, что для свободы передвижений необходим достаточный уровень материального благосостояния, который поддерживался на севере, по крайней мере, в позднесоветский период. В этом контексте «дача» как нечто привязывающее к собственности и земле лишена того престижа, какой она имеет для жителей иных регионов и, в целом, для укорененного населения.

Обзаведение земельным садово-огородным участком и/или строительство дачного дома первоначально представляются «новому северянину» бесполезными и нерентабельными еще и потому, что здесь, во-первых, слишком холодно для отдыха, во-вторых, «ничего не растет», следовательно, «овчинка выделки не стоит». В этой связи отправным моментом адаптации можно считать первое удивление приехавших, когда те обнаруживали на Крайнем севере растительность:

*«До того, как мы сюда с мужем приехали, я думала, что на территории Мурманской области ничего не растёт, просто пустое пространство. Я так думала, потому что представляла себе, что солнце здесь редко бывает, и поэтому здесь не может ничего расти»* (Ж., 1952 г.р., переехала из Саратовской обл.).<sup>5</sup>

Таким образом, на Кольском Севере дачи и дачное хозяйство – в силу социально-демографических и экономических обстоятельств, высокого уровня мобильности населения, а также климатических условий – появляются достаточно поздно. В настоящее время наблюдается фактически становление дачной культуры в регионе. Помимо общих социально-экономических причин, оно вызвано изменением демографической и социокультурной ситуации, закономерной динамикой образа жизни и ценностных ориентаций северян. Развитию дачных практик в регионе способствовали несколько взаимосвязанных причин. Во-первых, в пореформенный период изменились социально-

<sup>5</sup> Все цитируемые тексты находятся в Музее-Архиве Центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН (г. Апатиты). При цитировании указываются пол и возраст респондентов. В тех случаях, когда фрагменты интервью приводятся в форме диалога, мы используем обозначения: И.: интервьюер, Р.: респондент.

экономические условия жизни на севере, как и в стране в целом. Снижение материального уровня привело к необходимости создания подсобных хозяйств и частичному переходу на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией, прежде всего, картофелем. Те же материальные обстоятельства сделали невозможным для многих семей проведение отпуска на море, на юге. Абсолютное большинство респондентов сейчас сетуют на то, что изменился привычный сезонный цикл жизни с его продолжительными ежегодными поездками:

*«Раньше хватало зарплаты, и мы даже отдыхали каждый год на Чёрном море, у нас такого не было, чтобы мы считали копейки до следующей зарплаты»* (Ж., 1945 г.р.);

*«Ещё, конечно, раньше всё было по-другому, и все ездили на моря, вот. Так получалось, что спокойно ездили, и денег хватало, и старались всё время... Одни фотографии только остались от тех морей»* (Ж., 1954 г.р.).

Во-вторых, в последние десятилетия XX в. изменился демографический состав населения городов Кольского Севера. Значительно увеличилось число людей старшего возраста, сформировалось поколение пожилых, пенсионеров, которые в силу не только материального положения, но и физического состояния не имеют возможности, а часто и желания и ездить на дальние расстояния, и кардинально менять климат. Их дачная деятельность может быть рассмотрена как форма компенсации утрачиваемой трудовой и досуговой активности одновременно. Кроме того, существует общее убеждение, что возраст «привязывает» («тянет») человека к стабильному существованию и «земле» как таковой: *«Старая, древняя, уже к земле тянет, всё»* (Ж., 1952 г.р. – из ответа на вопрос о мотивах дачничества).

Наконец, за десятилетия индустриализации и урбанизации на Кольском Севере сложились вполне стабильные сообщества горожан, которые называют себя северянами – иногда даже вне зависимости от места фактического рождения.<sup>6</sup> Формированию локальной идентичности и адаптации к территории способствовало осознание того факта, что молодые города были построены самими переселенцами в процессе объединяющей их созидательной деятельности. Пространство оказалось не только «присвоенным», но буквально «сотворенным». Вместе с тем северян можно разделить на несколько категорий по степени адаптированности к месту жительства. Значительная часть из них при-

---

<sup>6</sup> Разумова 2006в.



няли Крайний Север как свою «вторую родину»<sup>7</sup>. Другие воспринимают его как место временной дислокации, более или менее приемлемое, и живут с мыслью о возвращении «домой». Третьи признаются в том, что не могут примирить в себе привязанность, с одной стороны, к земле предков, с другой стороны, к полюбившемуся краю. Одна из респондентов, жительница города Кировска, которую родители привезли на север ребенком, в разговоре с одним из авторов призналась: *«И получается, что мое сердце разорвалось на две части»* (Ж., 1953 г.р.).

Появление подсобных хозяйств, садовых участков и загородных домиков: всего, что может быть ассоциировано с «дачей» и обозначено соответствующим понятием, – служит одним из индикаторов адаптированности населения северных индустриальных городов к данному месту, региону, Крайнему Северу. Вполне естественно, что у потомственных горожан и недавних сельских жителей до известной степени варьируются мотивы дачной деятельности, тем не менее, здесь можно выявить и ряд типовых закономерностей. В первую очередь, в процессе адаптации меняется отношение к северу как географической зоне. Интериоризируя пространство, человек приспосабливается и к заполярному климату. Аутсайдерам местные жители представляют условия своего существования как «экстремальные». У них же самих постепенно складывается уверенность не только в том, что природа Севера исключительно красива (общее убеждение, которое обсуждению не подлежит), но и в том, что климат вполне подходит как для отдыха на природе, так и для культивирования садово-огородных растений. Осваивая Кольский Север как пространство рекреации, северяне первоначально были сосредоточены на зимних видах спорта и «дарах» осеннего леса. Весну и лето не принято считать «временем Севера»:

*«Север у меня – это зима. Здесь хорошо зимой, а у нас хорошо летом. Я хотела бы жить здесь зимой, а там летом. Летом я здесь не представляю, летом отсюда лучше уезжать»* (Ж., 1947 г.р.).

С течением времени многие переселенцы, не говоря уже об их ближайших потомках, пришли к выводу, что на севере можно не только работать, но и отдыхать, причем и в летнее время. Это убеждение поддерживается и тем, что, по общему мнению, климат на севере меняется в сторону потепления:

---

<sup>7</sup> Разумова 2006б.

*«Климат здесь стал теплее, но трудно сказать отчего это происходит. Одни говорят, что это следствие парникового эффекта, а может быть совсем и нет, потому что на земле, если посмотреть в исторической ретроспективе, то были же и потепления» (М., 1939 г.р.);*

*«Вот не поверите, что такой раньше был ветер очень часто, сейчас- то лучше стало, и ветров таких не бывает, и температура воздуха стала, как мне кажется, в лучшую сторону изменилась, вот хорошо стало жить» (Ж., 1925 г.р.) и мн.др.*

Одно из «открытий» горожан центральной части Кольского Севера: *«У нас же есть свое море!»*. Имеются в виду Белое море и южное побережье полуострова – Кандалакшский и Терский берега. В последние годы прибрежная территория близ города Кандалакша, с которой есть регулярное транспортное сообщение, приобрела репутацию престижной зоны отдыха. В короткий срок обзаведение там дачей стало почти недостижимым для местного городского населения в силу быстрого роста цен. В настоящее время иметь дом и участок в этих местах могут лишь немногие, значительная часть которых – москвичи. Наличие же знакомых на Терском берегу Белого моря, в том числе в труднодоступных селах, считается обстоятельством, благоприятствующим отдыху, связанному с пребыванием на природе, рыбалкой и т.п. Другая сторона процесса дачной экспансии – превращение сельских жилищ и участков в дачные. Это следствие продолжающейся миграции из села в город, в которую вовлечено старожильческое (поморское) население Кольского Севера.

В 2006 г. нами было проведено эмпирическое исследование, в задачи которого входило определить факторы становления данной рекреационно-хозяйственной деятельности в специфических условиях, ее мотивы, особенности функционирования понятия «дача» в регионе; мнения жителей о функциях дачи, особенностях дачных практик на Севере. Объект исследования – 1) потомственные и недавние городские жители Крайнего Севера, выходцы из различных регионов, а также уроженцы Мурманской области, 2) постоянные жители сельской местности, 3) те, кто приезжает в летний период в деревню – место своего прежнего жительства или на «родину предков». Предмет изучения - мнения, представления, оценки, касающиеся дачи как места, дачной деятельности и ее значения в жизни горожан. Методы исследования: внешнее и включенное наблюдение, интервьюирование, фотофиксация, анализ текстов. Материалом послужили тексты интер-

вью и ситуативных спонтанных высказываний представителей различных групп жителей Кольского Севера. Тексты записаны в 2006 г. в г. Апатиты и в селах Терского берега Белого моря. Часть материалов была собрана в дачном поселке Хибины близ Апатитов.

## Вариативность понятий «дача» и «дачник»: горожане

В ходе исследования мы обнаружили, что значение понятий «дача» и «дачник» может варьировать в зависимости как от позиции субъектов восприятия, так и от контекста той или иной ситуации взаимодействия. Эти значения связаны, во-первых, со статусом дачника в поселениях разного типа (например, дачный поселок в оппозиции к деревне), с его идентификацией и самоидентификацией. Во-вторых, они детерминированы представлениями о даче как типе жилища и дачном участке как месте.

В районе города Апатиты имеется несколько дачных поселков. В каждом из них действует один или несколько дачных кооперативов. В повседневном общении горожане ссылаются на эти территории как «дачи», а людей, которые туда ездят, называют дачниками. Одна из информантов так описала пригородные районы Апатитов: *«Тик-Губа, Кировский район, вот в аэропорт. Везде дачи кругом»* (Ж., 1952 г.р.). Однако более детальное исследование, в том числе опрос самих дачников позволили выявить неоднозначность понятий «дача» и «дачник».

Информантам задавался следующий вопрос: «Есть ли у Вас дача?». Ряд информантов ответили на этот вопрос положительно. На дальнейшую просьбу описать, что собой представляет дача, были даны такие ответы:

*«Ну, участокек, домик»* (Ж., 1952 г.р.);

*«Земельный участок и ну, как, вагончик и пристройка к нему»* (Ж., 1977 г.р.);

*«Двухэтажный гараж... лодочный. Снизу лодочный гараж, а наверху домик, ну, как квартира так скажем, комнатка. Вода рядом, огород рядом»* (Ж., 1955 г.р.).

Был получен и ответ следующего содержания:

*«Дачи как таковой у меня нет, у меня есть гараж двухэтажный, со вторым этажом жилым и огород есть, грядки»* (М., 1952 г.р.).

Заметим, что в последних двух случаях тип жилища практически одинаковый: двухэтажный гараж, в котором первый этаж используется как хозяйственное помещение, а второй – как жилое. Тем не менее, люди по-разному обозначали статус своих жилищ. Один хозяин считал свои владения дачей, а второй нет.

Приведем еще несколько примеров ответа на вопрос: «Есть ли у Вас дача?»:

*«Я бы ответила, что да, есть дачный участок. Дачный участок всё-таки. Чтобы дача как таковая это всё-таки предполагается место отдыха. Да, да... дача - это место, где ведётся сельскохозяйственная деятельность, совмещаемая с отдыхом. Ну, в разных пропорциях. Так вот»* (Ж., 1936 г.р.);

*«В основном это всё-таки называется садоводческие товарищества, а не дачные участки. Это дачные.. это в таком просторечье.. Вот, а.. по смыслу, по смыслу это садоводческие товарищества, дачи вот это на юге, где люди отдыхают большие, а здесь всё-таки ведут хозяйство и совмещают с отдыхом»* (Ж., 1936 г.р.);

*«Ну, я бы сказал, что дача – это вообще громкое определение. Дача представляется за высоким забором, здание там... как минимум 2 этажа, вот, охрана и прочее. Так вот ничего похожего у нас нет. У нас есть участок в 3 сотки»* (М., 1926 г.р.).

На основании этих ответов можно сделать вывод о том, что у большинства информантов, имеющих дачные участки, требования к даче выше и более диверсифицированы по сравнению с теми, кто находится вне контекста самих дачных поселков. Наличие определенных требований позволяет говорить о статусности понятия «дача». Это предположение хорошо иллюстрирует следующий пример из практики нашего исследования.

Молодые люди устроили пикник за городом, на территории дачного поселка. Общение проходит на поляне возле дачного дома. Здание выглядит аккуратным и компактным, что вызывает у одной из участниц восхищенную реплику: *«Какой домик!»* (Ж., 1980 г.р.). В ответ на это один из друзей хозяина дома замечает с отгненком возмущения в голосе: *«Это не домик, это – дача!»* (М., 1980 г.р.).

Другой эпизод демонстрирует зеркально противоположное мнение о статусе дачи. Разговаривают две женщины. Одна из них рассказывает про дом своей знакомой, который она увидела в соседней деревне. Эта знакомая, женщина преклонного возраста, решила поселиться в деревне, и для этого построила там дом. По описанию, дом очень

большой – трехэтажный, с камином. За описанием следует реакция собеседницы: *«И вот зачем такое? Я всегда думаю, что жалко, жалко ведь затраченного труда. Я считаю, что в деревне надо иметь дачу! Но не дом. Куда такую домину. В деревне надо что-то небольшое, маленький домик. Чтобы просто»* (Ж., 1953 г.р.).

В связи с такими определениями дач, как «участок в три сотки», «дачный участок» и т.п., уместно привести довольно типичный диалог между исследователем и информантом:

**И.:** *«Большая у вас дача?»* (в вопросе подразумевались размеры дома)

**Р.:** *«А не знаю. 25 соток»* (Ж., ок. 13 лет).

Скорее всего, источник подобных формулировок, транслируемых межпоколенно, следует искать в советских практиках и формах приобретения дач. В нашем случае речь идет о массовой раздаче, распределении участков, которое, по крайней мере, в Мурманской области, имело место в середине 80-х годов прошлого века. По замечанию одного из информантов: *«Была волна такая распределения вот этих участков, это было своего рода признаком некоторой либерализации системы»* (М., 1926 г.р.).

Как свидетельствуют приведенные выше примеры, в нашем случае многие информанты ассоциируют дачу, прежде всего, с участком, с землей. В процессе освоения полученного участка территория часто первична: т.е. вначале появляется, разрабатывается, огород, потом постепенно возводится времянка для хранения хозяйственного инвентаря, или ставится гараж, который затем нередко «прирастает» домом.

В качестве иллюстрации высказанного положения приведем отрывок из интервью:

*«Это был участок, туда надо было приезжать каким-то образом. Ну, мы приезжали на машине своей, ставили её там где-то в стороне, вот. И возились там, а потом уезжали оттуда. Конечно, когда шёл дождь или снег, не раз приходилось картошкой и со снегом заниматься, то это уже создавало проблемы... мы ходили там где-то, прятались, когда было холодно, к кому-то, потому что всё-таки это всё были сотрудники академии, всех знали. Вот. А потом вот мы вот начали с того, что я привёз ящик из-под электронного японского микроскопа, к которому приделали дверь, маленькое окошечко, и так какое-то количество лет мы там...»* (М., 1926 г.р., илл.1).



Илл.1: Дачный домик устроен в ящике из-под японского микроскопа

Мы предполагаем, что форма дачных практик, с которой мы имеем дело в данной ситуации, а именно, массовое освоение небольших земельных участков, в какой-то степени снимает оппозицию города и села. Несмотря на то, что в настоящее время подавляющее большинство жителей городов Кольского полуострова являются горожанами, очевидно, полной адаптации деревенских жителей к урбанистической среде не произошло и не могло произойти. Мы имеем дело с частным случаем экстремальной урбанизации – типичном явлении для России в советский период ее истории. Поколенческая память о деревне, о причастности к земле, сохраняется и находит свою материализацию в дачных практиках. Как отметила одна из информантов, в районе Апатитов в последнее время дач становится больше, так как *«людям уже в этих каменных мешках надоело жить, хочется уже на землю спуститься всё-таки»* (Ж., 1955 г.р.). Массовое освоение дачных участков в Мурманской области разворачивалось на фоне общероссийской субурбанизации. Этот процесс способствовал сглаживанию резкого пе-

рехода между городом и сельской местностью, явившегося результатом советской политики урбанизации.<sup>8</sup>

## Вариативность понятий «дача» и «дачник»: жители и «гости» сел Терского берега

Рассмотрим, как функционирует понятие «дача» в ином географическом контексте – на Терском берегу Белого моря. Терский берег представляет собой южное побережье Кольского полуострова. Формально этот ареал входит в те 8% территории Мурманской области, которые составляют сельскую местность. Терский берег – исторически сложившееся название географического региона; административно он относится к Терскому району. Районным центром является поселок городского типа Умба, где проживает около шести тысяч человек. В восточном направлении от него, вдоль побережья расположено несколько сел с общей численностью не более одной тысячи человек.

На данный момент в Терском районе Мурманской области мы имеем дело с ситуацией, в которой продолжается исход из села в город. Еще в относительно недавнем прошлом (60-70-е гг. XX в.) это была благополучная территория с развитым рыбоводческим хозяйством. Примерно с 1970-х годов и по сегодняшний день с Терского берега активно уезжают люди, перебираясь либо в районный центр, либо в города области, или в столичные центры. Как правило, у всех этих людей в деревне остаются родительские дома. Неизбежно встает вопрос: что делать с домом? Здесь возможны варианты: использовать его в качестве дедовского дома, т.е. периодически собираться в нем родственным кругом; сделать его местом рекреации; сдавать дом другим людям; просто пустить кого-нибудь жить, чтобы дом не умер. Один из информантов дает красочное описание того, что происходит с домом, если за ним не следить:

*«Дом в деревне – это большие очень хлопоты. Вы не представляете, что это такое, это там, там, в этом доме нужно жить, за ним нужно ухаживать, как за больным человеком, если год не поухаживаешь, всё там старится и начинает перекашиваться, дом болеет, он начинает гнить, он начинает стонать, в общем, это очень сложно всё, то есть если ты дом держишь в деревне – там нужно жить,*

---

<sup>8</sup> Утехин 2004, 345-346.

*если допустим это дачный посёлок где-то на отшибе, ты приехал, там потопил, полечил, так сказать, и уехал опять в город, это всё нормально»* (М., 1952 г.р.).

Таким образом, в селах Терского берега можно наблюдать наличие большого количества домов, хозяева которых не живут в них постоянно. Многие бывшие жители приезжают в свои дома только на лето. И количество таких посетителей с каждым годом растет. В связи с этим тема дач, дачников в этом районе постепенно актуализируется, однако неоднозначность, неопределенность этих понятий приводит к их постоянному вариативному обыгрыванию в контексте различных жизненных ситуаций.

Приведем несколько примеров из материалов полевых исследований, проведенных летом 2006 года в районном центре Умба, а также двух селах Терского берега – Кузомень и Варзуга.

В поселке Умба в кассе, продающей автобусные билеты, скопилась очередь из желающих ехать в отдаленные села района. Автобус, который выделяет местная администрация, небольшого размера, и не всегда может вместить всех пассажиров. Поскольку рейс совершается всего лишь раз в неделю, обстановка в очереди весьма напряженная. Люди стремятся оказаться рядом с кассиром первыми, чтобы успеть занять места в автобусе. Официально приоритет отдается тем, кто едет в самые дальние села. Одна женщина ведет себя особенно возбужденно. Из ее реплик становится ясно, что она направляется в ближайшее от районного центра село. Очевидно, беспокоясь за то, что ввиду этого ей может не достаться билета, женщина выкрикивает в толпу, обращаясь одновременно ко всем и ни к кому конкретно: *«Я же не на дачу еду!* (При этом она смотрит обвиняющим взглядом на ближайших соседей по очереди). *Я к себе домой*, - продолжает она, - *я там живу, между прочим»* (Ж., около 40 лет).

В селе Кузомень постоянно проживает около 70 человек. В летний период население села увеличивается почти вдвое, благодаря многочисленным приезжим, у которых либо есть в Кузомени свои, т.е. родительские дома, либо они приезжают погостить у родственников. В одном из домов гости. Женщины пьют чай и беседуют. Речь заходит о том, что раньше в колхозном магазине всегда было полно недорогой селетки, поставляемой колхозными судами, которые рыбачат в Баренцевом море. Теперь уже несколько лет колхоз никакой рыбы в деревню не привозит, хотя корабли по-прежнему занимаются промыслом. За столом слышатся следующие реплики: *«Раньше этой рыбы полно*



было на прилавках», «Теперь мы ее не видим». Одна из женщин говорит: «Председатель [колхоза] по этому поводу сказал: я не собираюсь кормить дачников!» (очевидно, председатель намекал на то, что в деревне много приезжих, ради которых он не хочет стараться). Последняя фраза вызывает бурное возмущение среди гостей. Присутствующие почти хором заявляют: «Какие же они дачники! Это ж всё наши, кузоменские, в своих домах живут» (беседа происходит между тремя женщинами примерно одного возраста - каждой из собеседниц около 60 лет). Среди присутствующих была женщина, которая еще в детстве уехала из деревни, не ездила туда несколько десятков лет, а недавно купила половину дома (ее родительского дома к тому моменту в деревне уже не было) и теперь приезжает в Кузомень каждый год на часть лета. Именно она затронула тему рыбы на прилавках, привела слова председателя и наряду с другими выражала свое возмущение по поводу отнесения жителей Кузомени к дачникам. Несколькими днями позже мы оказались в гостях у этой женщины. Разговор зашел о дачах, и мы спросили нашу знакомую: «А вы считаете себя дачницей?» «Конечно!» – без тени сомнения ответила она.

Мы позволим себе сделать два вывода на основании этих примеров. Во-первых, статус дачника и дачи может варьировать в зависимости от контекста интеракции. Так, во втором примере информант легко соглашается со своим статусом дачника в одной ситуации, и предпочитает молчаливо «отказаться» от него в другой. В свое время еще Э. Сепир высказал общее замечание о том, что действие, которое люди не могут или затрудняются произвести в одном контексте, они порой непосредственно и с легкостью могут выполнить в иной ситуации.<sup>9</sup>

Во-вторых, статус дачника и дачи связан с вопросом идентичности. Одно дело – быть дачником, и совсем другое – приезжать на лето в родительский дом. Для внешнего наблюдателя – такого, как председатель колхоза (который, стоит отметить, живет не в этом, а в соседнем селе), все те, кто приезжает в Кузомень только на лето, будут считаться дачниками. В то время как для местных жителей это - свои, кузоменские жители. Опять же, «дачник» - удобный концепт, который в данном случае используется председателем в своих целях. Дело в том, что правление колхоза и все основное хозяйство находится в соседнем от Кузомени селе Варзуга. По мнению кузомлян, их деревня расценивается лишь как придаток, и председателю до них дела нет. Таким

---

<sup>9</sup> Sapir 1985, 555.

образом, в описанной выше ситуации концепт «дачника» в некоторой степени помогает председателю оправдать свою политику по отношению к этому селу.

Следующий пример взят из беседы с местными жителями о сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в Кузомени во время нашего приезда:

**Р.:** *«Они только спрашивают про дом и хозяйство, какое хозяйство. И всё. Дом как тебе пришёлся... по наследству или как ли. У кого по наследству, кто купил, у кого как ли... В городах они про дачи спрашивают».*

**И.:** *«Ну и что, что дачи?»*

**Р.:** *«Потому что люди полно дач имеют в городах-то. В городе-то у всех дачи. Квартира, дача».*

**И.:** *«А здесь что?»*

**Р.:** *«Здесь-то нету дач. Здесь дома. Деревня есть деревня»* (Ж., около 60 лет).

Однажды во время поездки в Кузомень мы поинтересовались у наших попутчиц, которые следовали в Варзугу, много ли у них в деревне дачников. На это женщины, переглянувшись, ответили: *«У нас в деревне, пожалуй, дачников-то и нет. Разве что вот дом... <называется женское имя>»* (Ж., около 70 лет). Как выяснилось из дальнейшего разговора, все остальные дома в деревне принадлежат людям, которые либо живут там постоянно, либо приезжают на лето. В контексте данной беседы приезжие не были расценены как дачники.

На наш взгляд, основы подобного ситуативного деления на дачников и приезжих следует искать в значении дома в деревне вообще. Дом олицетворяет в себе глубокую и неразрывную связь с местом, его историей. Наличие дома как бы вписывает его хозяина в историю деревни. Если человек не приезжает годами в свой дом, не заботится о нем, то он теряет связь с деревней. Местные жители Кузомени часто с осуждением говорят о тех, кто уехал из села «по молодости», оставив или продав родительский дом.

Здесь уместно привести диалог с человеком, утратившим связь с деревней:

**Р.:** *«У нас и мама, и папа с деревни, да, то бишь там дом остался, но к маме мы не ездим... раньше-то, как бы редко ездили. Вот и сейчас не посещаем».*

**И.:** *«А можно ли тот дом тоже считать дачей?»*

*Р.:* «Нет, потому что это деревня. Дача, она вот своя дача, вот она – рядышком, а там это далеко, это чужое» (Ж., 1977 г.р.).

В заключение приведем еще одно определение дачи: «Дача – это земля и построенный на ней дом. Дача – это просто когда дом строится, дом на земле» (Ж., 1980 г.р.). Исходя из этого высказывания, можно предположить, что дача ассоциируется с недавно построенным домом, по крайней мере, в пределах одного поколения. Т.о., дачный дом может противопоставляться родовому дому на том основании, что он не имеет исторического измерения, в то время как дом в деревне, родительский дом, ассоциируется, прежде всего, с историей предков. У такого дома всегда есть история, и, как правило, она больше, чем одно поколение.

У потомственных горожан понятия «дом» и «дача», как правило, сближены. Основаниями являются значения достатка, укорененности, стабильности существования, рекреации.

## Дачная жизнь как время труда и отдыха

И у сельских, и у городских жителей дача ассоциирована с временным или собственно сезонным пребыванием. Дачный период – это обозначение времени года: либо летнего, в целом, либо двух периодов, соответствующих времени посадок и сбора урожая (весна – осень). В городах нередко становится легитимной практика нарушения графика производственных работ из-за незапланированных отпусков дачников весной и осенью. При планировании же отпусков учитывается данный статус работника. Ссылаясь на исследования пермских социологов, Т. В. Барчунова делает вывод о том, что «существует явная, но, видимо, еще ни кем не проверенная зависимость между графиком работы ученых советов научных учреждений и фазами вегетативного периода»<sup>10</sup>. Таким образом, дачное время сориентировано на периодичность сельскохозяйственного календаря, и вместе с тем оно должно быть вписано в урбанистический цикл с чередованием фаз труда и досуга. Это противоречие, которое связано с концептуализацией дачи и реальными практиками, разрешается по-разному - в зависимости от социально-профессиональной принадлежности дачников, их возрастной катего-

---

<sup>10</sup> Барчунова 15.7.2007.

рии, установок и ценностей, а также от конкретных жизненных обстоятельств.

Дачный сезон на Севере имеет определенные временные рамки:

*«Открываем дачный сезон где-то девятого мая и закрываем как вот снег посыпался. Всё, закрываем, сворачиваем все пожитки, убираем, всё, закончилось»* (Ж., 1977 г.р.);

*И.: «А знаете, когда открывается дачный сезон?»*

*Р.: «На севере? Скорее всего ... как правило, на майские праздники. Люди едут, начинают что-то там разгрести, ну, это и раньше.... Так основной массовый такой выезд с мебелью, со всем они заезжают где-то на майские праздники, может быть раньше чуть-чуть».*

*И.: «А когда заканчивается?»*

*Р.: «Ну, а заканчивается у всех по-разному. До первого снега»* (М., 1960 г.р.).

Чаще всего встречается такая форма дачного образа жизни горожанина, при которой дача, участок регулярно посещаются в течение сезона, после чего дача «замораживается» на зиму. При этом периодичность посещений, независимо от близости дачи к городу, варьируется в широком диапазоне: от кратковременных выездов (некоторые предпочитают даже не ночевать в дачном домике) до длительного и почти безвыездного пребывания там в течение нескольких месяцев:

*«Эпизодически ночуем только когда экстремально требуется там убрать или посадить, вот. Но мы не ночуем просто потому, что у нас нет таких.. А так бы может бы мы и ночевали, но многие люди там живут, летом и с детьми живут, вот, вот, живут именно потому, что уже сейчас не выезжают»* (Ж., 1946 г.р.);

*«Вообще-то я живу, где-то начиная с апреля месяца, с конца апреля и по ноябрь месяц я практически живу всё время здесь. Только на работу, ну, домой, естественно, помыться перед работой, отдохнуть»* (М., 1952 г.р.).

Многие горожане говорят, что проводят на даче выходные дни. Отпуск далеко не всегда совпадает с дачным сезоном и, во всяком случае, меньше его по протяженности. Дача, таким образом, оказывается, в первую очередь, местом рекреации в период профессиональной занятости, и использование ее часто не предполагает отказа ни от летних поездок, ни от городского комфорта:

*И.: «А какое время Вы проводите на даче?»*

*Р.: «Ну, все выходные. Все выходные это точно, ну, в смысле обязательно, а бывает даже такое, что и среди недели, если надо что-*

*то там, допустим, полить или знаешь, что что-то там, ну, как бы вот время такое, что надо поехать на огород и что-то там поделывать, то посреди недели ещё».*

*И.: «А в течение года?»*

*Р.: «Ну, в течение года не получается, потому что как бы снегом всё занесено. Как-то мало у нас там людей живёт» (Ж., 1955);*

*И.: «Если бы у Вас была возможность, Вы бы проводили там большие времени?»*

*Р.: «Нет, меня устраивает то, что вот, сколько я провожу времени и как-то вот в городе, дома у себя как-то уютнее, а так вот летом приезжаю вот на выходных с ночевкой» (Ж., 1977);*

*И.: «А хотели бы Вы там проводить весь отпуск?»*

*Р.: «Нет, отпуск, конечно, нет. Просто хочется во время отпуска куда-то и поехать, и где-то побыть, и что-то видеть» (Ж., 1955).*

Одна из наших респонденток с уважением рассказала о своих соседях по даче – интеллигентной пожилой супружеской паре, которые ежегодно совмещают летние рекреационные поездки, в том числе зарубежные, с «культурным» ведением дачного хозяйства, являющегося, по ее мнению, образцовым.

Дачная культура, таким образом, может быть рассмотрена и как «культура выходного дня». Она закономерно включает также ритуально-праздничный компонент. Дачные календарные праздники – это, прежде всего, открытие и особенно закрытие сезона («праздник урожая», например). Они являются частью семейной праздничной культуры, и одновременно участниками их становятся друзья и соседи по даче:

*«У нас как-то в привычку вошло, допустим, вот семнадцатого июня у меня была годовщина каждый год свадьбы моей. Вот. Каждый год мы обязательно выезжаем на озеро, рыбу ловим, готовим шашлычки, угощаем друзей. (НПТ) рыбакам всегда выезжаем все вместе, вот наша компания тут соседи мои все на лодках, тоже ловим рыбу, готовим шашлыки, просто так другой раз, ну, ни с того ни с сего, просто к выходному собираемся тоже с соседями на шашлычок. Я считаю, что это прекрасно» (М, 1952 г.р.);*

*«Открытие, закрытие дачного сезона и дни рождения летом которые у нас в семье. Вот отмечаем шашлыки, рыбу коптим. Вот отмечаем, стараемся отмечать на даче» (Ж., 1977 г.р.).*

Разумеется, обустройство дачного дома и участка, не говоря уже об огородных работах, требуют большого труда, поэтому типичны ут-

верждения наподобие следующего: *«Работать нужно всем... Ой, работы на огороде каждый день хватает»* (Ж, 1952 г.р.).

Тем не менее, подавляющее большинство дачников считают, что этот труд «на себя» не должен быть слишком тяжелым и утомительным. Таково мнение даже тех, которые основными мотивами своей дачной деятельности признают экономические: *«Сначала с картошки все началось»* (Ж., 1977 г.р.). Дачный труд, в первую очередь, физиологичен. Одна из его целей – поддержание физического здоровья, бодрости, и в этом смысле он самоценен. По утверждению одной из информантов, на даче можно и нужно *«просто пошевелиться физически, поработать, не перетруждаясь. Вот, вполне. Я считаю, что это очень полезно»* (Ж., 1946 г.р.).

Такая сбалансированная позиция отличает и других северян:

*«Если Вы хотите отдыхать физически на даче, то нечего заводить дачу. То есть дача как-то она заставляет работать тебя, по крайней мере, осенью себя чувствуешь довольно бодро, я Вам скажу, после дачного сезона. ... Только не нужно себя переутомлять, потому что дача может выжать из тебя последние соки»* (М., 1952 г.р.).

Дачная активность компенсирует не только недостатки городского образа жизни, но и восполняет те личные свойства человека, которые составляют преимущество сельских жителей. Она развивает способности, отнятые городской цивилизацией:

*«В этом, в городе, в квартире она балует человека, расслабляет его, а здесь как-то вроде бы организуешься, надо принести воды там, вскипятить её, приготовить кушать на плите, не на электрической, предположим, а на (НПТ), на костре даже уху сварить, то есть человек должен в таких условиях отдыхать, на мой взгляд»* (М., 1952 г.р.).

Дачникам и дачницам свойственна гордость, связанная с их мастерством в ведении хозяйства, будь то выращивание овощей, разведение цветов, плотницкие работы, обустройство дома и т.п. Несомненно, здесь сильно выражен и гендерный аспект традиционных видов занятий, который, как правило, сглажен в профессиональной сфере и в городской жизни. Дачная деятельность расширяет культурный опыт горожанина. Дачное пространство и образ жизни призваны совместить, органично сочетать отдых и разумный физический труд. По крайней мере, таков презентативный дачный текст:

*«Ну, это уже место, скорее, отдыха, а не ведения хозяйства. У нас это всё-таки скорее ну ... сочетание э-э-э вот ведения хозяйства и*

*отдыха как изменения формы деятельности [...], для меня это реализация стремления к творческой активной деятельности. Да, ну потому что я вижу, что я вот посадила, выросло. Вот, реализация активной творческой деятельности»* (Ж., 1948 г.р.).

Ретроспективное осмысление северянами мотивов, по которым они обзавелись дачным участком и домом, представляет дачников нескольких категорий. Основные группы составляют 1) те, которые ссылаются на экономическую необходимость, и 2) те, для которых дача – это отдых на природе. Сразу заметим, что лишь единицы указывают одну причину вовлечения в дачную деятельность. У большинства они образуют своеобразную иерархию, и очевиден приоритет рекреационных мотивов. На вопрос о цели дачи информанты отвечают:

*«Не материальная, ни в коем случае, а вот, это да вот, тут только отдохнуть, только отдохнуть, просто отдыхаешь душой и телом, это точно»* (Ж., 1955 г.р.);

*«Ну, цели две, цели две: это проведение досуга на природе, потому что стал труднодоступным выезд на юг, понимаете, вот. И это досуг на природе своего рода. И, во-вторых, это большая материальная помощь»* (Ж., 1946 г.р.);

*«Едва ли это материально выгодно. И те, кто так считают, они бросали свои участки»* (М., 1926 г.р.) и т.п.

На вопрос, от чего именно можно отдохнуть на даче, ответы даются почти однозначные. Если судить по ним, то наибольшее неудобство для горожанина представляют повышенный акустический фон, частота социальных контактов и избыток информации, причем первое обстоятельство явно превалирует:

*«От шума городского, наверное, можно отдохнуть на даче. Да вот, наверное, и всё»* (Ж., 1977 г.р.);

*«Когда вот какое-то нервное потрясение, поедешь туда, там вот в тишине, в огороде в этом и сразу как вылечиваешься, прям ото всего, отходишь»* (Ж., 1955 г.р.);

*«Ой, у меня отдушина. Я отдыхаю, от колхоза от своего (смеётся). От шума.»* (Ж., 1952 г.р.);

*«Я лично отдыхаю от телевизора»* (М., 1926 г.р.) и т.д.

Пребывание на природе как отдых – такова основная идея дачи, судя по многочисленным высказываниям. «Природа» – это и общее понятие, и конкретный северный пейзаж, соответствующий индивидуальным предпочтениям:

*«Я построил гараж, потому что люблю очень озеро, то есть воду люблю, я всю жизнь прожил на воде, и на Волге жил и в Ставрополье на озёрах, у нас очень хорошие озёра были. Ну, и здесь озеро прекрасное, поэтому меня тянет к воде, поэтому гараж у меня здесь, соответственно лодка есть у меня с мотором. И обзавёлся»* (М., 1952 г.р.).

Оказывается, что дача как собственность – это отнюдь не только свой дом или свой земельный участок с тем, что на нем вырастает. Это и собственный природный микромир, часть той северной природы, которая когда-то воспринималась как «суровая», чужая и экзотическая, а теперь стала своей, привычной и эстетизированной:

*«Безусловно, мне приятно смотреть на наши горы, как снег там появляется в конце сезона, когда мы картошку убираем или как он постепенно тает, вот, и как весной зелень появляется. На нашем участке в три сотки есть всё. У нас есть своя гора, есть свой лес, и свои грибы. Вот.. И мы наблюдаем, как и... вот наша берёза вот зеленеет и всё это приятно. Общение с природой оно всегда приятно, даже»* (М., 1926 г.р.).

## Идеальная дача

В дифференциации дачи и шире – дачного пространства – существенную роль играют оценочные категории: идеальная дача, дачный уют, комфорт. Сильна аксиологическая составляющая характеристики дачи: уютная / неуютная, комфортная / некомфортная, идеальная / реальная. В соответствии с «идеалом» дачники пытаются организовать соответствующее пространство, исходя из реальных возможностей. Единый стереотип идеальной дачи отсутствует. Как часть урбанистической культуры дача подвержена моде и может быть рассмотрена в данном ракурсе. Большую роль играют личные или семейные эстетические представления (илл.2).

Мы получили следующий комментарий относительно дачного дома, изображенного на илл.2: *«Шикарная усадьба»* (Ж., 1936 г.р.). Комментарий был дан владелицей дачи, расположенной неподалеку. Одной из информантов было также отмечено, что *«по ухоженности этой даче нет равных»* (Ж., 1953 г.р.).





Илл.2: Пример образцовой дачи

Приведем наиболее характерные высказывания людей о том, какой они представляют себе идеальную дачу:

*«Цветы... Да, на даче обязательно должны быть цветы» (Ж., 1953 г.р.).*

*«...Как деревенский домик. Сруб, с брёвнами. Со всем... Чтоб тепло было, чтоб печечку натопил и уже ходил как... Не остывало» (М., 1952 г.р.).*

*«В моём представлении дача идеальная – это где-то на отшибе, туда не должны ходить чужие люди. Туда пришёл, стал заниматься своими делами, отдохнул, вот это идеальная дача» (М., 1952 г.р.).*

*«Ну, наверное, просторный уютный дом. Ну.. как дом, хотя бы один этаж, да? Как вообще в идеале, дак два этажа. Из дерева, со спальней, с ду... с какими-то ванными. Ну, в общем вот такое уютное такое что-то» (Ж., 1977 г.р.).*

*«Красивый дом, оборудованный по последнему слову техники. Приусадебный участок с бассейном и газонной травкой, то есть всё, что*

*располагает к отдыху. Возможно, дачные деревья, садовые, кусты, цветы»* (М., 1960 г.р.).

Последнее мнение интересно тем, что оно было высказано человеком, у которого на самом деле нет дачи. Как можно заметить из сравнения этого высказывания с предыдущими, образ дачного пространства здесь существенно отличается от представлений об идеальной даче тех людей, которые имеют ее в реальности.

Разрыв между идеальной и реальной дачами осознается и эксплицитно формулируется:

*«В реальности дачи... люди строят по своим возможностям, кто что может построить исходя из материального достатка. И вот вы видите, вот у нас сейчас вот вокруг гаражи вот эти стоят. И, соответственно, люди, которые здесь держат лодки и гаражи у кого, они разбивают участок себе по возможности поближе к гаражу, там кто-то подальше, кто-то поближе. Вот это реальное... реальность у нас здесь в Тик-Губе»* (М., 1952 г.р.).

Выявляются отчетливые различия в нормативных требованиях, предъявляемых к городскому жилищу и даче. По-разному концептуализируется «уют» того и другого в связи с различиями функций и практик. По мнению большинства информантов, уют городской квартиры и уют дачи – разные понятия. Дача не обязательно должна соответствовать по удобству городскому жилищу, поскольку там другой отдых. В то же время, наличие определенной степени комфорта признается желательным. При этом, чтобы чувствовать себя уютно на даче, нужно иметь особые предпочтения.

*«...Городское жильё оно всё-таки городское жильё. А дачный домик это... Ну, по удобствам, если вот брать свет, воду – хотелось бы конечно, чтоб соответствовал, а так, наверное, всё-таки разные они должны быть»* (Ж., 1977);

*«Эээ.. просто это идёт по контрасту. С одной стороны, вот душевно я отдыхаю, да, там.. [на даче] вот.. ну, вот конечно требуется приехать домой всё-таки, чтобы была горячая вода, душ, чтоб был комфорт. Там этого комфорта нет. Но там есть душевное вот.. сообщение с природой, то есть всё-таки это должно быть и то, и другое»* (М., 1952 г.р.);

*«Ну, за счёт того, что я городской житель, как бы в городской квартире, наверное, более уютно, потому что привыкли вот и к ванне, и телевизор и музыка, ну, музыка у нас и там есть как бы, всё*

*равно в городе условия, да, вот удобнее, но и там [на даче] хорошо» (Ж., 1977).*

Фиксируется минимум необходимых на даче удобств:

*«Тепло, свет, вода. Вот чтоб были. Ну и ээ.. это, санитарные условия. То есть, чтобы туалет там где-то, вот, вот такие. И чтобы, чтобы можно было ночевать там, жить, всё» (Ж., 1936 г.р.);*

*«..Это домик, где можно было бы.. ээ.. ночевать. То есть желательно, чтобы была близко вода, ну, идеально, это конечно, водопровод, но такого наверно не бывает. Ну, близко вода. Я хочу, чтоб был душ, я хочу, чтобы был нормальный туалет там, всё. Пожалуй, это максимум» (М., 1926 г.р.);*

*«В первую очередь должна быть жилая комната, где я могу отдохнуть, соответственно должна быть печка, стоять. Ну, я хоть, конечно, и люблю природу, но электричество в данное время необходимо, потому что даже включить телевизор, нормально послушать новости, там какой-то фильм посмотреть, ну, это, сейчас это нужно, без этого жить как-то вроде бы и тяжело. Должен быть свет, должна быть печка, должно быть где поспать, на чём поспать, должно быть меньше мебели, больше простора...» (М., 1952 г.р.).*

Таким образом, городской уют ассоциируется в первую очередь с удобствами, такими как постоянная проточная вода, электричество, газ, телевизор. В то время как уют дачи – это тишина, покой, общение с природой. Представления о дачном уюте, равно как уюту вообще, в значительной степени относятся к сфере интуитивного знания, не всегда поддающегося четкой вербализации.

**И.:** «Скажите, а где Вам уютнее: на даче или дома?»

**Р.:** «На даче»

**И.:** «А почему?»

**Р.:** «На даче то ли природа, ну, хорошо там. Там очень тихо» (Ж., 1955 г.р.).

## Социо-профессиональная стратификация дач и дачников

Обратившись к феномену дачи как пространства, мы столкнулись с многообразием реальных дачных практик, обусловленным, прежде всего, социо-профессиональной принадлежностью владельцев. Особый ракурс представляет стратификация сообщества в дачных посел-

ках, в частности, по типу домов и по характеру обустроенности территории. Так, информанты отмечают, что дачи «академиков» отличаются от дач работников промышленных предприятий:

*«У нас народ отличается.. об этом можно говорить, низкой культурой вот, в основной массе, и все подступы к хозяйствам, вот подступы, ну дорога, мусором. Это ужасно. Но я должна сказать, что вот ээ.. академическое не отличается этим»* (Ж., 1936 г.р.);

*«Ну они мало чем отличаются, ну... может быть.. академические победнее в смысле строений. Вот это да. А грэсовские и.. там более такие солидные строения, потому что, ну, у них, наверное, возможностей больше. Не столько материальных, а сколько физических. Где-то что-то достать, сделать, вот так вот. Ну так вот. Потому что просто заметно. Академических меньше домов таких солидных»* (Ж., 1936 г.р.).

В устных суждениях часто встречается полусерьезное высказывание о том, что по типу дома можно определить место работы хозяина (илл.3)



Илл.3: Наличие фильтроткани на заборе позволяет сделать предположение о том, что хозяин дачи работает на фабрике, где имеется возможность «достать» этот материал.

Характерное явление – высокая степень индивидуализации построек и оформления участков: *«Тут можно целый день ходить, как на экскурсии. Столько всяких домиков»* (М., 1947 г.р.). Данное явление обусловлено дифференциацией материальных возможностей, образа жизни и характера дачной деятельности, умениями и эстетическими представлениями владельцев, их ценностными ориентациями (илл.4, 5).



**Илл.4:** Дача – бастион. *«Это у нас местная достопримечательность. Этот дом всем показывают, его все фотографируют»* (Ж., 1941 г.р.).



Илл.5: Богатырь на страже дачных ворот

Дачную архитектуру можно рассматривать и как креативное использование подручных материалов (илл.6).



Илл.6: Цветочные клумбы на образцовой даче

На вопрос о том, из чего сделаны клумбы, хозяйка дома ответила, что ее муж работает на руднике, где руду погружают на машины огромных размеров, для транспортировки на фабрику. Клумбы сделаны из дисков колес такой машины.

В целом, многообразие форм организации дачного пространства и образа жизни указывает на значительный креативный потенциал, который заключен в самом данном способе деятельности. Этот потенциал по-особому реализуется как на индивидуальном (индивидуально-семейном), так и на других социальных уровнях. Дачники-северяне могут быть представлены как тип сообщества, которое организовано и по общим социально-демографическим характеристикам, и по специфическим, связанным с дачными практиками и представлениями.

Изучение дачной культуры на российском севере пока только начато. Но уже сейчас можно с большой долей уверенности утверждать, что становление и развитие дачных практик в условиях Крайнего Севера служит показателем достаточной степени адаптации недавних мигрантов к природно-климатическим условиям и новой социокультурной среде, создаваемой ими самими. При этом точки зрения разных категорий информантов по поводу особенностей дачной жизни на севере обнаруживают определенный уровень вариативности. С одной стороны, дачные представления и практики северян вписываются в общие социальные контексты, связанные с процессами урбанизации и с динамикой экономической ситуации в России в кризисный период. С другой стороны, они обнаруживают целый ряд выраженных региональных особенностей.

## Список литературы

- Аарелайд-Тард А. (2003), Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода. *Социологические исследования*, № 2, 59-68.
- Барчунова Т.В. Мой адрес – и дом, и улица. Отношения между поколениями в постсоветский период и изменение концепции загородного дома (на примере движения Анастасийцев) <http://philos.nsu.ru/sciwork/barch.htm>. (15.7.2007).
- Петров В.П., Разумова И.А. (2005), Проблемы и перспективы социально-антропологических исследований этнокультурной ситуации на Кольском Севере. *Формирование основ современной стратегии природопользования в Евро-Арктическом регионе*. Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 108-118.
- Разумова И.А. (2006а), Репрезентация Севера в устных и письменных текстах современной городской культуры Заполярья. *XVII Ломоносовские международные чтения. Вып. 2. Поморские чтения по семиотике культуры: Сб. науч. докладов и ста-*

- тей. Отв. ред. Н.М. Теребихин. Архангельск: Поморский государственный университет, 25-32.
- Разумова И.А. (2006б), «Родина – это минимум край...»: к проблеме локальной самоидентификации жителей севера. *Европейский север в судьбе России. XX век (К 80-летию профессора А.А. Киселева). Сб. научных статей*. Мурманск: Мурманский государственный педагогический университет, 39-45.
- Разумова И.А. (2006в), Стереотипное и уникальное в образах заполярных городов. *Культурное разнообразие в эпоху глобализации. Cultural Diversity in the Epoch of Globalization: Материалы международной конференции. Мурманск, март 2006 года*. Отв. ред. Н.И. Курганова. Мурманск: Мурманский государственный педагогический университет, 32-35.
- Разумова И.А., Тарабукина А.В. (2005), «Миф о Севере» в стихах поэтов Кольского края. *«Во глубине России...»*. Статьи и материалы о русской провинции: XIX Фетовские чтения (Курск, 7-9 октября 2004 г.). Под ред. Н.З. Коковиной, М.В. Строганова, А.Ф. Белоусова. Курск: Курский государственный университет, 106-122.
- Рыбаковский Л.Л. (1973), *Региональный анализ миграций*. М.: Статистика.
- Утехин, И. (2004), рец. на кн., Lovell Stephen. Summerfolk. A History of the Dacha, 1710-2000. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003. *Антропологический форум*, № 1, 342-346.
- Федоров П.В., ред. (2005), *Живущие на Севере: Вызов экстремальной среде: Сб. Статей*. Редколл.: П.В. Федоров, Ю.П. Бардилова, Е.И. Михайлов. Мурманск: Мурманский государственный педагогический университет, 2005.
- Moving in the USSR (2005), *Moving in the USSR. Western anomalies and Northern wilderness*. Pekka Hakamies (ed.) Helsinki: Finnish Literature Society.
- Sapir, Edward (1985), *The Unconscious Patterning of Behavior in Society. Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality*. Berkeley: University of California Press.



## THE DACHA KINGDOM

## Шесть узаконенных соток

Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять.  
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,  
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать  
То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе.  
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране  
Приспособить какую-то важную доску к сараю.  
Перспектива из снов — сон во сне, сон во сне, сон во сне.  
И курю в огороде на корточках, время теряю.  
И по скверной дороге иду восвояси с шести  
Узаконенных соток на жалобный крик электрички...  
С. Гандлевский, 1987

«Шесть узаконенных соток» – специфическое явление советской и постсоветской истории, существенно отличающееся по своим функциям, социальной и экономической роли от дореволюционной дачи или европейского домика в деревне. В настоящее время число дачных участков в России по разным оценкам достигает 20-50 млн., что делает эту сферу социальной активности заслуживающей внимания исследователей. Вместе с тем работ, посвященных этой тематике, довольно мало. Начав с краткого исторического экскурса, данная статья концентрируется на развитии дач в позднесоветский и постсоветский периоды и затрагивает только два типа: дача – дом в деревне и участок в дачном кооперативе<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Материалы для статьи были собраны в рамках проекта Финской Академии наук «Specialisation and Diversification of Enterprising during Transition – a Comparative Study of Development in Estonian and Russian Countryside (LOCAL PATHS)». Пилотное ис-

## Краткий экскурс в историю

В России дачная культура была популярна с давних времен. Слово «дача» происходит от глагола «дать, давать»; согласно словарю В.И. Даля, дача – это небольшая поземельная собственность, некогда дарованная царем или данная по дележу, по отводу.<sup>2</sup> В конце XVIII – начале XIX столетий дачей обычно называли сельское поместье или летний дом высших слоев русского общества; главной функцией такой дачи был летний отдых.

В XIX столетии горожане менее обеспеченных слоев стали перенимать аристократическую привычку выезжать на лето в деревню, а предприимчивые люди начали активно застраивать пригородные территории (именно эта социально-экономическая коллизия лежит в основе пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»). Небогатые дворяне, не имевшие собственного имения, стали снимать дома для отдыха в дачном поселке или деревне на все лето. Сформировался особый дачный стиль жизни, особая дачная культура.<sup>3</sup>

Одновременно с этим в бедных и необразованных слоях населения (рабочие и ремесленники) сохранилась привычная крестьянская практика самообеспечения. Эта группа населения проводила свое время на участках земли, расположенных вокруг городов, где «дачники» выращивали картошку и овощи, держали птицу и скот.

В советское время согласно законодательству строительство на садоводческих участках было строго ограничено: разрешалось строить дом без постоянного отопления (летний домик) площадью не более 25 м<sup>2</sup>. Участок обычно не превышал 600 м<sup>2</sup> («шесть соток»), производство сельхозпродукции было ограничено выращиванием овощей. Такие участки располагались, главным образом, в кооперативах, организованных от предприятий, и раздавались либо бесплатно, либо по символической цене. Владелец имел пожизненное право на использование участка с правом передачи по наследству. Продажа участка разрешалась только через кооператив.

В 60-е годы в связи с политикой ликвидации «неперспективных» деревень, появилась возможность покупать дома под дачи в сельской

---

следование дач проводилось в течение лета-осени 2005 года в России (в Нижегородской области и Республике Карелия).

<sup>2</sup> Даль 1994, 1020.

<sup>3</sup> Чеховских 2000.

местности. Так появился еще один тип дачников. Как пишет Р. М. Фрумкина (2000) «дом в деревне начинался именно с *дома*. Огород или сад там могли остаться от прежних хозяев, а могли зарости сорняками или померзнуть – это никого, кроме самого "дачника", не касалось. "Шесть соток" начинались с земли и всего того, что она должна была дать. Член садового товарищества *обязан* был свою землю возделывать, зато его *право* обзавестись *домом* долгое время жестко ограничивалось абсолютным минимумом – возведением "будки"».

В 1990 году все ограничения на размер и тип дачи были сняты, и владельцы получили возможность продавать свои участки на свободном рынке. В 1993 году для владельцев дач стало возможным оформить права на землю, полученную в советское время с полным правом распоряжения этой землей. Таким образом, в течение короткого промежутка времени все ограничения, существовавшие в советское время, были сняты.<sup>4</sup>

В позднесоветское и постсоветское время наиболее распространенным типом дач остался участок в дачном кооперативе размером в шесть соток, половина которого занята домом и другими хозяйственными постройками. Однако уже в течение постсоветского времени стал появляться новый тип дач, построенных более преуспевающими гражданами и имеющий мало общего с советскими «шестью сотками».

## Функции дачи

Основными функциями дачи считаются экономическая и рекреационная. Кроме того, выделяется социально-культурная (символическая) функция дачи.

Экономическая роль дачи как деятельность городского населения по самообеспечению продуктами сельскохозяйственного производства описывается во многих работах. В своей работе С. Кларк и др.<sup>5</sup> анализируют разные типы домохозяйств и выделяют те из них, которые имеют больше возможностей владеть дачей. Обычно это семья с большим количеством взрослых членов и пенсионеров; семейная пара, имеющая детей, получившая достаточное образование, владеющая машиной, члены которой родились или выросли в сельской местно-

<sup>4</sup> Struyk & Angelici 1996.

<sup>5</sup> Clarke et al. 2000.

сти. В то же время, существенной корреляции между уровнем доходов и использованием дачи авторы исследования не выявили. Более того, они отвергают гипотезу, обосновывающую то, что главной функцией дачи является обеспечение средств существования для наиболее бедных слоев населения. И главным аргументом признается тот факт, что наличие дачи связано не просто с желанием ее иметь, а скорее с наличием возможностей и соответствующих навыков. Согласно данным, полученным в результате нашего пилотного исследования, среди тех, кто выделяет экономическую функцию дачи как приоритетную, большинство относят себя ко второй и третьей группе по уровню доходов (43 и 29 % соответственно)<sup>6</sup>. Первую группу представляют только 8 % респондентов.

Экономическая функция дачи проявляется не только и не столько в обеспечении средств к существованию, сколько в том, что дача становится «дополнительной формой безопасности для тех, кто уже весьма хорошо устроен, чтобы выдержать шторм».<sup>7</sup> Авторы считают, что желание производить собственные овощи – это, возможно, не отражение бедности домохозяйства, а ограниченность развития рынка сельхозпродукции и демонетизация экономики. Своим обитателям дача дает некое ощущение независимости от рыночных механизмов, выступает как убежище от экономических реформ.

Несмотря на то, что многие дачники понимают нерациональность производимой продукции, они все равно занимаются сельхозпроизводством. По результатам нашего исследования 76 % респондентов ответили, что производство сельхозпродукции является основной причиной работы на даче. Большинство не ведут подсчетов расходов и доходов от произведенной продукции; те же, кто занимается этим, не учитывает затраты собственного труда. И даже те немногие, кто учитывает все расходы и видит нерентабельность такого производства, все равно продолжают работать на участке.

---

<sup>6</sup> Деление на группы проведено в соответствии с классификацией Левада-центра (<http://www.levada.ru/ecincome.html>): 1) «Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты»; 2) «На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения»; 3) «Денег хватает на продукты и одежду, но покупка товаров длительного пользования является для нас проблемой»; 4) «Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно приобретать действительно дорогие вещи»; 5) «Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки – машину, квартиру, дачу и многое другое».

<sup>7</sup> Clarke et al. 2000, 489.

В связи со сложностями экономической ситуации, уменьшением денежных доходов у большей части населения, экономическая функция дачи приобрела еще больший вес в период экономических реформ. Согласно пилотному исследованию 57 % дач было приобретено в течение последних 15 лет; 58 % респондентов проводят значительную часть летнего сезона на даче. Это, по-видимому, связано с тем, что проведение реформ не сопровождалось активизацией экономического поведения россиян. По данным Ю. Л. Латыниной<sup>8</sup>, количество респондентов, желающих сменить работу или больше работать для решения финансовых проблем, снизилось. Основной реакцией населения на реформы стало не приспособление к рыночной экономике, а «бегство от нее, порой в дорыночные уклады».<sup>9</sup> Таким образом, сложности экономической ситуации в переходный период стимулировали не экономически рациональное поведение, а возврат к натуральному хозяйству, чему способствовали дешевизна земельной ренты, территориальная близость к земельным участкам, помноженные на опыт участия горожан в натуральном хозяйстве.<sup>10</sup>

Другой аспект экономической функции дач – это дача как институт частной собственности. А. А. Высокинский<sup>11</sup> предполагал, что дача для советского человека служила не только вторым жилищем, но и местом, которое человек воспринимал как собственность, в отличие от городской квартиры, являющейся собственностью государства.

Для некоторых респондентов дача является средством спасения от городских жилищных проблем. В советское время с официальной точки зрения дача рассматривалась как дополнительное жилье к комнате в коммунальной или отдельной квартире в городе. Известны случаи конфискации новополученных квартир у семей, скрывающих наличие дополнительной жилплощади на даче.<sup>12</sup> В постсоветское время некоторые обитатели дач воспринимают их как место временной передышки от того «бремени и контроля», который они испытывают в городских условиях.

Дача является местом приложения своего труда, «вкладывания души». Ощущение собственности, часто выражаемое притяжательным местоимением «своё», носит скорее психолого-экономический харак-

---

<sup>8</sup> Латынина 1996, 3.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Вагин 1999, 160.

<sup>11</sup> Vysokivsky 1993.

<sup>12</sup> Утехин 2005, 345.

тер, чем характер *личностной свободы*. Особенно сильно это проявляется в дачных кооперативах и менее выражено на дачах, расположенных в деревнях: «*Это свои помидорчики / огурчики / ягоды. Таких ты не купишь в городе*». Дачники гордятся *своим домом, своей теплицей, своими* грядками. Однако подобие «экономической свободы» не дает ощущения личностной свободы, свободы личной жизни. Не способствует этому и скромный размер дачного участка в кооперативах, на котором располагается и дом, и баня, и теплица, и грядка с картошкой, овощами, и ягодные кусты. Ощущение социальной обнаженности усиливает и то, что обычно «шесть соток» со всех сторон окружены такими же участками, заборы между которыми чаще всего отсутствуют, так как в советское время они были запрещены, а в постсоветское их уже практически никто не ставит («*и так привыкли*»). Соседи были и есть со всех сторон, личная жизнь дачника открыта для всех. Все что ни делается, ни говорится, доходит до глаз и ушей соседей. С этой точки зрения дача представляет собой странное совмещение частной собственности и открытости общественному «контролю».

Вторая важная функция дачи – рекреационная. Эта функция может реализовываться двумя близкими моделями: дача как *место отдыха* (проведение свободного времени, релаксация, непродуктивный отдых – 10 % респондентов пилотного исследования выбрали это в качестве главной причины поездок на дачу) и дача как *хобби в контексте «активного отдыха»* (5 % респондентов). В первом случае наблюдается изменение понятия «дача», переход экономического капитала в культурно-рекреационный<sup>13</sup>. В рамках данного направления рекреационной функции в современной России развивается новый тип – «*анти-дача*». Анти-дача – это пространство созерцательного, пассивного отдыха,<sup>14</sup> не накладывающая на хозяина никаких обязательств, не предполагающая никакого сельхозпроизводства. Владельцы анти-дач предпочитают не тратить время на выращивание, а покупать агропродукцию в магазине; дачу же используют только для отдыха. У таких дачников происходит переоценка понятий работа, время, ценности, а сами они уже не являются носителями постсоветского социального поведения.

<sup>13</sup> В начале советского периода наблюдался обратный процесс: дача как культурный капитал переродилась в капитал экономический (Zavisca, 2003, стр. 799)

<sup>14</sup> Zavisca 2003, 787.

Идеология «активного отдыха» берет свое начало в советские времена, когда партия и правительство внедряли в массовое сознание стереотипы, связывающие времяпрепровождение на даче со здоровьем (и физическим, и ментальным); продуктивным использованием свободного времени (восстановление сил через смену занятий); временем, проведенным с семьей, чистым и свежим воздухом. По большей части обоснованность этих стереотипов вызывает серьезные сомнения. Так, Б. Б. Родоман описывает далеко не идеальное состояние окружающей среды на дачных участках, построенных в промышленной зоне.

Садовый участок – это [...] трудовые упражнения на свежем воздухе. Но этот воздух далеко не всегда свеж. Немало делянок для рабочих нарезано в черте промышленных городов, на берегах зловонных речек и канав, в карьерах и грязных ямах между дорожными насыпями и городскими заборами, утоплено в смраде из выхлопных газов, обильно посыпано пылью и сажей. [...] Физического оздоровления от дачных участков в промзоне ждать не приходится. [...]<sup>15</sup>

Однако и в постсоветское время многие дачники продолжают поддерживать идею активного отдыха на даче. Часто можно услышать, что дача – это «*страстное увлечение*», что дачники получают удовольствие от «*результатов собственного труда*». Странников активного отдыха не так много (как было сказано выше, всего 5 %), но они представлены практически во всех группах по уровню доходов (кроме первой - беднейшей).

Наконец, еще одна важная функция дачи – социо-культурная, которая также может реализовываться в рамках разных моделей. Первая модель, выделенная И. Боргардом (2005), предлагает рассматривать дачи как сферу обсуждения и *передачи культурной памяти*, а дачников как ее агентов и носителей. Дачники сохраняют память о советском образе жизни; через них сохраняется и развивается история дач. Дачники, как сообщество, основанное на практической деятельности, активно сохраняют один из элементов советской / российской культурной памяти.

Следующая модель – это *дачный образ жизни* как особый социокультурный феномен. Городские жители, приезжая на дачу, изменяют тип своего поведения. Это уже не городское поведение, но такое, которое достаточно жестко мотивировано местом расположения дачи.

---

<sup>15</sup> Родоман 2002.



Так, если дача находится в жилой деревне, то дачники стараются перенимать образ жизни деревенского жителя, чтобы заслужить уважение сельчан, стать членом нового сообщества. Дачник осваивает деревенские традиции, новые для него модели поведения. Однако в дачных кооперативах ситуация совершенно иная. Горожане отказываются от городского поведения, однако и не усваивают деревенского. Формируется особый тип дачного поведения, который мотивирован с одной стороны тем, что дачный участок – это частная территория («*что хочу, то и делаю*»), но с другой, – публичностью деятельности: практически все происходит на глазах у соседей («*да не кричи ты так, соседи услышат*»). Еще один важный фактор, влияющий на поведение дачников, это престиж, который формируется не только и не столько на основе факта владения дачным участком или машиной, сколько на основе результатов собственного труда. Порядок на участке, усердие, проявленное его хозяевами, результаты труда оказывают влияние на социальные отношения внутри дачного сообщества.

Третья модель, реализующая социально-культурную функцию, это дача как *разрушитель культурного пространства* человека. Она в особенности затрагивает тех дачников, для которых сельхозпроизводство является основной причиной владения дачей. Дача в таком случае занимает все свободное время («*просто нет времени ни на что*»), даче подчиняется режим, планы семьи дачевладельца. У людей не остается времени на чтение книг, на посещение театров, поездок во время отпуска, нет времени просто для общения, не связанного с дачей.

Таким образом, современная постсоветская дача представляет собой пересечение производственных практик и структуры потребления, экономической необходимости и социального престижа.<sup>16</sup> В целом, можно говорить о процессе разделения функций дачи: функция сельхозпроизводства все дальше и дальше отделяется от рекреационной. Как утверждает И. Чеховских (2000), сегодня есть все основания предполагать, что по мере преодоления прежних традиций и улучшения экономического положения в России, экономическая функция будет отходить на второй план. Возможно, что и рекреационная функция потеряет свое значение по мере восприятия населением ценностей открытого общества и роста территориальной мобильности. Все это создает предпосылки для неизбежных трансформаций уже в

---

<sup>16</sup> Zavisca 2003, 788.

ближайшем будущем: как изменяться функции дачи, каким будет дачник будущего, какова судьба дачных кооперативов?

### Дачники и сельские жители: их взаимоотношения и взаимосвязи

Как было сказано выше, дачники, ставящие на первый план экономическую функцию дачи, проводят все свое свободное время или большую его часть на участке. Эта деятельность чаще всего сопровождается активным общением с другими дачниками и жителями деревни. Естественно, наиболее активные связи с местным населением возникают у дачников, имеющих участки в жилых деревнях. В пустующих деревнях и кооперативах такое общение связано, главным образом, с выездом дачников в ближайшие деревни.

Взаимоотношения между местным населением и дачниками можно подразделить на экономические и социо-культурные. *Экономические отношения* строятся на основе обмена разного рода услугами. Часть услуг оказываются на платной основе, другая – на основе обмена. Основным типом платных услуг является покупка сельхозпродукции у местного населения, фермеров, а также у сельхозпредприятий и в местном магазине. Сельские жители являются основными поставщиками молока, яиц, меда для дачников (см. таб. 1). Молочную продукцию поставляют также фермеры и сельхозпредприятия. Продажа мяса населением очень незначительна, поскольку за последние 5-10 лет количество скота в личных подсобных хозяйствах существенно сократилось. В течение лета картофель дачники обычно покупают в магазинах (городских или сельских), а по осени у многих вырастает «своя картошка», тогда как сельские жители стараются сбыть ее заготовителям оптом.

**Таблица 1.** Какую сельхозпродукцию вы покупаете в деревне, и кто ее продает (% от общего количества дачников участвовавших в обследовании)?

	Местный магазин	Сельские жители	Фермеры	Сельхоз-предприятие
Молоко	2	58	7	22
Другая молочная продукция	28	17	7	4
Мясо	22	5		
Яйца	28	35		
Картошка	9			
Мед	1	13		

Кроме продажи сельхозпродукции, местные жители предоставляют дачникам целый список услуг, например, помощь на участке, транспортные услуги, строительство и ремонт, заготовка дров (см. таб. 2). Хотя надо отметить, что в большинстве случаев дачники стараются решать подобные задачи либо самостоятельно, либо при помощи родственников и друзей. Наиболее распространенным видом услуг, оказываемых дачникам, является вспашка огородов. Практически в каждой деревне есть владельцы мини-тракторов, которые на определенных условиях оказывают эту услугу и дачникам, и другим сельчанам.

Дополнительным стимулом для взаимодействия дачников и местных жителей становится покупка домов под дачи в деревнях. Часто горожане, покупая дачи на селе, мало знакомы с правилами ведения сельского хозяйства и деревенской жизни, что вынуждает их обращаться за помощью к местному населению. Это происходит и форме консультационных услуг (что и когда лучше сажать, как ухаживать), и услуг по закупке семян, удобрений, кормов. Другой не менее важной услугой является помощь в строительстве и реконструкции домов, бань, установке печей, заготовке дров. Во всех этих случаях оплата может производиться в денежном выражении или в обмен на другие, так называемые «городские» услуги (например, покупка в городе товаров по заказу местных жителей, транспортные услуги). В одной из деревень «важная городская персона», имеющая там дачу, помогла установить первые телефоны, тем самым, связав деревню с внешним миром.

**Таблица 2.** Кто обычно помогает вам в решении следующих задач / проблем (% от общего количества дачников участвовавших в обследовании)?

	Родственники, друзья	Другие дачники	Местные жители	Местная администрация	Никто
Вспашка	21	1	29	10	39
Приобретение кормов, семян, удобрений, скота	3		7	6	83
Сбор урожая	61		1		38
Транспортные услуги (перевозка грузов, продукции)	19	2			79
Транспортные услуги (перевозка пассажиров)	21	3		2	74
Строительство, ремонт	41		5		54
Заготовка дров	27		8	1	65
Одалживание денег	7	3	1		89
Благотворительная финансовая помощь	7				93
Забота о детях и пенсионерах	6				94
Другое			2		98

*Социально-культурные взаимодействия* между дачниками и сельскими жителями основаны на неформальных ежедневных контактах, на основе которых происходит формирование коммуникационных сетей. Понятно, что развитие экономических взаимоотношений способствует развитию культурных и наоборот. Такие взаимодействия способствуют развитию территориальной (локальной) и социальной идентификации. Социальные и культурные практики взаимодействия дачников и местного населения осуществляются через совместные хобби (охота, рыбалка), общие совместные проекты (например, проект газификации сельской местности в Нижегородской области), организацию местных фестивалей, общих гуляний, субботников, а так же в ежедневном общении. Показательно, что в одной из деревень Ленинградской области на последних муниципальных выборах депутатом местного самоуправления сельского поселения был выбран дачник. Такие отношения основаны на доверии местных жителей к горожанам и способствуют формированию культурного капитала.

Дачные кооперативы, чаще всего расположенные на удалении от сельских поселений и не имеющие ежедневных (многократных) контактов с местным населением, не формируют общего поля, на котором могла бы произойти территориальная и социальная идентификация дачников в сельском сообществе. В дачных кооперативах формируется особая дачная культура, которая, с одной стороны, не является городской, а с другой, – не имеет привычной сельской специфики. Взаимодействия с местными жителями носят спорадический характер, и в силу этого дачники не являются ни элементом динамизма и развития, ни противостоят сельскому образу жизни. Дачные кооперативы – это самостоятельная социо-культурная система, образующая особую социальную нишу между городом и деревней.

Совершенно иная ситуация складывается в сельских поселениях, в которые все больше и больше проникают дачники. 43% дачных участков в деревнях достались их новым хозяевам по наследству, 50 % были куплены. При выборе места дачники предлагают такие мотивировки: *«наличие родственников в деревне»*, *«родом отсюда»* (22%), *«понравилось место»* (42%), *«представился случай»* (17%), *«близко к дому»*, *«друзья посоветовали»*, *«друзья живут здесь»*, *«пустой дом продавался»*, *«экология»*, *«низкие цены на землю»*, *«наличие всех необходимых коммуникаций»* (19% в общей сложности).

Дачники приобретают дома в сельских поселениях разного типа. Каждый год с карты России исчезают сельские поселения: вымирают деревни, в которых нередко остаются жить лишь несколько пенсионеров. В таких деревнях часто пустуют дома, хозяев у которых либо нет совсем (и тогда дом переходит в ведение сельской администрации), либо хозяева не желают использовать этот дом. Нередко эти дома выставляются на продажу, и тогда целые деревни могут превратиться в дачные поселки. Дачники продолжают поддерживать основные системы жизнеобеспечения поселения (прежде всего водоснабжение и электричество; сохраняются торговое обслуживание (автолавка) и автобусное сообщение). В таких маленьких деревушках дачники поддерживают жизнь и помогают немногим оставшимся постоянным жителям решать ежедневные проблемы выживания.

Однако в жилых деревнях, особенно в крупных, ситуация гораздо сложнее. С одной стороны, дачники стимулируют развитие местной экономики, но в то же время они могут являться источником конфликтов и трений.

В целом, дачники более позитивно оценивают свои *отношения с местным населением*, чем сельчане свои отношения с дачниками (таб. 3). Единогласие возникает, главным образом, в сфере нейтральных отношений (40% дачников и 48% сельчан согласны с этим утверждением), и очень сильно расходятся во мнении о дружественных и сложных отношениях (55 и 15 %, и 2 и 28% соответственно). Разница в значениях в первой и последней строках таблицы говорят о возникающих трениях и конфликтах между дачниками и местными жителями.

**Таблица 3.** Взаимоотношения с местным населением и другими дачниками

	Отношение дачников к местному населению	Отношение дачников к другим дачникам	Отношение местного населения к дачникам
Дружественные (поддерживаем друг друга, проводим вместе свободное время)	55	50	15
Нейтральные (здороваемся, иногда разговариваем)	40	46	48
Отдаленные (каждый заботится только о себе)	3	3	9
Сложные (нет взаимоотношений, много разногласий)	2	1	28

Отношения к дачникам оцениваются, с одной стороны, с позиций их вовлеченности с сельскую жизнь, в сельское сообщество, но с другой, – с точки зрения оценки их трудолюбия, наличия навыков работы с землей. Дачники, сумевшие справиться и с тем, и с другим, становятся *«своими»*, воспринимаются местными жителями *«почти как постоянные жители»*.

Конфликты и трения могут возникать как на основе неформальных, так и формальных отношений. Неформальные отношения складываются через ежедневные контакты, оказание услуг друг другу. Дачники и местные жители очень часто критикуют друг друга, однако продолжают поддерживать межличностные отношения. Конфликты в области формальных отношений группируются вокруг вопросов аренды/покупки земли, домов, заготовки леса. Обычно решаются они через сельскую/поселковую администрацию. Такие конфликты наиболее остро переживаются местными жителями, так как воспринимаются

как покушение горожан на сельскую идиллию, сельский образ жизни: горожане *«как будто отбирают у нас наше, свое»*.

## Вместо заключения: урбанизм vs. рурализм?

Являются ли российские дачники элементом динамизма и развития деревни или противостоят формальным и неформальным правилам сельского сообщества? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку ситуация по-разному складывается в дачных кооперативах и на сельских дачах, в элитных дачных поселках. Оставляя в стороне вопрос об элитных поселках, о других немассовых типах дач можно сказать, что дачные кооперативы не являются ни элементом динамизма и развития, ни противостоят сельскому образу жизни. Минимальные контакты осуществляются главным образом через сельские магазины, иногда через покупку агро-продукции у местного населения и практически не отражаются на образе жизни ни тех, ни других.

В то же время в малых деревнях чаще всего именно дачники представляют элемент динамизма и развития, поддерживают местное население, способствуют сохранению деревень. В крупных деревнях, наоборот, дачники могут быть и элементом развития деревни, но могут противостоять ему. В итоге, современные дачники, часто унаследовавшие экономические и социо-культурные практики советских времен, могут в разных ситуациях играть совершенно разные роли. Дачные кооперативы часто остаются заповедниками нерыночных и идеологически нагруженных натуральных хозяйств советского типа. Дачник в деревне может приносить с собой и элемент новых социально-экономических отношений, поддерживая и даже развивая село, но может и осуществлять деятельность, идущую в разрез с новым типом хозяйствования на селе, и в этом случае конфликты и противоречия неизбежны.

## Литература

- Боргардт, И. (2005), *Сибирская дача как пространство культурной памяти*. [http://cnsio.irkutsk.ru/sov\\_konfl/annotation/borhardtd.htm](http://cnsio.irkutsk.ru/sov_konfl/annotation/borhardtd.htm) (1.12.2007).
- Вагин, В. (1999), Неформальная экономика и «совокупное жилье» горожан России. Шанин, Т. (ред.) *Неформальная экономика. Россия и мир*. Москва, «Логос», 156-172.
- Даль, В. И. (1994), *Толковый словарь живого великорусского языка*. В 4-х томах. Москва: Прогресс.
- Латынина, Ю. Л. (1996), «Страна по имени провинция» и российские реформы. *Сегодня*, 28 февраля 1996.
- Родоман, Б. Б. (2002), Великое приземление (парадоксы российской субурбанизации), *Отечественные записки*, № 6, 404 – 416.
- Утехин, И. В. (2005), Рецензия на книгу: Stephen Lovell. Summerfolk. A History of the Dacha 1710-2000. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003. *Антропологический форум*, № 1, 342-346.
- Фрумкина, Р. (2000), Хижины и дворцы. *Русский журнал*, 20 декабря. <http://cataclysm.sai.msu.ru/DSK-NR/frumkina.html> (1.12.2007).
- Чеховских, И. (2000), Российская дача – субурбанизация или рурализация? [www.indepsocres.spb.ru/sbornik9/\\_9chekh.htm](http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik9/_9chekh.htm) (1.12.2007).
- Clarke, S., Varshavskaja, L., Alasheev, S. and Karelina, M. (2000), The Myth of the Urban Peasant. *Work, Employment and Society*. 14 (3), 481-499.
- Ortar, N. (2005), Villagers and *Dachniki* in Post-Soviet Russia: Complex Relations. *Paper presented in the 5<sup>th</sup> Annual Aleksanteri Conference "Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas"*, 10-11 November, 2005, University of Helsinki, Finland.
- Struyk, R., Angelici, K. (1996), The Russian Dacha Phenomenon. *Housing studies*, 11 (2), 233-261.
- Vysokivsky, A. (1993), Russian Housing in the Modern Age. *Design and Social History*. Woodrow Wilson Centre Press and Cambridge University Press, 289-296.
- Zavisca, J. (2003), Contesting Capitalism at the Post-Soviet *Dacha*: The Meaning of Food Cultivation for Urban Russians. *Slavic Review*, 62 (4), 786-810.



## THE DACHA KINGDOM

MARI RISTOLAINEN

## Summerfolk as Maecenas: New *Dachniks* Reshaping Russian Villages (and Villagers)

This article examines the impact of one *dachnik* and art patronage on the life of a small Pskovian town – Novorzhev.<sup>1</sup> I will explore this specific case from three parallel angles: 1) the rhetoric of art patronage in general, 2) the donated works of art as rhetorical constructions, and 3) the narrative patterns surrounding the art patron and the financed artworks.

Firstly, I will give a short introduction to the terminology of ‘philanthropy’ and try to explain how the connotations of these words have changed in the Russian language in different historical periods. In addition I wish to broaden the definition of ‘art patronage’ from a form of charity to a shared cultural experience.

Secondly, I will reflect the case of Novorzhev against the alleged post-Soviet phenomenon that summer residents are seen as bringing life and continuity to the fading countryside. I will show, through concrete examples, how since the late 1990s the urban summer dweller has discovered monuments and places of memory, changed symbols and reinvented traditions in the town of Novorzhev and the surrounding villages. I will raise questions such as what do the donated monuments indicate? What kinds of

---

<sup>1</sup> The town of Novorzhev has approximately three thousand inhabitants. It is the capital of the Novorzhev district, where about twelve thousand people live. The Novorzhev district is located in the geographical centre of Pskov Province. Pskov Province is the westernmost region of the Russian Federation and has external borders with Byelorussia, Estonia and Latvia. Despite its location, the Novorzhev district represents a kind of double periphery – a periphery inside a periphery. There are no railways or highways going through the district and in the 1960s it had already been declared an unpromising countryside (*neperspektivnaia derevnia*). After the collapse of the Soviet Union life in Novorzhev became even more visionless.

places of memory are established, i.e. what is considered worth remembering in this post-Soviet peripheral town? My desire is also to briefly describe the contradiction between ‘official’ (sponsored) and ‘unofficial’ (unsponsored) places of memory in Novorzhev.

Thirdly, in order to demonstrate how public artworks create a persuasive effect in the audience, I will give examples of some newspaper accounts published for and against the donated monuments. If an art patron encourages the creation of an artwork that would not otherwise exist, how is the artwork embraced by the public? Does the meaning of places of memory extend through media reproduction or does the meaning emerge in the cultural rhetoric of public commemoration? How do the narratives of donated monuments construct the relationship between Novorzhev (place) and Novorzhevians (people) and with what discursive consequences?

Finally, I analyse the motives of art patronage in general and contrast them with the case of Novorzhev. The intent of this article is to determine whether modern art patronage could be considered and used as a ‘reality-construction practice’.<sup>2</sup>

## A Short Introduction to ‘Philanthropy’ Terminology

The term philanthropy<sup>3</sup> (*blagotvoritel’nost’*) has different meanings. Financial support can be understood in different ways – from patronage<sup>4</sup> (*Maecenas*<sup>5</sup> – *metsenatstvo*) to sponsorship<sup>6</sup> (*sponsorstvo*). Patronage is more

---

<sup>2</sup> This article is a part of my dissertation study called *Preferred Realities: Soviet and Post-Soviet Amateur Art in Novorzhev* (Ristolainen 2008), where I examine the ideological uses of amateur art in Soviet and post-Soviet societies. The theoretical framework of this study begins with the assumption that reality is constructed and interpreted through human activity in a specific linguistic, social and historical context (social constructivism) and, in general, I am interested in various “reality-constructing practices”. My assumption is that both Soviet and post-Soviet practices of power tend to disguise the censoring and constructive power of collective consciousness as beneficial paternalism, i.e. artistic freedom is suppressed in the name of happiness, welfare and the benefit to the entire community (society / place).

<sup>3</sup> Love of mankind; the disposition or active effort to promote the happiness and well-being of others; practical benevolence, now esp. as expressed by the generous donation of money to good causes (Oxford English Dictionary Online 2006 s.v. philanthropy).

<sup>4</sup> The action of a patron in using money or influence to advance the interests of a person, cause, art, etc (Oxford English Dictionary Online 2006 s.v. patronage).

<sup>5</sup> From Latin: *Maecenas*, *Gaius* (d. 8 B.C.), a Roman knight and friend of Augustus who was characterised as a generous patron of literature (Horace and Virgil) whose name has

altruistic than sponsorship, but unlike philanthropy the supporter wants something in return. Furthermore, the connotations of 'philanthropy' related words have changed in the Russian language in different historical eras. In this article I will focus only on two Russian words: *blagotvoritel'nost'* and *metsenatstvo*.

In *Bol'shaia Entsiklopediia*, published between 1901-1909, the phrase *blagotvoritel'nost'* is explained as a system based on kindness, where people voluntarily help the weakest members of the society. The three-page-long definition describes extensively all kinds of charity and concludes that it has always been and is perceived as a noble and important activity within all the nations helping the weakest members of the society.<sup>7</sup>

After the October revolution of 1917 the connotation of the word *blagotvoritel'nost'* changed dramatically. In the second edition of the *Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopediia*, published between 1949-1959, philanthropy is described as a dishonest form of helping the deprived population and its only intent is to distract the workers from the class struggle. This explanation also informs how the Soviet state took upon itself the role of a philanthropist by organizing free-of-charge medical aid and financial help in the case of illness and disability or old age. The socialist society provides well-being for its people and therefore no charity is needed.<sup>8</sup>

Art patronage (*metsenatstvo*) was also seen as a threat to socialist society. *Literaturnaia Entsiklopediia*, published between 1929-1939, indicates that art patronage is exercised only with a political object: the ruling class seeks to use the genius of the artists to glorify its interests. Moreover, according to this definition, art patronage is no longer needed. The socialist revolution made the whole concept of patronage impossible, since the Soviet state supported its artists both mentally and financially.<sup>9</sup>

After the collapse of the Soviet Union many pre-revolutionary terms and symbols, including *blagotvoritel'nost'* and *metsenatstvo*, were also re-introduced to the Russian language. This reflected the emergence or the re-

become the personification of such activities (Oxford English Dictionary Online 2006 s.v. Maecenas).

<sup>6</sup> Financially supported or promoted; freq. of radio or television programmes, etc., having (a portion of) their expenses paid by a commercial interest in return for granting advertising space or rights. Or a fund-raising activity usu. organized on behalf of a charity, in which each participant obtains pledges from sponsors to donate a certain sum for each unit completed (Oxford English Dictionary Online 2006 s.v. to sponsor).

<sup>7</sup> *Bol'shaia Entsiklopediia* 1901-1909 s.v. blagotvoritel'nost'.

<sup>8</sup> *Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopediia* 1949-1959 s.v. blagotvoritel'nost'.

<sup>9</sup> *Literaturnaia Entsiklopediia* 1929-1939 s.v. metsenatstvo.

invention of the new social and cultural patterns of life.<sup>10</sup> Starting in the 1990s several studies and non-scientific popular literature about the pre-revolutionary phenomenon called art patronage have been published.<sup>11</sup> All the studies that I am acquainted with can be described as endless lists of famous Russian patrons and ‘rehabilitation narratives’.<sup>12</sup> Patrons are acclaimed and idealized and described as having an altruistic character, with no commercial interests or calculations concerning future tax privileges. Furthermore, patronage is described as a spiritual investment in the nation.<sup>13</sup>

Whatever the definitions are or have been, they have one thing in common: in every description *blagotvoritel'nost'* and *metsenatstvo* are given an enormous meaning, i.e. they are considered as a powerful tool that can have persuasive, positive or negative, effects. Therefore, in my opinion, the definition of art patronage should be broadened. I perceive art patronage not only as a financial relationship between an artist and a patron, but also as a relationship between a patron and a whole community. In particular, when investing in public works of art the interaction between the art product and the patron continues and expands well beyond the stage of artistic creation. Hilde Hein (1996) defines ‘public art’ firstly in the traditional sense that it occupies public space and memorialises a public event, and secondly, in the current sense that it questions the meaning of the space and creates new symbolic values about that event and draws the public into intelligent discourse with it. In doing this, the public artwork brings an additional aspect of publicity into focus, that it is multiform and multivalent; it realises that the forum is a place for debate, not just a site for communion or collective affirmation.<sup>14</sup> In the case of art patronage a patron creates meanings, which continually emerge in the present, i.e. art patronage becomes *a social act of meaning production*. For art to truly be public, it must be embraced by that public in some way. It must pass from the real of the private encounter into an area of shared cultural experience. In the following I will discuss how this occurs.

---

<sup>10</sup> Dinello 1998, 110.

<sup>11</sup> See for instance: Glagolev 1994; *Metsenatstvo v Rossii* 1994; Sverdlova 1999; *Blagotvoritel'nost' v Rossii* 2002; Lopuhina 2003; Dorofeeva 2004; Gavlin 2005.

<sup>12</sup> cf. *Metsenatstvo v Rossii* 1994, 5-6.

<sup>13</sup> cf. Dorofeeva 2004, 51; Gagarina 2001, 412; Sverdlova 1999, 136

<sup>14</sup> Hein 1996, 1-4.

## Cultural Patronage in Novorzhev: Constructing New 'Official' Sites of Memory?

The main art patron of Novorzhev is a *dachnik* and a former director of the tax administration of St. Petersburg (Nevskii district) – Nadir Ishakovich Iakhin. In the early 1990s he bought an old garden-plot house in the village of Zakhod (about five km from the town of Novorzhev). Unfortunately this *dacha* burned down and in the late 1990s he replaced it with a prestigious brick-walled cottage with a one-and-a-half-metre high fence around it.<sup>15</sup> The new house clearly represents the new post-Soviet type of year-round house that in Russian is called a *kottedzh*, in order to emphasise its Western pedigree.<sup>16</sup> The 'fortress' has three floors with four bedrooms, a living room with a fireplace, a fully equipped kitchen, a garage, two toilets with a shower and hot water. In addition, there is also a smaller guesthouse.<sup>17</sup> By comparison, the average Novorzhevian house is wood-heated and lacks hot water.

I was unfortunately unable to interview the *dachnik*-patron Nadir Ishakovich Iakhin; he first promised the interview, but then, for one reason or another, back-pedalled. Therefore the research material consists mainly of newspaper data and thus the rhetoric of giving from Mr. Iakhin's point of view is less discussed. In order to understand the structure and impact of art patronage and the interaction process behind it, I will not only describe the monuments and events, but also try to show how the patron and patronage and the donated works of art have been reported in the local, regional and (even) in national media, in schoolchildren's writings, etc.

### The Chapel

In autumn 1998 a regional newspaper, *Novosti Pskova*, reported how a new chapel (in honour of the Kazan Icon of the Mother of God), dedicated to a group of deceased artists of St. Petersburg, was consecrated in the village of Zakhod. In his sermon, the Archbishop of Pskov, Evsevii, distinguished the special history of this chapel and thanked all the donors and builders. After the consecration ceremony the archbishop and priests carried out the

---

<sup>15</sup> *Pskovskaia Pravda* 6.6.2003.

<sup>16</sup> Lovell 2003, 220.

<sup>17</sup> This information is from an Internet-ad where Mr. Iakhin seeks to sell his cottage. According to anonymous Novorzhevian sources, due to a tragic accident in his family the cottage is for sale. The ad was published on November 11, 2004. See: <http://consultation.bizator.ru/ru/leads/other/a1038905381.html> (4.9.2007)

first requiem in front of the memorial plaque, in which the names of 26 famous artists from St. Petersburg are inscribed. Among them are the actors I.K. Cherkasov, S.I. Filippov, N.N. Kriukov, N.A. Lebedev and V.V. Merkur'ev, a theatre director G.A. Tovstonogov, the composer D.D. Shostakovich, and the sculptor M.K. Anikushin. On the memorial plaque above the list are the words from a prayer: “*Pomiani, Gospodī, vo Tsarstvii Tvoem rabov Tvoikh*”. The archbishop also noted that all these artists sought the supreme ideals in their creative work.<sup>18</sup>

The idea of building the chapel came from Mr. Iakhin, a Muslim, whose *dacha* is adjacent to the chapel. First the town donated the land for the chapel and then he organized the financing. According to the newspaper *Novosti Pskova*, the group of financiers consists of leading artists and businessmen from St. Petersburg. Two of the philanthropists are mentioned in the newspaper article: the artist Mikhail Borianskii and V. Radchenko, general director of the factory “*Zvezda*” – the largest manufacturer of diesel engines in Russia. Mr. Radchenko said a few words at the ceremony. The newspaper summarises his speech reporting how Mr. Radchenko was a very good friend of many of the dead artists, always a religious man, and therefore financing this chapel was ‘a holy undertaking’ (*sviatoe delo*) for him.<sup>19</sup>

Nevertheless, in an article published in the Pskov newspaper *Veche* in 2005, an anonymous writer reclaims the site where the chapel is located for Novorzhevian purposes. The article asks how it is possible that in the place where Novorzhevians defended their homes in bloody battles during the Great Patriotic War a chapel dedicated to the deceased artists of St. Petersburg can stand.<sup>20</sup> In my opinion, this question shows that the chapel is merely a private sanctum located in a public space, rather than a public sanctum specific to a particular place. In other words, the patron-*dachnik* privatised a public space instead of creating a public sanctum on it.

For those who had donated money for the chapel, it became a sort of ‘place of pilgrimage’. To the Novorzhevians this meant that interesting artists from St. Petersburg came to entertain them once a year on the anniversary of the chapel. At least the artists Leonov-Gladyshev and Mikhail Borianskii have been reported to have visited this site and performed there. The Pskov newspaper *Pskovskaia Pravda* describes how in the Novorzhe-

---

<sup>18</sup> *Novosti Pskova* 2.10.1998.

<sup>19</sup> *ibid.*

<sup>20</sup> *Veche* 3.3.2005.

vian soil they have understood the importance of preserving traditions, since without a spiritual revival no rise of industry is possible nor can changes in the agriculture be achieved.<sup>21</sup> This indicates how significant a meaning has been given to the chapel (and implicitly to the patronage).

### Pushkin's Memorial Plaque

In 1999, the 200<sup>th</sup> anniversary of Pushkin's birth, the *dachnik*-patron gave the town and its inhabitants a present: a memorial plaque emphasising the relationship between Novorzhev and Pushkin. Novorzhev is located about 30km past *Pushkinskie Gory* and Pushkin's home estate *Mikhailovskoe* but, in fact, Novorzhevians have never been really able to benefit from tourism. Nevertheless, Novorzhevians are extremely proud that Pushkin mentioned the town in his poem considering Novorzhev as his 'own',<sup>22</sup> even though his words about Novorzhev are not very admirable. "Any publicity is good publicity" – says a true Novorzhevian.



Fig.1: Pushkin's Memorial Plaque (1999) © Mari Ristolainen

<sup>21</sup> *Pskovskaia Pravda* 7.12.1999.

<sup>22</sup> "Есть на свеге город Луга // Петербургского округа. // Хуже не было б сего // Городишка на примете, // Если б не было на свеге // Новоржева моего". In English: "There is in Russia the town of Luga // in the Petersburg region // One could not imagine // A worse dump than this // If there didn't exist // My Novorzhev" (Pushkin 1956, 313; Translation from Binyon, 2002, 45).



The plaque was placed on the wall of a house standing on the spot where a hostelry once stood, where Pushkin – more than once – spent the night on his way to *Mikhailovskoe*. The new plaque<sup>23</sup> replaced an old, well-thumbed and forgotten one that hung on the same wall for more than 20 years. The new plaque was described in the local newspaper as a very desired and needed gift.<sup>24</sup>

The then deputy major of the Novorzhev district – A. A. Semenov – spoke at the unveiling ceremony. He emphasised that the financing for the plaque came entirely from the art patron N. I. Iakhin. Semenov also declared that Mr. Iakhin is no longer only a *dachnik* from St. Petersburg, but he should be recognised as a true Novorzhevian.<sup>25</sup> Iakhin's role in financing of the chapel was also remembered of in the speech. In response, Mr. Iakhin simply said that on that day the town had its birthday, and on birthdays it is customary to give presents. He hoped that Novorzhevians would accept this small gift. (The unveiling ceremony was organized on the town's 222<sup>nd</sup> anniversary.) A more touching speech was given by the director of the local museum, I. V. Kas'ianova, who declared that that place was holy for Novorzhevians, since it connected them directly with Pushkin.<sup>26</sup>

By comparison, the “history of Novorzhev” written in 1977 does not really point out the relationship to Pushkin. On the contrary, it stresses another memorial plaque and house – the House of Pioneers and the plaque on its wall testifying that the resolution transferring authority to the revolutionary Soviet was passed in that building in early October 1917.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> The new black and polished granite plaque has a profile of A.S. Pushkin, the dates 1799 and 1999, and the following text: “На этом месте находилась гостиница Д. С. Котосова, в которой не раз останавливался А. С. Пушкин по пути в Михайловское”. In English: “Here stood D. S. Kotosov's hostelry, where A. S. Pushkin, more than once, spent the night on his way to Mikhailovskoe”.

<sup>24</sup> *Zemlia novorzhevskaiia* 18.8.1999.

<sup>25</sup> Mr. Iakhin's roots are not in Novorzhev. According to anonymous Novorzhevian sources he just “dropped in” to Novorzhev by coincidence, on the recommendations of his friends. Many other *dachniks* and also foreign researchers have similarly “dropped in” there. E.g. Prof. Natalia Baschmakoff found the vanishing villages of Ivahnovo and Novorzhev through her colleagues in St. Petersburg, who had discovered from their colleagues that in the Novorzhev district there was cheap and fertile land for growing potatoes in the harsh years in the 1990s. This was the impetus for the Ivahnovo-project and the study by N. Baschmakoff, N. Loimi and J. Takala (2000). Moreover, as a result of these random events the current study started in Novorzhev.

<sup>26</sup> *Zemlia novorzhevskaiia* 18.8.1999.

<sup>27</sup> Popov 1977, 5-6.

## The Sculpture of Catherine the Great

Gift-giving to the town of Novorzhev and its inhabitants continued in 2002. Patron Iakhin organized the financing of a sculpture of Catherine the Great to commemorate the 225<sup>th</sup> anniversary of the town. During Catherine's provincial reforms Novorzhev was incorporated as a town in 1777.<sup>28</sup>

The story of how the idea of this monument emerged is as follows: as a joke, at the opening of the chapel the then town mayor, T. A. Fedorova, said to patron-*dachnik* N. I. Iakhin that the next thing the town needed was a statue of its founder Catherine the Great. Half-seriously, she told to him that since St. Petersburg has so many figures of the empress, could he steal even the smallest one for the town. And 'abracadabra', a few months later the famous sculptor Vladimir Emil'evich Gorevoi arrived at Novorzhev in search for a place for the sculpture. The town gave the project 300 000 roubles, which was argued about and criticized in the newspaper.<sup>29</sup> There is no published information about the other benefactors.

The building in front of where the monument was to be erected is a former Party administrative building (*raikom KPSS*). Before the unveiling the facade of the building was renovated and inside a museum dedicated to "the politics of the 20<sup>th</sup> century" was founded. In practice this meant that the museum was established as a show of respect for the Communist Party and its local activists. According to the then museum director and only employee, M. I. Golubkov, the museum was intended to be a place where every Novorzhevian could come and peacefully commemorate the Soviet past.<sup>30</sup>

The planned site of the monument raised active debate even before its erection. Mayor Fedorova was forced to publicly explain why such a place was chosen for the monument: the question on every Novorzhevian's lips was how was it possible that in front of the most ideologically slanted building in town, where the new political history museum had recently been opened, a monument glorifying the empress would be established? Her answer is a great example of how history is interpreted and given new

---

<sup>28</sup> Catherine II ratified *the Fundamental Law for the Administration of the Provinces of the Russian Empire – Uchrezhdeniia dlia upravlenii guberniia Vserossiskoi Imperii* in 1775. This reform divided the country into 50 *guberniia* (300 000 – 400 000 inhabitants). These new *guberniia* were then divided into *uezd* (20 000 – 30 000 inhabitants). In the centre of each *uezd* was a town. However, if there was no town, one was upgraded as one. Novorzhev is one of these towns. (cf. Jones 1973, 210-222.)

<sup>29</sup> *Zemlia novorzhevskaiia* 11.6.2002.

<sup>30</sup> From an interview done in March 2004.

meanings today: monarchy is harmoniously blended into the socialist past by emphasising how all these people just meant well and worked hard.<sup>31</sup>



**Pic.2:** The Sculpture of Catherine the Great in August 2007 © *Mari Ristolainen*

---

<sup>31</sup> A translated quote from T. A. Fedorova's interview: "No. Our aim is not to devote this museum to communist ideology, or to the CPSU, but to the people who worked there (and not only there), and did many things for the development of the town and the Novorzhev region, to the people who supported the growth of our economy, agriculture, and culture. We shall not assert whether they were right or wrong. ... This is a part of our history, a part of our lives, and we simply cannot break away from it. There is a country, whatever it is named, and there are people who do everything to ensure that this country, our native land, will prosper. ... Therefore, the monument ... is, in fact, not simply devoted to the empress at all, nor is it intended to glorify the monarchy. ... The monument is a symbol of unification of different generations, a symbol of our past, which we should remember, respect and understand. If we do not remember history – there will be no future for us nor the country..." (*Zemlia novorzhevskaja* 11.6.2002).

After the unveiling the square's name was changed to Catherine Square (*Ekaterininskaia ploshchad'*). Nowadays the square and Catherine are considered as symbols and the business card of the town. Fresh flowers are even occasionally placed in front of the statue. New traditions have been invented: newlyweds are photographed in front of the monument. The image of the monument to Catherine the Great is even found on Novorzhevian plastic bags.<sup>32</sup> The guided tour of the political history museum, starting with an enthusiastic Pushkin quotation (see above), also begins in front of Catherine the Great. As the "politics of the 20<sup>th</sup> century" museum was closed in January 2006, one could thus say that the empress had won. All in all, in my opinion, this example clearly shows the tremendous impact the art patron has had on the social reproduction of traditions.

Many regional and even national newspapers reported this unusual event. The fact is that the last monument established in Novorzhev prior to this was in 1985, a monument dedicated to the dead soldiers of the Great Patriotic War.<sup>33</sup> Actually, all the monuments, except those to Lenin and Stalin, erected during the Soviet regime are dedicated to the war, i.e. Novorzhevians had been instructed to find their point of reference in war memories and shown what was to be valued in the future as well as in the past (cf. the newspaper account of the donated chapel standing on the spot of bloody battles).<sup>34</sup> All the newspaper articles noted the role of the financier N. I. Iakhin and identified him as a patron-*dachnik* who had become a true Novorzhevian. A list of all his gifts to Novorzhev was cited in every article. However, the reactions to the monument itself were either for or against and very different connotations were given to the monument and the art patronage. *Pskovskaia guberniia* declared that the pro-monarchy movement started in Novorzhev.<sup>35</sup> Another Pskov newspaper proclaimed that the empress had returned to Novorzhev.<sup>36</sup> *Izvestiia* headlined its piece "A *dachnik* from St. Petersburg collected money for the monument to Catherine II" and

---

<sup>32</sup> I found a plastic bag with the picture of the Catherine the Great monument in a local shop in autumn 2007. This black pouch has, in golden text, *Pskovoblpotrebsoiuz* (The regional Pskov consumer association), *Novorzhevskoe raipo* (the regional Novorzhev consumer association) *V edinenii sila* (Together we are strong) and the image of a handshake. Below this is an image of the monument surrounded by a garland of leaves (See picture of the plastic bag).

<sup>33</sup> See: *Kadastr* (1997).

<sup>34</sup> On the rhetoric of different monuments in the Novorzhev district see: Baschmakoff & Ristolainen 2005.

<sup>35</sup> *Pskovskaia guberniia* 15.-21.8.2002.

<sup>36</sup> *Veche* 26.12.2002.

underlined the altruistic character of the patron.<sup>37</sup> *Parlamentskaia gazeta* ironically announced that the empress settled on the street of a partisan (*ul. Germana*).<sup>38</sup>

Nowadays Novorzhev's founding is celebrated every year, which was not customary during the Soviet regime. In 1977 Novorzhev celebrated its 200<sup>th</sup> anniversary, but no attention was drawn to the role of the empress in the history of Novorzhev. The 200<sup>th</sup> anniversary was explained as a major event celebrating the renaming of the town, from Pustaia Rzheva to Novorzhev.<sup>39</sup> After the collapse of the Soviet Union the town's anniversary was noted occasionally in the local newspaper and not really 'explained' to the public.<sup>40</sup> Starting in 2002 the celebration has been connected to Catherine the Great.<sup>41</sup> In 2004 I collected essays by Novorzhev schoolchildren. Seventeen fourth grade pupils (10-11 years old) were asked to write about their hometown (the theme given was simply *My rodnoi gorod – My hometown*) and ten mentioned the monument.<sup>42</sup> Only three wrote about the War and how heroically the Novorzhevians defended their town. The homepage of the first Novorzhevian website has a photo of Catherine the Great (with flowers) and describes how the empress founded the town.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> *Izvestiia* 19.8.2002.

<sup>38</sup> *Parlamentskaia gazeta* 24.8.2002.

<sup>39</sup> Попов 1977, 29.

<sup>40</sup> A quotation from then the town mayor's interview paraphrases Vladimir Mayakovsky's famous lines as "Город Новоржев был, есть и будет! – The town of Novorzhev was, is and will be!" (cf. Ленин – жил, Ленин – жив, и Ленин будет жить! – Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live!): "220 years have passed since the founding of Novorzhev. The history of our hometown is full of interesting events. Our fellow townsmen have done a lot for Russia in the past and we have the right to be proud of them" (*Zemlia novorzhevskaiia* 2.8.1997).

<sup>41</sup> "The town of Novorzhev was established in the churchyard of Arsho, in an area between two small lakes called *Arsho* and *Rostso* by Empress Catherine II in the year 1777. A small town called Pustorzhev was abolished at the same time Novorzhev was established" (*Zemlia novorzhevskaiia* 9.7.2002). "On Sunday, August 17<sup>th</sup>, our city marked its 226<sup>th</sup> anniversary. Celebrations began by laying flowers at the monument of Catherine II – the founder of the town of Novorzhev" (*Zemlia novorzhevskaiia* 19.8.2003).

<sup>42</sup> cf. an example from one of the essays: "В городе много красивого, например: Екатерининская площадь. На этой площади стоит памятник основательнице этого города Екатерины". In English: "In the town there are many beautiful things, for example, Catherine Square. This place has a monument of the founder of the town, Catherine."

<sup>43</sup> Cf. "The town was established in 1777 by the ukase of Empress Catherine II" (<http://www.novorzhew.narod.ru;> 4.9.2007). This is Novorzhev's the first website, founded in 1998. Two other unofficial websites concerning Novorzhev can be found at

Catherine the Great continues 'to bring good things' to Novorzhev and its inhabitants today as well. In June 2006, the local newspaper announced that a German town, Zerbst, had contacted Novorzhev. *The Historical Society Catherine the Great of Zerbst* asked if Novorzhev could become Zerbst's twin city because there is a monument dedicated to the empress in Novorzhev. The article emphasises that they did not yet have such a monument in Zerbst but were eager to establish one when they had collected enough money.<sup>44</sup> To the Novorzhevians this meant that somebody from the outside world had noticed them, which they considered to be almost a miracle.



**Pic.3:**  
The monument of  
Catherine the Great  
on a plastic bag

<http://www.novorzhew.nm.ru> (founded in 2001; accessed 4.9.2007) and  
<http://www.gramm200.narod.ru> (founded in 2004; accessed 4.9.2007).

<sup>44</sup> *Zemlia novorzhevskaja* 6.6.2006.

## The Monument of Schema Monk (Skhimnik) and Other Donated Works of Art

Another present from the *dachnik*-patron Iakhin was left almost under the feet of Catherine II. The day before the unveiling of the sculpture of Catherine a schema monk monument (*Skhimnik*) was revealed near the chapel. This statue is also the work of the sculptor Vladimir Gorevoi and a gift from him and Mr. Iakhin to Novorzhevians.<sup>45</sup> Since this project Vladimir Gorevoi has also completed a relief of balalaika virtuoso Boris Sergeevich Troianovskii, who was born in Novorzhev. The relief is located on the wall of the local *Dom Kul'tury*. (Who financed the relief is not known.) Now-



days Vladimir Gorevoi is considered the town's own artist.<sup>46</sup> To the best of my knowledge, *dachnik*-patron Iakhin has organized or financed no cultural objects in Novorzhev other than the ones presented above; he is now trying to sell his cottage there. However, his lead has been followed at least by the film director Dmitrii Mesheiev. He also built a chapel in honour of the Kazan Icon of the Mother of God in the village of *Posadnikovo* in the Novorzhev region.<sup>47</sup>

**Pic.4:** The Chapel (1998) and the Monument of Schema Monk (2002)

© Pavel Mihailov, *Zemlia novorzhevskaiia*

<sup>45</sup> *Pskovskaia Pravda* 13.8.2002; *Novosti Pskova* 20.8.2002.

<sup>46</sup> *Zemlia novorzhevskaiia* 25.4.2003.

<sup>47</sup> *Pskovskaia Pravda* 31.12.2004.

## 'Unofficial' and 'Un-sponsored' Post-Soviet Places of Memory

By comparing the new official and sponsored monuments I will try to briefly show that, in my opinion, a monumental meta-narrative arises from the spontaneous shrines of the Novorzhevians.

In order to find private and unofficial, spontaneous places of memory the local people should be interviewed. However, a brief caption from the local newspaper after a stormy day in January 2005 gives at least a hint of the kind of unofficial places of memory that might be found in Novorzhev. On the front page of this issue is a picture of discarded and abandoned grain silos from the village of Orsha and a caption stating that for many years these grain silos have served *as a business card for the village Orsha*, though they were unused.<sup>48</sup>



Pic.5: Grain Silos in the Village of Orsha (Egorov 2003, 138)

I believe that the discarded and abandoned grain silos, if considered as 'a business card', memorialise something that has been lost – working places, the *kolkhoz*, the Soviet Union, i.e. values, ideas and perceptions of the average Novorzhevian. Almost half of the population in the Novorzhev district was employed by the *sovkhoses* and *kolkhozes* during the Soviet regime. Today there are only two bigger private farms in the region.<sup>49</sup> However, the 'official' post-Soviet monuments in Novorzhev represent something that did not exist in Soviet times, but now, for one reason or another, people wish to believe did (chapels and religious monuments, a meaningful rela-

<sup>48</sup> *Zemlia novorzhevskaja* 21.1.2005.

<sup>49</sup> Egorov 2003, 156-162.



tionship to Pushkin and Catherine the Great). The grain silos are also a symbolic contradiction to art patronage: during the Soviet years the *kolkhozes* fed both the body and soul in the countryside.<sup>50</sup>

After the International Day for Monuments and Sites (*Mezhdunarodnyi den' pamiatnikov i istoricheskikh mest*) in 2006 there was an interesting column in the local newspaper about a forgotten place of memory, which, according to the author, desperately needed revitalization. A memorial plaque dedicated to the famous Soviet military officer and partisan Aleksandr German<sup>51</sup> was unveiled in Novorzhev in the 1970s, but somebody had recently vandalized it, and nobody seemed to have heard or seen anything or wished to do anything about it. The author asks aggressively "is this how we preserve the memory of our fathers and grandfathers, who fought for the freedom and independence of our Native Land!" He even compares the vandals with "fascists" in the occupied territory, because all of them are destroying Russian material culture.<sup>52</sup> Despite the strong appeal for the restoration of this plaque, it remains today an 'unsponsored' place of memory. In other words, a Soviet 'official' remembrance has turned into a post-Soviet 'unofficial' place of memory (cf. the sarcastic remark above that the empress settled on the street of a partisan – *ul. Germana*).

In my opinion, these examples show that there still is a certain kind of disorientation over what 'official' places of memory should be? Which places of memory should be preserved, i.e. sponsored and which not? The column ends with a suitable interrogative remark: is it really that we never appreciate what we have until we lose it?<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> See for instance *kolkhoz* narratives in Paxson 2005.

<sup>51</sup> Aleksandr German was killed in action on April 2, 1944 in the village of Zhitnitsy in the Novorzhev district.

<sup>52</sup> *Zemlia novorzhevskaja* 21.4.2006.

<sup>53</sup> *ibid.*



**Pic.6:** Aleksandr German's Memorial Plaque (1970s) (*Zemlia novorzhevskaiia* 21.4.2006)

### Motives of Art Patronage in General and Contrasted with the Case of Novorzhev

As noted earlier, since the 1990s many studies about pre-revolutionary patronage and patrons have been published in Russia. A. Glagolev (1994) has listed several motives for Russian art patronage between late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries. In my opinion, these motives could also be found in the art patronage of today's Russia. My aim is to contrast these motives with Novorzhevian art patronage and include my own ideas of the potential motivation.

According to Glagolev the motives of Russian pre-revolutionary patronage can be divided into three groups. Firstly, the patronage can have a *religious inducement*. The Orthodox moral code guides those in need and therefore even those wealthy men who are not deeply religious donate significant sums of money to the church.<sup>54</sup> In pre-revolutionary Russia the hierarchy of the Russian Orthodox Church played an important role in patronage. As a God-pleasing (*bogougodnyi*) activity, patronage was also a prerequisite for obtaining nobility status in Imperial Russia.<sup>55</sup> After the collapse of the Soviet Union, one could argue that religion-related patronage is an attempt by the rich to enter heaven, a kind of post-Soviet remission. Such ulterior motives might also be found in the case of the Novorzhevian chapel.

The second motive behind patronage is, according to Glagolev, *patriotism*.<sup>56</sup> Emphasising Russianness was a way of assessing foreign cultures in contrast to the Russian in pre-revolutionary Russia. I believe that this can also be found in today's patronage. In Novorzhev patrons have gone one step further, since they believe they are strongly a part of Russian history by underlining the almost non-existent relation to Pushkin and considering Catherine the Great almost as their ancestor. Patriotism can be seen when emphasizing the local prestige. It seems that in financing public works of art there is a need to demonstrate that a rich cultural life accompanies a rich material life. However, the benefits to the local economy can hardly be seen in practice – does a new monument or chapel attract new investments and migration to the district?

The third motive in Glagolev's list is the desire for *tax and other privileges*. Different kinds of grades, ranks, awards and nobility can also be added to this group of motives.<sup>57</sup> The role of tax and other financial privileges in the case of Novorzhev can only be presumed. However, a wild guess is that these play a significant role in Novorzhev patronage. It should be emphasised that the main organizer of all the patronage activities in Novorzhev occupied a leading position in the St. Petersburg tax administration. Since 1994 the state has offered tax breaks and lower tax rates as incentives for philanthropic activities.<sup>58</sup> It has been stated that in some cases

---

<sup>54</sup> Glagolev 1994, 111.

<sup>55</sup> Dinello 1998, 118-199.

<sup>56</sup> Glagolev 1994, 111.

<sup>57</sup> *ibid.*

<sup>58</sup> Dinello 1998, 124.

philanthropy is used as a suitable tax shelter for commercial enterprise, permitting large profits and even money laundering.<sup>59</sup>

I would add *paternalistic aspiration* to the motives behind art patronage. The words *paternalism* and *patronage* are often used interchangeably, because both involve informal norms of gift-giving and perceive acts of giving as expressions “for the public good”. Moreover, outsiders’ knowledge is assumed to be more valid than rural people’s for achieving what the provincials want – or need or lack.<sup>60</sup> Furthermore, the concepts ‘paternalism’ and ‘patronage’ are used to describe a relationship with a top-down decision-making structure. Those making the decisions have a feeling of superiority, i.e. the relationship between benefactor and recipient is a combination of unequal status and power.<sup>61</sup>

When speaking about the motives of art patronage the main questions should be: what are the reasons why patrons give money to support a certain kind of monument (or a work of art)? Whether the funding serves some goals? Who decides what gets funded? What is the public interest in these works of art? In this case, the monument to Catherine the Great has a dual role. It exists primarily as the glorification of the founder of Novorzhev. However, the empress also embraces the new post-Soviet ideology, i.e. the monument serves an ideological purpose. What all the donated works of art in Novorzhev have in common is that one art patron (and a small group of people surrounding him – the local leaders) selected a work of art and decided in the name of the Novorzhev public what its public art should be. Despite the criticism, the town donated land and money for the monuments. No money was collected from the Novorzhevians, i.e. all the financing and decisions came ‘from above’. The art patron seems to know what is good for the masses more than the masses themselves. The case of Novorzhev indicates that by affecting the continuity and change in monumental tradition the art patron creates new meanings. From his perspective an art patron introduces an important piece of art into the broader social environment, where it functions and is evaluated by the community. The constructed meaning is located in the rituals performed around the financed monuments and in the mass-mediated interpretations of its signifying functions.

Successful art patronage should be perceived as a disinterested act aimed at the public good. The power of patronage in Novorzhev lies in its ability

---

<sup>59</sup> Gorodetskaia 1997, 134-35 via Dinello 1998, 126.

<sup>60</sup> See for instance the chapter “Making Memory: How Urban Intellectuals Reinvent Russian Village Traditions” in Olson 2004, 204-220.

<sup>61</sup> Abercrombie & Hill 1976, 416; Siegelbaum 1999, 232.

to create a locally accepted narrative that presents both the works of art and the art patron as a benevolent, selfless servant of the public, dedicated to the good of all Novorzhevians. In my opinion, the art patron and the small group surrounding him have exploited the rhetoric of 'common good' in order to portray the establishment of the monuments as an issue of local significance. They have appealed to economic prosperity and strengthened the narrative in hope of attracting foreign investors, i.e. patronage is disguised as beneficial paternalism. This narrative is transmitted not only in newspaper articles and in public ceremonies associated with the establishment of these monuments, but tangibly in the permanent monument that the art patron created.

## New Traditions for Sale?

Since private art patronage is a relatively new phenomenon in post-Soviet Russia, practically no research has been done in this field. Therefore, first and foremost, one should ask how frequent is the Novorzhev type of art patronage, and who, in general, finances the post-Soviet public works of art, i.e. makes the decisions on what kinds of monuments are established, i.e. defines what is worth remembering today?

The emergence of private philanthropy and art patronage in Russia can be regarded as an achievement because, as shown through the definitions, private initiative and voluntarism in this area were considered by the Soviet regime as 'unnecessary'. However, is it needed today and if so, what is it really needed for? To what or where are the funds directed? Why, as in the case of Novorzhev, are philanthropic funds directed to visible and 'high-profile' art monuments and chapels? Does the average Novorzhevian really distinguish the constructed 'common good' implication of these monuments? Nevertheless, it seems that at least schoolchildren have already internalised, for instance, the meaning of Catherine the Great. Hence, one could state that the narratives around this monument have borne fruit, i.e. Catherine the Great has a rhetorically constructed relationship with Novorzhev and its inhabitants, which was not expressed during the Soviet regime. Nowadays monarchy is harmoniously blended into the socialist past by emphasising how all these people just meant well and worked hard for the common good. This narrative constructs a historical continuity – all these events belong to the mighty history of the Russian Empire.

In my opinion, the case of Novorzhev indicates that art patronage can be perceived as constructing and promulgating a particular version of 'reality'. Given that the monuments in this example case replace something Novorzhevians did not have during the Soviet era, but now wish to believe they did, I presume that there is a meaningful contradiction between the rhetoric of the officially sponsored and 'unofficial' and 'unsponsored' places of memory. In my opinion, this case demonstrates how art patronage is a paternalistic form of new post-Soviet social control used to guide the transformation of Soviet symbols into local symbols – symbols of Novorzhev. Through 'big-hearted gifts' the Novorzhevians are linked to the new symbolic universe of the community and paternalistically helped to locate themselves spiritually in post-Soviet Russia. As a result, one might wonder, if new 'old looking' symbols and traditions can be bought and given to those in need in post-Soviet Russia?

## Bibliography

- Abercrombie, N. & Hill, S. (1976), Paternalism and Patronage. *British Journal of Sociology*. Vol. 27, No 4. 413-429.
- Baschmakoff, N., Loimi, N. and J. Takala (2000), *Govorit Ivakhново: Nabliudeniia nad protsessom vyzhivaniia pskovskoi derevni v 1996-1998 gg.* Learning by Doing 2, Working Papers of the Russian Department. Joensuu: University of Joensuu.
- Baschmakoff, N. & Ristolainen M. (2005), Jälkineuvostoliittolaisen periferian muistin paikkoja. *Idäntutkimus*. 4/2005. 3-15.
- Binyon, T. J., (2002), *Pushkin: A Biography*. London: HarperCollins.
- Blagotvoritel'nost v Rossii (2002), *Blagotvoritel'nost v Rossii: Istoricheskie i sotsialno-ekonomicheskie issledovaniia*. Sankt-Peterburg: Liki Rossii.
- Bol'shaia Entsiklopediia (1901-1906), *Bol'shaia Entsiklopediia. Slovar' obshchedostupnykh svedenii po vsem otrasliam znaniia*. Pod red. S. N. Iuzhakova i P. N. Miliukova. Sankt-Peterburg: Tipografiia Knigoozdatel'skogo Tovarishchestva: "Prosveshchenie".
- Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopediia (1949-1959), *Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopediia. 2-e izd-e*, glavnyi red. S. I. Vavilov. Moskva: Bol'shaia sovskaia entsiklopediia.
- Dinello, Natalia (1998), Elites and Philanthropy in Russia. *International Journal of Politics, Culture and Society*. Vol. 12, No 1. 109-133.
- Dorofeeva, V. A. (2004), *Prosvetitelnaia deiatel'nost' i metsenatstvo na sovremennom etape sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia Rossii*. Sankt-Peterburg: Kul't-inform-press.
- Egorov, Vladimir (2003), *Po zemle novorzhevskoi: Dorozhnye eskizy*. Novorzhev.
- Gagarina, K.E. (2001), *Dvizhenie metsenatstva kak osoboe iavlenie blagotvoritel'noi deiatel'nosti*. SPb: Liki Rossii.
- Gavlin, M. L. (2005), *Rossiiskie predprinimateli i metsenaty*. Moskva: Drofa.
- Glagolev, A. (1994), Ekonomicheskaia filosofia velikikh russkikh metsenatov kontsa XIX – nachala XX vv. *Voprosi ekonomiki*. No 7. 109-121.

- Gorodetskaia, I. (1997), *Vozrozhdenie blagotvoritel'nosti v Rossii. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia*. No 2. 131-138.
- Hein, Hilde (1996), What is Public Art? Time, Place, and Meaning. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. Vol. 54, No 1. 1-7.
- Izvestiia (2002), *Izvestiia*. Ezhednevnaia obshchenatsional'naia gazeta. Moskva.
- Jones, Robert E. (1973), *The Emancipation of the Russian Nobility 1962-1785*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kadastr (1997), *Kadastr. Dostoprimechatel'nye prirodnye i istoriko-kul'turnye ob'ekty Pskovskoi oblasti*. Pskov: Komitet po kul'ture i turizmu, Administratsiia Pskovskoi oblasti, Pskovskii gosudarstvennyj pedagogicheskij institut im. S. M. Kirova.
- Literaturnaia Entsiklopediia (1929-1939), *Literaturnaia Entsiklopediia v 11 tomakh*. Moskva. <http://slovari.yandex.ru/> (16.7.2006)
- Lopukhina, E. M. (2003), *Samye znamenitye metsenaty Rossii*. Moskva: Veche.
- Lovell, Stephen (2003), *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Metsenatstvo v Rossii (1994), *Metsenatstvo v Rossii. Nauchno-analiticheskii obzor*. Moskva: Rossiiskaia akademiia nauk.
- Novosti Pskova (1998, 2002), *Novosti Pskova*. Gorodskaia ezhednevnaia obshchestvenno-politicheskaia gazeta. Pskov: Administratsiia goroda Pskova, Gorodskaia Duma.
- Oxford English Dictionary Online (2006), *Oxford English Dictionary Online*. <http://dictionary.oed.com.joccat.joensuu.fi:8080/> (16.7.2006).
- Olson, Laura J. (2004), *Performing Russia: Folk Revival and Russian Identity*. New York and London: RoutledgeCurzon.
- Parlamentskaia gazeta (2002), *Parlamentskaia gazeta*. Izdanie Federal'nogo Sobraniia Rossiiskoi Federatsii. Moskva: Gosudarstvennaia дума, Sovet Federatsii.
- Paxton, Margaret (2005), *Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Popov, A.A. (1977), *Novorzhev*. Leningrad: Lenizdat.
- Pskovskaia guberniia (2002), *Pskovskaia guberniia*. Nezavisimaia regional'naia gazeta. Pskov: Avtonomnaia nekommercheskaia organizatsiia Izdatel'skii dom "Novosti Pskova".
- Pskovskaia Pravda (1999, 2002, 2003, 2004), *Pskovskaia Pravda*. Obshchestvenno-politicheskaia gazeta. Pskov: Administratsiia Pskovskoi oblasti, Oblastnoe sobranie deputatov.
- Pushkin A.S. (1956), *Polnoe sobranie sochinenii v desiati tomakh*. Izd. 2-oe. Moskva: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR.
- Ristolainen, Mari (2008), *Preferred Realities: Soviet and Post-Soviet Amateur Art in Novorzhev*. Helsinki: Kikumora Publications.
- Siegelbaum, Lewis H. (1999), "Dear comrade, you ask what we need": socialist paternalism and Soviet rural "notables" in the mid-1930s. *Stalinism: New Directions*. Sheila Fitzpatrick (ed.). Florence: Routledge. 231-255.
- Sverdlova A. L. (1999), Metsenatstvo v Rossii kak sotsial'noe iavlenie. *Sotsiologicheskie issledovaniia*. No 7. 134-137.
- Veche (2002, 2005), *Veche*. Obshchestvenno-politicheskaia gazeta initsiativnoi gruppy NF "Veche". Pskov.
- Zemlia novorzhevskaja (1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006), *Zemlia novorzhevskaja*. Raionnaia gazeta. Novorzhev: Administratsiia novorzhevskogo raiona i trudovoi kollektiv redaktsii.

## Restoring the Russia of Intelligentsia: A Case Study of “Wanderer”, a Patriotic NGO

Every summer groups of scholars from various fields of science travel to a children’s camp in Priozersk to live in tents and teach the children on a voluntary basis. The Wanderer (*Neposeda*), the organisation that arranges these camps, is defined as a “cultural-ecological patriotic” club. While this quite long term actually expresses rather precisely the basic philosophy of the club, which is the interconnectedness of these values, the term “patriotism” seems to place the Wanderer into the ranks of organizations consolidating and exploiting the growing nationalism in Russian society. “Patriotism,” however, is a vague catchword that can be linked to most varying political and ideological projects. In this paper I examine how the concept and the idea of “patriotism” are constructed in the club Wanderer, a philanthropic endeavor of the Russian intelligentsia. It is suggested that by defining the concept, the activists of the club are also continuing, commenting on and challenging other perceptions of such ideas as “citizenship,” “community” or “Russianness” and thus participating in the public debate on societal values.

Patriotism could be defined simply as love for one’s country and the willingness to act for its good. Compared to the concept of “nationalism,” the difference is very minimal and usually depends mainly on the preferences of the speaker. Even though nationalism can be understood more clearly as an ideology, a wider perception of nationalism has been appropriated in recent decades in the research on the subject.<sup>1</sup> Nationalism penetrates the

---

<sup>1</sup> See, e. g., Smith, 2001, 5 – 9. Here I apply a wide outlook on nationalism, which also includes emotional aspects of nationalism and which is not restricted to the idea of a nation-state.



lives and worldview of people to the extent that it has even been suggested that nationalism should not be considered as ideology, but a more general concept resembling “kinship” or “religion”<sup>2</sup>. Still the quintessential question for both scholars of nationalism as well as for nationalists themselves remains: What defines a nation? Such candidates as religion, language, culture, state, ethnicity and geographic area have been proposed to form the basis for a national unity. However, in nationalist rhetoric a commonly shared valuebase is often referred to as one of the decisive common denominators of a nation. Especially in multinational states, references to commonly shared values may play a crucial role in defining the national identity. It can be argued that nationalism is always connected to or reflecting some kind of political project. In approaching politics, analysis of the values articulated in nationalist rhetoric provide fruitful material, as Henderson and McEwen point out.<sup>3</sup>

In contemporary Russia patriotism is a concept with positive associations and social prestige. It is also a concept cherished in the official rhetoric, and consequently it is very convenient for a NGO wishing to preserve good relations with the officials. There are indeed a number of NGOs in Russia today bearing the title of “patriotic” organization, but it does not necessarily follow that the way they understand “patriotism” is uniform or coincides with the official idea of “good patriotism.” Although patriotism is a widely affirmed value, the univocal vocabulary actually conceals a fermentation of struggles and negotiations in the discourse. The struggle over the interpretive frame of reality is inherent in all language, but it can be said that it often culminates in such powerful words as “patriotism,” which are accepted widely as valuable and loaded with positive values. Following the discursive approach of Laclau, the word “patriotism” is an empty signifier, broad and ambiguous enough to gather wide support and, at the same time, obliging enough to be anchored with meaning and connotations. However, as “patriotism” becomes adopted by political parties with very diverging political contents, the concept of “patriotism” turns into a floating signifier, as an object of struggle.<sup>4</sup> In Russia, the massive re-evaluation of history and causes of national pride, launched by the dissolution of Soviet Union, em-

---

<sup>2</sup> Anderson 1999, 5, 135, 157.

<sup>3</sup> Henderson & McEwen 2005.

<sup>4</sup> Laclau 2005, 69 – 71, 130 – 133. Oushakine, also noting the emptiness and flouting nature of such terms as “patriotism” in contemporary Russia, interprets this polysemy as a sign of “post-Soviet aphasia”, that is, absence of language to express new reality and correspondingly, to define and understand it. Oushakine 2000, 1002.

phasizes the constructivist and negotiable nature of “patriotism.” The pressing need to create a new (or old) canon for the national ideology and valuebase was manifested, for example, in President Yeltsin’s famous call to search for the “Russian idea.”

In the modernist and constructivist approach on nationalism, the phenomenon has usually been regarded as a political instrument designed by the power elite. However, the motifs and preconditions of the people to accept the nationalist “invitation to dance” should not be ignored. Furthermore, there are also vernacular manifestations of nationalism that cannot be explained by the political strivings of the elite.<sup>5</sup> The Wanderer, although clearly an endeavour of educated intelligentsia, is also a grass-roots movement not initiated or controlled by the powerelite. In many points the patriotism of the “Wanderers” may be very independent and even critical of the official rhetoric. In grasping such differences, the tradition of critical discursive analysis seems to provide useful tools. Still, such notions as “hegemony” or “rivaling discursives” may simplify the process of negotiations over words into a very two-dimensional clash of oppositional views. As critical realists point out, words do not float freely, but they do have at least partial fixations.<sup>6</sup> Following Burke, the same idea could be rephrased by noting that all concepts have an orbit of meaningful symbolic action which is not to be transcended if the interpretation is hoped to find resonance in the audience.<sup>7</sup> While modernist scholars of nationalism have emphasised the constructionist nature of nationalism, the ethno-symbolic scholars maintain that the reserve of nationalist mythology, imagery and symbolism is still rather limited. Still the question does not relate only to available symbolism and mythology, but also to their interpretations. Levi-Strauss was undoubtedly right in saying that the myths think in us, but the mythology of history can also be seen as an endless stock of ingredients to be picked and mixed, flavored and served in a most various fashion. Perceptions of Russian history and especially of such historical figures as Peter the Great or Ivan the Terrible receive a role of mythology and mythological characters whose personality and actions provide a prismatic basis for continuous interpretations and reinterpretations.<sup>8</sup> An interesting question is what kind of values are ascribed to the national mythology of history.

---

<sup>5</sup> Remy 2005.

<sup>6</sup> See, e. g., Laclau & Mouffe, 2001, 112.

<sup>7</sup> Burke 1966, 301f.

<sup>8</sup> Emphasizing the interpretative nature of history does not mean that I subscribe to a relativist view on history. (On the heated debate over subjectivism and relativism in history, see,

In this paper I examine the various meanings and connotations that the idea of “patriotism” has been given within the club Wanderer. As primary material I use an interview of Mikhail Karchevsky, the head of the Wanderer,<sup>9</sup> done in summer 2006. As additional and background material I utilize some articles and papers written by Karchevsky and fieldwork material gathered in short visits to the camp in 2005 and 2006.

## The Wanderer

The club Wanderer was founded in 1994 by the initiative of geologist Mikhail Fedorovitch Karchevsky. His experience with working with children had already originated in the Soviet period, when he led school-group expeditions in Karelia and North-Western Russia. After the collapse of the Soviet Union, such expeditions ceased and a wish to fill this vacuum was one of the leitmotifs for Karchevsky to start gathering like-minded people and eventually to found the club Wanderer. Besides expeditions and summercamps, the club organizes the scientific contest *Zelenye ostrova Evropy* and engages in some publishing activity. For example, in spring 2006 an anthology of children’s essays, *Atlas Po bechevomy Ladozhskomu traktu*, was published. The summercamp is located in Priozersk, in a place where according to Karchevsky lies a center of pre-historic sculpture. From mid-June to mid-August successive groups of approximately fifty children arrive at the camp for a period of two weeks. At the beginning of the camp, the teachers shortly present their own field of science, after which the children can chose what subject they want to study. At the end of the camp they must write short accounts of what they have learned and discovered, and the best of these papers are later presented in various competitions and at conferences. The Wanderer has donated scientific accounts of environmental issues to some local administrations and has made such on request. In

---

e.g., Callinicos 1995.) I am adopting this standpoint as a methodological instrument expedient for my question which concerns the content and the consequences of the interpretations of history, not their validity.

<sup>9</sup> Using real identity involves some ethical considerations. However, I am here considering the views of a public figure and an organisation. Also, before the interview I made it clear that I would be presenting a paper on the Wanderer. Regarding more informal conversations in the camp or with some other activists of the organizations I have tried to avoid too direct or revealing references. Also, I have consciously looked only cursory at more delicate issues, such as the political or economic position of the club.

the camp the children are trusted with much freedom and responsibility. They make their own meals, and discipline depends more on trust than strict surveillance.

The club works mainly on a voluntary basis, but it has received a small amount of private and state support, which, nonetheless, has been mostly symbolic. The Wanderer has no permanent facilities, and the teachers receive no salary. There is an attendance fee for the children, but it is substantially lower than for commercial camps and can be negotiated in special cases. Also, every summer children from the local orphanage and single-parent families are also invited to the camp free of charge.<sup>10</sup> Regarding Russian NGOs, the question of their latitude has especially in the 21st century arisen as one of the most acute issues, and in the study of the subject the sector has even been outlined in terms of this question. It has been noted that in recent years the state has limited NGO's financial and operational preconditions by various means. The aim of this policy seems to be to create a loyal third sector concentrating on social work instead of political issues. Foreign financing has somewhat facilitated the situation, although, it has also for its part affected the NGOs in its preferences in the criteria for financing, and thus actually occasionally detracts from their independence.<sup>11</sup> My material is inadequate to conclude the position of the Wanderer precisely, but it seems that in many respects it is in a happier situation than many other NGOs. Because of the attendance fee, the club is not completely dependant on outside financing and outside financiers. Attracting volunteers is rather easy partially because the short period of activity during the summertime does not burden them too excessively.

## Patriotism

To a question of why the club Wanderer is called patriotic, Karchevsky gives a meandering answer, which nonetheless, or especially because of its narrative form, provides fertile material for approaching the central themes in Karchevsky's patriotism.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pudovkina 2006.

<sup>11</sup> Hemment 2004, Salmenniemi 2005.

<sup>12</sup> In discursive analysis it has usually been considered important to transliterate the speech as accurately as possible, even with all sights and pauses. However, here I have taken the liberty to somewhat break this rule. The interview was made at the camp and was for a large part rather informal chatting. Straight transliteration of such discussion without the expres-

Well, patriotic... well, you see, patriotism, its... natural, for many, in any country. ... Well in St. Petersburg, [people live] in stone boxes. And what does he see there but these stone boxes. It's just private apartments and he is a patriot of his own apartment. Whereas in the countryside, like for example these cliffs or this lake, or well, just the nature... to absorb oneself into the nature, to see, to understand it. Especially in the city children don't have that anymore. In the countryside children still have that possibility. And moreover, to see other places, let us say, like earlier, in the times of the Soviet Union, when children were, that is, we took the school children for example to these ecological expeditions for scholars from the Murmansk area to Vologodsk or Pskov areas. We didn't show them just various kinds of geology, but all this, architecture and local habits, well, on the whole, knowing one's country. For you see, Russia is a very big country, enormous in its territory, and has a very miscellaneous composition of the population. I have great respect for, let us say, Estonians.... It's a small nation, small nation, and it protects itself. It cares for [*berezhet*] its culture, it cares for its traditions with care [*sberegai*].<sup>13</sup>

Next, Karchevsky starts to tell a story about the times of perestroika when Russia received humanitarian aid from Western countries. Karchevsky comments on the aid: "they started the humanitarian aid, it was rather unexpected, we supposedly lived there, even though not very [well], but there was enough of everything."<sup>14</sup>

---

sive gestures and variations in the tone of voice would inevitably do injustice to Karchevsky's speech, even more so, as many expressions translated directly into English would seem strange. I have left out of the quotation some conjunctions and molded some expressions a bit. However, I have tried to keep the transliteration as authentic as possible, especially in the passages that I refer to later.

<sup>13</sup> «Ну, патриотический... ну, понимаете, патриотизм это... ну, естественно. Ведь у многих, в любой стране. Сейчас патриотизм вероятно связан... ну, извините, я говорю у нас, вот в Питере, в том же, [человек живет] в каменных коробках. Что он видит – эти каменные коробки. Вот и всего – [люди видят] собственные квартиры, вот. Он патриот своей квартиры. А страны этой, вот даже... ну, вот этой скалы, этого озера даже, вот этой просто природы, в нее как бы... слиться с ней, увидеть, понять [eē]. Нету, особенно у городских ребят. У сельских еще есть такая возможность. А еще посмотреть другие места, скажем, как раньше, вот еще при Советском Союзе было, когда ребята... ну вот, мы возили, например, на эти экологические экспедиции школьников, из Мурманской области возили в Вологодскую или Псковскую. Они не только геологию... мы там показывали и другое. Но и все эти... архитектуру и быт, и ну, вообще как-то, [кашляет] знакомили со своей страной. Ведь, понимаете, Россия это очень большая страна, громадная по территории и очень пестрый состав населения, безусловно, много народностей. Я с большим уважением отношусь, скажем, к эстонцам, но я, у меня там много знакомых, приятелей, и вообще, Прибалтийские республики как финны, но с финнами я не знаком. Но вот просто, маленький народ, маленький народ, он бережет себя. Он бережет свою культуру свои традиции сберегая.»

<sup>14</sup> «Началась гуманитарная помощь, как-то это было довольно неожиданно, наши вроде бы жили и жили там, пусть не очень, но хватало там всего.»

Karchevsky tells about how he went to the head geologist of his district and proposed that they invite children to the camp children from the countries that have sent aid to Russia. The proposal was realized as groups of German and French children visited the camp, and the visit of the foreign children is the event from which the next narrative begins:

And so in the evening we are sitting by the campsite ...and suddenly some children, was it the Germans or the French, they take up a guitar and began to sing, sing their own national songs. And I say: 'Come on, guys, let's sing some of ours.' They don't know [such songs]. Well, we had just yesterday a competition, a song competition. It was compulsory for every team [*brigade*] to present traditional Russian song, or a bard [*avtorskaia*] song. Any of these, you can chose yourself, what you want. And some of them chose again a Russian traditional song. They don't know these [songs]. All right, I brought them a book with notes and everything. And so, finally, now the song has words. So you see ... that's what patriotism means. ... Or even: patriotism – it is foremost preserving one's own culture.<sup>15</sup>

The answer Karchevsky gives to the question is composed of several short narratives. In all of the stories oppositional pairs of an ideal and of an undesired state of affairs are contrasted against each other. Modern urban children are isolated in a narrow living environment with no feeling of community and no possibility of getting acquainted with nature or their country and culture. As a remedy Karchevsky presents expeditions through the countryside, teaching its culture and establishing a caring attitude towards one's heritage. Regarding the overarching problem of alienation, three themes arise in Karchevsky's account: alienation from the environment, the community and one's roots. I will next look closer at these three themes.

## The Community

Children separated in their private apartments is the image Karchevsky uses in the earlier quotation to portray the reality of contemporary Russian

---

<sup>15</sup> "Вот и вечером садимся, сидим у костра... Вдруг такие ребята там, немцы или французы, взяли гитару и начинали петь, петь свои народные песни. Я говорю: – Ну, ребята, давайте вы, что-то наше. Не знают, не знают. Вот у нас буквально как вчера был конкурс, конкурс песни. Обязательно, у нас каждая бригада исполняла русскую традиционную, бардовскую или там авторскую песню, и любой у вас выбор, что хотите. Некоторые выбрали опять русскую народную, вообще... они их не знают, и вот, хорошо, я вот сборник привез, там ноты есть, все, и вот, наконец, и песня, и слова теперь [есть]. Вот, понимаете, вот ... это вот значит патриотизм."

youth. An interesting point is that whereas perestroika is usually interpreted as an opening of possibilities and perspectives, for Karchevsky the life in present-day Russia compared to the time of the Soviet Union is rather characterized by a narrowing of horizons. Karchevsky's outlook is not, however, based (solely) on Soviet nostalgia. In another passage he draws a parallel in the theme of knowing and loving one's country to imperial Russia:

You know, in Russia in the times of the tsars there was an unwritten law. According to it the children of the tsars and boyars could not travel outside the borders of Russia before they were seventeen. Instead they had to be taken across Russia, or, let us say, across their family estates, so that the child's eye would get used to Russian landscapes, his nose to familiar odors, and ear to the Russian dialects. And after they were seventeen they went to study abroad. Well, those were the children of the noblemen, they definitely were sent [abroad], as a rule. But they all came back. They were already filled with this spirit and... or even though not all, but most of them came back. And all in all, they were great people for Russia, people that did much, assembled collections of books and cultural items, and advanced science, but nowadays that's... Nowadays, when the children of these New Russians, or even of our officials, when they travel abroad and live there to study from the first or from the fifth class... you know, they don't become anymore anything, they just live there for themselves.<sup>16</sup>

The account highlights features of history that form a meaningful and logical continuity of tradition. It is a selected tradition that could from some point of view even be called "invented." Concerning the Soviet times, Karchevsky could have referred to the difficulties in traveling abroad, and concerning pre-revolutionary Russia, to peasant children with a very narrow knowledge of the world or to aristocratic children that could hardly speak Russian. Instead he elucidates the facts that he sees as distinctly Russian and the ones he sees that are worthy of re-embracing or continuing. In the passage above the longitude and even the "Russianness" of the tradition is emphasized, for example, by using the word *boyar* instead of "aristocracy"

---

<sup>16</sup> «Вы знаете, на Руси был неписанный закон при царях, что дети царские, боярские до семнадцати лет не могли выезжать за рубеж России. Но их должны были с собой отцы возит по России там, ну вот, скажем, там по... своим местам, чтобы глаз детский привык к видам российским, нос к запаху, а ухо к разговорам российским. А после семнадцати они выезжали учиться за рубежом. Ну, это боярские дети обязательно уезжали, как правило. Но они все возвращались обратно же, они, знаете, были пропитаны уже духом вот этим... вот все-таки, пусть не все, но большинство возвращалось и это были великие вообще-то люди для России, очень много делавшие. Они собирали коллекции культурные и книги, науку развивали, ну, вот теперь это.... а сейчас, когда дети этих новых русских или там даже чиновников наших едут учиться... там с первого, там с пятого класса за границу и там живут, понимаете, толку из них уже не будет, они живут только для себя.»

(*dvoryanstvo*). However, the approach emphasizing the “invented” nature of traditions ignores the fact that alteration may in fact be in the very nature of tradition.<sup>17</sup> Furthermore, at least regarding the focus of this paper, far more interesting than the authenticity of a tradition into it and on what grounds is the question of what pieces.

Karchevsky’s lament over the individualization and loss of morality is very common to conservative criticism of depraved modern times worldwide. However, instead of setting the opposition between the past and modernity, Karchevsky seems to orient the question more to the axis of “patriotic” – “unpatriotic”, or even of “Russian” – “non-Russian”. In his essays Karchevsky has diagnosed Russia to live a period of transition, which is marked, for example, by “youngsters feeling confusion, loss of faith in one’s own powers and capacity to influence ongoing processes.”<sup>18</sup>

Russia is in between, in an exceptional state. It is not anymore in its characteristic state but has neither found yet its future orientation. The exceptional state in the account of Karchevsky is connected to the malfunction of social structures, but also to individualism and alienation from the community. Communality is a feature that has found several forms in Russian history, whether in the older “*sobornost*” or in the Soviet “*kollektivnost*”. On the other hand, in Russian self-understanding a very common theme is the idea of Russian tradition located in between Western individualism and Eastern collectivism, thus possessing a unique faculty to reconcile these traditions. Both individualist and collectivist values are represented in the educational views of Karchevsky as well. During the interview he tells several “success-stories” of the children in the camp. In three of these the central point is the camp’s ability to emancipate and empower the children to fulfill their capacities and talents, whether they have been oppressed by peers teasing them, a poor background or such stamps as “hooligan” impressed on them by insensitive teachers. In two other stories, the theme is quite the opposite. In these narratives, living in a community and subordinating oneself to its rules mark a therapeutic turning point for children with poor social skills.

In the patriotism of Karchevsky, the “community” stands in a much more central position than the state. The individual “responsibility to the community” mainly refers to other people and to the land, not to Russia as a

<sup>17</sup> Giddens 1999, 36 – 50; Siikala 1997, 63f.

<sup>18</sup> «В период перемен, в котором сегодня находится Россия, естественна растерянность большинства молодежи, потеря веры в собственные силы, в способность повлиять на происходящие процессы.» Karchevsky, 2003, see also Karchevsky 2004.



political structure. There is a certain distrust towards, and even criticism of, the stately structures and the world of the officials. The disconnected, selfish children abroad are mentioned to be not just children of New Russians, but also of officials, added with an ironic “ours.” The state seems distant, almost impossible to affect directly. To a question of the effects organizations like the Wanderer may have on society, Karchevsky tells a story that is more entertaining than informative. Without going into more abstract terms, he lists how many of “their” children have later gone to study at the Academy of State Officials. Karchevsky tells about how he wondered their choice:

‘What brought you there? That’s officials!’ [The youngster replies:] ‘What! I will become an official, and so I will help to enhance children’s organizations and ecology. Attentive relationship to nature.’ And I say: ‘Yes, but it is hard for officials there, [they have] many problems.’ Well there is! But: ‘I will help. You convinced me that one has to go there and ...’ Praise the Lord if it’s, well, as they say, coming from a pure heart and is not just pretty words.<sup>19</sup>

To a question about politics, the answer Karchevsky provides is highly apolitical. He uses the discursive style of Russian folkloric tradition: the tsar is far away and all the ordinary people can do is to pray to God that the officials’ hearts stay “pure.” Such a discourse seems odd for a man who is probably continuously dealing with various official and semi-official organizations. In reality, Karchevsky is not a passive bystander, but a merited expert who has made a concrete impact both on environmental as well as societal issues concerning the welfare of children. He is an active member of the Russian NGO field and has also participated in some social debates, such as signing among other NGOs an open letter to St. Petersburg’s governor expressing their worry over racist and nationalistic violence.<sup>20</sup>

Although Karchevsky’s apparent reluctance to politicize the Wanderer undoubtedly bears some witness to the precarious position of Russian NGOs, the indifference to politics also reflects the basic philosophy of the

---

<sup>19</sup> «Спрашиваю: – Чего тебя там принесло, это чиновники! – А как же! Я буду чиновником, вот я буду помогать развитию детских организаций и экологии... бережное отношение к природе [буду развивать]. Да, я говорю: – Да, чиновники, им тяжело там, проблемы, ну, вообще, есть. – Вот, я буду помогать. Вот вы меня убедили, что нужно вот идти туда... Дай бог, если это, ну, вот, как говорится, идет от чистого сердца, а не просто красивые слова.»

<sup>20</sup> Molodjezh’ obrascshajetsya k gubernatoru Peterburga s otkryтым pis’mom. 22. 1. 2004 <http://www.spb.yabloko.ru/pbl/797.php?PHPSESSID=a459e002acfb5a02d5366b737d8b627b> (18.8.2006).

club. Karchevsky endorses the claim made by the ecological movement worldwide, according to which a precondition for any significant changes in ecological matters is a change in humankind's attitude toward nature, that is, an inner change. Consequently, instead of more tangible structural changes, the main goal of the Wanderer is to have an influence on children's morality and worldview. Here we encounter an interesting overlapping of the older Russian tradition of "loyalty to *rodina* instead of *gosudarstvo*," and "the moral virtue of the people" and on the other hand, of a newer international "personal is political."

## Nature

The nature in Karchevsky's account has very strong national characteristics: the Russian environment has its own "forms" and "odors." Admiration of the "national nature" is a very central theme in many ethnic nationalisms. Compared to the Western world, it could be noted, however, that there is a special link between ethnicity and nature in Eastern European philosophy, deriving from the German Romantic through such thinkers as Vernadsky and Florensky to Gumilev. Also, in Eastern European ecological thinking, nature is more often conceived in national terms and humans as local species, whereas in the West these are usually understood more as universal categories.<sup>21</sup> Consequently, there has been noticeable nationalist tendencies and branches in Russian Green movement from its outset.<sup>22</sup>

Nature and human community are equated in a number of ways in Karchevsky's interview as well as in his writings. He attaches the ecological destruction to the very features of modern Russia: selfishness, individualism and alienation. In an earlier quotation Karchevsky pondered children's problems in the testing period of transition, mentioning the feeling of powerlessness and isolation. He continues the text by providing a solution:

---

<sup>21</sup> Ivakhiv, 2005. Ivakhiv's starting point was the question why Paganism as a nature religion has in Eastern Europe found more often right-wing nationalist forms, whereas in the West it has been more often liberal in its societal views. It is true that the notorious ethnonationalism seems to be more inclined to lean towards intolerance and discrimination, even though the division and especially the strong evaluative stance to ethnic and civic nationalisms has lately received criticism.

<sup>22</sup> Yanitsky 2000, 76. Still, it must be noted that the majority of the Russian Greens were and are not inclined to nationalism. What is yet noteworthy concerning this paper in Yanitsky's study on the Russian Green movement is, that as he points out, the whole movement actually emerged in a substantial part in universities and various research centers.

To oppose this is possible by acquainting the growing generation with true values - with the beauty and multiplicity of nature, with its secrets and mysteries.<sup>23</sup>

Getting to know one's country is given a more significant function than a mere educational value: being in touch with one's roots is the precondition for both the development of healthy morality and the ability to comprehend the world. The latter becomes evident, for example, in the poetic style of Karchevsky's descriptions of how the boyar children were accustomed to Russia, sharply contrasted with the selfish life of modern rich children who live "without the sense." The benefits of foreign culture and education are acknowledged, but only if a basic morality, based on the connectedness to one's country, is established. Although the statement seems to imply a very essentialist outlook on our national identity, the utterance can be also interpreted as a call for social responsibility based on the feeling of being a member of community.

While Karchevsky's attitude towards the officials is somewhat controversial, the true heroes of his texts are the "specialists." Even though this is also a loanword, the term specialist seems more rooted than the trendy "*ekspert*" and thus gives the concept an air of a genuine professionalism and independence from the high-level powerstruggles.<sup>24</sup> Although Karchevky takes pride in the fact that the teachers of the camp are doctors or doctoral students (*kandidaty*), the integrity or competence of a specialist is not for him necessarily connected to a high status in the academic world. In his essay "*...liudi gibnut za metal ...*"<sup>25</sup> Karchevsky contemplates the problem of responsibility in decisionmaking from an ecological point of view, stressing the importance of the integrity of the specialists and scientists: Thank God, there are in this country some marvellous specialists who are capable of sane judgment in projects. However, they are not necessarily people who have scholarly grades or titles. They are often just men of practice, knowing their subject thoroughly but, for some reason, have not defended dissertations, written articles for scientific journals, nor travelled to conferences and symposiums.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> «Противостоять этому можно путем знакомства подрастающего поколения с истинными ценностями – с красотой и многообразием природы, с ее тайнами и загадками.»

<sup>24</sup> On the word expert and struggles within it see Bel'iaeva 2002.

<sup>25</sup> Karchevsky 2004.

<sup>26</sup> «Слава Богу, в стране есть масса великолепных специалистов, способных трезво оценить любой проект. Не обязательно это люди, имеющие научные степени и звания. Часто это только практики, прекрасно знающие свой предмет, но, по каким-то причинам, не защищавшие диссертации, не писавшие статьи в научные журналы, не ездившие на конференции и симпозиумы.»

The ideal of a true specialist in the text bears some resemblance to an Orthodox anonymous icon painter, a master without desire for personal glory. It has been noted that the ideal of personal submission to the community is a feature that remained in the Soviet “hagiography” even though the content and the logic of legitimization changed. In fact, the parallel between the Orthodox contemptuousness of wealth for higher spiritual virtues and the opposition between true spirituality and morality against materialist prosperity can be paralleled to the Soviet contempt of money for the higher goals of communism.<sup>27</sup> In the quotation cited above, the role of altruistic hero is transmitted to scientists and specialists. At the same time, Karchevsky continues an old Russian tradition of giving to the educated intelligentsia the position of a national avant-garde, based both on its competence and assumed (or ideal) indifference to materialistic goals.

Science is the basic doctrine of the Wanderer and thus also the main instrument with which to approach and understand nature. However, under this ideal Karchevsky unites elements both from the traditional values of the Enlightenment, as well as from the romantic tradition of emphasizing the limits of rationality. According to Karchevsky, studying nature is one of the most efficient ways to establish a respectful and responsible relationship with it. But for him science is not just about discovering and learning facts, but also experience, wonder, even mystery. In short, it is about a fascination with the world. Karchevsky has appropriated the Aristotelian concept “unity of the diverse” to illustrate the position of ecology as an umbrella-concept for various, or practically all, fields of science. Therefore, in the camp the children are taught not just natural sciences but also, for example, archaeology, art history, psychology, art history, astronomy and the philosophy of justice. During the interview Karchevsky enthusiastically explained the importance of all these different vantage points for children to form a coherent worldview.

## Roots

The long narrative about the definition of patriotism, quoted earlier, culminates in teaching the children traditional Russian songs and in the concluding remark that patriotism is “preserving one’s culture.” The concrete ex-

---

<sup>27</sup> See, e.g., Ries 1997, 129, 159f, McDaniel 1996, 33.

ample of singing folkloric songs reflects the methodological principles of the club. As in the education of natural sciences, the introduction to cultural heritage is done on the level of experience and emotions. There are various cultural competitions and entertainment in the camp, and every midsummer a festive *Kupala* is organized with a small lecture on the Russian folkloric tradition and many traditional games. However, for Karchevsky the Russians' ignorance of their culture does not derive solely from their laziness to learn it. According to him, part of the problem is that the inadequate appreciation of Russian history and culture has led even the scholarly study of it to underestimations and misrepresentations.

Isn't it time to recognize that the history of Russia was initially written in monasteries ... and everything that looked like the history of the 'pagan' people, living here for thousands of years, was purposefully destroyed, in best cases hidden, and has remained hidden, until now? Isn't it time to recognize that the later history of Russia was written by Veer and Schletzer, by foreigners, by people who practically didn't speak Russian? They were written by an order from the Romanovs so that they could claim their right to the crown that was taken by subversion.<sup>28</sup>

The Slavophiles were among the first to demand that Russians should stop disparaging their own heritage. Ever since, the restoration and glorification of Russian achievements in historical comparisons to the West has been one of the central themes in nationalist discourse. An emphasis on national merits is especially prominent at times when the national worth seems to be threatened. The post-Soviet cultural trauma left by the re-evaluation of national identity and history has caused injury to Russian self-esteem, which surfaces especially in the ruptures and blanks of discourse. The soreness lurks, for example, in Karchevsky's timid statement when he describes the unexpected humanitarian aid. An important part of re-establishing national pride is the restoration of the glory of national history.

---

<sup>28</sup> «Не пора ли признать, что известная нам официальная история Руси изначально писалась в монастырях (Повесть временных лет, Ипатьевская летопись и др.), и все, что касалось истории тысячелетиями обитавших здесь "поганых" (то есть языческих) народов, старательно уничтожалось, в лучшем случае скрывалось -- и скрывается до сих пор? Не пора ли признать, что более поздняя история России написана Веером и Шлетцером, иностранцами, почти не знавшими русского языка? Написана по заказу царствующих Романовых, дабы утвердить их право на престол, захваченный путем переворота.» Karchevsky 2006. Here I will not go more deeply into the apparent influences of Soviet historiography in this paragraph. However, the outlook according to which the Romanovs as "foreigners" were unable or unwilling to defend Russian interests can be found in nationalist discourses.

In post-Soviet Russia the nationalistically oriented history writing has culminated in the phenomenon of fantastic popular history books with claims going very far beyond academic consensus.<sup>29</sup>

As a geologist Karchevsky did extensive field work around the Karelian peninsula over a number of years. In these journeys his attention was drawn to rocks with an unusual shape and carvings on cliffs that he as a geologist defined as man-made. According to Karchevsky, the archaeological findings are centred in the small area in Priozersk, in the place where the camp is located. Karchevsky believes it possible that the findings date as early as 14 – 20 000 B. P., but admits that no definite conclusions can yet be made. In the academic study of archaeology, the theory has been received rather sceptically. There is no doubt that some of his findings are prehistoric, but, for example, archaeologists from the Hermitage museum date some of the findings to historic times and regard others as difficult to verify as man-made.<sup>30</sup> My aim here is not to evaluate the authenticity or dating of the findings, a task quite beyond my capacities. Karchevsky is a full-fledged scientist, and even when he takes the liberty to indulge in fantasizing, he holds on to the scientific principles of differences between hypothetical suggestions and empirical proofs. The location of the sculptures in Priozersk has drawn somewhat public attention, even more so as the sculptures are possible ancient sanctuary.<sup>31</sup> Karchevsky's reactions to the growing fame of the place are not all positive. For example, he expresses some annoyance about the people coming to see the place without participating in its study in any way. Karchevsky also repudiates the name Temple of Apollo (*Khram Apollona*) given to the place, even though the name was not meant to be taken literally, but more of as a beautiful and intriguing name.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> See, e. g., Zubkova & Kuprianov 1999.

<sup>30</sup> Titova, 2000, Mizin 2006, 34 – 36.

<sup>31</sup> See, e. g., Severov 2000.

<sup>32</sup> The man who invented the name has, although he is a professor of physics and also a volunteer in the Wanderer, wide knowledge especially on the Russian spiritual tradition and would thus certainly not mean that Apollo in particular would have been worshipped in the place or that this could be scientifically proven. See also Mizin 2006. An interesting parallel is the Arkaim in South Urals, an ancient site which after gaining fame as Russian Stonehenge has become the subject of sometimes contradicting interests and interpretations (or what is conceived as such because of an inadequate dialogue) of archaeologists and believers of different religious movements. Shnirel'man 2001.

## Discussion

Patriotism is for Karchevsky a universal value, which can also be admired in other nations. However, there seems to be some special features in the Russian heritage of patriotism in his accounts. In building his ideal of patriotism and Russianness, Karchevky holds to Russian ideals on communalism, altruism and people's inherent connection to their native environment. He also holds to the ideals of the importance of education and science, so central both in Russian and in Soviet times. The tradition is presented in a selective way, mercifully leaving less fortunate features in the shadow and fashioning the selected ones into a form of congruent narrative. Although he is highly critical of the Soviet communist ideology and reality, he does not see the Soviet period as a total rupture in Russian history, but a period where the continuing features of the Russian tradition can also be detected.<sup>33</sup> Correspondingly, lamenting over the lost morality and communalism in contemporary Russia should not be understood as a yearning for the Soviet system. Upon the older cultural strata Karchevsky adds newer elements, such as traits from international ecological thinking or ideals of the importance of emancipation in the upbringing of children. However, besides the cultural historical perspective, the definitions of patriotism and Russianness can also be analyzed as part of political debates. In explicating his views on patriotism, Karchevsky is at the same time discussing and commenting on other nationalist projects.

In summer 2005 in an informal conversation Karchevsky pondered the problems of the public funding of children's camps. He shortly mentioned that lately the military-patriotic oriented camps have found it easier than others to get funding for their activities. He continued by commenting that in those camps children learn how to obey orders, not how to use one's own reason critically. He added: "Anyone can learn to use a rifle in a half a year, but," pointing the lake and the forests around us, "how much more time does it take to get to know and understand and love all this!"<sup>34</sup> The statement suggests that according to Karchevsky, patriotism as an empty signifier is hegemonized in contemporary Russia by military connotations,

---

<sup>33</sup> Here I find extremely interesting the analysis of the last Soviet generation by Yurchak. According to him, many young people subscribed to the official ideals of Soviet ideology even though they were indifferent or even cynical of their Soviet official realizations or the system in general. Yurchak 2006.

<sup>34</sup> Fieldwork notes, in possession of the author. The comment is not a straight quotation, but was written down later.

a state of affairs which he wishes to overthrow with more cultural and ecological interpretation.

Still more decisively Karchevsky dissociates patriotism from individual utilitarianism. Here Russian patriotism seems to be quite oppositional to the American ideal of national prosperity gained by innovative and enterprising individuals. In Karchevsky's view, richness seems to separate people from their community more than tightening their bonds to it. Although I earlier referred to the old Russian tradition of preferring spiritual values over materialistic ones, the tradition has also gained a strong impetus from the economic development in New Russia, starting from the "*prikhvatization*" of the early nineties.

In her study on "Russian talk" in times of perestroika Nancy Ries describes the solidarity of the people undergoing extreme economic hardships. In her visit to Russia a few years after the situation had somewhat improved she noted that the earlier communality had begun to break up due to the emerging differences in living standards and as people had become more busy.<sup>35</sup> The concerns over the lost patriotism and morality in Karchevsky's interview have very much to do with these changes in Russian society and the changes in people's everyday life. One volunteer from the club told a story of an ex-co-worker of his, a guy who wasn't very good or trustworthy as a worker, but during the turbulent years at the beginning of the 90s managed to scrape up a good business and fortune. When the teller of the story met this fellow accidentally in the street, the man told of his good fortune and asked his ex-co-worker to join his business and to make good money. The volunteer said that he turned away and never saw the man again. This narrative is not the only one of this sort I have heard in Russia. Probably especially the educated "intelligentsia" have often had to make difficult decisions between what they have conceived as a choice between their principles and material well-being.<sup>36</sup> To appreciate fully the difficulty of such choices one must bear in mind the catastrophic economic situation at the turn of the 90s.

In Karchevsky's outlook, the specialty of Russia, the basis for its unique position in the world, is grounded not so much on military might or economic successes, but on being the promise and an avant-garde of cultural, humanitarian and ecological values. As the interview suggests, the history

---

<sup>35</sup> Ries 1997.

<sup>36</sup> Such stories may not mean that all the tellers have actually had to make such a choice. Rather it can be seen as one mode of narrative, an offer of prosperity that the hero rejects for moral principles whether there was a concrete potential for the wealth or not.



and the nationalist mythology of Russia gives plenty of material for this interpretation. The patriotism of the Wanderer represents an endeavor of the educated intelligentsia to establish spiritual and cultural values, that is, the values of the intelligentsia into the core of Russian self-identity. Thus the Wanderer is also an attempt to restore the societal position of the cultural intelligentsia, which has been among the biggest losers in post-Soviet Russia, especially when it comes to prestige measured by income. "Patriotism" becomes one of the frontiers where the educated intelligentsia struggles to maintain their social status and influence.<sup>37</sup> Still, the benevolent goal of the Wanderer to root healthy morality into the next generation also expresses more general and less self-serving interests. Ultimately, the aim of the patriotic upbringing is to establish a firmer basis for social solidarity. Suspicions about the American ideal of individualism are grounded in the Russian context, where the tradition of symbiosis between personal wealth and communal responsibility has not yet evolved. Besides as a manifestation of nationalism, discussion of patriotism can also be analyzed as negotiation over the grounds and rules of a social contract. On the basis of the fervor of the discussions over "national identity," it seems that there is a patent ache for a commonly shared morality, especially for a new morally acceptable base for a social contract in Russia today.

## Bibliography

- Anatolyeva, Viktoria (2000), "The children were picked up from dust and taken by bus to the river Vuoksa and placed in the tents." *EcoChronicle* No. 2 (44), <http://www.neposeda.spb.ru> (21.8.2006).
- Anderson, Benedict (1999), *Imagined communities*. Revised Edition. London: Verso.
- Bel'iaeva, Nina (2002), Grazhdane eksperty. <http://www.citizens.ru/new/archive/2002353-2.html> (21.8.2006).
- Burke, Kenneth (1966), *Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature and Method*. Berkeley: University of California Press.
- Callinicos, Alex (1995), *Theories and Narratives. Reflections on the Philosophy of History*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony (1999), *Runaway World. How Globalisation is Reshaping our Lives*. London: Profile Books.
- Hemment, Julie (2004), The Riddle of the Third Sector: Civil Society, International Aid, and NGOs in Russia. *Anthropological Quarterly* 77.2, 215-241.

---

<sup>37</sup> In contemporary Russian societal discussions, middle class has often been presented as the "savior" of national stability and morality, but the "moral ambivalence" and the selfish interests of middle class have surprisingly seldom been addressed. Kivinen 2006, 267.

- Hendersen, Ailsa & McEwen, Nicola (2005), Do Shared Values Underpin National Identity? Examining the Role of Values in National Identity in Canada and the United Kingdom. *National Identities*, Vol. 7, No. 2, 173–191.
- Kivinen, Markku (2006), Classes in Making? The Russian Social Structure in Transition. *Inequalities of the World*. (Ed. Therborn, Göran) London & New York: Verso, 247–295.
- Ivakhiv, Adrian (2005), Nature and Ethnicity in East European Paganism: An Environmental Ethic of the Religious Right? *The Pomegranate. The International Journal of Pagan Studies*. 7. 2.
- Karchevky, Mikhail (2003) Vse vidy aktivnogo detkogo turizma – odin iz osnovnykh sposobov fizicheskogo i moral'nogo ozdorovleniia natsii. A paper presented in conference “Grazhdanskoe obshchestvo – detiam Rossii” 16. – 17. 12. 2003, [http://www.detirossii.ru/mat\\_conf3.htm](http://www.detirossii.ru/mat_conf3.htm) (16.6.2006).
- Karchevky, Mikhail (2004). “...Liudi gibnut za metal...” *Ekologicheskaiia bezopasnost': Priroda i obshchestvo*. St.Petersburg. [http://www.cei.ru/eng/our\\_public/pul40404e.shtml](http://www.cei.ru/eng/our_public/pul40404e.shtml) (14.6.2006).
- Karchevky, Mikhail (2006), Prionezhskaiia Atlantida. <http://neposeda.spb.ru/ARTICLES/atlantida.html> (14.6.2006).
- Laclau, Ernesto (2005), *On Populist Reason*. London: Verso.
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985), *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- McDaniel, Tim (1996), *The Agony of the Russian Idea*. Princeton: Princeton University Press.
- Mizin, Viacheslav Grigor'evich (2006), *Kul'tovye kamni i Sakral'nye mesta Leningradskoi oblasti*. St. Petersburg: Nevskii Fond.
- Oushakine, Sergei (2000), In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia. *Europe-Asia Studies*, Vol. 52, No. 6, 991–1016.
- Pudovkina, Jelena (2006), “V les – za natsional'noi ideei”. *Professia*, No.26 (670). <http://www.professia.info/mview.php?st=1118> (19.7.2006)
- Remy, Johannes (2005), Onko modernisaatio vai etnisyyks kansakuntien perusta? *Nationalismit*. Pakkasvirta & Saukkonen (Eds.) Helsinki: WSOY, 48–69.
- Ries, Nancy (1997), *Russian Talk. Culture & Conversation during Perestroika*. Ithaca & London: Cornell University Press.
- Salmenniemi, Suvi (2005): Vallan vahtikoira vai sylkikoira? Valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteiden kehitys 2000-luvun Venäjällä. Leppänen, Airi (ed.) *Kansalaisyhteiskunta liikkeessä yli rajojen: sosiaali- ja terveysalan järjestöt lähialueyhteistyössä*. Helsinki: Palmenia-kustannus, 191–203.
- Severov, Mikhail (2000), Na Vuokse naideny sledy drevnei tsivilizatsii. *Argumenty i Fakty*, 2000
- Shnirelman, Victor A. (2001), Strasti po Arkaimy: ariiskaia ideia i natsionalizm. Olcott, Martha & Semenov, Il'ia (Eds.), *Iazyk i etnicheskii konflikti*. Moscow: Gendal'f, 58–85.
- Siikala, Anna-Leena (1997), Toisiinsa virtaavat maailmat. *Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kentätyöstä*. Viljanen, Anna Maria & Lahti, Minna (Eds.), Helsinki: Suomen Antropologinen Seura, 46–68.
- Smith, Anthony D. (2001), *Nationalism*. Cambridge: Polity Press.
- Titova, Irina (2000), Geologist Claims Prehistoric Finds in Oblast. *The St.Petersburg Times* 31. 10. 2000 Issue#616(0) <http://www.sptimes.ru/story/13100> (21.8.2006).
- Yanitsky, Oleg (2000), *Russian Greens in a Risk Society*. Helsinki: Kikimora Publications.

## THE DACHA KINGDOM

Yurchak, Alexei (2006), *Everything Was Forever, Until It Was No More*. Princeton: Princeton University Press.

Zubkova, Elena & Kuprianov, Aleksandr (1999), Vozvrashscenie k "Russkoi idee": Krizis identichnosti i natsional'naia istoriia. *Natsional'nye istorii v sovetskom i postsovetskom gosudarstvakh*. Aimermakher, K. & Bordiugov, K. (eds.). Moscow: Airo-XX, 299–328.

## List of Contributors

Kaarina Aitamurto

Researcher, Aleksanteri Institute, University of Helsinki

Natalia Baschmakoff

Professor, University of Joensuu

Irina Belobrovtsseva,

Professor, University of Tallinn

Aleksandr Belousov

Docent, St. Petersburg State University of Culture and Arts

Patrizia Deotto

Professor, University of Trieste

Sergei Dotsenko

Docent, University of Tallinn

Elena Dushechkina

Professor, St. Petersburg State University

Annelore Engel-Braunschmidt

Professor, University of Kiel

Valentina Gavrishina

Researcher, St. Petersburg State University

Elena Hellberg-Hirn

Docent, University of Helsinki, University of Joensuu

Sven Hirn

Professor, Historian, University of Helsinki

Sergei Isakov

Professor, University of Tartu

Nina Kauchtschischwili  
Professor, University of Bergamo

Liubov Kiseleva  
Professor, University of Tartu

Inna Kopoteva  
Researcher, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, University of Joensuu

Janina Kursite  
Professor, Academician of Latvian AS, Institute of Literature, Folklore and Art, Latvian University

Maija Könönen  
Researcher, University of Helsinki, Academy of Finland

Stephen Lovell  
Docent, King's College London

Aurika Meimre  
Associate Professor, Tallinn Pedagogical University

Mariia Nakhshina  
Researcher, The Branch of Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences – Barents Center of the Humanities

Mikhail Odesskii  
Professor, Russian State University for the Humanities

Ugo Persi  
Professor, University of Bergamo

Galina Ponomareva  
Senior Researcher, University of Tallinn

Irina Razumova  
Chief Senior Researcher, The Branch of Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences – Barents Center of the Humanities

**Mari Ristolainen**

Researcher, Karelian Institute, University of Joensuu

**Kristina Rotkirch**

Cultural Journalist, Translator

**Svetlana Ryzhakova**

Researcher, Institute of Ethnology and Anthropology RAS

**Tatiana Shor**

Senior Researcher, Estonian Historical Archive

**Monika Spivak**

Senior Researcher, Andrei Belyi Memorial Apartment (affiliate of The Pushkin State Museum), Institute of the World Culture, Moscow State University

**Richard Stites**

Professor, Georgetown University (Washington D.C.)

**Tatiana Tsivian**

Professor, Institute of Slavonic Studies RAS, Institute of the World Culture, Moscow State University

**Katja Wiebe**

Researcher, University of Kiel

**Elina Viljanen**

Researcher, Aleksanteri Institute, University of Helsinki

**Marina Vitukhnovskaia-Kaupala**

Researcher, University of Helsinki

**Natalia Zlydneva**

Senior Researcher, Institute of Slavonic Studies RAS

- 1:2006** Toimittanut Marja Jänis: *Venäjältä suomeksi ja suomesta venäjäksi*. 952-10-2934-X.
- 2:2006** Edited by Hanna Smith: *The Two-Level Game: Russia's Relations with Great Britain, Finland and the European Union*. 952-10-3061-5.
- 3:2006** Toimittanut Jouko Nikula: *Katse Venäjään. Suomalaisen Venäjä-tutkimuksen antologia*. 952-10-3204-9.
- 1:2007** Toimittanut Kristiina Kalleinen: *Venäjä ja Suomi. Juhlakirja professori Timo Vihavaiselle 9.5.2007*. 978-952-10-3905-8.
- 2:2007** Edited by David Dusseault: *The CIS: Form or Substance?* 978-952-10-4018-4.
- 3:2007** Edited by David Dusseault: *The Dynamics of Energy in the Eurasian Context*. 978-952-10-4019-1.
- 4:2007** Edited by Natalia Baschmakoff, Paul Fryer and Mari Ristolainen: *Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice*. 978-952-10-4077-1.
- 5:2007** Edited by Maria Lähteenmäki. *The Flexible Frontier: Change and Continuity in Finnish-Russian Relations*. 978-952-10-4093-1.
- 6:2007** Edited by Marjatta Vanhala-Aniszewski and Lea Siilin. *Voices and Values of Young People. Representations in Russian Media*. 978-952-10-4094-8.
- 7:2007** Edited by Markku Kangaspuro. *Constructed Identities in Europe*. 978-952-10-4096-2.
- 1:2008** Edited by Helena Rytövuori-Apunen. *Russia Forever? Towards Pragmatism in Finnish-Russian Relations*. 978-952-10-4095-5.
- 2:2008** Edited by Withold Bonner and Arja Rosenholm. *Recalling the Past – (Re)constructing the Past. Memorizing World War II in Russia and Germany*. 978-952-10-4098-6.
- 3:2008** Edited by Raimo Blom. *Managers in Russia: Still So Different?* 978-952-10-4100-6.
- 1:2009** Edited by Vesa Oittinen. *Bogdanov Revisited*. 978-952-10-4101-3.
- 3:2009** Edited by Natalia Baschmakoff and Mari Ristolainen. *The Dacha Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area*. 978-952-10-5145-6.

Edited by Natalia Baschmakoff and Mari Ristolainen

## The Dacha Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area

### CONTRIBUTORS

Kaarina Aitamurto

Natalia Baschmakoff

Irina Belobrovseva

Aleksandr Belousov

Patrizia Deotto

Sergei Dotsenko

Elena Dushechkina

Annelore Engel-Braunschmidt

Valentina Gavriushina

Elena Hellberg-Hirn

Sven Hirn

Sergei Isakov

Nina Kauchtshishvili

Liubov Kiseleva

Inna Kopoteva

Janina Kursite

Maija Könönen

Stephen Lovell

Aurika Meimre

Mariia Nakhshina

Mikhail Odesskii

Ugo Persi

Galina Ponomareva

Irina Razumova

Mari Ristolainen

Kristina Rotkirch

Svetlana Ryzhakova

Tatiana Shor

Monika Spivak

Richard Stites

Tatiana Tsivian

Elina Viljanen

Marina Vitukhnovskaia-Kauppala

Katja Wiebe

Natalia Zlydneva

For generations of Russian urbanites *dachas* have been their lifeline. Today, more than half of urban families own these retreats for recreation and privacy. Wooden or marble, big or small, a dacha is more than a house, a plot, a lifestyle. It is rather a cultural indicator of what is happening in Russian society. A dacha "may be not more than a shed, but for Russians it's heaven," writes *Washington Post's* Moscow correspondent in his praise of the exurban Russian Arcadia.

This book encompasses summertime cultural encounters around the Baltic during the 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> centuries, as told by more than 30 international scholars.

ISBN 978-952-10-5145-6

ISSN 1796-3192

The Aleksanteri Institute is a national research centre for the study of Russia and East Europe affiliated with the University of Helsinki. Aleksanteri Series is a refereed publication series for research results and textbooks.



UNIVERSITY OF HELSINKI